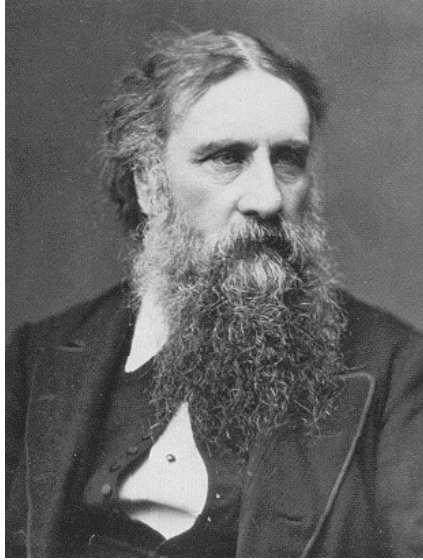


George MacDonald



Джордж Макдональд

1824 — 1905

Шотландский поэт и романист, родился 12 декабря 1824 г. По окончании школы поступил в Королевский колледж в Абердине и увлекся творчеством немецких романтиков. Ещё совсем юношей пробовал сочинять стихи. В 1845 г. он отправился в Лондон, где несколько лет проработал преподавателем, но вскоре почувствовал в себе призвание к религиозной деятельности, закончил Теологический колледж в Хайбэри и, приняв сан священника, получил приход в Арунде. Однако через три года был вынужден уйти в отставку, женился и переехал в Манчестер. Здесь и состоялся его литературный дебют. Хотя начинал Макдональд с поэзии, в литературе он остался как романист и, конечно, как автор сказочной фантастики для детей, достигнув в этой области больших успехов и популярности. Вернувшись в Лондон, он стал профессором английской словесности в Бедфорд-Колледже. Лучшие его сказки, вошедшие в золотой фонд британской детской литературы, были созданы в 60—70-е годы XIX века, в пору дружбы со знаменитым Льюисом Кэрроллом.



Томас Уингфорд, священник

Роман

Статьи

Перевод с английского:

Ольга Лукманова



George MacDonald

Thomas Wingfold, Curate

1876

Оглавление

Часть I.....	7
Глава 1. Хелен Лингард.....	9
Глава 2. Томас Уингфолд.....	13
Глава 3. Перед ужином.....	17
Глава 4. Разговор.....	22
Глава 5. Ошеломляющий вопрос.....	28
Глава 6. На кладбище.....	33
Глава 7. Кузен и кузина.....	37
Глава 8. В саду.....	41
Глава 9. В парке.....	46
Глава 10. Карлики.....	50
Глава 11. Священник у себя дома.....	55
Глава 12. Случайная встреча.....	61
Глава 13. Первые успехи.....	65
Глава 14. Джереми Тейлор.....	67
Глава 15. В домике привратника.....	70
Глава 16. На чердаке.....	74
Глава 17. Предложение Полварта.....	78
Глава 18. Джозеф Полварт.....	84
Глава 19. Решение.....	92
Глава 20. Странная проповедь.....	95
Глава 21. Гром среди ясного неба.....	101
Глава 22. Леопольд.....	105
Глава 23. Убежище.....	109
Глава 24. Хелен и её тайна.....	115
Глава 25. Дневной визит.....	118
Глава 26. История Леопольда.....	122
Глава 27. Завершение истории Леопольда.....	126
Глава 28. Сестринская любовь.....	132
Глава 29. У постели больного.....	135
Глава 30. Возрастание священника.....	140
Глава 31. Священник делает открытие.....	145
Глава 32. Надежды.....	151
Глава 33. Прогулка.....	154
Часть II.....	161
Глава 1. Рейчел и её дядя.....	163
Глава 2. Сон Полварта.....	166
Глава 3. Ещё одна проповедь.....	173
Глава 4. У постели брата.....	177
Глава 5. Жители Гластона и их священник.....	182
Глава 6. Мануфактурщик.....	187
Глава 7. Рейчел.....	195
Глава 8. Бабочка.....	202
Глава 9. Обыденное.....	205
Глава 10. Снова дома.....	210
Глава 11. Находка.....	213
Глава 12. Призыв.....	219
Глава 13. Проповедь для Хелен.....	222
Глава 14. Проповедь себе самому.....	228
Глава 15. Разговоры о проповеди.....	230
Глава 16. Гаснувший луч надежды.....	235
Глава 17. «Молись!».....	239

Глава 18. Два письма.....	243
Глава 19. Советы впотьмах.....	245
Глава 20. Молитва.....	249
Глава 21. Хелен в одиночестве.....	251
Глава 22. Измученная душа.....	254
Глава 23. Вынужденное признание.....	258
Глава 24. Добровольное признание.....	264
Глава 25. Совет священника.....	267
Глава 26. Сон.....	271
Глава 27. Богослужение.....	275
Глава 28. Небесная лавка.....	282
Глава 29. Полварт и Лингард.....	289
Глава 30. Дом сильного.....	299
Глава 31. Джордж и Леопольд.....	304
Глава 32. Уингфорд и Хелен.....	307
Глава 33. Взгляд назад.....	313
Глава 34. Проповедь для Леопольда.....	317
Часть III.....	327
Глава 1. После проповеди.....	329
Глава 2. Баском и мировой судья.....	334
Глава 3. Чистосердечное признание.....	338
Глава 4. Маска.....	342
Глава 5. Ещё одно решение.....	346
Глава 6. Священник и врач.....	349
Глава 7. Священник и Хелен.....	355
Глава 8. Вопросы и ответы.....	360
Глава 9. Бессмертие.....	362
Глава 10. Отрывки из жизнеописания Вечного Жида.....	368
Глава 11. Вечный жид.....	370
Глава 12. Вечный жид.....	378
Глава 13. Мысли.....	386
Глава 14. Внутренняя борьба.....	388
Глава 15. На лужайке.....	393
Глава 16. Как Иисус говорил с женщинами.....	401
Глава 17. Освобождение.....	407
Глава 18. На лугу.....	410
Глава 19. Рейчел и Леопольд.....	420
Глава 20. Ищейка.....	424
Глава 21. Неожиданный поворот.....	428
Глава 22. У постели больного.....	436
Глава 23. В саду.....	443
Глава 24. Уход.....	445
Глава 25. Закат солнца.....	449
Глава 26. Честный соглядатай.....	455
Глава 27. Что услышала Хелен.....	458
Глава 28. Что ещё услышала Хелен.....	462
Глава 29. Окончательное решение.....	468
Глава 30. Хелен просыпается.....	473
Глава 31. «Ты не оставил...».....	479
Воображение: его функции и развитие.....	485
Сказочное воображение.....	518
Об авторе.....	526

Часть I



Глава 1. Хелен Лингард

Стремительный ноябрьский ветер принял каминные трубы за органные и гудел во всех сразу, заглушая дальний, нестройный шум деревьев, стонущих и волнующихся, как море. Хелен Лингард весь день провела дома. Правда, утро было ясное, но она как раз писала длинное письмо в Кембридж, своему брату Леопольду, и решила, что пойдёт гулять после обеда. Однако неожиданно поднялся ветер, и серая пелена, подёрнувшая небо, в любую минуту угрожала разразиться дождём. Хелен отличалась отменным здоровьем, никогда не болела; опасность вымокнуть страшила её не больше, чем любого молодого крестьянина, а ветер ей даже нравился, особенно когда она скакала верхом. Но теперь, когда она стояла возле окна, рассеянно глядя на балкончик с дрожащими осенними цветами (которые следовало бы убрать оттуда ещё неделю назад), на старомодный сад и простиравшиеся за ним луга, где одинокие деревья в развевающихся платьицах кланялись – я хотел было написать «подобно просителям», но ведь они не склонялись пред своим ревущим врагом, а, напротив, уворачивались от него – ей не очень-то хотелось выходить на улицу. Крепкое здоровье не мешало ей чувствовать на себе влияние погоды или обстоятельств, точно так же, как природное добродушие ещё не означает, что нас совершенно не трогают поступки близкого друга. Новое платье, сшитое по её вкусу и сидящее так, как нужно, всегда поднимало ей настроение, и в солнечные дни она чувствовала себя лучше, чем в дождик; я написал было «веселее», но Хелен редко бывала весёлой и, если бы кто-то сказал ей об этом и спросил, почему это так, она ответила бы, что редко видит повод для веселья.

Все друзья называли её здравомыслящей девушкой, но, как я уже говорил, благоразумие ещё не означает бесчувственности, не подверженной капризам погоды. Хелен сполна ощущала на себе её переменчивые настроения и потому отвернулась от окна, не столько думая, сколько чувствуя, что кресло возле камина манит её ещё сильнее из-за неприятной серости на улице и гулкого рёва ветра в печных трубах (которые, к счастью, пока не дымили и не пускали в комнату чад).

Время между обедом и ужином обычно протекает тихо и вяло, но в этой вялости тоже есть свой покой и уют. Хелен нравилось такое уютное бездействие, и до сих пор совесть ни разу не упрекала её за это. Давайте посмотрим, чем она занималась в течение полутора часов такого бездеятельного спокойствия; это позволит мне немного ближе познакомиться с нею своих читателей.

Хелен сидела у огня в далеко не женственной позе. Мне не хотелось бы говорить ничего нелюбезного, но факт остаётся фактом: вряд ли она уселась бы так перед фотографом. Откинувшись на мягкую спинку, затянутую вощёным ситцем, полностью вытянув руки и сжимая пальцами концы подлокотников, она сидела прямо, словно повторяя телом прямые, угловатые, негибкие линии кресла, и смотрела в огонь с несколько глубокомысленным видом мудреца, пока не открывшего для себя ничего нового.

Она только что закончила читать очередной роман и ещё находилась под лёгким впечатлением, которое было, пожалуй, ещё менее глубоким из-за того, что конец книги показался ей неудачным. После множества скорбей и терпеливого ожидания героиня вышла замуж за явно недостойного человека, причём и она сама, и автор прекрасно это знали. Но таким уж, видно, было его видение жизни, таковы взгляды на призвание художника, что работа над повествованием, вызвавшим у Хелен разочарование, принесла ему немалое утешение. Причём разочарование это было настолько ощутимым, что несмотря на блаженное спокойствие огня, безмятежно полыхавшего в камине под жалобные завывания ветра, оно ближе, чем когда либо раньше, подтолкнуло Хелен к размышлению. Надо сказать, что размышление редко бывает делом приятным и нетрудным, особенно для тех, кто пытается думать впервые. Ещё немного, и Хелен непременно почувствовала бы себя неудобно и неловко. Она находилась в опасной близости от неприятного откровения о том, что человеческая жизнь – и не только для тех, кто ходит в экспедиции на Северный полюс, исследует Африку или изучает египетские пирамиды, но для всех мужчин и женщин, унаследовавших слепоту своей планеты, – состоит в том, чтобы открывать для себя реальность, а ведь как только это происходит, в этой жизни почти не остаётся места для того покоя, который

Хелен знала до сих пор. Однако на этот раз она, хоть и еле-еле, но всё же ускользнула от совсем уже было нависшей над ней опасности.

Только не подумайте, что Хелен была лишена ума и способностей и не вносила свою струю в течение интеллектуальной жизни глстонского светского общества – вовсе нет. Сказав, что она почти начала думать, я сделал ей комплимент, понятный, пожалуй, лишь тем редким людям, кто знает, что такое думать по-настоящему, ибо человек реже всего пользуется именно тем, что главным образом отличает его от так называемых «низших» животных. Сама Хелен полагала, что умеет думать не хуже других, потому что пропускала через сознание достаточно чужих мыслей, оставлявших за собой немало призрачных убеждений; только всё это были чужие мысли, а не её собственные. До сих пор она думала ровно столько, сколько нужно было для того, чтобы понять смысл того или иного предложения, а её безразличное согласие или несогласие с ним зависело исключительно от того, насколько оно соответствовало тому, что она каким-то образом (каким именно, она чаще всего затруднилась бы сказать) привыкла считать подходящими воззрениями на жизнь.

Общество, в котором она получила своё воспитание, было довольно тесно связано с лондонским фешенебельным кругом, но почти никак не соотносилось со вселенной, и в своём нынешнем состоянии Хелен походила на обыкновенную пчелу. По природе каждая пчёлка способна стать маткой, но большинство из них кормилицы запихивают в ячейки, слишком узкие для развития царственной величавости, и снабжают пищей, слишком убогой для того, чтобы полнота идеала превратилась в реальность. Правда, стиснутое, недоразвитое существо, выползающее из ячейки, уже не может быть маткой и становится рабочей пчелой, а Хелен ещё хранила в себе обе возможности и пока не стала ни тем, ни другим. Будь у меня возможность назвать книги, лежавшие у неё на столе, кое-кто из моих читателей сразу решил бы, что Хелен предназначалась куда более достойная участь, чем большинству юных женщин её поколения; правда, с этим можно поспорить.

Хелен была дочерью офицера, который, когда его жена умерла при родах, оставил новорождённую малышку на попечение овдовевшей тётки и почти немедленно отправился в Индию. Там он

дослужился до высокого чина и со временем стал обладателем значительного состояния, отчасти благодаря женитбе на женщине-индуске, от которой у него родился сын, примерно на три года младше Хелен. Когда он умер, оказалось, что в завещании он разделил своё состояние поровну, между дочерью и сыном.

Сейчас Хелен было двадцать три года, и она была сама себе хозяйкой. В её внешности угадывалась норвежская кровь: она была высокой, голубоглазой, темноволосой, но белокожей, с правильными чертами чересчур спокойного лица, которое её недоброжелатели называли холодным. Никто и никогда не называл её детским именем Нелли, но она долго оставалась девочкой и всё ещё медлила на неровном пороге женственности, хотя некоторые из её школьных подруг уже стали юными матронами. Её учитель рисования, обладавший некоторой пронизательностью, не раз говорил, что мисс Лингард проснётся годам к сорока.

Сегодня она почти подошла к состоянию, граничащему с мыслью, потому что неожиданно поймала себя на том, что скучает. Да, Хелен редко веселилась, но скучала ещё реже и сейчас не могла найти для своей скуки ни одной видимой причины. Винить было некого. Наверное, можно было сказать, что всё это из-за погоды, но раньше погода никогда на неё так не действовала. Одиночество тоже было не при чём, потому что к ужину они ждали Джорджа Баскома; кроме него был приглашён ещё местный священник, но он был не в счёт. Усталости от себя самой она тоже не чувствовала. Правда, последнее, скорее всего, было вопросом времени, потому что даже самый отъявленный эгоист, будь он хоть Юлием Цезарем или Наполеоном Бонапартом, рано или поздно утомится от своего жалкого «я», но для этого Хелен, из-за неторопливости своего расцвета, ещё не достигла нужного возраста. Нельзя сказать, что она была как-то особенно занята собственной персоной; просто пока она ещё не разбила скорлупу, всё ещё удерживающую в тесной темноте многих человеческих птенцов, хотя те уже давно воображают себя настоящими гражданами мира.

Тем не менее, она почувствовала лёгкую скуку и, смутно ощутив в этом некий разлад с естественным и гармоничным положением дел, почти что начала думать, но, как я уже сказал, избежала этой

опасности самым простым и тривиальным способом: она заснула и проспала до тех пор, пока горничная не принесла ей чашку чая, которая нередко помогает обитателям некоторых респектабельных домов найти в себе силы переодеться к ужину.

Глава 2. Томас Уингфолд

Хотя после обеда погода испортилась, утро в тот день было ясным, и гластонский священник отправился на прогулку. Однако даже если бы на улице было серо и промозгло, это не помешало бы ему выйти. Не то чтобы ему нравилось далеко ходить или он вообще любил двигаться; ирландец сказал бы, что он не ходит, а сидит: во время прогулок он нередко присаживался то на ступеньку деревянной лесенки для перехода через изгородь, то на камень, то на поваленное дерево. Он не был болен или ленив и не особенно берёт себя; просто он почти не ощущал внутреннего побуждения к какой-либо деятельности. Вода в роднике его жизни почему-то бежала слишком медленно и вяло.

Он пересёк Остерфильдский парк, по крутой тропе спустился к реке и, несмотря на холод, уселся на большой прибрежный камень. Он знал, что живёт в Гластоне и должен откликаться на имя Томаса Уингфолда, но почему он там живёт и почему его зовут так, а не иначе, он не знал. Крутые берега густо поросли кустиками папоротника, сейчас наполовину увядшими, и освещавший их солнечный свет казался таким же стылым, что и ветер, трепавший их золотые и зелёные перья. Река текла по каменистому руслу уже не с песенкой, а с неторопливым разговором, через всю долину, навстречу городу, где она на минуту останавливалась, чтобы обогнуть церковь старого аббатства, а потом неспешно скользила по низкой равнине до самого моря. Разговор её отдавал холодом, и мелкая рябь, возникавшая на поверхности то из-за

подводных препятствий, то из-за взметавшего воду ветра, даже на солнце походила не на улыбки, а на морщинки.

Томасу тоже было зябко, но, скорее, не от мёрзлого воздуха или ветра, а от того, что всё вокруг выглядело таким холодным. Правда, ему почти не было дела до собственных ощущений: он даже не позаботился накинуть пальто; он вообще не слишком интересовался собой.

Тростью, сработанной из самого обычного дуба, он сталкивал в воду камешки и апатично смотрел на брызги. Дул ветер, светило солнце, текла вода, качался на ветру папоротник, над головой проплывали облака, но он ни разу не поднял глаз и не обращал ни малейшего внимания на хозяйские хлопоты матушки Природы. Ему казалось, что всё в мире делается так или иначе просто потому, что так заведено, а не из-за чьего-то внутреннего желания или стремления к той или иной цели. Как и все остальные люди, он мог читать книгу природы лишь в свете собственного светильника и до сих пор относился к своим обязанностям в мире именно таким образом.

Пока что жизнь его складывалась не очень интересно, хотя раннее детство оставило после себя кое-какие болезненные воспоминания. В Оксфорде он успевал довольно неплохо: от него ожидали добросовестной учёбы, и он оправдывал эти ожидания, хотя ничем особенным не выделялся, да и не стремился к этому. С самого начала он знал, что его прочтат в священники, и не противился, но принял это как свою судьбу. Более того, в смутном послушании, он всегда помнил о необходимости покориться всем преимуществам и лишениям того жребия, который для него выбрали, но особого интереса к нему не проявлял.

Церковь была для него древним установлением, обладающим столь незыблемой респектабельностью, что способна была наделять ею своих служителей, выделяя им определённое содержание и требуя от них соблюдения полагающихся обрядов. Он нанялся к ней на службу, она была его госпожой, и за тесное жилище, скромный доход и казённое, но более-менее приличное облачение он готов был исполнять её уставы – в духе временного слуги-наёмника. Ему было двадцать шесть лет, он никогда не мечтал о женитьбе, и его ни разу не беспокоили мысли о том, что супружество ещё долго будет оставаться для него недостижимым. Он почти не рассуждал о жизни и своём

в ней месте, принимая всё с холодной, безнадёжной покорностью без каких-либо притязаний на смелость, преданность или даже обычные страдания.

У него была некая смутная предрасположенность к честности; он ни за что не стал бы сознательно кривить душой ради того, чтобы стать архиепископом Кентерберийским, но был столь невежествен в вопросах практической честности, что кое-какие его мнения вызвали бы у апостола Павла немалое изумление. Он любил читать молитвы, ему нравилось произносить их вслух в церкви; к тому же голос у него был довольно приятный и мелодичный. Он навещал больных – пусть с некоторым отвращением, но безотлагательно, – и говорил им те привычные религиозные фразы, которые приходили ему в голову, считая, что свой долг по отношению к ним он исполняет, главным образом, вознося молитвы за немощных, положенные по церковным установлениям. Он всегда вёл себя как джентльмен, хотя никогда об этом не думал и не старался произвести выгодное впечатление.

Мне кажется, где-то в глубине души у него уже давно и незаметно зрело подсознательное, непризнанное ощущение, что ему не очень повезло в жизни. Но даже в те минуты, когда эта неясная мысль вдруг всплывала на поверхность, Томас никогда не осмелился бы обвинить Провидение в несправедливости, а возникни у него такое искушение, немедленно изгнал бы прочь и соблазн, и породившее его чувство.

Читал он мало. За завтраком он с вежливым любопытством просматривал газету, составлявшую ему компанию за яичницей и беконом, но больше всего интересовался флотскими новостями. Надо сказать, что и сам он вряд ли смог бы сказать, к чему испытывает настоящий, серьёзный интерес. Когда в свободные часы ему нужно было чем-то себя занять, обычно он брал томик Горация и прочитывал вслух какую-нибудь скорбную оду с таким пристальным вниманием к ритму, какое учёные-латинисты часто выказывают по отношению к мёртвой букве, но редко соотносят с живой, звучащей речью.

Вот и сейчас, сидя на камне и не обращая внимания на приготовления мира к зиме, он вскоре начал повторять про себя строки *Æquamemento rebus in arduis*, которые он упорно, но пока не слишком успешно пытался уложить в похожие строфы на английском,

памятуя о Теннисоне и его знаменитом стихе «О громозвучный создатель гармоний¹». Возможно, кому-то покажется странным, что священник сознательно черпал силы у поэта, чьи описания загробного существования главным образом служили ему тем, что самой своей бесплотностью, убожеством и призрачной бестелесностью оттеняли радости мира солнца и ветра, прохладной тени и поющих ручьёв, мира вина и смеха, где предметы и формы не так мгновенно ускользали из человеческих рук, а глаза не столь стремительно бледнели и исчезали вдалеке. Хотя, если вспомнить, как скудны и бесцветны представления христиан о том, что ожидает их за кругом смерти, удивляться тут нечему. Родство человеческих душ всегда прекрасно и приятно, и если христианский священник и языческий поэт одинаково ощущали себя во вселенной, то почему им было не утешать друг друга, сидя вместе среди земной пыли и праха²?

*Не всё ль равно, ты Инаха ль древнего
Богатый отпрыск, рода ли низкого,
Влачащий дни под чистым небом, –
Ты беспощадного жертва Орка.
Мы все гонимы в царство подземное.
Вертится урна: рано ли, поздно ли –
Наш жребий выпадет, и вот он –
В вечность изгнанья челнок пред нами³.*

Справившись таким образом с двумя строфами, Уингфорд, ощущая некоторое удовлетворение, поднялся и начал взбираться по склону, шагая по волнам солнца, ветра и папоротника с таким безразличием к дрожащей красоте полупрозрачных листьев и их скорой гибели, что любой посторонний, наверное, сказал бы, что даже если Уингфорд и видел в Горации родственную душу, то явно не из-за желания однажды оставить позади суету верхнего мира.

1 «O mighty-mouthed inventor of harmonies» – первая строка известного стихотворения Альфреда Л. Теннисона о Джоне Мильтоне, написанного так называемой алкеевой или горациевой строфой – прим. перев.

2 См. Иов. 2:13.

3 Квин Гораций Флакк, «Оды». Книга 2, Ода 3. Пер. А. П. Семёнова-Тян-Шанского.

Глава 3. Перед ужином

Миссис Рамшорн, тётушка Хелен, уже миновала пору среднего возраста. Когда-то она была обаятельна и хороша собой, но теперь утратила оба эти качества и, хотя не любила признаваться себе в этом, всё же осознавала утрату достаточно для того, чтобы чувствовать себя обиженной и оскорблённой. Отчасти из-за этого рот её приобрёл капризное и сварливое выражение, нередко вызывавшее у собеседника внутреннее отвращение. Если бы она знала, что в глазах ближних это вечное недовольство уродует её куда сильнее, чем самые неумолимые наступления приближающейся старости, она, возможно, попыталась бы поменьше думать о своих обидах и побольше о доставшихся ей привилегиях. Пока же её лицо вынуждало людей не очень справедливо думать о её сердце, которое по-прежнему сохраняло женскую мягкость и способность к истинной жалости (что, правда, проявлялось довольно редко). Её покойный супруг был настоятелем церкви в Хейлистане, но силы его характера оказалось недостаточно, чтобы должным образом повлиять на жену. Он оставил ей достаточно средств к существованию, но детей у них не было. Она любила Хелен, чья ровная невозмутимость взяла над ней столь убедительную власть, что на деле подлинной хозяйкой дома была не тётя, а племянница, хотя ни та, ни другая об этом не подозревали.

Миссис Рамшорн, конечно же, не хотела, чтобы состояние Хелен досталось чужакам, но даже хотя у неё не было собственного сына, ей не пришлось долго выискивать подходящего кузена, который, по её справедливому мнению, был вполне способен понравиться молодой наследнице. Этот кузен был сыном её младшей сестры, которая тоже была замужем за человеком, занимавшим высокий церковный пост каноника собора в одном из северных графств. Пока что главной видимой целью Джорджа Баскома было прогрызть себе путь к мантии адвоката, и миссис Рамшорн часто приглашала его в Гластон. В эту пятницу он тоже должен был приехать из Лондона, чтобы провести выходные в обществе двух дам. Кузен и кузина нравились друг другу и проводили вместе ровно столько времени, сколько тётушка считала

нужным для исполнения своего замысла. Она была слишком благоразумна, чтобы преждевременно намекать им на возможный брак, и теперь между ними сложились самые подходящие отношения для взаимной влюблённости. Основной (а может, и единственной) причиной её беспокойства служил тот веский и, увы, неоспоримый факт, что Хелен Лингард была не из тех девушек, которые легко влюбляются. Однако это, в сущности, было неважно: главное, чтобы это не помешало Хелен выйти замуж за своего кузена, который, по глубочайшему убеждению миссис Рамшорн, был способен разбудить её дремлющие чувства куда лучше всех иных молодых людей, которых встречались ей до сих пор или встретятся в будущем. Сегодня, приглашая на обед Томаса Уингфолда, чтобы тот познакомился с Джорджем, она сделала этого отчасти для того, чтобы на его фоне Джордж предстал перед Хелен в ещё более выгодном свете, а отчасти для того, чтобы исполнить свой долг перед церковью: из-за положения покойного мужа миссис Рамшорн не считала себя обычной прихожанкой, а приписывала себе в церкви некое неопределённое официальное положение. Уингфолд появился в приходе недавно, да к тому же был всего лишь викарием⁴, и потому она не слишком спешила оказывать ему гостеприимство. С другой стороны, он был единственным священником, совершавшим богослужения в церкви бывшего аббатства, величественной, старой и приносившей самый мизерный доход. Священник, являвшийся главой прихода, появлялся здесь редко, но ради справедливости надо сказать, что он отдавал своему викарию почти всё своё жалование, тратя остальные деньги на убранство церкви и подержание её в более-менее сносном состоянии⁵.

4 В англиканской церкви викарий (от лат. слова *vicarius* - «заместитель, наместник») является помощником священника и в том случае, если приходской священник живёт в другом месте, исполняет его обязанности.

5 В англиканской церкви того времени приходские священники получали так называемый приход (то есть должность священника в этом приходе с причитающимся ему жалованием). Приход можно было получить от епархии, от какого-нибудь местного, чаще всего аристократического семейства, обладающего земельными владениями, или от другого учреждения (например, в бенефиции Кембриджского и Оксфордского университетов тоже было немало приходов, и они по своему усмотрению назначали туда священников, нередко таким образом обеспечивая своих профессоров средствами к существованию). Священник мог иметь приход (то есть должность и жалование священника), проживая при этом в совершенно ином месте, порой даже за границей. Здесь Макдональд вполне законно порицает такую практику, но из стремления к справедливости показывает и некоторые смягчающие обстоятельства: местный священник отдавал большую часть своего жалования викарию (который, собственно, и исполнял его обязанности в церкви), а также щедро тратил эти деньги на ремонт и убранство церковного здания. Тем не менее, и

В назначенный час священник появился на пороге гостиной миссис Рамшорн, по виду ничем не отличаясь от самого обычного джентльмена, довольного своим участием в делах мира, и не намекая на свою профессию ни одеждой, ни манерами, ни тоном голоса. Хелен впервые видела его вне кафедры и, как и ожидалось, он не произвёл на неё особого впечатления: перед ней стоял обычный молодой мужчина около тридцати лет, чуть выше среднего роста и довольно ладно скроенный; у него был хороший лоб, не слишком правильный нос, ясные серые глаза, широкий, подвижный рот, крупный подбородок, белая кожа и прямые чёрные волосы – не знай она, что он священник, его вполне можно было бы принять за адвоката. Более пронизательный (то есть более заинтересованный) взгляд обнаружил бы следы бывшего страдания в морщинах, мимолётно возникавших у него на лбу, когда он говорил, но обычно Хелен лишь мельком окидывала взглядом предстающие перед ней лица. В любом случае, кто стал бы обращать внимание на Томаса Уингфолда в обществе Джорджа Баскома? Вот уж кто был настоящим мужчиной! Он стоял возле каминной полки – высокий и красивый, как Аполлон, сильный, как Геркулес, одетый по последней моде, но не крикливо, довольный собой, но без высокомерия, добродушный и улыбчивый. По всей видимости, совесть его была столь же чиста, а расположение к людям столь же обширно, как его белоснежная манишка. Знакомые считали Джорджа Баскома воистину прекрасным человеком. У самого Джорджа не было почти никаких оснований в этом сомневаться, а у Хелен так и вовсе не было причин думать иначе.

Тот, кто, подобно моим читателям, видел Хелен только у неё в комнате, вряд ли узнал бы её в девушке, вошедшей сейчас в гостиную. В спальне она была такой, какой видела себя в зеркале: вялой и апатичной; но в гостиной блеск живых глаз и ощущение чужого присутствия пробуждали в ней дремавшую внутри жизнь. Когда она говорила, лицо её загоралось чистым светом, пусть даже без особого тепла; и хотя, когда она молчала, в нём царил всё то же чрезмерное, почти неживое спокойствие, эта кажущаяся неподвижность то и дело

церковная должность, и жалование так и оставались во владении священника, не проживавшего в своём приходе, потому что принадлежали его семье, что давало ему право решать, кому приход достанется после него.

нарушалась улыбкой – настоящей, искренней улыбкой, ибо хотя во многом Хелен ещё оставалась чопорной, искусственности в ней не было ни капли. В её кузене тоже почти не было притворства; его добродушие, улыбка и общее выражение лица были вполне естественными. Единственным, что могло вызвать недовольство у человека щепетильного, был тон его голоса. Трудно сказать, где Джордж его усвоил: то ли в университете, то ли в кругу церковных священников, знакомых его отца, то ли в обществе адвокатов, которое он теперь нередко посещал; где-то этот тон явно считался образцом хорошего вкуса и звучал хоть несколько пышно и витиевато, но с претензией на хорошее воспитание и достоинство. Интересно, многие ли из нас действительно говорят своими собственными голосами?

Тон Джорджа Баскома явно давал понять, что он привык выступать в роли законодателя, но делал это чисто по-джентльменски, без особой страсти или убеждённости в сути того или иного вопроса. Рядом с его непринуждённой осанкой, широкой грудью и высоко посаженной головой греческого бога Томас Уингфорд съёжился и стал совсем неприметным – одним словом, выглядел сущим ничтожеством. Кроме того, что он уступал Джорджу ростом и внешностью, его манеры отличались некоторой нерешительностью, которая словно заранее предвидела и даже предполагала, что собеседники будут относиться к нему свысока – и чаще всего так оно и было. Он говорил «А не кажется ли вам ли вам?...» куда чаще, чем «Я полагаю», и всегда с большей готовностью отмечал сильные стороны чужих доводов вместо того, чтобы снова и снова доказывать правильность своих, либо (как поступает большинство из нас) слегка перефразируя только что сказанное, либо (как делают лишь некоторые) придумывая для них совершенно новые формы. А поскольку главной силой обычного человека является именно самоутверждение – будь оно скромным, как изящно сработанная кольчуга, или громоздким и неуклюжим, как стальные латы, – каким ещё мог показаться священник, кроме как беззащитным, а значит, слабым и потому заслуживающим презрения? На самом деле он просто был куда менее тщеславным, чем большинство людей, и пока не обладал ни одним мнением, которое было бы настолько ему небезразлично, чтобы он защищал его с каким-то намёком на живость.

Когда их представили, Уингфорд и Баском поклонились друг другу с приличествующим случаю безразличием, затем, после недолгого молчания, обменялись парой фраз, похожих на школьное упражнение в правильном употреблении иностранных выражений, после чего всё их внимание, на какое вообще способны английские джентльмены перед ужином, переключилось на присутствующих дам, старшая из которых была одета в платье чёрного бархата, отделанное венецианскими кружевами, а младшая – в платье из чёрного шёлка со старинным кружевом хонитон⁶. Ни одна из них не сделала особой попытки оживить разговор. Миссис Рамшорн, чей интерес к хорошему обеду с годами стал заметно сильнее, сидела с недовольным видом, ожидая, пока подадут на стол, время от времени благосклонно поглядывая на племянника; и хотя при этом взгляд её на мгновение становился чуточку теплее, выражение губ оставалось неизменным. Хелен же то так, то этак поправляла букет тепличных цветов, красовавшийся на столе в уродливой вазе, воображая, что делает его лучше.

Наконец на пороге возник дворецкий, священник подал руку миссис Рамшорн и повёл её в столовую, а кузен и кузина последовали за ними. Смотреть на них было так приятно, что и дворецкий, оставшийся в зале, и экономка, выглянувшая из буфетной, втайне подумали, что красивее пары и сыскать нельзя. Они выглядели почти ровесниками, и из них двоих у Хелен был более величественный, а у Джорджа – более обходительный (или, лучше сказать, элегантный) вид.

6 Ажурное английское кружево, изготовленное по образцу брюссельского, но менее тонкое по рисунку и из более грубых ниток, называвшееся по месту своего производства, г. Хонитон в графстве Девоншир.

Глава 4. Разговор

За ужином говорил, главным образом, Баском. Разглагольствовал он свободно и легко, хотя время от времени тётушка упрекала его за выражения и суждения, которые могли бы показаться священнику не вполне приемлемыми. Правда, священником она тоже осталась не слишком довольна: когда ему предложили бокал вина, он и не подумал от него отказаться, как приличествовало его сану. Он поглощал свой обед, спокойно отвечая на остроты Баскома – в которых было больше живости, чем пронизательности, больше благодушия, нежели остроумия, – странной мимолётной улыбкой или односложным согласием. Можно было подумать, что он просто снисходительно терпит юношескую болтовню собеседника, но на самом деле пока он просто не видел ни одного повода для возражения.

Уж не знаю, какой подруге могло прийти в голову послать Хелен стихи, но в тот самый день она получила по почте небольшой томик поэзии. Он был совсем новый, никому не известного автора, но о нём уже заговорили в так называемых литературных крутах. Уингфорду уже случилось прочесть оттуда кое-какие отрывки, так что когда Хелен поинтересовалась, знаком ли он с этими стихами, он был готов поддержать разговор и сказал, что, судя по тем нескольким страницам, которые он успел пробежать, они показались ему довольно унылыми и печальными.

– Если что-то и вызывает у меня подлинное презрение, – изрёк Баском, – так это когда здоровый, нормальный человек, у которого всё на месте, вдруг начинает изливать свои горести в жилетку общества, словно это и есть самый доверенный и молчаливый друг: оплакивать жестокую судьбу, умоляя нежных юношей и девиц наполнить свои кувшины слезами и оросить печальные бутоны и неугасимую скорбь человеческого рода. По-моему, я нечаянно кого-то процитировал.

– По-моему тоже, Джордж, – откликнулась Хелен. – Не помню, чтобы раньше ваши речи столь опасно граничили с поэзией.

– Ах, мисс Лингард, просто вы совсем меня не знаете, – возразил Баском. – И потом, – продолжал он, снова разворачиваясь к Уингфолду, – но что он жалуется, этот поэт? На то, что какая-то девица предпочла ему другого, быть может, более достойного человека, или на то, что дешёвая газетёнка хоть раз напечатала правду о его виршах?

– Может быть, он просто склонен к меланхолии, – заметил Уингфолд. – Но не кажется ли вам, что всё это, в общем-то, не стоит возмущения? Человек высказался, ему стало легче, а другим от этого ничуть не хуже.

– А как же та молодёжь, которая их читает? Да и себе они делают только хуже. Ещё больше поощряют плаксивость и приучают к слезам глаза, не привыкшие плакать. По-моему, я опять цитирую, но кого не знаю. По мне так уж если человеку плохо, ему должно хватать ума и такта держать свои несчастья при себе.

– Не сомневаюсь, Джордж, что вы подали бы нам пример стоического молчания, – улыбнулась его кузина, которая сегодня казалась оживлённее и даже шаловливее, чем обычно. – Но скажите: ваше молчание будет добровольным или вынужденным?

– Как? – с притворным возмущением воскликнул Джордж. – Неужели вы полагаете, что я не мог бы расписать свои горести до небес и выше? Думаю, я справился бы с этим не хуже любого поэта. Так буду рычать, что у вас сердце радоваться будет⁷!

– Значит, вы уже успели пострадать?

– Покамест только от того, что приходится платить по счетам моему портному – и я очень надеюсь, Хелен, что вы не станете добавлять мне печалей. И вообще, я не люблю мерихлюндии. Помню, у нас в колледже был один мальчик. На вечеринках веселился пуще всех, просто душа компании, но стоило ему остаться наедине с чернильницей, как он тут же начинал разыгрывать роль непонятого поэта и беспрестанно сетовал на ожесточённые сердца и оглохшие уши. Как-то раз зашёл к нему, смотрю – лицо в слезах, на столе полупустая бутылка портера, всё вокруг сизое от табачного дыма, а он, давясь от рыданий, декламирует стихи... Потом я их частенько повторял для смеха, потому и помню. Вот, слушайте:

7 У. Шекспир, «Сон в летнюю ночь», акт I, сцена 2.

*Ты слышал звон? Из неги сна
Тебя он вырвал оттого,
Что вдруг оборвалась струна
На лире сердца моего!*

И что вы думаете? Прочитал он всё это, приложился ещё раз к бутылке, а потом уронил голову на стол и затрясся от рыданий, как локомотив.

– Но что же в этом дурного? По-моему, очень даже неплохо, – возразила Хелен, желая по-женски защитить слабого и просто по-человечески восстановить справедливость.

– Да нет, неплохо – особенно для существ чепухи!

– Ваш приятель должно быть, увлекался Гейне, – сказал Уингфорд.

– И писал на него жалкие пародии, – отрезал Баском. – Ну как можно услышать звон оборвавшейся струны человеческого сердца и тут же привинтить эту струну к своему поэтическому смычку? И кстати, что это за струны такие? Есть ли у них какое-нибудь анатомическое соответствие? Но я не сомневаюсь, что в поэтическом плане стихи хорошие.

– А вы что, считаете, что поэзия и здравый смысл всегда противятся друг другу? – спросил Уингфорд.

– Должен признаться, я действительно склонен к такому мнению, – с полуулыбкой ответил Баском.

– А что тогда вы скажете о Горации?

– Вы словно нарочно упомянули единственного поэта, к которому я испытываю хоть какое-то уважение. Но в нём мне нравится именно здравомыслие. Он прекрасно понимает, что потерянного не воротить, и никогда не проливает бесполезных слёз, даже если умудрился потерять всё, что имел. Однако его здравомыслие не стало бы ни на йоту хуже, пиши он не стихи, а прозу.

– Возможно; только вряд ли мы смогли бы им восхититься, если бы Гораций не воплотил его в стихотворную форму. Взять к примеру жёлуди: они гораздо красивее и соблазнительнее, когда на них надеты

шляпки! Сегодня утром я как раз видел, как двое ребятишек их собирали.

– Что ж, может и так; детей в мире всегда больше, чем взрослых, – отозвался Баском. – Но я лично предпочитаю напрочь отвести все иллюзии и сразу добраться до главного.

– Но разве шляпка жёлудя – это не часть его самого? – проговорил Уингфорд с таким видом, будто сам только что понял то, что хотел сказать. – Может быть, то, что вы называете иллюзией, на самом деле является более тонким, или просто менее осязаемым свойством того предмета, который вы пытаетесь понять? Ну к примеру, вы же не возражаете против музыки в церкви?

Баском хотел было сказать, что не возражает против музыки ни в каком ином месте кроме церкви, но решил пощадить чувства тётушки (а, вернее, не ронять себя в её глазах) и выразил свои чувства лишь лёгкой усмешкой, столь неясной и многозначительной, что угадать смысл его ответа было невозможно.

– Метафизика – не моя стихия, – сказал он, и Уингфорд замолчал, видя его нежелание продолжать начатый разговор.

За послеобеденным вином мужчины почти не разговаривали; к тому же, оба они отличались весьма умеренными привычками и потому почти сразу снова присоединились к дамам в гостиной. Миссис Рамшорн, по своему обыкновению, дремала в кресле и не проснулась, когда они вошли. Хелен перелистывала какие-то ноты.

– Я как раз ишу для вас одну песню, Джордж, – сказала она. – Пусть мистер Уингфорд послушает, как вы поёте, а то он ещё подумает, что вы бесчувственный человек из камня и железа.

– В таком случае, можно и не искать, – откликнулся её кузен. – Я вам спою кое-что новенькое.

Он уселся за инструмент и пропел следующие несколько строк. Стихи были его собственные, и он, пожалуй, даже сознался бы в этом, если бы его кузина отнеслась к ним немного благосклоннее. Пел он густым, полнокровным, выразительным басом.

*В мире светильник у каждого есть,
Чей-то заброшен, как старая жость,*

*Кто-то в трудах забыл про него,
В чьём-то и масла – всего ничего.
А мой будет яркой лучиться звездой,
Бесстрашно смеясь над безвестною тьмой.
Эй, Солнце! Эй, Ветер! Вы здесь, друзья?
Скажите, вы слуги иль неба князя?
Но что мне за дело? Пока живой,
Я с поднятой буду ходить головой.
Смотри, братец Солнце, я тоже свечу!
Как Ветер, вольготно по миру лечу!
Пусть солнце, как беглая искра, умрёт,
Во мраке оставив планет хоровод.
Что мне за дело? И что за беда,
Коль я невредимым уйду в никуда?
Эй, Солнце! Эй, Ветер! Давайте споём:
Ведь скоро мы все безвозвратно уйдём!*

– Не нравится мне эта песня, – проговорила Хелен, слегка нахмурив брови. – Какая-то она ... языческая.

Боюсь, она не сказала бы ничего подобного, не будь рядом священника, потому что уже давно привыкла к взглядам своего кузена. Однако сказала она это не из лицемерия, а из простого уважения к профессиональным чувствам гостя.

– Но ведь я пел для мистера Уингфорда, – возразил Баском. – Горацию она наверняка пришлась бы по душе.

– А вы не думаете, что вызывающий тон вашей песни показался бы ему странным? – отозвался Уингфорд. – Признаюсь, мне лично в Горации больше всего нравится его печальная покорность неизбежному.

– Печальная? – переспросил Баском.

– Вам так не кажется?

– Нет. По-моему, он всячески старается не унывать и смотреть на жизнь бодрее – насколько может, конечно.

– Вот именно, насколько может. Тут я с вами соглашусь.

Тут проснулась миссис Рамшорн, разговор перешёл в другое русло, а мистер Уингфорд остался в некотором недоумении относительно молодого адвоката, его воззрений и того, что всё это значит. Может, всё это время английское светское общество тайно лелеяло языческие настроения, и они вот-вот войдут в моду? Сам Уингфорд был мало знаком со взлётами и падениями светских увлечений и вполне допускал, что такое возможно.

Хелен села за рояль. У неё было безупречное чувство ритма, и она ни разу не взяла ни одной неверной ноты. Она играла превосходно и бесстрастно, ощущая от своей игры некоторое холодное удовлетворение. Пьесы, которые она выбирала, были неплохи сами по себе, но требовали не столько внутренних чувств, сколько беглости пальцев, и для их исполнения нужна была не столько выразительность, сколько виртуозность. Баском украдкой зевал, прикрывшись носовым платком, а Уингфорд разглядывал профиль играющей девушки, удивляясь про себя, почему при такой гордой осанке и благородной посадке головы, при таких правильных чертах и чудесной, матовой коже лицо её остаётся таким неинтересным. Казалось, за ним не стоит абсолютно никакого прошлого.

Глава 5. Ошеломляющий вопрос

Священнику было пора идти домой. Баском решил выйти вместе с ним, выкурить последнюю сигару. Ветер стих, сияла яркая луна.

Уингфорда посетило смутное ощущение неясного контраста, и, ступив на мостовую из-за высоких кованых ворот, он невольно оглянулся. Особняк был из красного кирпича с плоским фасадом в стиле времён королевы Анны, так что лунный свет не отбрасывал на него никаких теней и освещал лишь достойную непритязательность его линий. Однако высоко над его крышей луна покоилась в мягчайшей, прелестнейшей синеве, лишь кое-где осенённой оттенявшими её облаками и искрами в тех местах, где эта синева загоралась далёкими звёздами. Внизу на земле царила глубокая осень, почти зима, и сухие плети плюща, прижавшиеся к стенам, шевелились в незаметном дыхании ветра, как длинные пряди старческих волос, но раскинувшееся наверху небо вполне могло бы быть небом зрелой весны, перетекающей в лето. В конце улицы возвышалась огромная, четырёхугольная колокольня, казавшаяся сейчас куда больше, чем днём. Почему-то при виде всего этого у Уингфорда возникло чувство, что за видимыми образами и очертаниями должно стоять нечто большее – словно ночь знала нечто такое, чего не знал он сам, а он поддался её настроению.

Его спутник неторопливо раскурил сигару, вынул её изо рта, с удовольствием разглядел вспыхивающий кончик и неожиданно рассмеялся. В смехе этом не было презрения, но весёлым или шутливым он тоже не был; это был удовлетворённый смех человека, которого что-то весьма позабавило.

– Разрешите узнать, над чем вы смеётесь? – поинтересовался священник.

– Над вами, – довольно грубо, но не оскорбительно откликнулся Джордж, вновь поднося сигару ко рту.

Уингфорд не был обидчив; для этого он был слишком незначителен в собственных глазах. Но расспрашивать Баскома дальше он тоже не стал.

– Здесь очень красивая старая церковь, – сказал он, показывая на тёмную башню, вторгавшуюся в синеву неба. – Крепкая и прочная, но линии у неё изящные и простые.

– Я рад, что вам по душе её архитектура, – отозвался Баском почти участливо. – Это, должно быть, приносит вам хоть какое-то удовлетворение или даже утешение, – добавил он, и в его последние слова закралась лёгкая презрительная нотка.

– Я не очень понимаю, на что вы намекаете, – сказал священник.

– Позвольте, я буду с вами откровенен, – внезапно проговорил Баском. Остановившись, он развернулся к своему компаньону и вынул изо рта свою дорогую гаванскую сигару. – Вы мне нравитесь, – продолжал он. – Человек вы, по-моему, разумный; и потом, должен же мужчина говорить то, что он думает на самом деле. Итак, скажите мне честно: неужели вы действительно во всё это верите?

Тут он в свою очередь указал на массивную церковную колокольню.

Священник был захвачен врасплох и ничего не ответил: вопрос ошеломил его так, будто кто-то из всех сил, хлётко ударил его по лицу. Однако через минуту он немного оправился и попытался сманеврировать, чтобы избежать прямого ответа.

– Тогда как она здесь оказалась? – спросил он, снова показывая на башню.

– Несомненно, благодаря вере, – смеясь ответил Баском. – Но явно не вашей собственной и не вере последних нескольких поколений.

– Но сейчас у нас строится намного больше церквей, чем раньше.

– Верно. Только что это за церкви? Сплошное подражание, ничего оригинального.

– Но если люди отыскивали верный способ строить церкви, зачем его менять?

– Хорошо. Только мне кажется весьма странным, что в наше время всеобщего прогресса ваша религия – это единственное явление, которое, как рак, пятится назад. Как после этого верить в её божественное происхождение? Вы обязаны своим

предшественникам не только церковной архитектурой, но и вашей так называемой верой. Вы же почти не знаете, во что верите! Вот, возьмите мою тётушку: прекрасный образчик того, что принято называть христианкой! Она так привыкла говорить и мыслить в тех словах и образах, которые моя кузина назвала языческими, что никогда, ни во сне, ни наяву, не увидела бы в моей песне ничего кроме добропорядочной христианской баллады.

– Простите, но я думаю, что здесь вы ошибаетесь.

– Неужели? А вам никогда не приходилось видеть, как ведут себя эти ваши христиане, кричащие о том, что основатель их религии победил смерть и всё такое прочее, – как они ведут себя, стоит кому-нибудь упомянуть о смерти или о вечности, которую они якобы ожидают после смерти? Шарахаются так, будто услышали что-то неприличное! Да и сама их религия ничуть не лучше: о церкви – пожалуйста, говорите сколько угодно, а о Христе – ни-ни! Правда, надо отдать им должное: они не желают говорить о смерти только в чисто абстрактном смысле; умри какой-нибудь достойный или великий человек, они воспринимают это совсем иначе. Вы только посмотрите на стихи о смерти – я имею в виду то, что пишут о смерти поэты-христиане! Для них она забвение без грёз, или страна, откуда ни один не возвращался, или сон, не знающий пробуждения. «Она ушла навсегда!» – причитает мать над умершей дочерью. Вот почему у них не принято говорить о подобных вещах: потому что в душе их нет надежды, а в сердце – смелости, чтобы смотреть лицо реальным фактам существования. В нас нет мужества древних, которые для того, чтобы без отчаянья глядеть в лицо смерти, приучали себя даже на пиршествах взирать на самый отвратительный плод её рук, на самый значительный её символ – и от этого вино только казалось им слаще! Тому же вашему Горацію!

– Но ваша тётушка никогда не согласится с таким толкованием её взглядов. И потом, мне кажется, вы несправедливы.

– Друг мой, если я чем-то в себе и горжусь, так это любовью к справедливости. И потому сразу признаю, что тётушка ни за что со мной не согласится. Но я говорю не о церковном исповедании веры, а о подлинных убеждениях. И потому ещё раз утверждаю, что

привычные христианские речи о смерти куда больше напоминают мне Горация, а не этого вашего святого, иудея Савла Тарсянина.

Уингфолду и в голову не пришло, что обычно люди высказывают то, что находится на самой поверхности их сознания, а не в его глубинах, даже если их душа и разум всколыхнулись до самого дна. Не подумал он и о том, что миссис Рамшорн, пожалуй, не лучший пример христианки, даже в его вялой и летаргической общине! В сущности, ему нечем было возразить на слова Баскома – а он не мог не ощущать их убедительную силу, – и поэтому он ничего не ответил. Не увидев никакого сопротивления, его спутник возобновил свой натиск:

– Честно говоря, – сказал он, – я думаю, что на поверку вы и сами нисколько не верите в то, что проповедуете. По-моему, для этого вы слишком благоразумны.

– Мне грустно слышать, что вы ставите благоразумие выше доброй совести, мистер Баском, но я благодарю вас за комплимент – даже если, по сути дела, он сводится к тому, что я самый что ни на есть отъявленный мошенник, с которым когда-либо вы имели несчастье познакомиться.

– Ха-ха-ха! Нет, нет, что вы! Я прекрасно понимаю, что нужно делать скидку на предрассудки, которые человек наследует от своих недалёких предков и которые прививаются ему с самого раннего детства, телесно и умственно. Но... давайте начистоту, а? Я люблю разговоры напрямую, без обиняков, сам о себе ничего не скрываю... Скажите: разве вы сами пошли в священники не исключительно для того, чтобы как-то заработать на жизнь? За горсть ячменя, за кусок хлеба, – так кажется говорится у вас в Библии? Хлеб-то, конечно, суховат – по слухам, старуха-церковь не слишком щедра к своим младшим чадам, – но всё-таки, вполне благородный, приличный заработок.

Уингфолд молчал. Спорить было бесполезно: он подписывал своё согласие с церковными догматами и стремился к рукоположению именно с такими мыслями, ни разу не задавшись вопросом об истинности того и другого или о собственной убеждённости в их истинности.

– Ваше молчание – само по себе честность, мистер Уингфорд, и весьма достойно уважения, – сказал Баском, кладя крепкую, мускулистую руку на плечо Уингфорда. – Человеку любой другой профессии легко высказывать свои взгляды, но для того, чтобы молчать, как молчите сейчас вы, тем самым ставя под сомнение всё своё прошлое, – для этого нужна смелость. Нет, вы достойны всяческого уважения.

«Может быть, это всё из-за хереса?» – думал священник. Его собеседник был (или казался) гораздо моложе него! Откуда такая незыблемая самоуверенность? Но эта самоуверенность спокойно стояла сейчас перед ним, возвышаясь во весь свой горделивый рост. Уингфорд взглянул на колокольню. Она не исчезла в тумане, но всё таким же чётким контуром выделялась на вечной синеве.

– Мне не хотелось бы, чтобы вы неверно истолковывали моё молчание, мистер Баском, – заговорил он. – Мне трудно вот так сразу ответить на все ваши вопросы. В наше время человеку не так легко сразу, без раздумий сказать, как и во что он верит. Но что бы я ни ответил, будь у меня время немного поразмыслить, вам не следует считать моё молчание признаком того, что я не верю в те догматы, которые предписывает моя профессия. Это в любом случае было бы неправдой.

– Получается, вы не можете сказать, что верите в догматы той церкви, чей хлеб едите, но также не можете сказать, что не верите в них? – обличающим тоном проговорил Баском.

– Я не желаю ставить себя в ложное положение и не вижу необходимости выбирать одну из двух предложенных вами альтернатив, – отозвался Уингфорд, которого уже начала раздражать та настойчивость, с которой Баском пытался вторгнуться к нему в душу.

– Что ж, это лишнее доказательство хотя я и без него уже во всём убедился – тому, что вся ваша ветхая система – сплошная ложь, и при этом самого худшего толка, если она способна склонить к самообману даже такого честного и прямого человека, как вы. Спокойной ночи, мистер Уингфорд.

Не пожимая рук, они приподняли на прощанье шляпы и разошлись.

Глава 6. На кладбище

Баскому было досадно, что убедительное красноречие (которое, как он надеялся, поможет ему легко склонить священника туда, куда ему хотелось) не смогло вызвать не то что доверия, но даже ответной реакции в душе священника, который фактически признался в том, что обманывался. Отчасти из-за этого он начал сомневаться, не опасно ли ему и дальше продолжать свой натиск в другом и куда более важном для него направлении. У этого современного Геракла была страсть убеждать других в своей правоте. Он неторопливо приблизился к дому, неспешно попыхивая сигарой и поглядывая на луну – не для того, чтобы полюбоваться чудом её сияния, но для того, чтобы ещё раз сказать себе, как хорошо её образ подходит упадочническим предрассудкам: даже в своей мёртвости она всё ещё завораживает человеческие умы.

Уингфорд медленно пошёл по улице, глядя на мостовую у себя под ногами. Было всего одиннадцать часов, но старая часть города уже погрузилась в сон. Он не встретил ни одного прохожего и не увидел ни одного светящегося окна. Однако идти домой ему не хотелось, и сначала он подумал, что непривычное горячее беспокойство, поднявшееся у него внутри, было всего лишь результатом лишней рюмки хереса. Зайдя за церковную ограду, в глубине которой стоял его дом, он свернул с выложенной плитами дорожки и присел на могильный камень. Но не успел он сесть, как нахлынувшие мысли явно и явно дали ему понять, что дело было вовсе не в выпитом вине. Какой всё-таки неприятный малый, этот Баском! Такой самонадеянности и заносчивости ещё поискать – пожалуй, даже среди адвокатов, которым и куска хлеба не заработать без дерзости и нахальства! Хуже всего было то, что и природное добродушие, и другие дары (которые все были того сорта, что обычно обеспечивают человеку популярность в обществе) лишь сильнее укрепляли его в этом неколебимом самодовольстве, граничащем с бесцеремонностью. И всё-таки... всё-таки... Каким бы неприятным ни казался Уингфорду этот самозванный судья, разве в его словах не было доли правды? По крайней мере, одного он

отрицать не мог: когда само существование церкви было названо ложью и обманом в его присутствии – то есть в присутствии того, что обязался ей служить и ел её хлеб, – его собственная честность не позволила ему выступить в её защиту! Что-то здесь не так; только в чём тут проблема: в церкви или в нём самом? Ну, что бы там ни творилось с церковью, он-то безусловно виноват! Ведь он не смог даже просто подтвердить свою веру в те доктрины, которые он, будучи глашатаем церкви, каждое воскресенье проповедует во имя истины и которые ему снова предстояло провозгласить уже завтра! Так в чём же дело? Почему он не смог сказать, что верит в них? Он ни разу сознательно в них не усомнился; не сомневался он в них и сейчас. Однако когда этот развязный, надменный скептик-адвокат бросил ему свой вызов, словно одним махом швырнув его в зал суда и призвав к ответу, какое-то неясное чувство (что это, честность? Но тогда каким ужасающе нечестным он был до сих пор! Или неуверенность в себе? Но тогда какое право он имеет занимать своё нынешнее положение в церкви?), какое-то непонятное ощущение перехватило ему горло, помешало прямо, без колебаний, по-мужски сказать, что он думает, а потом вынудило – полно, вынудило ли? – прибегать к увёрткам и ухищрениям, «под стать всей вашей священнической братии!», как непременно сказал бы этот молодчик! Надо пойти домой и почитать Пейли – или «Аналогию» Батлера. У него есть долг перед церковью, и он должен уметь вступить за её честь. А может, лучше почитать Лейтона? Или кого-то посовременнее – Неандера, Колриджа или, например, доктора Лиддона? В конце концов, у церкви есть тысячи учёных мужей, готовых оснастить его всем необходимым, чтобы заставить замолчать всех Баскомов на свете с их глупыми, накрахмаленными манишками!

Уингфолда охватило растущее презрение, но в следующую же минуту он неожиданно подумал, что ещё неизвестно, кто больше достоин презрения: Баском или некий Томас Уингфолд. Одно было ясно: друзья и родственники помогли ему стать священником, а он добровольно на это согласился, чтобы иметь средства к существованию. Особой любви к своему делу он не испытывал, разве только красота какого-нибудь гимна или стройность канонической молитвы время от времени вызывали в нём мимолётное безвольное восхищение или

вялое, пассивное сочувствие. Разве и раньше он порой не ощущал искреннего к себе презрения за то, что зарабатывает себе на хлеб работой, которую любая благочестивая прихожанка могла бы исполнять куда лучше него? Да, он исправно делал то, что от него требовалось, и не только «отправлял службы», но и следил за тем, чтобы всё совершалось благопристойно и чинно. Тем не менее, факт оставался фактом: если адвокат Баском вдруг решит встать перед всей общиной (а ведь он наверняка не постеснялся бы это сделать) и во всеуслышание провозгласить, что Бога просто нет, то он, преподобный Томас Уингфорд, не сможет от имени церкви доказать, что это не так. Да что там! Уингфорд был настолько уверен, что в этом случае его ждёт полный разгром, что просто не осмелился бы привести ни одного аргумента со своей стороны. Да и может ли он по праву называть это «своей стороной»? Может ли он сказать, что верит в существование Бога? Или он знает лишь то, что есть англиканская церковь, которая платит ему за то, что по воскресеньям он вслух читает молитвы Богу, а уж верят в Него прихожане (и он сам) или нет (как считает, например, Баском) – это другой вопрос?

Думать обо всём этом было тягостно, особенно накануне воскресенья. Что с того, что в его распоряжении есть сотни, тысячи книг, способных благополучно разделаться с любым вопросом и сомнением перевозбуждённого и невежественного разума? Какая в этом польза? Как ему, обычному, жалкому смертному, обладающему весьма средними способностями и довольно скудным запасом знаний, прочесть, изучить, понять, одолеть и усвоить содержание всех этих бесчисленных томов, необходимых для его оснащения, чтобы он, не притязая на славу могучего рыцаря, отправляющегося на поиски дракона в самое его логово, мог надеяться хотя бы на то, что это отвратительное чудовище не проглотит его в один присест, вместе со всем снаряжением, прямо на большой дороге? Кроме того (и эта мысль беспокоила его больше всего), сначала, ради элементарной честности, ему придётся убедить самого себя, убить самого жуткого дракона, на собственном поле, одновременно вооружаясь для большого сражения. Ведь подобно волнам, нагоняемым зюйдвестом, воскресенье за воскресеньем так и будут с рёвом накатываться на плоский, беззащитный берег его жиз-

ни. Воскресенье за воскресеньем простирались в его воображении в жуткий, бесконечный ряд – воскресенье за воскресеньем, полные бесчестности, притворства и лицемерия, которое куда хуже любого идолопоклонства. В его нынешнем положении садиться за изучение доказательств истинности христианства было всё равно, что взять отца полуголодного семейства и послать его на заработки куда-нибудь в Китай.

Он презрительно рассмеялся над самой этой мыслью и, почувствовав, что могильная плита в ноябрьский вечер – не самое лучшее место для размышлений, встал и, потянувшись, поднял безутешный, почти отчаявшийся взгляд на солидную незыблемость тёмной церкви, на слегка волнистую линию обветшавшей крыши, которая за колокольней резко взмывала в небо и тут же падала вниз. Затем он вышел на дорожку и зашагал домой, оставив позади обители мёртвых, теснившиеся вокруг обители воскресения, но у дальних ворот снова обернулся, взглянул на башню, и его взгляд, скользя по её очертаниям, вслед за ней устремился к небу. Там всё так же парила и покоилась тихая ночь с её нежными грудками прозрачной голубизны, прохладным светом луны, стальным блеском звёзд и чем-то таким, чего он не в силах был понять. Он отправился домой, и сердце его немного успокоилось, словно издали он услышал чей-то странный и милый голос.

Глава 7. Кузен и кузина

Джордж Баском был подлинным чадом своего века или даже, пожалуй, своего поколения. В прошлом столетии описание такого юноши, несомненно, показалось бы читателю неправдоподобным. Я вовсе не хочу сказать, что само по себе это делает его лучше или хуже; ведь и сейчас среди нас есть много и хорошего, и дурного, что наши предки сочли бы непонятным и потому немислимым.

Порой, как мы только что видели на примере Уингфолда, более-менее честному человеку трудно сказать, во что он верит он сам; насколько же трудней ему утверждать, во что не верит кто-то другой! Поэтому о Баскоте я рискну сказать лишь то, что, по всей видимости, он считал своим жизненным призванием разоблачать убеждения и верования окружающих его людей. Вопрос о том, с какой стати он взял на себя эту миссию, сам он счёл бы бессмысленным и ответил бы, что если человек обладает той или иной истиной, неведомой другому, понимает эту истину и способен объяснить её куда лучше остальных, то уже сама эта истина наделяет его апостольским призванием и полномочиями. Само по себе это убеждение было неоспоримо верным. Возникал только один вопрос: насколько истинным было избранное им призвание? Ведь согласитесь, от этого зависит очень многое.

По мнению некоторых людей, полагавших, что неплохо его знают, Джордж Баском пока что довольно небрежно относился к разнице между... пожалуй, не между фактом и законом, а между законом и истиной, – хотя и обладал достаточной проницательностью для того, чтобы увидеть между ними различие. Эти же люди говорили, что он яростно нападал на чужие убеждения, хотя видел лишь искажённую их тень; более того, они утверждали, что некоторые из этих убеждений он был просто неспособен увидеть – и мог их только отвергать. Если бы при этом он говорил лишь то, что не видит истины в том, что отвергает, его заявления были бы вполне оправданными. Но с чего он взял, что его неспособность увидеть ту или иную вещь сама по себе является не предположением о её возможном несуществовании, а неоспоримым доказательством того, что её не существует? По какому

праву он объявлял жуликом или невеждой (а иногда и тем и другим сразу) каждого, кто верил в то, во что не верил он сам? Без тени колебания, без тени почтительного смущения он готов был вынести приговор любому – будь то сам Шекспир, Бэкон или Мильтон – и судить тех, кто рядом с ним был всё равно что живой океан рядом с огранённым бриллиантом. Доспехи его честности крепились на самодовольстве, а сами были необыкновенно твёрдыми, непробиваемыми.

Тот уголок человеческой природы, который сообщается с неведомым, в Баскоме был наглухо замурован стеной без единой трещины или щели, но сам он даже не подозревал об этом. Он вышел из тьмы и возвращался во тьму, и готов был признавать лишь то, что явственно и зримо лежало прямо перед ним – и ничего больше. Он не мог представить себе такого человека, которому жизнь без прикосновения к сверхъестественному кажется немыслимой и невозможной. Ему казалось, что человеческое воображение служит лишь для того, чтобы забавлять людей своими причудами. По всей видимости, он не знал, что именно Воображение подвело человечество ко всем научным открытиям, которые он обожествлял; так откуда же ему было сообразить, что оно способно хоть немного, но осветить человеку путь в чаще сверхчувственной реальности?

Читатели, понимающие дух того времени, о котором я пишу, без труда рассудят, насколько оригинальными и самобытными были его идеи. Многие люди, с энтузиазмом принимающие чужое учение (особенно если оно всплыло после нескольких столетий полузабвения и для его понимания нам время от времени требуется словарь), кажутся себе ничуть не меньшими героями, чем те, кто первым сформулировал обнаруженную ими доктрину, – и начинают так ревностно её проповедовать, что вскоре вовсе забывают её подлинное происхождение и носятся с ней, как с собственным детищем.

Читателю может показаться странным, что сын священника мог столь безоглядно окунуться в мирские дела, но люди наблюдательные знают, что, по крайней мере, в колледже поведение священнических отпрысков обычно так же мало отражает те заповеди, которые должны проповедовать их отцы, как и поведение всех остальных юношей – а подчас даже меньше. Почему это так, следует призадуматься

их отцам. Что касается Баскома, то он особенно гордился своей свободой от предрассудков (вместо того, чтобы воспринимать её как естественное достижение любого джентльмена) и нередко только поэтому решительно отвергал взгляды, исповедуемые духовенством, ещё до того, как намеренно начал выставлять себя яростным противником церковных суеверий.

Чтобы не утомить читателя описанием этого не слишком интересного персонажа, пока я лишь позволю себе добавить, что Баском (без особого труда) убедил себя в том, что призван быть пророком нового миропорядка. В Кембридже ему уже прочили эту миссию – особенно те, кто почитал его яростным врагом всякого обмана; и надо сказать, что в какой-то мере он заслуживал эту похвалу. Теперь круг его влияния расширился, и он уже несколько раз распространял свой так называемый свет с помощью некоторых лондонских редакций. Однако теперь Джордж вознамерился присоединить и свою кузину, Хелен Лингард, к числу адептов, находящихся под его пророческим влиянием. Несомненно, эта интеллектуальная добыча была для него куда более привлекательной, потому что охота велась на довольно богатых угодьях: ему предстояло завоевать красивую, одарённую и, прежде всего, прекрасно воспитанную девушку. Надо отдать Баскому должное: её наследство и состояние не играли для него почти никакой роли. Если он и подумывал о том, чтобы жениться на ней, то в самом начале, когда он впервые ощутил желание обратить её в свою веру, сознательная мысль о женитьбе вовсе не приходила ему в голову. И хотя никакой влюблённости он не чувствовал, Хелен всегда нравилась ему, и он полагал, что нашёл в ней родственную душу.

Хелен, как и её кузен, не ощущала особых поводов для недовольства собой, но при этом явного самодовольства в ней не было: для этого её разум был ещё недостаточно деятельным. Если кому-то из читателей покажется невероятным, что в своём возрасте она ещё ни разу не сталкивалась с вопросами, которые породили бы в ней духовных и душевных движений, ни разу не выразила мнения, которое можно было бы по праву назвать её собственным, я напомним, что она всегда отличалась прекрасным здоровьем, и её умственные способности были постоянно и в меру задействованы, хотя до сих пор

не обнаруживали ни малейшей склонности к какому-либо художественному выражению. Её нельзя было обвинить в поверхностности: к примеру, в музыке она прошла всю гармоническую теорию и знала её назубок, но играла, как я уже говорил, совершенно безжизненно. Она прекрасно чувствовала перспективу и владела пером и чернилами настолько, что могла с точностью до волоска скопировать гравюру; однако её собственные рисунки выглядели деревянными и механическими. Она была хорошо знакома с евклидовыми теоремами, и ей нравилось выстраивать геометрические пропорции, но её учитель ни разу не видел, чтобы она испытала удовольствие от литературного сравнения или проявила интерес к какой-либо поэзии выше и глубже той, что обычно нравится мальчишкам-школьникам. Она знала тысячи фактов, но ни один из них не вызывал у неё удивления или вопроса. Любую попытку пробудить в ней восхищение и восторг она неизменно встречала во всеоружии спокойного разума, но никак на неё не откликалась. Однако её учитель рисования не сомневался, что где-то за завесой тихого, серого утра её ясного, но безмятежного ума дремлет большая, глубокая душа.

Насколько она могла судить (правда, она ни разу об этом не задумывалась), Хелен жила в гармонии со всем живым и неживым творением. Но что касается мысли о том, есть ли что-то над этим творением или за этим творением, в его сердце или просто в его основе, то как она могла думать о том, что ещё ни разу не представало перед её внутренним взором ни благодаря любви, ни благодаря философии – или даже простому любопытству? Что же до общественных религиозных установлений, то довольная и спокойная душа может всю жизнь скользить между ними, не испытав при этом ни малейшего потрясения, оставаясь жизнерадостной и неуловимой, как пчела во время града. Теперь же её кузен собирался добровольно принять на себя попечение за дальнейшим бездуховным развитием её существа, чтобы незримая реальность и дальше не причиняла ей ни тревог, ни беспокойства.

Особняк миссис Рамшорн раньше считался главной усадьбой всего предместья, и хотя сейчас он стоял на главной улице городка и от тракта его отделяло всего несколько ярдов, за ним располагался

обширный старинный сад. Большой сад всегда хорош сам по себе, но старинный сад – вещь воистину бесценная, а этот к тому же сохранил особую полузабытую прелесть. Старомодные свидетельства его истории дожили до нового, иного и неприветливого времени и теперь стойко упорствовали в своей ветхой скромности. Никто из обитателей особняка не ценил этой старомодности; сад оставался таким лишь потому, что нынешний садовник обладал здоровым, благотворным тупоумием и был начисто лишён способности забыть то, чему с небывалым трудом научил его отец, который был садовником до него. Право, нам следует куда больше ценить те благословения, которые приносит человечеству честная тупость; ведь это умники портят всё на свете.

Именно в этот сад Баском вышел на следующее утро после завтрака. Хелен как раз срезала последние хризантемы, красовавшиеся за окном её комнаты. Она любила запах хорошей сигары почти так же, как запах горящих в камине сосновых поленьев, и потому, завидев Джорджа с балкона, располагавшегося прямо на крыше веранды, тут же сбегала к нему по деревянной лесенке. Ему же только этого и было нужно.

Глава 8. В саду

– Хотите сигару, Хелен? – предложил Джордж.

– Нет благодарю вас, – ответила она. – Мне больше нравится, когда дым не такой густой.

– Не понимаю, почему женщины вечно норовят всё разбавить.

– Но если нам действительно не по душе крепкие запахи и вкусы? Нельзя же любить всё одинаково! То есть нельзя же, чтобы чувства, приученные к крепкому, одновременно оставались утончёнными. Вряд ли заядлый курильщик получит от аромата розы то же самое удовольствие, что и я.

– Правда жаль, что мы не можем сравнивать ощущения?

– По-моему, это не так уж важно; всё равно каждый останется при своём.

– Bravo, Хелен! Если кто-то и попытается вас провести, вы легко выбьете из-под него опору. Жаль, что в обветшавшем корыте творения мало таких, как вы!

Любопытно заметить, что при всей своей придирчивости Баском нередко, сам того не замечая, именовал вселенную творением.

– Интересно, Джордж, почему вы постоянно нападаете на творение? У вас ведь, кажется, нет особых оснований жаловаться на выпавшую вам участь.

– А я возмущаюсь не из-за себя. Жертвой судьбы меня действительно не назовёшь. Но ведь я не все! И потом, в мире слишком много прирождённых болванов.

– Они же не виноваты, что родились такими.

– Пусть так. Но другим от этого не легче. К тому же, прирождённые дураки – это ещё не самое худшее. На каждого из них приходится тысяча ослов, которые дурачат себя сами. На каждого, кто готов честно признать честные доводы, приходится десяток тысяч тех, кто бессовестно от них увиливает. Взять хотя бы вчерашнего священника – как его там? Уингфорд, кажется? Вы только посмотрите на него!

– Не вижу в нём ничего такого, из-за чего стоило бы возмущаться, – сказала Хелен. – Он кажется совершенно безобидным.

– Какой же он безобидный, если за деньги нанялся поддерживать систему, которая...

Тут Баском сдержался, вспомнив, что столь неожиданное нападение на общественное устройство, которое, по меньшей мере, освящено веками истории (и очень жаль, что так!), может вызвать прилив женских предрассудков. И поскольку Хелен и раньше выслушивала от него множество критических замечаний, даже не подозревая, к чему он клонит, перед тем, как окончательно открыть карты, он решил убрать из-под этих предрассудков всякую прочную основу, чтобы под ними не было ничего, кроме клокочущей бездны возражений. У этого пророка-первопроходца, несущего людям благовест, уже был кое-какой опыт: однажды (хотя Джордж и полагал, что Хелен

свободна от подобных слабостей) один из самых многообещающих его учеников уже отвернулся от него с неподдельным ужасом и отвращением.

– Это же такая глупость, – снова заговорил он, обратив своё нападение от общего к частному, – надеяться перевоспитать людей посредством кнута и пряника, обещая им небеса, на которых даже самый тупоголовый из них помрёт со скуки, и угрожая им преисподней, сама мысль о которой, даже в первом приближении, способна начисто парализовать в здоровом человеке всякое побуждение к действию!

– Но ведь все народы в истории человечества верили в то, что после смерти их ждёт награда или наказание, – возразила Хелен.

– Всё это лишь брокенские призраки⁸, проекция их собственного мнения о себе, хорошего или дурного. Посмотрите сами, к чему это нас привело!

– А чем вы всё это замените, Джордж?

– А зачем это чем-то заменять? Разве люди не должны относиться друг к другу по-хорошему просто потому, что сделаны из одной и той же плоти и крови? Разве нам с вами нужны угрозы и обещания, чтобы стать добрее? И какое право мы имеем судить тех, кто хуже нас? Мне кажется, – продолжал он, выпустив облачко дыма и вдохнув широкой грудью побольше воздуха, – нам, недолговечным тварям, вполне достаточно научиться такому взаимному состраданию, чтобы набраться доброты и уважения к себе подобным до конца своих дней.

– Но как вы собираетесь убеждать людей в своей правоте? – резонно спросила Хелен.

– Для начала я бы сказал им: вам нужно осознать, что вы – часть единого целого, и всякий поступок, наносящий вред этому целому, непременно скажется и на вас.

– И как это повлияет на мужа, который по вечерам для забавы бьёт свою жену?

– Тут вы правы, до моих рассуждений ему не будет никакого дела. Но этот муж стал таким именно потому, что родился и вырос под действием живой и жестокой системы. Его чувствительный мозг

8 Брокенский призрак – тень горы, наблюдаемая на фоне вечерних облаков. Впервые подобное явление, описано на горе Брокен, в Средней Германии.

уже поражён ядовитыми парами отравленного вина, его воображение уже забито ужасными призраками; он постоянно ощущает на себе недружелюбный взгляд, только и ждущий его падения, и думает, что под его ногами вот-вот разверзнется огненная погибель. Потому-то, из чистого отчаяния, он и ведёт себя как истый безумец, хотя в безумца его превратили священники и трактирщики. Нет, Хелен, – серьёзно продолжал он, пристально глядя ей в глаза, – избавить человечество от ужасов этого обмана, действующего не только на плебеев и изуверов – ибо сколько самых утончённых и деликатных натур ожесточаются от зловредного внушения этих всепроникающих лживых махин, как бы они ни назывались – называйте их философией, обществом, религией, мне всё равно! – да, избавить человека от этих призраков, наводняющих его сознание, значит прожить свою жизнь не зря! И тот, кто знает, что всю свою жизнь сражался с подобными чудовищами, вполне может с радостью идти от безымянного прошлого к безымянному будущему, не заботясь даже о том, что упорное стремление принести людям благословение ещё больше укоротило его недолгий век, и, может быть, не теряя мужества даже на пороге окончательного небытия, швырнуть в лицо глумящейся Жизни её собственную насмешку и умереть её врагом и другом Смерти!

Надо сказать, что Джордж несколько смешивал свои выражения и понятия. Может статься, он делал это ради Хелен – или вернее, ради того, чтобы затемнить истинный смысл своих слов. Как бы то ни было, скорбные нотки принадлежали не ему; он заимствовал их у тех поэтов, чьи взгляды походили на его собственные, но всплывали на поверхность из глубины могучих и опечаленных сердец. Высокая, статная и спокойная, Хелен уютно прогуливалась с Джорджем по дорожкам сада, с удовольствием вдыхая запах его сигары и размышляя о том, что из него получится прекрасный судебный защитник. Пожалуй, его речи казались ей куда более возвышенными, чем были на самом деле: некий ореол бескорыстия и жертвенности, осенявший его слова, не мог не вызвать в ней приязни и сочувствия. Ещё бы: перед ней был молодой красавец в расцвете сил, стоявший на пороге успеха, куривший благороднейшую гавану, который не только не превозносился собственным благополучием, но, напротив, трепетно заботился о тех,

кому повезло меньше, и даже готов был положить ради них собственную жизнь! Разве не это он имел в виду, говоря о подлинном смысле земного существования? И каким одухотворённым он выглядел, произнося всё это с горделиво поднятой головой и трепещущими, как у породистого скакуна, ноздрями! А то, что он не лицемерит, совершенно самоочевидно! Правда, будь Хелен немного проницательнее, по тщательном рассмотрении эта самоочевидная честность, наверное, свелась бы к тому, что Джордж искренне верил в себя, говорил от души и предлагал ей только то, что действительно ценил и за что крепко держался сам.

Если бы кто-нибудь, знакомый с трудами Дарвина, случайно увидел, как эти двое, в великолепии беспечной, уверенной молодости, шагают между старых кипарисов и обрезанных тисов, ёжившихся в жалких лохмотьях угасшего лета, они наверняка показались бы ему прекрасным образчиком естественного отбора. И только сейчас Баском впервые всерьёз (то есть с тенью сознательного намерения) подумал о Хелен как о возможной спутнице жизни. Она так внимательно слушала его, с такой готовностью принимала то, что он говорил, и, по всей видимости, была настолько не против того, чтобы стать его ученицей, что он начал потихоньку подумывать о ней как о той самой женщине, что создана – нет, не создана; ведь тогда придётся допустить существование создателя – именно для него (ну да, только слово «создана» придётся опустить), если когда-нибудь он всё-таки решится женьтибой ограничить ту свободу, к которой человека – этот венец вселенной, апофеоз природы, самое высокоразвитое из позвоночных – то ли предназначила, то ли приговорила, помимо его собственной или чьей-то чужой воли, вечная и безликая материя, вечно производящая нечто лучшее самой себя в плодovитой тьме бесцельной случайности.

Глава 9. В парке

В дальнем конце старинного сада была каменная изгородь, глубоко утопленная в землю, и раскинувшийся за ней луг (часть которого раньше принадлежала обитателям особняка) казался его естественным продолжением. К тому же в изгороди была калитка, выходящая прямо на открытое пространство, и поскольку день был чудесный, Баском предложил своей кухне прогуляться по приусадебному парку⁹ старого поместья. Парк начинался сразу за лугом, и поскольку миссис Рамшорн была счастливой обладательницей ключей от калитки, ведущей с луга в парк, молодым людям понадобилось всего несколько минут, чтобы раздобыть эти ключи и дойти до леса. Земля была сухая, ветра не было, и хотя деревья стояли в полном молчании и выглядели совсем голыми и печальными, трава подобралась к самым их корням, а солнце расцветило их золотыми бликами, игравшими на яркой зелени мха, украшавшего стволы постарше. Наверное, ни лошади, ни собаки не осознают, что солнце приносит им радость, но, по законам лошадиной и собачьей жизни, в ясный день и те и другие явно чувствуют себя счастливее. Хелен и Джордж не смогли бы понять ни одного стихотворения Китса, не говоря уже о Вордсворте (хотя самим им вполне могло показаться, что они всё прекрасно понимают), но и они в какой-то мере ощутили душу природы, обитавшую в этих простых прелестях.

– Интересно, чем заняты зимой птицы, – вслух подумала Хелен.

– Ключут себе ягоды и перебиваются, как могут, – откликнулся Джордж.

– Да нет, я не об этом. Куда они все деваются? Ведь зимой их почти не видно.

– На самом деле, мы и летом почти их не видим. Только слышим, как они поют, и потому нам кажется, что они на виду.

– Но зимой им даже негде спрятаться.

⁹ Приусадебным парком в Англии называется лесистая местность, являющаяся частью поместья или заповедника. От простого леса парк отличается огороженностью и отсутствием лесников.

– Да они у нас такие скромные, что где угодно скроются без труда.

– Должно быть, им приходится нелегко, особенно в снег и морозы.

– Ну, не знаю, – возразил Джордж. – По-моему, они вполне довольны жизнью. Мир совсем не так плох, каким его выставляют некоторые люди. Кое в чём природа действительно жестока, с этим не поспоришь. Она делает своё дело без малейших колебаний. Ей всё равно, что ради благополучия одного-единственного монстра-первосвященника приносятся в жертву десятки покорных рыбёшек. И уж если кого затянет в зубы её безжалостной машины, она так перемелет этого несчастного, что от него ничего не останется. А арсенал у неё богатый: тут тебе и горячка, и лихорадка, и судороги, и чахотка – всё что хочешь! И всё равно, если не считать её собственных надобностей и человеческого невежества и безрассудства, по большому счёту, она старуха добродушная, и нам всем достаётся от неё немало радостей и утех.

– По крайней мере, летом птицы кажутся счастливыми, когда слышишь, как они поют, – согласилась Хелен.

– Да и зимой, когда видишь, как они обклёвывают кусты боярышника – если только кого из них не утащит кошка или ястреб. Кстати, природу это не особенно беспокоит. Что ж, главное утешение в том, что всё это скоро кончится, для всех нас. Жаль, что люди никак не избавятся от собственных кошек и ястребов – ну например, от бессмысленного суеверия, заставляющего их думать, что все их страдания – дело рук чьей-то злой и могущественной воли! От таких глупостей как раз и идут все несчастья!

– Но я не понимаю... – начала Хелен.

– Мы говорили о птицах зимой, – перебил Джордж, старательно избегая слишком внезапно наполнять паруса, которые должны были навсегда унести с собой всякую веру его кузины. Он был достаточно умен и прекрасно знал, какой силой обладает искусно брошенный намёк, исподволь действующий на человека, пока тот не вполне его понимает. А к тому времени, когда смысл сказанного станет ясен, человек уже по привычке к когда-то чуждой ему мысли: котёнок,

оказавшийся тигрёнком, уже не кажется нам таким страшным, как если бы мы с самого начала знали, что к нам в дом принесли хищника.

Хелен и Джордж брели по парку, разговаривая о том и о сём, пока впереди не показался полувыстроенный особняк нового хозяина поместья.

– А тут всё неплохо продвинулось с прошлого раза, – заметил Джордж. – Хотя, кажется, они всё равно не слишком торопятся.

– Тётя говорит, что фундамент заложили лет двадцать назад, ещё при дядюшке нынешнего графа, – отозвалась Хелен. – А потом почему-то всё бросили.

– А раньше здесь не было дома?

– Был, конечно – только его и домом-то назвать нельзя.

– И что, его снесли?

– Да нет, ещё стоит.

– Где?

– Вон там, в лощине, за теми деревьями. Хуже места не придумаешь. Полно, Джордж, неужели вы ни разу его не видели? Мы с Польди всё время туда бегали, когда были маленькими.

– Нет, не видел. Так что же, он совсем пустой?

– Ну да, почти. Помню, что кто-то продолжал ухаживал за садом, но за домом и тогда уже перестали присматривать. Так он и стоит, медленно ветшая и разваливаясь на части. Хотите посмотреть?

– Конечно, – кивнул Баском, который всегда был готов угостить свои чувства новым впечатлением, и они зашагали к старому Гластонскому дому, как называли его в округе, в честь какого-то куда более древнего и, должно быть, укрепленного строения.

В лощину, где стоял покинутый особняк, стекались все ручьи приусадебного парка и, прежде чем бежать дальше, к реке, собирались в небольшое озерце, находившееся на дальнем краю заброшенного сада. На другом краю сада возвышался сам особняк. С двух сторон сад был обнесён стеной, сбегавшей к озеру. Что же до озера, то среди гластонских ребятишек ходили невероятные слухи о том, какое оно глубокое и какие жуткие твари в нём обитают, – и ещё одна ужасная история (из которой даже сделали балладу) про девушку, которую утопили в нём, засунув в мешок, и чей призрак ещё бродил по саду

и старому особняку в ночи, когда луна почти совсем сходила на убыль. Поэтому-то местная ребятня никогда не подходила к нему близко, кроме тех редких смельчаков, чья тяга к приключениям время от времени умирала их воображение настолько, что оно рисовало перед ними только те страхи, которые лишь подстёгивали их рвение сладостным чувством опасности. Правда, заходить в дом не отваживались даже они.

А вот Хелен и Леопольд в своё время обшарили ветхий особняк вдоль и поперёк. Хотя у Леопольда хватило бы воображения оживить самые необыкновенные фантазии, Хелен, которая во всём руководила братом, была почти начисто его лишена. Когда она была совсем маленькой, няня рассказывала ей страшные истории про заброшенный особняк, но ведь с тех пор она выросла, начала учиться и уже не верила в подобные рассказы. В любом случае, она была не из тех, кто боится того, во что не верит. Так что когда Леопольд приезжал домой на каникулы, они частенько пробирались в старый дом и знали его как свои пять пальцев.

– Вот, смотрите, – сказала Хелен, открывая дверцу стенового шкафа и входя в сумрачную каморку с единственным окошком, располагавшимся высоко вверху и выходящим на лестницу чёрного хода. – Польди всегда боялся сюда заходить, как я его ни уговаривала. Стоило ему здесь оказаться, он начинал так дрожать и рваться наружу, что в конце концов я оставила его в покое. Но вам я сейчас кое-что покажу.

Вслед за ней Баском пересёк каморку, подошёл к такому же стенному шкафу, как тот, через который они вошли, и увидел, что дощатый пол этого шкафа на самом деле был чем-то вроде крышки, пригнанной так, что заметить её было нелегко. Под ней Джордж увидел каменный колодец, в котором при случае могло бы спрятаться трое человек.

– Если, конечно, придумать, как им тут дышать, – заметил он. – Противное местечко. Жаль, что у этого колодца нет мозгов и языка. Ему наверняка есть что порассказать!

– Пойдёмте отсюда, – проговорила Хелен. – Не знаю почему, но теперь мне здесь тоже не по себе. Давайте выйдем поскорее на воздух.

Они выбрались из лощины, пересекли огибавшую её густую полосу леса и снова оказались на открытом пространстве. Вскоре они вышли на дорожку, которая вела от домика привратника к новому особняку, и неожиданно встретились с весьма странной парочкой.

Глава 10. Карлики

Не успели они разминуться со встречными, как Джордж повернулся к кухне с выражением справедливого негодования пополам с отвращением. Сам вид этого физического недоразумения, этой насмешки над человечеством был противен всем здоровым инстинктам его отборной, утончённой природы.

В девушке было всего четыре фута роста. Она была горбата, одно плечо у неё уродливо выдавалось вверх, и двигалась она вперевалку, потому что одна нога у неё была короче другой. Зато её спутник шёл ровно, даже с некоторым ненарочитым, но неизбежным достоинством, и потому вид у него был несколько торжественный. Ростом он был ничуть не выше, с рахитической грудной клеткой и головой, словно вдавленной в широкие, квадратные плечи. Он выглядел вдвое старше своей спутницы и, казалось, приходился ей отцом. Проходя мимо, Хелен с Джорджем услышали его громкое, астматическое дыхание.

– Бедняги! – проговорила Хелен с равнодушным сочувствием.

– Это просто позор! – воскликнул Джордж тоном праведного гнева. – Подобные существа не имеют права на существование! Мерзкие карлики!

– Но Джордж, – укоряющим голосом остановила его Хелен, – эти несчастные не виноваты в своём уродстве.

– Нет, но какое право он имел жениться и плодить столь отвратительное потомство?!

– Вы делаете чересчур поспешные выводы, Джордж. Это его племянница.

– Тогда надо было задушить её при рождении, ради всего человеческого! Таким страшилищам нельзя позволять жить!

– К сожалению, у всех них есть матери, – ответила Хелен, и что-то в её лице подсказало Баскому, что он зашёл слишком далеко.

– Хелен, милая, поймите меня правильно, – заговорил он. – Я не призываю морить этих уродов голодом или топить их в реке, если они уже достигли того возраста, чтобы этому воспротивиться. Боюсь, – добавил он с улыбкой, – нам не удастся убедить их самих в справедливости и необходимости подобных мер. Но ведь такие люди всё-таки умудряются жениться – я сам знаю несколько случаев! – а вот уж это нам следует всячески предотвращать соответствующими законами и даже наказаниями.

– То есть вы готовы взвалить на них новое несчастье просто потому, что они уже несчастны? – парировала Хелен.

– Ну же, Хелен, не будьте ко мне несправедливы, даже ради справедливости к своим горбунам! Я пекусь о благе большинства, а ведь оно, несомненно, важнее блага немногих.

– Мне не нравится только то, что благо большинства достигается в ущерб этим немногим – притом, что они меньше других способны это вынести.

– Ну, большого ущерба тут нет, – заметил Баском. – Признайте, что для общества было бы лучше, если бы таких людей вовсе... Нет, лучше выразиться иначе: признайте, что каждому человеку, входящему в состав общества, было бы лучше, если бы он не был уродом, инвалидом или умалишённым, и вы увидите, что мы с вами говорим об одном и том же. В той или иной местности при заданных условиях всегда будет оставаться определённое количество людей; поэтому закон, который я предлагаю, не приведёт к тому, что число людей, дышащих воздухом небес, уменьшится (если взять для примера этих ваших карликов) на два человека. Нет, этот закон будет означать, что двое других, живущих в этой самой местности, будут совсем не такими, как эти создания, которые только что прошли мимо нас и чьё существование является обузой для них самих, но такими, как,

например, мы с вами. Думаю, вы согласитесь, что уж за нас-то с вами, Хелен, природе явно нечего стыдиться!

Особой чувствительностью Хелен не отличалась. Она не покраснела и не опустила глаз. Теперь, когда Баском таким образом изложил ей свои воззрения, они не показались ей такими уж предосудительными, и больше она ему не возражала. Они пошли дальше по саду, мимо множества напоминаний об уходящем, пусть менее роскошном, но более величавом бытии прошлого поколения, и на ходу она безмятежно слушала лекцию об основаниях закона, а именно: о необходимости поступиться некоторыми личными правами для обеспечения иных, более важных свобод. Она всё прекрасно понимала, выказывала к словам кузена спокойный интерес и была вполне им довольна.

Они уселись в маленькой деревянной беседке под низкими ветвями огромного кедра и продолжали разговор – или, вернее сказать, Баском продолжал свой монолог. Пожалуй, любой более живой девушке давно стало бы с ним смертельно скучно, но Хелен не отличалась живостью и не чувствовала ни малейшей скуки. К тому времени, когда они вернулись домой, она успела выслушать от Баскома чуть ли не сотню умудрённых сентенций, включая его взгляды на преступление и наказание, изложением которых (какими бы они ни были, верными или неверными, хорошими или дурными) я не стану утомлять читателя, кроме одного момента: суровой, незабываемой убеждённости Джорджа в том, что всякое преступление должно быть наказано. Ни в коем случае нельзя допускать, провозгласил он, чтобы слабость или жалость мешали нам карать человека, если он нарушил закон, на котором зиждется благосостояние общества: нам следует помнить, что прежде всего нужно заботиться не о судьбе отдельного индивидуума, но о всеобщем благе.

Короче говоря, это был во всех отношениях превосходный тет-а-тет двух безупречных экземпляров человеческого рода, и, войдя в дом, оба они выразили друг другу удовольствие от совместной прогулки.

При его воззрениях, в одном Баском всё-таки проявил непоследовательность: в воскресенье он отправился с тётушкой и кузиной на богослужение, снисходя к предрассудкам не столько Хелен, сколько миссис Рамшорн, которая, как я уже говорил, ощущала свою

принадлежность к кругам официального духовенства и весьма сурово осуждала порочность тех, кто не посещал церковь. Что толку пытаться её переубедить, говорил он себе: если ему удастся это сделать, он только сделает её несчастной, а ведь его главная цель – даровать человечеству счастье! Вот почему он сидел сейчас в величественном старом аббатстве вместе с дамами, слушая сначала утренние молитвы, литанию и служение причащения, сведённые в одно целое по утомительному и ленивому современному обычаю, а потом – скучную, благоразумную проповедь о христианском долге прощения, короткую и неплохо прочитанную.

Пожалуй, большинству прихожан это приносило даже некоторое благо, неувловимое, как присутствие звёзд, – сидеть под этим «высоким сводчатым куполом¹⁰», посреди громадного, отстранённого великолепия, в чьих могущественных пределах воплощается беспредельное и где мы учимся ощущать ту жутко-прекрасную бесконечность, из которой оно почерпнуто. Пожалуй, умягчённый годами голос старинного органа касался тех глубин их души, которых ещё не достигло самосознание. Ещё я думаю, что в молитвах, читавшихся с толком и пониманием, многие из них не только видели сакральные формулы, но и ощущали некое утешение и успокоение, хотя не прилагали ни малейшего усилия к тому, чтобы следовать им сердцем. Так что, по большому счёту, посещение богослужений не ожесточало их, но даже шло им на пользу. Однако что касается главного предназначения церкви – расшевелить в детях Всевышнего желание ухватиться за края риз своего Отца, пробудить совесть каждого настолько, чтобы она сама сказала: «ВСТАНУ И ПОЙДУ», дать силы поработённой воле, чтобы та разорвала свои путы и освободилась во имя вечной творящей Свободы, – в этом отношении особой помощи прихожане не получали. По естественному раскладу вещей, всё это должна была давать им проповедь; хотя бы в ней должен был звучать голос Святого Духа, обитающего в Своём святом храме, если, как говорил апостол Павел, храмом этим действительно является живая человеческая душа. Но священник, по всей видимости, не считал всё это частью возложенных на него обязанностей, хотя в его проповедях ещё оставались

10 Цитата из поэмы Джона Мильтона "Ponderosa".

кое-какие слабые признаки того, что изначально речь, произносимая с церковной кафедры, должна было преследовать именно такие цели.

По пути домой Баском отпустил по поводу проповеди несколько критических замечаний, отчасти для того, чтобы показать тётушке, что он внимательно всё выслушал. Он допускал, что можно простить и забыть то, что не подлежало осуждению закона, но, как и раньше, продолжал категорично настаивать, что человек просто обязан понести наказание за то зло, которое через него принесло вред всему обществу.

– Нет, Джордж, – изрекла миссис Рамшорн, – тут я с тобой не согласна. Нам не следует обращаться в суд, чтобы покарать обидчика. Я готова простить почти что угодно, лишь бы не прибегать к подобным мерам. Но вот чтобы забыть – ну, по крайней мере, некоторые обиды – нет, тут уж вы меня увольте! И что бы там ни говорил этот молодой человек, я не считаю, что мы обязаны это делать!

Хелен промолчала. У неё не было врагов, которых нужно было прощать, и никто ещё не причинял ей такой обиды, которую стоило бы вспоминать, так что вопрос не представлял для неё никакого интереса. Проповедь показалась ей очень даже хорошей.

Отправляясь на следующее утро в Лондон, Баском увозил с собой долгое шуршание шёлка, аромат лаванды и ощущение синевы, скрывающей в себе нечто иное; синева неба была здесь не при чём, потому что оно никогда не производило на Джорджа подобного впечатления. Он ещё не встречал женщины, которая была бы столь достойна стать его супругой, как его кузина Хелен Лингард – как по внешней прелести, так и по внутреннему развитию разума, проявляющемуся в способности принимать истину. Может, всё это потому, что они родственники?

Хелен же не помышляла ничего подобного. Она считала Джорджа прекрасным, мужественным человеком. Как смело и оригинально он мыслил обо всём на свете! По сравнению с ним её брат Леопольд казался совсем мальчиком – но каким милым, каким чудным мальчиком! Таких глаз и такой улыбки больше не было ни у кого в мире. Хелен с приязнью относилась к Джорджу, была привязана к тётушке, но любила только своего брата. Его мать, индуска высокой касты,

подарила ему лучистые глаза и жемчужную улыбку, и они с первого взгляда и навсегда покорили сердце его сестры. Когда его привезли в Англию, ему было всего восемь, а ей одиннадцать. С тех пор Леопольд воспитывался в семье старшего брата их отца, в родовом йоркширском поместье, но часть своих каникул обязательно проводил с ней, и они часто писали друг другу. Правда, последнее время писем от него приходило мало, и до неё дошли слухи, что в Кембридже у него не всё ладится, но она легко успокаивала себя, придумывая этому возможные объяснения, и продолжала строить воздушные замки, причём Леопольд неизменно присутствовал в её небогатых фантазиях и всегда разделял её недалёкие мечты.

Глава 11. Священник у себя дома

Попробуйте вообразить, каково было бы рыбке, живущей в северном море, если бы окружающие её воды вдруг потеплели до тропических температур и наполнились диковинными тварями, неуклюжими и пугающими, и вы получите довольно точное представление о том, в каком душевном состоянии оказался сейчас Томас Уингфорд. Духовная жидкость, в которой плавало его существо, вдруг обрела крепость, и ему стало не по себе. Ту бесформенную и беспорядочную массу, которую он называл собой, со всех сторон неожиданно начали прошивать жгучие молнии, словно крошечные искры некоего нравственного электричества, и он внутренне забеспокоился. Ему и в голову не пришло – да и не могло прийти! – что это было начало самой удивительной перемены на свете, настолько удивительной, что человек способен предугадать её результаты или воистину осознать, что с ним происходит, ничуть не больше, чем сидящая на листике гусеница способна узнать в радужной бабочке, порхающей над цветком, воплотившийся идеал своего будущего «я»: я говорю о перемене

нового рождения, рождения свыше. К тому же, на этот раз симптомы были совсем не такими, каких можно было бы ожидать в начале этого процесса даже тому, кто хорошо знаком с естествознанием бесконечного.

После размышлений на кладбище Уингфорд спал плохо и тревожно и проснулся с неприятным, стеснённым чувством. Не то чтобы он как-то особенно привык к уюту и благодущию. До сих пор его жизнь вовсе не изобиловала ни молочными реками, ни кисельными берегами. На его долю выпало мало приветливых улыбок и тех дружеских рукопожатий, которые дают человеку понять, что в битве он не один. Кстати, если подумать, жизнь его и впрямь походила на битву, если к двадцати шести годам он умудрился не стать хуже. Он не мог бы сказать о заповедях: «Всё это сохранил я от юности моей», но действительно боролся с собой, чтобы исполнить некоторые из них, хотя знал об этом один Бог. Однако сегодня он открыл глаза не просто со смутным ощущением подавленности, но с ясным осознанием неловкости и тревоги. Напряжённая неизвестность не давала ему покоя. Молодой атеист швырнул ему в лицо довольно щекотливые и весьма затруднительные вопросы – нет, даже не в лицо, а в душу, откуда им навстречу ринулась целая свора других вопросов и сомнений. Обычно Уингфорд просыпался медленно и, пробудившись, ещё какое-то время лежал в постели, но сегодня проснулся сразу и, почувствовав себя неуютно от внутренней беседы с самим собой, поспешно вскочил с кровати, словно надеясь отвязаться от беспокойного собеседника.

Он всегда презирал обман, пока однажды, ещё будучи школьником, вдруг не поймал себя на лжи, после чего презрение переросло в настоящую ненависть. Но теперь, если верить словам... Вот именно! Чьим словам? Разве его совесть не вторила речам вчерашнего самоуверенного молодчика, говоря, что и его профессия, и сама жизнь – сплошная ложь?! Что тот хлеб, которым он питался, произрастает на заросших плевелами полях обмана? Нет, нет, это же чистый абсурд! Этого не может быть! Что он такого натворил, чтобы оказаться низвергнутым в эту жуткую бездну погибели? Решено: он должен немедленно сам во всём убедиться!

Уингфорд безжалостно заставил себя умыться и даже ни разу не вздрогнул, хотя вода в тазу была ледяная, наспех оделся, торопливо позавтракал, забыв про утреннюю газету, и тут же схватил солидный том по истории Первой церкви. Но читать он не смог: его затея оказалась совершенно безнадёжной. Разве человек способен начать поприще в тысячу миль, если его по пятам преследует хищная стая сомнений и предательского стыда? Ради всего святого, дайте ему хоть какое-то оружие, чтобы он развернулся и отогнал этих воющих волков и шакалов! Доказательства! О каких доказательствах могла идти речь, если все книги излагали лишь мнения, которые одни принимали, а другие отвергали, а общепринятые воззрения отражали истинную суть христианства ничуть не больше, чем если бы речь шла о магометанстве, – ибо сколько авторов дали себе труд поразмыслить над этой темой больше, чем он сам? К тому уже на него неумолимо надвигалось воскресенье со своими волками и шакалами, от которых его отделяла лишь хлипкая изгородь! Молитвы – это ещё куда ни шло, потому что составляли их другие люди; хотя даже встать и прочесть их будет нелегко. Хорошо ещё, что он не принадлежит к церкви диссентеров¹¹, а то ему пришлось бы притворяться, что он молится от собственного сердца, – это было бы ужасно! Но как же быть с проповедью? Ведь в ней он должен излагать свои собственные воззрения или, по меньшей мере, представить её так, чтобы у прихожан создалось такое впечатление! А в чём состоят его воззрения? На этот вопрос у него не было абсолютно никакого ответа. Да полно, есть ли у него вообще хоть какие-то воззрения, какие-то мнения? Знает ли он, во что верит, а во что не верит?

Проповеди у него были – давнишние, респектабельные проповеди на пожелтевшей бумаге, составленные и переписанные не кем-то неизвестным, но его собственным покойным дядюшкой, доктором богословия, чей аккуратный почерк был настолько чётким, что Уингфорд никогда не заботился о том, чтобы заранее прочитать очередную проповедь, и следил только за тем, чтобы отобрать нужные страницы. Его старый добрый дядя оставил ему в наследство сто пятьдесят семь

¹¹ Диссентеры – распространённое в 16 - 19 вв. в Англии название лиц, не согласных с вероучением и традициями англиканской церкви; протестантские общины, отделившиеся от англиканской церкви.

доктринально безукоризненных проповедей (лишняя предназначалась для тех случаев, когда первый день года приходился на воскресенье), полагая, должно быть, что не только снабжает племянника проповедями на всю оставшуюся жизнь, но и даёт ему весомое преимущество в стяжании достойного места в каком-нибудь влиятельном соборе. Сам Уингфорд ни разу не составил ни одной проповеди – по крайней мере, такой, которую, по его мнению, стоило бы прочесть прихожанам. Он полагал, что относится к качеству проповедей очень требовательно, и считал проповеди покойного дяди действительно превосходными. Однако некоторые из них разъясняли богословские доктрины, а кое-какие даже содержали в себе спорные моменты: с сегодняшнего дня ему придётся остерегаться и тех, и других. Он решил заранее просмотреть ту из них, что была следующей по очереди, и убедиться, что в ней нет ничего такого, чего он не мог бы хоть в какой-то мере подтвердить и защитить, пусть даже без абсолютной убеждённости в том, что каждое слово в ней – чистая правда.

Так он и поступил. Следующей оказалась проповедь в защиту Афанасиева символа веры. Нет, это не пойдёт. Он взял другую. Она была посвящена богодухновенности Писания. Он просмотрел её, увидел, что Моисей ставится на один уровень с апостолом Павлом, а Иона – с евангелистом Иоанном, и его охватили сильные сомнения. Может быть, в каком-то смысле... но нет! Нет, лучше с этим не связываться. Он взял третью, про авторитет и власть Церкви. Эту тоже нельзя. Он уже хотя бы по разу читал прихожанам каждую из этих проповедей, с полным хладнокровием и соответствующим ему безразличием, почти спокойствием, но теперь не мог отыскать ни одной, с которой он мог хотя бы согласиться, не говоря уже об уверенности в её истинности. Наконец, он нашёл ту самую, последнюю, которую полагалось читать всего раз в семь лет; это и была та самая проповедь, которую выслушал и раскритиковал Баском. Прочитав её и не найдя в ней ничего такого, с чем он не мог бы по совести согласиться (подобно тому, как раздражительный путник с разбитым фонарём, пытается в непогоду найти дорогу среди леса) Уингфорд отложил все остальные проповеди в сторону и почувствовал некоторое облегчение.

Уингфорд неизменно соблюдал личный долг священника по отношению к утренней и вечерней молитве, но по привычке приготавливал и обнажал свою душу с помощью специально выбранных отрывков из молитвенника, довольно кружной дорогой приходя к Тому, кто всё время оставался рядом – если, конечно, апостол Павел был прав, говоря, что это Им мы живём, и движемся, и существуем. Но в ту субботу он склонился возле своей кровати в полдень и начал молиться – или попытался молиться – так, как ни разу не молился и не пробовал молиться до сих пор. Из груди священника взывал запуставшийся человек, умоляя Бога хоть как-то уверить в Своём существовании созданную Им душу.

Однако – может, это покажется кому-то странным? но даже если так, разве не было это самым что ни на есть естественным результатом происходящего? – почти в тот же миг, когда он начал молиться вот так, проще и истиннее, на него тут же нахлынули сомнения, словно бурные потоки, вздымающиеся из неведомых глубин. Да есть ли, да может ли вообще существовать Бог, реальный Бог, который на самом деле слышит его молитвы? Посреди нагромождения домов, лавок и церквей, посреди покупающих и продающих, посреди работы, хвалы и клеветы, посреди бесконечного стремления к желанным целям и поиска средств для их осуществления – в то время как даже ветер, дышащий где хочет, подчиняется непреложным законам, и звёздные орбиты выверены с точностью до волоска – неужели посреди всего этого воистину существует молчаливый незримый Бог, творящий через всё это Свою волю? Управляет ли кто-нибудь этой колесницей, чьи кони, кажется, так и рвутся из упряжи в разные стороны? Нежели невидимый и неслышимый возница всё-таки ведёт её к цели прямым путём, точным, как полёт кометы? Или у неё всё-таки есть душа – у этой машины, чьи бесчисленные шестерёнки продолжают своё бесконечное вращение, стирая звёзды в пыль, превращая материю в человека, а человека в ничто? Неужели во вселенной и вправду есть живое сердце, которое действительно слышит его, несчастного, потерянного, бесчестного, невежественного Томаса Уингфорда, дерзнувшего взять на себя дело, выполнять которое он был неспособен, но оставить которое у него не хватало смелости, – слышит его сейчас,

когда он воззвал из жалкого, закопчённого подвальчика своего разума, прося света и чего-то такого, что помогло бы ему сделаться человеком? Ибо теперь, когда Томас начал по-честному сомневаться, все уродства, скрывавшиеся у него в душе, подняли голову навстречу его внезапно пробудившейся скрупулёзности.

Но какими бы честным и благим ни был источник этих его сомнений, стоило им всерьёз зашевелиться, как крылья поднявшейся было молитвы судорожно затрепетали, сломались, начали медленно опадать, опускаться и наконец упали замертво, в то время как на Уингфолда с удвоенной силой обрушилось осознание всей безысходности его положения. Вот, он не смог даже помолиться, но завтра ему всё равно придётся читать молитвы и проповедовать в старой церкви, свидетельствующей об истинности своей веры, – проповедовать так, словно он тоже принадлежит к числу приобщённых к тайнам Всевышнего и способен вынести из своего хранилища если не новые и удивительные, то хотя бы древние, проверенные сокровища! Может, лучше послать по городу глашатая и сообщить всем, что служба не состоится? Но какое право он имеет возлагать свои беды и бремя собственной нечестности на плечи тех, кто преданно верит и смиренно ждёт от него насущного хлеба? Даже если он попытается объяснить, чем вызвано столь вопиющее нарушение приличий, не воспримутся ли его оправдания как отрицание тех самых доктрин, в истинности которых ему страстно хотелось убедиться, – ибо в нём почему-то (он и сам не знал почему) с самого начала пребывало искреннее предубеждение в пользу христианства. К тому же, ему почти не приходилось вплотную сталкиваться с теми искажениями и преломлениями, которые подчас носят имя христианства и вызывают у многих справедливое отвращение.

Так в тёмный пруд его скучной, безропотной жизни упали дерзкие слова неверующего, и этот, пусть даже мёртвый камень всколыхнул в живой воде мириады волнений. Вопрос за вопросом, сомнение за сомнением теснились в его голове, покуда он, не выдержав, не вскочил с дощатого пола, на который опустился было в изнеможении и отчаянии, и не выбежал из дома сам не зная куда. Он пришёл в себя

лишь через какое-то время, за городом, обнаружив, что нервно и торопливо идёт по тропинке, окаймляющей крестьянские поля.

Глава 12. Случайная встреча

Стоял ясный ноябрьский день. Деревья почти все облетели, но трава ещё оставалась зелёной, и в скудном, печальном солнечном свете дрожало воспоминание о весне: даже солнечный свет, радостнее которого нет ничего на свете, порой бывает печальным. Ветра не было, бороться было не с чем, и ничто не отвлекало Уингфолда от несчастливых, путающихся мыслей. Положение священника только усугубляло его внутреннюю драму. Не будь на нём церковного обета, он мог бы сколько угодно времени размышлять об истинности собственных убеждений, но сейчас ему казалось, что его заживо заколотили в гроб, и он просто должен оттуда выбраться, но из-за тесноты не может пошевеливать ни рукой ни ногой. Он ещё не понимал, что не будь этого давления извне, не пробудись в нём честность из-за болезненного укола совести, его поиски затянулись бы для настолько, что, скорее всего, утратили бы всякую честность и не принесли ему блага.

Подойдя к изгороди, за которой тропинка разбегалась в разные стороны, он присел на ступеньку лесенки, устроенной для того, чтобы прохожие могли без труда перебраться через ограду, и, подняв глаза, увидел ту же самую странную парочку, которую повстречали мисс Лингард и мистер Баском. Карлики прошли мимо и были уже довольно далеко, когда Уингфолд заметил на дорожке какой-то предмет и, подняв его, обнаружил, что это небольшая рукописная тетрадь. Ощувив приятное тепло от возможности помочь ближнему, он поспешил вслед удаляющейся паре.

Заслышав его шаги, они обернулись и остановились. Приблизившись, он снял шляпу и, протянув книгу девушке, спросил, не она

ли обронила её на тропинке. Пожалуй, будь перед ним обычные люди того же сословия, он не стал бы обнажать перед ними голову, потому что внутренне чурался всего, что могло показаться нарочитой любезностью, но их уродство явно требовало особой учтивости. Увидев книгу, девушка так вспыхнула от смущения, что Уингфорд, желая немного успокоить её, с улыбкой произнёс:

– Не бойтесь, я не прочёл ни единого слова.

– Теперь я вижу, что мне и вправду нечего было бояться, – сказала она, просто и искренне улыбнувшись ему в ответ.

Её спутник также поблагодарил его и извинился за доставленное беспокойство, и Уингфорд уверил его, что никакого беспокойства не было; напротив, он был только рад оказать им услугу. Он не пытался как-то особенно их разглядывать, но у него осталось впечатление, что лица у них благородные и умные, а говорят они грамотно и учтиво. Он ещё раз приподнял свою порядком потрёпанную шляпу, в ответ карлик с равной учтивостью приподнял с большой седой головы свою, куда более приличную, и они разошлись в разные стороны, причём уродство повстречавшейся ему пары не вызвало у Уингфорда тех мыслей, которые так взбудоражили если не сердце, то ораторский инстинкт Джордж Баскома, и ничем не отягчило его нынешних сомнений. Он тоже слышал хрипкое дыхание карлика и видел выпученные, как от базедовой болезни, глаза девушки, но даже не подумал о том, что судьба обошлась с ними менее милосердно, чем с ним. Если бы такая мысль и пришла ему в голову, он тут же утешил бы себя размышлениями о том, что, по крайней мере, ни один из этих карликов не является священником англиканской церкви, не имеющим ни малейшего представления об основаниях веры, на которой зиждется его церковь.

Он и сам не знал, как ему удалось пережить это воскресенье. Чего только не способен перенести человек, сам не понимая, как ему это удаётся! Проведённая служба стояла в памяти Уингфорда сплошным расплывчатым пятном, из которого на него торжествующим, мрачным призраком смотрело лицо Джорджа Баскома с пронизательными, ироничными глазами и презрительно кривящейся ухмылкой. Всё время, пока он читал молитвы и положенные на тот день

отрывки Писания, пока он читал дядину проповедь, он не только чувствовал на себе эти глаза, но и ощущал всё, что крылось за их взглядом, отлично понимая, каким он представляется Баскому. Больше он не помнил абсолютно ничего.

Дальше воскресенья следовали одно за другим, как верстовые столбы вдоль пустынной дороги, смутно проглядывающие сквозь напозвший туман. Я не буду подробно описывать беспорядочные смятения, на которые дул сейчас тот самый ветер, чьё дыхание превратило хаос во вселенную. Тот, кто сам пережил нечто подобное, без труда вообразит, что происходило с Уингфолдом, а тому, с кем этого ещё не случалось, мои описания мало чем помогут; скорее всего, он даже отмахнётся от них, увидев в них метания болезненного сознания, не представляющие для широкой публики никакого интереса, — и в этом последнем будет даже прав: к таким вещам люди либо испытывают самый личный и обострённый интерес, либо вообще не проявляют к ним никакого любопытства.

Проходящие чередой недели, казалось, не приносили Уингфолду спасительного света, но это лишь подталкивало его на ещё более упорные поиски. Про себя он решил, что если в ближайшее время не обретёт хоть малую долю уверенности, то оставит пост священника и начнёт искать себе место частного учителя в какой-нибудь семье.

Конечно, всё это должно было бы произойти с ним давным-давно. Но разве бывает, чтобы человек пережил или испытал что-то до назначенного ему срока? Савл Тарсянин сидел у ног Гамалиила, когда Господь говорил Своим апостолам: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Всё это время Уингфолд ходил вокруг стен Божьего Царства, даже не подозревая о существовании этих стен, не говоря уже о том, чтобы заметить в них врата. Виновны в этом были те, кто приучил его думать о служении в церкви как о самой обычной профессии врача, юриста или галантерейщика, словно выбор священнического поприща ничем не отличается от выбора любого другого человеческого призвания. Не без греха были и те почтенные мужи, которые, уча его, ни разу не сказали ему, что ходит он по святой земле и потому должен снять обувь свою с ног своих. Только как они могли сказать ему об этом, если сами

пустили эту землю под поля, на которых сеяли и жали, и собирали в житницы, но при этом не нашли на ней ни единого сокровища, более драгоценного и святого, чем библиотеки, ежегодные доходы и визиты царственных особ? Что же до откровений истины, от которых человек исходит блаженными вздыханиями, а сердце его наполняется сверхчеловеческой нежностью, то многим ли из этих почтенных мужей доводилось отыскать сие сокровище на полях церкви? Многие ли из них знали о существовании Святого Духа, кроме как понаслышке? Как же им было предостеречь других о том, как опасно следовать по их стопам и превращаться в таких, как они сами? Да и кого можно винить во всеобщем невежестве и прегрешении? После первого всплеска обиды и горечи Уингфорду было уже не до обвинений. Ему предстояло пробудиться из мёртвых и возопить о свете, и вскоре его целиком объяли жестокие муки судорожной борьбы между жизнью и смертью.

Потом, когда муки эти остались позади, Уингфорд нередко думал, что в той кромешной тьме его непременно должна была посещать и поддерживать сила, чьего присутствия и даже воздействия он просто не замечал: иначе он вряд ли смог бы всё это выдержать. Ещё он вспоминал те странные утешения, которые приходили к нему в то время: сначала вся природа словно стала к нему мягче и добрее, а потом он впервые ощутил сочувствие к её путям и горестям, увидев в ней неясные черты человечности. Он вспоминал, как однажды разрыдался при виде бутонов боярышника, а как-то раз, когда он утрюмо шагал в церковь, какой-то малыш посмотрел ему в лицо и улыбнулся, и только эта улыбка дала ему силу смело взойти на кафедру. Он никогда не мог с уверенностью сказать, долго ли продолжались эти странные родовые муки, в которых душа является одновременно и матерью, рождающей дитя, и появляющимся на свет младенцем.

Глава 13. Первые успехи

У ем временем Джордж Баском продолжал навещать тётушку и кузину. Каждый раз он всё недвусмысленнее давал им понять, за что он выступает и чему противится; каждый раз Хелен казалась ему всё более достойной и желанной, и он льстил себе мыслью о том, что неплохо преуспел в попытках склонить её к своим взглядам и суждениям. В этом деле разносторонность и образованность служили ему прекрасным подспорьем. Почти всё, что знала и умела Хелен, Джордж знал и умел не хуже её, а подчас и лучше, в то время как многие его увлечения и познания оставались для неё закрытой книгой. Ему самому очень нравилось воспитывать такую ученицу. Когда через какое-то время он начал явно за ней ухаживать, Хелен сочла это даже приятным, и даже если в его ухаживаниях было чуть больше подчёркнутого намерения, чем подлинного чувства, она была слишком мало в него влюблена, чтобы это заметить. Тем не менее, его внимание приносило ей достаточно удовольствия, чтобы она с большей благосклонностью выслушивала и принимала те доктрины и учения, которые он ей преподносил. Более развитый и опытный ум отверг бы многие из них уже из-за тех плодов, которые они приносили на практике, но она по своей невежественности оценивала воззрения Джорджа только с интеллектуальной стороны и не пыталась понять, как они влияют на повседневную жизнь, что сразу пролило бы свет на их подлинный характер. Покамест жизнь в своём истинном смысле была для неё почти столь же неопределённой и нереальной, как сон, ожидающий наступления ночи. Поэтому, когда её кузен осмелился покуситься даже на те истины, которые любая девушка, воспитанная в христианской традиции, должна была считать священными, его слова не вызвали в ней возмущения. Правда, ни Джордж, ни она сама не подозревали, что именно благодаря христианскому воспитанию Хелен могла оценить благородство его речей о том, что человеку следует жить ради блага потомков, без всякой надежды на иную награду кроме осознания того, что будущие поколения бранных людей будут жить немного лучше – а может, и сами станут немного лучше – из-за того, что он сделал на земле.

Не думала она и о том, что пока человек молод и жизнь кажется ему бесконечной, все его теории о смерти не могут быть по-настоящему вескими; или о том, что если земная жизнь и вправду обладает столь малой ценностью и ею можно поступиться вот так, запросто и без сожалений, то дар утешения, который предлагал ей Джордж на время этой жизни, вряд ли можно считать таким уж драгоценным благословением.

«Но истина есть истина», – возразил бы Джордж.

Даже если то, что вы пытаетесь им преподать, действительно является фактом, это никогда не может быть истиной, отвечу я. И даже та ценность, которую вы ошибочно приписываете подобным фактам, исходит из усвоенного вами предположения о существовании чего-то важного в самом их корне, а именно: ИСТИН или вечных законов бытия. И всё-таки, если вы полагаете, что люди станут счастливее, узнав от вас, что Бога нет, тогда проповедуйте своё открытие и пожинайте себе блага в соответствии с его истинностью. Нет, из-под моего пера это было бы настоящим проклятием; лучше не проповедуйте его до тех пор, пока не обыщете все пространства во вселенной, малые и большие, сверху донизу (и хотя вы ещё не можете знать результатов своих поисков, я заранее скажу, что там вы Его не найдёте), все сферы мысли и чувства, весь неведомый мир возможных открытий – не проповедуйте, пока не исследуете всего этого: ибо что будет, если то, что вы считаете истиной, на самом деле окажется неправдой? Что если где-то и каким-то образом в мире всё-таки существует тот самый живой Бог, та самая Истина, в которой заключена вся вселенная? «Но я совершенно убеждён, что никакого Бога нет!» – скажете вы. Можно быть уверенным, отвечу я, что не существует такого Бога, каким представляют Его себе люди, но убедиться в том, что Его нет совсем, просто невозможно.

Между тем, помышляя о будущем, Джордж не забывал о настоящем: он всё так же тщательно выбирал себе сигары и вино, поедая свои обеды и ужины, как говорится, с чистой совестью (я бы, скорее, назвал её притупленной, если бы был уверен, что, произнося эти слова, люди действительно имеют в виду совесть, а не хорошее пищеварение) и продолжал упорно и целеустремлённо учиться.

В его отношениях с кузиной особых перемен пока не намечалось. Хелен всё так же нравилась Джорджу больше всех остальных женщин, а она продолжала считать его самым приятным компаньоном после Леопольда. Не знаю, что удерживало Джорджа от формального предложения руки и сердца – то ли благоразумие (которого ему было не занимать), то ли холодность темперамента, то ли гордость, желающая вначале увериться, что ему не откажут. В любом случае, пока его кузине тоже не особенно хотелось ни выслушивать, ни произносить решающие слова.

Глава 14. Джереми Тейлор¹²

Как-то раз во вторник, уже весной, священник получил по местной почте письмо, в обратном адресе которого значилось «Парковый проулок».

Многоуважаемый сэр,

В благодарность за оказанную Вами услугу, о которой Вы, несомненно, давно забыли, я нашёл в себе смелость написать Вам по весьма важному вопросу, касающемуся Вас лично. Вы не знаете меня, и моё имя не вызовет у Вас ни малейших ассоциаций. Буду надеяться, что оправданием мне послужит то дело, по которому я к Вам обращаюсь.

В прошлое воскресенье я присутствовал на служении в Вашей церкви. Почти с самого начала Ваши слова показались мне странно знакомыми, и через несколько минут я узнал в них одну из проповедей Джереми Тейлора. Вернувшись домой, я убедился в том, что, кроме всего прочего, вы действительно прочли с кафедры большую частью одной из его проповедей.

¹² Джереми Тейлор (1613 - 1667) - знаменитый английский богослов, проповедник и автор ряда сочинений на религиозные темы.

Если бы я считал Вас человеком, готовым без зазрения совести приписывать себе плоды чужого труда (особенно если они лучше того, что Вы способны сделать сами) и спокойно принимать за них похвалы окружающих, с моей стороны было бы медвежьей услугой писать Вам о своём открытии, так как это лишь побудило бы Вас действовать с большей осторожностью – а ведь в подобном случае чем скорее откроется правда и чем скорее общество накажет злоумышленника, тем лучше для него самого, чем бы всё это ни кончилось, оправданием или осуждением. Но Ваш вид и поведение дают мне основание для уверенности, что, как бы ни повлияли на Вас традиции и мирские элементы того общества, в котором Вы обращаетесь, мне следует лишь сказать Вам о своём наблюдении, чтобы Вы сами обо всём подумали и затем последовали велению собственной совести во всём, что касается этого дела.

*С почтением и наилучшими пожеланиями,
Джозеф Полварт*

Словно оглушённый, Уингфорд сидел, не отрывая от письма глаз. Первым осознанным чувством в наводнившем его хаосе была досада на то, что он так опозорил себя; потом он рассердился на покойного дядюшку за то, что тот так сильно подвёл своего племянника. Вот она, эта проповедь, от начала до конца написанная почерком старого доброго богослова и ничем не отличающаяся от всех остальных! Неужели дядя просто забыл проставить кавычки? Или сам читал её как чужую, лишь вначале добавляя немного от себя? Сам Уингфорд знал о Джереми Тейлоре ничуть не больше, чем о Заратустре. Не может быть, чтобы дядя всегда составлял свои проповеди именно так! Неужели все они состоят из кусочков чужих творений? Вот досада! Если всё это выплывет наружу, люди начнут говорить, что он пытался выдать мысли Джереми Тейлора за свои собственные – как будто у него самого хватило бы наглости покуситься на труды столь знаменитого автора! Да и какая разница, известный это автор или нет? Никакой – разве что в последнем случае вероятность разоблачения была бы немного меньше. А если его и впрямь обвинят в плагиате, как он сможет оправдаться? Бросив пятно на репутацию покойного дяди и сказав, что во всём виноват он? Ещё неизвестно, кто из них хуже: дядя, заимствовавший

свои проповеди у Тейлора, или он сам, читавший проповеди, написанные дядей! Да и как воспримут его обвинители эту попытку переложить вину на чужие плечи? Как воспримут благочестивые жители Гластона, посещающие англиканскую церковь или служения диссентеров, новость о том, что с самого назначения на пост священника он не прочёл ни одной проповеди, которую написал сам? Как могло случиться, что, прекрасно осознавая истинное положение дел, он ни разу об этом не подумал? Правда, даже будучи искренним почитателем труда своего дядюшки, он ни в коем случае не намеревался приписывать себе его заслуги; однако при этом он ни разу не признался ни одному человеку, из какого тайного источника он черпает своё проповедническое богатство.

Но какая разница, откуда взята проповедь; главное, чтобы она была хорошей! Ведь он стоит на кафедре вовсе не из-за личных способностей, и по роду своей деятельности призван не демонстрировать с неё собственную оригинальность, а раздавать людям хлеб жизни... Из чужих закромов? А почему бы и нет, если чужой хлеб лучше! Кому будет хуже, если он позаимствует пищу у других? «Ведь мне самому нечего им дать», – думал Уингфолд. Тогда почему это письмо так неприятно поразило его? Чего ему стыдиться? Почему он должен бояться, что правда выплывет наружу? Чего ему скрывать? Все и так знают, что редкий священник сам составляет свои проповеди. И вообще, какая глупость, это всеобщее молчаливое согласие делать вид, что церковные проповеди всегда являются плодом умственного труда самого проповедника, хотя все прекрасно знают, что всё как раз наоборот! А ещё большая и куда более жестокая глупость состояла в том, с какой готовностью люди готовы были принести человека в жертву этому откровенному обману и облить его презрением в тот самый миг, когда им станет доподлинно известно, что его проповеди (которые явно никогда не могли принадлежать его перу) на самом деле написаны тем-то и тем-то автором или куплены в той-то и той-то лавке на Большой Королевской улице или в Книготорговом переулке. После этого бедняге до конца жизни придётся ощущать на себе осуждающие взгляды и снисходительное пренебрежение. Всё это лишь древняя спартанская забава: воруя, что хочешь, и бери от жизни всё, что

можешь: никто и слова тебе не скажет; но горе тому, кого поймают на месте преступления! Нет, в самой этой системе есть что-то низменное и гнусное!..

Оказывается, лживости в нём куда больше, чем он предполагал: ведь до сих пор он с усердием способствовал тому самому обману, который сейчас вызвал у него такое презрение! Даже если в том, что он читал дядюшкины проповеди, не было ничего дурного, с его стороны было преступно скрывать, что эти проповеди не являются плодом его собственных размышлений, и прикрывать это пусть даже самой прозрачной ложью.

Глава 15. В домике привратника

Как бы то ни было, среди его прихожан нашёлся один деликатный, даже доброжелательный человек, и он должен хотя бы поблагодарить его за откровенность. Уингфорд перестал нервно ходить из угла в угол, уселся к столу и написал ответ господину Полварту, благодаря его за письмо и прося разрешения зайти к нему после обеда, чтобы хоть как-то оправдаться в своих действиях и попросить совета относительно той дилеммы, в которой он оказался. Он передал записку через сынишку своей экономки и через пару часов, наскоро расправившись с ранним обедом (он решил, что не может больше отуплять и отвлекать свою душу в то время дня, которое как нельзя лучше подходит для чтения и размышления), отправился на поиски Паркового проулка, полагая, что найдёт его на одной городских окраин. Обойдя все улочки и ничего не обнаружив, он остановился у ворот Остерфильдского парка, чтобы хорошенько расспросить обо всём привратника. Когда дверь открылась, ему показалось, что перед ним стоит ребёнок, но в следующее же мгновение он узнал ту самую девушку, чью тетрадку подобрал в поле несколько месяцев назад. С тех пор он

ни разу её не видел, но её лицо и сторбленную фигурку нельзя было не запомнить.

– Мы с вами уже встречались, – сказал он в ответ на её приветливую улыбку. – Не могу ли я попросить вас об одном одолжении?

– Конечно, сэр, – отозвалась она. – Проходите, пожалуйста,

– Нет, благодарю вас, сейчас я как раз очень тороплюсь. Меня ждут. Не подскажете ли вы мне, где проживает господин Полварт и как мне найти Парковый проулок?

В её милой улыбке отразилось весёлое изумление, и кротким голосом, в котором угадывалось страдание, она повторила:

– Прошу вас, сэр, проходите. Джозеф Полварт – моя дядя, и дом наш стоит у самых ворот Остерфильдского парка, вот это местечко и прозвали Парковым проулком.

Жилище привратника было не похоже на элегантные строения с резкими углами и островерхими башенками, которые вошли сейчас в моду. Это был низенький домик с толстой соломенной крышей, напоминающей парик, из-под которой, удивлённо приподняв брови, смотрели два полусонных мансардных окна. На стенах бежали старые колючие плети, на которых уже виднелись молодые зелёные побеги: должно быть, летом домик был сплошь увит розами.

Уингфорд тут же шагнул через порог и вслед за девушкой прошёл сначала в светлую, солнечную кухню с каменным полом и сияющей медной утварью по стенам, а потом в маленькую аккуратную гостиную, пахнущую прошлогодними розами, уютную и темноватую, с маленьким окном, выходящим в сад.

– Дядя скоро придёт, – проговорила девушка, пододвигая к нему стул. – Я бы развела здесь огонь, но дядя чувствует себя куда свободнее среди своих книг. Он ждал вас, но его вызвал управляющий, и ему пришлось выйти.

Уингфорд уселся и начал ждать. Он не очень умел вести светские беседы (весьма сомнительное достоинство) и всегда относился к так называемым низшим сословиям как к равным просто потому, что никогда не ощущал ни малейшей разницы между ними и собой. Несмотря на своё невежество в доктринах христианства, кое в чём Томас Уингфорд обладал тем, что я, пожалуй, назвал бы блаженной

глупостью. Многие почести и привилегии, за которыми так тянутся люди, многие обиды и неприятности, которые выбивают их из колеи, не имели для него ровно никакого значения: он их просто не видел и не способен был увидеть.

– Значит, вы служите здесь привратниками, мисс Полварт? – спросил он, справедливо предполагая, что девушку зовут именно так, после того, как она, на минутку выйдя, вернулась в гостиную.

– Да, – ответила она. – Уже почти восемь лет. Это совсем нетрудно. Но, наверное, работы нам прибавится, когда достроят особняк.

– До церкви отсюда довольно далеко.

– Да, сэр, только я туда не хожу.

– А ваш дядя?

– Ходит, но не очень часто.

Не закрывая двери, она продолжала хлопотать по дому, то выходя на кухню, то возвращаясь в гостиную, и Уингфолд потихоньку наблюдал за нею со всё возрастающим любопытством. Голова у неё была обычного размера, как часто бывает у карликов, но казалась особенно большой из-за густых и волнистых каштановых волос; некоторые дамы, пожалуй, отдали бы за них всё своё состояние. Волосы явно доставляли хозяйке удовольствие, потому что причёсаны были хоть и скромно, но тщательно и со вкусом. С каждым новым взглядом её лицо казалось Уингфолду всё интереснее, пока он не признался себе, что это одно из самых милых и добрых лиц, которые ему когда-либо приходилось видеть. Прежде всего оно дышало тишиной и спокойствием, которое не назовёшь просто убогостворённым; я бы назвал его довольным, если бы не боялся, что читателю сразу же представится его противоположность – самодовольство. В нём явно угадывались следы прошлого и тень нынешнего страдания, но единственным признаком того, что девушка никак не могла полностью забыть о своём несчастном сторбленном теле, была лёгкая, застенчивая полуулыбка, трепетавшая в уголках нервных губ с неуловимым, словно извиняющимся выражением, будто она заранее просила прощения за то, что ничем не может скрасить те неприятные ощущения, какие вызывает у собеседника её безобразие. Черты худенького лица были правильными и изящными и единодушно говорили, что за ними обитает

любящий дух, но вместе с тем было заметно, что порой их тонкие очертания отражают порывы вспыльчивого нрава. Её руки и ноги были маленькими, как у ребёнка. Уингфорд продолжал незаметно поглядывать на неё, как мальчишка, украдкой читающий запретную книжку, когда в дверях раздались шаги, и в гостиную вошёл её дядя. Уингфорд поднялся ему навстречу.

– Чувствуйте себя как дома, сэр, – просто сказал Полварт, крепко пожимая протянутую ему руку маленькой твёрдой ладонью. – Вы не возражаете, если мы поднимемся ко мне, где нас никто не побеспокоит? Я надеюсь, моя племянница уже извинилась перед вами за моё отсутствие. Рейчел, милая, принеси нам, пожалуйста чая, а мы пока поговорим.

По своему выражению лицо его очень походило на лицо племянницы, но Уингфорд увидел в нём следы ещё больших страданий, и не только физических, но и душевных. Оно выглядело слишком молодым для того, чтобы красовавшиеся над ним густые волосы были такими седыми, но было в нём и что-то такое, из-за чего седина вовсе не казалась удивительной. Голос его был хриплым и чуть суховатым, навсегда отмеченным астмой, из-за которой собеседнику казалось, что в чрезмерно широкой груди карлика всё время гуляет восточный ветер, но говорил он решительно и с достоинством, совершенно так же, как в своём письме, и поэтому, поднимаясь вслед за ним по узкой крутой лестнице, Уингфорд уже не ощущал в своём хозяине ни малейшей несоразмерности.

Глава 16. На чердаке

Уингфорд оказался в довольно большой комнате с потолком, скошенным по обеим сторонам, с одним окошком прямо в покатой крыше, рядом с каминной трубой, и ещё одним, крошечным, мансардным. Низкие стены до самого ската крыши были сплошь уставлены книгами; книги лежали на столе, на кровати, на стульях и по всем углам.

– Ах вот оно что! – проговорил Уингфорд, оглядевшись. – Что ж, теперь я не удивляюсь, что вы так легко вывели меня на чистую воду, мистер Полварт. Вон сколько у вас помощников для того, чтобы ловить таких мошенников, как я!

Карлик обернулся и посмотрел на него сомневающимся, даже несколько огорчённым взглядом, как будто не ожидал такого начала для серьёзного разговора, но, взглядевшись в честное лицо священника, в котором к тому времени угадывалось куда больше мысли и внутреннего движения, чем полгода назад, смягчился; насторожённость растворилась в улыбке, и он сердечно проговорил:

– С вашей стороны весьма любезно, что вы не обижаетесь на мою самонадеянность. Прошу вас, садитесь. Вот сюда, здесь вам будет удобно.

– Самонадеянность? – повторил Уингфорд. – По-моему, если кто и вёл себя самонадеянно, так это я, а любезность ко мне проявили вы. Но позвольте мне сначала хоть немного объясниться. Правда, моё объяснение не заставит вас думать обо мне лучше; но мне всё же не хочется, чтобы вы думали обо мне хуже, чем я того заслуживаю. И потом, чтобы быть друзьями, наверное, нам лучше с самого начала хорошенько понять друг друга. Может быть, вы этому не поверите, мистер Полварт, но мне тоже не чужда всеобщая человеческая слабость: желание, чтобы другие воспринимали меня именно таким, какой я есть, ни больше, ни меньше.

– Что ж, это благородная слабость, и, к сожалению, испытывают её далеко не все, – отозвался Полварт, и священник без промедления

поведал ему о наследстве своего дядюшки и о своём полном невежестве касательно Джереми Тейлора.

– Но когда я прочитал ваше письмо, – сказал он в завершение своего рассказа, – мои мысли окончательно перепутались, и теперь мне кажется, что я поступал даже хуже, читая с кафедры проповеди своего дяди, чем он сам, когда заимствовал их у епископа Тейлора: они такие знаменитые, что рано или поздно кто-нибудь непременно бы их узнал!

– Я не вижу особого вреда ни в том, ни в другом, – сказал Полварт, – если проповедник при этом ничего не скрывает. А то ведь некоторые боятся только того, что их разоблачат. Хотя большинству этого всё равно не избежать; редко кому удаётся обманывать прихожан до конца. Чаще всего община всё равно подспудно чувствует, говорит священник от себя или читает что-то чужое. Но ещё хуже то, что все, словно сговорившись, делают вид, что он проповедует то, что написал сам, хотя и община, и сам он прекрасно знают, что ничего подобного не происходит.

– Что ж, мистер Полварт, тогда получается, что в следующее воскресенье я должен торжественно сообщить своим прихожанам, что проповедь, которую я собираюсь произнести, завещана мне, в числе многих других, моим достопочтенным дядюшкой, доктором богословия Джонатаном Дрифтвудом, который на смертном одре выразил надежду, что я буду придерживаться их в своём учении. За долгие годы своего служения сам он прочитал их все раз по десять или пятнадцать и так отшлифовал и усовершенствовал каждую из них, что никак не мог положиться на мою способность яснее и полнее изложить содержащиеся в них истины. Прикажете мне сказать всё это с кафедры?

Полварт рассмеялся, так весело и серьёзно, что в его искренности нельзя было усомниться.

– Пожалуй, в подробностях нужды нет, – ответил он. – Главное, чтобы все поняли ваше намерение не таиться и открыто признать, что вы говорите не от себя, а только преподносите учение других. Возражений и недовольства вам, конечно же, не избежать, но человек, желающий поступать по правде, должен быть к этому готов.

Уингфорд молчал, погружившись в размышления. «Да, честный лук стреляет метко», – думал он. Но ведь теперь ему предстоит самый настоящий ужас: с кафедры сказать что-то от себя! Ему, который, даже будь у него своё мнение, никогда не видел повода сообщать его другим! Но ведь он говорит с кафедры не в силу собственных воззрений, а по занимаемой должности! «Жаль, что эта должность не может сама составлять проповеди! – усмехнулся он про себя. – А то с молитвами у неё получается неплохо!»

Всю жизнь в Уингфорде дремало полузадушенное чувство юмора, и время от времени оно неожиданно выплёскивалось наружу, немного сдвигая тяжкое бремя на его плечах, так что нести его становилось чуть легче. Вот и теперь из его груди вырвался печальный смешок.

– Но неужели вы ни разу не проповедовали того, о чём думали сами? – снова заговорил карлик. – Я не имею в виду проповеди, которые человек составляет, усердно читая комментарии; кстати, я слышал, что некоторые из наших лучших проповедников обращались к этим кладезям учёности в поисках своего первого вдохновения. Я говорю о том, что вышло из глубины вашего сердца – может быть, от восторга внезапного открытия или какого-то другого сильного чувства?

– Нет, – ответил Уингфорд. – У меня ничего нет. У меня никогда не было ничего такого, чем стоило бы поделиться с другими. И потом, мне кажется, было бы нечестно подвергать беспомощных прихожан неумелым попыткам горе-проповедника выразить то, о чём на самом деле он не имеет ни малейшего представления.

– Скорее всего, вы знаете немало такого, о чём им неплохо было бы напомнить, даже если они и так всё это знают, – сказал Полварт. – Трудно поверить, что человек, который, столкнувшись с реальностью, так честно смотрит ей в лицо, не может вспомнить из собственной жизни ни одного урока, который был бы полезен его пастве. Я верю в проповедь и полагаю, что, перестав проповедовать по-настоящему (а девять десятых того, что называется у нас проповедями, я так назвать не могу), англиканская церковь позабыла существенную часть своего высокого призвания. Конечно, если человек сам не слышал ничего

от Бога, ему не следует становиться на место пророка – да он и не сможет, разве только научится более-менее сносно подражать. Но ведь кроме пророков в церкви должны быть и учителя, а теперь, когда пророков так мало, учителя нужны как никогда. Я думаю, что человек, который просто учит свою паству, вполне может быть добросовестным священником, даже если даров пророчества у него нет.

– Простите, я не вполне понимаю, к чему вы клоните, – проговорил Уингфолд, немало поражённый тем, с какой лёгкостью и пронизательностью его скромный хозяин говорит о таких вещах. – Что вы подразумеваете под пророчеством?

– То же самое, что, как мне кажется, подразумевал под ним апостол Павел: проповедь в её наивысшей форме. Практически всё это значит примерно следующее: если в душе человек не чувствует, что ему есть чем поделиться со своими прихожанами, ему нужно немедленно обратить свои силы на то, чтобы снабдить их той духовной пищей, которой питается он сам. Иными словами, если в его собственной сокровищнице нет ничего нового, пусть он выносит древние сокровища из чужих хранилищ. Если же его собственная душа не получает должного пропитания, как можно надеяться, что он отыщет нужную пищу для своей паствы? Такому человеку нечего делать на церковной кафедре; пусть он лучше займётся чем-то другим – тем, к чему предназначен, что лучше всего подходит его способностям и внутреннему строению.

– Получается, человек даже должен извлекать свои проповеди из тех книг, которые читает?

– Да, если ничего лучшего он сделать не в состоянии. Но читать он должен не с мыслью о будущей проповеди, а с любовью к своей пастве. У тех, кто имеет своё дело и сам зарабатывает себе на хлеб, так мало времени для чтения и размышления (а у людей праздных его и того меньше!), что для того, чтобы хоть как-то причаститься Божьей благодати, им остаётся лишь исправно посещать церковь. Но там они так часто не получают должной духовной пищи, что от постоянного недоедания их вера усыхает чуть ли не до скелета. Проповедник призван сначала пробудить их, покуда их сон не превратился в смерть, потом вызвать у них чувство голода и уже тогда утолить этот голод. Обо

всём этом и должен думать настоящий священник. Если он не способен прокормить Божье стадо, то он не пастырь, а всего лишь временный наёмник.

Тут вошла Рейчел с маленьким подносом; она не могла носить ничего большого и тяжёлого. С любовью и беспокойством она посмотрела на молодого человека, который сидел, опустив голову, с выражением самоуничижения на честном лице, и взглянула на дядю чуть ли не с просительным упрёком, как смотрят на школьного учителя, умоляя его не слишком строго судить провинившегося озорника. Но карлик ответил ей такой ясной, ободряющей улыбкой, что лицо её вмиг осветилось привычным выражением удовлетворенного спокойствия. Она убрала со стола книги, поставила поднос и отправилась на кухню за чашками.

Глава 17. Предложение Полварта

– По-моему, теперь я понял, что вы имеете в виду, – проговорил Уингфорд, когда Рейчел вышла. – Если человек не способен предложить людям что-то своё, он должен честно и усердно кормить свою паству чужим хлебом. Или, скорее, сказать прихожанам: «Я преломляю для вас не тот хлеб, что испёк сам, а кое-что получше. Я приобрёл его в такой-то и такой-то лавке и попробовал его сам; он пришёлся мне по вкусу и принёс мне немало пользы». Ведь так?

– Именно так! – одобрительно кивнул привратник. – Однако мне было бы очень жаль, если бы вы на этом и остановились, – добавил он после секундного молчания.

– Остановился? – отозвался Уингфорд? – Ещё неизвестно, смогу ли я хотя бы начать! Вы даже не представляете, как мало я знаю, как мало я читал!

– Думаю, что какое-то представление об этом у меня всё-таки есть. В вашем возрасте я наверняка знал ещё меньше: ведь я не учился в университете.

– Но, наверное, вы уже тогда знали много чего такого, чему, как говорится, может научить только жизнь.

– Тогда – не знаю, а сейчас, пожалуй, да. Но таких познаний довольно у каждого, кто относится к жизни осознанно. Пожалуй, ничему не учатся лишь те, кто не желает вступать на прямой и истинный путь, боясь встретить на обочине госпожу Долг.

– Вам, сэр, нужно самому быть священником, – смиренно произнёс Уингфорд. – Ну как могло случиться, что такой болван, как я,.. – начал он и тут же остановился, внезапно сообразив, как такое случается.

– Надеюсь, мне нужно быть именно тем, кто я есть, не больше и не меньше, – ответил Полварт. – А насчёт того, чтобы быть священником... Сдаётся мне, что Моисей разбирался в таких вещах куда лучше вас, мистер Уингфорд, – по крайней мере в том, что касается внешней стороны дела. Он никогда не позволил бы тому, чей вид является лишь жалкой насмешкой над человеческим обликом, прилюдно проповедовать всему народу. Но если вы позволите мне помочь вам, я буду очень благодарен. Последнее время меня непрестанно терзает мысль о том, что я не служу никому, кроме себя и племянницы. Признаться, я очень боюсь, как бы мне не стать законченным эгоистом под таким грузом благословений!

Тут всё его тело сотряслось от приступа астматического кашля, да такого сильного, что, казалось, карлик вот-вот задохнётся. В самый ужасный момент в дверях появилась Рейчел, но не испугалась, а лишь участливо подошла к дяде и положила ладонь ему на спину, между лопаток, и не убирала её, пока кашель не прекратился. Как только приступ закончился, болезненное выражение на лице Полварта растворилось в улыбке.

– Мне очень жаль, что вы так страдаете, – неловко проговорил смешавшийся Уингфорд.

– Право же, мистер Уингфорд, это не стоит огорчений, ни моих ни ваших, – ответил карлик. – Давайте выпьем чая и продолжим наш разговор.

– Видите ли, мистер Полварт, – заговорил священник, настолько захваченный своими мыслями и желанием высказать то, что происходило сейчас в его душе, что не заметил приглашения к чаю, – я не хочу, да и не могу доверяться вам лишь наполовину. Позвольте, я расскажу вам всё, что меня тревожит. Мне кажется, вы знаете нечто такое, о чём я пока остаюсь в неведении, но я очень надеюсь, что это нечто окажется именно тем, что мне нужно узнать! Вы позволите мне рассказать вам о себе?

– Я полностью к вашим слугам, господин Уингфорд, – откликнулся Полварт и, видя что священник не притронулся к чаю, поставил свою чашку на поднос. Его племянница, как послушный ребёнок, тут же соскользнула с креслица и, приветливо взглянув на Уингфорда, уже собиралась выйти из комнаты, когда священник заметив это, торопливо вскочил с места:

– Нет, нет, мисс Полварт, – поспешно заговорил он. – Я не смогу рассказывать дальше, если буду знать, что из-за меня вам пришлось уйти, да ещё и не притронувшись к чаю! Простите меня, я просто неблагодарный эгоист – даже не заметил, что вы накрыли на стол. Если вы не против, останьтесь с нами, мы можем разговаривать прямо за чаем. Я очень люблю чай, честное слово, – особенно такой крепкий и хороший, как у вас – только боюсь, что мои слова могут слегка вас шокировать.

– Тогда я пока останусь, – с улыбкой отозвалась Рейчел, снова взбираясь на своё кресло. – Признаться, это не слишком меня пугает. Иногда дядя говорит такие вещи, что у любого фарисея волосы встали бы дыбом, но у меня от них сердце разгорается ещё больше... Можно мне остаться, дядя? Мне очень хочется послушать.

– Конечно, милая, если твоё присутствие не помешает мистеру Уингфорду быть до конца откровенным.

– Нисколько не помешает, – решительно сказал Уингфорд.

Мисс Полварт пододвинула ему тарелку с бутербродами. Несколько минут все молча пили чай. Наконец Уингфорд положил ложку на стол и, не поднимая глаз, заговорил.

– Мне с самого детства прочили карьеру священника. Это ужасно, я понимаю, но, по-моему, винить в этом особо некого. В мире вообще много всего такого, что неправильно с самого начала. Я довольно прилично сдал экзамены, хотя особыми успехами не блистал, побывал на приёме у епископа, стал дьяконом, через год принял рукоположение, ещё год или два лицемерно читал чужие проповеди и как мог трудился в приходе, пока вдруг не оказался викарием вашей церкви. Но какое практическое отношение всё это имеет ко мне как к человеку, я знаю не больше Симона-волхва, только, в отличие от него, оправдаться мне совершенно нечем. Поймите меня правильно: я и сейчас, пожалуй, смог бы выдержать экзамен по всем Тридцати девяти пунктам англиканского вероисповедания и Книге общих молитв¹³. Но только до сих пор мне лично от них не было никакого толку, словно я вообще никогда о них не слышал.

– Не знаю, мистер Уингфорд, не знаю. По крайней мере, они заставили вас задуматься над тем, есть ли в них хоть толика истины...

– Мистер Полварт, – внезапно перебил его Уингфорд. – Я не могу даже доказать, что Бог существует!

– Но англиканская церковь призвана не доказывать существование Бога, а проповедовать христианство.

– Тогда что такое христианство?

– Бог во Христе и Христос в человеке.

– Но какой во всём этот прок, если Бога нет?

– Абсолютно никакого.

– Скажите, мистер Полварт, а вы можете доказать, что Бог есть?

– Нет.

– Тогда... если и вы не верите в существование Бога... тогда я вообще не знаю, что со мной будет, – горько проговорил священник и с глубоким разочарованным вздохом поднялся, чтобы уйти.

13 Символ веры Англиканской церкви, окончательно установленный в время царствования Елизаветы I, состоит из 39 документов (членов) и известен под названием 39 Articles. В тот же период была завершена разработка общего для всех молитвенника (the Book of Common Prayer).

– Пойдите, мистер Уингфолд, – улыбаясь остановил его карлик и тоже глубоко вздохнул, словно едва сдерживая в себе восторг от захватившей его мысли. – Я знаю Бога сердцем, и в Нём вся моя жизнь. Вы ведь спрашивали, не о том, верю ли я в Него, а о том, могу ли я доказать, что Он есть. С таким же успехом можно попросить муху, едва вылупившуюся на свет, может ли она доказать, что Земля круглая!

– Простите меня, – покаянно сказал Уингфолд, снова усаживаясь на место. – Боюсь, со мной вам придётся запастись терпением. Я сущий осёл. Но для меня это дело жизни и смерти.

– Побольше бы нам таких ослов!.. Только знаете что? Не задавайте пока вопросов – или задавайте сколько хотите, но пока не ждите от меня ответов. Мне хотелось бы сначала получше узнать вас.

– Хорошо. Тогда я спрошу, но если не хотите, то не отвечайте... Если вы не можете доказать, что Бог есть, то откуда у вас уверенность в том, что когда-то на земле действительно жил такой человек, как Иисус Христос? Можно ли с точностью доказать хотя бы это? Я не говорю сейчас ни о христианских доктринах, ни об авторитете Церкви, ни о таинствах, ни о чём другом. Пока всё это меня не интересует. Правда, уже одного того, что всё это мне неинтересно, достаточно, чтобы объявить меня самым что ни на есть лживым и презренным обманщиком, который когда-либо служил... – таким же отъявленным лицемером и мошенником, как какой-нибудь жрец в дельфийском храме, провозглашавший себя воплощением божества! Я смотрю на себя, мистер Полварт, и всё моё прошлое вызывает у меня одну ненависть. Поэтому я не хочу ничьих оправданий; уж лучше пусть люди презирают меня!

– Я не собираюсь ни оправдывать, ни презирать вас, мистер Уингфолд. Прощу вас, продолжайте. Всё это волнует и трогает меня куда больше, чем вы можете себе представить.

– Так вот, несколько месяцев назад я познакомился с одним молодым человеком, чьи воззрения полностью противоречат всему, что до тех пор я принимал как нечто само собой разумеющееся и что теперь мне очень хочется доказать. Он отозвался о моей профессии с пренебрежением, а я даже не смог её защитить и потому начал презирать себя. Я начал думать, начал молиться – вы уж простите, что

я вслух говорю о таких вещах. Всё моё прошлое казалось мне смутной чередой фигур, плывущих перед отрешённым глазом камеры обскуры: в нём не было ничего стоящего, ничего долговременного! Меня словно окутал мрак, который не рассеялся и сейчас. Я взываю, но не слышу ответа, и порой меня охватывает отчаяние. Мне хочется быть честным человеком, хочется вновь обрести покой чистой совести, и ради этого я уже давно отказался бы от своего места. Но я не хочу бросать того, что, несмотря на все мои страхи, может оказаться столь же неизбежно истинным, как мне хотелось бы думать! Что-то удерживает меня, я и сам не знаю что: какая-то смутная приязнь или, может быть, даже обыкновенная давняя привычка, привитая мне с детства – ну, добавьте к этому ещё любовь к музыке и к красоте нашей литургии. К тому же, я не хочу наголову отрицать того, чего пока не могу честно исповедовать – да и как я могу сказать, что верю во что-то, если не знаю, что это такое? И всё равно, я уже давно отказался бы от места, если бы не пообещал прослужить здесь до конца года. Вы единственный из моих прихожан, кто проявил ко мне хоть какое-то участие, и я прошу вас стать моим другом и помочь мне. Что мне делать? Как мне узнать, есть ли Бог на самом деле?

– Пожалуй, прежде всего вам нужно задать себе другой вопрос, – откликнулся Полварт. – «Если Бог есть, как мне Его найти?» Кроме того, как я уже намекал, есть ещё один вопрос, куда более насущный для вас как англиканского священника. Да вы и сами его упомянули: «Действительно ли в мире жил такой человек, как Иисус Христос?» Вы, кажется, выразились именно так. Кстати, а что вы имеете в виду под словом «такой»?

– Такой, каким Его описывает Новый Завет.

– А что это был за человек, если судить по новозаветным писаниям? Каким Он представляется вам по евангельским историям, если допустить, что все эти истории – правда?

Уингфорд немного подумал.

– Оказывается, всё гораздо хуже, чем я думал! – признался он наконец. – Я не могу сказать, каким был Христос. Мои представления о нём такие смутные и неопределённые, что мне, наверное, понадобится уйма времени, прежде чем я смогу ответить на ваш вопрос.

– Пожалуй, даже больше, чем вы думаете. Судя по тому, сколько времени понадобилось на это мне.

Глава 18. Джозеф Полварт

– Не позволите ли вы мне, – продолжал маленький привратник, – в ответ на вашу откровенность рассказать вам немного о моей жизни?

– Я был бы очень вам благодарен, – ответил Уингфолд. – Признаюсь, мне ужасно хочется понять, откуда вы так много знаете. Надеюсь, вы поверите мне, что это не праздное любопытство.

На самом деле, знаю я вовсе не так уж много, – откликнулся карлик. – Как раз наоборот: я самый первый невежда из всех моих знакомых. Вы удивитесь, когда увидите, сколько всего мне неизвестно. Главное тут в том, что я знаю такие вещи, которые действительно стоит знать. Правда, эти знания всё равно дают мне только насущный хлеб и ни крошки больше – я имею в виду тот хлеб, которым жив наш внутренний человек. Кто посвящает всего себя зарабатыванию денег, рано или поздно становится богатым; так неужели тот, кто прежде всего стремится отыскать пищу, чтобы насытить глубочайшую жажду лучших сторон своей души, не сможет найти этот хлеб жизни? Как-то раз я попытался заработать немного денег, продавая книги, но из этого ничего не вышло: с кредиторами я рассчитался, но прибыли так и не получил. Взялся я за это дело без особого воодушевления, да и думал над ним не слишком усердно: нечего и удивляться, что преуспеть мне не удалось. Но в том, чему я посвящал и посвящаю себя всерьёз, я ещё никогда не постыжалося.

Вы уже наверное догадались по моему имени, что семейство наше родом из Корнуолла; когда-то там у нас было большое поместье. Вы не подумайте, что я хвалюсь; это всего лишь часть семейной истории, которая почти никак не сказывается на судьбе таких, как я. Нет ничего лучше людского презрения и болезни вперемешку с могучей надеждой для того, чтобы отучить сердце от суждений и устремлений этого мира. Всего несколько поколений назад это самое Остерфильдское поместье, где я служу сейчас привратником, тоже принадлежало моим предкам; у нас его выкупил дядя нынешнего лорда де Барра. Так что поместья мы лишились, и поделом: уж очень много в нашем роду

было карточных долгов, выпивки и чего похуже. Плоды их беззакония вы видите в нас – таких, какие мы есть. Но вместе с унаследованным несчастьем Отец дал мне и утешение. Рейчел, дитя моё, ведь ты тоже, как и я, благодарись Бога за то, как Он наказывает детей за вину отцов?

– Ну конечно, дядя, ты же знаешь. От всего сердца, – тихо и ласково ответила Рейчел.

Уингфолда охватил благоговейный трепет, и на секунду ему показалось, что он очутился в облаке священной тайны, окутанной в музыку, столь совершенную и возвышенную, что ухо простого смертного не способно её различить. Но тут Полварт заговорил снова:

– Мой отец был высок, статен и замечательно хорош собой. Правда, о нём мне почти нечего сказать. Если он и сбился с пути, то прежде всего виновен в этом мой дед и его отец. У него была сестра – очень похожая на мою Рейчел, только куда несчастнее. Бедная тётя Лотти!.. Все мои братья родились красивыми в отца, но умерли ещё детьми, кроме Роберта – слава Богу, сейчас он тоже умер и, надеюсь, обрёл покой. Я уж начал вместе с ним бояться, что он никогда не умрёт, хотя ему было всего пятьдесят. Как-нибудь я расскажу вам о нём. Он оставил мне Рейчел вместе с двадцатью фунтами дохода в год. У меня самого есть ещё тридцать, да ещё этот дом, за который мы не платим, пока охраняем ворота. Так что от всего нашего рода остались только мы с Рейчел, и по Своей милости Бог скоро положит ему конец.

Меня отослали учиться в небольшую публичную школу – по-моему, главным образом для того, чтобы я не оставался бельмом на глазу для моего красавца-отца. В школе я преуспел вполне сносно, если учесть слабое здоровье и болезненную чувствительность, которая постоянно ощущала чужое презрение и насмешки, но не могла скрыть свою немощность и безобразие от чужих глаз ни в объятьях матери, ни в прибежище родного дома. Именно тогда я впервые почувствовал себя изгоем. Мальчишки поглубже откровенно издевались надо мною, другие относились ко мне по-доброму, но эта приветливость лишь отчасти скрашивала мне жизнь. С другой стороны, я никогда не чувствовал себя жертвой оскорбившей меня судьбы, хотя знаю, что это неотвязное чувство частенько докучает моим товарищам по несчастью:

я не ощущал ни жгучего негодования, ни яростного желания отомстить обидчикам или всему обществу, которое так явно пренебрегло мною. По понятным причинам я был отрезан от других людей, но это лишь заставило меня глубже почувствовать свою индивидуальность, и в результате я начал ещё острее осознавать не столько свою обиженность, сколько ущербность, покуда это ощущение не превратилось чуть ли не в твёрдую уверенность, и я не начал мучительно искать любую помощь, на которую моё жалкое состояние, как мне казалось, имело хоть какое-то право.

Больше всего я жаждал какого-то прибежища, угла, куда можно было бы забиться, где можно было бы спрятаться, чтобы наконец-то вздохнуть спокойно. Мне хотелось восторжествовать над своими обидчиками только в одном: сделать так, чтобы они не могли меня найти, или отыскать себе такого друга, который был бы сильнее их. Неудивительно, что я не помню, когда начал молиться в надежде, что Бог слышит меня. По ночам я воображал, что лежу в Его руке, поглядывая на своих врагов в щёлочки между Его пальцами. Уродство принесло мне одно немалое утешение: я спал один. Сначала это обстоятельство показалось мне ещё одной утратой, ещё одним горьким отвержением, но одиночество только скорее подвигло меня к молитве, и молитвы мои были только искреннее из-за глухого уединения, в котором я чувствовал себя, словно в тесной камерке с запертой дверью.

Не знаю, что бы из меня вышло, будь я таким, как все; не знаю, чего желала для меня мать. Но поскольку время шло, а я так и не рос, и уродство моё становилось всё сильнее и заметнее, всем стало очевидно, что обучать меня какой-то профессии – значит лишь усугублять болезненность моего положения. Первые года три после того, как меня забрали из школы, я старательно избегал попадаться на глаза отцу и буквально не отходил от матери. Когда она умерла, её небольшое состояние отошло нам с братом. Роберт пошёл по стопам отца и стал инженером. Основным капиталом доставшегося нам от матери наследства отец распоряжаться не мог, но пока он был жив, все проценты от этого капитала шли не нам, а ему. Не знаю, как я жил следующие три или четыре года – не иначе как на людском подаянии. Отец почти всегда был в отъезде, и если бы не старая служанка, кроме

которой у нас никогда не было никакой прислуги, я, наверное, умер бы с голоду.

Почти всё время я проводил за чтением, читая всё, что попадётся, но не просто бездумно проглатывая книги одну за другой, а стараясь размышлять об их содержании. Прежнее желание спрятаться не оставляло меня, и хотя я никогда не чувствовал особой склонности к ремеслу плотника, мне всё-таки удалось устроить себе тайное гнёздышко в углу на чердаке. Оно было совсем крохотное, но в нём умещался диванчик, на котором можно было лежать, и небольшой столик, больше ничего. Стены были сплошь уставлены книгами, большую часть которых я нашёл в доме и потихоньку унёс к себе. Вход в свою каморку я замаскировал так искусно, что её, скорее всего, не обнаружили и по сей день, но если на неё всё-таки наткнулся какой-нибудь мечтательный мальчишка с живым воображением, она наверняка стала для него счастливым открытием – я могу даже позавидовать его радости! В этой каморке я молился и читал Библию, но иногда сказки «Тысячи и одной ночи» или какая-нибудь другая повесть, созданная колдовским человеческим воображением, вытесняли всё остальное, и я забывал и про то, и про другое. В такие дни мне было плохо и одиноко, ибо тогда я почти не знал того Сердца, к которому зывал о надёжном пристанище, тепле и защите.

Наконец, какое-то время спустя я начал чувствовать непонятную неудовлетворённость, даже недовольство собой. Сначала чувство было смутное, неопределённое, словно что-то было не так, и сам я был не таким, каким должен быть и каким хотел видеть меня Верховный владыка. Чувство это росло, укоренялось, постепенно обретало чёткость, и я начал понимать, что каким бы тягостным ни было моё внешнее безобразие, отрезавшее меня от сверстников, оно лишь отражало уродство моей внутренней сущности. Внутри меня царил полный беспорядок. Многое из того, что я осуждал на словах и презирал в других людях, было частью моей собственной природы или, в лучшем случае, симптомами цепко приставшей ко мне губительной болезни. Оказывается, я был мстительным и тщеславным завистником, свысока смотрел на тех, кого считал глупее себя, а однажды поймал себя на том, что с презрением думаю об одном юноше, который был повинен лишь

в том, что Бог наделил его лицо почти женской красотой. И вот однажды на меня разом обрушилось тошнотворное осознание своего «я» – как будто канаты самосознания, которые уже давно напряжённо дрожали, ослабевая с каждым днём, наконец-то не выдержали и оборвались. В этот странный и жуткий момент человек на секунду видит себя со стороны, пугается и с отвращением отшатывается. Продлись это мгновение хоть немного дольше, он, наверное, сошёл бы с ума, не будь у него Бога, к Которому можно принести своё внутреннее существо, умоляя об избавлении от этой мерзкой двойственности. В этом страшном духовном припадке я впервые увидел свою уродливую низость, и ясное, и потому ещё более гнетущее ощущение собственной никчёмности заставило меня скорчиться от боли.

Итак, я был самым настоящим фарисеем и лицемером с гнилым и лживым сердцем, а Бог не хуже меня видел всю эту мерзость и, должно быть, гневно презирал меня. Я с новым рвением принялся было за Библию, но обнаружил, что теперь вижу в ней лишь ярость и обличение, и в отчаянии скоро вообще перестал её открывать. Молиться я бросил почти сразу.

Однажды на улице какой-то мальчишка обозвал меня, и меня охватила такая буйная ярость, что я, не помня себя, коршуном налетел на него и пригвоздил его к земле. Сейчас-то я понимаю, что как бы упорно человек не защищался от зла, ему никогда не удастся запереться так, чтобы начисто закрыть вход добру. Мальчишка, оказавшийся в моих руках, смотрел на меня с таким неподдельным ужасом, что его взгляд тут же разоружил меня. Мне стало больно и неловко от того, что я нагнал на него такой дикий страх, ведь на собственном опыте я знал, как плохо человеку, когда он боится; и мне было вдвойне стыдно, что он перепугался такого жалкого существа как я. Я готов был немедленно отпустить его, но сначала попытался хоть немного его утешить. Он же не слышал ни одного моего слова; безотчётный страх настолько завладел им, что даже самые ласковые и добрые слова казались ему угрозами, и вскоре я понял, что мне ничего не остаётся, как только выпустить его. Почувствовав, что его никто не держит, он стремглав рванулся прочь, споткнулся, упал в глубокую лужу, кое-как выбрался и помчался домой, где совершенно правдиво, хоть

и абсолютно неверно рассказал родителям, что в лужу швырнул его именно я.

После этого происшествия я решил стать сдержаннее, но чем больше старался – да что там, чем более сдержанным я выглядел, чем лучше мне удавалось подавлять в себе вспышки ярости, – тем труднее мне было умирять поднимавшийся внутри гнев. Потому я решил больше не думать от себе и принялся читать (всё, что угодно, но только не Библию), читать безудержно, запоем, чтобы побыстрее позабыть о себе. Но даже погрузившись в чтение и размышление, я постоянно ощущал, что где-то внутри меня царит разлад: я был совсем не таким, каким должен и может стать человек. Я ни в чём не находил покоя. Во мне словно недоставало чего-то важного; что-то внутри было смещено и перекошено; я был болен. Всё это были даже не мысли, а чувства, и сейчас я вспоминаю то время как тяжёлый сон, полный смятения и страданий.

Как-то вечером в сумерках я лежал в своей каморке, ни о чём особенно не думая, позволив рассеянными мыслям блуждать, как им заблагорассудится. Погода была жаркая, даже душная, окошко в скате крыши было открыто, но в воздухе не чувствовалось ни малейшего движения. Вдруг, не знаю почему, передо мной, или, скорее, во мне возникло лицо перепуганного мальчишки, и я снова попытался – горячо, страстно, почти мучительно – убедить его в том, что я не причиню ему зла, что во мне нет ничего кроме самого доброго и дружеского расположения. Всё было тщетно, и я снова в отчаянии отпустил его, но вдруг почувствовал ласковое, необыкновенно нежное, живительное дуновение, залетевшее в окошко и решившее задержаться и побыть со мной. Его прикосновение было легче поцелуя матери, но по всему моему телу сразу разлилась приятная прохлада. И тут, уж не знаю, по какой причине (даже если этому есть объяснения, они кроются где-то в глубине тайных источников, потому что сам я не вижу здесь никакой связи), я вдруг подумал: «А что если я не понял Бога точно так же, как этот мальчишка не понял меня?» – и немедленно потянулся за Новым Заветом, который уже давно пылился на полке.

Тем же летом я решил, что начну с начала и прочитаю его до самого конца. Не знаю, на что я надеялся; мне просто показалось,

что это будет полезно и, по крайней мере, поможет мне удерживать ниточку, связывавшую меня с горними сферами. Приняв такое решение, я открыл первую главу Евангелия от Матфея, но в тот вечер не смог прочесть до конца даже первую главу. Я трудолюбиво прочёл каждой слово родословной Христа, но, добравшись до двадцать первого стиха, вдруг наткнулся на такие слова: «И наречёшь Ему имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их» – и упал на колени.

У меня в голове не было никакой богословской системы, которая помешала бы мне прочесть эти слова так, как они были написаны. Я ни на секунду не воображал, что, спасая меня от грехов, Иисус спасает меня только от наказания за них: в такой вести для меня не было бы ничего благого. Я никуда не мог деться ни от своей порочности, ни от своих грехов; я ненавидел их, но никак не мог от них освободиться. Гниль жила внутри меня, она была частью меня; как же мне было отрешиться от того, что рождалось в моём собственном сознании и казалось его нераздельной принадлежностью? Как мне было выйти из самого себя, чтобы увидеть и вырвать корень всего дурного? Но в Евангелии я увидел Того, Кто знал и видел этот самый корень и готов был избавить меня от того, что жило во мне самом и делало мою жизнь несчастной. Ах, мистер Уингфолд! что если после всех открытий и недолговечных теорий, посреди всех банальностей, которые зовутся у нас здравым смыслом, несмотря на настырную напористость видимого и осязаемого мира, то и дело кричащего нам: «Вот я, и кроме меня нет ничего; Незримое – это всё равно, что Нереальное!» – что если, несмотря на всё это, у человека нет оружия сильнее молитвы своему Творцу? Что если человек, который, несмотря на насмешки тех, кто почитает лишь науку и так называемый естественный закон, возносит своё сердце Богу, пусть даже неведомому, и благодаря этому входит в те самые сферы, где рождается всякий закон и откуда вышла всякая наука?

Если бы можно было подробно и по порядку рассказать, что произошло дальше, мне понадобился бы не один час. Скажу вам одно: с того самого момента я стал учеником. Вскоре у меня возникло два вопроса: «Как мне точно узнать, есть ли вообще Бог?» и «Как мне удостовериться, что такой человек, как Иисус, действительно жил на Земле?»

Ни на один из них ответить пока я не мог, но тем временем продолжал читать историю этого Человека (который уже начинал мне нравиться), пытаюсь проникнуть в Его жизнь, в Его характер и понять, почему Он говорил и действовал так, а не иначе. А через пару месяцев я и вовсе перестал искать ответы на эти вопросы, потому что они перестали быть вопросами: я узнал человека Христа Иисуса и в Нём увидел Того, Кто был Отцом и Ему, и мне. Видите ли, дорогой мой мистер Уинфорд, вы ни в чём не сможете по-настоящему убедиться с помощью одного интеллекта, ведь он имеет дело лишь с мыслями, достающимися вам из вторых рук; в любом случае, этого вам всё равно было бы недостаточно. Но даже докажи мы, что Бог есть, пользы от этого будет мало: нам нужно увидеть Его и узнать Его, чтобы убедиться, что Он не бес и не деспот. Есть только один способ узнать, есть ли Бог на самом деле: узнать, какой Он; увидеть ту единственную Мысль, которая только и может быть Богом и которая показывает Его в Его собственном бытии, доказывающем само себя. А сделать это можно, познав Иисуса Христа, каким Он однажды открылся людям на земле и каким заново открывается каждому сердцу, желающему узнать о Нём правду.

Несколько секунд в комнате царило серьёзное молчание, а потом Полварт снова заговорил:

– Либо всё наше существование – лишь жалкий и никчёмный хаос, который может только грезить о стройном миропорядке и где высшее всегда вынуждено подчиняться низшему, либо это – воплощённый замысел, непрестанно тянущийся к завершению в Том, Кто Сам есть единственная и совершенная творящая Мысль: в Отце светов, готовом пострадать ради того, чтобы привести многих сынов в славу – в Свою собственную славу.

Глава 19. Решение

– Вы не подумайте, что я с вами не согласен, – ответил Уингфорд, – но сейчас передо мной стоит как раз та дилемма, которую вы давно для себя решили: как мне убедиться, что я не обманула себя, не заставил себя поверить в то, что хотел бы считать истиной?

– Прежде чем отвечать на этот вопрос, мистер Уингфорд, вам придётся выяснить, в чём именно состоит то, что вы хотели бы считать истиной. Сдаётся мне, что пока вы имеете весьма смутное представление о том, в чём столь разумно и справедливо сомневаетесь – и сомневаетесь именно потому, что почти ничего не знаете. Неужели человек должен держать шторы закрытыми только из-за боязни, что нечаянная вспышка света покажется ему видением утра, хотя рассвет ещё не настал? Истина для души – всё равно, что свет для глаз. Можно ошибиться и принять за подлинный свет что-то другое, но когда видишь свет на самом деле, обмануться просто невозможно.

– Тогда как мне, по-вашему, следует поступить? Что мне делать? – спросил Уингфорд, который теперь, отыскав себе учителя, готов был по-детски его слушаться, хотя и не вполне понял последние слова своего нового наставника.

– Позвольте мне повториться, – сказал Полварт. – Церковь, которой вы служите, была основана не для того, чтобы провозглашать или доказывать существование Божества, но для того, чтобы проповедовать слова Того, Кто называл себя Сыном и единственным воплощением Отца всех человеков. Если Его слова – правда, в них уже содержится ответ на вопрос о существовании Бога. Поэтому сейчас, когда, будучи священником, вы оказались в столь плачевном положении, прежде всего вам необходимо познакомиться с этим Человеком; а узнать Его можно только по мере того, как через глубины Своего сердца Он будет открывать вам Отца. Поэтому возьмите свой Новый Завет и попробуйте прочесть его так, словно видите его впервые, для того, чтобы понять, кто Он такой. Если вы не найдёте в Нём Бога, возвращайтесь к своему долгу перед человечеством, к своей метафизике, к Платону, к Спинозе. До тех же пор вопрос остаётся открытым: однажды в мире жил

человек, утверждавший, что знает Бога, и обещавший, что каждый поверивший ему, тоже узнает Бога. Свидетельств о его жизни действительно осталось немного, но их достаточно, чтобы увидеть, что это был за человек: каковы были его принципы и взгляды на мир, что он думал об Отце, своих братьях и отношениях между ними и что говорил о главном деле человека на земле, его судьбе и надежде.

– Я вижу, что мне непременно нужно сделать то, о чём вы говорите, – сказал Уингфолд, – но при этом совершенно не представляю, как всё это сделать, продолжая оставаться священником! Я и так чувствую, что с каждым днём становлюсь всё беспокойнее и раздражительнее, всё сильнее презираю себя, потому что на меня всё тягостнее давит моё ложное положение, и мне нечего дать людям кроме сухого, немолотого зерна из дядиных закромов. Вы даже не представляете, сколько усилий и времени мне требуется для того, чтобы перекроить его проповеди так, чтобы избежать прямой лжи! Ну как мне посреди всего этого приступить к столь серьёзному и важному делу, требующему ясной мысли и нераздельного сердца? Пожалуй, мне всё-таки придётся немедленно подать в отставку.

– По-моему, лучше пока оставить всё как есть, – сказал господин Полварт после недолгого раздумья. – По крайней мере, на какое-то время. Если через месяц у вас не появится надежды отыскать Христа и Бога, тогда подавайте в отставку. В любом случае, ваше будущее служение должно зависеть от познания Господа этого служения и Его воли для вашей жизни.

– А вы не боитесь, что предвзятость в пользу профессии священника помешает мне судить здраво и честно?

– По-моему, она только заставит вас сильнее сомневаться в тех суждениях, на которых держитесь.

– Хорошо, – сказал Уингфолд, поднимаясь. – Я попробую. Боюсь только, что мне не по плечу совершать открытия в таких высоких сферах.

– Вы вполне способны отыскать то, в чём нуждаетесь, если оно действительно существует, – ответил Полварт. – Но позвольте мне немного облегчить ваш труд. Сам я довольно хорошо знаком с лучшими богословскими трудами более практического и поэтического толка

– эти два качества вообще всегда идут рука об руку! – так что если завтра вы зайдёте к нам ещё раз, то я, пожалуй, смогу снабдить вас кое-какой пищей для вашей паствы, причём без всякого обмана. Ведь двуличие остаётся двуличием, каким бы расхожим оно ни было и как бы не попустительствовали ему сами прихожане, и как бы не смеялись над ним за спиной священника. Закона о том, что вы всегда должны читать проповеди своего изготовления, просто нет, а вот вечный закон против всякого мошенничества – вы уж извините меня за это слово! – действительно существует.

– Любой моей благодарности будет мало, – сказал Уингфорд, – так что я и попытаюсь не стану вас благодарить, но вместо этого пойду и сделаю так, как вы сказали. Вы первый настоящий друг в моей жизни – кроме брата; но его уже нет.

– Возможно, друзей у вас больше, чем вы думаете. Например, вы многим обязаны тому юноше, который своей откровенной враждебностью впервые заставил вас увидеть, чего вам не хватает.

– Надеюсь, однажды я действительно буду благодарен за это Богу, – усмехнулся Уингфорд. – Пока же особой признательности господину Баскому я не чувствую. Но... если подумать, то действительно: что как не честность прежде всего заслуживает нашей благодарности?

Условившись с Полвартом о завтрашнем визите, Уингфорд распрощался и вышел из домика, испытывая к его хозяину столько простого и искреннего уважения, сколько не чувствовал в жизни ни к кому другому. Прощаясь с Рейчел, он увидел в её чудных глазах слёзы, что как нельзя лучше соответствовало их выражению: Уингфорду неизменно казалось, что через пелену страдания она видит что-то другое, превосходящее всякую скорбь.

«Если это и впрямь наказание детей за грехи отцов, – подумал Уингфорд, – то в ходе истории должно быть много всего такого, чего не в силах объяснить никакая политическая экономия. Ведь тогда получается, что благосостояние каждого человека вовсе не зависит от того, как мы управляем обществом, а всё как раз наоборот: благосостояние общества зависит от того, что происходит с каждым в отдельности».

Я не стану перечислять все вехи пути, на который вступил в тот день Томас Уингфорд; и потом, кое-какие из них вы наверняка заметите сами. Когда ему становилось особенно тяжело тащить на себе воз жизни и служения, карлик неизменно подводил ему в помощь ещё одну рабочую лошадку. С того самого дня и до конца недели Уингфорд каждый вечер навещал своих новых друзей.

Глава 20. Странная проповедь

В воскресенье священник отправился на утреннюю службу с таким видом, будто колокола созывали прихожан не в церковь, а на его собственную казнь. Что ж, если ему и впрямь предстоит быть повешенным, лучше умереть по-человечески, исповедовавшись в своём грехе. Поскорей бы уже вечер, когда всё будет позади! Пока Уингфорд читал молитвы, его так трясло, что он и сам не сумел бы сказать, слышат ли его сидящие перед ним люди. Но по мере приближения рокового часа он чувствовал всё большую смелость, и когда пришло время подняться на кафедру, смог даже окинуть взглядом ряды прихожан, пытаться разглядеть на задних скамьях, где располагался люд победнее, большую голову карлика. Однако его там не оказалось.

Библейский текст община выслушала с обычным вялым равнодушием. Но не успел священник заговорить, как на лицах его слушателей отразилась явная перемена – так кони в табуне разом наостряют уши. К несказанному изумлению Уингфорда, его действительно слушали! Хотя по правде говоря, удивляться было нечему: такое вступление к проповеди вообще редко когда услышишь в церкви, а в этой церкви никто и никогда не слышал ничего подобного.

Для сегодняшней службы Уингфорд выбрал отрывок «Признавайтесь друг пред другом в проступках». Прочитав его с предательской дрожью в теле, он остановился, и на мгновение ему показалось, что

незримая волна сплющила ему голову, унесла с собой разум и бесследно растворила его в своей массе, разом лишив всех мыслей и слов. Но могучим усилием воли, словно пытаясь вызвать себя из небытия, Уингфорд пришёл в себя и начал говорить. Чтобы читатели воздали ему должное, я напомним, что по натуре он был застенчив и к тому же слишком хорошо знал недружелюбный настрой своей общины; кто был виноват в этой неприветливости, он сам или его прихожане, сегодня не имело значения. Даже в уединении своего кабинета (а если точнее, то в темноте своей спальни) Уингфорду было страшно решиться на такой поступок, но осмелиться осуществить задуманное перед лицом стольких людей, несмотря на трусливо съёжившийся разум, было самой настоящей и очень нелёгкой победой. Если подумать, уже сама решимость поступить по правде была победой, которая смела прочь и застенчивость, и все другие слабости, пытавшиеся ему помешать. Но для того, чтобы превратить эту решимость в поступок, требовалась новая смелость, а ведь до сих пор его мужество ни разу не подвергалось ни проверке, ни серьёзному испытанию. В школе он никогда ни с кем не дрался, на охоту не ездил, не переживал ни кораблекрушения, ни пожара, и грабители ещё ни разу не останавливали его на тёмной улице, требуя кошелек и часы. Но, пожалуй, не всякий человек, с честью выдержавший все эти испытания, решился бы ради чистой совести пойти на тот шаг, на который осмелился сейчас Уингфорд. Поглядывая на лежащие перед ним страницы, он заговорил:

– «Признавайтесь друг пред другом в проступках» – эта апостольская заповедь послужит мне оправданием в том, что некоторые из вас могут счесть чуть ли не нарушением всех нравственных приличий, ибо сегодня я собираюсь говорить с вами о себе. Но поскольку я грешил, обращаясь к вам с этой кафедры, сегодня с этой же самой кафедры мне хотелось бы покаяться. Именно отсюда, воскресенье за воскресеньем, ничего не объясняя, я читал вам слова и мысли другого человека, и читал так, словно сам искал и нашёл их для вас. Я не сомневаюсь, что эти проповеди были куда лучше всего, что мог бы написать я сам, основываясь на собственных мыслях и опыте, и во всём этом не было бы ничего дурного, если бы я с самого начала сказал вам правду. Но я этого не сделал... Однако благодаря справедливому

обличению со стороны друга, чьи укоризны воистину искренни, я осознал всю нечестность своего поступка и сегодня признаюсь в нём перед вами. Простите меня. Больше я никогда не буду так поступать.

Но, братья, пока у меня самого есть только крошечный садик на голом склоне, и в нём ещё нет плодов, которые я мог бы с чистой совестью дать вам в пищу. Кроме того, сердце моё теснят беспокойные мысли, и я чувствую себя ничтожным перед Богом и людьми. Поэтому я прошу у вас немного терпения и снисходительности, если, пытаюсь снабдить вас доброй пищей, я какое-то время буду нарушать общепринятые традиции – хотя поступая так, я лишь делаю то, что кажется мне наиболее разумным и вполне законным. Если у меня не получится дать вам то, в чём вы нуждаетесь, я уступлю эту кафедру более достойному священнику. Тот хлеб, который я собираюсь преломить для вас сегодня, я не таясь собирал на чужих полях, как собирают оставшиеся после жатвы колосья. Признаюсь, что не смог бы отыскать даже эти поля (по крайней мере, вовремя, чтобы не лишить вас насущного хлеба в это воскресенье) и набрать в них достаточно зерна, если бы не помощь того самого друга, который открыл мне глаза на то зло, какое я причинял и себе, и вам. Некоторые из этих полей совсем древние, но даже после многократной жатвы в них отыщется немало тучных колосьев, и, высыпая перед вами каждую пригоршню зерна, я буду называть ту ниву, где собрал её. Всё это поможет нам увидеть, что думали лучшие и мудрейшие пастыри Англии о христианском долге исповедовать свои грехи друг перед другом.

И Уинфорд начал один за другим читать отрывки, которые Полварт помог ему отыскать и расположить по порядку, но не хронологически, а так, чтобы они постепенно раскрывали главную мысль, и предварял каждую новую пригоршню этого «зерна» двумя-тремя словами о том, с чьего поля она была собрана. Пока он читал, голос его окреп и перестал дрожать. Возобновлённая связь с великими учителями прошлого наполнила его радостью, и его слова, вдохновлённые этой радостью, звучали приподнято и светло. Даже если Уинфорд не проповедовал сейчас никому другому, он несомненно проповедовал самому себе – и ощущал от этого несказанное удовольствие.

Некоторые прихожане были разочарованы: они надеялись, что священник призовет общину почаще пользоваться исповедальней и приведет доводы в её защиту, полагая, что источником всех этих перемен могла быть лишь та сфера церковных небес, куда они сами обращали свои взоры. Другие были возмущены, что этот юноша, который пока был всего лишь викарием, замахнулся на столь смелые нововведения. Однако многие утверждали, что это была самая интересная проповедь в их жизни – что, пожалуй, значило совсем не так много, как может показаться.

Миссис Рамшорн не относилась к числу ни первых, ни вторых, ни третьих. Уингфолд всё так же не вызывал у ней ни малейшей симпатии. К тому же, она долго была причастна к духовным кругам и немало знала о том, что делается... то ли за церковными кулисами, то ли в церковной тюрьме – даже не знаю, как это назвать. Теперь же она негодовала на молодого выскочку за то, что он низвёл церковную кафедру до скамьи подсудимых. Да что он о себе воображает? Неужели уважаемой общине, в которую входят первые семьи графства, есть дело до этого жалкого викария, который вдруг вообразил себя грешником и преступником? Зачем было высовываться, пока никто публично не обвинил его в обмане? И неужели нельзя было раскаяться в своих грехах, какими бы они ни были, не похвываясь ими с кафедры и не обнажая их перед всей общиной? Что за дешёвая уловка – выставить перед всеми свои прегрешения! Да какая разница, чью невнятицу он бормочет по воскресеньям с кафедры – свою собственную или какого-то другого болвана! Никто не стал бы к нему придирааться, придержи он свой глупый язык! Были священники и получше его, которые преспокойно читали чужие проповеди и не видели в этом ничего дурного! Да и кому от этого хуже? Главное не подавать виду, что проповедь не твоя; а то от этого люди только начинают нелестно думать о священниках и перестают слушать проповеди, которые иначе принесли бы им немало пользы. И потом, враги истины могут использовать эту откровенность против церкви! И он ещё смеет называть сегодняшнее безобразие проповедью! Да это всё равно, что вместо яиц продавать на базаре пустую скорлупу! – Так возмущалась миссис Рамшорн

по дороге домой из церкви, не давая своим спутникам вставить ни одного слова.

– Простите, тётя, но я с вами не соглашусь, – сказал Хелен, когда миссис Рамшорн наконец-то замолчала. – Мне проповедь показалась очень интересной. И читал он хорошо.

– Признаюсь, раньше я считал этого молодчика тюфяком и недотёпой, – заметил Баском, который теперь гостил у тёти каждую неделю, с субботы до понедельника, – но клянусь честью, с сегодняшнего дня моё мнение изменилось! Что там ни говори, это был по-настоящему смелый поступок. Поверьте мне, дорогая тётушка, мало у кого достанет мужества на нечто подобное!.. И вы знаете, Хелен, – добавил он вполголоса, обращившись к ней, – сдаётся мне, что я тоже сослужил этому малому кое-какую службу. Когда мы с ним только познакомились, я прямо сказал ему всё, что думаю о его честности. Право, никогда не знаешь, что будет, когда человек встаёт на истинный путь! Может быть, скоро он станет одним из нас. Кстати, надо будет поискать ему какое-нибудь место; если он лишится своего ремесла, ему придётся нелегко.

– Я так рада, что вы со мной согласны, Джордж, – ответила Хелен. – Мне всегда казалось, что в мистере Уингфолде что-то есть. Жаль только, что он так болезненно скромнен и застенчив.

– Несмотря на всю его робость, в нём всё-таки есть некоторое самодовольство, – возразил Джордж. – Помните, как он постоянно спрашивал: «А не кажется ли вам?», словно Сократ, ловко пользующийся своим преимуществом перед каким-нибудь простаком и незаметно увлекающий его в ловушку. Потому-то он и показался мне самодовольным. Но, как я уже сказал, теперь моё мнение несколько изменилось. Надо же! Ему, должно быть, пришлось немало покопаться в мусорной корзине, чтобы выкопать все эти жалкие разноцветные лохмотья и битые черепки парадных кухонных горшков!

– Вы же слышали, у него был помощник, – заметила Хелен.

– Да? Что-то я это упустил.

– Он упомянул об этом как раз после той симпатичной метафоры про древние поля и зерно.

– Метафору я помню, потому что она показалась мне нелепой: как можно из поколения в поколение подбирать колосья с одних и тех же сжатых полей?

– Да, верно, – откликнулась Хелен. – Я об этом не подумала.

– Оставшееся зерно уже сто раз упало бы в землю, проросло и дало урожай, – продолжал Джордж. – Если уж пользуешься риторическими фигурами, так надо следить за тем, что-бы они хотя бы держались на ногах... Интересно, кто ему помогал? Неужели старший священник прихода?

– Как же! – фыркнула миссис Рамшорн, слушавшая разговор молодых людей, презрительно поджав губы и размышляя о том, какие великие преимущества даёт опыт, пусть он даже не способен возместить утрату молодости и красоты. – Да он ни за что не стал бы поощрять это бессовестное самоуправство и лицемерие! У этого Уингфорда не хватает ума сочинить собственную проповедь, вот он и повадился к покойникам, собирать их мысли чуть ли не из могил! – я бы сказала «воровать», только ведь он не прячется! Видите, ему даже стыда не хватает, чтобы таскать чужое потихоньку!

– А мне нравится, когда человек не скрывает своих поступков и убеждений, – заметил Джордж.

– Ах, Джордж, – умудрённым тоном произнесла тётушка. – Надеюсь, что к тому времени, когда ты наберёшься побольше опыта, благоразумия у тебя тоже поприбавится.

Однако Джордж и сейчас вёл себя довольно благоразумно, потому что в присутствии тётушки тщательно скрывал свои подлинные мысли. Про себя он решил, что в откровенности толку мало. Тётушка слишком предвзято ко всему относится; чего доброго, ещё запретит ему видиться с Хелен! Что же до миссис Рамшорн, она ни на минуту не сомневалась в том, что Джордж благочестиво придерживается всех проверенных и общепринятых церковных доктрин: ведь он был сыном священника и каноника, а значит, внуком самой Церкви!

Глава 21. Гром среди ясного неба

Иногда гром действительно раздаётся среди ясного неба, и на мирную семью или безмятежно спокойного человека вдруг обрушивается нечто ужасное, хотя ничто, ни тучи над головой, ни легчайшие колебания земных недр, не предвещало беды. С той самой минуты всё решительно меняется, и жизнь становится совсем иной – и, пожалуй, уже бесповоротно. Если всё пойдёт, как надо, она станет лучше, хотя может получиться и наоборот (тут всё зависит от неё самой), но её духовный климат уже никогда не будет прежним. Её небо заволакивается тучами, и никакие слёзы дождя не могут его очистить, однако закат на нём может быть просто необыкновенным.

Со стороны верующего человека было бы чистой банальностью повторять, что подобные катастрофы, какими бы пугающими и грозными они ни были, случаются только тогда, когда в них действительно есть нужда. Тот, в Ком заключена вся сила жизни, никогда не согласится, чтобы существа, обретающие в Нём своё бытие, влачили жалкое, убогое существование. Если даже человеку бывает худо от нежеланных, низменных мыслей, каково приходится Ему, когда те, кто лишь Им живёт, движется и существует, ведут себя отвратительно и подло, а подчас и вовсе чураются Его по самонадеянности и лениности сердца?

Не могу сказать, что за зимние и весенние месяцы в душе у Хелен произошли сколь-нибудь заметные перемены. Но когда человек наконец-то просыпается (если вообще просыпается), неужели кто-то осмелится бросить в него камень, осуждая его за то, что он не проснулся раньше? И кто из проснувшихся дерзнёт утверждать, что стряхнул с себя сон при первой же возможности? Самому главному, страшному, явному и, быть может, единственному осуждению подлежат те, кто, проснувшись, отказался встать.

Однако необходимо заметить, что Хелен поддавалась законам возрастания не быстрее железного дерева¹⁴. До сих пор её ничто не беспокоило. Она никогда ни в кого не влюблялась да и сейчас, пожалуй,

¹⁴ Любая разновидность дерева с очень твёрдой и тяжёлой древесиной.

не была влюблена. Она регулярно посещала церковь, исправно молилась утром и вечером, но при этом теории и доктрины Джорджа Баскома не вызывали у неё негодования. Её не заботило, насколько истинными были все эти «идеи Джорджа», как она называла их про себя, но постепенно они начали казаться ей настолько истинными, насколько ложь вообще может показаться правдой – ибо разуму, не привыкшему к правдивости, неправда действительно может показаться истиной. Пока что она была неспособна даже воздать Баскому должное в том, что, придерживаясь подобных взглядов, он, тем не менее, был сторонником жизни ради блага общества – причём, по всей видимости, не черпая особого вдохновения в том, что сам считал основанием всякого сознательного действия, а именно: в том, как это действие скажется на нём самом. Не задумывалась она и о том, что теми крупицами добра, которые всё-таки присутствовали в его неверии, Джордж, скорее всего, был обязан именно той закваске, которую провозглашал ядовитым корнем, породившим все пагубные болезни, разъедающие внутренности общества.

Однажды вечером она засиделась допоздна, отделявая для тётушки новый чепец. Вообще, шитьё было единственным проявлением её внутренней оригинальности, и в её творениях проявлялись и тонкий вкус, и изобретательность замысла вкупе с лёгкостью и искусностью исполнения. Чепец непременно нужно было закончить сегодня, чтобы утром подарить его тётушке на день рождения. За ужином у них были гости, которые долго не хотели расходиться, так что сейчас часы показывали почти час ночи. Но Хелен была довольно вынослива, да и бросать начатое дело было не в её привычках, так что теперь она сидела у себя и прилежно трудилась, думая при этом не о Джордже Баскоме, а о том, кого любила гораздо, несравненно больше: о своём брате Леопольде. Правда, раздумья эти были не такими мирными и безмятежными, как обычно. Её уже давно посещали тревожные мысли о брате, и в последнее время эта тревога становилась всё сильнее, потому что писем от Леопольда не было уже несколько недель.

Вдруг она остановилась и замерла, напряжённо вслушиваясь в ночную тишину. Ей показалось – или не показалось? – что за окном раздался какой-то шум. Читатель, должно быть помнит, что это окно

выходило на балкон, который одновременно служил крышей огибавшей дом веранды, с которой по лесенке можно было спуститься прямо в сад. Хелен была не из пугливых и перестала шить только для того, чтобы прислушаться, но так ничего и не услышала. Решив, что ей померещилось, она снова взялась за иглу, но... что это? По стеклу явно кто-то постучал! Сердце её невольно забилося быстрее, если не от страха, то от чего-то очень похожего на страх, в котором крылось смутное предчувствие беды. Однако она не собиралась безропотно сдаваться на милость непонятого ужаса, и, сказав себе, что это, должно быть, голуби, слетевшиеся на балкон, неслышно встала и подошла к окну. Она уже собиралась чуть раздвинуть портьеры, чтобы выглянуть в окно, как вдруг тихий стук повторился, и она решительно отдернула тяжёлую ткань.

На тонкой шторе в блеклом свете дряхлеющей луны виднелась неясная тень чьей-то головы. Что-то в форме этой тени заставило Хелен отодвинуть штору с небывалой поспешностью, но в то же самое время с тем благоговейным трепетом, с которым люди «с лица снимают погребальный плат¹⁵». Да, за окном было лицо – ужасное, но не как у трупа, а как у привидения, чья душа так и не исцелилась от ран своей земной кончины. Хелен не закричала; горло её судорожно сжалось, а сердце, казалось, остановилось, но она не сводила глаз с призрачного лица, даже узнав в нём лицо брата. Его же глаза неотрывно смотрели на неё с выражением такого горячечного рвения, словно были не обычными органами зрения, а дырами в изголодавшуюся бездну; но губы его не двигались, и он не попытался произнести ни единого слова. Несколько мгновений брат и сестра взирали друг на друга в неподвижной тишине, словно разделявшее их стекло было завесой, отделяющей тех, кто называет себя живыми, от тех, кого они зовут мёртвыми. Часы успели отмерить лишь несколько секунд, но потом им казалось, что они стояли, глядя друг на друга, целую вечность.

Хелен пришла в себя и дрожащими руками медленно и бесшумно повернула задвижку и подняла раму. Теперь стекла между ними не было, но Леопольд не двигаясь продолжал смотреть ей в лицо. Наконец, губы его шевельнулись, но он не издал ни единого звука.

15 Из стихотворения А. Л. Теннисона «Принцесса».

Смятение, поднявшееся в душе Хелен, уже пробудило ней инстинктивное желание сохранить всё в тайне. Она быстро приложила ладони к лицу Леопольда и поспешно зашептала, называя его тем ласковыми именем, которое дала ему в ещё детстве:

– Залезай скорее сюда, Польди, и расскажи мне, что случилось.

Её голос как будто пробудил его ото сна. Заторможенными, полуоцепеневшими движениями он кое-как перебрался через подоконник, рухнул на пол и в изнеможении застыл, глядя на сестру с видом загнанного зверёныша, который надеялся, что нашёл, наконец, безопасное пристанище, но ещё не был в этом уверен. Увидев, как он измучен, Хелен шагнула было к двери, чтобы принести ему немного бренди, но сдавленный, мучительный вскрик заставил её остановиться. Польди чуть приподнял голову с пола, протягивая к ней руки, и на лице его явно читалась мольба не оставлять его одного. Она опустилась на колени рядом с ним и хотела было поцеловать его, но он отвернулся от неё с выражением, похожим на отвращение.

– Польди, – проговорила она, – я просто должна пойти и принести тебе чего-нибудь подкрепиться. Не бойся. Все уже спят.

Пальцы, судорожно вцепившиеся ей в платье, разжались, и его рука бессильно упала на пол. Хелен тут же поднялась и выскользнула за дверь. Она кралась по спящему дому лёгкой и бесшумной тенью, но сердце её словно стало чужим и камнем сдавило ей грудь. Она силась одновременно успокоиться и стряхнуть с себя оцепенение, потому что никак не могла сосредоточиться. Ей казалось, что с тех пор, как часы пробили полночь, прошла уже целая вечность. Ясно было одно: её брат натворил что-то ужасное и, испугавшись, что его найдут, прибежал к ней. Как только эта мысль встала перед ней во всей своей убедительной отчётливости, Хелен бессознательно выпрямилась и на одном дыхании, где-то в потаённой глубине своего существа, неопределённо, без слов поклялась, что не обманет его доверия. Она ступала беззвучно, как лесной хищник, руки её действовали ловко и бесшумно, как у ночного вора, движения стали гибкими и точными, а глаза засверкали новообретённым материнством и нежностью к сироте, оставшемуся от её отца: казалось, душа её внезапно раскалилась добеда, и оттого всё тело обрело небывалую чуткость и упругость.

Глава 22. Леопольд

Она вернулась в комнату словно новорождённая богиня, шествующая по воздуху. Брат её всё так же лежал на полу. Увидев её, он приподнялся на локте, трясущейся рукой выхватил у неё стакан, залпом опрокинул в рот бренди и снова бессильно свалился на пол. Но в следующее же мгновение он внезапно вскочил на ноги, в ужасе оглянувшись на окно, одним прыжком оказался у двери, запер её, рванулся к сестре и, обхватив её руками, прижался к ней, как дрожащее дитя, поминутно взглядывая на окно.

Теперь ему было двадцать лет, и он уже перестал расти, но всё равно был ничуть не выше сестры. Он был смугл, волосы у него были чёрные, как ночь, а глаза огромные и лучистые, и, по выражению Мильтона, в его устах «язык любой страны иноплеменной» был способен пленить чей угодно слух¹⁶. Рядом с Хелен его гибкая, крепкая и стройная фигурка выглядела маленькой и узкоплечей.

Она попыталась хоть немного успокоить его, бессознательно говоря с ним тем же тоном и теми же словами, которыми в детстве умирляла бурные проявления его чувств. Вдруг он поднял голову и в паническом ужасе отшатнулся от неё, прикрыв глаза рукой, как будто её лицо было зеркалом, в котором он увидел себя.

– Что это у тебя на манжете, Леопольд? – спросила Хелен. – Ты поранился?

Он с непонятым выражением лица взглянул на свою руку, но не это заставило Хелен побледнеть от подступившей к горлу тошноты. Вопрос породил в ней жуткое подозрение: что если на манжете была вовсе не его кровь? Но подумав так, Хелен тут же почувствовала, что совершила против брата непростительный, чёрный грех. Нет, она ни за что, ни за что не станет в это верить! Подумать только, сестра подозревает брата в таком преступлении! Но она невольно опустила руки, отступила на шаг, и её глаза, словно не слушаясь её мыслей, внимательно и с сомнением окинули фигуру Леопольда.

16 Джон Милтон, Сонет 4, перевод Ю. Корнеева.

Вся его одежда была порвана и запачкана – кто знает чем? Несколько секунд он безмолвно и покорно стоял под испытующим взглядом сестры, опустив голову, но потом, внезапно вскинув на неё свои сверкающие глаза, сдавленно заговорил, как будто голос его с трудом пробивался сквозь заглушающую его толщу земли.

– Я убийца, Хелен. Меня ищут. Полиция будет здесь ещё до рассвета.

Он обессиленно опустился на пол и обхватил руками её колени, и из горла его вырвался страдальческий крик:

– Хелен, сестра моя, спаси меня, спаси!!!

Хелен стояла, ничего не отвечая, потому что едва держалась на ногах. Она не знала, долго ли ей пришлось подавлять в себе эту отвратительную слабость, но чувствовала, что стоит ей сдвинуться хоть на дюйм, отвернуться хоть на мгновение, уступить хоть самую малость, и мерзкая тошнота лишит её чувств и свалит на пол, и от шума её падения проснётся весь дом. В глазах её потемнело, будто над ней хлопнули крышку гроба, а разум её тонул, качался и колыхался среди колец огромной белой змеи, присосавшейся к её сердцу. Наконец, темнота немного рассеялась и превратилась в серый туман, в котором смутно виднелось лицо её младшего брата – должно быть, таким лицо богача, проглядывающее из адского пламени, виделось его ангелу-хранителю, едва витавшему на обессиленных крыльях над подымающимися клубами дыма. Потом туман стал немного прозрачнее, и сквозь него Хелен разглядела блеск умоляющих, безысходных глаз, полных ужаса и отвращения к себе. Все материнские чувства её души рванулись на помощь отчаянно борющейся воле, сердце всколыхнулось, кровь прилила к девственно-белому мозгу и окрасила его жизнью, тело послушно смирилось, и она снова стиснула в ладонях лицо брата и прижала его голову своей к груди.

– Польди, милый, – зашептала она, – успокойся и постарайся прийти в себя. Я сделаю для тебя всё, что могу. Вот, выпей... А теперь скажи мне только одно...

– Ты ведь не выдашь меня, Хелен?

– Нет. Не выдам.

– Поклянись!

– Бедный мой Польди! Да разве нам с тобой нужны клятвы?

– Нет, поклянись!

– Бог мне свидетель, я тебя не выдам! – твёрдо проговорила Хелен, на мгновение подняв к небу глаза.

Леопольд поднялся и снова безмолвно стоял перед ней, опустив голову, как преступник, ожидающий приговора.

– Ты всерьёз думаешь, что тебя ищет полиция? – спросила Хелен, с усилием сохраняя спокойствие.

– Иначе и быть не может. Они, должно быть, давно ищут меня. Не знаю, сколько прошло дней. Скоро они будут здесь... Тише! Кто это там, у двери?.. Нет, нет... Смотри, чья это тень на занавеске? Ах, нет, мне показалось; мне уже давно мерещатся всякие страхи. Я ведь даже не пытался спрятать её, Хелен! Они, должно быть, давным-давно её нашли!

– Боже мой! – невольно воскликнула Хелен, но тут же спохватилась и закусила губу.

– Там рядом был старый колодец, – торопливо продолжал Польди. – Если бы я сбросил её туда, её никогда бы не нашли: там внизу столько мёртвого воздуха, что хватило бы задушить и сотню полицейских. Но я не смог заставить себя сбросить туда такую красоту, даже ради собственного спасения!

Взгляд его снова стал диким, а слова беспорядочными, но Хелен, охваченная новым ужасом, продолжала безмолвно, не двигаясь, смотреть на него.

– Спрячь меня, спрячь меня, Хелен! – умоляюще зашептал он. – Должно быть, ты думаешь, что я сошёл с ума. Ах, если бы! Хотя порой мне кажется, что я и впрямь потерял рассудок. Но нет, это не бред сумасшедшего. Если ты кому-нибудь об этом расскажешь, мне конец. Так что если ты хочешь, чтобы меня повесили...

Он сел и в отчаянии обхватил себя за плечи.

– Тише, Польди, тише! – вскричала Хелен паническим шёпотом. – Я просто думаю, что теперь делать. Спрятать тебя здесь я не могу. Если рассказать обо всём тётушке, она так перепугается, что невольно выдаст тебя. А если не рассказать, и сюда вдруг явится полиция, она

сама поможет им обыскать каждый уголок. Надо придумать что-то другое.

Она немного помолчала и почти сразу же, словно на что-то решившись, шагнула к двери.

– Не оставляй меня! – взмолился Леопольд.

– Тише! Мне надо ненадолго выйти. Теперь я знаю, что делать. А ты сиди тихо, пока я не вернусь.

Медленно, осторожно она открыла дверь и вышла, но уже через несколько минут вернулась с большим ломтем хлеба и бутылкой вина и, к своему ужасу, увидела, что Леопольд исчез. Но тут раздался шорох, и он выполз из-под кровати с таким униженным видом, что Хелен укололо невольное чувство стыда. Но тут сестринская любовь и нежное женское сострадание нахлынули на неё с новой силой, бесследно проглотив гадкое чувство. Чем несчастнее и униженнее он выглядит, тем больше нуждается в помощи и жалости!

– Вот, Польди, возьми, – тихо проговорила она. – Ты понесёшь хлеб, а я вино. Тебе непременно нужно поесть, а то ты заболеешь.

С этими словами она заперла дверь спальни, накинула на голову тёмную шаль, заколов её под подбородком, и её бледное лицо вдруг стало похожим на луну, выглядывающую из-под тёмного облака.

– Идём, Польди, – сказала она и, задув свечи, подошла к окну. Без единого слова он повиновался, прижимая к груди хлеб, который она сунула ему в руки. Хелен приподняла раму, открыла дверцу в нижней части окна и ступила на балкон. Как только брат её выбрался наружу, она снова закрыла дверцу, опустила раму и повела Леопольда сначала в сад, а потом через калитку на луг, к старому парку.

Глава 23. Убежище

Ночь была пасмурная, но Хелен прекрасно знала дорогу. Её охватило странное возбуждение, полностью прогнавшее всякий страх.

Как только она оказалась на улице, все силы, дремавшие у неё внутри, каким-то сверхъестественным образом проснулись, и голова её стала необыкновенно ясной. Она порадовалась, что накануне не было дождя, и на земле почти не останется следов. Деревья едва вырисовывались на фоне неба, и их чёрные силуэты помогли Хелен добраться до калитки в парк, откуда она повернула прямо к заброшенному дому. Она отлично помнила, как боялся Польди этого места, и потому ничего не сказала о том, куда они идут, но когда он внезапно остановился, поняла, что он сам всё сообразил. Несколько мгновений он колебался, но за спиной его подстергало нечто куда более пугающее, и он двинулся дальше.

Выйдя из рощицы на краю лощины, они посмотрели вниз, но было так темно, что они не увидели ни самого дома, ни малейшего отсвета с поверхности озера. Вокруг царило гробовое молчание, как на заброшенном кладбище, и они начали спускаться в лощину, словно в подземное царство мёртвых. Дойдя до стены сада, они пошли вдоль неё, покуда не отыскали высокую и узкую калитку, насквозь проржавевшую и стоявшую полуоткрытой. Через неё они проскользнули в старый сад, который днём походил на жалкую, заблудшую душу, но теперь закутался в чёрную мантию ночи. Раздвигая руками колючие ветви беспорядочно растущего кустарника и двигаясь почти вслепую, они добрались до переднего крыльца с покосившимися ступенями, которые от многочисленных дождей и паводков совсем потеряли былой вид. Дверь, как обычно, была не заперта, и, толкнув её посильнее, они вошли в дом. Он был окутан непроницаемой тишиной, и внутри было куда тише, чем снаружи, хотя до сих пор ночь казалась им совершенно безмолвной. Во всём доме не было ни единой крысы, ни одного таракана. Брат с сестрой на ощупь пробрались через коридор и поднялись по широкой лестнице, ни разу не скрипнувшей

под их осторожными шагами, хотя в осторожности большой нужды не было: вокруг них на целую милю не было ни одной живой души.

Хелен взяла Леопольда за руку и повела его прямо к тому шкафу, за дверцей которого скрывалась потайная комнатка. Он не сопротивлялся, словно чувствуя в крыльях ночной темноты надёжную защиту, – как одинока должна быть та душа, что радуется такому прибежищу! Но как только Хелен чиркнула спичкой, зная, что ни один лучик света не прорвётся отсюда наружу, глазам Леопольда открылось то самое место, которое с детства вызывало в нём жуткую дрожь. Он дико вскрикнул и рванулся было прочь, но Хелен силой удержала его, и, покорившись, он позволил ей провести себя внутрь. Там она зажгла свечу, и когда бледно-жёлтый свет стал чуточку ярче и ровнее, он выхватил из темноты голые стены, осто́в кровати и остатки изъеденного молью матраса, валявшегося в углу. С жалобным звуком, похожим не столько на стон, сколько на сдавленный вопль отчаяния, Леопольд рухнул на грудь ветхого тряпья.

Хелен присела рядом, положила его голову к себе на колени и, пытаясь хоть как-то утешить его, заговорила с ним такими нежными и ласковыми словами, которые ещё никогда не рождались в ней в сердце и не слетали с её губ. Она вынула из кармана кусочек его любимого лакомства и попыталась было заставить его поесть, но тщетно. Тогда она налила ему немного вина. Он жадно осушил чашку и попросил ещё, но Хелен решила, что пока ему хватит. Вместо того, чтобы успокоить и усыпить его, вино, казалось, пробудило в нём новые опасения. Он судорожно прижался к сестре, как ребёнок прижимается к няне, которая только что рассказала ему страшную сказку, но взгляд его то и дело метался к двери, словно в предчувствии надвигающейся беды. Хелен как могла пыталась унять его страхи, уверяя его, что пока он в безопасности, и, думая, что это ещё больше убедит Польди в надёжности его укрытия, напомнила ему о том, что под полом стено́го шкафа скрывается потайной колодец. Но как только она заговорила об этом, глаза Леопольд расширились от ужаса:

– Я всё вспомнил, Хелен! – вскричал он. – Так я и знал! Помнишь, раньше я не выносил этого места? Теперь-то я понимаю, что заранее предчувствовал, как однажды буду прятаться здесь от чужих глаз

со чудовищным преступлением на совести! Помнишь, как я говорил тебе об этом? О Боже, Хелен, как ты могла привести меня сюда?!

Он снова зарылся лицом в складки её платья. Хелен с новым ощущением безысходности подумала, что он, должно быть, сходит с ума, потому что на самом деле всё это было лишь плодом его воображения. Конечно, он всегда ненавидел это место, но ни разу не говорил ей ничего подобного. Но в этой мысли крылась и призрачная надежда: может быть, весь этот кошмар действительно обернётся галлюцинацией? Как бы то ни было, пришла пора выяснить, что же всё-таки произошло.

– Ну же, Польди, милый, родной мой братец, перестань, – сказала она. – Ты ведь так и не рассказал мне, что случилось. Что за преступление ты совершил? Может, всё не так плохо?

– А вот уже и светает, – глухим, бесцветным голосом проговорил он. – Утро! После ночи всегда настаёт утро!

– Нет, нет, Польди, – запротестовала Хелен. – Здесь нет окна; только чердачное окошко, а оно вон там, высоко, и выходит на лестницу чёрного хода. И до рассвета ещё далеко.

– Далеко? – переспросил он, впиваясь ей в лицо безумным взглядом. – Двадцать лет? Я родился как раз двадцать лет назад. Ну почему мне нельзя вернуться в утробу матери и никогда уже не родиться? За что нас посылают в этот проклятый мир? И зачем только Бог сотворил его! Что в нём проку? Неужели нельзя было оставить всё как есть?

Он замолк, а Хелен подумала, что нужно как-то заставить его поспать. У неё словно появилась ещё одна душа, вдобавок к прежней, чтобы дать ей силы выдержать то, что иначе было бы для неё невыносимым. Невообразимым доселе усилием воли она сдержала смятение собственной души и, ласково глядя по волосам несчастного мальчика, снова уткнувшись ей в колени, заставила себя запеть для него, как колыбельную, ту самую песенку, которую он когда-то очень любил и которой она, со всей важностью воображаемого материнства, нередко убаюкивала его в детстве.

Давнее волшебство сохранило свою силу. Вскоре пальцы, вцепившиеся ей в руку, разжались, и по его дыханию она поняла, что он спит. Она сидела, как каменное изваяние, не осмеливаясь

пошевелиться и едва дыша, чтобы не прервать те блаженные минуты забвения, когда океан покоя, обнимающий всё и вся, мог хоть ненадолго наводнить выжженную пещеру его сердца. Она сидела неподвижно до тех пор, пока ей не начало казаться, что от усталости она вот-вот мешком свалится на пол, и только острые иглы боли, то тут то там прошивавшие её насквозь, словно винтами или спицами скрепляли её тело, не давая ему упасть. До сих пор она не знала, что такое усталость, но теперь сполна получила то, чего не ведала раньше. Однако измученное тело, облекавшее её душу, не давало ей забыть о внешней реальности, притупляя её горе и тем самым наделяя её жалким подобием покоя.

Сколько она просидела вот так, она не знала и не могла знать. Ей казалось, что прошло уже бесконечное множество часов, но, хотя вечерние ночи были короткими, темнота ещё и не думала рассеиваться. Тут Хелен вспомнила, что в каморку почти не проникает солнечный свет, и её охватила тревога: что если её отсутствие обнаружится, или кто-нибудь увидит, как она возвращается домой?

Наконец, какое-то нечаянное движение разбудило Леопольда. Он тут же вскочил на ноги с выражением безудержной радости, но в следующее же мгновение лицо его исказила гримаса страдания.

– О Боже, так значит это правда? – выкрикнул он. – Ах, Хелен, мне приснилось, что я невиновен, и всё это – просто ночной кошмар! Скажи, скажи мне, что я сплю! Скажи мне, что я не убийца!

Он с неистовой силой схватил её за плечи и потряс, словно желая пробудить её от летаргического оцепенения.

– Я и сама надеюсь, что ты невиновен, братец, но в любом случае сделаю всё, чтобы защитить тебя, – сказала Хелен. – Только для этого ты должен пообещать мне взять себя в руки, чтобы я могла вернуться домой.

– Нет! – вскричал он. – Не уходи от меня, Хелен! Если ты уйдёшь, я сойду с ума, потому что тогда ко мне придёт она!

Хелен внутренне содрогнулась, но усилием воли удержала внешнее спокойствие.

– Подумай, что будет, если я останусь, – рассудительно сказала она. – Обнаружится, что меня нет, и тётушка поднимет на ноги всю округу. Ещё подумают, что меня... – она осеклась и замолчала.

– Конечно! И не только тебя, а кого угодно! – воскликнул Леопольд. – Ведь я ещё на свободе... О Боже! Неужели всё так ужасно? – и он спрятал лицо в ладонях.

– И тогда, Польди, – продолжала Хелен, стараясь говорить как можно ровнее, – они придут сюда, найдут нас с тобой, и я не знаю, что будет дальше.

– Да, да, Хелен! Иди скорее домой. Оставь меня и иди! – торопливо зашептал Леопольд, снова хватая её за плечи, словно для того, чтобы вытолкнуть её из каморки, но при этом продолжая говорить. – Я знаю, тебе надо идти, но когда придёт утро, я сойду с ума. Лучше бы мне и вправду сойти с ума; потому что утро хуже ночи, ведь в его свете я вижу собственную черноту. Иди же, Хелен, иди! Но ты ведь придёшь ко мне, как только сможешь, правда? Как мне узнать, когда тебя ждать? Сколько сейчас времени? Мои часы остановились... с тех пор, когда... Боже, скоро здесь будет совсем светло... Хелен, теперь я знаю, что такое ад... Так, где же... – он пошарил в кармане куртки и что-то нам нащупал. – Ага! Живым я им не дамся... Ты умеешь свистеть?

– Да, Польди, – дрожа ответила Хелен. – Разве ты не помнишь, как сам учил меня?

– Да, да. Тогда, когда будешь подходить к дому, начинай свистеть и не останавливайся. Если я услышу хоть один шаг без свиста, то убью себя.

– Что у тебя там? – спросила Хелен в новом приступе страха, увидев, что он не вынимает руку из кармана.

– Всего лишь нож, – хладнокровно ответил он.

– Отдай его мне, – так же хладнокровно сказала она.

Он рассмеялся, и его смех был страшнее любого крика и плача.

– Нет уж, я не настолько глуп, – ответил он. – Кроме ножа у меня никого нет. Кто ещё защитит меня, пока тебя нет? Ха-ха!

Она решила, что лучше не отнимать у него это утешение, да, в общем-то, и не боялась, что чей-то случайный визит заставит

Леопольда пустить его в ход. Разве только полиция действительно явится сюда, и тогда... «А что ещё ему делать?» – подумала она

– Ну хорошо, хорошо, не буду тебя уговаривать, – примирительно сказала она. – Давай ложись, я укурю тебя своей шалью, и ты будешь думать, что это я обнимаю тебя. Я приду, как только смогу.

Леопольд повиновался. Она покрыла его шалью и поцеловала его.

– Спасибо тебе, Хелен, – тихо проговорил он.

– Молись Господу, чтобы Он спас тебя, – ответила она.

– Мне осталось одно спасение – смерть, – отозвался он. – Я буду просить Его об этом. Но ты иди, Хелен, иди. Я постараюсь взять себя в руки, ради тебя.

Он проводил её взглядом, в котором поселилось весь адский ужас безмолвного отчаяния. Я не стану пытаться дальше описывать его чувства. То, что всегда казалось ему невероятным, невозможным, действительно случилось, – и не с кем-нибудь, а с ним самим! Всякий, кому случилось во сне ощутить себя преступником и кто знает безумную радость вновь обрётённой невинности и ликование солнечного света, без следа рассеивающего ночной кошмар, может представить себе весь ужас хрупкой и тонкой души, внезапно наводнившейся ясным осознанием чудовищной вины. И эту вину не могло рассеять никакое пробуждение кроме того, которое способно было бы начисто уничтожить прошлое. И такое пробуждение действительно есть; и если человек достигнет его, то проснётся в стране, где даже дуга и поля исполнены гармонии, способной утешить не только страдальца – простое страдание утешить нетрудно! – но и того, кто совершил самый тяжкий грех.

Как только Хелен вышла за дверь, Леопольд вытащил из внутреннего кармана маленькую серебряную табакерку, и при виде её его глаза загорелись нетерпеливой радостью голодного зверька. Он взял из неё щепотку какого-то порошка, положил в рот, закрыл глаза, снова откинулся на матрас и затих.

Глава 24. Хелен и её тайна

Выйдя в коридор, Хелен увидела, что занимается день. Тоскливый блеклый свет наполнял угрюмый дом, но из-за свечи Хелен не замечала тех слабеньких проблесков, которые всё-таки пробивались в потайную каморку. Жгучий страх хлестнул её по сердцу, и, как запоздалая душа пробудившейся сомнамбулы, она заспешила к выходу из парка. Всё случившееся походило на дьявольский кошмар, от которого она должна проснуться у себя в постели, – но она знала, что надеяться на это было тщетно. Её милый брат остался в жутком старом особняке, и если кто-то сейчас увидит её, ему конец. Было ещё очень рано, и первые рабочие должны были появиться на новой постройке не раньше чем через пару часов, но она бежала прочь, как убийца, стряхнутый зарёй с лица земли. Оказавшись в безопасности своей комнатки, она уже собиралась улечься в постель, но тут дурнота с новой силой подступила к её горлу, всё потемнело, и только потом, медленно и мучительно придя в себя, Хелен поняла, что лишилась чувств.

Она всё-таки заснула беспокойным, тяжёлым, напряжённым сном, часто вздрагивала и испуганно просыпалась, будто во сне совершила какой-то грех, но тут же от чистого изнеможения снова проваливалась в дремоту. Каким добрым другом бывает порой усталость! Она похожа на Отцовскую руку, которая чуть сильнее придавливает сердце, чтобы утомонить его. Однако сны Хелен были полны пугающих видений, и даже когда ей не снилось ничего определённого, подспудно ей всё время чудилась кровь.

Проснулась она много позже обычного и только тогда, когда в комнату вошла горничная. Она устало поднялась с постели, но кроме давящей тяжести на сердце и общего ощущения беды, ночные похождения никак на ней не сказались. Даже голова у неё нисколько не болела.

Однако со вчерашнего утра прошла целая вечность, и самым удивительным было не то, что Хелен чувствовала себя совершенно иначе, а то, что она по-прежнему ощущала себя всё тем же человеком,

несмотря на всё, что произошло. Теперь главное было не давать себе думать до конца завтрака. «Эбеновый ларец» прошедшей ночи должен был оставаться закрытым даже для неё самой, чтобы кишасшие в нём бесы не вырвались наружу, затемнив собой весь мир. Хелен решила поскорее принять ванну, чтобы набраться сил: ласковая вода поможет ей подняться навстречу настоящему, смоет прошлое, как дурной сон, и наделит её смелостью перед лицом будущего. Само её тело казалось Хелен осквернённым из-за таившегося в нём знания. Боже правый! Как же тогда должен чувствовать себя бедный Леопольд! Нет, нет, думать нельзя!

Пока она одевалась, мысли её, словно мошки вокруг нечистого пламени, витали вокруг зловещей тайны, от которой она никак не могла их отогнать. Она снова и снова запрещала себе о ней думать, но всё равно через щели в стенах обители своего разума то и дело невольно всматривалась в то ужасное, что сидело внутри, чью форму она не могла различить и видела только цвет – багровый, – багровый вперемешку с отвратительной белизной. И во всём мире лишь один человек – её дорогой брат, любимец её деда – мог сказать, как этот ужас попал к ней в душу.

Но хотя всё внутреннее существо Хелен взволновалось настолько, что она уже не могла оставаться той хладнокровной, безразличной и самодостаточной девушкой, какой была до сих пор, прежние привычки и формы существования как нельзя лучше помогали ей сохранять внешнее спокойствие, не выдавая тайны. При виде неоконченного чепца в ней пробудился смутный проблеск радости: лучшего извинения за позднее пробуждение нельзя было и придумать, и, когда с многими пожеланиями здоровья и долголетия она преподнесла его тётушке, ни один подозрительный взгляд миссис Рамшорн не добавил ей нового беспокойства.

Но как всё-таки медленно ползёт время! Она не осмеливалась приблизиться к брошенному дому, пока его, словно цепной пёс, сторожил дневной свет. А вдруг она опоздает, и Леопольд в безумном отчаянии убьёт себя?! У неё не было ни единого друга, к которому можно было бы обратиться за помощью. Джордж Баском? Хелен содрогнулась при одной мысли о нём. С его возвышенными представле-

ниями о долге он немедленно выдаст Леопольда властям! Естественнее всего было бы обратиться к священнику; к тому же мистер Уингфорд и сам недавно согрешил. Правда он публично покался в содеянном! Нет – он слишком жалок и не сумеет удержать язык за зубами. При каждом стуке в дверь, при каждом звонке её трясло от страха, что пришла полиция. Да, Леопольд гостил у них сравнительно мало, и прежде всего его будут искать в Голдсвайре, дядином поместье – но куда они отправятся после этого? Конечно же, в Гластон! Каждый раз, когда в комнату входила прислуга, Хелен отворачивалась, чтобы нечаянно не выдать себя. Что если полицейские уже наблюдают за их домом и тайком последуют за ней, когда она отправится к брату? С помощью театрального бинокля она внимательно исследовала луг, а потом, незаметно сбежав в сад и добравшись до его дальнего края, пригнулась и осторожно выглянула в низкую калитку. Вокруг не было ни души. Вернувшись домой, она надела шляпку, и, сказав тётушке, что идёт за покупками, отправилась посмотреть, нет ли на улице подозрительных личностей. Между крыльцом особняка и мануфактурной лавкой мистера Дрю она не встретила ни одного незнакомца. В лавке она купила пару перчаток и потихоньку пошла обратно, но, даже миновав свой дом и дойдя до самого аббатства, не встретила ни одного человека, который вызвал бы у неё подозрение.

Всё это время её сознание походило на единственный узелок ослепительного света посреди тьмы, которую он не способен был рассеять. Она знала лишь одно: её брат прячется в пустом доме, и, если его слова – не безумный бред, за ним наверняка охотится полиция. Даже если пока они подозревают не его, а кого-то другого, даже если пока они ещё не напали на его след, это может произойти в любую минуту, и рано или поздно они всё равно явятся за преступником. Она должна спасти его, спасти всё, что от него осталось!.. Бедная, бедная Хелен! Ну что она знала о спасении?

Вернувшись домой, она неожиданно обнаружила в себе ещё кое-что: доселе неведомое ей умение притворяться, прятаться от чужих глаз. До сих пор у неё не было ничего такого, что нужно было бы скрывать – даже мимолётной неприязни. Однако это внезапное осознание принесло с собой только чувство торжества: её натура ещё не была

настолько деликатной, чтобы покоробиться при мысли о том, что её слова и внешний вид не вполне соответствуют тому, что делается внутри.

Глава 25. Дневной визит

Но успокоиться она не могла. Когда же закончится этот несносный день и наступит долгожданная (но совсем не желанная) ночь? Хелен снова спустилась в сад, к дальней ограде, и внимательно осмотрела луг. Вокруг не было никого, кроме рыжей коровы, маленькой девочки, собиравшей лютики, и стайки грачей, деловито шагающих с одного поля на другое. День был чудесный, и солнце словно излучало из себя ясный, осознанный покой. И как ни странно, только сейчас Хелен впервые почувствовала счастье простого существования под блаженными небесами, посреди напоенного блаженством воздуха, которые вместе складывались в блаженное лето, пульсирующее силой творящего духа. Только всё это показалось ей отдельным, отделённым от неё самой – как будто раньше вся эта красота принадлежала ей, но теперь она утратила её и утратила навсегда. О какой радости может идти речь, пока в её душе живёт страшная правда? Вон там, за деревьями её ждёт несчастный брат, затаившийся в пустом доме, где теперь действительно поселились призраки. Что если он уже мёртв?! Что если он погиб от ужаса перед приходом утра или от собственной руки? Она должна пойти к нему. Она бросит вызов самому солнцу и пойдёт к нему перед лицом всей вселенной. Разве он ей не брат?.. Но неужели ей и впрямь негде искать помощи? Неужели нет покрова, который спрятал бы под собой обнажившуюся душу? Ей чудилось, что любой прохожий издалека может прочесть тайну, лежащую в глубине её сердца кровавым и мертвенно-бледным кошмаром. Она не осмеливалась даже подумать о ней, чтобы сами её мысли не выдали

светлому миру это исчадьё мрака. Её душу могло защитить лишь присутствие другой невинной души. Но друзей у неё не было. Как поступают другие люди, когда их братья совершают чудовищные поступки? Говорят, некоторые молятся Богу; да она и сама сказала брату, чтобы он молился! Только всё это глупости и даже хуже: выдумки и измышления священников. Как будто Бог может существовать в мире, где творятся подобные преступления!

Однако даже мысленно отрицая Его существование, Хелен подняла голову и пристально всмотрелась в широкое, непорочное небо, словно её пылливый взгляд мог кого-то в нём отыскать. Может, ей всё-таки нужно помолиться? Помощь свыше казалась ей совершенно невероятной, но что-то внутри упорно толкало её к молитве. Что если всё это случилось с нею и с Польди именно из-за того, что она никогда не молилась?! Если вокруг совершаются такие немыслимые вещи, и если они способны подойти к ней так близко, забраться к ней в самую душу, заставляя её чувствовать себя убийцей, – так, может быть, тогда в мире есть и Бог, пусть даже она не знает где Его найти или как добиться Его аудиенции? Конечно, если на свете то и дело происходят дела, в сердце которых гнездятся столь дьявольские возможности, но сдерживающей, направляющей или исцеляющей Руки при этом просто нет, то в реальности мир куда хуже, чем выставляют его методисты или позитивисты.

Все эти мысли даже не мыслями, а бессловесными чувствами проносились в голове Хелен, пока, взобравшись на низкую каменную ограду, она разглядывала залитый солнцем луг. Она была готова чуть ли не наложить на себя руки, только бы избавиться и от жуткой правды, и от мертвящего осознания того, что может за ней последовать. Строчка из «Макбета» – «Сознавать убийство – мне легче бы не сознавать себя¹⁷!» – теперь уже не показалась бы ей непонятной. Но только что же делать с братом? Она просто должна пойти к нему! «Господи, спрячь меня!» – внутренне взмолилась она и тут же подумала: «Как Он может меня спрятать, если я укрываю убийцу?» «Боже! – снова взмолилась она, но на этот раз уже вслух, шёпотом, – Ты же знаешь, я его сестра! Я не могу иначе!»

17 У. Шекспир, «Макбет», Акт II, сцена 2.

Она решительно развернулась, пошла домой и отыскала тётушку.

– У меня побаливает голова – с невозмутимым видом сообщила она миссис Рамшорн, – так что, наверное, мне лучше пойти как следует проветриться. Не ждите меня к обеду. Сегодня такой чудный день! Я пройдусь вдоль Мельничной дороги и погуляю в парке. Увидимся за чаем – а может, даже за ужином.

– Может, тебе лучше проехаться верхом и вернуться к обеду? Джонс мне сегодня не нужен, – ответила тётушка со скорбным выражением лица. Она почти перестала праздновать дни своего рождения, но всё равно втайне думала, что племяннице негоже оставлять её одну в столь неприятный день.

– Нет, тётя, верхом мне сегодня не хочется. Для головной боли прогулка – самое лучшее лекарство. Я возьму с собой что-нибудь перекусить.

Она спокойно вышла из парадной двери, медленно и величаво прошествовала вдоль улицы, вышла за город и свернула в парк через калитку возле домика привратника. Проходя мимо сторожки, она увидела, что Рейчел возится на кухне, что-то напевая, и её негромкий, слабенький, но приятный голосок пронзил сердце высокой, красивой и богатой наследницы, заставив её позавидовать жалкой, уродливой крохе, в которой, несмотря на все туманы её зимы, было что-то такое, что просилось наружу в песне. Но, честно говоря, даже если бы все её несчастья рассеялись, как дурной сон, у Хелен были все основания в десять раз больше завидовать маленькой карлице, если бы она могла по-настоящему сравнить себя с ней. Рядом с Рейчел Хелен была всё равно, что единственная простейшая клетка рядом со сложноплетениями развитого мозга, всё равно что писк цыплёнка рядом с песней жаворонка – я чуть было не сказал, с бетховеновской сонатой.

– Доброе утро, Рейчел, – окликнула её Хелен, приветливо, но с лёгкой ноткой снисходительности. Рейчел только что поставила возле открытой двери полное ведро, и вода ещё покачивала солнце на своей колышущейся поверхности, то и дело выпуская его сверкание назад, в океан света. Бедняжке Хелен сторожка показалась весьма убогой, но это был уютный и прекрасно обставленный дворец

по сравнению с той пригородной виллой, уставленной покупной мебелью, где обитал её собственный дух, – особенно сейчас, когда по её комнатам расхаживала отвратительная тайна, то и дело оставляя кровавые отпечатки на белоснежных стенах.

По дороге Хелен не слышала ничего, кроме птичьей возни и щебета и дальнего стука и лязга, доносившегося со строительства нового особняка. Наконец, с бьющимся сердцем и перепуганной душой она прошла за высокую ограду сада и через густые заросли кустарника, завязшего в сорняках, пробралась к злосчастному дому. Дрожа она вошла внутрь, и ей показалось, что воздух пропитан присутствием смерти, приходившей сюда до неё. Ноги почти не слушались её, но постепенно она всё-таки дошла до потайной комнаты и заглянула в дверь.

Польди всё так же лежал на полу, укрытый шалью. Только вот спит он или уже мёртв? Хелен на цыпочках подобралась к нему и легонько положила ладонь ему на лоб. Он тут же вскинулся в диком испуге, но она сразу начала успокаивать и утешать его тихими словами.

– Ты не свистела! – с упрёком сказал он, когда приступ страха и дрожи немного прошёл.

– Нет, я забыла, – призналась Хелен, поражённая собственной беспечностью. – Только ты всё равно не услышал бы меня, потому что крепко спал.

– Хорошо, что я спал! Хотя нет. Лучше бы я услышал твои шаги, потому что тогда мне уже нечего было бы бояться.

Тут, повинуясь внезапному импульсу, он показал ей короткий, опасный на вид кинжал. Хелен протянула было руку, но Леопольд поспешно спрятал его в карман.

– Я принесу воды, чтобы ты умылся, – сказала она. – Помнится, раньше в саду был колодец. А ещё я принесла тебе чистую рубашку.

Колодец хоть и не сразу, но всё-таки отыскался: он почти пропал из виду под спутанными зарослями травы и плюща. Хелен принесла Польди немного воды в поддоне от цветочного горшка и убрала рубашку с жутким пятном к себе в сумку, чтобы унести её подальше и сжечь. Потом она заставила брата немного поесть. Он повиновался ей как в ступоре, но с почти собачьей преданностью. Состояние его

заметно переменялось: он как будто оцепенел и лишь наполовину осознавал весь ужас своего положения. Однако на все вопросы сестры он отвечал с какой-то чрезмерной готовностью, даже с некоей равнодушной будничностью, которая была страшнее самой бурной истерики. Но в корне этого внешнего безразличия лежали отчаяние и раскаяние – уставшие, словно насытившиеся тигры, дремлющие в глубине своей пещеры. Лишь тупой снаряд несчастья, недвижно покоящийся в глубочайших безднах его души, оставался на взводе и не давал забыть о своём присутствии.

Благодаря этой перемене Хелен удалось выведать у Леопольда всю его историю. Правда тогда она узнала далеко не все её подробности, которые сейчас перескажу вам я.

Глава 26. История Леопольда

Будучи совсем ещё мальчиком (ему только что исполнилось шестнадцать), Леопольд познакомился с семьёй одного мануфактурщика, который, благодаря быстро выросшему состоянию, смог отойти от дел и несколько лет назад купил себе имение неподалёку от Голдсвайра, поместья дяди Леопольда. Такое соседство было весьма не по душе старомодному семейству Лингардов, гордившемуся своими древними корнями, но, хотя они не ездили к новоявленным соседям с визитами, время от времени им всё-таки приходилось встречаться. Знакомство Леопольда с этой семьёй произошло сразу после того, как он закончил Итон и, вернувшись к дяде, готовился к экзаменам в Кембридж, занимаясь с учителем своих кузенов.

Эммелину, старшую дочь новых соседей, он впервые увидел на балу. Она тоже недавно вернулась из пансионата, где с самого начала её соседкой по комнате была одна из тех чёрных овец, которые исподволь портят всё стадо. Правда, в том пансионате заметили бы,

пожалуй, только самую что ни на есть чёрную и вопиющую черноту. Это была самая обычная школа, какие встречаются на каждом шагу и где всё направлено на то, чтобы, во-первых, у девочки были хорошие манеры, во-вторых, чтобы она могла слыть образованной особой, и, в-третьих, чтобы снабдить её самыми необходимыми сведениями, оставляя высшие проявления и свойства человеческой природы совершенно без внимания, словно их и вовсе не существует. В таких школах вкус, чувствительность, рассудительность, воображение и совесть предоставлены самим себе, и все соображения по их поводу и все требования, предъявляемые к ним в соответствии с так называемым религиозным долгом, способствуют лишь тому, что их нравственные стандарты не только не становятся выше, но, напротив, ещё больше опускаются. Такие школы, поставляя обществу бесконечные поколения матерей, выпускают в мир женщин, которые узнают о том, как ведёт себя настоящая леди, только из книг по этикету; думают о том, что модно, а не о том, что красиво; читают романы, столь же неблагочестивые, сколь поверхностные; обращаются в еженедельные газеты с вопросами о том, как следует, а как не следует поступать; и черпают всю или главную свою радость в том, чтобы притягивать к себе восхищённые взоры мужчин. Нередко такие девушки выглядят благородно и пленительно, и многие из них прекрасно владеют чарами, достигающими своего полного развития в натуре, чьё ощущение бытия ограничивается собственным отражением в кривом зеркале тщеславного самосознания. Стоит кому-то по-настоящему их понять, и, в зависимости от характера человека, проникшего в их суть, они вызывают у него либо печаль, либо отвращение. Однако пока этого не произошло, они кажутся постороннему наблюдателю именно такими, какими хотят казаться, хотя под внешней прелестью скрывается вульгарность, которая (если за это время с девушкой не произойдёт самая глубокая и основательная перемена в жизни) проявится во всём своём безобразии к среднему возрасту, когда долгая привычка разрушит всякую сдержанность былой робости. Такие девушки черпают постоянное и неоспоримое подтверждение своей значимости во внимании и восхищении мужчин и редко бывают способны на подлинное чувство; удивительно, что лишь сравнительно немногие

из них после замужества бесчестят себя любовными утехами на стороне.

Уж не знаю, заговорила ли в Леопольде южная часть его натуры, рано созревшая под горячим индийским солнцем, и именно она, неудержимо стремясь прорасти в незнакомые ему пределы человеческого естества, потянула его к светлокудрой и белокожей Эммелине, или это саксонская кровь толкала его к своим семейным корням – кстати, вполне возможно, что произошло и то, и другое сразу: ведь единство человеческой натуры допускает самое удивительное и сложное многообразие. Как бы то ни было, Леопольд влюбился – пусть не самым возвышенным образом, но искренне и очень страстно. А поскольку эта юная особа не была особо разборчива или щепетильна, она с удовольствием принимала знаки его внимания. Будь она достаточно правдива для того, чтобы хоть немного знать ту любовь, чьё имя постоянно опошлялось в её речах, у неё хватило бы женской мудрости (а она была, по меньшей мере на полтора года старше Леопольда) не поощрять его ухаживаний: она почувствовала бы, что перед ней всего лишь мальчик, и не следует позволять ему воображать себя мужчиной.

Правда, ради справедливости, надо сказать, что англичанам Леопольд казался старше своих лет. И потом, он был изумительно красив, держался с достоинством, происходил из хорошей семьи (чего никак нельзя было сказать о ней самой), обладал связями в высоких кругах – и, в то же самое время, внешне выглядел полной её противоположностью и немало ей нравился. Стоило ей впервые заметить блеск его огромных чёрных глаз, как она охотно приняла их обожание, возложила на алтарь самолюбования и с тех пор неустанно добивалась того, чтобы они сверкали всё ярче, горя преклонением перед одним единственным божеством. Она прекрасно осознавала свою власть над Леопольдом и играла на нём, словно на послушном инструменте, заставляя его то бледнеть, то краснеть, вызывая в его глазах то пламя, то слёзы, и эта игра казалась ей прямо-таки необыкновенно увлекательной.

Одним из самых сильных орудий этой игры человеческими чувствами, доставлявшей Эммелине такое удовольствие, была ревность –

и мало кто так хорошо знал её действие и влияние. К тому же, эта юная кокетка обладала всеми необходимыми способностями для того, чтобы вызывать её в мужчинах: пожалуй, трудно было найти женщину, по отношению к которой ревность была бы столь оправданной на всех основаниях кроме одного: Эммелина просто её не стоила. Однако в качестве смягчающего обстоятельства надо сказать, что она была просто не способна постичь и почувствовать даже десятой доли тех страданий, проявление которых постоянно поднимало её к райским вратам фальши: она сама не ведала, что творит. Быть может, осознание своих поступков вызвало бы в ней хоть немного жалости и сдержанности. Но когда женщине, холодной по натуре, нравится возгревать в мужчинах страсть, она, себялюбиво уверенная в собственной безопасности, готова долго и упорно играть с огнём, разжигая и раздувая гибельное пламя, пожирающее чужую душу.

Нет нужды в подробностях излагать неприятную повесть этого романа, продираясь сквозь непролазное болото, в которое меня непременно заведёт детальное описание его развития. Я не люблю патолого-анатомии – разве только в тех случаях, когда она помогает нам отыскать средства исцеления; а в этом случае об исцелении не было и речи. Скажу только, что Эммелина успокаивала, растравляла и снова успокаивала его, пока он не превратился в её покорного раба – ещё более покорного из-за того, что к тому времени он уже немного узнал её подлинный характер, и это знание лишило его и той малой уверенности, которую она внушила ему сама. С той поры он почти перестал учиться и, всякий раз отправляясь в Кембридж, ничуть не сомневался в том, что в его отсутствие та, кому он отдал всё своё сердце, непременно будет предаваться таким забавы, которые, будь он рядом, свели бы его с ума. Тем не менее, он как-то продолжал жить, время от времени обретая утешение в ласковых письмах, которые она ему писала, и отводя душу в пылких ответах, ещё больше подкреплявшем лживое лицемерие его возлюбленной.

К сожалению, ещё в Индии кто-то из слуг маленького Леопольда приистрастился к опиуму, и мальчику пришлось рано узнать о влиянии этого страшного наркотика. Теперь, будучи в колледже, отчасти для того, чтобы попробовать на себе его воздействие, но, по большей

части, из желания прогнать от себя постоянно грызущую его тоску и страсть, он начал понемногу экспериментировать с гибельным снадобьем. Эксперимент, как известно, требует повторения – ради вящей научной точности, как уверяет нас враг. Повторение привело к тому, что Леопольд всё чаще жаждал испытать на себе желанный эффект и, в конце концов, начал испытывать к опиуму неудержимую тягу и страсти. Ко времени нашего повествования он колебался на грани безвольного рабства, и ему угрожала опасность провести остаток своей жизни между восторгом и пыткой, перемежающимися периодами тупого несчастья; причём взрывы упоения становились бы всё реже, а мучения – всё чаще, продолжительнее и сильнее, покуда Аполлон, свергнутый с престола, не обнаружил бы себя прикованным к колонне собственного разрушенного храма, в отчаянии глядя на то, как сухой южный ветер быстро наполняет его песком, принесённым из пустыни.

Глава 27. Завершение истории Леопольда

Из писем Эммелины Леопольд знал, что у в поместье будет бал, на который все гости приглашались в маскарадных костюмах и, при желании, в масках. Накануне (несомненно под привычным влиянием его неотлучного и коварного «компаньона»), ему приснился сон, вызвавший у него такой приступ отчаяния и ревности, что он возжаждал увидеть её, как раненый солдат жаждет глотка воды, и ему в голову пришла мысль явиться на бал не столько под чужой маской (ибо он не собирался притворяться), сколько в таком обличье, чтобы никто не догадался, что у него нет приглашения, а сам он мог незаметно понаблюдать за Эммелиной. Последнее время до него доходили слухи о её помолвке с молодым офицером кавалерии, но до несчастного сна эти слухи вызывали у него куда меньше беспокойства, чем все предыдущие её романы. Первая же мысль о поездке на бал мгновенно превратилась в твёрдую решимость.

Надо сказать, что никто даже не догадывался, насколько близкими были отношения Леопольда с Эммелиной, и не подозревал, что у него есть основания считать её своей невестой. Скрытность придавала развлечениям Эммелины особую пикантность. Все знали, что Леопольд – её преданный поклонник, но ведь у неё была уйма таких воздыхателей. Чтобы остаться неузнанным, он надел широкий дорожный плащ, высокую фетровую шляпу и чёрную шёлковую маску. Смешавшись с прибывшими гостями, он проник в дом и, прекрасно зная расположение комнат, мог свободно наблюдать за своей возлюбленной, выжидая, не появится ли возможность побыть с ней наедине – на что, по правде говоря, надежды было мало. Час за часом он продолжал следить за ней, ни с кем не заговаривая и не привлекая к себе внимания.

Люди, знакомые с тем наркотиком, о котором я упомянул, знают, что, даже находясь под полным его воздействием, человек может вести себя так, что посторонний наблюдатель не заподозрит в нём ничего необычного. Однако его разум пребывает в живой грёзе, где ощущение времени и пространства так безмерно расширяется и дробится, что всё вокруг кажется ему бесконечным, и по размеру, и по продолжительности: секундное действие обретает многоступенчатую длительность процесса, и самая тонкая черта делится на миллионы отдельных прямых. В то же самое время чувства его открыты для малейших впечатлений, но ощущения от предметов и людей предстают перед ним преобразёнными и странно-возвышенными, отражая высшее душевное напряжение его собственной пытки или блаженства. Фантазии переплетаются с воспринимаемой реальностью, меняя её и, в свою очередь, меняясь под её воздействием, и из хаоса начинает подниматься гора земного рая, чьи корни таятся в глубинах преисподней. И где бы ни ощущал себя человек – в горном воздухе запредельных вершин, среди кристальных рек и многокрасочных соцветий, или внизу, возле мёрзлого озера, где слёзы застывают в его глазах твёрдыми льдинками, лишая его даже скудной радости рыданий, – его счастье или горе висит на волоске, и сам он ни на йоту не способен изменить своего состояния. Малейшее воздействие, внезапный укол боли, любой толчок, не вписывающийся в общую гармонию видения, – и всё

резко меняется: в мгновение ока из невыразимого наслаждения седьмого неба человек может кануть в потоки чудовищных, омерзительных и даже мучительных видений.

В дороге Леопольд принял привычную дозу опиума, но почему-то (может, из-за тряски кареты), наркотик подействовал не сразу. Леопольд уже и не надеялся испытать долгожданную эйфорию, как вдруг неожиданно увидел, что стоит в зарослях золотистого раkitника и сирени, посреди поздней весны. В его голове словно что-то вспыхнуло, и он превратился в Эндимиона, поджидающего Диану в той роще, куда она всегда спускается в новолуние, а вокруг величавый, но юный и цветущий лес трепетал от живого упоения, внимая музыке вселенских сфер.

Окрылённый своим новым состоянием, Леопольд приблизился к дому. Гости как раз переходили из бальной залы в столовую, и суматоха врзалась в его недвижный восторг таким неприятным диссонансом, что он ни за что не стал бы туда входить, если бы не заранее написанная и приготовленная записка, которую он намеревался незаметно передать Эммелине. В записке было всего несколько слов: «Выйди на минуту в кружную аллею» – оба они хорошо знали это место. Леопольд набросил полу плаща на левое плечо, на испанский манер, надвинул шляпу на глаза и, войдя в дом, отыскал тёмный угол, мимо которого Эммелина непременно должна была пройти, идя на ужин или обратно, в залу. Он ждал, зажав в руке записку; ожидание длилось долго, но он не чувствовал усталости: такие дивные видения проплывали перед его очарованным и затуманенным взором. Наконец мимо прошла и ОНА, прелестная, как сама Диана, в чьё одеяние она облеклась в тот вечер, – хотя подобие было не слишком верным, ибо земная красавица вела себя совсем не так, как девственная богиня. Она доверительно опиралась на руку какого-то мужчины, но Леопольд даже не взглянул на него. Он незаметно просунул записку в маленькую ручку, которая была без перчатки, словно поощряя всевозможные тайны и секреты. Повинуясь инстинкту, вдесятеро изошрённому и отточенному долгой практикой, её пальцы немедленно сжали листок бумаги, но никаким иным движением или невольным трепетом она не выдала присутствия чего-то инородного: думаю, даже сердце её

не забилося чаще. Она грациозно прошествовала мимо, блистая лебединой шеей, а Леопольд поспешил к окну бальной залы, чтобы вдоль насладиться её красотой.

Однако когда он неожиданно увидел её вальсирующей в объятиях драгунского офицера, чьё имя связывали с нею, увидел, как вместе они плывут в радостном потоке ритма, движения и музыки, и на счастливого соперника изливается весь свет и вся сила тех глаз, что были для Леопольда окнами единственных известных ему небес, волшебное строение его грёзы внезапно дрогнуло, заколебалось и осыпалось в сумрачные подвалы, зияющие под всеми воздушными замками, не выстроенными на основании воли вечного Зодчего. С молниеносностью тьмы, следующей за вспышкой молнии, музыка превратилась в неблагозвучный грохот бесчисленных кимвалов, гулкий лязг бронзовых дверей и многоголосые вопли душ, корчащихся в нестерпимой муке. В ту же секунду вместо беспредельных залов, где сам воздух состоял из тихого волнения завуалированных мелодий, снова и снова переплетающихся в непостижимые узлы гармоний, – где под лазурными сводами он парил на волнах созвучий, пульсирующих в громадных крыльях, несказанно могучих, но изящных и лёгких в движении – он очутился на полу в огромном склепе, где чёрные плиты были стёрты босыми ступнями проклятых, бесконечно проходящих из одной камеры пыток в другую: именно туда вели многочисленные двери склепа, и оттуда раздавались все душераздирающие вопли, какие только бывают на свете, переплетаясь с музыкой, под которую адовы палачи стальными плётками заставляли плясать тех, для кого каждое движение было агонией. Тут душа его ослабела и обмякла, и видение изменилось. Очнувшись, Леопольд увидел, что лежит на траве среди сирени и ракитника, в той самой аллее, куда он просил прийти Эммелину.

От опиума и сжигавшей его ревности рот его пересох, губы потрескались, как кожа на старом кошельке, и он начал жадно жевать стебли травы, чтобы облегчить палящую жажду. Но вскоре злая сила вновь овладела им, и галлюцинации возобладали над реальностью. Ему показалось, что он лежит в индийских джунглях, подле пещеры, где притаилась прекрасная тигрица, ожидающая лишь первых при-

знаков просыпающегося голода, чтобы сожрать его. Он слышал её спящее дыхание, но, словно околдованный, не мог пошевелиться, не мог убежать прочь, зная, что даже если могучим усилием воли ему удастся двинуть хотя бы пальцем, одно это движение разбудит её, и она прыгнет на него и разорвёт его в клочки. Проходили долгие годы, он всё так же лежал на траве в джунглях, а прекрасная тигрица продолжала спать.

Но как бы далеко ни отстояли друг от друга узелки времени, рано или поздно они всё равно должны остаться позади: неожиданно Леопольд увидел, что над ним стоит ангел в белых одеждах. Страхи его исчезли, кольхание ангельских крыльев овеяло его прохладой, и этим ангелом была она – та, которую он любил, любил от начала вечности, в ней одной обретая покой. Она подняла его на ноги, взяла за руку, и они пошли прочь от пещеры, где тигрица заснула, чтобы уже не пробудиться. В лихорадочном восторге ему казалось, что они бредут по лесу уже многие, многие мили и будут бродить по нему всегда, и между верхушками деревьев на них всегда будет смотреть всё та же фиолетовая синева, сверкающая розовыми звёздами, а громадные тяжёлые ветви, словно мать у люльки малыша, будут вечно шептать им: «Ш-ш-ш!», навевая на них покой, в глубинах которого живёт блаженство.

– Неужели тебе нечего сказать теперь, когда я пришла? – произнёс ангел.

– Я всё сказал. Теперь я спокоен, – ответил смертный.

– Я выхожу замуж за капитана Ходжеса, – сказал ангел.

В мгновение ока небесные рожи исчезли, и на их месте возникли не адские обитатели Иблиса¹⁸, а кое-что похуже: холодная реальность отвергнутой земли и презренная девица, идущая рядом с ним. Он остановился и повернулся к ней. На минуту потрясение превозмогло влияние опиума. Они стояли в маленькой лесистой лощине, всего в ста ярдах от дома. Кровь стучала у него в висках, словно поршень мощного двигателя, а в ушах визжали ненавистные звуки бальной музыки. Эммелина, его Эммелина стояла перед ним в белом платье, неотрывно глядя ему в глаза, и с её губ только что слетели слова: «Я выхожу за-

18 Иблис – дьявол ислама, «падший ангел», послушавшийся Аллаха, низвергнутый за это с небес.

муж за капитана Ходжеса». В следующее же мгновение она обхватила руками его шею, приблизила своё лицо к его лицу, поцеловала его и прижалась к нему всем телом.

– Бедный мой Леопольд! – проговорила она, подняв на него глаза, и в её взгляде сияла вся притягательная и грозная сила её очарования. – Неужели мой славный мальчик чувствует себя несчастным?.. Но ведь ты и сам знаешь: то, что было между нами, не могло продолжаться вечно! Нет, это было очень и очень мило, но теперь всё кончено.

Что это? Неужели в этих чудных глазах мелькнула искра подлинной жалости и печали? Она негромко рассмеялась – что это было? смех торжества или безысходности? – и спрятала лицо у него на груди. И что пробудилось в тот миг в Леопольде? Может быть, это опиум снова взял над ним свою власть? Или его охватила ярость от её насмешки – или беспредельное сострадание к её отчаянию? И кто знает, что он намеревался сделать: сразить беса или освободить дух от ненавистной ему темницы? Спасти женщину от грядущего позора и несчастья или наказать её за самое чёрное двуличие? Сам Леопольд так и не смог ничего вспомнить. Но что бы ни двигало тогда его рукой, само неистовство этого чувства навсегда стёрло его из памяти, и когда Леопольд пришёл в себя, в руке его был зажат кинжал, а Эммелина недвижно лежала у его ног. Кинжал был из тех, что в Шотландии называют скинду: тонкий, как игла, и острый, как лезвие бритвы, он одним ударом пронзил ей сердце, и она уже никогда не плакала и не смеялась в том теле, прелесть которого сама же осквернила рабским услужением своему тщеславию. Дальше Леопольд помнил только то, как стоял у края заброшенной шахты, готовый броситься вниз. Почему он этого не сделал, он так и не вспомнил, но в конце концов бросил вниз только плащ и маску и пустился в бегство. В его воспалённом мозгу была только одна мысль: о сестре. Убив одну женщину, он кинулся искать убежища у другой. Хелен непременно спасёт его!

Как ему удалось отыскать дорогу, он не имел ни малейшего представления. Но внимательно пролистав недавние газеты, Хелен узнала, что между «таинственным убийством молодой девушки

в Йоркшире» и той ночью, когда Леопольд появился у неё под окном, прошла целая неделя.

Глава 28. Сестринская любовь

– Знаешь, Польди, что бы там ни было, а я бы предпочла оказаться на твоём месте, нежели на её! – возмущённо воскликнула Хелен, выслушав всё до конца.

Это были далеко не самые мудрые слова, но она искренне высказала то, что думала, и порывисто прижала брата к груди. Бедняга Леопольд тут же начал искать всевозможные извинения и даже оправдания, но не для себя, а для той, кого убил, обвиняя во всём случившемся только себя. Однако Хелен почувствовала в Эммелине глубинное себялюбие, которое одно и является подлинным убийцей, и её вовсе не смягчило то, что на одно ужасное мгновение она вдруг увидела, что то же самое себялюбие кроется и в ней самой.

Это открытие, и та нежность, которой она осыпала сейчас Леопольда, превзошли все его надежды. Грех брата растревожил слабые струйки её совести, и Хелен увидела, что в праздности, беззаботности и дремоте своей души она забыла даже того, кого любила больше всех на свете, и не заботилась о нём, как должно. В бурном потоке любви, истины и негодования, стремясь искупить прошлое, которое теперь казалось ей годами полулюбви-полубезразличия, она, наверное, внушила бы ему немало вредных мыслей своими ласками и уверениями в том, что он виноват куда меньше Эммелины и что из них двоих она причинила ему куда больше страданий, чем он ей. Но тут силы Леопольда внезапно иссякли, и он упал на постель, потеряв сознание.

Пока она хлопотала, пытаясь привести его в чувство, в голове её роилось множество мыслей. Кроме всего прочего она думала о том, что не сможет как следует присматривать за ним, если он останется

здесь, в старом доме; что кормить его будет трудно; что, кажется, он вот-вот заболевает, и тогда ему нужен будет врач; что тут его легко может найти полиция – иными словами, о том, что нужно найти какое-то другое место, где он был бы в безопасности, а она могла за ним ухаживать. Ну почему у неё нет подруги, с которой можно было бы посоветоваться?! Она снова и снова возвращалась к этой мысли. Увы, вокруг неё не было ни одного человека, на мудрость и надёжность которого она могла бы положиться.

Когда Леопольд открыл, наконец, глаза, она сказала ему, что ей пора идти, но с приходом темноты она вернётся и останется с ним до рассвета. Он слабо кивнул, как будто почти не понимал её слов, и глаза его снова закрылись. Воспользовавшись этим, она незаметно вытащила у него нож и спрятала его у себя в кармане. Однако когда она выходила из комнаты с чувством матери, оставляющей своего ребёнка в лесу, наедине с волками, он проводил её таким тоскующим, безумным и голодным взглядом, что она чувствовала его на себе всё время, пока бежала через рощу и через парк, до самого порога своей комнаты. Злополучный нож казался ей заколдованным бесом, только и выжидающим возможности сделать им обоим какую-нибудь пакость. Она заперла дверь, вытащила его из кармана и уже собралась убрать его подальше, боясь, что если она попробует как-то его уничтожить, её непременно обнаружат, как вдруг заметила полное имя брата, выгравированное на серебряной рукоятке. «А если бы он случайно бросил его там?» – содрогнувшись, подумала она.

Правда, теперь, когда Леопольд рассказал ей всё, Хелен ощутила внутри некую обнадёживающую силу. По дороге домой она не раз ловила себя на мысли о том, что её бедный брат вовсе не виноват, что он не мог поступить иначе, а эта девица получила по заслугам. Совесть незамедлительно указала ей на то, что согласившись с подобными рассуждениями, она сама станет убийцей. Она должна любить своего брата и может искать для него все возможные извинения и оправдания (ведь честные оправдания – это всего лишь справедливость), но одобрить его поступок значило бы объединиться с преисподней против Небес. Однако сейчас, когда она знала всю его историю, убийство уже не казалось ей таким уж страшным, и она чувствовала,

что теперь ей будет гораздо легче предстать перед тётушкой. Пусть под её крылом укрылся и не безвинный страдалец, всё равно против него совершили страшное преступление – и самое худшее в этом преступлении было то убийство, на которое его толкнули!

Хелен улеглась в постель, проспала до самого вечера, проснулась отдохнувшей и постаралась вести себя как ни в чём не бывало за долгим ужином, выдержать который ей помогала надежда снова увидеть брата под покровом дружелюбной ночи, когда опасность будет куда меньше и все глаза, кроме их собственных, будут смежены сном. Она непринуждённо беседовала с тётей и её гостьей, словно на сердце у ней было легко и спокойно. Время шло, разговор понемногу угасал, настал час расходиться, все попрощались, на город легла дремота. Весь гластонский мир спал; ночь в своём гнезде высиживала яйцо завтрашнего дня; луна завернулась во тьму, и ветерок освежал горячий лоб Хелен, ночным вором скользившей по парку.

В душе её теснились смешанные чувства, но все они были об одном: её ненаглядном брате. То ей казалось, что она служит своему отцу, которого всегда нежно любила, тем, что защищает его сына. Потом мысль об отце исчезала, и её переполняла лишь любовь к тому мальчику, воспоминания о котором заполняли собой тень её детства и который снился ей каждую ночь, пока пересекал океан, чтобы наконец приплыть к ней в гости. Как застенчиво он позволил ей обнять себя, когда увидел её впервые, и как быстро превратился в самого весёлого и ловкого товарища её детских игр! Как очарователен он был даже в приступах пылкого гнева, когда бросался на неё с тем, что в ту минуту было у него в руках! Тогда она смеялась и дразнила его, но теперь это воспоминание заставило её содрогнуться. Потом (и это чувство преобладало над всеми прочими) из сосуда её сердца снова начинало изливаться простое женское стремление укрыть то обиженное, израненное, обезумевшее, угнетённое, забитое человеческое существо, у которого в мире не осталось иной помощи и защиты. Иногда это была любовь матери к больному ребёнку, иногда – любовь тигрицы, склонившейся над своим израненным малышом и зализывающей его раны. Всё это было окрашено восхищением красотой и изяществом брата и смешано с неизмеримой жалостью из-за того, что вся

эта красота вдруг так печально омрачилась и стала почти неузнаваемой. Кроме всего прочего, Хелен ощущала, что, нанеся обиду её родной плоти и крови, обиду нанесли и ей самой. Однако все её чувства сходились воедино в страстной решимости служить брату всем своим существом.

Сдаётся мне, что любовь благородной жены, великодушной матери и верной сестры – все они проистекают из одного источника. Как бы то ни было, всё это – лишь отблески единого, неизменного и негасимого Света на беспокойных водах человечества.

Глава 29. У постели больного

Она дошла до железной калитки, висевшей на одной петле, и уже начала поднимать её, чтобы выйти, как вдруг посреди тишины раздался дикий вопль. Неужели они уже нашли его? Неужели там уже идёт борьба не на жизнь, а на смерть? На секунду ноги её прилипли к земле, но в следующее мгновение она ринулась к двери. Однако внутри всё было тихо, как в склепе. Может, ей показалось? Но тут, так что кровь застыла у неё в жилах, тьму снова прорезал душераздирающий крик, вопль души, корчащейся в мучениях. В темноте она взлетела по лестнице, зовя брата по имени, дважды споткнулась, упала, но, словно на крыльях, поднялась и не останавливаясь заспешила дальше, пока не ворвалась в потайную комнату.

Там было темно и тихо. Трясущимися руками они отыскала в кармане спички, не переставая шептать все ласковые слова, которые только могла придумать, и чиркнула спичкой, внутренне содрогнувшись от секундного страха перед новым воплем. Он раздался как раз тогда, когда огонёк вспыхнул в её пальцах; из её груди через стиснутые зубы вырвался ответный крик, и её затрясло, как в лихорадке. Брат сидел на краю постели, уставившись вперёд незрячими глазами,

с лицом, полным неопишемого ужаса. Он не слышал, как она вошла, и сейчас не видел ни свет, ни её саму. Она поспешно зажгла свечу, невероятным усилием заставляя себя и дальше говорить с ним, задыхаясь и с трудом выталкивая слова, но всё было напрасно: его мертвенно-бледное лицо не изменилось, и расширившиеся глаза всё так же неотрывно смотрели куда-то перед собой. Она села рядом с ним и обняла его за плечи. Это было всё равно, что обнимать мраморную статую: таким он был неподвижным и безучастным. Однако через минуту по его телу пробежала судорога, напряжение спало, и душа, только что блуждавшая в собственных видениях, вновь подошла к окнам своего жилища, на мгновение выглянула наружу и сразу опустила занавеси.

– Это ты, Хелен? – дрожа спросил он, закрывая глаза и кладя голову ей на плечо. Дыхание его было раскалённым, как печка. Кожа казалась воспалённой. Она нащупала его пульс: он был бешеным. У Леопольда началась горячка – и скорее всего, воспаление мозга. Что же делать? Тут в голову ей пришла одна мысль. Да, это единственный возможный выход. Она отведёт его домой. Там, с помощью слуг, у неё будет хоть какая-то надежда укрыть его, пусть даже самая слабая. А здесь, с его безумными припадками, ей вряд ли удастся даже удерживать его внутри.

– Польди, милый, – заговорила она, – ты должен пойти со мной. Я отведу тебя к себе в комнату, где я смогу как следует за тобой ухаживать и мне уже не нужно будет отлучаться. Ты сможешь дойти до дома?

– Дойти? Да, смогу, вполне. Почему нет?

– Я боюсь, что ты заболеваешь, Польди. Но даже если тебе станет очень плохо, ты должен пообещать мне, что постарайшься вести себя тихо-тихо и ни в коем случае не кричать.

Когда я сделаю вот так, – продолжала она, прикладывая палец к его губам, – ты должен сразу замолчать.

– Я сделаю всё, что ты скажешь, Хелен. Только пообещай не оставлять меня и дать мне яду, когда они за мной придут.

Хелен согласилась и, торопливо уничтожив все следы их недолгого пребывания в потайной комнате, взяла брата под руку и вывела его наружу. Он был очень тихий – слишком тихий и покорный,

подумалось ей, – и казался сонным. Однако когда они вышли на воздух, он немного ожил, и на него снова навалился прежний страх: всю дорогу он настороженно оглядывался и всматривался во мрак, но не произнёс ни слова. Через калитку в низкой каменной ограде они проскользнули в сад и уже через несколько минут были в спальне Хелен. Она уложила брата в постель, а сама пошла к тётушке.

Как и большинство людей, миссис Рамшорн была непримирима и неразумна в том, что касалось её предубеждений, но, как во всех женщинах, в ней жило сочувствие к тем страданиям, которые она знала на собственном опыте. Душевные муки были выше её понимания, но ради облегчения чужой боли она была бы даже готова сама претерпеть некую толику физического неудобства. Поэтому, услышав рассказ Хелен о том, что Леопольд неожиданно появился у неё под окном, что он болен – может быть, даже воспалением мозга – и бредит наяву, она вполне одобрила решение племянницы устроить его в своей спальне и уже совсем было встала, чтобы посидеть с ним хотя бы часть ночи, но Хелен уговорила её не лишать себя ночного отдыха и попросила её предупредить слуг о том, чтобы они никому не говорили о возвращении Леопольда – а то ещё в городе пойдут слухи, что он не в себе. Слуги жили в доме уже давно, были более-менее преданы своей хозяйке, да и Леопольд с детства был их любимцем, так что Хелен надеялась заручиться их молчанием.

– Но ведь ему нужен врач! – возразила тётя.

– Да, но я сама с ним поговорю. Как хорошо, что старого доктора Берда уже нет: он такой сплетник! Надо позвать этого нового доктора, мистера Фабера. Я всё ему объясню. Ему нужна приличная репутация, чтобы наладить в городе практику, так что он будет просто вынужден делать то, что я ему скажу.

– Да ты, девочка, оказывается, хитрее любой старухи! – воскликнула тётушка. – Только всё это очень неприятно, – продолжала она, нахмурившись. – Ну что за злосчастные создания эти мужчины! Что старые, что малые – вечно с ними случаются какие-то переделки. Поверишь ли, милая, но уж на что твой дядя был прекрасным человеком и примерным служителем, и то: даже чулки по утрам мне приходилось надевать ему самой! И если бы только чулки! Последние годы

я писала больше половины его проповедей. Видишь ли у него был принцип: ни в коем случае не читать одну и ту же дважды. Он говорил, что для него это дело чести, так что, в конце концов, пришлось ему помогать. Правда, надеюсь, проповеди его от этого хуже не стали, да и прихожанам это не повредило. Я же пользовалась теми же самыми комментариями, что и он. Ты не поверишь, но мне это даже нравилось!.. Бедный наш мальчик! Нам нужно сделать для него всё, что только можно!

– Если потребуется, тётя, я вас позову. А теперь мне надо идти: ему всегда плохо, когда я ухожу. Пожалуйста, не посылайте без меня за доктором, ладно?

Вернувшись к себе, она, к своему великому облегчению, обнаружила, что Леопольд спит. Безмятежность чистой постели после выматывающих страхов и блужданий вкупе с опиумом, который Леопольд не переставал принимать и после того, как явился к сестре, возымели своё действие, и он крепко заснул.

Однако наутро у него поднялась температура, и Хелен вызвала доктора Фабера. Тот обнаружил пациента в таком состоянии, что никакой даже самый дикий бред не смог бы его удивить. Мозг Леопольда был воспалён, мысли его беспорядочно цеплялись то за одно, то за другое, он метался в постели и всё время неистово что-то говорил, но даже Хелен не смогла бы разобрать в его речах ни единого слова.

Обучаясь медицине в университете и практикуясь в городских больницах, Фабер не избежал влияния неверия, преобладавшего в тех кругах, где, в силу небольших познаний о конституции человека, потоки ребяческого невежества и старушечьей вульгарности (не говоря уже о непристойности) проповедовались под именем истины людьми, абсолютно ничего не знающими о более глубоких сферах существования, в которые верят простые и благочестивые натуры. Поэтому, приехав в Гластон, он привёз свою долю закваски в старую посудину этого древнего и сонливого городка. Но поскольку ему нужно было основать и укрепить свою практику, у него хватило благоразумия не выставлять на всеобщее обозрение хваленую пустоту своих выметенных и убранных комнат. Я не хочу ни в чём его обвинять. Он не считал своим призванием исполнять мефистофелеву заповедь

всеобщего уничтожения веры и видел своё дело лишь в том, чтобы доставать из сундука природы средства и снадобья, способные исцелить больное тело, которое для него, собственно, и составляло всю сущность человека. Он держался по-деловому, холодно и несентиментально, и, хотя в каком-то смысле это было даже хорошо, при виде его у Хелен пропала всякая надежда найти в нём того, кому она могла бы открыть тайну истинного положения дел.

Врачом он оказался мудрым и искусным, однако понадобилась не одна неделя, прежде чем Леопольд пошёл на поправку. К тому времени, когда лихорадка спала, он настолько обессилел, что все опасались за его жизнь, и даже Хелен, чьё здоровье всегда было прекрасным, начала чувствовать на себе влияние бессонных ночей. Уход за братом отнимал у неё все силы. Однако теперь она думала о своей жизни совсем иначе, потому что впервые обнаружила её ценность. Собственная жизнь стала ей дорога с тех пор, как стала опорой для Леопольда. Несмотря на кошмар тревожной неопределённости и ужаса, в котором она жила, временами считая себя чуть ли не сообщницей брата, равно повинной в его преступлении, порой Хелен ловила себя на том, что всё её существо с радостью откликается на мысль о том, что она стала для Леопольда ангелом-хранителем – как он сам называл её. И теперь, даже когда те долгие часы, что она проводила у его постели, казались ей однообразными и весьма утомительными, по сравнению с ними ей прошлое всё равно выглядело историей ленивой бездельницы.

Всё это время она почти не виделась с кузеном Джорджем и, честно признаться, сама не зная почему, избегала его общества. В холодном, солнечном, незатенённом дне его присутствия, где непрестанно дул северный ветер, ей негде было найти утешения, а что до силы, то даже краткая встреча с ним, напротив, требовала от неё нового усилия. К тому же, внешне она явно подурнела. Но когда после долгого отсутствия священник однажды утром увидел Хелен среди прихожан, её бледное лицо, в котором угадывалась скрытая и подавленная тревога, несло на себе печать некоего высшего существования. Правда, за это время она ни разу не припала к рекам утешения, любуясь из источников веры, и сейчас пришла в церковь вовсе

не для того, чтобы напомнить себе о чём-то дорогом и близком: величественное, молчаливое здание манило её лишь обещанием двух часов недвижимого покоя. Однако она действительно вступила в более высокие сферы существования – просто потому, что даже без единой мысли о Том, на Чём сердце зиждется весь мир (не говоря уже каком-либо Его познании), она, тем не менее, исполняла Его волю. Да, при этом она всего лишь следовала своему инстинкту и служила не всему человечеству из полноты зрелого, любящего сердца, а лишь тому, кого любила больше всех на свете, – что, согласитесь, невеликая заслуга! – но как бы то ни было, для неё это стало началом Божьего пути, единственно дивного и прекрасного. Неудивительно, что в лице девушки начал пробиваться тот свет, который не могли зажечь в нём ни цветущее здоровье, ни даже самое оправданное осознание собственной красоты.

Глава 30. Возрастание священника

Визиты Уингфолда к карликам, живущим у ворот парка, не только участились, но стали для него всё более и более интересными, и поскольку работа привратника отнимала у Полварта совсем немного времени, он мог полностью посвятить себя молодому человеку, желающему научиться как раз тому, что было для него настоящей страстью. До сих пор его единственной ученицей была племянница, и появление ещё одного ученика – да ещё такого, чья душа столь ревностно стремилась постичь все сокровища мудрости, накопленные им за долгие годы, – было для него острой, чистой и священной радостью. Как раз об этом он так часто молился: чтобы живые воды его духа нашли себе выход в иссохшие и жаждущие земли. Особой способности к писательскому мастерству у него не было, хотя время от времени он облегчал своё сердце стихами, и даже хотя он обладал

удивительным умением говорить, любая попытка публичного выступления лишь сделала бы его предметом вульгарных насмешек. Уингфолд оказался человеком понятливым и послушным, жаждущим истины и способным её узнать, и если удастся помочь ему отвалить камень от колодца истины в его собственной душе, целительные воды потекут от него и в дальние, и в ближние пределы. Когда-то маленький Закхей восполнил свой недостаток тем, что взобрался на высокую сикомору, чтобы тем самым возвыситься над своими братьями и увидеть Иисуса. А вот маленький Полварт готов был поднять высокого Уингфолда на своих плечах, чтобы тот первым увидел и вслух возвестил своим братьям о Том, Кто к ним грядёт.

Два или три воскресенья священник (главным образом, с помощью своего друга) кормил свою паству зерном, подобранным с чужих полей. Многие были этим недовольны и, хотя сам Уингфолд ничего об этом не знал, ручейки их недовольства стеклись в небольшое озерце: среди прихожан состоялось полугласное собрание, где обсуждалось, не стоит ли обратиться с жалобой к старшему священнику, и, хотя пока решено было обождать, вопрос так и остался открытым. Кое-кто вообще считал, что, поскольку старший приходской священник так мало интересуется своей паствой, лучше обратиться сразу к епископу и сообщить ему, в каком печальном состоянии находится одна из общин, вверенная его попечению. Однако вскоре дело приняло новый оборот – сначала ко всеобщему удивлению, а потом к смятению и, наконец, даже к ужасу некоторых прихожан.

Послушно следуя наставлениям Полварта, Уингфолд засел за Новый Завет. Сначала, по мере того, как он читал и пытался его понять, он то и дело натыкался на небольшие трудности (например, на несоответствия в родословных: я упоминаю об этом лишь для того, чтобы показать, какого рода трудности это были), которые, словно осы, вылетали на него из темноты и жалили в лицо. Некоторые из них ему удавалось настичь, одолеть и раздавить, но он тут же обнаруживал, что победа почти ничего ему не дала, и поэтому Полварт убедил его на время оставить эти мелкие непонятности, потому что они никак не помогали ему узнавать Того, с Кем ему так нужно было познакомиться. Совсем иначе дело обстояло, когда

непонятными оказывались слова Самого Иисуса. Уингфорд знал, что просто должен понять, что Тот имел в виду, – иначе ему никогда не понять Его Самого.

Тут Полварт сказал ему вот что: если после всех усилий и стараний человек всё равно никак не поймёт, что именно хотел сказать Иисус, тогда ему следует признать, что смысл этих слов пока недоступен его пониманию, и ему сначала нужно поближе узнать Самого Иисуса – ибо хотя слова и помогают нам узнать того, кто их произносит, сначала нам нужно хоть немного знать его самого, чтобы эти слова обрели для нас смысл. Поэтому для того, чтобы добраться до понимания те или иных нелёгких высказываний, нашему разуму неизбежно приходится взбираться по ступенькам, постепенно ведущим нас от лёгкого к сложному. Именно здесь Полварт хотел было дать своему ученику самый что ни на есть практический и потому особенно важный намёк, но удержался, боясь, что, сообщив ему истину, он лишит её той полной силы, которую человек ощущает, только самостоятельно открыв её для себя. Он был уверен, что в своём нынешнем настроении священник почти сразу же обнаружит то, что Полварту так хотелось ему показать.

Однажды Уингфорд спросил, понимает ли его друг смысл одного высказывания Иисуса.

– По-моему, да, понимаю, – ответил карлик. – Однако вряд ли сейчас у меня получится показать его вам. Сдаётся мне, что это как раз одно из тех Его слов, о которых я говорил: понять его можно, только научившись лучше понимать Иисуса. Позвольте мне задать вам один вопрос – только для того, чтобы пояснить, что именно я имею в виду. Если можете, скажите мне: судя по тому, что было главной и первостепенной целью Иисуса на земле?

– Спасение людей, – ответил Уингфорд.

– По-моему, это не так, – отозвался Полварт. – Не забудьте, я спросил вас о главной, первостепенной Его цели. Скоро вы и сами придёте к точно такому же выводу. Либо наш Господь был иллюзией, фантомом, могущественной ересью, подействовавшей даже на многих яростных её противников, либо Он был подлинным человеком, провозглашавшим то, в чём состояла вся Его жизнь, чтобы эти слова стали

жизнью для Его братьев. А если так, то, в конечном итоге, любой честный человек непременно поймёт истинный смысл того, что Он говорил. Кто-то сказал, что Он был человеком, главной страстью которого была страсть по человечеству – ну, или что-то в этом роде. По-моему, эти слова даже близко не стоят к истине. Главным светом Его жизни была иная страсть – если её вообще можно так назвать, – преодолевавшая даже то стремление, которого всё равно было бы довольно, чтобы Он положил ради него душу.

В тот день Уингфолд ушёл домой, глубоко погрузившись в размышления.

Полварт не читал почти ничего религиозного кроме Нового Завета, однако смог указать Уингфолду несколько книг, которые способны были оказать ему неплохую помощь в поиске подлинного образа Того, Кого тот пытался узнать. Тем не менее он хотел, чтобы его друг впервые узрел рассвет на горах Иудеи – то есть чтобы свет пролился в его душу благодаря словам самого Сына Человеческого. Иногда при мыслях о своём ученике и его продвижении вперёд карлика охватывала такая радость и ему так не терпелось услышать о новых лучиках света, пробившихся для того сквозь тьму, что он просто не мог оставаться дома, целый день бродил по парку и, как подозревала Рейчел, молился за молодого священника. Уингфолд и знать не знал, что нередко, когда он, далеко за полночь, бился над каким-нибудь трудным, непонятным отрывком, маленький привратник кругами ходил по дому, словно колдун, бормочущий заклинания, – только бормотал он молитвы за своего друга. Неудовлетворённый собственной немощной любовью, он восполнял её источником всякой любви, смело простирая руку к Божьим богатствам и взывая о «первейшем признаке благородства¹⁹» для своего ученика – что, не будь в мире Бога, было бы совершенной глупостью и справедливым поводом для насмешек со стороны таких, как Джордж Баском. Но поскольку Полварт всей своей крепкой, здоровой, святой душой верил, что Бог есть, для него всё это было не чем иным, как проявлением обычного здравого смысла.

19 Джефффри Чосер (ок. 1343–1400), баллада «Благородство» (пер. В. Рогова).

Однако до рассвета было ещё далеко – а тут ещё Уингфорда начал тревожить вопрос о чудесах! Неужели мистер Полварт может искренне сказать, что без труда верит в столь невероятные вещи, которые к тому же так глубоко погребены во мраке и прахе древности, что удостоверить в их подлинности просто невозможно?

Нет, мистер Полварт никак не мог сказать, что ему легко верить в такие вещи.

– Тогда почему, – не отставал Уингфорд, – от них зависит вся правдоподобность евангельской истории? То есть её правдоподобность для людей вроде нас, живущих много позже и из-за своего образования лишённых способности верить в подобные явления, особенно в наше время, когда учёные дотошно исследуют все законы...

– Которые, скорее всего, так и остаются непонятыми, – вставил Полварт, стараясь однако не перебить мысль своего ученика.

– И всё же, почему доказательство истинности Евангелия зависит от столь невероятных явлений, как чудеса? Вы же признаёте, что они заведомо невероятны?

– Заранее оговорив, что я верю в каждое чудо, записанное в Евангелии, – ответил Полварт, – я искренне признаю их невероятность. Однако доказательство истинности Евангелия от них не зависит и никогда не зависело. Сам Господь не особенно на них полагался и совершал чудеса, скорее, ради страждущих, нежели ради очевидцев. Однако сейчас мне не хотелось бы об этом говорить. Скажу только, что Господа вы найдёте не в чудесах – хотя, обрета Его, вы обнаружите Его и в них тоже. Вопрос не в том, истинны ли чудеса, а в том, был ли истинным Иисус. Я снова и снова повторяю, что вам нужно найти Его, Его самого. Вот когда вы отыщете и узнаете Его, тогда, я может быть, и сам задам вам этот вопрос: «Как вы, мистер Уингфорд, можете верить в столь невероятные вещи, как чудеса и знамения?»

С этими словами карлик решительно сжал губы. Уингфорд понял, что больше тот не скажет ни слова, и потому, оставшись без ответа и с немалым чувством разочарования, ему снова пришлось вернуться к Новому Завету.

Глава 31. Священник делает открытие

Наконец однажды, когда Уингфолд сидел за евангельской гармонией²⁰, сравнивая между собой несколько отрывков, по-разному изложенных в Евангелиях, на минуту он то ли задумался, то ли замечтался, и его взгляд полубессознательно остановился на стихе: «Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь²¹». Слова эти переплелись с его мыслями, и постепенно, хотя его неясные раздумья нельзя было назвать сознательным, сосредоточенным размышлением, в неподвижной тишине его сознания образ Иисуса обрёл такую необыкновенную реальность, что, в конце концов, Уингфолд увидел в Нём человека, который искренне, изо всех сил старался помочь своим собратьям, но никак не мог заставить их прислушаться к Его словам.

«Эх, – вздохнул про себя священник, – вот если бы мне хоть раз Его увидеть! Уж я бы непременно слушал Его! Да я бы ни на шаг от Него не отходил, засыпая Его вопросами, что-бы добраться до истины!»

На какое-то время он опять погрузился в беспорядочный хаос смутных, бессловесных раздумий, пока из памяти внезапно не всплыли слова, резко выдернувшие его из полузабытья: «Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю?»

– Боже мой! Да что же это я? – вскрикнул он. – Придираюсь к словам, сомневаюсь в том и в этом, словно пытаюсь удостовериться, что Он достоин того положения, которое я намереваюсь Ему предложить, а Он, тем временем, настойчиво призывает меня к послушанию! А ведь я даже не могу – ну, по крайней мере, вот так, сразу – сказать, чего Он от меня хочет! Да разве я хоть когда-нибудь, хоть что-нибудь сделал именно потому, что Он велел мне это сделать? Нет, никогда!.. Но как мне Его слушаться, если я даже не уверен, что Он имеет право на такое господство? Сначала надо точно узнать, могу ли я по праву называть Его Господом! Нет, так тоже не пойдёт... Он сам говорил:

20 Евангельская гармония - слияние, согласование, гармонизация четырёх Евангелий в один единый связный текст.

21 Ин. 5:40.

«Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» А ведь я не знаю, я даже ни разу не спрашивал себя, действительно ли Его заповеди о том, что мы должны делать, призывают нас к тому, что хорошо и правильно!.. Подумать только! Все эти годы я называл себя христианином – да что там! даже служил в храме Христовом, словно Он какое-нибудь языческое божество, жаждущее песнопений, молитв и жертвоприношений! – и при этом не могу честно сказать, что хоть раз в жизни сознательно сделал то, что Он мне велел. А ведь в Евангелиях Он постоянно и горячо призывает нас к послушанию, порой даже умоляет о нём! Всё это время я был нечестен, а как нечестному человеку судить о Том, Кто называл себя Христом Божиим? Чего ж тут удивительного, если Его слова слишком высоки и благородны, чтобы такие, как я, узнали в них истину?

Но тут ему на память пришёл ещё один стих: «Кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю²²».

Уингфорд поднялся, прошёл в свою комнату и плотно закрыл дверь. Через какое-то время он вышел и тут же отправился навестить одну безутешную старушку в своём приходе.

Следующим явным результатом его открытия было то, что в воскресенье на кафедру поднялся человек, которому впервые в жизни было что сказать собратьям-грешникам. На этот раз он принёс им не сокровенную добычу, собранную с чужих, пусть даже самых лучших полей, но то слово, которое родилось в его душе благодаря свету, проникшему в неё и обнаружившему там тьму и грех.

Он не стал открывать тетрадь с проповедями или цитировать отрывок из какой-нибудь книги, а дрожащим голосом прочёл лишь следующие слова:

«Что вы зовёте Меня: Господи! Господи! – и не делаете того, что Я говорю?»

Позвольте мне на секунду прервать повествование и воззвать к сочувствию читателей, способных понять человека, который из-за собственной честности порой выглядит так, будто думает только о себе. Если человек, обнаружив, что занимает своё положение

22 Ин. 7:17.

не по праву, всё-таки желает исполнять тот долг, который накладывает на него это положение (до тех пор, пока он не сможет либо оправдать своё назначение и начать честно исполнять этот самый долг, либо с честью его оставить), мне кажется, его можно извинить, если из внутренней необходимости он начинает говорить о себе в таком месте, где подобные речи могут быть либо признаком величайшей непочтительности, либо плодом искреннейшего благочестия. В Уингфолде это не было ни тем, ни другим: это была просто честность – и заворожённость изумлённой любви, впервые на мгновение узревшей край одежды проходящей мимо Истины. Укреплённый сделанным открытием – и даже, пожалуй, вдохновлённый им, ибо что есть любовь к истине и радость истины, как не дыхание жизни, даруемое душе Богом истины? – Уингфолд оглядел свою общину, как ни разу не осмеливался оглядывать её до сих пор. Он смотрел на лица, одно за другим, узнавая их; заметил лицо Хелен Лингард, печально осунувшееся, но не потерявшее достоинства, и даже не мгновение усомнился, она ли это; слегка содрогнулся от неведомого доселе волнения (менее скромный или менее мудрый проповедник по глупости увидел бы в этом не радость открытия, а знак присутствия и вдохновения Духа) и, строго подавив его в себе, сказал:

– Друзья мои, сегодня я обращаюсь к вам с первым словом истины, которое было дано мне самому.

Его слушатели насторожились и внутренне и внешне. «Неужели сейчас будет отрицать Библию?» – подумали одни. «С первым и с последним, – подумали другие, – если только старший священник успеет вовремя услышать о том, как ты, братец, оскверняешь и себя, и его кафедру».

– И если бы я попытался удержать его, – продолжал Уингфолд, – оно стало бы для меня горящим огнём, заключённым в моих костях. Три дня назад я сидел у себя в комнате, читая странное повествование о человеке, явившемся в Палестину и называвшем себя Божьим Сыном, и наткнулся на те самые слова, которые только что прочёл вам вслух. Не успел я прочитать их, как обвинитель, живущий у меня внутри, – моя собственная Совесть – зашевелился и спросил: «А ты сам? Делаешь ли ты, что Он говорит?» И тогда я подумал: «Сделал ли

я сегодня хоть что-нибудь из того, что Он велел? Поступал ли вообще хоть когда-нибудь по Его слову? Случалось ли мне – да, да, в конце концов, дошло и до этого! – хоть раз в жизни сделать то или иное дело просто потому, что Он повелел мне его сделать? И знаете, что мне пришлось на всё это ответить? НЕТ, НИКОГДА! А ведь всё это время я не только называл себя христианином, но и, в силу своего христианства, имел дерзновение жить среди вас в качестве того, кто должен был помогать вам искать Божье Царство. Я был ходячим лицемерием, живущим и проповедующим среди вас!

«Вот негодяй!» – подумал галантерейщик, разбогатевший на продаже нижнего белья, каждый стежок которого отнимал у беловшеев куда больше здоровья и сил, чем способна была возместить их скудная плата. «Ну и ну!» – подивились некоторые. «Надо же, сам признаётся в лицемерии!» – ухмыльнулись другие. «Неслыханная дерзость! – возмутилась миссис Рамшорн. – Совершенно непристойное поведение, неподобающее человеку священнического сана! Да ещё и выставляет себя настоящим язычником!» Хелен слегка проснулась, начала прислушиваться и удивлённо подумала, что такого мог сказать священник, чтобы его паства заволновалась и зашумела, будто над ней пронёсся внезапный вихрь ветра.

– После такого признания, – продолжал Уингфорд, – вы должны понять, что все мои слова относятся ко мне самому в той же мере, как и к любому из вас.

И он начал показывать им, что вера и послушание рождены от единого духа, живущего в одном и том же сердце и лишь входящего и выходящего из одной его двери в другую: то, что в покоях сердца мы называем верой, в покоях воли зовётся послушанием. Уингфорд показал им, что Господь решительно отвергал всякую веру, которая являлась миру только в устах, восхваляющих Бога, но не в руках и ногах послушного деяния. Кто-то из его слушателей решил, что это скверное богословие, однако другие увидели в его рассуждениях, по меньшей мере, здравый смысл. Что касается Хелен, ей казалось, что такие разговоры интересуют священников или людей вроде её тётушки, причастных к подобным делам; но для неё, чей брат лежал дома

«с головой в язвах и чахнувшим сердцем²³», всё это было пустой, бессмысленной суетой.

Но никакие осуждающие мысли не могли остановить источник откровения, лившийся из уст Уингфолда и с каждым словом становившийся всё сильнее и полноводнее. В своём стремлении как можно вернее передать открытую им истину, он всё яснее осознавал, какая это насмешка – называть человека мудрейшим, добрейшим, наилучшим, дражайшим из людей и при этом ни разу не выполнить ни малейшей его просьбы и не прислушаться ни к одному слову его страстных, умоляющих призывов.

«Социнианин²⁴!» – негодовала миссис Рамшорн.

«А в нём что-то есть!» – сказал себе старший староста прихода, выросший в семье методистов.

«Кажется, он действительно верит в то, что в детстве наговорили ему бабушки!» – подумал Баском.

А пробудившийся священник говорил всё свободнее, доходя почти до красноречия. Лицо его светилось искренней убеждённой уверенностью. Даже Хелен не отводила от него взгляда, хотя не имела ни малейшего представления, о чём он говорит. Наконец, он закончил свою проповедь такими словами:

– После сегодняшнего признания – и если кто-то из вас повинен в том же самом грехе, я прошу вас признаться в нём себе и Богу! – я не осмеливаюсь называть себя христианином. Откуда такому, как я, знать то, что – если это действительно правда – является высочайшей и единственной всеобъемлющей истиной на свете? Как может такой, как я, – продолжал он, чувствуя к себе презрение в присутствии истины, – судить о сокровенных тайнах её возможностей? Как мне, повинному в симонии²⁵, надеяться на то, что меня услышат, когда я провозглашаю, что сие слово, которое якобы сказал людям Бог, кажется мне почти невероятно прекрасным? Я проповедую благодать содержащихся здесь истин, но ни разу не пошёл и не исполнил ни одной

23 Ис. 1:5.

24 Социнианин – последователь итальянского богослова Лелия Социна (1525-1562), отвергавшего некоторые догматы христианства.

25 Симония – продажа и покупка церковных должностей или духовного сана в средние века.

из них. Поэтому слово моё ничего не стоит, и в этом отношении его не следует принимать во внимание.

Нет, друзья мои, я не называю себя христианином. Но я призываю в свидетели тех из вас, кто исполняет слово Христа, сдерживает гнев, не судит ближнего, щедро делится с другими своим добром, любит своих врагов и молится за тех, кто клеветает на него, и перед вами всеми клянусь, что с сегодняшнего дня буду стараться слушаться Его в надежде, что Тот, Кого Он называл Богом и Отцом, откроет мне Того, Кого вы называете своим Господом Иисусом Христом, и в моей тьме тоже воссияет Свет мира!

«Ну вот, он открыто называет себя безбожником! – сказала про себя миссис Рамшорн. – И подумать только, какой хитрый! Всех нас заманил в ловушку, заставив признать себя такими же атеистами, как и он! Как будто обычный смертный способен исполнять заповеди Спасителя! Он же был Богом, а мы простые люди!» Она вполне могла бы добавить: «И люди-то из нас никакие!» – но до этого не дошла, считая себя вполне приличным образчиком человеческого рода.

Но было в церкви одно сияющее лицо, которое, словно восходящее солнце любви, света и истины, оперлось подбородком не на волну с востока²⁶, а на спинку переднего сиденья. Глаза этого человека были полны слёз, а сердце благодарило Бога и Отца, ибо всё это было неизмеримо больше того, на что он осмеливался надеяться – разве что в неопределённом будущем. Теперь свет был не только согревающим и оживляющим присутствием, но лучился и сиял в сердце его друга, для которого – благодарение Богу! – с сегодняшнего дня открывался путь во всю полноту истины. И когда голос, снова дрогнувший от внутреннего волнения, произнёс: «Богу же и Отцу нашему...», – он опустил лицо, и жалкое, тщедушное, уродливое тело с огромной седой головой затряслось от могучей силы радостных рыданий. В лице учителя, только что отрёкшегося от всякого права учить, он увидел истину, поселившуюся во внутреннем человеке! Что скажет на это его паства? Неважно. Те, кого привлёк к Себе Отец, непременно его услышат.

26 Аллюзия на стихотворение Джона Мильтона «Гимн на Рождество Христово».

Полварт не стал искать священника в ризнице или дожидаться его возле дверей; не пошёл он и к нему домой. Он был не из тех, кто хвалит священников за прекрасную проповедь. С какой поразительной небрежностью некоторые люди относятся к опасности погубить своих друзей собственной похвалой! «Пусть Бог Сам хвалит его! – сказал себе Полварт. – Я же только возьму на себя смелость его любить». Он не хотел легкомысленно рисковать пробуждающейся душой своего друга.

Глава 32. Надежды

Хелен впервые появилась службе с тех пор, как появился Леопольд. На неделе в его болезни произошёл перелом, ему стало лучше, и к субботе он настолько успокоился, что Хелен, из желания хоть немного сменить обстановку, решила оставить его на попечение экономки и пошла в церковь. Вернувшись, она узнала, что хуже ему не стало, хотя он и «до и дело беспокоился, всё о вас спрашивал, мисс». Она тут же поспешила к нему, словно к грудному младенцу.

– Зачем ты ходишь в церковь? – спросил он чуть капризно, словно избалованный ребёнок, в ожидании ответа глядя на неё безжизненными, потухшими глазами. – Какая в ней польза?

– Пользы немного, – ответила Хелен. – Мне нравится тишина и музыка. Вот и всё.

На его лице отразилось разочарование.

– В прежние времена церкви были для людей прибежищем, – заговорил он, немного помолчав. – Может, поэтому нам кажется, что там и сейчас можно надёжно укрыться... А кузен Джордж тоже ходил с вами?

– Да, ходил, – отозвалась Хелен.

– Может, он ко мне зайдёт? Хочется с кем-нибудь поговорить.

Хелен промолчала. Однако мысли её были заняты не столько тем, что ответить Леопольду, сколько тем, почему ей самой так решительно не хочется, чтобы Баском навещал её больного брата. Правда есть правда, и что в том плохого, если Леопольд узнает или, по крайней мере, услышит, как она сама, что ему нечего бояться наказания в потустороннем мире, что бы ни произошло с ним в мире нынешнем; что ему незачем трепетать перед страшным Богом, ненавидящим грех, потому что никакого Бога нет; что даже мерзость его собственного преступления не должна его огорчать – ведь и он сам, и его вина рано или поздно исчезнут с лица земли, как уже исчезла пролитая им кровь. Разве всё это не станет для него утешением?.. Только к чему подтолкнут его подобные мысли? К тому, чтобы продолжать жить под грузом душевных мук или к тому, чтобы разом покончить и с муками, и с самим собой? Или, быть может, к тому, чтобы безоглядно предаться пороку, пытаясь избежать чувства вины и страха перед законом?

Не скажу, что Хелен думала именно так, слово в слово, но какими бы ни были её размышления, они не вызвали у неё ни малейшего желания осенить своего преступного брата светом присутствия Джорджа Баскома. Однако из-за пристрастного отношения к кузену она объясняла это так: «Джордж так благороден, что может общаться только с очень благородными людьми. Он просто не поймёт моего бедного Польди и слишком строго осудит его».

Вообще, со времени появления брата, она почти не виделась с кузенком – и не только потому, что была нужна Леопольду, а потому что сама не очень-то хотела с ним встречаться.

Почти бессознательно она ощущала, что ему недостаёт сострадания и что его громогласное, холодное добродушие никогда не признает и не оправдает такой её любви к брату. Была тому и ещё одна причина: помня о том, как Джордж однажды высказался о преступниках, она боялась даже поднять на него глаза, чтобы его пронизательный, испытующий, безжалостный взгляд не прочёл в её душе, что она сестра убийцы.

Однако к тому времени в тучах, окружавших её и Леопольда, появился слабый проблеск света: она начала сомневаться в том, что он

действительно совершил то преступление, в котором обвинял себя. Кроме дяди никто даже не побеспокоился узнать о том, почему он исчез из Кембриджа; впрочем, внезапный приступ лихорадки мозга был тому более чем достаточным объяснением. В том, что убийство действительно произошло, газеты не оставили ей ни малейших сомнений: но, может быть, связь Леопольда с убитой девушкой, ужас от её гибели, коварно подступившая болезнь и влияние ненавистного опиума вместе вызвали у него галлюцинацию преступления? Наконец она почти уверилась в правильности своих предположений из-за того, что, выздоравливая, Леопольд и сам начал время от времени сомневаться, не было ли его чувство вины всего лишь плодом снов и видений, терзавших его во время болезни, прекрасно зная, что эти видения уже давно стали для него куда более реальными, чем большинство людей и событий. Наверное, его воспоминания были столь путанными и неясными ещё и из-за того, что в самом начале лихорадки Леопольд оставался под воздействием того самого наркотика, который владел им в минуту преступления.

За неделю эта надежда почти переросла в убежденность, и в результате Хелен не только нашла в себе силы встретиться с Джорджем Баскомом, но уже не испытывала прежней неприязни при мысли о такой встрече (хотя её намерение не пускать кузена к брату не изменилось ни на йоту). Потому в следующую субботу, когда Джордж, по своему обыкновению, явился, чтобы провести с ними выходные, она послушалась тётушку и согласилась проехать вместе с ним верхом – но только вечером, когда с Леопольдом сможет посидеть сама миссис Рамшорн (которая, надо сказать, относилась к мальчику с большой и искренней добротой). Они пообедали раньше обычного, и Хелен немедленно поднялась к брату, не желая оставлять его ни на минуту, пока тётушка не придёт её сменить.

Позже они вместе поужинали, и Леопольд был необыкновенно спокоен. Просто удивительно, как быстро человеческий рассудок, в своём стремлении к покою, примиряется с присутствием даже самых гнетущих мыслей! Однако Хелен принимала это спокойствие за невинность, не зная, что чувства не могут служить ни доказательством, ни мерилom вины. Чем лучше человек, тем оглушительнее вопит его

совесть при малейшем появлении греха, а самые отъявленные преступники нередко идут по жизни, не беспокоясь ни о чём.

Хелен тоже успокоилась и даже немного забылась, смотря на брата, который время от времени обращал на неё любящий и благодарный взгляд, до глубины трогавший ей сердце. Только услышав лошадей, выходящих из конюшни, она поднялась, чтобы пойти переодеться.

– Я ненадолго, Польди. – сказала она.

– Не забывай про меня, Хелен, – отозвался он. – Если ты забудешь обо мне, обо мне сразу вспомнит враг.

Его любовь утешила её и ещё сильнее укрепила её веру в его невиновность. Именно в таком настроении робкого, неуверенного но радостного полупокоя – как сильно оно отличалось от её прежнего безжизненного, деревянного спокойствия! – она вышла навстречу своему кузену. Секунда, и он подсадил её в седло, сам вскочил на коня и поехал рядом с нею.

Глава 33. Прогулка

Как только они выехали на улицу, направляясь к воротам в парк, их встретил мягкий западный ветерок, словно поднимающийся из глубины золотой вазы, наполненной розами. Что-то – то ли в вечернем воздухе, то ли в его собственной душе – заставило Джорджа Баскома на какое-то время замолчать (хотя, может быть, он просто तोпились выкурить сигару, потому что Хелен попросила поскорее докурить её до конца). Хелен тоже молчала: ей казалось, что они едут прямо в сердце низкого багрового солнца, и ровный поток его властного сияния без остатка изгладил её с лица земли. Ни один из них не произнёс ни слова, пока они не миновали ворота парка.

Стоял безупречный английский летний вечер, тёплый, но не душный. Пока они неспешно ехали по дороге, солнце опустилось, и тут, словно алеющий уголь скатился в хранилище небесных боеприпасов красок и света, над горизонтом вспыхнул медленный взрыв пурпурного, зелёного и золотого ликования – чистый огонь, без дыма и горючего, в котором осталось лишь лучистое сияние. Для Хелен это был второй урок посвящения в жизнь природы: она почувствовала, что весь вечер вокруг погружён в какую-то думу, и по мере того, как сумерки становились гуще и приближалась ночь, ей казалось, что мир темнеет от своих размышлений. Последнее время Хелен и сама поневоле начала думать, пусть не очень глубоко, но зато напряжённо, и знала, как это бывает, и потому в сумерках чувствовала себя как дома.

Они свернули с дороги на траву. Лошади вскинули голову и, не чувствуя сдерживающей руки седоков, пустились в хороший, drobный галоп по открытому луку. В лицо Хелен подул ветер, прохладный, сильный и добрый. Её показалось, что он изливается из какого-то вышнего источника и, пробегая по невидимому, безбрежному руслу через океан недвижимого воздуха, несёт ей неясное обещание, почти предвидение покоя. Однако это лишь пробудило в ней тоску и желание – непонятно чего, но чего-то такого, что утолит тоску, разбуженную в ней ветром. Желание росло и расширялось, расходясь всё дальше и дальше в бесконечность покоя. И пока они продолжали нестись галопом, а обезумевшие от света оттенки, истлевая, превращались в дымно-розовый, золотисто-зелёный и сине-серый, что-то поднималось и поднималось в её душе, щемило и щемило ей сердце, пока по её щекам не потекли слёзы. Не желая показывать их Баскому, она прищпорила лошадь и унеслась от него прочь в приветливые сумерки, похожие на ступени, ведущие из времени в вечность.

Неожиданно она увидела перед собой деревья, окружающие брошенный особняк: сама того не зная, она описала огромный круг. Резкая боль ударила ей в сердце, и слёзы её сразу высохли. Помимо всего прочего ночь, молчаливая от раздумий, хранила в душе и это! Она натянула поводья, остановилась и развернулась, дожидаясь Баскома.

– Ай да Хелен! Ну и дали вы мне жару! Устроили настоящую погоню!

– Погоню? За несбыточной мечтой?

– Да разве я мог надеяться догнать вас на этом дряхлом Россинанте?

– Ну же, не обижайте его, Джордж: он уже старенький. Лучшая пора для него позади. Жаль, что у нас нет для вас коня получше – разве что я дала бы вам свою Фанни, а сама поехала бы на вашем. Я к нему привыкла.

– Дама всегда должна ехать на лучшей лошади, – сдержанно возразил Джордж. – Мне лично так нравится больше. По крайней мере, не нужно беспокоиться о том, чтобы спутница не заскучала: если ей станет скучно, она всегда может от меня удрать.

– Неужели вы думаете, что я сочла вас скучным? Да ни у одной дамы ещё не было столь милого и молчаливого оруженосца.

– Значит, вам наскучило моё молчание? Рассказать вам, о чём я задумался?

– Если хотите. Я думала о том, как приятно будет вот так скакать и скакать, прямо в вечность.

– Это ощущение непрерывности, – откликнулся Джордж, – доказывает, насколько безболезненным будет наш уход. Ни один человек не осознаёт, что его существование прекратилось, потому что тогда его уже нет. Как раз из-за этого некоторые и начинают воображать, что будут жить вечно. Только знаете, что хуже всего? Стоит им всё это вообразить, как вечное существование начинает казаться им не только вполне вероятным, но и несказанно желанным и радостным. А всё потому, что человек не осознаёт, что его ожидает конец. Когда ему хорошо, жизнь кажется бесконечной. Пока ребёнок ест, он никогда не отвернётся от одной тарелки к другой. Он просит ещё – а не чего-то другого.

– Если, конечно, еда ему нравится, – сказала Хелен.

– Она всем нравится, – ответил Джордж. – Более или менее.

– Ну не знаю, можно ли говорить о всех, – ответила Хелен. – Вы что же, думаете, что эта горбатая карлица, которая отперла нам ворота, довольна своей судьбой?

– Нет, это невозможно! – пока она видит вас и остаётся такой, какая есть. Но я говорю не о довольстве. Я думал лишь о тех глупцах, которые несмотря на то, довольны они жизнью или нет, стремятся жить вечно и потому, недолго думая, принимают это желание за бессмертие, утверждая, что это оно изначально свойственно человеческому сердцу и доказывает, что бессмертие – его законный удел.

– Как же тогда объяснить само существование этой мысли о бессмертии и её универсальность? – спросила Хелен, которая за последнее время обнаружила кое-какие доводы в пользу противоположного мнения. Несмотря на всё безразличие её тона, ей показалось, будто после дивного сна, в котором она вдосталь наплавалась в чудеснейшей реке, она проснулась и увидела, что на самом деле её постель просто сползла с кровати на пол: этим Джордж объяснял все реки и всё купание на свете!

– Как я объясняю её существование, я вам только что изложил, а что до её универсальности, то я её просто отрицаю! Она не является универсальной хотя бы потому, что её не разделяю я.

– Вы же не станете отрицать, что люди не хотят умирать, даже когда им плохо.

– Что угодно, абсолютно всё может стать неприятным, если случается не вовремя. Справедливости ради, я готов признать, что думать о смерти всегда неприятно. Но почему? Потому, что в тот самый момент, когда мы думаем о смерти, мысль о ней всегда изымается из того времени, которое для неё назначено – то есть, из положенного ей срока, когда она всё равно должна наступить, – и переносится в самую гущу живого настоящего, где она, конечно же, неуместна. Живым смерть всегда кажется гадкой. В суете и стремительности работы даже пещера отшельника будет нам отвратительна, какой бы пленительный вид ни открывался с её порога! Но когда смерть всё-таки настанет, она будет вполне приятна, потому что вместе с ней настанет и её час: утасание и постепенный отход от дел подготовят к ней человека. Если кто-то скажет мне, что в нём живёт то самое всегдашнее стремление к бессмертию, о котором сам я знаю лишь понаслышке, я объясню это так: ваша жизнь, скажу я ему, ещё не завершена, она продолжает расти. Она ощущает в себе побуждение к дальнейшему росту,

но не способна постичь собственной незавершённости и потому толкует это побуждение так, будто оно свойственно объективной временной реальности, а не её собственной внутренней природе. Или, вернее, человек ощущает в себе элементы чего-то большего, но, будучи неспособным увидеть и представить себе законченную картину своего существа (которая неимоверно от него далека) переносит ощущение роста во внешнюю сферу, одновременно переводя его в инстинкт продолжительности, в стремление к тому, что он называет вечной жизнью. Но когда человек достигает своей завершённости, наступает угасание, приносящее с собой своё чувство удовлетворения и принятия – как и смерть, если она приходит в должное время полноты и зрелости.

Хелен ничего не ответила. Она считала кузена очень умным, но не могла радоваться тому, что он говорил, особенно перед лицом вечернего неба и ещё дрожащего в её душе отблеска проснувшихся в ней чувств. Может, он и прав, но, по крайней мере, сейчас, ей больше не хотелось слушать ничего подобного. На минуту ей даже показалось, что лучше лелеять в сердце сладкий обман – чтобы тот миг, когда человек извечного Ткача протягивает нить её жизни, был не таким тягостным – вместо того, чтобы впустить в душу холодную правду, убивающую наповал.

Конечно, это было недостойное чувство. Лучше всегда знать правду и обо всём – даже о фактах! Но отрицание того, чего мы не можем доказать, не поможет нам достать и лопаты снега для нашего ледяного дворца. Что если та горячая надежда, которую мы отрицаем, в конце концов действительно окажется истиной? Что если именно истина, заключавшаяся в этой надежде, влекла душу Хелен своей живой реальностью, своей связью с самим её существом даже в то время, как она была готова стать объектом презрения за то, что соблазнилась сладкой ложью? Горе нам всем, если жизнь и истина не пребывают в единстве, но сражаются друг с другом как враги! По-моему, человек сам свидетельствует о своей сверхъестественной природе, если, отрицая сверхъестественное, всё-таки прилепляется к тому, что считает истиной, даже если эта его истина отрицает жизнь и безжалостно стирает со всех карт путь к лучшей и высшей доле!

– А о чём думали вы, Джордж? – спросила Хелен, не прочь смелить тему.

– Я думал.... О чём же я думал?.. Ах, да! Я думал об одном интересном убийстве. Вы, должно быть, читали о нём в газетах. Я уже давно подумываю, что, пожалуй, мне следовало бы стать не адвокатом, а сыщиком! Такой загадочный случай – не могу выбросить его из головы. Вы наверняка про него слышали. Помните, та девушка в бальном платье, которую нашли посреди рощи, убитую ударом кинжала прямо в сердце?

– Да, что-то такое я припоминаю, – отозвалась Хелен, изо всех сил стараясь говорить как можно естественнее и полагаясь лишь на то, что в темноте кузен почти не видит её лица. – Так что, убийцу так и не нашли?

– В этом-то всё и дело. Он исчез, не оставив и следа. Им даже подозревать некого!

Хелен глубоко вздохнула.

– Ну, произойди это, скажем, в Риме, всё было бы понятно, – продолжал Джордж. – Но в тихом английском поместье... Просто невероятно! И всё так мастерски сделано: ни единого следа борьбы, один единственный удар в сердце, убийца исчезает, словно по волшебству, оружия никакого нет – да и вообще нет ни единой улики! Такое чувство, будто работала опытный убийца. Но почему он выбрал себе такую жертву? Убей он какого-нибудь проштрафившегося члена тайного общества, всё было бы понятно. Но юная девочка, веселящаяся на балу? Право, это странно! Хотелось бы мне попытаться всё это распутать!

– А что, родственники так ничего и не сделали? – спросила Хелен с судорожным вздохом, который она попыталась скрыть, притворившись, что поправляет амазонку.

– Да нет, они, конечно же, сделали всё, что могли. Как только обнаружили тело, полиция тут же кинулась вдогонку за преступником, но, по видимому, они пустились по ложному следу – а может, там и следа-то никакого не было. Тамошний караульный сказал, что ночью, а вернее, утром того же дня, он подходил по берегу к небольшой бухте, примерно в миле от дома, где произошла трагедия, и увидел двух рыбаков, которые, видимо, собрались отплыть. Вдруг откуда

ни возмись с верхнего пастбища по склону сбежал третий и вскочил к ним прямо на корму. Когда караульный подошёл к берегу, они уже были далеко и подняли паруса. Луна была почти полная, так что света было достаточно, чтобы он всё это разглядел. Но когда это дело начали расследовать, и лодка, и люди как сквозь землю провалились. Наутро все лодки были на месте, и никто из местных рыбаков так и не сознался, что ночью выходил в море. Все следы на песке – и от киля лодки, и от человеческих ног – уже смыло прибоем. Все решили, что убийство было спланировано давно, и преступник всё как следует продумал и успешно скрылся, скорее всего, в Голландию. Ну, понятно, тут же разослали телеграммы, куда могли, но охрана на противоположном берегу ничего подозрительного не обнаружила. Этим всё и кончилось, а если не кончилось, то, по крайней мере, дело застопорилось и уже несколько недель не продвигается ни на шаг. Причём ни у родителей, ни у родственников, ни у друзей – ни малейшего подозрения о том, кто бы это мог быть.

– А почему её убили, кто-нибудь знает? – спросила Хелен, с радостью чувствуя, что притворяться ей становится всё легче.

– Ну, разговоров-то много. Говорят, она была красавица, самого любезного обхождения, и, конечно же, обожала, чтобы за ней ухаживали. Так что все догадки сводятся к ревности. Скорее всего, у неё был какой-нибудь низкородный кавалер, о котором не знали ни родители, ни друзья. По-моему, они и сами это подозревают: иначе почему поиски убийцы ведутся с такой прохладцей? Нет, я и правда не прочь взять это расследование в свои руки.

«Нам нужно поскорее услать его куда-нибудь подальше», – подумала Хелен.

– По-моему, полицейская работа недостойна ваших талантов, Джордж, – сказала она. – Я сама ни за что не стала бы выслеживать какого-нибудь беднягу!

– Общество требует, чтобы его члены жертвовали личным выбором ради общего блага, – возразил Баском. – Когда суд вешает очередного убийцу, или, ещё лучше, приговаривает его к пожизненному заключению, всем нам от этого лучше.

Хелен больше ничего не сказала и вскоре повернула домой под предлогом, что ей нельзя надолго оставлять больного брата.

Часть II



Глава 1. Рейчел и её дядя

Когда они снова подъехали к сторожке привратника, было почти темно. Рейчел открыла им ворота, и они, даже не сказав спасибо, выехали из парка. Рейчел сквозь сумерки посмотрела им вслед, а потом со вздохом повернулась и пошла на кухню, где её дядя сидел у очага с книгой.

– Как бы мне хотелось быть так же хорошо сложенной, как мисс Лингард! – сказала она, усаживаясь возле лампы, стоящей на сосновом столе. – Как это, должно быть, чудесно – быть крепкой и высокой, свободно смотреть в одну сторону и в другую, не поворачивая с головой всё тело. Как это, должно быть, славно – сидеть верхом, как она! Видел бы ты, дядя, как она ветром мчалась по парку! Можно было подумать, что они с конём одно... Ах, как же я всё-таки ей завидую!

– Нет, девочка; я знаю тебя лучше, чем ты сама. Одно дело говорить: «Ну почему я не такая?», и совсем другое: «Как бы мне хотелось!..» Эти слова так же разнятся между собой, как ропот и молитва. Быть довольным вовсе не значит не желать ничего лучшего. Разве можно довольствоваться несовершенством? Божья воля в том, чтобы мы терпеливо сносили его и были довольны, уповая на искупление тела. И потом, мы знаем, что у Него есть послушный слуга, который однажды сделает нас свободными.

– Да, дядя, я всё понимаю. Ты же знаешь, я радуюсь жизни; да и может ли быть иначе, когда ты со мной? Но каждый раз, когда я иду через кладбище, во мне поднимается какое-то торжество. «Вот увидишь, – порой говорю я жалкой, безобразной тени, которая ползёт подле меня вдоль могил, – скоро тебя поймают и запрут!..» Только вдруг в будущем мире мне снова придётся быть горбатой? Иногда я даже немного беспокоюсь. Вдруг это для чего-то понадобится?

– Тогда вместе с горбом тебе будет дано терпение, чтобы вынести его и там; в этом можешь не сомневаться. Но я не боюсь. Куда вероятнее, что горбатыми в будущем мире будут те, кто не возблагодарил Бога, но кичился своей красотой. Как в притче про богача и Лазаря. Но и для них, как для нас, Бог делает только самое лучшее. Однажды

мы увидим, что красота и богатство были более всего нужны тем, кому они были даны, как нам с тобой нужнее всего были уродство и нищета.

– Интересно, какой я была бы без горба! – смеясь проговорила Рейчел.

– Вряд ли ты была бы столь же дорога своему горбатому дяде, – отозвался её товарищ по уродству.

– Тогда хорошо, что я такая, как есть! – воскликнула она.

– Когда я думаю о том, что мы с тобой не такие, как все, – заговорил Полварт после задумчивого молчания, – во мне подымается благоговение. Это единственное, что в человечестве напоминает мне отдельность, непохожесть Самого Бога. Порой уродство пугает меня, словно оно чужое, словно оно ограничивает меня и врывается в моё существование, как извержение вулкана в синее сицилийское небо... В такие минуты моё единственное утешение – вознести его Тому, Кто не погнушался сотворить его. «Господи, – говорю я, – это не моё, а Твоё; так позаботься же о нём. У меня есть Ты, Отец Иисуса Христа, и Твоя вечность».

Он прикрыл глаза рукой, губы его побелели и задрожали. Мысль перетекала в молитву, и оба они какое-то время молчали. Рейчел заговорила первой.

– По-моему, я поняла тебя, дядя, – сказала она. – Я не против быть Божьей карлицей. Но мне хотелось бы быть сотворённой по Его образу и подобию – а разве Его образ может быть таким? Как я хочу, чтобы меня сотворили заново!

– И если спасающая нас надежда не тщетна, если апостол Павел не обманывался блистательными мечтаниями собственного воображения, так оно и будет, дитя моё!.. Но давай позабудем на время наши жалкие тела. Давай поднимемся ко мне, и я прочту тебе то, что сложилось у меня сегодня утром, когда я бродил по парку.

– Может, лучше дождаться мистера Уингфолда? Мне кажется, он непременно придёт. Ведь ещё не поздно. Он всегда заглядывает к нам по субботам, когда возвращается с прогулки. Может, пусть и он тоже послушает? Я знаю, ему будет полезно.

– Да я бы с удовольствием. Только, по-моему, мои стихи будут ему не по душе. Слишком они неумелые. Он же воспитан на Горации,

и, боюсь, считает, что настоящая поэзия должна быть отточенной и лаконичной.

– Мне кажется, ты ошибаешься, дядя. Я слышала, как хорошо он говорит о поэзии.

– Ты уж прости меня, Рейчел, если я не решаюсь читать свои убогие вирши кому-то кроме тебя. Я вложил в них столько сердца, да и предмет их столь сокровенный...

– Жаль, что ты считаешь свой жемчуг слишком дорогим, чтобы бросать его перед мистером Уингфолдом, – проговорила Рейчел, и в её голосе прозвучала нотка недовольного разочарования.

– Нет, нет, что ты, – возразил Полварт. – Ну как ты можешь так говорить! Просто на них столько грубой, грязной шелухи, что показать их – значит оскорбить кроющуюся в них истину.

Рейчел почти всегда каялась сразу. Она медленно подошла к дяде, стоявшему у лестницы с лампой в руке, молча глядя на него глазами, полными небесного раскаяния. Приблизившись, она опустилась на колени и поцеловала его опущенную руку. Природная вспыльчивость была главной её бедой и доставляла ей немало огорчений.

Полварт наклонился, поцеловал её в лоб, поднял с колен, подвёл к лестнице и посторонился, чтобы дать ей пройти. Но Рейчел с детства отказывалась идти первой, если в чём-то провинилась, и теперь тоже отступила назад. С понимающей улыбкой он покорился и пошёл вверх первым. Однако буквально через мгновение Рейчел услышала шаги Уингфолда и снова поспешила вниз, чтобы открыть ему дверь.

Глава 2. Сон Полварта

Вслед за Рейчел Уингфорд поднялся в комнату её дяди, и вскоре, то ли случайно, то ли благодаря её сознательным усилиям, разговор принял такой оборот, что Полварт сам предложил Уингфорду послушать его стихи. Он вынул из ящика стола исписанный и исчерканный лист бумаги и прочёл то, что было на нём написано. И пусть голос его был далеко не самым мелодичным, даже хрипяая резкость и слабость не могли скрыть в нём некую утончённость, присущую духовной восприимчивости.

*Услышь мой вопль, Господь. Я весь пустой
Как зеркало, что Ты Своей рукой
Очистил, и оно в глуби стальной
Всего лишь отражает свет дневной.
Не приказать мне солнечным лучам:
«Светите здесь» или: «Играйте там».
Не сотворить мне даже бабочки простой
И не свои слова я здесь пишу с тоской.
Задуматься хочу – но даже тут
Я только жду, не зная точно сам,
Какие думы в голове моей растут,
Пока им в слове выхода не дам.
Какие мысли в будущие дни
Найдут себе приют в душе моей,
Не знаю. Я – лишь дверь, куда они
Заходят, чтобы выйти в мир людей.
Нет, я не мыслю сам, а лишь стою
У родника всех мыслей, на краю.
Из родника вода течёт рекой –
Я только зачерпнул её рукой.
Мыслитель – Ты один, я – мысль Твоя,
И мысль мою Ты мыслишь, и меня.*

Источник – Ты, я – лишь сосуд живой,
 Наполненный Твоей живой водой.
 Ты – всё во всём, мерило полноты.
 Но стоит мне воззвать к Тебе, как Ты
 Мне отвечаешь, щедрость возлюбя,
 И в полноте Твоей купаюсь я.
 Альтернативный конец:
 Ты – всё во всём, мерило полноты.
 Но стоит мне воззвать к Тебе, как Ты
 Мне отвечаешь, и в отраде дней
 Я причащаюсь к полноте Твоей.

Пока он читал, Рейчел подобралась к его креслу, присела рядом и положила голову ему на колено. Даже если все мы лишь могильки-однодневки, всё равно мимолётные радости этой жалкой парочки были не только благороднее по сути, но и куда приятнее для души, чем мимолётные радости молодого Геракла-Баскома, несмотря на все прелести Хелен, лошадей и всего прочего! О бедной Хелен я даже не могу ничего сказать, ибо у неё и вовсе не было радости, кроме одной и воистину высокой (хоть пока и нераскрывшейся) радости сестринской любви.

Правда, если факты жизни таковы, какими рисовал их Джордж Баском – и если он действительно способен это доказать, – нам, конечно, следует научиться принимать их, несмотря на всю их безнадежность. Однако на свете есть истины, которые должны быть фактами, и пока нам не докажут, что Бога нет, некоторые из нас будут и дальше ощупью искать Его в надежде, что нам посчастливится найти Его, а в Нём – те истины, которые нам так хочется видеть истинными. Возможно, кому-то из нас кажется, что мы уже узрели

Его издалека, но от этого мы только лучше осознаём, что с таким настроением, как у Баскома и ему подобных, Бога отыскать просто невозможно – и это, несомненно, показалось бы им утешением, если бы не вызывало у них смеха. И потом, если Бог такой, каким, по их мнению, воображаем Его мы, им **ДЕЙСТВИТЕЛЬНО** лучше обойтись без Него. Но если, напротив, Он таков, каким некоторые из нас видят

Его на самом деле, то, возможно, даже их отказ искать Его не помешает им Его найти.

Благодаря схожести их натур, общности чувств, постоянному общению и безраздельному доверию, даже с первого прочтения Рейчел поняла стихи своего дяди достаточно для того, чтобы уже сейчас ощутить их силу, а потом не торопясь последовать за их мыслью в самые дальние её пределы. Но Уингфорд, чья склонность к правдивости, наконец-то, расцвела в честность поступков, после недолгого общего молчания произнёс:

– Знаете, мистер Полварт, во всём, что касается поэзии, я просто туп, как пробка. А воспринимать стихи на слух я вообще не умею, и потому не понял и половины из того, что вы прочли. Я никогда не изучал английскую поэзию, и вообще поэтическая часть моей натуры давно и основательно запущена. Может, вы разрешите мне взять эти стихи домой?

– Сейчас не могу: тут всё так исчеркано, что вы ничего не разберёте. Но я перепишу их для вас.

– Может, тогда завтра? Вы придёте в церковь?

– А вот это зависит от вас. Как вам лучше, чтобы я пришёл или нет?

– Мне в тысячу раз лучше, – ответил священник, – видеть там хотя бы одного человека, который понимает меня, даже если я не могу как следует выразить свои мысли, чем обрести ещё одну душу и в пять раз больше смелости... Но сегодня я пришёл, главным образом, чтобы кое о чём у вас спросить. Я уже целую неделю бьюсь над тем, что мне следует думать о Библии, о её богодухновенности. Как по-вашему: что я должен об этом говорить?

– Ну, это два разных вопроса. Зачем думать о том, что говорить, если сказать пока нечего? Однако что касается вас самого, позвольте мне спросить: разве эта книга уже сейчас не стала для вас самым лучшим средством духовного воспитания и становления, какое вы только знаете? И если да, то, может быть, пока этого хватит? Нам нужно познавать Иисуса Христа и читать Библию именно с этой целью, а не ради теорий или догматов... Позвольте я расскажу вам один странный сон, приснившийся мне пару лет назад.

Лицо Рейчел засветилось радостью. Она встала, принесла маленькую табуреточку и, поставив её возле самого дядиноного кресла, уселась у его ног и, опустив глаза, приготовилась слушать.

– Примерно два года назад, – начал Полварт, – один друг прислал мне английский Новый Завет в издании Таушница, где внизу каждой страницы даётся перевод разночтений трёх самых древних рукописей Писания. Это издание было задумано, главным образом, для того, чтобы сопоставить все до сих пор известные манускрипты с Синайским манускриптом, самым древним из всех и названным так потому, что Тишендорф²⁷ нашёл его (за несколько лет до того) в монастыре на горе Синай – да, не где-нибудь, а именно там! Получив его, я испытал такой безумный восторг, что у меня тут же начался приступ астмы, и я целую неделю едва мог открыть своё новое сокровище, но всё время, пока оставался в постели, держал его под подушкой. Когда же я начал его читать, удивительнее всего было то, что различия между только что найденной рукописью и уже известными нам манускриптами были весьма редкими и незначительными. Однако некоторые из них всё-таки вызвали у меня интерес, в котором крылось нечто большее простого любопытства – особенно когда я не нашёл в Синайском манускрипте одного слова, которое уже давно беспокоило меня: мне всегда казалось, что оно никак не могло быть словом нашего Господа, потому что никак не соглашалось с Его учением. Не знаю, велись по этому поводу споры или нет...

– И что это было за слово? – с живым любопытством перебил его Уингфорд.

– Я вам не скажу, – ответил Полварт. – Если вас оно не беспокоит, вы только удивитесь, почему оно так беспокоило меня. Пока же довольно будет сказать, что я немедленно отыскал в своём новеньком Новом Завете те места, где это слово употребляется в двух известных нам до сих пор рукописях Евангелия. Вообразите мою радость, когда я обнаружил, что в двух самых древних манускриптах одного из Евангелий этого отрывка и вовсе нет, а во втором Евангелии (в этих же

27 Константин фон Тишендорф (1815-1874) - немецкий протоиерей, богослов, путешествовавший с целью поиска древних рукописей. Синайский кодекс был найден им в 1859 году, привезён в Петербург и впоследствии преподнесён Александру II, за что Тишендорфу было пожаловано потомственное русское дворянство.

самых манускриптах) нет того слова, которое меня тревожило. Не думайте, что я настолько глуп, чтобы определять верность манускрипта по его древности. Но, несмотря на это вы, должно быть, сразу поймёте, какую свободу и лёгкость я почувствовал благодаря этому открытию!.. А говорю я всё это потому, что это маленькое происшествие одновременно и навеяло тот сон, о котором я собираюсь вам рассказать, и ещё ярче показало его истинность. Только вы не думайте, что я верю снам более, чем иным источникам умственных впечатлений. Если во сне нам открывается тот или иной принцип, именно этот принцип и является откровением, а сам сон ценен не более, – но и не менее! – чем обычная мысль, открывшая нам ту же истину во время бодрствования. Откровение – это понятая нами истина. Я не отрицаю, что во время сна люди иногда узнают те или иные факты, но ни за что не стал бы называть откровением сообщение простого факта. Этого имени достойна только истина, которую душа признаёт таковой. Правда, иногда откровения даются нам и через факты тоже.

Как бы то ни было, тогдашний сон был явно навеян моими дневными мыслями. Помню, как перед сном я думал: «На той самой горе Синай, которая когда-то горела священным огнём и содрогалась громом от зримого Присутствия, но теперь угасла, одряхла и окуталась туманами легенд и сомнений, люди нашли самое древнее и потому самое почитаемое писание о пришествии того Нового, что лишило эту гору былой власти и заставило замолчать громогласного детоводителя-закона! А вдруг и сейчас, в каком-нибудь старинном монастыре, столь же неинтересном для путешественников, каким был бы для них нынешний Назарет, не произойди в нём та древняя история, хранится один из подлинных манускриптов Евангелия, верных и неискажённых, вышедших из-под пера самих евангелистов?..» «О благословенный пергамент! – думал я. – Если бы человеческие очи могли узреть тебя! Если бы можно было прикоснуться к тебе устами!..» – и при мысли о таком сокровище сердце моё переполнялось счастьем, словно сердце влюблённого... Ну, как вы знаете, у меня не тело, а живой гроб, – продолжал карлик, похлопывая себя по куриной груди, – а в нём сидит целая шарманка, в которой то и дело что-то ломается. По-этому сплю

я плохо, и сны мои вторят вечерним мыслям чаще, чем у других людей. В ту ночь я увидел вот что.

Мне снилось, что я в пустыне. Не знаю, день это был или ночь. Я не видел ни солнца, ни луны, ни звёзд. Над землёй висело облако, тяжёлое, но словно пронизанное неясным свечением. Сердце моё бешено колотилось, потому что я шёл к старинному арминнианскому монастырю, где надеялся отыскать подлинник четвёртого Евангелия, написанный рукой апостола Иоанна (во сне мне и в голову не пришло, что на самом деле старик-апостол писал его не сам). Я шёл долго и медленно, но не чувствовал усталости, и со временем на ровной линии горизонта показалась резкая зазубрина, словно скала посреди пустынной равнины. Это и был монастырь. До него было ещё много миль, и по мере того, как я продолжал идти, он становился всё больше и больше, покуда не вздыбился передо мной огромным холмом, закрывшим небо. Наконец я добрался до его низкой, широкой стены и увидел окованную железом дверь. Она была открыта настежь. Я шагнул внутрь, пересёк двор, отыскал дверь в сам монастырь и вошёл. Все двери, попадавшиеся мне на пути, были открыты, навстречу мне не вышел ни один священник или служка, вокруг не было ни души, так что вскоре я и вовсе перестал искать людей, думая лишь о том, как проникнуть в самое сердце монастыря, потому что почти не сомневался, что именно там, в его глубинных тайниках, покоится вожаемое сокровище.

И вот передо мной оказалась дверь, прячущаяся за богато разукрашенной завесой, разорванной пополам сверху донизу. Я раздвинул руками ткань, шагнул внутрь и очутился в каменной келье. В ней стоял стол, а на столе лежала закрытая книга. Ах, как лихорадочно забилося моё сердце! Ещё ни разу ни одна вещь не казалась мне столь безмерно драгоценной! Столько страхов и сомнений навеки развеются благодаря этой дивной, чудной, невыразимо дорогой книге! С какой нежностью мои глаза будут ласкать каждую чёрточку каждой буквы, выписанной рукой любимого Христова ученика! Почти восемнадцать столетий спустя – и вот, это Евангелие здесь, лежит передо мной! Значит, на свете действительно был человек, который сам слышал все эти слова с уст Господа и собственноручно их записал! Я не мог

пошевелиться; душа моя словно витала над заветными страницами, а тело застыло соляным столпом, забывшись в едином страстном взоре.

Наконец, почувствовав внезапное дерзновение, я шагнул к столу и, благоговейно склонившись над книгой, протянул к ней руку. Но вдруг с другой стороны на неё легла другая рука – старческая, переплетённая синими венами, но крепкая и сильная. Я поднял глаза. Передо мной стоял любимый ученик Христа. Его лицо было подобно зеркалу, в котором сияло отражение лика его Учителя. Он медленно взял в руки книгу и отвернулся. Только тут я заметил, что позади него возвышается нечто вроде жертвенника с разведённым на нём огнём, и сердце моё пронзило дикое отчаяние, ибо я знал, что он собирается сделать. Он положил книгу поверх пылающих поленьев и с улыбкой смотрел, как она усыхает и съёживается, медленно превращаясь в пепел. Затем он обернулся ко мне, взглянул на меня глазами, сиявшими безоблачным покоем небес, и сказал: «Сын человеческий, Слово Божье живёт и пребывает вовеки не на страницах книги, но в сердце того, кто повинуется Ему в любви». Тут я и проснулся, захлёбываясь от рыданий. Но этот сон преподал мне важный урок.

В комнате воцарилось глубокое молчание.

– По моему, я тоже кое-чему научился, – сказал наконец Уингфорд.

Он встал, попрощался и, ни говоря больше ни слова, отправился домой.

Глава 3. Ещё одна проповедь

Людам, которые начинают всерьёз стремиться к праведности, нередко кажется, что всё и все вокруг, словно сговорившись, принимают ся ставить палки им в колёса. Конечно, это всего лишь видимость, возникающая отчасти из-за того, что пилигрима часто приходится возвращать на главную дорогу из случайных переулков, в которые он то и дело забредает. Однако Уингфолду наоборот казалось, что всё вокруг лишь ещё больше помогает ему в его устремлениях – что неудивительно, если вспомнить, что его искания были не периодическими приступами покаянного рвения, но усилием всей его души. И потом, иногда люди, впервые начавшие искать Божье Царство, бывают к нему ближе, чем те, кто уже много лет считает себя его гражданами. Первые обретают ум Христов, и когда Он зовёт их, тут же узнают Его голос и следуют за Ним. Вторые же, осмотрев Его с головы до пят, заключают, что Он недостаточно похож на то, каким они представляли себе Иисуса, отворачиваются и отправляются в церковь, на собрание или в келью, чтобы преклонить колени перед расплывчатым образом, сложенным из преданий и вымыслов. Но первые будут последними, а последние первыми, и есть среди нас такие, у которых отнимется всё, что они имеют, будь то медный грош, или целое состояние, потому что у них оно просто лежит без всякой пользы.

Уингфолд вскоре обнаружил, что его внутреннее существо всколыхнулось до таких глубин, о которых он даже не подозревал. До сих пор ничто не побуждало его к настоящему делу: его детство и юность были не слишком счастливыми, жизнь текла неинтересно, работа была ему не по душе, сам по себе заработок удовлетворения не приносил, а все его радости были довольно холодного и заурядного интеллектуального толка. До сих пор он безвольно влачил по течению, и единственным, что поддерживало в нём жизнь (хотя сам он этого не чувствовал) было зерно медленно созревающей честности. Но теперь, когда Совесть заняла место его неотлучного фельдъегеря, а Воля взяла поводья в свои руки, все его умственные способности заиграли с полной силой, прекрасно уживаясь в одной упряжке, и летели

вперёд с бодро вскинутыми головами и натянутыми постромками. Воображение со своим крапчатым псом Фантазией всегда мчалось далеко впереди, но никогда не удалялось настолько, чтобы не слышать фельдгегерского рога. И куда бы они ни направлялись, на горизонте его вопрошающего удивления возникали самые разные вещи и предметы, совершенно не интересовавшие его раньше, постепенно обретая цвет и форму в рассветных лучах человеческого родства.

Уже по первой проповеди Уингфорда было заметно, что у него начали появляться собственные мысли – а это сильно отличается от радушного приёма чужих рассуждений, как бы сытно мы их ни кормили и с каким бы удобством ни размещали на ночлег. Эти мысли искали не входа, а выхода, стремясь поскорее обрести форму, чтобы выйти из сферы бесконечного и, воплотившись, явиться другим.

Слухи о необычной проповеди, конечно же, облетели весь город, и в следующее воскресенье церковь была набита битком. Народу собралось вдвое больше, чем обычно: пришли и те, кто бывал там редко, и те, кто вообще никуда не ходил, и прихожане других собраний и общин, большей частью для того, чтобы своими глазами увидеть, какое чудачество странный молодой священник выкинет на этот раз. Однако некоторые явились из участливого интереса: посмотреть, к чему приведёт его новое призвание – если, конечно, это действительно призвание.

Вторая проповедь была того же толка, что и первая. Не зачитав прихожанам никакого библейского текста, Уингфорд сразу же начал говорить:

– Друзья мои, та церковь, где вы сейчас сидите, и та кафедра, на которой я стою, издревле существуют во имя христианства. Что такое христианство? Мне известно лишь одно определение, размышление над которым должно навеки стать радостным трудом каждого верующего сердца. Ибо христианство – это не мои или ваши представления о Христе, а всё то, что действительно Христово. Моё христианство – если оно когда-нибудь у меня появится – будет состоять из того, что внутри меня воистину принадлежит Христу; ваше христианство будет измеряться мерой Христа в вас.

В прошлое воскресенье я прочёл вам слова Самого Господа о том, что Его учеником является тот и только тот, кто исполняет Его заповеди, и сказал, что не осмеливаюсь назвать себя Его учеником. Поэтому я и сегодня не осмелюсь назвать себя христианином, чтобы не оскорбить Его своим: «Господи, Господи!» Тем не менее (и с этим я ничего не могу поделать) сейчас я стою перед вами во имя христианства. С преступным, ужасающим легкомыслием я стал одним из служителей англиканской церкви, подтвердив свою веру в её догматы только потому, что не знал против них ни одного возражения. Я не считаю себя вправе немедленно оставить эту должность, чтобы своим поступком не поставить под сомнение то, что ещё может оказаться истинным. Поэтому мне хотелось бы попросить у вас дать мне некоторое время, чтобы как следует подумать и принять решение. Однако как честный человек и служитель церкви я всё равно обязан доносить до вас слова Того, на Ком стоит церковь и ради Чьего имени она существует. Я словно стою на краю галилейской толпы, и время до времени до моего изголодавшегося слуха и ещё более изголодавшегося сердца долетает Его голос. Тогда я оборачиваюсь и передаю услышанное вам – не потому, что вам самим ничего не слышали, а для того, чтобы заставить вас спросить себя: «Исполняю ли я это слово? Пытался ли я хоть раз, хоть один раз исполнить его? Могу ли я назвать себя учеником Иисуса? Вправе ли я называть себя христианином?» Так послушайте же сейчас то, что Он говорит. Что до меня, моё сердце от Его слов наполняется сомнением и страхом.

Возлюби врагов своих, говорит Господь. Вы скажете, это невозможно? Но тогда получается, что вы глумитесь над словом Того, Кто сказал: «Я есмь истина», и не имеете в Нём части. Или, может, вы говорите: «Увы, я к сему не способен»? Конечно, это правда. Но пытались ли вы хоть раз сделать шаг послушания в надежде, что Сотворивший вас даст вам силы исполнить Его слово?

Будьте совершенны, говорит Господь. Так стремитесь ли вы к совершенству? Или сознательно оправдываете свои изъяны, говоря: «Человеку свойственно ошибаться», не думая о том, что человеку свойственно не только ошибаться, но и постепенно приращаться

Божьего естества? Тогда у вас тоже есть все основания задуматься над тем, имеете ли вы в Нём свою часть.

Не собирайте себе сокровищ на земле, говорит Господь. Сейчас моё дело не осуждать сребролюбие, но спросить вас: не собираете ли вы себе сокровища на земле? Честное и нечестное сердце по-разному истолкуют эту заповедь, но если ваше сердце обличает вас, то мне лишь остаётся сказать: не называйте себя христианами, но подумайте о том, не пора ли вам воистину стать Его учениками. Я не сомневаюсь, что вы сможете указать мне одного, другого, третьего человека, поступающего так же, как и вы, и никто даже не помышляет усомниться в их христианском благочестии! Только всё это совершенно неважно; вы лишь докажете, что и вы сами, и все эти люди – обыкновенные язычники. Поймите меня правильно: я не осуждаю вас! Я всего лишь обращаюсь к вам как недостойный глашатай, говорящий от имени христианства, ради которого выстроено это здание и ради которого мы здесь собрались, и прошу вас судить самих себя в соответствии со словами его Основателя.

Не заботьтесь для души вашей, говорит Господь; не заботьтесь о завтрашнем дне. Толкуйте это как хотите и как можете, но спросите себя: забочусь ли я для души своей, что мне есть и что пить? Беспокоюсь ли о завтрашнем дне? Спросите себя об этом и сами решите, христиане вы или нет.

Не судите, говорит Господь. Не судили ли вы вчера своего ближнего? Будете ли завтра снова судить его? Не осуждаете ли вы его и сейчас, в том же сердце, которое в эту самую минуту слышит слова: «Не судите»? Или продолжаете упрямо спрашивать: «А кто мой ближний?» Если так, то как вам уподобиться тем, кто славными вратами войдёт в Божий град? Я не могу много об этом говорить, потому что и сам пока ничего не знаю, но разве ваше собственное исповедание христианской веры не побуждает вас пасть на лице ваше и возопить к Тому, Кого вы презрели: «Господи, я человек грешный!»?

Во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, говорит Господь. Вы, покупающие и продающие: исполняете ли вы этот закон? Посмотрите на себя сами. Вам хочется, чтобы с вами поступали справедливо. Поступаете ли вы с другими

по той же справедливости, какой ждёте от них по отношению к себе? Если голос совести заставляет вас внутренне опустить голову от стыда, хотя внешне вы сидите на церковной скамье прямо и гордо, неужели, вдобавок к своему преступлению против закона и пророков, вы станете оскорблять Христа, называя себя Его учениками?

«Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!”, войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Он признает лишь тех, кто вместе с Ним творит волю Отца.

Глава 4. У постели брата

Конечно, я передал вам только скелет проповеди Уингфолда: **В**на большее просто не хватит места. Однако и по этому видно, что он добрался до самой сути дела, – а чего ещё можно желать от проповеди? Во всяком случае, он пытался наилучшим образом использовать ту ошибку, из-за которой оказался на кафедре. С другой стороны, что бы прихожане ни думали и ни говорили о его проповеди (а чем меньше проповедник позволяет себе об этом думать, тем лучше), многим из них показалось, что он обращается прямо к ним, а это о многом говорит. Даже миссис Рамшорн по дороге домой была молчаливее, чем обычно. Хотя (не будучи знакома с проповедями Латимера) она была глубоко убеждена, что подобные проповеди идут вразрез со всеми традициями, канонами и духом английской церкви (безупречным воплощением и образцом которых оставался для неё покойный супруг), она лишь заметила, что мистер Уингфолд слишком усиленно старается выказать себя язычником. Баском остался при прежнем мнении:

– Мне он нравится, – провозгласил он. – Говорит что думает, прямо и открыто, без всяких колебаний. Хотя, конечно, всё это полная ерунда.

И вдова, так чтившая память своего супруга-настоятеля, не сказала ни одного слова в защиту сказанного Уингфордом, позволив Джорджу считать его проповедь (думая, что Баском говорит о ней) полной ерундой. Вообще, не зная подлинных воззрений племянника, она была даже довольна его столь приятно враждебным отношением к столь неприятному священнику, который принадлежал непонятно к какому кругу и которого она – с тех самых пор, как он покаялся в том, что читал дядины проповеди и тем самым нечаянно бросил тень на репутацию её супруга, покинувшего изнурённые ряды воинствующего священства и присоединившегося к благословенному обществу священства победоносного – ни разу не приглашала к обеду, разделить с ней оставшиеся в мире блага.

– Почему бы вам не пригласить его на ужин, тётя? – спросил Баском, когда миссис Рамшорн ничего ему не ответила.

– А с какой стати я должна его приглашать, Джордж? – возразила она. – Разве ты не слышал, как он оскорбляет нас своими невежественными и дикими речами?

– Ах вот как? Я и не знал! – откликнулся племянник и подчёркнуто замолчал, но тётушка так и не уловила его сарказма. Однако он не остался незамеченным, и Джордж сполна получил свою награду в мимолётной улыбке, скользнувшей по лицу Хелен.

Что касается Хелен, проповедь действительно оказала на неё некое электрическое, чисто нервическое воздействие, какое порой оказывают на нас чужая честность и убеждённость. Но она не могла обвинить себя в том, чтобы хоть раз сознательно и серьёзно исповедовала веру в христианство, несмотря на то что прошла конфирмацию и подходила к причащению. И потом, разве сейчас она практически не отрекалась от веры в своём сердце? Если священник действительно был прав, она никак не могла назвать себя христианкой!.. Только досуд ли ей думать о древностях, произошедших восемнадцать столетий назад, когда её единственный любимый брат погибает от тоски под грузом чёрной ноши, давящей ему на сердце! Ибо хотя здоровье Леопольда действительно окрепло, им овладело глубочайшее уныние, настолько сильное, что объяснить его только недавней болезнью было невозможно, и в конце концов доктор Фабер был вынужден спросить

у Хелен, не знает ли она о каком-то ударе, разочаровании или ином источнике душевного страдания, которым оно могло быть вызвано. Она рассказала доктору о пристрастии брата и спросила, не может ли он быть так подавлен из-за того, что лишился возможности принимать опиум. Фабер принял её предположение и начал понемногу (и небезуспешно) лечить Леопольда от печальных последствий его привычки. И всё равно, хотя физическое состояние юноши явно улучшалось, уныние не отпускало его, и Фаберу пришлось вернуться к своей первой гипотезе. Однако поскольку он так ничего и не узнал и поскольку по мере выздоровления его пациент лишь глубже погружался в отчаяние, Фабер начал опасаться, что у того началось размягчение мозга, хоть и не видел никаких иных симптомов этого недуга.

Усердная решимость Фабера во что бы то ни было отыскать причину явной удручённости Леопольда встревожила Хелен ещё сильнее. Кроме того, подавленность брата изрядно подорвала в ней надежду на его невиновность, хотя никаких новых доказательств обратного до неё не доходило, и она совсем уже было в ней уверилась. Чем здоровее он становился, тем хуже и беспокойнее спал, и по его бурным ночным метаниям она видела, что сны его становятся всё мучительнее. Ему всегда было хуже между двумя и тремя часами пополуночи, и это время Хелен неизменно сидела с ним сама, не позволяя никому подменять себя.

Усилившаяся тревога и ночное бодрствование вскоре начали ещё более заметно сказываться на её здоровье. Она потеряла аппетит, её лицо сильно побледнело и осунулось. Правда, она всё так же крепко спала с раннего утра и до обеда, и хотя тётушка вместе с врачом тщетно пытались убедить её в том, что она чрезмерно изматывает себя, ничто не могло заставить её препоручить заботу о брате кому-то другому, пока он окончательно не поправится. И надо сказать, её усилия не оставались без награды: Леопольд льнул к ней с такой любовью и благодарностью, что этого ей было вполне достаточно.

Днём, за исключением тех минут, которые она проводила на свежем воздухе и за столом с тётушкой, она тоже не покидала комнату брата, читая ему и занимая его разговорами, хотя за всё это время ни один из них ни разу не упомянул страшную тайну. Наконец

Леопольд так окреп, что сидеть с ним всю ночь было уже не нужно, однако Хелен всё равно перенесла свою постель в соседнюю комнату, чтобы быть на своём посту к часу ночи и оставаться там, пока часы не покажут начало четвёртого.

Так она посвящала ему всю свою жизнь и, несомненно, благодаря этому сама обрела к ней новый интерес. Но гнёт тайны и постоянный страх, что нагрянет полиция, выматывали её, и постепенно ей стало всё труднее и труднее заставлять себя притворяться, да ещё и выгладеть весёлой ради тётушки и брата. Она яростно боролась с собой: ведь если его потухшие, отчаявшиеся глаза заметят в её взгляде слабость и отчаяние, их обоих ждёт самое настоящее безумие. Ещё немного, и Хелен непременно осознала бы, что душа неспособна сама справиться с тем, что от неё требуется, и нуждается в притоке сил из источника, берущего начало в куда более потаённых глубинах, чем её собственная почва, а именно: в той бесконечной Полноте, на которой она покоится. Блаженны те, кто обнаружил, что из сердца эти источники изливаются на горе молитвы.


Ей было очень трудно найти такие книги, которые нравились бы брату. Его, одарённого живым, но утончённым восточным воображением и почти безнадёжно избалованного, раздражали романы о повседневной жизни, чьё повествование выносило его не к вольному морю, а к водам скучного пруда. С другой стороны, некоторые повести, казавшиеся Хелен убогим мелководьем бессмыслицы или путаницей лживых вымыслов, пробуждали в Леопольде непонятный ей интерес, словно позволяя ему заглянуть в неведомые ей сферы. Но любые нравственные рассуждения явно угнетали его. Однажды она принесла ему немецкие сказки, собранные братьями Гримм и столь любимые детьми всех возрастов, но по её недосмотру первая же из них оказалась жуткой историей об убийстве и возмездии. Даже если линии этой небылицы были неверны, цвет её был ярким и насыщенным, и Хелен неловко попыталась загладить свою оплошность и поскорее закончила чтение с пылающими щеками и застывшим от холода сердцем. Наконец она остановилась на сказках Тысячи и одной ночи. До сих пор она ни разу их не читала и сейчас находила очень

скучными, но Леопольду они давали всё, что книги способны дать человеку в его состоянии.

В остальном в доме всё оставалось по-старому. Давние подруги и их дочери продолжали навещать миссис Рамшорн, неизменно справляясь о её больном племяннике, а Джордж Баском приезжал почти каждую субботу и задерживался до понедельника. Но как только Хелен почувствовала, что прежняя тревога начинает подниматься в ней с новой силой, у неё пропало желание встречаться с человеком, который не мог дать ей ни помощи, ни ободрения. Может быть, будущим поколениям обречённых на смерть действительно будет немного легче из-за того, что Хелен Лингард была нравственной женщиной; может быть, как говорил Джордж, ей и впрямь посчастливится уйти из этого мира, не дав потомкам повода проклинать её, но сейчас перед ней лежал её ненаглядный брат, и жуткий червь точил его сердце – и какое ей было дело до тысячи нерождённых поколений! Напротив, порой ей хотелось воскликнуть вместе с Макбетом: «Пусть рушится весь мир!»²⁸ – особенно в безмолвные ночные часы, когда она сидела возле спящего брата, и до неё неожиданно доносился его голос, бормочущий во сне, такой далёкий, будто не губы, а лишь незримый дух произносили страшные слова: «Хелен, милая, отдай мне кинжал! Ну почему ты не даёшь мне умереть?»

28 У. Шекспир, «Макбет», Акт пятый, сцена V, перевод С. Соловьёва.

Глава 5. Жители Гластона и их священник

 за стенами особняка всё так же вставало и садилось солнце, и его блистательные одежды не утратили ни единой пурпурной нити из-за того, что на одном из детей земли лежало кровавое пятно вины. Луна всходила на небо в полном неведении, звёзды занимались своими делами, а жители Гластона горячо обсуждали проповеди своего священника. К сожалению, обсуждали они именно сами проповеди, а не то, о чём в них говорилось. Главный интерес вызывала необычность услышанного – и то, что некоторые называли эксцентричностью самого священника.

Что на него нашло? Всё это время после своего назначения он вёл себя вполне обычно, и вдруг такая перемена! Да, всё началось с этих сумасбродных заявлений по поводу честности и того, что священник должен сам писать свои проповеди. Может, с ним приключился солнечный удар? Да нет, для солнечного удара пока рановато... Не иначе как размягчение мозгов! Вот бедняга! Ведь одним из симптомов является как раз чрезмерное самомнение... Бедняга, что и говорить!

Так говорили одни. Другие же утверждали, что Уингфорд повёл себя куда как умно и дальновидно, рассчитав, что подобные выходки непременно привлекут к себе внимание, а там, глядишь, откроют ему прямую дорожку к столичному приходу или, по крайней мере, к приглашениям выступить в Лондоне. Там красноречие ценится куда больше, чем в унылом захолустном городишке вроде Гластона, откуда волны благодати давным-давно схлынули в иные места, оставив корабль старого аббатства на пустынном, сухом берегу.

Третьи считали его фанатиком и человеком опасным. Они не осмеливались прямо утверждать, что он сбился с истинного пути; но есть ли кто-нибудь опаснее человека, заходящего на этом пути слишком далеко? Должно быть, они позабыли, что узкий путь вряд ли обещает путнику уютное и беззаботное существование, да и вступить на него могут лишь те, кто берётся за ручку двери с решительным намерением дойти до конца, даже если в конце их ждёт блистательное

совершенство Небесного Отца. «Но ведь фанатики опасны! – фактически рассуждали они. – А восторженному энтузиасту до фанатика – один шаг! Чем бы он ни восторгался, Иисусом Христом или самим Господом Богом, такой человек опасен, исключительно опасен! Дай ему волю, он тут же возьмёт да и прогонит всех сверчков Самонадеянности с их уютных шестков – а что тогда будет?»²⁹

Четвёртые подозревали во всём этом католические веяния. «Вот подождите, пока он приобретёт влияние и у него появятся последователи, – говорили они, – и тогда увидите! Не пройдёт и месяца, и все они вернутся в лоно Рима!»

Как ветер трепал за хвост петуха-флюгера на церковном шпиле, крутя его туда-сюда, так вихри гластонской молвы бесцеремонно трепали духовную репутацию священника Томаса Уингфолда. Сам он всё это время сражался с собственным неверием, поставив на карту всю свою жизнь, и перед его взором, устремлённым вдаль, время от времени вспыхивали отсветы великой зари, на мгновение приоткрывая перед ним беспредельные океанские просторы. Ах, если бы точно знать, что это не мираж его истомлённого сердца и изголодавшихся глаз, что всё это – мысли Предвечного разума, возникшие у него именно благодаря Ему, подобно тому, как Слово стало плотью и обитало среди людей! Но уже через минуту он задыхался в малярийном тумане страха, поднимающегося из болота его собственного заброшенного сердца: Слово, от могущественного сияния которого весь мир, казалось, вот-вот зацветёт и распустится, как роза, представлялось ему настолько невероятно прекрасным, что он просто боялся поверить в его истинность.

– Да, оно было бы воистину невероятным, не будь в мире живого Блага, сознательно творящего добро, – однажды сказал ему Полварт. – Но если во вселенной действительно есть Бог – такой, каким только и может быть Бог, – тогда разве хоть что-нибудь хорошее может быть невероятным? Невероятным для такого Бога, в Котором Иисус Христос нашёл всё, что искал?

²⁹ Аллюзия на книгу Джона Буньяна «Путешествие пилигрима». Неподалёку от Креста при дороге Христианин увидел трёх крепко спящих людей в кандалах: Глупость, Лень и Самонадеянность. На предложение Христианина помочь им освободиться Самонадеянность гордо ответила: «Всяк сверчок знай свой шесток!» (гл. 6).

В один день Томас готов был верить во всё без исключения, даже в страннейшее из чудес, с рыбой и золотым статиром (которое мне лично кажется вполне правдоподобным). На другой день он сомневался даже в том, был ли на свете Человек, осмелившийся сказать: «Я и Отец одно». Он мучился и метался духом и порой, в отчаянии, даже вопрошал вслух, есть ли на свете Бог, слышащий его молитву, будучи уверенным только в одном: если Бог не слышит его, то Он просто не может быть тем Богом, по которому истает и плачет его душа. Иногда его охватывало нечто такое, что он с радостью принял бы за ответ свыше; но это было лишь некое умиротворение, внезапно сошедшее на его дух, и, насколько мог судить он сам, его причиной вполне могло быть обыкновенное изнеможение. Ноги Уингфорда подкашивались от часов, проведённых на коленях, лицо стало бледным от постоянных раздумий, а глаза ослабели от беспокойства: ведь если человек всерьёз задумал отыскать Бога, ему остаётся либо найти Его, либо умереть.

Такова была внутренняя реальность, плоды которой развязали языки гластонских жителей. Из-за неё Джордж Баском авторитетно заявил, что священник страдает ипохондрией, забывая себе голову тем, чего просто не существует, – и сам Джордж мог с уверенностью это подтвердить, потому что ни разу их не видел, не слышал и даже не воображал, что подобные вещи должны или могут существовать. Более того, он провозглашал, что их существование несовместимо с его собственным. Серая масса его самодовольного мозга ни разу не всколыхнулась от мысли о том, что в нём самом может заключаться куда больше, чем он мог себе представить и, быть может, подобные вопросы вполне соответствуют этой неведомой части его «я». Несчастный, убогий Уингфорд – он всерьёз стремился к тому, что Джордж не считал даже стоящим своего внимания! Всерьёз пытался найти что-то выше и ярче луны!.. Каким независимым был Джордж по сравнению с Томасом! Его вполне устраивала перспектива прожить то, что он называл своей жизнью, в качестве благодетеля человечества (главным образом, избавляя людские фантазии от призраков высоких устремлений) и, закончив своё дело, умереть – в то время как бедный,

обманутый, слабоумный ипохондрик Уингфолд отказывался довольствоваться жизнью, покуда в ней не исполнится обещание, данное человеком, которого, быть может, никогда не и не было: «Отец Мой возлюбит его, и Мы прийдём к нему и обитель у него сотворим».

Однако у Томаса тоже была склонность опираться на чувства. Даже если он, в отличие от Баскома, не отказывался верить в незримое и неосязаемое, ему всё равно хотелось увидеть чудеса и знамения, чтобы уверовать. Одним из плодов этого желания стали вот эти стихи, и я привожу их особенно охотно, потому что по ним видно, как далеко продвинулось вперёд его мышление, носимое волнами из источников лежащей под ним великой бездны.

*Ах, если б слово милости благой
Услышать мне в дыханьи ветерка,
И на постели, в темноте ночной
Меня коснулась вдруг Твоя рука!
Ах, если б Ты мне подал верный знак! –
Сейчас бы я в сомнениях не жил,
Сквозь книгу пробиваясь кое-как,
А ревностной душой Тебе служил.
Так сердце говорит. Но я себе
Твержу, в неизвестность устремляя взгляд:
«Пойми, знаменья эти лишь к тебе
Ему дорогу снова преградят!»
Его, Кто есть и Свет, и Жизнь, и Путь,
Просили путь к спасенью указать.
Желали люди на Отца взглянуть,
Но в Сыне не смогли Его узнать.
Но только как ещё Он мог прийти,
Господь материй, духов и светил,
Как не в людском обличье, во плоти,
Что Бог из глины красной сотворил?*

*Прошу, Господь, приди! Через меня
На мир смотри, и слушай, и дыши;
Плотские страсти в жизни растворя,
Собой наполни храм моей души.
Как близок Ты! О радости такой
И в дивных снах не мог помыслить я,
Хоть храм мой, бесприютный и пустой
Всю жизнь, того не зная, ждал Тебя!
Когда я буду верно исполнять
Весь Твой закон и все Твои слова,
Как бы меня ни стали осуждать,
Что б ни плела досужая молва,
Тогда, Иисус, Ты в дом ко мне войдёшь.
Чтоб здесь с Отцом небесным вечерять...
Но только так коварны грех и ложь,
Что долго мне Тебя придётся ждать!
Покуда я не в силах не грешить,
Не можешь Ты, Иисус, в мой дом войти.
Но если будешь мимо проходить,
Всё ж стукни мне в окошко по пути!*

Глава 6. Мануфактурищик

Среди тех, кто пришёл послушать священника во второй раз и услышал то, что тот по чести и совести мог сказать об Иисусе из Назарета, была ещё одна категория людей. И, насколько было известно самому Уингфолду, пока эта категория состояла из одного единственного человека.

В следующий вторник Уингфолд зашёл в главную мануфактурную лавку Гластона: ему предстояло быть на похоронах, и он решил купить новые перчатки, чтобы вежливо отказать от тех, что предложат ему родственники покойного³⁰. Томас заговорил с молодой девушкой, стоявшей за прилавком, но мистер Дрю, увидев священника, немедленно подошёл к нему сам. Выбрав перчатки и заплатив за покупку, Уингфолд уже повернулся было к выходу, как вдруг мистер Дрю, всё это время явно колебавшийся, с внезапной решимостью наклонился к нему через прилавок и проговорил:

– Вы не подниметесь ко мне на минутку, сэр? Это было бы очень любезно с вашей стороны. Мне хотелось бы сказать вам пару слов.

– С превеликим удовольствием, – ответил Уингфолд, скорее вежливо, чем искренне, думая, что сейчас ему снова станут выговаривать. Поскольку на кафедре ради исполнения своего долга ему постоянно приходилось идти против самого себя, в остальное время ему вовсе не хотелось идти ещё и против других людей. Мистер Дрю откинул дверцу в прилавке, священник вслед за ним поднялся по лестнице и оказался в уютной столовой, пропахшей табаком.

Мистер Дрю пододвинул ему стул, а сам уселся напротив. Это был коренастый мужчина среднего роста и средних лет с острыми тёмными глазами, полными щеками и чуть приплюснутым курносым носом на бульдожьем лице, но прекрасный, высокий лоб и приветливое, добродушное выражение придавали его заурядным чертам некое

³⁰ В то время в Англии было принято во время похорон дарить новые перчатки тем, кому предстояло нести гроб, а также рассыпать перчатки в качестве приглашения посетить траурную церемонию. Нередко сам человек в завещании указывал, какие перчатки его родственники должны разослать перед его погребением, и эти перчатки были одной из главных статей похоронных расходов. Этот древний обычай идёт с тех времён, когда перчатки были очень дорогими и являлись важным символом любви и дружбы

благородство и гармонию. В его тёмных волосах пробивались седые пряди. Внизу, в лавке, он держался, как обычный лавочник – то есть, как показалось Уингфорду, слишком почтительно и угодливо, – но теперь, у себя дома, походил, скорее, на сельского джентльмена-помещика, учтивого и дружелюбного, но явно чем-то обеспокоенного.

– Надеюсь, миссис Дрю здорова, – нерешительно проговорил Уингфорд после неловкой паузы, даже не подумав о том, приходилось ли ему когда-нибудь слышать о миссис Дрю.

Лицо мануфактурщика вспыхнуло.

– Её нет уже двадцать лет, – ответил он, и в его голосе послышались непонятные нотки.

– Простите меня, пожалуйста, – сказал Уингфорд тоном искреннего покаяния.

– Я вам всё скажу, как есть, сэр, – продолжал лавочник. – Она ушла от меня... к другому... почти двадцать лет назад.

– Мне стыдно от своей невнимательности, – проговорил Уингфорд, – но я здесь так недавно, что...

– Да вы не переживайте, сэр. Откуда вам знать? И потом, всё это было не в Гластоне, а миль за сто отсюда. Да я и так бы вам всё рассказал. Только сейчас, если позволите, мне хотелось бы поговорить о другом.

– Я к вашим услугам, – откликнулся Уингфорд.

– Спасибо, сэр... Видите ли, в воскресенье я был у вас в церкви, – заговорил мануфактурщик, немного помедлив. – Обычно-то я хожу не к вам, но ваша проповедь заставила меня задуматься, и в понедельник, вместо того, чтобы о ней позабыть, я наоборот задумался ещё крепче. А когда увидел вас в лавке, мне вдруг так захотелось в вами потолковать, что я не смог удержаться. Если у вас есть время, сэр, я вам не спеша расскажу, в чём дело.

Уингфорд уверил его, что никуда не торопится и вряд ли мог бы придумать себе лучшее занятие. Мистер Дрю поблагодарил его и продолжал:

– Признаюсь, сэр, после вашей проповеди я словно сам не свой. Вина тут не ваша, а моя, хоть я и не знаю, где прав, а где виноват: с привычками и обычаями спорить трудно, а ведь вы призываете нас

жить по иным законам, а не по тем, что заправляют в мире. Господня земля, наверное, скажете вы, – и всё, что наполняет её. На здании лондонской биржи так и написано, только сдаётся мне, что дела в ней ведутся вовсе не по Господним законам. Однако, как вы и сказали, нам нужно смотреть не на других, а на себя. Это-то меня и беспокоит. Знаете, мистер Уингфолд, когда я думаю о том, как заработал свои деньги (сбережений у меня хоть немного, но достаточно для спокойной старости), мне становится как-то не по себе. Не хочу, чтобы вы думали обо мне хуже, чем я есть, но мне и правда хотелось бы спросить вас, что мне теперь делать.

– Ох, мистер Дрю, – ответил Уингфолд, – вряд ли я чем-то смогу вам помочь. В торговых делах я сущий младенец. Покупаю я только книги да одежду, а продавать – никогда ничего не продавал, разве только перочинный ножик школьному приятелю: накануне купил его за полкроны, но на одном из лезвий была ржавчина, и я тут же продал его за два пенса. Скажу вам только одно: если что-то начало вас смущать, не делайте этого больше, вот и всё.

– Так ведь в этом-то вся и загвоздка! Дело-то моё требует, чтобы я что-то делал, так что «больше этого не делать» – это для меня не совет! Вы не подумайте, я ни разу не совершал ничего такого, что считается и вовсе недопустимым или чего не делали бы самые крупные торговые компании. Всему, что сейчас меня смущает, я в своё время научился в одном из самых уважаемых лондонских магазинов.

– Вы хотите сказать, что если владелец лавки или магазина перестанет делать кое-какие вещи, благодаря которым вы сколотили своё состояние, остальные торговцы сочтут это нелепым донкихотством?

– Ну да; только такие Дон-Кихоты, наверное, всё ж таки попадают – хотя бы потому, что и сам я сейчас всем сердцем раскаиваюсь в том, как в своё время вёл дела. Да я бы с радостью отдал все нажитые деньги, только бы повернуть время вспять, так мне от этого плохо. Я бы никогда не осмелился в этом признаться ни вам, ни кому другому, если бы вы сами тогда не покаялись в нечестности прямо с кафедры. Правда, сам я этого не слышал, но мне рассказывали. По глупости я подумал, что зря вы так себя обвиняете, особенно перед публикой,

которая вряд ли вас поймёт и явно не станет вам сочувствовать, а теперь вот и сам обвиняю себя перед вами!

– Только я вас прекрасно понимаю и очень вам сочувствую, – вставил священник.

– Вот почему я и пошёл вас послушать, – продолжал лавочник. – Что бы там ни было, повели вы себя смело, а смелость нравится всем, – усмехнувшись добавил он, и от белозубой улыбки вокруг глаз и по щекам разбежались весёлые морщинки, смахнувшие все следы тревоги с сияющего добродушием лица.

– Тогда вам уже известно, на какую помощь я способен, мистер Дрю. Я готов, как могу, вам посочувствовать, не более и не менее. Я и сам сущий дилетант и новичок на путях праведности. Это не вам у меня, а мне надо у вас учиться!

– Так ведь этим-то вы и хороши! – уж простите меня за такую дерзость, сэр, – торжествуяще воскликнул лавочник. – Вроде, вы ничему нас и не учите, да только из-за ваших слов нам потом так не по себе, что мы всю неделю спрашиваем себя, как следует поступать. До прошлого воскресенья я всегда считал себя честным человеком... Нет, пожалуй, не так: правильнее будет сказать, что я всегда считал себя достаточно честным человеком. Но теперь я уже так не думаю – и всё из-за вас! В воскресенье вы спросили, и особенно тех из нас, кто занимается торговлей: «Поступаете ли вы со своими ближними так, как хотели бы, чтобы другие поступали с вами? И если нет, то как Господь христиан сможет узнать в вас Своих учеников?» Раньше-то я вообще не сомневался, что я христианин. Вы, наверное, не поверите – сейчас я и сам не знаю, что об этом думать – но когда-то я более-менее убедил себя, что прошёл через все необходимые шаги рождения свыше, и уже давно принадлежу к христианской церкви, правда не к англиканской, а к церкви диссентеров³¹, потому что там, – уж не знаю, правильно это или нет, но только, по-моему, в этом и есть самое важное отличие – для того, чтобы подходить к причастию, человек должен лично исповедать свою веру и явно показать всем, что он действительно обратился. Сам я считал, что давным-давно показал всё,

31 Диссентеры – распространённое в XVI-XVII в.в. в Англии название лиц, не согласных с вероучением и культом англиканской церкви.

что нужно, и, к стыду своему, уже много лет служу в нашей общине дьяконом. Ну, этому скоро конец! Однако я отвлекся... Знали бы вы, как я возмутился, когда вы с кафедры призвали нас спросить себя, христиане мы или нет! В конце концов, разве я не исповедал свою веру в... Нет, лучше не буду сейчас залезать в богословие – я и без этого пёкся о нём куда больше, чем нужно. Довольно будет сказать, что теперь вместо того, чтобы проверять себя доктринами богословов, мне пришлось проверить себя словами Господа: ведь Он всё равно самый лучший богослов, верно? В общем, прямо там, в церкви, я решил посмотреть, поступаю ли я с ближними точно так же, как хотел бы, чтобы они поступали со мной. Только ничего у меня не вышло; я и так, и этак старался применить всё это к себе, только без толку. В общем, пока я раздумывал, глянь – а вас уже нет: я даже не заметил, как повесть кончилась.

Уж не знаю, из-за ваших это слов или нет, только на следующий день (то есть получается, что вчера) как раз, когда в лавке была миссис Рамшорн, мне в голову вдруг пришла мысль: а что бы делал Иисус Христос, будь он не плотником, а лавочником? В общем, проводил я миссис Рамшорн и поднялся к себе немного подумать. Сперва я прикинул, что для начала было бы неплохо узнать, каким Он был плотником. Только в Писании ничего об этом не сказано, я так ничего и не придумал и потому решил снова поразмыслить над тем что мне пришло в голову: что бы Он делал, если бы был мануфактурщиком? И знаете, что странно? Об этом мне было думать гораздо легче, чем о плотницком деле, и у меня тут же начали появляться кое-какие мысли – и не просто мысли, а самые что ни на есть чёткие и решительные ответы насчёт того, в чём я сомневался.

– Встреча с идеалом пробудила идеал внутри вас, – задумчиво произнёс Уингфорд.

– Ну, насчёт этого я не знаю, – откликнулся мистер Дрю, – но чем больше я думал, тем больше становился собой недоволен. Одним словом, я решил, что либо всё как следует исправлю, либо совсем брошу торговать.

– Только вряд ли это можно будет назвать победой, – заметил Уингфорд.

– Вот именно; и без боя я не сдамся, уж это я вам обещаю. В тот же день после обеда я случайно услышал, как один из моих молодцов уговаривает старушку крестьянку купить что-то совершенно ей ненужное. Тогда я созвал всех своих приказчиков и сказал им, что если ещё хоть раз услышу них что-нибудь подобное, сразу же уволю. Только потом я ещё поразмыслил и понял, что с таким расплывчатым законом жить трудно. К несчастью, я сам совсем недавно пообещал платить им проценты с каждой покупки – вот они и стараются, продают! Ну, это исправить легко, я немедленно всё это отменю. Только жаль, что закон просто велит нам поступать с ближними, как с самими собой, а не раскладывает подробно, как и что делать!

– Может, во внешнем законе не будет такой нужды, если внутри станет больше света? – предположил Уингфорд.

– Тут пока сам не попробуешь, не узнаешь! – ответил лавочник с улыбкой, но тут же вновь посерьёзnel и продолжал. – И потом, что делать с прибылями? Сколько забирать себе? Поступать, как все, и всегда смотреть только на то, как обстоят дела на рынке? Если самому мне случилось купить товар подешевле, должен ли я и покупателям своим делать скидку побольше? И ещё: ведь я продаю товары оптом маленьким деревенским лавочкам; если я вдруг узнаю, что одна из них вот-вот разорится, имею ли я право требовать от хозяина свои деньги в ущерб остальным кредиторам? Видите, сэр, сколько всяких вопросов?

– Тут я вам не помощник, – повторил Уингфорд. – Ещё, чего доброго, по неведению назову нечестным то, что на самом деле правильно, и наоборот. Однако последнее время я начинаю осознавать, что для того, чтобы поступать с ближним по справедливости, мы должны любить его, как самих себя. Правда, в этих высоких материях я и сам мало что понимаю и потому, как вы только что сказали, не могу никого ничему учить. В проповеди я только пытался воззвать к совести каждого человека, чтобы тот спросил себя, исполняет ли он слова того Господа, Чьим именем зовётся. Честно говоря, я сомневаюсь, чтобы хоть кто-то из прихожан воспринял меня серьёзно – кроме вас, мистер Дрю.

– Ну, это как посмотреть, – отозвался мануфактурщик. – Я даже среди своих приказчиков слышал кое-какие разговоры и подумал, что, хотя разговоры – это так, дым, пустое место, а всё-таки дыма без огня, пожалуй, не бывает. Вот я сейчас с вами говорю этак тихо и спокойно – разве кто посторонний догадается, что последние три дня я себе места не нахожу?

Уинфолд посмотрел прямо на него: его глаза светилась искренностью, а всё лицо дышало твёрдой решимостью. Священник вспомнил про Закхея, вспомнил про Матфея, сидевшего у сбора налогов, и с некоторым чувством стыда вспомнил кое-какие суждения о торговле и, особенно, торговцах, которые, взявшись непонятно откуда, кишели в его голове, как клубок ползучих змей. Одно было ясно как день: если человек Христос Иисус действительно может оставаться и остаётся со Своими учениками во все дни, до скончания века, Он вполне может стоять за прилавком вместе с мануфактурщиком, уча его продавать и покупать от Своего имени – то есть так, как покупал и продавал бы Он сам. С таким же успехом Он может и ехать рядом с графом, объезжающим свои земли, уча его по совести обращаться с живущими там фермерами и арендаторами. Потому что всё зависит от того, как один из них будет торговать, а другой – графствовать.

Эти слова кажутся вам простой банальностью? К сожалению, так оно и есть, ибо что такое банальность в представлении большинства из нас? Что это как не истина, которую давным-давно следовало бы посеять в людские жизни, чтобы она вечно производила в них колосья праведных свершений и вино милосердия? Однако вместо того, чтобы посадить её в добрую почву, люди оставляют эту истину без дела, перекидывая её туда-сюда в холодном и пустом чердаке своего рассудка, пока она окончательно им не опостылеет, и они, чтобы поскорее от неё избавиться, объявляют её не живой истиной, а безжизненной банальностью! Но банальность эта так и будет греметь в голове, словно в горох в погремушке, пока не найдёт своё законное место в сердце, где она уже не будет грохотать впустую, но укоренится и превратится в красоту и силу. Неужели истина должна перестать звучать, если для неё не находится лучшей формы, чем какая-нибудь священная банальность – произнесённая, скажем, св. Иоанном, Сыном

грома? Для критика банальность – это обычная галька, обкатанная морем и стёртая человеческими ногами, но для послушного ученика – это сверкающий топаз, который, будучи пущенным в дело, со временем отполировывается так, что может превратиться в драгоценный бриллиант.

«Иисус, продающий и покупающий! – подумал Уингфорд про себя. – А почему бы и нет? Разве Иисус, мастеривший для жителей Назарета стулья, столы или, может быть, лодки, никогда их не продавал? Разве Он не совершал сделок? Не брал у людей денег? Разве покупатели не платили Его отцу? Неужели то, как Отец устроил земной мир, было недостойно рук Того, Кто жил лишь радостью от свершения воли того самого Отца? Нет; должно быть, деньги в руках человека могут быть ничуть не менее благородным оружием, чем меч в руках патриота! Должным образом с ними не управится ни сребролюбивый скряга, ни циник, презирающий серебро. Один позволяет своему псу вытворять всё, что ему вздумается, другой пинком вышвыривает его прочь. Благородство проявляет тот, кто воистину исполняет вверенную ему работу так, чтобы миру явилось присущее ей достоинство. И лавочник, благородно ведущий свою торговлю, куда благороднее аристократа, который, приведись ему действовать по принципам своей повседневной жизни в мануфактурной лавке, оказался бы самым жалким воришкой, какой когда-либо кланялся и притворно расшаркивался за своим привычным жертвенником лжи, прилавком».

Да, всё это были плоские банальности, но не для Уингфорда: он впервые увидел их подлинное обличье и узнал в них истины. Он сердечно распрощался с мануфактурщиком, пообещав вскоре зайти к нему снова, и уже шагнул было к двери, но вдруг неожиданно обернулся и сказал:

– А вы не пробовали молиться, мистер Дрю? Многие люди, которые, судя по их сочинениям, отличались самым тонким и возвышенным умом, положительно и реально верили, что высочайшее занятие человека – это молитва его неведомому Отцу, а её непременно плодом будет свет в его внутреннем существе; и что на самом деле не только человеческая молитва достигнет Божьего уха, но и сам человек

достигнет Самого Бога. Я не имею права на мнение, но у меня есть замечательная надежда, что однажды всё это окажется правдой. Господь сказал, что нам должно молиться и не унывать.

Он поклонился и вышел, а дьякон вспомнил свои многочисленные молитвы на церковных собраниях и дома, и слова молодого священника, который, казалось, только что впервые открыл для себя молитву и ни в чём не был уверен, кроме своей «замечательной надежды», заставили его устыдиться.

Глава 7. Рейчел

Уингфорд прямоком отправился к своему другу-карлику и спросил, нельзя ли ему как-нибудь привести мистера Дрю к Полвартам на чай.

– Мануфактурщика? – переспросил Полварт. – Конечно, если вам этого хочется.

– Оказывается, некоторые напасти бывают заразными, – сказал священник. – Дрю тоже подхватил мою болезнь.

– Очень рад это слышать. Лучшей болезни и придумать нельзя. К тому же состоятельные люди – а он, говорят, из них – заражаются ею куда как редко. Но мне всегда нравилось его круглое, добродушное, честное лицо. Если не ошибаюсь, в своё время у него были сильные неприятности с женой. Говорят, она сбегала от него с другим. Но это было ещё до того, как он перебрался в Гластон... Мистер Уингфорд, не заглянете ли вы к Рейчел? Она сегодня неважно себя чувствует и потому лежит у себя.

– С искренним удовольствием, – отозвался Уингфорд. – Печально слышать, что она нездорова.

– В общем-то, ей всегда немного нездоровится, – сказал карлик. – Но любому видно, что, несмотря на это, она радуется жизни. Для неё

это всего лишь малое, несовершенное благо – данное ей, я надеюсь, ради блага совершенного... Проходите сюда, сэр!

Он провёл священника в комнату рядом со своим кабинетом. Это была скромная чердачная каморка, нарядно сиявшая белизной. Люди, мало знавшие Рейчел, могли бы сказать, что эта комнатка походила на её жизнь, бесцветную, но светлую в своей невинности и покое. Стены были выбелены, непокрытый пол из старых сосновых досок был выскоблен чуть ли не добела, занавески и постель сверкали кипенной белизной, покрывало тоже было белым – таким же белым, как и лицо, с улыбкой глядевшее на Уингфорда с низенькой белой подушки. И хотя лицо это было хорошо ему знакомо, сейчас он чуть было не вздрогнул, увидев его: таким удивительно прекрасным оно было в своём долготерпении. Всё уродливое пряталось под покрывалом; горбатое тельце Рейчел покоилось в могиле её постели, а воскресшая душа смотрела в глаза священнику со всем изяществом женственности.

– Я не могу подать вам руку, – проговорила Рейчел с улыбкой, когда Уингфорд, чувствуя себя Моисеем, только что снявшим свои сандалии, тихонько подошёл к ней. – Она так болит, что мне её не поднять.

Священник почтительно поклонился и уселся на стул возле кровати, как настоящий утешитель, не говоря ни слова.

– Не печальтесь за меня, мистер Уингфорд, – наконец сказала Рейчел своим милым, ласковым голосом. – Бедняжка-карлица, как называют меня здешние ребяташки, вовсе не нуждается в жалости. Вы даже не представляете, как мне хорошо, когда я лежу здесь, зная, что дядя совсем рядом и придёт ко мне по первому зову. А кроме него есть Тот, Кто ещё ближе ко мне, – добавила она совсем тихо, почти шёпотом. – Его и звать не надо. Я принадлежу Ему, и Он волен делать со мной всё, что Ему угодно. Иногда, когда я вот так лежу и не могу пошевелиться, мне кажется, будто я овечка, связанная по рукам и ногам – или, вернее, со связанными ногами: какие же у овечки руки? – весело рассмеявшись, поправилась она, – и лежу на жертвеннике – то есть на постели, – сгорая в пламени жизни, поглощающем смертное тело, и в его огненных языках сердцем, душой и чувствами подымаюсь

к великому Отцу... Да что это я, всё о себе и о себе! Простите меня, мистер Уингфорд! Просто у вас был такой несчастный вид... Я сразу поняла, что ваше доброе сердце печалится из-за меня. И всё равно, не нужно было мне так разглагольствовать. Правда, простите меня! Мне очень стыдно.

– Напротив, я безмерно признателен за то, что вы почтили меня своей откровенностью, – возразил Уингфорд. – Радостно видеть, что страдания совсем не обязательно делают человека несчастным. Я тоже был бы не против пострадать, мисс Полварт, если бы вместе со страданиями мне был дарован такой же покой.

– Иногда мне бывает не по себе, – откликнулась она, – но чаще всего я действительно спокойна, а порой даже слишком счастлива для слов... Как вы думаете, мистер Уингфорд, что сказали бы те люди, о которых вы с дядей говорили на днях? Что все мои мысли, и приятные, и болезненные, одинаково порождены вибрациями в моём мозгу?

– Несомненно. Наверное, они сказали бы, что приятные мысли – это плод нормальной мозговой деятельности, а неприятные – свидетельство какого-то сбоя. Но и у тех, и у других должен быть один и тот же источник. А что скажете вы? Что вышними сферами порождены только приятные мысли, а неприятные обладают чисто физической природой?

Накануне вечером головная боль и уныние подтолкнули Уингфорда на подобные размышления.

– Ах, вот вы о чём! – сказала девушка. – Понятно. Нет. Есть грустные думы, которых, когда они приходят в должное время, мне ни за что не хотелось бы лишиться: ведь их благое влияние останется со мной всегда. В свой срок они лучше сотни счастливых мыслей, и корень у них – радость. Но даже если у них чисто физическая природа, разве из этого следует, что они не от Бога? Ведь Он есть Бог и живых, и умирающих!

– Если Бог есть, мисс Полварт, – со страстным убеждением отозвался Уингфорд, – тогда Он остаётся Богом везде, и без Него не только не родится ни один Шекспир, но и не умрёт ни одна мокрица! Либо в Нём – утоление всех нужд, и Он есть всё во всём, либо Его просто нет.

– Я тоже так думаю – потому что лучше ничего не придумать. Более веской причины у меня нет.

– Если Бог и в самом деле есть, более веской причины и быть не может, – ответил Уингфорд.

Вряд ли мне нужно повторять, что это «если» было для Уингфорда лишь проявлением обыкновенной честности, и он вовсе не стремился поколебать чужую бездумную уверенность. В любом случае, его «если» не смогло бы поколебать Рейчел, потому что её уверенность была полна раздумий. Оно также ничуть не поразило её, потому что с первого дня она слышала практически всё, о чём дядя говорил со своим новым другом. Вот и сейчас она ничего ему не ответила, потому что никогда не считала себя обязанной развеивать сомнения человека, искренне стремящегося к истине, и, поскольку верила сама, никогда не считала сомнения вещью дурной и неблагочестивой.

Они немного помолчали.

– Как это, должно быть, чудесно, быть здоровой и крепкой, – наконец сказала Рейчел. – Я всё время невольно вспоминаю мисс Лингард. Когда я думаю о таких вещах, мне всегда представляется именно она. Ах, какая же она всё-таки красивая и сильная – правда, мистер Уингфорд? И на лошади сидит прямо, как струнка, приятно посмотреть. Представьте, как выглядела бы в седле я: не иначе, как мешок с картошкой!

Она весело рассмеялась, и на глазах её выступили слёзы.

– Только ведь никто не знает, – продолжала она, словно слёзы эти брызнули только от смеха, хотя на самом деле это было не совсем так, – и мисс Лингард, должно быть, никогда бы не поверила, если бы узнала, как мне хорошо, когда я лежу вот так, не в силах пошевелиться. Наверное, здесь действует то, что люди называют законом возмещения. Нет, какое это всё-таки противное слово! Как будто Отец Иисуса Христа действительно пытается чем-то возместить наши изъяны, а не выбирает с самого начала лишь самые лучшие пути для того, чтобы вернуть к Себе домой всех Своих детей, будь они блудными сыновьями или их старшими братьями. Помните, что дядя недавно говорил о снах? – спросила она.

– Да. Мне это показалось весьма разумным, – ответил священник.

– Только всё зависит от того, что это за сны, – отозвалась Рейчел. – Иногда мне снятся сны, которые я не променяла бы ни на какую библиотеку. Благодаря им я расту и узнаю такое, чего иначе просто никогда бы не узнала. Только я не имею в виду всю эту ерунду насчёт предсказаний будущего. Мне кажется, из всех бесполезных знаний это и есть самое бесполезное: ну что можно сделать с тем, чего пока не существует? Из-за этого человеку только труднее решить, как правильно поступить, ведь тогда у него начинает двоиться в глазах! Нет, я совсем не об этом... Вы не будете надо мной смеяться, мистер Уинфорд?

– Честно говоря, мне трудно представить, чтобы я мог над вами смеяться.

– Ну хорошо, тогда я не буду стесняться показывать вам свои игрушки... Знаете, иногда во сне у меня появляется необыкновенное чувство свободы, наполняющее меня чистым блаженством, неведомым мне наяву – разве только как радужное облачко где-то на горизонте! Словно некое небесное сообщество, эти сны дают мне свободу, но не свободу убогого городка вроде Лондона, а свободу всего пространства на свете.

Священник сидел и слушал с возрастающим изумлением, но не чувствовал при этом ни малейшего несоответствия: все эти речи и мысли прекрасно сочетались с тем лицом, что глядело на него с низкой подушки, и его прелестными глазами – потому что они и впрямь были прелестны, сияя светом, в котором угадывались страсть и сила.

– Мне кажется, – продолжала она, – что даже мисс Лингард, скачущая верхом, не знает того блаженного чувства свободы, силы и движения, какое приходит ко мне во сне. Одного только ветра из моих снов достаточно, чтобы дать мне такое невыразимое счастье, что я просыпаюсь, плача от радости. И не говорите мне, что счастье уходит вместе со сном, потому что и днём мне так хорошо, что вечером я едва могу заснуть, чтобы во сне снова отправиться на поиски радости. Не говорите мне, что всё это иллюзия: ибо где обитает свобода, в теле или в разуме? Какая разница, лежит моё тело неподвижно или передвигается из одного места в другое? В чём радость движения, как

не в том, что оно даёт нам чувство свободы? Ведь стремимся мы именно к чувству, и если оно у меня есть, больше мне ничего не надо. Да что там, телесное движение только нарушит его, сковав мой дух... А иногда мне снится новый цветок, какого не видел ни один человеческий глаз, – с какими-нибудь небывалыми, дивными свойствами, из-за которых он становится подобным настоящему сокровищу – помните, как гемония в мильтоновском «Комусе»³²? Но почему-то проснувшись я никогда не могу ни вспомнить, ни описать эти необыкновенные свойства, словно они принадлежат совсем иным сферам, не от мира сего. У меня остаётся лишь самое расплывчатое воспоминание о том, какое это было чудо, волшебное и драгоценное ... А иногда мне снятся стихи, или песня, или диковинный музыкальный инструмент наподобие тех, какие бывают у ангелов на старых картинах. И почему-то я всегда знаю, как на нём играть. Так что видите, сэр, уж если Богу было угодно послать меня в мир уродливой каракатицей, ковыляющей, как тюлень, Ему также было угодно дать мне красоту и богатство ночи, чтобы дать мне силы переносить страдания и убожество дня... Вы ведь радуетесь, когда у вас возникает какая-нибудь чудесная мысль, да, мистер Уингфорд?

– Когда возникает, то да, радуюсь, – подчёркнуто, почти обиженно ответил Уингфорд. Неужели он завидовал этой крошечной горбунье?

– Так неужели эта мысль становится хуже из-за своей формы? И неужели чувство становится менее реальным из-за того, что приходит к нам во сне?

– Да меня не надо убеждать. Я и так согласен со всем, что вы говорите, – воскликнул Уингфорд.

– Так отчего же вы молчите? Мне кажется, что в душе вы всё время мне возражаете! – улыбаясь проговорила Рейчел.

– Отчасти от того, что вы и так слишком разволновались, и я боюсь, чтобы вам не стало хуже, – ответил Уингфорд, заметивший, что её лицо покрылось лихорадочным румянцем.

В тот момент в комнату вернулся Полварт.

32 «Комус» – драматическая поэма Джона Мильтона. «Гемонией назвал пастух растение / И мне вручил, велел его беречь / Как средство наилучшее от порчи, / Дурного глаза, наваждений, чар, / От привидений и жестоких фурий» (перевод Ю. Корнева).

– Знаешь, дядя, я как раз пыталась убедить мистера Уингфолда, что в снах тоже может быть что-то хорошее, – сказала Рейчел.

– Ну и как, успешно? – улыбнулся Полварт.

– В этом не было необходимости, – вставил Уингфолд. – Чтобы убедиться, мне нужны были только факты. Почему я должен думать, что если Бог и правда есть, сон вытесняет Его из нас?

– Мне страшно даже думать о том, что наша тщедушная индивидуальность, произведение Божьей индивидуальности, сильна – и даже не столько сильна, сколько вольна – закрыть перед Ним дверь и вести хозяйство без Него! – сказал Полварт.

– Только что это будет за хозяйство! – пробормотал Уингфолд.

– И правда, – откликнулась Рейчел. – Но только подумай, дядя, как неустанно, словно ветер, Он вьётся вокруг наших домов, не отходя от окон и дверей, чтобы улучшить удобное мгновение и войти! А иногда Он превращается в бурю, срывающую с петель и окна, и двери, и врывается к нам, неся с собой смятение и ужас.

То, что у Полварта становилось пророчеством, у Рейчел превращалось в поэзию.

– А наши с тобой окна и двери, дядя, Он сделал такими шаткими, что мы просто не смогли бы удержать Его снаружи.

– Вы есть храм Духа Святого, – почти бессознательно проговорил Уингфолд.

– Хотя и немного развалившийся, – рассмеялась Рейчел. В её душе было столько живого благочестия, что в доме духовных истин она позволяла себе вольности любимого ребёнка.

– Но знаете, мистер Уингфолд, – продолжала она, – в моих снах есть ещё кое-что любопытное: там я никогда не вижу себя горбатой карлицей. Правда, прямой и высокой я себя тоже не вижу. Должно быть, мне хорошо, и я просто об этом не думаю. Поэтому мне кажется, что душа у меня не горбатая, а прямая. А вам как кажется, сэр?

– И я так думаю, – сердечно проговорил Уингфолд.

– Боюсь, скоро я начну рассказывать вам кое-какие из своих снов.

– Эта слабость свойственна нам обоим, – заметил Полварт. – Причём настолько, что порой я начинаю тревожиться за наш распад. Но даже на кривом кусте может вырасти прекрасная роза.

– А-а, должно быть, ты вспомнил моего отца, – сказала Рейчел. – У него был прямой стебель, и роза была чудесная, хоть и немного осыпавшаяся... По-моему, мне этого бояться нечего. Если бы я сошла с ума, мне просто не хватило бы сил жить – разве только я осознала бы Бога и в своём сумасшествии. Сдаётся мне, отец знал Его, хоть и по-своему.

– Конечно, знал, – ответил Полварт. – И знал крепко, по-настоящему. Когда-нибудь я расскажу вам о своём брате и отце Рейчел, – сказал он, поворачиваясь к Уингфолду, – и, может быть, даже покажу вам рукопись, которую он оставил после себя – воистину, одно из самых странных произведений на свете! По-моему, его даже стоит напечатать, если найдётся издатель, способный увидеть в нём не только безумие... Но на сегодня тебе хватит разговоров, девочка моя, так что я увожу мистера Уингфолда к себе.

Глава 8. Бабочка

Шагая домой, Уингфолд размышлял о том, что увидел и услышал в тот день у Полвартов. «Если Бог есть, – думал он, – тогда всё хорошо, потому что Он не стал бы давать жизнь такой женщине, чтобы потом вышвырнуть её прочь как неудачную поделку и позабыть о ней. Правда, как-то странно, что Он позволяет так уродовать Свою работу. И всё же, если Он – совершенный Бог, то Он должен быть способен повернуть даже это уродство к высшему благу. Разве в жизни мы не видим чего-то подобного, когда усердные выкармливают сильных? Разве слишком самонадеянно вообразить, чтобы Бог сказал Рейчел: “Доверься Мне и потерпи, и Я благословлю тебя куда больше, чем ты можешь себе представить”? И уж, конечно, в этом случае та, кому более всего нужно утешение такой веры, имеет его. Хотелось бы мне быть таким же уверенным в Боге, как Рейчел Полварт! Только, –

усмехнулся он про себя, – у неё есть отличный помощник: горбатая спина! Видимо, полную веру мы обретём лишь тогда, когда наши духовные глаза увидят Предвечного. А до тех пор какое лучшее, какое иное доказательство высшего присутствия может получить низшая тварь, кроме того, что самое её существо возрастает и расширяется под влиянием этого присутствия?

Только вот в чём загвоздка: духовные понятия так велики, а предметы повседневной жизни так обыденны, что одно с утра до вечера изобличает во лжи другое – ну, по крайней мере, у меня в голове. Что же из них истинно? Любящий, заботливый отец или мучения жестокой нищеты и беззащитная покорность рассеянному случаю? Даже хотя первое кажется нам единственно верным, разумным и вседостаточным, почему нам проще и естественнее верить во второе? И всё-таки, если подумать, моя вера в это второе всегда ограничивалась только ужасом перед мыслью, что оно может оказаться правдой: слишком много всего вокруг казалось тому доказательством... Но тогда что общего у природы с Библией и её метафизикой?.. Нет, тут я неправ: общего у них много. Даже дуновение ветра на щеке побуждает меня с новой силой устремиться к чистой, здоровой жизни! А рассвет? А подснежник, проклёвывающийся из снега? А бабочка? А летний дождь и ясное небо после грозы? А наседка, собирающая цыплят под своими крыльями?.. Получается, что на самом деле в мире нет ничего обыденного, кроме нашей недоверчивой натуры, не желающей возлагать свои заботы на Незримого. Я беспокоюсь о своей духовной жизни, как ученики беспокоились о жизни телесной, когда не поняли слова Господа из-за того, что забыли захватить в лодку хлеба: они так боялись проголодаться, что не могли думать ни о чём, кроме еды».

Так размышлял священник по дороге домой, и эти размышления подвинули его к молитве, породившей новые мысли. Придя к себе в кабинет, он уселся за стол и там соткал, сплёл, связал воедино следующие строки, дерзнув покуситься на притворно лёгкое коварство сонета.

*Мне мнилось, что, покинув чувств юдоль,
Я ввысь взлетел, не видя ничего,
Как вдруг из тьмы до слуха моего
Донёлся дикий вопль: «Господь, доколь,
Доколь лежать мне в скверне и терпеть
Мученья от Твоих палящих стрел,
Не в силах ни вздохнуть, ни умереть?»
Внизу, в просвете слабом разглядел
Я жалкий труп в могильных пеленах.
Но тут рассветный луч сквозь мглу блеснул,
По мёртвым скалам прокатился гул,
И, брэнной жизни отряся прах,
Единым взмахом двух могучих крыл
Прекрасный ангел в небо воспарил.*

Но, как водится, по закону реакции, сразу же после рождения сонета обыденное снова вторглось в его мир, ещё напористее и правдоподобнее, чем раньше, и потому это вторжение показалось ему ещё более ужасным. Что за глупые, надуманные вирши он написал?

Уингфорд подхватил шляпу, трость и поспешил из дома, надеясь, что ему будет легче совладать с этим бесом на свежем воздухе.

Глава 9. Обыденное

Стоял вечер, и в воздухе ещё чувствовалось тепло. На улице никого не было, кроме багрового солнца, которое так ослепило его, что какое-то время он видел перед собой лишь огромные светящиеся пятна. Почти все магазины уже закрылись, однако вскоре Уингфорд с удивлением заметил, что его новый друг-мануфактурщик ещё торгует, хотя всегда ратовал за то, чтобы вечером закрываться пораньше. Правда, ставни его лавки были уже заперты, но дверь стояла нараспашку. Он заглянул внутрь. Ослепшим от солнца глазам лавка показалась особенно тёмной, но он разглядел в глубине мистера Дрю, который с кем-то разговаривал.

Уингфорд переступил через порог. Да, он не ошибся: за прилавком стоял сам мануфактурщик, беседуя с бедно одетой женщиной, державшей на одной руке малыша, а на другой – только что купленный отрез ситца. Священник облокотился на прилавок, решив подождать, пока его друг освободится.

«Может, мистер Дрю – это ещё не проклюнувшийся ангел? – подумал он, вторя внезапно возникшему ощущению. – А его лавка – куколка, откуда вылупится великая душа? Что если этот мануфактурщик с круглым, добродушным лицом, по которому от улыбки разбегаются весёлые морщинки, однажды расправит грозные крылья и рассечёт ими воздух до самого Божьего престола?»

– Знали бы вы, как мне не хочется брать у этой женщины деньги! – неожиданно услышал он голос мистера Дрю над самым своим ухом и, очнувшись, увидел, что перед ним стоит его бескрылый товарищ, а его покупательница ушла.

– Правда, наценки я с неё не взял, – продолжал мистер Дрю с радостным смешком. – За что сам купил, за то и ей продал. На большее не решился.

– И в чём же тут опасность?

– Кому как не мне знать, как полезно человеку немного потрудиться, чтобы получить то, что ему нужно. Я уже не раз убеждался, что

это медвежья услуга – облегчать жизнь бедным; ну, разве только в больнице или в полной нищете.

– Так вы не всем беднякам продаёте без наценки?

– Нет, только солдаткам. Уж очень им, бедняжкам, тяжело приходится.

– И давно вы взяли это себе за правило?

– Да уж лет десять. Только они об этом ничего не знают.

– Так это для них вы до вечера держите лавку открытой?

А я думал, вы ревностный сторонник того, чтобы магазины в Гластоне закрывались пораньше.

– Я вам расскажу, из-за чего это произошло сегодня, – ответил мануфактурщик, развернулся – не длинным левым ухом вокруг оси своего черепа, а всей своей персоной вокруг оси прилавка (если нам будет позволено вслед за Вордсвортом немного повольничать со словом «ось»³³) и запер дверь на засов. – В общем, когда мои приказчики закрыли ставни и разошлись по домам – запираю-то я обычно сам, – продолжал он, возвращаясь к прилавку, – я отчего-то задумался. На улице было ясно, солнечно, но в лавке света было ровно столько, чтобы я увидел, как в ней угрюмо без солнечных лучей. В дальней части так и вовсе было темно. И очень тихо – так тихо, что сама тишина словно превратилась в сумрак... Вы уж простите меня за такие сентиментальные речи, но не может же человек всегда быть мануфактурщиком! Надо же и ему иногда позволить себе какую-нибудь глупость! Вот, помню, лет тридцать лет назад я любил читать Теннисона. По-моему, я был одним из самых ранних его почитателей.

– Глупость,.. – задумчиво повторил Уингфорд.

– Видите ли, – продолжал мануфактурщик, – когда торговля заканчивается и в лавке наступает тишина, в этом всегда есть что-то торжественное. Когда я чувствую это больше, когда меньше, но сегодня мне почему-то показалось, что лавка моя похожа на часовню, словно в самом воздухе витало что-то такое... Вот я и задумался, а дверь запереть позабыл. Уж не знаю, с чего всё началось, только перед глазами у меня встала вся моя жизнь, и я вспомнил, как раньше,

33 Аллюзия на поэму Уильяма Вордсворта «Питер Белл». В оригинале речь идёт об ослике, который «длинным левым ухом медленно поворачивается вокруг оси своего черепа»: “Only the Ass, with motion dull, / Upon the pivot of his skull / Turns round his long left ear”.

в молодости, презирал дело отца (которое он собирался передать мне) питая своё воображение мечтаниями о более благородной стезе. Потом я вдруг понял, что, должно быть, отчасти именно это и заставило меня по дурусти жениться на миссис Дрю. Её отец, вдовец, был одним из докторов в нашем городке. Он, бедняга, и сам был болен, так что практика у него была маленькая; когда он умер, дочь его осталась без средств – и, я думаю, только поэтому и согласилась выйти за меня замуж. Что было дальше, вы знаете: она сбежала от меня с коммивояжёром одной крупной фирмы в Манчестере. С тех пор я ничего о ней не знаю.

После того, как она ушла, я словно заболел: меня охватило лихорадочное стремление к самосохранению. Признаюсь, уход жены принёс мне не только горе, но и некоторое облегчение. Она всегда презирала мою торговлю, я же в ответ рьяно защищался – и ещё более рьяно из-за того, что в глубине души сам презирал своё занятие. Мы постоянно ссорились. Я не проявлял достаточного снисхождения к тому, сколько она лишилась, превратившись из дочери врача в жену торговца. Я забыл, что даже если она была виновна в том, что вышла за меня ради куска хлеба, сам я был повинен в том, что женился на ней ради улучшения своего положения. Когда она ушла, в доме воцарилось долгожданное затишье, и в пустоте этого затишья ко мне в сердце вселился нечистый дух себялюбия, приведя с собой семерых ещё более злейших духов. С тех пор у меня было только две заботы: сохранность моей души и хорошее обеспечение для тела. Я начал ходить в церковь, как уже и говорил, стал немного прижимистее в делах и принялся понемногу откладывать деньги. Так всё и продолжалось, пока в воскресенье я не услышал вашу проповедь; будем надеяться, что она заставила меня потянуться к чему-то лучшему...

Я вам всё это рассказываю, чтобы вы поняли, о чём я думал и что чувствовал, когда в лавке появилась эта женщина. В тишине и сумраке мне и правда показалось, что я стою в часовне. Я даже начал бессознательно прислушиваться, не зазвучит ли орган. А потом мне на ум вдруг пришли слова одного гимна – уж не знаю, где и когда я его слышал, но запомнился он мне хорошо:

*Позволь у двери мне стоять,
Чтоб грех войти в неё не мог,
И Ты свободно мог ступить
На непорочный Свой порог.*

Понятно, что здесь говорится о двери и храме сердца, но почему-то сегодня у меня в голове всё смешалось и перепуталось, и мне показалось, что я стою привратником возле дверей своей лавки, а сама лавка, чей дальний конец тонул в священном полумраке, – это храм Святого Духа, и я не должен допускать в неё никакой грех. И с этой мыслью меня объяло великое благоговение: что если... что если Бог и в самом деле здесь и в тишине думает рядом со мной, и знает всё, что в таится во тьме? Я прислонился к прилавку, опустил голову на руки и продолжал то ли думать, то ли молиться, как вдруг в душе моей словно вспыхнуло жгучее желание: Ах, если бы мой дом и в самом деле мог стать святым местом, осенённым Его присутствием! «А почему бы и нет? – откликнулось что-то внутри меня – то ли сердце, то ли разум, то ли что-то иное, ещё более глубокое. – Разве дело твоё нечисто? Разве желания твои низменны? Разве ты нечестно продаёшь и покупаешь? Разве ты трудишься только для себя, ничем не помогая ближнему? Разве незаконно твоё призвание? Не от Бога ли ты получил его? Но если призвание от Бога, а Его Самого с тобой нет, значит, ты следуешь законному призванию незаконным путём». В общем, снова к исходной точке. «Видит Бог, я хочу благочестиво исполнять своё призвание, – подумал я. – Ведь сейчас я как раз к этому и стремлюсь!» Но только хоть это и правда, почему-то мне было этого мало. Мне уже мало было благочестиво делать своё дело, даже пред Божьими очами. Неужели никак нельзя сделать его подлинно благородным? Неужели после встречи с Иисусом дело Закхея так и осталось презренным и презираемым? Неужели нельзя сделать мою торговлю христианской? Неужели в храме не найдётся уголка, в котором можно было бы продавать и покупать, не боясь того, что тебя изгонят бичом из верёвок?..

Тут слышались чьи-то шаги. Я поднял голову, увидел нищую солдатку с ребёнком на руках и немедленно разозлился: на неё из-за

того, что она застала меня в такой позе, словно я был пьян или в отчаянии, и на себя, что забыл запереть дверь. В такие минуты я часто бываю несправедлив, и резкое слово уже дрожало у меня на губах, как вдруг что-то заставило меня обернуться и посмотреть в сумрачные глубины лавки. В то же мгновение я понял: Бог ждёт, чтобы посмотреть, насколько искренними были мои слова.

Да, да, именно это я и почувствовал; надеюсь, это не дерзость – говорить такое. Бедняжка явно перепугалась (наверное из-за моего вида и из-за того, как я вскинулся) и, должно быть, подумала, что я выжил из ума. Я немедленно поспешил к ней и выслушал её так, будто она была герцогиней – или нет, не герцогиней, а ангелом Божиим; мне тогда и впрямь показалось, что передо мной ангел. Ей нужен был отрез тёмного ситца в горошек; она углядела его у меня в лавке ещё пару месяцев назад, только денег у неё тогда не было. Я перевернула весь товар, что был на полках, и уже почти отчаялся, но в конце концов всё-таки нашёл именно тот отрез, о котором она так долго мечтала, и ткани в нём как раз хватало на платье! Но всё время, пока я его искал, мне чудилось, будто я служу самому Богу или, по крайней мере, делаю что-то по Его слову. Я понимаю, вам всё это может показаться нелепым...

– Да что вы! – возразил Уингфорд.

– Вот и хорошо, что нет. А то я немного боялся...

– Даже если бы речь шла о сущем пустяке, я всё равно никогда не назвал бы его нелепостью, – продолжал священник. – Но только бессердечный человек осмелится назвать пустяком желание угодить неимущей женщине, которая, должно быть, раздражается куда чаще, чем радуется. Она мечтала об этом платье, и вы не поленились исполнить её мечту. Кто знает, какие ростки это породит в её душе? Даже мне стало лучше из-за того, что я услышал эту историю.

– Да, по-моему она была довольна, – задумчиво произнёс мануфактурщик. – А уж как я был доволен – ещё больше неё! И так благодарен ей за то, что она пришла, что и передать нельзя!

– Я начинаю подозревать, – помолчав, заговорил Уингфорд, – что обыденные дела повседневной жизни и есть те самые возвышенные пути, по которым людей достигает небесная закваска. В том, что

вы продали этой женщине её ситец, было куда больше подлинно духовного, чем если бы вы, во имя Господне, привели её с собой в церковь и пели с ней из одного сборника.

– Хотя от этого я бы тоже не отказался, будь у меня такая возможность, – сказал мистер Дрю. – Вы не подумайте, сэр, что наш пастор плохо проповедует, пусть даже сам я мало чему от него научился. Хоть я безмерно вам обязан, сэр, а всё равно у нас в церкви мне нравится больше, и я думаю, что мы ближе к истинному пути. Перебежчиком мне быть не хочется, и я не собираюсь ради вас оставлять нашего мистера Дрейка. Дьяконом я быть больше не могу, но общину свою не покину.

– И правильно сделаете, – одобрил его Уингфорд. – Пользы от этого никакой, один вред. Я как раз на днях читал, что наш Господь говорил о тех, кто непременно пытался перетащить других на свою сторону... Что ж, прощайте!

Глава 10. Снова дома

Уингфорд вошёл в лавку мануфактурщика в полыхающем зареве летнего заката, но на его плечах сидел бес неверия, и хотя ближе к сердцу священника он подобраться не мог, этого было достаточно, чтобы превратить «царственный свод, выложенный золотой искрой», в «скопление вонючих и вредных паров»³⁴. Когда же Уингфорд вышел, солнце уже опустилось за горизонт, и его великолепие угасло на западном краю неба, но донимавший священника бес бесследно исчез, и бурые перья сумерек были не менее прекрасны, чем крылья серебристой голубки, вспорхнувшей в небо из каменной громады каминных труб.

34 У. Шекспир, «Гамлет», акт II, сцена 2.

«Либо Бог есть, и именно в Нём заключена вся совершенная истина и красота, – рассуждал Уингфорд сам с собой, шагая домой, – либо вся поэзия и искусство – лишь случайно выросший цветок без корня и почвы, возвышающийся над более-менее симметричной грудой камней. Тех, кто не видит красоты в его лепестках и не чувствует аромата его дыхания, вполне удовлетворит такое положение вещей, но тот, чьё сердце при виде его переполняется, непременно решит, что у него всё-таки есть корни и уходят они намного глубже».

Надо сказать, что поиски священника уже успели значительно расширить сферу его сомнений. Однако чем шире поле, тем более вероятность отыскать на нём кротовую нору, и если истина действительно существует, то каждое новое сомнение становится ещё одним знаком, указывающим на её обитель. Так рассуждал сам с собой священник, когда, завернув за угол, неожиданно, нос к носу, столкнулся с Джорджем Баскомом.

Молодой адвокат, распрямив статные плечи, с радушной готовностью протянул ему широкую ладонь, и они пожали друг другу руки, что даже в их случае я не могу признать таким уж отъявленным лицемерием, каким считают сию церемонию итальянцы и испанцы.

– Я так и не поблагодарил вас за ту огромную услугу, которую вы мне оказали, – первым заговорил Уингфорд.

– Весьма рад это слышать. Только...

– Я имею в виду то, что вы открыли мне глаза на моё истинное положение.

– Ах, вот вы о чём! Я не сомневался, что стоит лишь развернуть вас в верном направлении, и вы сами во всём разберётесь. И когда же... то есть... я... Простите, я чуть было не нарушил все приличия, спросив вас, когда вы собираетесь оставить своё место. Ха-ха!

– Пока не собираюсь, – ответил Уингфорд на этот одновременно заданный и взятый назад вопрос. – Чем глубже я исследую суть дела, тем больше у меня оснований надеяться на то, что мне удастся... э-э... и далее исполнять свои обязанности.

– Неужели?

– Чем дальше я продвигаюсь, тем больше убеждаюсь, что если я не найду объяснения и оправдания жизни в учении Церкви, то мне

не найти их ни в каком ином месте – и уж, во всяком случае, не в том, что проповедуете вы.

– Но что если это учение окажется неправдой! – воскликнул Джордж в порыве полублагородного возмущения.

– Но что если оно окажется правдой, даже если вам никогда не удастся этого увидеть? – возразил Уингфорд, и уже через секунду двое молодых людей были друг от друга на расстоянии десяти шагов, как будто какой-то взрыв отбросил их в разные стороны.

«Если я не могу доказать, что Бог есть, – сказал себе Уингфорд, – то и он не может доказать, что Его нет».

Но тут ему в голову пришла ещё одна мысль: «Только ведь он скажет, что поскольку видимых признаков существования Бога нет, бремя доказательства лежит на мне». И с этой мыслью Уингфорд понял, насколько бесполезно что-то доказывать человеку, который, не видя Бога, не испытывает ни малейшего желания Его увидеть. «Нет, – твёрдо решил он про себя, – моё дело не в том, чтобы доказывать существование Бога, а в том, чтобы найти Его самому. Вот когда я найду Его, тогда и буду думать о том, как лучше показать Его людям». С этими словами мысли его вновь вернулись к мануфактурщику.

Придя домой, он принялся было отделять свой сонет, но вскоре понял, что должен сначала облегчить душу, написав новое стихотворение.

*Мне снилось: в гулкой церкви я сидел.
Горели свечи тихо и светло,
Светилось тускло витражей стекло,
А на кресте над алтарём висел
Тот, кто за нас Себя не пожалел.
Священники сновали тут и там,
Степенно люди заходили в храм,
И каждый поклонялся, как умел.
Прислужница хромая день-деньской
К дверям сметала пыль от ног чужих.
Вдруг незнакомец, строгий и простой,
Идёт к старухе меж колонн немых.*

*«Ты хорошо метёшь Мой дом!» – Он ей сказал.
«То сам Господь!» – воскликнул я, и сон пропал.*

Мне кажется, если бы можно было заставить соловья замолчать так, чтобы он мог дышать, но уже не мог петь, он, наверное, немедленно упал бы с ветки и умер от песни, распирающей его изнутри. Может быть, так же умирают и некоторые люди, я не знаю; может быть, лучше умереть, чем жить, докучая своим друзьям тем, что никак не удержать внутри. Как бы то ни было, если кто-то из нас, к собственной радости, окажется способен выразить себя в любой доступной человеку форме, то пусть благодарит за это Бога; а если он не отнесёт свои стихи издателю, у него будет ещё один повод для благодарности: ведь для него самого ценность написанных строк не станет от этого меньше.

Так, по крайней мере, казалось Уинфолду. Он опять вышел из дома, прошёл на кладбище и уселся на какой-то камень. «Как странно, – размышлял он. – Вот эта каменная церковь рождена чьей-то верой. Мою же веру пока видно лишь в паре-тройке неумелых стишков. Правда иногда я чувствую, что сердце моё словно горит изнутри... Ах, как бы мне хотелось точно знать, что его зажгли именно Его слова!»

Глава 11. Находка

– Мистер Уинфолд, – сказал как-то вечером Полварт, взяв в свои руки то, что обычно оставлял своему другу, а именно: инициативу, – мне хотелось бы рассказать вам нечто такое, что я не хотел бы говорить даже при Рейчел.

Вслед за ним священник прошёл в его маленькую комнатку. Они уселись там, на ветхом тенистом чердаке, сквозь стены которого пробивался плющ и куда через открытое окошко в крыше дул вечерний ветер, прилетевший с беспредельного запада, неся с собой чудный аромат

жимолости и мешая его с запахом старых книг. Деревья скрывали небо, и в крохотном человечесьем гнезде было темно.

– Я открою вам один секрет, мистер Уингфорд, – начал карлик чуть ли не шёпотом, с обеспокоенным лицом. – Вы оцените всю силу моего к вам доверия, когда я скажу, что собираюсь рассказать вам то, в чём явно содержится чужая тайна.

С этими словами лицо его побледнело, в его взгляде появилось нечто похожее на страх, но он продолжал прямо смотреть в глаза священнику, и голос его не дрогнул.

– Как-то ночью, несколько недель назад – если будет нужно, я смогу точно сказать вам, когда это было, – я никак не мог уснуть. Со мной это бывает довольно часто, и иногда я просто лежу без сна, спокойный и счастливый, как птенец под крылом матери, но иногда мне просто необходимо встать и выйти из дома, потому что без воздуха мне почти так же худо, как пьянице без выпивки. В ту ночь моя бедная, стеснённая душа никак не хотела успокаиваться, пока по её лёгким не потечёт хоть немного свежести. Я оделся и вышел. Ночь была безветренная, тёплая, безлунная, но звёзд было много, и ветер дул как сейчас, нежный, душистый и прохладный – как раз такой, какого так жаждало моё тело. Я прошёл в парк и, стараясь не наткаться на деревья, зашагал куда глаза глядят. Трава мягко обвевала мне ноги, сумерки ласкали глаза, а ветер душу; я мог дышать, вокруг меня был простор, у меня были время, тишина, одиночество, и я чувствовал себя даже счастливее, чем обычно. Я шёл всё дальше и дальше, не разбирая дороги и не думая о том, куда я иду, зная, что пока на небе видны звёзды, я всегда найду дорогу обратно.

Так я бродил, примерно, с час, как вдруг ночной воздух прорезал далёкий крик. В самом его тоне было что-то неопишимо жуткое, и я содрогнулся от ужаса, прежде чем сообразил, что это человеческий вопль. Я развернулся и пошёл туда, откуда, как мне показалось, он раздался; бежать я не могу, потому что сразу начинаю трястись, задыхаться и тогда уже не могу сделать ни шагу. Через несколько минут я понял, что приближаюсь к той самой лощине, где стоит старый гластонский особняк, уже лет двадцать как заброшенный. «Может, кричали в доме, – подумал я, – и как раз из-за этого вопль показался мне таким далёким?»

Я немного постоял, прислушиваясь, но вокруг всё было тихо. «Надо зайти внутрь и посмотреть, – подумалось мне. – Вдруг кому-то нужна помощь?» Немудрено, что вы улыбаетесь, мистер Уингфорд: помощник из меня действительно никакой, особенно если вдруг понадобилось бы с кем-то драться!

– Напротив, – ответил Уингфорд. – Я улыбнулся, восхищаясь вашей смелостью.

– По крайней мере, – продолжал Полварт, – по сравнению с некоторыми у меня есть одно преимущество: я не могу обманываться, воображая, что это несчастное, жалкое тело требует о себе какой-то иной заботы кроме того, что предписывает самый элементарный долг. Ибо что оно такое, как не потрескавшийся сосуд?.. В общем, я спустился в лощину, вошёл за ограду сада и через спутанные кусты пробрался к дому. Я хорошо знаю это место, потому что бывал там много раз и подолгу. Однако не успел я подойти поближе, как вдруг сзади раздалась шаги, и я тут же нырнул в заросли крыжовника и смородины. Иногда быть карликом даже полезно: один шаг в сторону, и меня уже не было видно. Тут ночь снова рассклалась надвое диким криком, доносившимся изнутри. Дыхание моё занялось, но я не успел даже вздохнуть, как мимо меня пролетела высокая женская фигура и, с трудом пробившись через кусты, подскочила к крыльцу. Немедленно последовав за ней, я увидел, как она взбежала по ступенькам, и услышал, как дверь открылась и снова захлопнулась. Как можно беззвучнее я отворил дверь вслед за женщиной, но не сделал и шага по тёмному коридору, как сверху раздался третий душераздирающий вопль, и в гулкой пустоте безлюдного дома я услышал на лестнице быстрый стук ног и шелест платья.

Как я уже сказал, дом тот я знаю довольно хорошо, но от волнения я никак не мог сориентироваться. Однако стоило мне вспомнить, как расположены комнаты, я поспешил наверх и, поднявшись по ступеням, остановился было в нерешительности, не зная, в какую сторону свернуть, но тут в темноте опять раздался тот же безумный крик, так что меня с ног до головы прошила дрожь. Как мне передать вам весь его ужас? Это был вопль терзающейся души; я ещё ни разу не слышал из человеческих уст ничего подобного. Меня знобит даже сейчас, когда

я вспоминаю, как он пугающим эхом заполнил весь дом, цепляясь за стены и разлетаясь по коридорам. Потеряв голову, я бросился сам не зная куда, как вдруг из-под одной из дверей мелькнула полоска света. Я неслышно подкрался к ней, огляделся и тут же сообразил, где нахожусь: я стоял внутри маленькой гардеробной, ведущей в одну из комнат.

Поскольку в мои обязанности входит охранять Остерфильдский парк, а здесь явно происходило что нехорошее – иначе кто бы стал так дико кричать в доме, который, хоть и давно заброшенный, всё равно принадлежит моему хозяину? – я чувствовал, что имею полное право выяснить, в чём тут дело. Я приложил ухо к двери и отчётливо услышал, что говорит девушка. Голос был милый и женственный, хотя в нём явно слышалось героически сдерживаемое страдание; нет, даже агония. Он утешал, уговаривал, увещевал, упрашивал. С ним переплетался голос то ли мальчика, то ли юноши, безумный и лихорадочный, но такой тихий, что порой его и вовсе не было слышно, да и вообще я не мог разобрать ни одного их слова. Понятно было одно: либо этот мальчик бредит в горячке, либо ему не дают покоя страшные мысли, потому что в его голосе явственно звучало отчаяние.

Какое-то время я стоял и слушал, смущённый, замороженный и перепуганный. Но вскоре мне почему-то начало казаться, что оставаться там дальше я не вправе. Юноша явно от кого-то скрывался, а когда человек скрывается, этому всегда есть причина, и мне не следует совать свой нос в чужие дела. Я потихоньку выбрался из дома, поднялся из ложины и там ещё раз глубоко вдохнул в себя свежий ночной воздух, такой чистый, будто он омывал мир перед началом нового дня. Но для меня этот мир утратил всякую радость. Я отправился домой, улёгся в постель, только вот принести с собой хоть немного покоя мне не удалось: я знал, что должен что-то сделать. Только вот что? Любые мои действия наверняка принесут ещё большие беды тем, кто и без того оказался в беде. Может быть, эта подозрительная ситуация объясняется самым невинным образом? Может, с этим юношей случился приступ, и такой внезапный, что он просто не смог добраться до другого жилья? И может, эта девушка – его жена, которая, оставив больного, немедленно побежала за помощью, но так и не смогла

найти никого, кто мог бы ей помочь? Нет, как бы странно всё это ни выглядело, всё наверняка объясняется самым простым образом! Может быть, утром мне удастся как-то им помочь. Эта зыбкая мысль немного успокоила меня, и я ненадолго забылся беспокойным сном.

Утром, наскоро выпив чаю, я поспешил к старому особняку. По дороге я слышал, как на строительстве стучат молотками рабочие, но в остальном всё было тихо. День казался таким честным и таким невинным, что мне и самому трудно было представить, как ушедшая ночь могла таить под своим покровом такие ужасы. Но стоило мне завидеть ветхий конёк прохудившейся крыши старого особняка, как даже при ясном утреннем свете по моему телу пробежала холодная дрожь. Зайдя за ограду сада, я принялся распевать и шуршать в кустах, а войдя внутрь, с громким стуком прошествовал по всему нижнему этажу, прежде чем подняться наверх. Я намеренно заглянул во все двери и прошёл по всем коридорам, чтобы как следует предупредить о своём появлении, и только после этого приблизился к той двери, из-за которой накануне раздавались голоса. Я постучал. Ответа не было. Я постучал ещё раз. Мне снова никто не ответил. Я открыл дверь и заглянул внутрь. Там никого не было. Передо мной стояла лишь старая кровать. Я обшарил все углы, но не обнаружил ни единого следа человеческого присутствия – кроме одной вещицы, которую я нашёл за кроватью; хотя, вполне возможно, она такая же старая, как и матрас, а уж его я помню с того самого раза, когда впервые оказался в особняке.

С этими словами Полварт протянул священнику маленький кожаный чехол. Судя по форме, он никак не мог быть чехлом для ножниц, хотя ни сам Полварт, ни его друг никогда не встречали такого ножа, которому он мог бы подойти.

– Можно, я отдам его вам, мистер Уингфолд? – снова заговорил привратник, пока священник рассматривал находку. – Мне от него не по себе. Мне тошно даже от одной мысли о том, что он лежит у меня дома, но почему-то сжечь я его тоже не могу.

– Я совсем не против взять его на хранение, – ответил Уингфолд.

Только почему с этими словами перед его внутренним взором возникло лицо Хелен Лингард, какой он уже дважды видел её в старой

церкви, – бледное, измученное, с большими глазами, сильно изменившееся, но дышащее новым, высоким достоинством? Тогда он ощутил мертвенную силу её безучастности, и ему даже пришлось отвернуться, чтобы не начать думать, что вся его проповедь – лишь пустые слова, брошенные на ветер или развеянные по пустыне, где им не ответит ни один человеческий голос. Почему же сейчас он подумал именно о ней? Просто потому, что её тревожное, бескровное лицо тронуло его, заставило трепетать какую-то струнку его сердца то ли простым человеческим участием, то ли мужской нежностью к страдающей женщине? До сих пор мысли о ней не вызывали у него ни малейшего интереса; так почему же он вспомнил о ней сейчас? А что если... Боже мой! Ведь у неё болен брат! И разве Фабер недавно не рассказывал, что в характере его болезни есть что-то странное и необычное? Что же всё это значит? Нет, конечно, это невозможно... И всё-таки... всё-таки...

– Как вы думаете, – спросил он, – должны ли мы попытаться разузнать, в чём тут дело?

– Если бы я так думал, то не стал бы так долго держать всё это в секрете, – ответил Полварт. – Мы не должны вмешиваться в чужие дела, но при этом нам следует быть готовыми на тот случай, если секрет раскроется сам собой, и у нас появится возможность оказаться полезными. А пока – мне стало гораздо легче после этой исповеди!

Глава 12. Призыв

Пока Уингфолд шёл домой, в его прежние размышления влилась новая струя. Им завладело человеческое страдание – не его собственное, и не страдание человечества, а страдание мужчин и женщин. Тайное оно было или явное, не имело значения: в мире существовали сердца, чьи терзания вырывались наружу безумными воплями, и чья тоска отражалась на безрадостных лицах, как у Хелен Лингард. Может быть, такие сердца стенают и корчатся от боли и в тех домах, мимо которых он шагает, и даже если бы сердца эти были ему известны, даже если бы он знал, что за вампир сосёт из них кровь, он ничего мог бы сделать ради их облегчения.

Ему действительно трудно было вообразить, во что превратится жизнь такой леди, как мисс Лингард, со всех сторон охраняемой комфортом, если в тихое течение её реки, струящейся меж мирных лугов, вдруг ворвётся устрашающее чудовище, поднявшееся из древнего океана хаоса. А сколько их, должно быть, в мире – сколько их даже на британских островах – даже в Гластоне! – этих людей, чьи сердца, пусть не разрываемые угрызениями совести и не сокрушённые тяжким чувством вины, всё равно осознают собственную желчность, но не знают никого, кто мог бы своей лучезарностью осветить их тёмные углы!

Уингфолда охватила печаль о судьбах своих собратьев. Он всегда был человеком добрым, но до сих пор никогда не помышлял ни о чём подобном. У него были свои беды и он, как мог, с ними справлялся; вообще, люди должны сталкиваться с неприятностями, иначе они станут невыносимыми из-за своей гордыни и наглости. Но теперь, когда Уингфолд впервые увидел проблески света в дальнем конце мрачной пещеры, где он, как недавно обнаружилось, был похоронен заживо, одновременно он начал ощущать, как несчастны должны быть те, кто бредёт по жизни на ощупь, без единой искры надежды в незрячих глазах.

Уингфолд не совершил ни одного преступления, но сделал достаточно для того, чтобы познать горечь стыда и бесчестия, и потому,

если в сердце мира всё-таки не окажется любящего человеческого сердца, с радостью (если она вообще возможна при таком положении дел) принял бы теории Джорджа Баскома, чтобы упасть в челюсти мрака и стигнуть навеки. Насколько же хуже должно быть тем, кто совершил какое-нибудь ужасное злодеяние, или такое злодеяние совершил кто-то из близких и дорогих им людей! Найдётся ли им облегчение, надежда, просветление? Сколько червей тревоги и страданий постоянно вылупляется в гадючьем гнезде человеческого сердца! Нет, ему непременно нужно какое-то убежище! И если Спаситель ещё не приходил, измученный мир человеческих сердец громко взывал о его приходе невыразимыми стенаниями. Что бы сделал Баском, соверши он убийство? Или соверши убийство кто-то другой, что он мог бы сделать для него? Даже если всё это выдуманная басня, то, по крайней мере, выдумали их из-за того, что люди нуждаются в Спасителе, к Которому может прийти любой, немедленно, без рекомендаций и верительных грамот. Но нет, если всё это ложь, те, кому действительно нужна была помощь, не могли её придумать: ведь им даже сейчас нелегко в неё верить. Да, миру сильно не повезло, если в нём нет того, кто своим прощением мог бы остановить содеянное зло! Только что пользы в этом прощении, если осознание совершённого преступления продолжает жечь преступнику душу? Да и кто пожелает, чтобы дорогой ему человек перестал чувствовать весь ужас того, что натворил? Как можно радоваться тому, что преступный друг снова научился смеяться, потому что наконец-то отогнал от себя воспоминание о своей скверне? Неужели друзьям будет приятно видеть его возрождающееся самодовольство, и они станут искать его общества из-за той мудрости, которую он почерпнул в познании зла? Скорее, наоборот: тот, кто усерднее всех старался утешить преступника в муках совести, сейчас первым отшатнётся от его порога... Но если Бог есть – и такой Бог, Который, как учат христиане, послал в мир собственного Сына, позволил Ему появиться среди нас в одеждах человеческой плоти, которую так легко пронзить, что-бы Он принял на Себя на себя всё, что ждёт бога послушания среди сынов противления, поглощая их грехи Своим бесконечным терпением и возвращая их Отцу медленным, малообещающим и утомительным обновлением, – то, уж конеч-

но, такой Бог не стал бы творить людей, если бы знал, что некоторые из них согрешат так, что даже самая преданная Его любовь не сможет искупить их от ужаса содеянного!.. И с этой мыслью в памяти его встали слова: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас».

Сердце его переполнилось. Он принялся усердно размышлять над ними и, придя домой, отыскал их в Евангелии. Неужели какой-то человек и вправду произнёс такие слова? Если да, то либо он был самым самонадеянным из смертных, либо действительно мог сделать то, что обещал. А если так, то увидеть такого Человека и не поверить ему – значило бы погубить в себе самую способность верить и уже никогда и никому не доверять. А ведь Он по самой Своей безгрешности должен знать, что ничто не выматывает и не давит так тяжело, как зло и преступление, и что Сам Он способен в полноте праведности, не прибегая к уловкам забвения или фальшивого самомнения, снять с людей это сокрушительное бремя и дать им покой.

«И при всём этом, – подумал священник с некоторой долей самобичевания, – на каждого, кто отправится к Нему, чтобы обрести покой, найдётся тысяча вопрошающих: “И как же Он это делает?..” Как будто они способны это понять!»

Глава 13. Проповедь для Хелен

Всю оставшуюся неделю Уингфорд продолжал думать, и посреди этих размышлений перед ним постоянно возникало страдающее лицо Хелен Лингард, а с ним – всё более крепнущее подозрение, что за ним кроется какая-то гнетущая и, может быть, страшная тайна. Однако он не предпринимал ни малейших усилий узнать, что это за тайна, и не задавал никаких вопросов, которые могли бы подтвердить или рассеять его опасения. Он решил, что не станет исподтишка заглядывать к ней в окно, но будет как можно дальше и шире разбрасывать все семена утешения, которые сумеет отыскать, в надежде, что хотя бы некоторые из них упадут к ней в сад.

Когда в воскресенье он встал с колен с честным, преданным, полным дружелюбия сердцем и, взойдя на кафедру для проповеди, поднял голову и оглядел прихожан, глаза его лишь на мгновение задержались на том бледном, тревожном лице, чьё отражение последнее время так часто мелькало в волшебном зеркале его памяти. Далее они скользнули по самодовольному, холёному, красивому и умному лицу её кузена, явно говорившему о сытой и спокойной совести, привольно развалившейся в мягком кресле; затем заметили сварливое, увядающее лицо миссис Рамшорн, немедленно поспешили дальше и, немного поблуждав, остановились на круглой, добродушной физиономии мануфактурщика, чей ясный лоб осеняло облако задумчивости. Напоследок Уингфорд посмотрел назад, на общие скамьи, и увидел там обоих карликов. Рейчел пришла впервые, и Уингфорд невольно заметил, что выглядит она ещё слабей более и нездоровей, чем обычно. «Ей бы лежать в постели, а не сидеть в церкви», – подумал он. Её дядя тоже выглядел болезненнее обыкновенного. И тут Уингфорду подумалось, что кафедра даёт ему прекрасный обзор человеческой природы, и люди обнажают перед проповедником куда больше своих подлинных мыслей и чувств, чем им кажется, – даже до начала проповеди! Выражения их лиц вторят их внутреннему состоянию, ибо церковь не только объединяет, но и обособляет людей, и никакие сиюминутные чувства и впечатления не мешают видеть их истинную

сущность. Когда Полварт беседовал с другом, всякая болезненность его лица растворялась в исходящем изнутри сиянии; когда же он сидел вот так неподвижно, первое, что посторонний читал в его лице, было мужественное терпение.

Всё это пронеслось в голове священника за несколько секунд перед тем, как он начал говорить, и его снова охватило ощущение – грустное, хотя оно и не должно быть грустным, – что ни одно из этих сердец не может облегчить страдания другого. Его глаза наполнились слезами, и душу затопило сострадание к своей плоти и крови, словно дух его готов был излиться в потоке заботливой нежности и утешения. Он поспешил заговорить, боясь, что ещё мгновение, и он не сможет с собой справиться. Как обычно, в начале его голос слегка дрожал, но вскоре страстная убеждённость пробила наружу, и он зазвучал сильнее. Вот что он говорил:

– Судя по всему, тот необыкновенный Человек, про которого написано, что Он ходил по Палестине с учением и проповедями, испытывал куда большее сострадание к внутренним скорбям своих собратьев, нежели к их телесным страданиям. Разве Он не мог единым словом уничтожить на земле все боли и болезни? Однако почему-то чаще всего, если не всегда, Он исцелял людей только в ответ на молитву, да и то ради какого-то глубинного, духовного исцеления, сопровождавшего выздоровление тела. Не может быть, чтобы Он плакал о том мертвце, которого с минуты на минуту собирался вызвать из могилы. Что могло вызвать эти слёзы, как не сострадание и жалостливое сочувствие к печали его сестёр и друзей, не имевших той внутренней радости, что давала силы Ему самому; как не мысль о страданиях и муках тех, кому приходится смотреть в лицо смерти, о множестве значений любви, о прерванных поколениях, о чёрной скорби утраты, гуляющей по изменчивому миру человеческих сердец с того самого времени, когда первый человек был сотворён по образу своего Отца?

Но есть беда куда страшнее, чем смерть, которая, я надеюсь, разлучает лишь на время и не способна навеки удерживать души друг от друга. Я говорю о невыносимом бремени сознательной нечистоты и совершённого зла: именно этот камень необходимо отвалить от гроба, чтобы человек воскрес к жизни. Вспомните, как Иисус

прощал людям грехи, тем самым снимая с их сердец тот давящий груз, что сковывал все их усилия. Вспомните, как ласково Он принимал тех, от кого отвернулись тогдашние религиозные власти: кающихся женщин, рыдавших от любви, коснувшейся их изболевшихся сердец; мытарей, знавших, что все их презирают от того, что они заслужили всяческого презрения. В Нём они искали и обретали убежище. Он спасал их от бури человеческого осуждения и жестокой стужи общественного мнения, даже если их собственные сердца соглашались со справедливостью этого суда. Он принимал их, и, несмотря на стыд и самоуничужение, внутри подымала голову жизнь, и начинал лучиться свет, сознательный свет света. Если Бог за нас, то кто против нас? Во имя Его они восстали из ада собственного осуждения и пошли по миру, творя истину в силе и надежде. Они услышали Его слова, поверили и исполнили их. И из всех сказанных в мире слов найдутся ли те, которые (в том случае, если они истинны) были бы добрее, милосерднее, смиреннее, прекраснее – или (в том случае, если всё это неправда) были бы более самонадеянными, унижающими человека и отвергающими Бога – чем те, о которых мне хотелось бы поговорить с вами сегодня? «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко».

Несомненно, такие слова – если только поверить им от всего сердца – отзовутся радостью в любой человеческой душе! Кто из нас хоть раз в жизни не причислял себя к трудящимся и обременённым? Вы, называющие себя христианами, якобы верите, что такой покой доступен на земле. Только почему многие из вас согбены до самой земли, но при этом на делают ни единого шага к Тому, Кто призывает их прийти, и не подымают глаз, чтобы посмотреть, не склоняется ли над ними Лик, дышащий милостью? Может быть, вы всё-таки не верите, что в мире действительно существовал тот, кого называют Иисусом? Вряд ли это так. На свете найдётся мало столь невежественных или нарочито непоследовательных людей, которые могли бы всерьёз усомниться в том, что такой человек жил на земле, или в том, что Он воистину произносил нечто подобное. Или, может, вас повергает

в сомнения то, что Он говорил о смысле и цели Своего пришествия? В таком случае, даже если предложенное лекарство кажется вам сомнительным, не лучше ли всё-таки попробовать его? Если уж Он произнёс эти слова, то, по меньшей мере, должен был сам верить в то, что способен их исполнить. Любой, кто хоть немного знает Его, ни на миг не усомнится, что этот Человек говорил лишь то, во что верил сам. Лучшие из иудеев хоть и не верят в Него, всё же считают Его хорошим, пусть и обманутым человеком. Неужели кто-нибудь станет лгать ради того, чтобы принять от людей презрение и поругание, стать мужем скорбей и изведать болезни? Что, как не уверенность в истине, способно было поддержать Его, когда Он знал, что даже друзья оставят Его, если уверуют в Его слова о предстоящей Ему доле?

Но, может, Он всё-таки ошибался, хоть и искренне?.. Только вряд ли человек способен ошибиться в том, есть ли у него на сердце мир, спокойна ли его душа. Точно так же, вряд ли он может ошибаться в том, откуда приходит к нему этот покой, из какого источника он черпает своё утешение. Даже скряга знает, что утешается своим золотом. Так неужели Иисус мог ошибаться, считая, что утешение приходит к Нему от Бога? Как бы то ни было, Он видел источник Своего покоя в послушании, в Своём единении с волей Отца. Знаете, друзья, если бы у меня был такой покой, какой я явственно вижу в Нём, неужели я не смог бы сказать, как я обрёл его?..

Кто-то возразит мне и скажет: «Несомненно, этот добрый человек утешался мыслью о своём Отце. Но ведь он вполне мог ошибаться, полагая, что такой Отец существует!».. Поймите меня правильно, друзья: я не осмеливаюсь заявлять, что точно знаю о существовании Отца, или полагаю, что Он существует. Я могу лишь сказать, что от всего сердца надеюсь, что на небесах у нас действительно есть Отец. Однако этот Человек утверждает, что знает это точно. Кто я такой, чтобы оспаривать Его слова? Как могу я, осознающий в себе столько неправды, воображать, что я честнее Его? Если Он говорит, что знает, я умолкаю и начинаю прислушиваться. Одно Его слово «Я знаю, что Он есть», перевешивает целую вселенную голосов, вопящих: «Я не знаю, и потому Его нет». И обратите внимание: Он хочет дать им Самого Себя, дать им самое лучшее, что у Него есть! Он не пытается подкупом добиться

от них повиновения Своей воле, но уверяет их в том, что всякого, кто будет поступать как Он, ждёт подлинное блаженство. Он хочет, чтобы они обрели покой – Его покой – из того же самого источника, откуда черпает его Он.

Ибо что значат эти Его слова: «Возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня»? Он не говорит: «Несите иго, которое Я возложу на вас, и исполняйте Мои слова». Я не стану утверждать, что Он никогда не произносил ничего подобного и порой не обращается к некоторым из нас с такими речами. Но здесь Он говорит нам нечто совсем иное; здесь заключена совсем иная истина. «Возложите на себя то иго, которое несу Я Сам; научитесь поступать, как поступаю Я, сверяя всё с волей Моего Отца и покоряя всё Его воле. Пусть Моя воля будет для вас лишь в том, чтобы исполнять Его волю: будьте кротки и смиренны сердцем, и вы обретёте покой душам вашим». И, несмотря на всю скорбь по человечеству, жившую в Его сердце, и перед лицом ожидавшей Его смерти Он всё равно говорит: «Ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко». Из-за чего это иго было для Него благим, а бремя лёгким? Из-за того, что этим игом была воля Отца.

Кто-то возразит и скажет: «Любой праведник, веровавший в Бога, мог бы сказать нечто подобное. Только мне-то от этого какая польза?» Но ведь этот Человек говорит: «Придите ко Мне, и обретёте покой», обещая дать всякому приходящему ту помощь, которая нужна ему более всего. Быть может, друзья мои, всё это кажется вам неизмеримо чуждым, далёким от окружающего нас мира? Окружающий нас мир не даёт нам покоя, но мы всё-таки можем надеяться получить его из иного источника. И разве сами наши души не ощущают чужеродность всего, что происходит вокруг, и не взывают о лучшей, более благородной, более прекрасной жизни?

Быть может, кто-то другой скажет: «Всё это хорошо; но будь я столь же кроток и смирен сердцем, как Тот, о Ком вы говорите, моя беда всё равно не станет легче, потому что корень её таится не во мне, а в том, кого я люблю». Я же отвечу вам, что если обещанный нам покой есть покой Сына Человеческого, то ему подвластна любая беда и тревога. И если вы сами обрели этот покой, значит, он недалеко и от вашего ближнего. От кого ваш несчастный друг охотнее всего

примет сие утешение, как не от того, кто любит его? Что если ваша вера будет ступенькой к его вере? Как бы то ни было, если этот покой не способен покорить себе всё и наполнить сердце, если он не несёт в себе праведности и красоты, несмотря на все противящиеся ему беды и тревоги, тогда это не Божий покой, ибо Его покой превосходит всякое разумение. По крайней мере, так говорят знающие люди, и я готов поверить им на слово. Если ваш Бог не может исправить то, что с вами случилось, то либо ваш Бог – не истинный Бог, либо истинного Бога и вовсе не существует, и Человек, называвший Себя Его откровением, прожил единственную в мире безгрешную жизнь благодаря тому, что верил в лживую выдумку. И если это так, то горе всем несчастным с истерзанными сердцами!

Если кого-то из вас смущает, что я называю Иисуса Человеком, утверждавшим, что в Нём Бог открыл Себя людям, я отвечаю, что вижу в Нём именно человека, и Он влечёт меня к Себе всей силой пленительной Истины. Но если я найду в Нём того самого Бога, чьего покоя так жаждут и моё сердце, и сердца моих братьев и сестёр, тогда и Небеса будут слишком тесны для моего ликования, потому что лишь Сам Бог будет способен вместить мою радость!

Так приди же, измученное, истомившееся сердце, приди и посмотри, не исцелит ли Он тебя. Ему известны стенания и слёзы, и пусть Сам Он не знал греха, насколько печальнее Ему смотреть на стенания и слёзы, исторгающиеся из терзающихся виной сердец Его братьев и сестёр. Братья, сёстры, мы всенепременно должны избавиться от этого бремени! Оно губит нас! Оно превращает прекрасную землю в ад, а наши души – в пищу для адского пламени! Перед нами стоит Тот, Кто знает: так поверьте же Ему на слово и пойдите к Тому, кто со всей силой непреходящей нежности и человеческого сострадания говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко».

Глава 14. Проповедь себе самому

Ещё задолго до конца проповеди Уингфорд перестал различать перед собой отдельные лица и ощущал лишь общее страдание человеческой души и ту новорождённую надежду, которая жила для неё в рассказе о совершенном Человеке, воплощённом Боге. Он не видел, что Хелен судорожно рыдала, опустив голову на подставку для Библии. Слово незримо коснулось её и высвободило поток слёз, а может, даже и веры. Не видел он и того, как скривились губы Баскома и каким недовольным взглядом он то и дело посматривал на склонённую голову кузины. «Ну и о чём тут плакать! Этот малый всего лишь говорит то, ему положено!» – явно читалось в его глазах. Только Хелен ничего этого не слышала. Кроме неё в церкви плакали ещё один-два человека, но среди прихожан виднелись и такие лица, в которых свет, казалось, превозмогал слёзы. Полварт светился, а Рейчел плакала. Что касается остальных, они продолжали слушать с разной степенью внимания и безразличия. Большая часть общины выглядела так, будто Уингфорд (да в сущности, и любой другой проповедник) и сам не относился к своим словам хоть сколько-нибудь серьёзно – по крайней мере, к тем, которые произносил с кафедры.

Добравшись до ризницы, Уингфорд торопливо сбросил церковное облачение, выскочил из аббатства и чуть ли не бегом кинулся через кладбище домой. Там он заперся в кабинете, со страхом думая, что сказал больше, чем пока имел на это права, и стоит нахлынувшему волнению немного улечься, как он сразу обнаружит, что вдохновил его лишь грохот собственного шарабана, а вовсе не херувим, правящий огнеколёсой колесницей и известный людям под именем Высокого помысла³⁵. Тогда он решительно отвернулся от своей общины, от своей церкви, от своей проповеди, от всего своего прошлого, чтобы начисто обо всём этом позабыть.

Какое ему теперь дело до того, что уже сделано и бесповоротно отправлено либо в сокровищницу творения, либо в его чулан? Он возвёл свой взор к тем горам, откуда должна была прийти помощь, к тем

35 Аллюзия на стихотворение Джона Мильтона, «Il Penseroso». (пер. Ю. Корнева).

вершинам, из-за которых он ждал рассвета. Ах, если бы только к нему пришёл Христос!.. Однако что бы он ни делал, его мысли упорно возвращались к громадной готической бездне, куда он только что изливал свою душу, и к ещё более громадным человеческим безднам, открывавшимся ему из древней пучины, и глотками этих бездн были людские лица, скрывавшие за собою каменный пол. Наконец, Уингфорд окончательно рассердился на себя за то, что продолжает упорно думать об уже завершённом деле вместо того, чтобы всецело посвятить себя тому, что ему предстояло делать дальше. Он вышел из кабинета и уселся в гостиной к небольшому пристенному столику, пока его экономка накрывала большой стол к обеду. Утром она тоже была в церкви и потому сейчас старалась ходить и стучать тарелками как можно тише, чтобы не мешать ему записывать отдельные строки того, что позднее выросло в целое стихотворение, рождённое из усилий позабыть заднее и простереться вперёд, к ожидающей его цели.

*Да, мой Господь, покуда я живу,
Придя, найдёшь Ты веру средь людей.
Ты знаешь, как во сне и наяву
Ищу я дивной милости Твоей.
А сколько комьев, черепков, камней
Уже извлёк Ты из моей земли!
Вспаши её, зерно Своё посеи
Горчичное – и птиц Своих пошли.
Да, я люблю Тебя. И если иногда
Сомнения мне душу теребят,
Прости, Господь, и вспомни: никогда
Глаза мои не видели Тебя.
Но поднимая взгляд от слов Твоих,
Везде, во всём я вижу чудеса:
Твои ручьи спешат с холмов крутых,
Твой ветер веселит Твои леса.*

*Как я мечтаю, чтобы здесь, сейчас,
Как прежде в Палестине, Ты ходил,
На поле и в церквях встречая нас,
И словом, и знаменьями учил.
Но Ты оставил нам лишь верный путь,
Да малых птиц, да лилии в полях.
Ах, как хочу я в вечность заглянуть
И чудо поддержать в своих руках!
Но стоит вспомнить мне ученика,
Что голову на грудь к Тебе склонял,
Как сразу же спешит моя рука
Скорей исполнить то, что Ты сказал.*

Глава 15. Разговоры о проповеди

– Поразительный молодой человек! – с подчёркнутым вздохом отчаяния воскликнула миссис Рамшорн, выйдя из церкви. – Он кто, безбожник или фанатик? Иезуит или социнианин?

– Если бы он немного тщательнее составлял своих проповеди, то со временем мог бы превратиться в неплохого оратора, – безразлично отозвался Баском. – По-моему, в нём

есть неплохие риторические задатки, если только он немного поразмыслит над тонкостями связи между словами и эмоциями и на лучших примерах нашего времени научится вызывать у своей паствы нужные чувства. Конечно, с уверенностью тут ничего сказать нельзя, но он вполне может сделать себе имя. Правда, если он и дальше будет бросать предложения на середине, смешивать метафоры, говорить без всякого вступления и не прибегать к фигурам красноречия, великим проповедником ему всё равно не стать – хотя, по всей видимости, стремится он именно к этому.

– Если так, ему лучше немедленно перейти к методистам. Для них он будет настоящим сокровищем, – фыркнула миссис Рамшорн.

– Он ничуть к этому не стремится, Джордж. Как вы можете так говорить! – тихо, но со скрытым негодованием проговорила Хелен.

Джордж неприятно улыбнулся и замолчал. По дороге домой они почти не разговаривали. Хелен поднялась к себе снять шляпу, но так не появилась в гостиной до тех пор, пока её не позвали к раннему воскресному обеду. Джордж надеялся прогуляться с нею по саду и потому рассердился – правда, скорее, из-за того, что верно угадал причину её поспешного уединения, нежели из-за того, что теперь ему предстояло сесть за стол, так и не высказав всего, что накопилось у него на душе, хотя это тоже вызвало у него некоторую долю раздражения.

Когда Хелен появилась в гостиной, на её лице явно виднелись следы слёз, но хотя они были одни и тётушка должна была появиться лишь через несколько минут, Баском великодушно решил проявить такт и ничего не говорить, пока они не пообедают, чтобы не испортить кухне аппетит. Поднявшись из-за стола, Хелен собиралась было снова улизнуть, но когда Джордж, отставив свой бокал вина, немедленно последовал за ней и настойчиво, по-дружески, но почти укоризненно попросил её немного прогуляться с ним по саду, она уступила.

Как только они углубились в сад, подальше от окон особняка, он заговорил тоном человека, вынужденного попенять тому, кого любит:

– Хелен, дорогая, разве можно так дурно относиться к своему здоровью, и так уже подорванному ночными дежурствами у постели брата, и прислушиваться к бормотанию этого ничтожного церковника, позволяя его лживому красноречию так расстраивать вам нервы! Помните, самое ценное – это здоровье, и прежде всего вам следует заботиться именно о нём, ради себя самой и ради всех ваших друзей. Какой прок от жизни, если нет здоровья?

Хелен ничего не ответила, но подумала про себя, что в мире всё-таки есть две-три вещи, ради которых она с радостью согласилась бы поболеть. Решив, что ему удалось её пристыдить, Джордж ещё увереннее продолжал:

– Если уж вам непременно нужно ходить в церковь, то каждый раз следует заранее твёрдо напоминать себе, что всё это – лишь часть системы, и системы лживой; что проповедников специально обучают религиозному ремеслу, что это их хлеб, и они просто обязаны по мере сил убеждать людей (прежде всего, самих себя, если удастся, но, по меньшей мере, своих прихожан) в истинности всего, что содержится в этой мешанине клерикальных нелепостей, которая называется Библией. Вот уж воистину, Книга книг! Как будто кроме неё нет ничего достойного! Подумайте только, как быстро развалилось бы всё их драгоценное сооружение, не будь у них храмов, молитв, музыки и этих идиотских проповедей. Сколько беспокойных, неискренних душ лишились бы достатка, довольства и влияния в обществе! Что же ещё им остаётся, как не продолжать как можно ловчее играть на людских надеждах, страхах и угрызениях совести? Вот дурень! Говорить тем, кому плохо: «Придите ко Мне!» Ба! Да неужели он всерьёз ожидает от нормальных, взрослых людей веры в то, что Человек, произнёсший эти слова (если он вообще когда-либо существовал), в этот самый момент, в 1870 году от Рождества Христова (Джордж весьма ценил точность!) действительно слышит те несуразные слова, с которыми обращается к Нему преподобный Томас Уингфолд или любое другое двуногое существо, стоя на коленях возле кровати и зарыв лицо в подушку, или вырядившись в стихарь и возвышаясь на церковной кафедре? Не говоря уже о том, что нам предлагается, под угрозой вечного проклятия, поверить в то, что каждая мысль, вибрирующая в хитросплетениях нашего мозга, известна Ему не хуже, чем нам самим! Но это же чистый абсурд! Ха-ха-ха! Человек умер – и, как нам говорят, смертью преступника, – и его последователи выкрали мёртвое тело из гробницы, чтобы навязать грядущим поколениям тысячелетия нелепых вымыслов! И теперь, когда кому-то из нас плохо, нам надо только воззвать к этому мертвецу, утверждавшему, что он кроток и смирён сердцем, и мы тут же обретём душевный покой! Всё, что я могу на это сказать, что если кто-то действительно таким образом обретёт себе покой, это будет покой душевнобольного! Поверьте мне, Хелен, хорошая гавана и бутылка кларета сослужат вам в этом куда лучшую службу; ну, для дам, может быть, чашка чая и немного Бетховена! – и он рассмеялся, ибо поток

красноречия унёс с собой всю его раздражительность. – Нет, право, – снова заговорил он, – всё это слишком смехотворно, чтобы всерьёз об этом говорить! В наши дни прогресса всё так же проливать слёзы по древней иудейской небылице! Кстати, вы слышали о последнем открытии насчёт природы света?..

– Но вы же согласитесь, что у тех, кто ею обманывается, – ответила Хелен с неким ожесточением, – есть некое оправдание: по крайней мере, эта древняя небылица обещает помощь тем, кто угнетён духом, и если только это не вивисекция, я...

– Ну же, Хелен, не надо так шутить, – перебил её Джордж. – Я не возражаю против юмора, но вы сейчас шутите совсем не в том духе. Речь идёт о благоденствии человечества, и мы должны думать о других. Однако ваше иудейское евангелие, в подлинно еврейском духе, призывает каждого печься лишь спасении собственной душонки. Поверьте, жить ради других – это единственный верный способ позабыть о наших собственных воображаемых несчастьях.

Хелен глубоко вздохнула. Воображаемые несчастья! Да она бы с радостью жила, по крайней мере, для одного другого человека! Да что там, она готова за него умереть! Только что в этом проку для того, чьё существо без остатка поглощено неопишным горем?.. Надо поскорее заговорить, а то Джордж прочтёт её мысли.

– Несчастья бывают и настоящие, – сказала она. – Они не все воображаемые.

– На свете очень мало несчастий, в которых воображение не играло бы куда более сильной роли, чем готова признать даже самая разумная женщина, пока она находится в его власти, – возразил Джордж. – Я вспоминаю свои детские приступы горя: казалось, никто и никогда не сможет меня утешить. Но уже через минуту всё кончалось, и моё сердце, или селезёнка, или диафрагма становились такими же весёлыми, как и раньше. Поверьте, что всё хорошо, и тогда всё действительно будет хорошо – то есть, сравнительно неплохо, если учесть все сложившиеся обстоятельства.

– Да, если учесть, что это благосостояние нужно постоянно делить, распределять и раздавать разным частям столь огромного целого, и в мире нет Бога, чтобы Он всем этим занимался! – сказала Хелен,

которая принимала или отвергала рассуждения кузена в зависимости от того, насколько волны собственной беды захлестывали её душу.

Женщинам не хочется верить в смерть. Большинство из них любят жизнь и преданно верят в надежду, и мне кажется, что Хелен вряд ли стала бы относиться к наставлениям своего кузена с такой терпимостью, если бы к тому времени, когда он впервые задумал сделать из неё свою ученицу, какая-нибудь беда уже успела пробудить в ней женщину. Но мне странно видеть, как даже благородные женщины, наделённые духовным даром воображения, перестают верить в свои лучшие инстинкты под влиянием какого-нибудь невзрачного умника, каких кругом полно и которые рядом с ними – всё равно что известняк рядом с мрамором. Пронырливая лодка незаметно пробирается к борту роскошного галеона, и вдруг этот чудный корабль с громадой сверкающих на солнце парусов разворачивается и уходит вслед за фелюгой, влекущей его на буксире на жаркое, душное мелководье между ветрами!

– Я в полном недоумении, дорогая моя кузина, – сказал Баском.
– Нет, уход за больным явно истощил ваши силы. Вы слишком предвзято всё воспринимаете.

– Благодарю вас, кузен Джордж, – ответила Хелен. – Сегодня вы ещё учтивее, чем обычно.

Она отвернулась от него и пошла к дому. Баском дошёл до дальней ограды сада, закурил сигару и признался себе, что на этот раз ему не удалось понять свою кузину. Было ли это только потому, что он не знал жуткой правды, сосавшей ей душу? Или он не знал и самой сущности той души, которая не могла не страдать от этой правды? Было ли в его аккуратной системе хоть что-нибудь, способное стереть это жгучее, невыносимое, кровавое пятно? «Так уж заведено: человек, покусившийся на общество, должен пострадать ради общества». Только пролитая кровь обжигала совесть и ей, Хелен, – а ведь она никого не убивала! Что же до подлинного убийцы, то он вообще не думал об обществе, но истово метался во сне с криками и стонами, а просыпаясь, рыдал, вспоминая об обманувшей его девушке, которую, если Баском был прав, он одним ударом вытряхнул из существования, словно букашку из розового бутона.

Глава 16. Гаснущий луч надежды

Хелен взлетела наверх, упала на колени возле постели брата, и плечи её затряслись в судорожных рыданиях, не находивших облегчения в слезах.

– Хелен, Хелен! Если и ты поддашься отчаянию, я сойду с ума! – раздался несчастный голос с подушки, и она тут же вскочила, вытирая сухие глаза.

– Ах, Польди, какая же я всё-таки ужасная, эгоистичная, никудышная сестра, никудышная сиделка и вообще никудышная! – воскликнула она, и голос её повышался с каждым словом по мере того, как она всё больше и больше негодовала на себя. – Но если хочешь, я расскажу тебе,.. – перед тем, как продолжать, она оглядела спальню и заглянула в гардеробную, – расскажу тебе, Польди, почему мне так... я даже не знаю как!.. Это всё сегодняшняя проповедь. До сих пор я ни разу по-настоящему не слушала ни одной проповеди – и уж точно ни разу не вспоминала о ней, выйдя из церкви. Не знаю почему, но последнее время мистер Уингфорд проповедует очень и очень странно, хотя до сих пор я как-то к нему не прислушивалась. Знаешь, такое чувство, будто он впрямь верит в то, о чём говорит; более того: будто он совершенно серьёзно собирается убедить в этом и всех нас! Раньше я думала, что все священники верят в то, что должны проповедовать, но теперь сомневаюсь, потому что мистер Уингфорд говорит совсем иначе, и вид у него совсем другой. Я ещё никогда не видела, чтобы у священника было такое лицо, и мне ещё ни разу не приходилось видеть, чтобы человек так менялся. Должна же этому быть какая-то причина! Неужели он пошёл – как говорил сегодня – пошёл и нашёл покой... ну или что-то, чего, раньше у него не было? Но ты не поймёшь, пока я не расскажу, о чём он говорил. Он проповедовал по отрывку из Евангелия: «Придите ко мне, все труждающиеся и обременённые» – ты наверняка сто раз его слышал, Польди, – но говорил так, словно лишь недавно услышал его впервые. Да и я словно впервые поняла его, и мне показалось, что эти слова были сказаны не для того, чтобы по ним проповедовали в церкви, а для того, чтобы

они коснулись человеческих сердец, без всякой проповеди. И знаешь, как мистер Уингфолд это сделал? Сначала заставил нас почувствовать, что за Человек произнёс эти слова, а потом заставил нас поверить, что Он действительно их сказал, чтобы нам захотелось узнать, что они означают на самом деле. Но для меня они были особенными ещё и потому, – тут из глаз Хелен брызнули слёзы, но, с трудом подавляя подымающиеся рыдания, она продолжала, – потому что... потому что сердце моё разрывается, когда я думаю о тебе, Польди! Потому что мне уже никогда не увидеть, как ты улыбаешься!

Она зарылась лицом в его подушку. «Громкий и весьма горький вопль³⁶» вырвался из груди Леопольда, но Хелен тут же приложила ладонь к его губам, и её рыдания смолкли, хотя слёзы продолжали беззвучно катиться по её побелевшему лицу.

– Ты только подумай, Польди, – сказала она не своим голосом, словно в трудный час ей пришлось одолжить его у кого-то чужого, – подумай немного. Что если в где-то в огромном мире всё-таки есть помощь – хоть где-нибудь, ведь он такой огромный! Что если во вселенной всё-таки есть сердце, которое так же разрывается о нас обоих, как моё разрывается по тебе? Вот было бы замечательно, верно? Как это было бы чудесно, вновь обрести покой! Что если в мире всё-таки отыщется тот, кто прогонит ненасытную змею, грызущую мне душу? – пальцы её нервно сжали её платье у самого горла. – «Придите ко мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». Он так прямо и сказал. Ах, как мне хочется, чтобы всё это было правдой!

– Да так оно и есть, для тебя! – воскликнул Леопольд. – Потому что ты лучшая из сестёр. Только мне это не поможет. Ведь она мертва, и это я убил её. Даже если Бог воскресит её, Ему не изменить того, что случилось, и не воротить сделанного так, будто я никогда не пронзал кинжалом её сердца. Дать мне покой? Мне? Да вот же она, рука убийцы! О Боже, Боже! – застонал несчастный мальчик, глядя на свою тонкую, исхудавшую, почти прозрачную руку, как будто это она сама сознательно совершила чёрное зло, и на ней до сих пор оставались гнусные следы греха.

36 Быт. 27:34.

– Не может быть, чтобы Бог так уж сердился на тебя, Польди, – всхлипывала Хелен, слепо нащупывая в тёмной чаше своих мыслей хоть какую-нибудь травку утешения и протягивая ему первое, что попало ей под руку.

– Тогда какой же он Бог? – яростно вскинулся Леопольд. – Мне не о чем говорить с таким Богом, который не расщёк бы на мелкие кусочки человека, совершившего такую подлость! Ах, Хелен, какая же она была красавица! И что с нею стало сейчас!

– Но если Бог есть, Он непременно сделает что-нибудь, чтобы как-то это исправить! Я знаю, что на Его месте я бы непременно придумала, как снова поставить тебя на ноги. Ты ведь совсем не такой дурной, каким выставляешь себя!

– А ты скажи это присяжным, Хелен, и посмотри, что они ответят, – презрительно проговорил Леопольд.

– Присяжным? – вскричала Хелен. – Что ты имеешь в виду?

– Ну что,.. – словно оправдываясь, отозвался Леопольд, но дальше отвечать на её вопрос не стал. – Единственное, как Бог может исправить то, что случилось – помолчав, снова заговорил он, – так это проклясть меня на веки и веки как одну из самых гнусных тварей во вселенной.

– А вот в это я верить не собираюсь, – откликнулась Хелен так же страстно и неопределённо. И тут рассуждения Джорджа Баскома впервые показались ей утешением. Все эти разговоры о Боге – суцая ерунда. А брат её несчастен из-за того, чему Шекспир приписал страдания Макбета; а уж кто разбирается в этом лучше, чем Шекспир? Он просто боится, что другие сделают с ним то же самое! Но не успела она так подумать, как вдруг поймала себя на том – какая ужасная мысль! – да, да она действительно так подумала! или, может быть, почувствовала? неважно! – поймала себя на том, что презирает своего несчастного, раздавленного брата! Внезапно она почувствовала к нему настоящее отвращение – и даже не из-за презрения к его слабости, а из-за гнева за то, что он навлек на неё такую беду. Но адская молния сверкнула лишь на мгновение: один взгляд в его огромные, тревожные, умоляющие, но безнадежные глаза, мутные от тумана, клубившегося

над Флегетоном³⁷ его души, и её гнев на брата превратился в ненависть к себе за то, что она убила его ангела в своём сердце. Так она узнала, что не все убийцы подобны Макбету и что человек не всегда сожалеет о содеянном только из-за самого себя.

Но где же найти того Бога, который способен помочь их горю и, может быть, действительно вмешается в их судьбу? Как к Нему подойти? И что Он может для них сделать? Если Он сможет уверить Леопольда в том, что с ним не случится ничего страшного, – или даже в том, что Сам Он не слишком серьёзно относится к его преступлению, – забьётся ли сокрушённое сердце новой жизнью? Восстанет ли Эммелина из тёмного гроба и могильных червей к солнечной земле и человеческому смеху? О том, куда, в какие ещё более дальние пределы Он мог её отправить, Хелен не осмеливалась даже думать. И Леопольд не просто не находил себе места, но был навеки приговорён жить с собой, с тем «я», которое стало ему ненавистно. Единственным лучом надежды, который ей оставался, была смерть, которую проповедовал Джордж. Если в мире нет Помощника, способного очищать сердца и воскрешать в них свет жизни, тогда она с радостью встретит эту костлявую старуху! И пусть на каждом пиршестве главный венец достаётся черепу с его зловещим оскалом!

37 Флегетон (греч., миф.) - река в подземном царстве мёртвых.

Глава 17. «Молись!»

Смерть казалась Хелен единственной щёлочкой в глухих стенах тюрьмы, намертво отделившей их с Леопольдом от всего человечества, – если только священник не знает оттуда какого-нибудь другого выхода. По крайней мере, в одном она могла быть уверена: Уингфорд скажет им только то, что твёрдо знает сам. Даже Джордж Баском, не веривший ни одному его слову, считал его честным человеком! Так может, ей попросить у него совета – ну скажем, о том, как быть человеку, который совершил очень дурной поступок: украл деньги, подделал документ или что-то в этом роде? Может, хотя бы так ей удастся раздобыть немного мёда утешения и принести его домой, Леопольду?

Она сидела молча, перебирая в голове разные возможности, и всё это время брат не сводил с её лица страдающих глаз, даже не пытаясь отыскать утешения, но невольно обретая в сестре слабый, но истинный покой.

– Ты всё думаешь о проповеди, Хелен? – спросил он. – Что ты там о ней говорила? Кто её читал?

– Мистер Уингфорд, – безразлично отозвалась она

– Что это за мистер Уингфорд?

– Священник в церкви при старом аббатстве.

– И что это за человек?

– Молодой, лет тридцати. Самый обыкновенный, простой человек.

– А-а, – протянул Леопольд. – А я надеялся, ты скажешь, что он уже пожилой и весь седой, как тот брахман, что учил меня санскриту... Жаль, что я был таким болваном и так плохо к нему относился. Может, сейчас знал бы намного больше.

– Да зачем тебе теперь санскрит? Что ты забиваешь себе голову всякой ерундой? – в сердцах сказала Хелен, чьё терпение под натиском бед всё-таки начало постепенно истощаться.

– Да я не о языке, а о своём муныши³⁸, – кратко отозвался Леопольд.

38 Муныши - индийский учитель, особенно языка хиндустани и персидского языка.

– Какой же ты у меня славный! – воскликнула Хелен, тут же пожалев о своей вспышке. Но вместе с волной отвращения к себе она ясно почувствовала, что долго так продолжаться не может: она либо сойдёт с ума, либо превратится в сущее чудовище. Такого напряжения ей не выдержать: она просто должна с кем-нибудь поговорить. И первым, с кем она решила посоветоваться, был мистер Уингфорд.

Только как с ним встретиться? Не может же она взять и сама пойти к нему домой! Но чтобы решиться даже намекнуть на свои терзания, ей непременно нужно остаться с ним с глазу на глаз. Она молча размышляла о том, как бы ей всё это устроить, как вдруг ей представилось, какие пойдут сплетни, если кто-то узнает, что она пыталась встретиться со священником наедине. Мимолётная тень презрения скользнула по её лицу, и, заметив это, Леопольд, с болезненной чувствительностью недомогающей женщины, тут же спросил:

– Ну чем я обидел тебя, Хелен, что у тебя такой вид?

– Какой у меня вид, Польди? – спросила она, устремляя на него глаза, до краёв переполненные нежностью и любовью.

– Сейчас скажу, – отозвался Леопольд и, немного подумав, шутливо ответил. – Как у мильтоновского сатаны, когда Маммона посоветовал ему наслаждаться сокровищами мира вместо того, чтобы объявлять новую войну Небу³⁹.

– Ах, Польди! – воскликнула Хелен, радуясь этому случайному проблеску солнечного света, и поцеловала его. – Тебе, должно быть, и вправду стало лучше! Знаешь что? – возбуждённо продолжала она, ибо в голову ей неожиданно пришла новая, счастливая мысль. – Давай, как только ты немного окрепнешь, вместе поедem в Нью-Йорк – как будто бы в гости к дяде Тому, но на самом деле навсегда! В Нью-Йорке мы сменим имя, уедем в Сан-Франциско, а оттуда – на Сандвичевы острова. Может, даже купим себе островок, маленький, как раз на нас двоих, и там ты женишься на какой-нибудь очаровательной туземке...

Но тут её нарочито весёлое лицо дрогнуло, и, не выдержав, она снова разрыдалась, обхватила его за плечи и, задыхаясь от слёз, проговорила:

39 Джон Милтон, «Потерянный рай», Книга вторая.

– Ах, Польди, Польди! Ты ведь можешь молиться; так воззови же к Богу, чтобы Он как-нибудь помог нам! А если Бога нет и никто нас не слышит, тогда давай умрём вместе! Ведь есть же какой-нибудь лёгкий способ...

– Спасибо тебе, спасибо, милая моя сестрица! – воскликнул он, прижимая её к своей груди. – Это первое слово подлинного утешения, которое ты мне сказала. Мне не будет страшно, если ты уйдёшь со мной!

Им обоим действительно стало легче при мысли о том, что есть и другой выход кроме виселицы и долгой жизни под гнётом страха и угрызений совести. Хелен вышла в гардеробную, легла на свою постель и начала думать о том, как бы ей встретиться со священником и с помощью какой-нибудь уловки, под видом интересующейся невинности, хитростью добыть у него хоть сколько-нибудь духовного бальзама для измученного сердца и совести её бедного брата. Она не сомневалась, что священник предложит ей самое лучшее, что у него есть, и не обманет её, ведь Джордж Баском, который был воплощением честности, считал Уингфолда честным человеком! Только как всё это устроить? Сама она видела только один, хоть и не вполне последовательный выход: она решила понадеяться на великодушные священника, но ни в коем случае не доверяться ему полностью.

Больше она уже не появлялась в гостиной и поужинала вместе с братом. Вечером миссис Рамшорн отправилась нанести визиты тем, кто получал от неё небольшие благотворительные пенсии, считая своим официальным церковным долгом оказывать милость неимущим (правда, боюсь, большей частью за их счёт), и вскоре Джордж заглянул к Леопольду и попросил Хелен спуститься и что-нибудь спеть. Понятно, что в доме покойного декана по воскресеньям разрешалась только духовная музыка, но Джордж был готов снизойти даже до церковного гимна ради того, чтобы услышать его в исполнении Хелен; и потом, всегда есть Гендель, о котором он отзывался с восхищением! Какая разница, на какие тексты он писал свою музыку? Бедняга мог сочинять только то, что требовали от него при дворе, и для этого

ему сначала пришлось одурманить себе мозги! По крайней мере, так полагал Джордж.

Чтобы не раздражать Леопольда разговорами за дверью его спальни (а этого не любит ни один больной), Хелен спустилась с кузеном в гостиную. Но хотя раньше она нередко пела ему из Генделя, довольствуясь лишь воспроизведением голых нот и ничуть не задумываясь о чувствах, выраженных и в музыке, и в словах, сегодня она решительно отказалась доставить ему такое удовольствие. Ей нужно вернуться к Леопольду. Если он так настаивает, она готова спеть что-нибудь из гайдновского «Творения», но о «Мессии» не может быть и речи.

Может быть, она сама и не смогла бы объяснить своего отказа, но Джордж угадал в нём влияние утренней проповеди и, рассердившись на кухню сильнее, чем когда-либо раньше, потому что не выносил и мысли о том, что она может хоть с малейшей благосклонностью относиться к тому, что вызывало у него презрение, сказал, что в таком случае, он лучше догонит тётушку, и покинул дом. Как только он вышел, Хелен села за рояль и начала петь: «Утешайте, утешайте народ Мой». Дойдя до слов: «Придите ко Мне», она снова не выдержала и заплакала, но потом с внезапной решительностью встала и, открыв все двери между гостиной и комнатой брата, подняла крышку рояля и запела «Придите ко Мне» так, как не пела никогда в жизни. Но на этом она не остановилась. Через целых шесть широко стоящих домов её тётя и кузен услышали, как она поёт «Ты не оставил души моей в аде» с выражением настоящей пророчицы – или менады, как сказал Джордж. Она ещё пела, когда Баском открыл парадную дверь, но когда они с миссис Рамшорн вошли в гостиную, Хелен уже не было: она сидела на коленях возле постели брата⁴⁰.

40 «Придите ко Мне», «Утешайте, утешайте народ Мой», «Ты не оставил души моей в аде» - названия частей оратории Генделя «Мессия».

Глава 18. Два письма

На следующее утро, когда Уингфорд сидел за завтраком возле открытого окна, выходящего на кладбище, ему принесли письмо, пришедшее по местной почте. Вот что в нём говорилось.

Уважаемый господин Уингфорд,

Я понимаю, что беру на себя неслыханную дерзость, но к этому меня вынуждают обстоятельства. Быть может, однажды Вы всё узнаете. Пока же я надеюсь, что Вы сможете мне помочь. Мне бы очень хотелось посоветоваться с Вами по одному делу, но я не могу попросить Вас просто прийти к нам, так как тётя ничего о нём не знает. Не могли бы Вы придумать, как нам встретиться? Вы наверняка понимаете всю серьёзность моей нужды, видя, что я решилась даже на поступок, о котором впоследствии могу горько пожалеть. Но я не могу не доверять человеку, говорившему так, как Вы говорили вчера утром.

С искренним почтением к Вам,

Хелен Лингард

P.S. Завтра в 11 утра я буду идти по нашей улице в сторону церкви.

Нельзя сказать, что священник сильно удивился. Но его охватило нечто вроде страха, когда он увидел, что к нему вот так возвращаются его собственные проповеди. Неужели ему, маловерному работнику, предстояло тупым и изломанным серпом пожать самое спелое зерно? Однако сейчас думать об этом было недосуг. Времени было уже десять, а в одиннадцать она будет ждать его ответа. Уингфорду не пришлось долго раздумывать, чтобы предложить подходящий план, и поэтому он тут же уселся за стол и написал следующее.

Уважаемая мисс Лингард,

Стоит ли говорить, что я полностью в Вашем распоряжении? Однако я сомневаюсь, что Вы одобрите тот единственный план, который пришёл мне в голову. Сам я знаю, что Вы будете в полной безопасности, но, вполне возможно, Вы недостаточно доверяете моему суждению, чтобы поверить мне на слово.

Вам несомненно приходилось видеть двух карликов, дядю и племянницу, по имени Полварт, которые живут в сторожке Остерфильдского парка. Я знаю их довольно близко, и для того, чтобы уверить Вас в их надёжности, позвольте мне сказать, что, каким бы странным это Вам ни показалось, но всеми переменами, которые Вы, быть может, заметили в моих проповедях, я обязан влиянию этих двоих людей. Такой веры в Бога, как у них, я не видел за всю свою жизнь. Может быть, Вас успокоит и то, что, несмотря на уродливость и нищету, они не только принадлежат к благородному роду, но и отличаются необыкновенным благородством характера. Сказав всё это, я готов предложить Вам встретиться со мной у них в сторожке. Им самим вовсе не покажется странным, что кто-то из моих прихожан захотел поговорить со мной наедине, и я знаю, что Вы можете полностью положиться на их конфиденциальность.

Однако хотя я пишу всё это с полной уверенностью и в них, и в Вас, я должен признаться, что совершенно не уверен в себе. Ваша надежда полагаться на меня поворачивает меня в стыд и смятение. Мне кажется, что я – самый худший советчик на свете. Могу сказать лишь одно: мне кажется, что я вижу проблески света, а свет есть свет, даже если он проникает через самую узкую щель в самую убогую каморку. Я готов поделиться с Вами всем, что вижу сам. Если я не увижу ничего, что могло бы Вам помочь, то просто не стану ничего говорить. Однако даже в этом случае, быть может, я смогу подсказать, где Вам найти то, чего я не способен дать Вам сам.

Если Вы принимаете моё предложение и готовы назначить день и час, я расскажу об этом Полвартам и попрошу их помощи. Если Вы не согласны, сообщите мне об этом, и я постараюсь придумать что-нибудь ещё.

С искренним уважением, Томас Уингфорд

Он положил это письмо в религиозный памфлет, взял шляпу и трость и ровно в одиннадцать направился от церкви к особняку, где жила мисс Лингард. Он встретил Хелен на полпути, они поздоровались, и после пары ничего не значащих фраз он вручил ей памфлет и распрощался.

Хелен поспешила домой. Ей пришлось призвать на помощь всё своё самообладание, чтобы при встрече взглянуть ему в лицо, и теперь, когда она вынула письмо и открыла его, сердце её болезненно заколотилось. Однако письмо обрадовало её, и даже больше, чем она ожидала. Она сказала себе, что если бы тайна касалась её самой, она, пожалуй, рассказала бы Уингфолду всё без утайки; но выдавать Леопольда ей в ни в коем случае нельзя.

Следующей же почтой священник получил благодарный ответ, где она назначала время встречи и уверяла его, что полностью полагается на надёжность его друзей. В назначенный срок Рейчел встретила её возле сторожки и попросила пройти в сад, где её уже ожидал господин Уингфолд.

Глава 19. Советы впотьмах

Священник подвёл её к скамейке посреди густых зарослей жимолости. Несколько минут оба они молчали, и Уингфолду стало ещё более не по себе из-за того, что лицо Хелен было скрыто тёмной вуалью.

– Вы не должны бояться довериться мне просто потому, что я не уверен, смогу ли я вам помочь, – наконец решился он. – Но в чём вы можете не сомневаться, так это в моём сочувствии. Благодаря всему, что пережил я сам, его я могу обещать вам в любом случае.

– Можете ли вы сказать мне, – заговорила она, и Уингфолд почувствовал, что их разделяет не только тонкое кружево, – как избавиться от навязчивых мыслей?

– Пожалуй, это зависит от того, что это за мысли, – ответил священник. – Порой такие вещи возникают по чисто физическим причинам, и тогда лучше всего обратиться к врачу.

Хелен покачала головой и горестно улыбнулась за своей вуалью. Священник помолчал, но, не получив от неё никакой помощи, решил попробовать ещё раз.

– Если это мысли о чём-то прошедшем, чего уже не изменить, мне кажется, что такие мысли легче всего переносить с помощью обычной работы и усердия в повседневных занятиях.

– Ах, Боже мой, – вздохнула Хелен. – А если у человека уже не осталось сил это переносить, и ему ненавистен даже солнечный свет?.. Ведь вы не стали бы призывать к работе того, кто умирает от голода!

– Не знаю. Может, и стал бы.

– Он бы всё равно вас не послушал.

– Может, и нет.

– И что бы вы сделали тогда?

– Наверное, накормил бы его и попробовал ещё раз.

– Тогда накормите меня – то есть дайте мне хоть какую-то надежду, а потом попробуйте ещё раз. Без этого я не могу думать ни о долге, ни о жизни, ни о чём другом.

– Тогда скажите мне, в чём дело, и, быть может, тогда я и смогу дать вам хоть какую-то надежду, – с необыкновенной мягкостью в голосе сказал Уингфорд. – Скажите, вы считаете себя христианкой?

Большинство людей сочли бы этот вопрос странным, внезапным, чрезмерно любопытным, но Хелен он показался совершенно естественным.

– Нет, – ответила она.

– Ах вот как, – немного грустно откликнулся священник. – Потому что тогда я сказал бы, что вы знаете, куда идти за утешением... Хотя, может быть, вам в любом случае попытаться пойти за утешением к Тому, Кто сказал: «Придите ко Мне, и Я успокою вас»?

– Мне это не помогает. Я уже столько раз пробовала молиться, но всё без толку. На сердце у меня лежит такой камень, что я просто не в силах его поднять. Должно быть, всё это от того, что я никак не могу поверить, что меня кто-то слышит. Вчера, когда я одна брела по парку, я попробовала помолиться вслух – подумала, что если Он почему-то не способен прочесть то, что у меня в сердце, так, может,

хотя бы услышит мой голос? По глупости я даже пожалела, что не знаю греческого: может, молись я по-гречески, Ему было бы легче понять меня? Мне кажется, я схожу с ума. Нет, всё бесполезно! И помощи ждать неоткуда!

Как она ни крепилась, из груди её вырвалось сдавленное рыдание, и она горько заплакала.

– Может, вы расскажете мне, что произошло? – ещё мягче произнёс священник. Ах, как ему хотелось облегчить ей душу! – Может статья, Иисус уже начал отвечать на ваши молитвы, но пока вы этого не видите. Что если Он уже послал вам Свою помощь, и она уже рядом, но пока вы просто не узнаете её? Такое действительно бывает! Скажите мне хоть что-нибудь конкретное, за что я мог бы зацепиться. Может быть, Он призывает вас что-то сделать, но вы этого не делаете и потому никак не можете обрести покой? Мне кажется, Иисус даёт нам покой лишь тогда, когда мы учимся у Него.

Её рыдания стихли, и она замолчала – как показалось священнику, надолго. Наконец нетвёрдым голосом она проговорила:

– Допустим, кто-то совершил страшный грех, и мысли о нём стали просто невыносимыми. Допустим, именно поэтому я так несчастна.

– Тогда вам, конечно, же следует всячески загладить свою вину, – немедленно откликнулся Уингфорд.

– А если это невозможно? Что тогда?

На этот вопрос ответить сразу было не так легко, и Уингфорд задумался.

– По меньшей мере, – наконец заговорил он, – вы могли бы открыто покаяться в содеянном и попросить прощения.

– А если и это невозможно? – спросила Хелен, внутренне содрогаясь от того, как близко они подошли к краю ужасной правды.

Священник снова немного подумал.

– Я стараюсь по мере сил отвечать на ваши вопросы, – сказал он, – но мне трудно говорить в общем, не зная, что случилось. Вот почему до сих пор все мои советы были такими бесполезными! Однако я должен сказать вам кое-что ещё, но не решаюсь лишь потому, что боюсь выказать больше уверенности, чем у меня есть; а больше всего на свете я боюсь неправды. Но я честен, по меньшей мере, настолько, чтобы

сказать: от всей души я желаю найти такого Бога, который признает меня Своим творением и сделает меня Своим сыном, и если Бог вообще есть, то я почти уверен, что Он непременно всё это сделает – ибо разве может существовать какой-то иной Бог, кроме Отца Иисуса Христа? И на основании этой толики осознанной мною истины я дерзну сказать, что всякое преступление, совершаемое против твари, совершается также против её Творца. Поэтому первое, что может сделать человек, совершивший преступление, – это смириться перед Богом, покаяться в своём грехе и попросить Его о прощении и очищении. Если религия имеет хоть какой-то смысл, вся она должна покоиться на личном общении Бога и созданного Им творения, и если Бог услышит молитву человека и простит его, человек непременно узнает об этом и утешится – может быть, благодаря дару смирения.

– Значит, по-вашему, всё, что нужно, – это покаяться перед Богом?

– Если вы не можете покаяться перед тем, против кого согрешили. Будь я сам на месте такого преступника – а иногда мне кажется, что я страшно согрешил, приняв на себя сан, – я поступил бы так, как, собственно, и поступил в своём случае: воззвал к создавшей меня живой Силе, прося Её исправить то, что я натворил.

– А если исправить ничего нельзя?

– Тогда я попросил бы Его простить и утешить меня.

– Нет, нет, он и слышать об этом не хочет! Он хочет наказания, а не утешения! Я боюсь, что он сходит с ума. Хотя, может, так оно и лучше...

Хелен сказала гораздо больше, чем хотела, но чем сомнительнее казалась ей помощь, тем неотступнее гибнущая надежда заставляла её пытаться Уингфорда, чтобы хоть что-нибудь у него узнать.

Священник снова задумался.

– А вы уверены, что человек, о котором вы говорите, сделал всё, что должен был сделать, и не упустил какого-то явного долга, о котором он сам прекрасно знает?

Он снова вернулся к тому с чего начал. Но сейчас сквозь кружево вуали он увидел, как по лицу Хелен разлилась смертельная бледность. С того самого момента, когда Леопольд впервые упомянул присяжных, её мучил неотвязный, жуткий страх. Она судорожно прижала руку к груди, но не произнесла ни слова.

Глава 20. Молитва

– Я опираюсь лишь на собственный опыт, – продолжал священник, – другого у меня нет. Пока мы отказываемся сделать то, к чему призывает нас совесть, покоя нам не видать. Я не стану говорить, что при этом Бог не слышит наших молитв: господин Полварт уже научил меня, что самый драгоценный ответ на молитву – это ещё более яростные угрызения совести и всё более возрастающее побуждение исполнить пугающий нас долг. По-моему, я уже спрашивал, нет ли каких-то других людей – например, родственников – которым можно было бы как-то возместить нанесённый ущерб?

– Да, да, спрашивали, – с трудом выгалькивая из себя слова, выговорила Хелен. – А я сказала вам, что это невозможно.

Её последние слова прозвучали почти как стон.

– Но по крайней мере, чистосердечное признание,.. – начал Уингфорд, но осёкся и поднялся со скамьи, напуганный полузадушенным воплем, вырвавшимся из груди Хелен. Прижимая ко рту платок, она вскочила и бросилась от него прочь. Встревоженный священник в нерешительности стоял, глядя ей вслед. Однако не успела она сделать и нескольких шагов, как вдруг движения её замедлились, ноги подкосились, и она без чувств упала на траву. Уингфорд побежал в дом за водой, за ним в сад поспешила Рейчел, а с ней Полварт.

Хелен пришла в себя не сразу. Наконец, когда слабый румянец снова показался на её щеках, Полварт опустился на колени возле её ног. Уингфорд уже стоял на коленях, поддерживая Хелен с одной стороны, а Рейчел с другой. Тогда своим тихим и хриплым, но не лишённым приятности голосом Полварт заговорил:

– О Господь вечной Жизни, Ты видишь, что у Твоей дочери разрывается сердце, а мы не можем ей помочь. О могучая Любовь, Ты и есть наша Помощь. Те, кто знают тебя лучше всего, более всего радуются в Тебе. Как Твоё солнце, сияющее у нас над головами, как Твой воздух, наполняющий наши тела, Ты есть сверху, и вокруг, и внутри нас – и в её сердце тоже. Так проговори же к ней, дай ей познать Твою волю и дай ей силы исполнить её, о великий Отец Иисуса Христа! Аминь.

Открыв глаза, Хелен увидела над собой лишь тёмные листья земляничного дерева и тут же ощутила бесконечное, беспомощное горе и жгучее желание вскочить и убежать. Она с трудом приподняла голову: вокруг неё на коленях стояли трое: священник с опущенной головой и двое карликов с сияющими лицами, обращёнными к небу. Ей подумалось, что она умерла, а они склонились возле её тела. С усталым вздохом облегчения она уронила голову на землю и затихла. Но тут карлик начал молиться, и Хелен поняла, что жива. Горестное разочарование наполнило ей душу, но она вспомнила о Леопольде и немного утешилась. Через несколько минут они помогли ей встать, отвели её в гостиную и уложили на диван.

– Не пугайтесь, милая барышня, – сказала ей крохотная хозяйка. – Вас тут никто не побеспокоит. А мы о вас позаботимся, как о самой королеве. Сейчас я принесу вам чаю.

Но как только она вышла, Хелен вскочила. Больше она не выдержит здесь и минуты! Злой бес уже начал нашёптывать её брату о чистосердечном признании, побуждая его избавиться от всех терзаний с помощью закона: ей нужно бежать домой, чтобы отогнать его прочь! Она взяла шляпку, неслышно отворила дверь и, не дав Рейчел и рта раскрыть, пролетела мимо неё к кухонной двери, и через секунду её платье уже мелькало между деревьями на противоположной стороне дороги. Рейчел побежала в сад к дяде и Уингфорду. Они молча переглянулись.

– Лучше мне пойти за ней, – сказал Уингфорд. – Что если она снова потеряет сознание? Если что, я свистну.

Он побежал вслед за Хелен и не выпускал её из виду, пока она не очутилась за оградой своего сада.

– Что же теперь делать? – встревоженно спросил он, вернувшись к Полвартам. – По-моему, я не сказал ничего лишнего или дурного, но, как видите, она убежала, и теперь ей в десять раз хуже! Как бы мне хотелось всё вам рассказать, но, понятное дело, я не могу этого сделать.

– Конечно, нет, – откликнулся Полварт. – Но её бегство совсем не означает, что вы сказали что-то не то; скорее наоборот. Когда люди просят совета, чаще всего им хочется, чтобы советчик встал на сторону их второго, знакомого и привычного «я», а не того ужасного первого «я», о котором они так мало знают. Не беспокойтесь. Вы сделали всё, что могли. Теперь остаётся только ждать, что будет дальше.

Глава 21. Хелен в одиночестве

Неверными шагами Хелен добралась до летней беседки, ставшей её любимым местом уединения с тех пор, как она отдала свою комнату брату, и там опустилась на скамью, чтобы прийти в себя и успокоиться перед тем, как пойти к нему. Она хотела найти ворота в рай, но вместо этого перед ней распахнулись врата ада! Если сейчас Леопольд укрепитесь в этом жутком решении, которое, несомненно, уже приходило ему в голову, впереди её ждёт лишь чёрное безумие. Её дорогой Польди – на виселице! Боже правый! Нет уж, лучше отравить его и себя! Тут она вспомнила, как он обрадовался и успокоился, когда она заговорила о том, чтобы им умереть вместе, и воспоминание немного ободрило её: нет, Леопольд никогда не согласится предать себя публичному позору! Теперь главное не подпускать к нему этого глупого, сумасбродного священника. Кто знает, к чему он может склонить его! Бедняжку Польди так легко убедить призывами к благородству, ко всему, что выглядит возвышенно или самоотверженно!

Её единственное представление о чувстве вины состояло из его бледного образа, известного ей лишь благодаря тому, что чужая вина преломилась через призму её сочувствия. Она не знала и, пожалуй, не способна была понять тошнотворную мерзость сознательной вины, по сравнению с которой меркнет всё остальное зло. Даже если человек способен вынести терзания несправедливой обиды, и не только выдержать, но и подняться над ними в десять раз более сильным и возмужалым, ужас осознанного преступления превращает его в бессильное, навеки сломленное существо. Вообще, если Бога нет или если Он не способен исправить всё, что испортилось, сбилось с пути в Его творении, тогда нам и вправду лучше уверовать (ибо тогда это можно назвать верой) в то, что после смерти нет никакой жизни! Хелен не знала, на какие бездны тайного стыда и вершины всеобщего позора готов пойти человек, лишь бы убежать от клыков догнавшей его вины, если он знает, что там ему действительно удастся найти от неё убежище. А убежище там есть. Странно, но факт: уже в том, что преступление из тайного становится явным, преступник обретает некое

облегчение, и червь вины уже не так яростно гложет ему душу, словно даже осуждающий рёв толпы ограждает измученную душу от содеянного греха, и она обретает в нём пристанище от самой себя. Мне кажется, именно поэтому некоторые преступники выглядят такими спокойными: им становится легче от публичного признания, даже если они признались в содеянном только перед людьми. Может быть, груз преступления уже не так давит им на плечи, потому что им удалось хоть чуточку разделить его со всеми?

Хелен надеялась, что человек, который с такой добротой и одновременно с такой силой говорил с кафедры о спасающем Сердце вселенной, не допускающем ни разделений гордыни, ни раздоров ненависти, но жаждущем объединить многих в одно, с глазу на глаз скажет ей ещё более душевные слова надежды и утешения, чтобы она могла с радостью передать их своему исстрадавшемуся брату и ими утешить и укрепить его: слова, способные смягчить жгучую едкость яда, отправляющего ему душу, и убедить его в том, что ему ещё есть место во вселенной и его не отринут в пламя геенны. Но вместо того, чтобы сказать ей эти сильные и добрые слова – подобно Тому, о Ком он так любил говорить, – этот священник лишь нудно говорил с ней о долге, намекая на страшный кошмар, который повергнет их respectable семью в преисподнюю позора и презрения! Какие всё-таки бессердечные пустословы эти церковники! Только бы разглагольствовать о своём бесплодном богословии! Да они просто сухари, а не люди!.. Что бы сказал отец?! – нет, об этом лучше не думать, а то она сойдёт с ума. А её мама... Ах, будь она матерью Леопольда вместо той темнокожей женщины со сверкающими глазами, он никогда не навлёк бы на них этого несчастья! Во всём этом виновата его мать, кровь её народа и этот жуткий опиум, к которому приучили Леопольда её сородичи! И теперь он должен пойти, публично во всём признаться, предстать перед судом и быть... Боже правый!!! А тут ещё этот священник предлагает ей то, что хуже любого самоубийства!

Но тут она неожиданно подумала, что на самом деле священник не знал подробностей дела и потому был вынужден говорить наугад. Он никак не мог подозревать, в каком преступлении повинен её брат, и потому не знал, к каким ужасным последствиям приведёт

чистосердечное признание. Может, ей лучше рассказать ему всё как есть, чтобы он дал ей верный и разумный совет о том, как умерить страдания её несчастного ангела с изломанными крыльями? Но нет! Разве можно надеяться, что человек, способный на столь нестигаемую церковную суровость и безжалостность (из-за страха Хелен не замечала собственной непоследовательности), ради так называемой справедливости собственными руками не предаст на расправу практически невинного страдальца? Нет, больше она ничего не станет ему говорить. Уж лучше она пойдёт к Джорджу Баскому, хотя духовного утешения у него не найти: только жестокие теории против всех преступников! Увы, увы! Она была одна, абсолютно одна в этой громадной, пустынной вселенной со смертоносными глазами!.. Но как мог человек, столь убедительно говоривший о милосердии Иисуса Христа, так с ней поступить! Это было просто бессовестно! Сам Христос никогда бы не поступил так с бедной, несчастной женщиной!

Но с этой мыслью где-то внутри её существа снова раздалось слова: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». Откуда донёсся до неё этот голос? Из её памяти или из той внутренней кельи духа, которую единый жизненный Дух хранит для себя в каждом построенном Им доме? Увы, в большинстве человеческих домов этот уголок наглухо закрыт от остальных комнат, давно забыт и заброшен, а если о нём и вспоминают, то с неловким чувством, словно о кладовке, где свалено слишком много такого, что лучше не ворошить. Но какая разница, откуда раздался этот голос: главное, чтобы слова его были истинны и она могла в них уверовать: ведь правдивое сердце всегда может уверовать в то, что истинно.

Не помня себя, Хелен упала на колени, опустила голову на сиденье скамьи и ещё раз взмолилась к Тому, кто слышит все мольбы, заклиная Его помочь ей в час безысходной нужды. Она не знала, есть Он или нет, но её вопль родился из того, что она услышала о Нём.

Однако вместо слова или хотя бы мысли, которую можно было бы принять за ответ, Хелен услышала приближающиеся шаги и испуганно вскочила. Это была экономка: тётушка послала её сказать, что Леопольд ведёт себя странно и беспокойно, что он сам на себя не похож и она просто не знает, что с ним делать.

Глава 22. Измученная душа

Хелен вошла к брату с тяжёлым, свинцовым сердцем. Увидев его, она вздрогнула: с утра в нём явно что-то переменялось! Какой живой и блестящий взгляд – может, это снова начинается горячка? Правда, его порозовевшие щёки, словно неверные предрассветные лучи, когда путник и сам ещё не знает, действительно ли небо начало светлеть или ему лишь чудятся проблески утра, больше походили на прежний здоровый румянец, нежели на новую вспышку безумия, но вместе с тем брат показался ей ещё более исхудавшим и слабым, чем раньше, как будто ещё ближе подошёл к порогу смерти. А может, дело было в ней самой? Может, она всего лишь прочла в его лице те терзания, которые ей самой только что пришлось пережить?

– Хелен, Хелен! – воскликнул Леопольд, увидев её. – Иди скорее сюда!

Она торопливо подошла к нему, села возле постели и взяла его за руку, пытаясь выглядеть как можно бодрее (хотя на самом деле взгляд её от этого был только печальнее).

– Хелен! – повторил Леопольд со странным выражением, потому что в его голосе явно слышалась надежда. – Сегодня я весь день думал о том, о чём ты говорила в воскресенье.

– И о чём же это, Польди? – спросила Хелен, внутренне сжимаясь от страха.

– Ну как же! О тех самых словах, о чём же ещё? Ты же сама мне потом их пела! Хелен, мне хотелось бы повидать мистера Уингфорда. Может, он что-нибудь мне скажет?

– Что именно? – запинаясь проговорила она, чувствуя, как комок подкатывает к её горлу. «Так вот, значит, что получается, когда начинаешь молиться?» – с горечью подумалось ей.

– Ну, что-нибудь, я не знаю, – ответил Леопольд. – Ах, Хелен! – внезапно воскликнул он во весь голос, но тут же осёкся, вспомнив об осторожности, которая уже успела стать для них обоих второй натурой. – Неужели нет никакого выхода, никакой помощи? Но должен же мистер Уингфорд хоть что-нибудь мне сказать, хоть как-то меня

утешить, если я всё ему расскажу! Если он говорил всё то, что ты мне рассказывала, я мог бы ему довериться! Правда, мог бы! Ну почему, почему я тогда убежал? Лучше бы они сразу меня поймали и повесили!

Хелен почувствовала, что стремительно бледнеет. Она отвернулась и сделала вид, что ищет что-то возле его кровати.

– Сомневаюсь, что он тебе поможет, – проговорила она, всё ещё наклонившись, и вдруг показалась самой себе бесом, тянущим душу брата в преисподнюю. Но нет, всё это глупые фантазии, и она должна им сопротивляться!

– Даже если я всё ему расскажу? – с трудом проговорил Леопольд сквозь зубы, словно пытаясь удержаться от неистового вопля.

– Даже если ты всё ему расскажешь, – ответила она, чувствуя себя судьёй, приговаривающей его к смерти.

– Тогда зачем он нужен? – негодуяще воскликнул Леопольд, повернулся лицом к стене и застонал.

Хелен ещё не спрашивала себя, насколько чистой была её любовь к брату и не примешивалось ли к этой любви её собственное себялюбие. Она не спрашивала себя, был ли тот новый ужас, который нынешний день долил в её чашу, и так уже переливающуюся через край, наполнен лишь мыслями о брате, а не о том, какой позор угрожает ей самой. Однако насколько она сама могла об этом судить, она не кривила душой, говоря, что священник не даст Леопольду утешения: разве, беседуя с ней, он хоть сколько-нибудь попытался её утешить? Разве он сказал ей хоть что-нибудь кроме обычных, избитых фраз о долге? И потом, кто знает? – вдруг фанатическое рвение этого человека подействует на легко возбудимый темперамент её несчастного брата, и он тотчас уговорит его воплотить в реальность тот жуткий план, о котором он уже говорил, ту страшную возможность, которую она со страхом гнала прочь от своего воображения? И вот Леопольд лежал и стонал, а она сидела рядом, лишившись слов и сил от обрушившегося на неё отчаяния.

Но тут Леопольд вскинулся и сел на постели с неподвижными горящими глазами и белым лицом: он выглядел трупом, в который вселился дух страха и ужаса. Её сердце комком подкатилось к горлу, лицо

судорожно исказилось и оцепенело, и она почувствовала, что вид у неё точно такой же, как у него: широко раскрытыми глазами она не отрываясь смотрела на брата, а он вперил свой взгляд во что-то такое, к чему она, в страхе увидеть то, что видел он, боялась даже повернуть голову. Несомненно, думала она потом, в тот момент с ними рядом и вправду было нечто потустороннее! Тело не слушалось её, и ей оставалось просто сидеть и ждать, пока эта могучая сила, чем бы они ни была, оставит их и уйдёт прочь.

Сколько продолжалось это оцепенение, она не знала; но вряд ли оно могло длиться долго. Так же внезапно глаза Леопольда угасти, тело обмякло, он без движения и, как видно, без чувств упал на подушки, и она подумала, что он умер. В тот же миг её невидимые пути спали, несказанный ужас куда-то исчез, и она бросилась к нему на помощь. Но хлопоча вокруг него, она всё время чувствовала себя палачом, приводящим в чувство беднягу, растянутого на дыбе или колесе. Кто дал ей право растягивать эту пытку? – думала она. Если Тот, кто в Своей жестокой силе создал его на такие терзания, кем бы, каким бы и где бы Он ни был, теперь сознательно мучил его, неужели она, его единственный друг, из эгоистичной привязанности, вложенной в неё тем же бессердечным Создателем, тоже должна стать инструментом в Его руках? Однако при всём этом она ни на секунду не переставала хлопотать над братом, пытаясь привести его в создание.

В каждом из нас происходит столько всего неосознанного или такого, что лишь мельком касается нашего сознания и неслышно падает в память, что я невольно начинаю сомневаться в том, что человек способен абсолютно утратить всякую надежду. К сожалению, среди нас всегда было и остаётся множество людей, не видящих ни малейшего основания надеяться – более того, не чувствующих в себе ни единого проблеска того, что можно назвать надеждой. Но сдаётся мне, что во всех них живёт подспудное, бессознательное упование. Я думаю, что пока нам известна лишь бледная тень того, что такое безнадежность. Быть может, полная безнадежность – это и есть внешняя тьма?

Наконец Леопольд открыл глаза. Его затравленный взгляд метнулся по сторонам, и, схватив сестру за плечи, он притянул её к себе.

– Я видел её! – сказал он глухо, словно со дна могилы, и его голос отозвался в самой глубине её сердца.

– Глупости, Польди! Тебе просто показалось! – откликнулась она почти таким же замогильным голосом, и сама лёгкость её слов, произнесённых таким тоном, пугающе резанула ей слух.

– Показалось! – повторил он. – Нет, я не хуже других знаю, что мне кажется, а что нет. ЭТО было взаправду! Она стояла вон там, возле шкафа, в своём белом платье, и лицо у неё было такое же белое. А ещё... Вот, послушай! Тебе я могу об этом сказать! Сейчас ты убедишься, что это не могло быть галлюцинацией! – тут он отодвинулся и посмотрел ей прямо в глаза. – В зеркале шкафа я увидел отражение её спины, и... – на его лицо вернулось прежнее выражение оцепенелого ужаса, – Да, да! по ней полз могильный червяк, прямо по её прелестному белому плечу!.. Бр-р-р! Я видел его в зеркале!

Его голос поднялся до полузадушенного крика, лицо исказилось, и он весь дрожал, словно ребёнок, который вот-вот истошно завопит от накотившего на него кошмара. Хелен сжала его лицо в ладонях и, черпая мужество в отчаянии (если, конечно, из отчаяния можно почерпнуть мужество, и на самом деле мы не находим его в той скрытой надежде, о которой я говорил, и в любви, которая ни за что не оставит любимого), стиснула зубы и проговорила:

– Тогда пусть она придёт, Польди! Я с тобой, и я не боюсь её! Пусть видит, что любовь сестры сильнее, чем ненависть изменницы – даже если ты действительно убил её! Перед Богом клянусь, Польди, что лучше быть на твоём месте, нежели стать такой, как она! Что бы ты ни говорил, она сама во всём виновата, и я не сомневаюсь, что сама она сделала в двадцать раз больше зла, чем ты, когда убил её!

Но Леопольд, казалось, не слышал ни единого её слова. Он откинулся на подушку и уткнулся лицом в стену.

Глава 23. Вынужденное признание

Однако через минуту он вдруг повернулся и сказал:

– Хелен, если ты не позволишь мне увидеться с мистером Уингфордом, я сойду с ума, и тогда вся правда выплывет наружу.

Чтобы скрыть нахлынувший на неё страх, Хелен выбежала в гардеробную и упала на постель. То ли серый фатум навис у неё над головой, то ли жуткая горгона зывала из преисподней, иного выхода не было. Будь то живая Воля или всего лишь тень событий, повинующихся её приказам, у неё больше не было сил с нею бороться. Ей придётся покориться. Она встала и вернулась к брату.

– Пойду поищу мистера Уингфорда, – охрипшим голосом сказала она, беря шляпку.

– Только не уходи надолго, Хелен, – попросил Леопольд. – Я не могу тут один, без тебя. И тётушку сюда не пускай. А то вдруг снова появится она, и тогда всё откроется. Приведи его сюда, ладно?

– Хорошо, – ответила Хелен и вышла. Священник, должно быть, уже у себя дома: туда она и пойдёт. Теперь ей было всё равно, что о ней подумают.

День стоял скучный и пасмурный. Небо хмурилось тучами, ветер был стылым и зябким. Казалось, он дует из церкви, которая высилась на фоне неба холодной тусклой громадой, заполняя собой конец улицы. «Как всё противно и страшно в этом мире!» – думала Хелен. Она прошла за ограду кладбища, откуда серое здание церкви подымалось, словно скала из Мёртвого моря, – прообраз истинной церкви, возле чьих стен лежат мёртвые тела ветхой человеческой природы, сброшенные теми, кто вошёл внутрь. Хелен уже готова была позавидовать тем, кто так мирно лежал под этими волнами. Но увы! Если Леопольд прав, на самом деле они лишь носились по миру, не зная покоя, и смерть не приносила им облегчения.

Она торопливо добежала до дома священника, но мистер Уингфорд ещё не возвращался, и она снова поспешила домой, сообщить Леопольду, что ей придётся поискать его в другом месте. Бедному мальчику уже стало намного легче. Как порой окрыляет

человека даже самая смутная надежда! Хелен сказала, что видела мистера Уингфолда в Остерфильдском парке, где гуляла с утра, и может быть, он всё ещё там, так что она быстренько сбегает туда. Леопольд лишь попросил её вернуться поскорее, и она немедленно направилась к сторожке. По дороге Уингфолд ей не встретился, и она приблизилась к воротам с сильным чувством отвращения.

– Простите, не у вас ли мистер Уингфолд? – спросила она у Рейчел так, словно разговаривала с ней впервые. Увидев её, Рейчел побледнела, но тут же ответила, что мистер Уингфолд в саду, с её дядей, и пошла позвать его. Как только он появился, Хелен заговорила, и её голос, изменившийся от борющихся внутри эмоций голосом, прозвучал резко, почти грубо.

– Не согласитесь ли вы навестить моего брата? Он болен и хочет вас видеть.

– Конечно, – ответил Уингфолд. – Я готов пойти с вами прямо сейчас.

Но сердце его затрепетало при мысли о том, что от него ждут утешения и совета – и причём, явно в каком-то серьёзном и необычном деле. Вдруг у него не найдётся слов, и он не будет знать, как себя вести? Всё было бы совсем иначе, если бы он от всего сердца верил в прекрасные и великие истины, записанные в Книге его вероисповедания! Тогда он смог бы войти в обители боли, страха и вины с непорочной уверенностью крылатого ангела, несущего утешение и исцеление! Пока же глаза его разума всё ещё затуманены целым роем «если» и «но», которые чёрными мошками вились повсюду, куда бы он ни взглянул. Как бы то ни было, он попробует... нет, он должен пойти и сделать всё, что в его силах!

Они пересекли парк, чтобы войти в дом через сад. Какое-то время они шли молча. Наконец, Хелен сказала:

– Я очень вас прошу, не давайте моему брату слишком много говорить и не относитесь к его словам слишком серьёзно: у него было воспаление мозга, и порой он до сих пор бредит. Но с другой стороны, если он вообразит, что вы не верите ему, это сведёт его с ума. Поэтому я прошу вас – пожалуйста! – будьте осторожны!

Голос у ней был такой, будто душа впервые пыталась произносить слова непослушными и непривычными губами.

– Мисс Лингард, – медленно и тихо ответил Уингфорд, и если голос его дрогнул, то знал об этом лишь он один, – мне не видно вашего лица, и потому я прошу у вас прощения за свой вопрос, но... Вы действительно говорите мне правду?

Хелен вспыхнула от гнева и какое-то время молчала, но потом сказала:

– Что ж, мистер Уингфорд, значит, вот как вы помогаете беспомощным?

– Да как же один человек может помочь другому, пока не узнает, в чём именно нужна его помощь? – возразил священник. – А для этого ему непременно нужно знать правду. Я прекрасно вижу, что вы мне не доверяете, и пока это так, вряд ли я смогу быть чем-то вам полезным.

Хелен снова ничего не ответила, не находя слов от смешанного чувства обиды, досады на саму себя и страха перед тем, что он может ей сказать. Она молчала так долго, что Уингфорд решился сделать то, о чём подумывал сегодня уже не раз. Не будь он уверен, что на карту поставлена человеческая душа, он ни за что не стал бы прибегать к тому, что на первый взгляд могло бы показаться настоящей жестокостью.

– Может быть, вот это поможет вам убедиться если не в ценности моего совета, то хотя бы в том, что мне можно доверять? – сказал Уингфорд, и, вынув из кармана ножны, протянул ей. Они как раз проходили возле густых зарослей, где никто не мог их увидеть. Хелен отпрянула от него, как молодая кобылка от мертвечины: сами ножны были ей незнакомы, но их причудливая форма немедленно вызвала в памяти леденящее душу воспоминание. Она побледнела, невольно отступила на шаг, с судорожно расширившимися ноздрями и вздувшимися венами на шее, посмотрела сначала на ножны, потом на священника, испустила слабый стон, но потом, сильно закусив губу, протянула руку, словно боясь прикоснуться к его находке, и проговорила:

– Что это? Где вы это нашли?

Она взялась за кожаный чехол, но Уингфорд не выпустил его из рук.

– Отдайте! – потребовала она. – Это моё. Это я потеряла.

– Тут на подкладке что-то тёмное, – сказал священник, глядя прямо ей в глаза.

Она разжала было пальцы, но вот же миг ловко выхватила ножны из руки Уингфорда, крепко прижав их к груди, и испуг на её лице сменился вызывающим выражением. Уингфорд не стал пытаться отнять у неё ножны. Она спрятала их в карман и высокомерно выпрямилась.

– Что вы имеете в виду? – спросила она жёстким голосом, в котором угадывалась дрожь. На минуту ей показалось, что над её головой кружатся стервятники, а она пытается кое-как защититься от них, беспомощно грозя им пальцем. Но тут же с высокомерным видом и внезапной надменностью в голосе она произнесла:

– Так, значит, сэр, вы за мной следили?

– Нет, – тихо ответил священник. – Эти передал мне один человек, которому стали известны определённые факты... который кое-что слышал...

Он замолчал. К этому времени Хелен уже дрожала всем телом, но упрямо держалась за тот клочок твёрдой земли, который пока у неё оставался.

– А почему вы до сих пор не отдали его мне?

– Прямо на улице? Или в присутствии вашей тёти?

– Как вы жестоки! – задыхаясь проговорила она, чувствуя, что силы покидают её. – Что вам известно?

– Главным образом то, что я хочу помочь вам, и вы можете мне доверять.

– И что вы собираетесь делать?

– Всё, что в моих силах, ради того, чтобы помочь вам и вашему брату.

– Но ради чего?

– Ради правды, какой бы она ни была.

– Но как? Что вы ему скажете?

– Это вы должны помочь мне понять, что ему следует сделать.

– Только не... – лихорадочно начала она и, заломив руки, упала перед ним на колени, – Только не говорите ему, что он должен сдать полиции! Пообещайте мне, что не станете говорить ему этого, и я всё вам расскажу. Он сделает всё, что вы пожелаете, но только не это! Всё что угодно, но только не это!

Сердце Уингфорда зашлось при виде её отчаяния. Он уже готов был поднять её с дружескими уверениями участия и сочувствия, но она снова умоляюще воскликнула:

– Обещайте мне, что вы не станете уговаривать его сдать!

– Я не смею ничего обещать, – ответил он, – потому что должен делать то, что сочту правильным. Поверьте, я не хочу ничего выпытывать у вас насильно, но вы явно дали мне понять, что вы в беде и вам нужна помощь, и я был бы плохим священником, если бы не попытался уверить вас в том, что вы можете мне довериться.

Он замолчал. С чувством растущей безысходности Хелен поднялась на ноги, и они пошли дальше. Когда они вышли на луг, за которым возвышался особняк, она повернулась к нему и сказала:

– Я готова довериться вам, мистер Уингфорд. Я отведу вас к брату, и пусть он сделает то, что посчитает нужным.

Они молча пересекли луг. Затворив за ними калитку сада, Хелен неожиданно остановилась и прижала руку к груди.

– Ах, мистер Уингфорд! – воскликнула она. – У меня просто разрывается сердце. У него нет никого кроме меня! Я ему и мать, и сестра, и всё! Поверьте мне, он вовсе не злой, мой бедный, бедный мальчик!

Она лихорадочно вцепилась в руку Уингфорда и умоляюще посмотрела ему в лицо: в сумрачном свете, какой бывает в могильных склепах, с напряжённо расширившимися глазами, осунувшимся лицом и дрожащими бескровными губами она походила на призрака, выпущенного из-под земли «порассказать об ужасах геенны⁴¹».

– Спасите его! – чужим голосом произнесла она, с трудом выговаривая слова. – Спасите его от угрызений совести, точащих ему душу. Но прошу вас, не говорите ему, не говорите, чтобы он сдался полиции!

41 У. Шекспир, «Гамлет», Акт II, сцена 1.

– Может быть, будет лучше, если вы сами мне обо всём расскажете? – спросил священник. – И тем самым избавите его от ненужной боли и волнения?

– Я расскажу, если он попросит меня об этом, но не иначе. Идёмте, нам нельзя медлить. Ему всегда плохо, когда меня нет рядом. Я на минутку оставляю вас в библиотеке, а потом приду за вами. Если зайдёт тётушка, умоляю вас, ни слова об этом. Она знает только, что у него воспаление мозга, и он очень медленно выздоравливает. Я ни разу не намекнула ей, что всё гораздо хуже. Но честно говоря, мистер Уингфорд, я и сама не уверена, что он действительно сделал то, о чём он вам расскажет. Только страдает он ничуть не меньше. Пожалуйста, мистер Уингфорд, пожалейте нас! Не будьте слишком к нему суровы! Ведь он ещё совсем мальчик, ему только двадцать лет!

– Пусть Бог поступит со мной так, как я поступаю с ним! – торжественно откликнулся Уингфорд.

Хелен опустила глаза и отпустила его руку. Они прошли через сад и вошли в дом. Потом Уингфорд сам поражался тому, как решительно и спокойно он принял на себя – нет, почти что подтащил к себе! – эти отношения с Хелен и её братом. Но он чувствовал, что отказать ей – всё равно, что оставить Хелен наедине с её горем, и ради неё он должен смело идти навстречу всему, с чем придётся столкнуться.

Хелен оставила его в библиотеке, как и обещала. Он ожидал её возвращения, словно в каком-то ступоре, не в силах думать, и ему казалось, будто он очутился в странном и тревожном сне.

Глава 24. Добровольное признание

– Пойдёмте, – вернувшись позвала его Хелен. Священник поднялся и пошёл за нею. Стоило ему подойти к кровати и увидеть лежащее на подушке лицо, как он сразу понял, что Хелен права, и перед ним не злой нечестивец, а, скорее всего, юноша, движимый неистовыми страстями. Он увидел смуглую кожу и огромные, бархатные, беспоконные глаза, рождённые тропической южной кровью. Не скажи Хелен, что это её брат, Уингфорд подумал бы, что видит перед собой девушку. Свет, не столько лучившийся, сколько переливавшийся через край измученных, смятенных, умоляющих глаз, пронзил священника в самое сердце.

Когда-то у Уингфорда тоже был брат, единственный, кого он любил по-настоящему. Брат умер совсем молодым, и источник привязанности в сердце священника успел подёрнуться тонкой корочкой льда. Но сейчас лёд вдруг сломался и исчез, и вся душа Уингфорда рванулась навстречу несчастному мальчику. Он и сам пытался взывать к Богу в горькие минуты нужды. И вот теперь – казалось, ещё до того, как Бог услышал его самого, – к нему взывает о помощи страдающий брат. Но это было ещё не всё. Чтение евангельской истории пробудило в душе Уингфорда странное, но вполне естественное желание увидеть лик Того, о Ком рассказывали столь дивные вещи, и из-за этого он, сам того не зная, начал смотреть на своих собратьев с почтением и любовью, впервые заметив это только сейчас, когда душа его с такой нежностью отозвалась на страдания Леопольда.

Он тихо приблизился к постели, с лицом полным ласки и глубокой жалости. Леопольд, ослабевший от долгой болезни и душевных мук, лишь раз взглянул на него и тут же протянул к нему обе руки. Ну разве можно было после этого просто подать ему руку? Уингфорд склонился над ним и крепко обнял его, как маленького ребёнка.

– Я знал, что вы придёте, – всхлипывая проговорил Леопольд.

– Ну как я мог не прийти? – ответил Уингфорд.

– Я где-то видел вас раньше, – сказал Леопольд. – Должно быть, в одном из своих снов. – И, понизив голос до шёпота, добавил: –

Знаете, а ведь вы вошли почти сразу после неё. Она обернулась, увидела вас и пропала!

Уингфолд не стал даже пытаться понять, о чём он.

– Тише, мой мальчик, тише, – сказал он. – Я не должен позволять вам бредить, а иначе врач запретит мне сюда приходить.

– Это вовсе не бред, – возразил Леопольд. – Я спокоен, как горная вершина. Видели бы вы меня, когда я и вправду не в себе...

Уингфолд присел на краешек постели и взял исхудавшую, горячую руку в свою твёрдую, прохладную ладонь.

– Что ж, – сказал он, – тогда расскажите мне всё как есть. Или вы хотите, чтобы это сделала ваша сестра? Прошу вас, подойдите к нам, мисс Лингард!

– Нет, нет! – поспешно перебил его Леопольд. – Я сам. Хелен и так уже выбилась из сил, она просто не выдержит, если начнёт всё это рассказывать... Только я боюсь, что стоит вам понять, к чему я клоню, как вы сразу встанете и уйдёте прочь!

– Это было бы всё равно, что выйти из горящего дома и закрыть за собой дверь, оставив внутри беспомощного ребёнка! – сказал Уингфолд.

– Тогда ты иди, Хелен, – очень тихо проговорил Леопольд. – Зачем тебе снова мучиться? Не бойся за меня. Мистер Уингфолд обо мне позаботится.

Бросив один тревожный взгляд на брата, Хелен вышла. Не медля ни секунды, Леопольд начал свой рассказ и на редкость связно и искренне поведал священнику грустную историю о содеянном зле, как когда-то рассказывал её сестре, только более последовательно и спокойно. Должно быть, он всё же волновался о том, как Уингфолд воспримет эту историю, и эта тревога не давала вновь ожившим воспоминаниям наброситься на него с новой, обуревающей силой. Он ни на миг не отрывал взгляда от Уингфолда, и священник чувствовал, что эти глаза, словно в книге, читают малейшие чувства, отражающиеся на его лице. Однако он был настолько хорошо готов к тому, что ему предстояло услышать, что Леопольд не заметил в его лице ни удивления, ни тени отвращения, и продолжал рассказывать всё до конца, ни разу не остановившись. Когда он смолк, какое-то время

оба они сидели, глядя друг на друга и не говоря ни слова. Взгляд Уингфорда лучился состраданием, а молодой Лингард смотрел на него с неясным тревожным вопросом и мольбой.

– И как вы думаете, чем я мог бы вам помочь? – наконец спросил Уингфорд.

– Не знаю. Я думал, вы что-нибудь мне подскажите. Я больше не могу так жить! Ну почему тогда я не остановился, чтобы подумать, и не убил себя вместо неё! Это было бы куда лучше! Конечно, сейчас я был бы уже в аду, но это было бы справедливо, а сейчас всё неправильно. Как я могу лежать в постели, если Эммелина лежит в гробу?! Я знаю, что заслуживаю вечных мук и вовсе не хочу от них избавляться – это только справедливо! – но того, что происходит со мной сейчас, мне больше не вынести! Прошу вас, скажите мне что-нибудь, чтобы у меня появились силы всё это выдержать! Вот какая помощь мне нужна. Мне не хотелось бы потерять рассудок. И, что самое ужасное, из-за меня страдает сестра; я просто не могу этого видеть. Всё это медленно убивает её. И потом, мне кажется, она любит Джорджа Баскома; а кто согласится жениться на сестре убийцы? А теперь ещё и она – то есть Эммелина – опять начала приходить ко мне, даже днём; или, может, просто я снова начал её видеть; не знаю. Может она всегда здесь, только я не всегда её вижу... Да какая разница! Вот если бы кто-то ещё увидел её!.. Пока она здесь, никто не сможет убедить меня, что её нет, но потом я и сам начинаю сомневаться. А ночью мне снова и снова снится та ужасная ночь, и мне нестерпимо думать о том, что я никогда не избавлюсь от своей вины, никогда не почувствую себя чистым. Я не могу жить, вечно чувствуя себя убийцей и храня это в тайне от людей!

Глава 25. Совет священника

Уингфорд ещё не знал, что должен сказать, но помнил, что даже малейшие проблески – это уже свет, и поэтому, решив просто выслушать Леопольда и дать ему выговориться, сказал первое, что пришло ему в голову:

– И что вы чувствуете, когда думаете о том, что вас могут поймать?

– Сначала я боялся этого больше всего на свете. Когда опасность миновала, мне стало страшно при мысли о будущей жизни. Потом я и этого перестал бояться, и теперь меня мучит только то, что я натворил. Часто мне даже хочется, чтобы меня арестовали и спасли от самого себя. Уж лучше бы всё вышло наружу, и мне уже нечего было бояться! Думаю, что даже в тюрьме мне было бы легче видеть её. Вы даже не представляете, с какой превеликой радостью я пошёл бы на виселицу, если бы тем самым можно было бы перечеркнуть прошлое или вернуть Эммелину! Честное слово, мистер Уингфорд! Надеюсь, вы верите мне, хоть я этого и не заслуживаю.

– Верю, – откликнулся Уингфорд, и они немного помолчали. Наконец священник заговорил снова:

– Что ж, пока я с уверенностью могу сказать только одно: я ваш друг и ни за что не оставлю вас. Но иногда дружба начинается с того, что человек признаётся в собственной нищете, и я хочу сказать вам, что хуже всего знаю то, что мне следовало бы знать лучше всего. Я лишь недавно начал искать Бога и пока не смею сказать, что нашёл Его, но, по-моему, успел понять, где Его найти. Ещё я думаю, что если мы найдём Его, то найдём и нужную нам помощь. Всё, что я могу сделать для вас сейчас, – это быть рядом, разговаривать с вами и молиться за вас Богу, чтобы вместе мы могли дождаться от Него света... Как вам кажется, от чего вам могло бы стать чуточку легче?

– Я просто не вправе искать облегчения и чем-то утешаться!

– Ну, не знаю. Вам легче сейчас от того, что я пришёл?

– О да, да, намного!

– Ну вот видите. А ведь в этом нет ничего плохого, верно?

– Не знаю. Это как-то нечестно: ведь ей уже никогда не будет хорошо! Хелен всё время пытается как-то меня извинить и оправдать, но от этого мне только хуже.

– Я же не говорил вам ничего подобного!

– Нет, не говорили.

– Но вам легче от того, что я здесь?

– О да, сэр! – горячо и серьёзно ответил Леопольд.

– И что, от этого вы меньше думаете о своём преступлении?

– Нет. Оно кажется мне ещё более дурным, когда вижу вас рядом, такого чистого, сильного и честного, и думаю о том, каким мог бы быть и я.

– Значит, по меньшей мере, в моём приходе нет никакого вреда. Если бы я увидел, что мои слова заставляют вас меньше ненавидеть своё преступление, то, наверно, немедленно ушёл бы прочь.

– Спасибо вам, сэр, – пристыженно ответил Леопольд. – Знаете, когда я думаю о том что уже никогда, никогда не смогу себя уважать и думать о себе, как прежде...

– Что ж, может быть, раньше вы думали о себе слишком хорошо, – откликнулся Уингфорд. – Знаете, на земле бывает нечто похуже самого отъявленного негодяя и глупца: это когда такой негодяй или глупец сам не знает своего подлинного положения и считает себя уважаемым человеком. Как выяснилось (хотя, быть может, раньше сама мысль об этом показалась бы вам нелепой), вы способны на убийство. Мне кажется, что если в сердце человека не живёт Бог, он может быть – или стать – способным совершить любое преступление, какое только подвластно человеческой природе.

– Я вообще ничего не знаю о Боге, – ответил Леопольд. – Пожалуй, раньше, перед тем, как всё это произошло... то есть до того, как я это сделал, – поправился он, – мне казалось, что знаю; но теперь я вижу, что ничего не знаю и никогда не знал.

– Ах, Леопольд! – вздохнул священник. – Вы только себе представьте: уж если вам стало легче от моего прихода, каково было бы всегда иметь рядом Того, Кто сотворил вас!

– А какая от этого радость? Понятно, Он мог бы простить меня, если бы по Его слову я сделал то-то и то-то. Но что в этом толку? Преступление-то так и останется на мне!

– Ах, вот вы о чём! – сказал Уинфолд. – Боюсь, вас беспокоит не только ужас того, что вы натворили, но и тот стыд, который вы на себя навлекли. Только почему вам не должно быть стыдно? И зачем кому-то избавлять вас от этого стыда? Нет уж, вам придётся смиренно согласиться вынести его до конца. Может быть, именно в нём и кроется рука любви, омывающая с вас скверну. Лучше испить чашу стыда и очиститься от грязи!

– Я не очень вас понимаю, сэ. О какой скверне вы говорите? Разве скверна не в том, что я совершил это преступление?

– Мне кажется, что главная скверна – это иметь в себе, иметь частью себя нечто такое, что даёт вам способность его совершить. Если бы вы воспротивились этой скверне и подчинили её себе, она не смогла бы вас запятнать. И даже сейчас, если вы покаетесь и к вам придёт Бог, вы ещё можете стать чистым. Я повторю ещё и ещё раз: лучше испить чашу стыда и очиститься! В стыде нет грязи, хотя человеческая гордыня и уверяет нас в обратном. Напротив, человек, искренне устыдившийся своего греха, уже начал очищаться.

– Но чем это поможет Эммелине? Разве она сможет вернуться к солнцу из тёмной могилы?

– Она сейчас вовсе не в тёмной могиле

– А где же она тогда? – с перекосившимся лицом прошептал Леопольд.

– Этого я не знаю. Я знаю лишь одно: если Бог есть, она в Его руках, – ответил священник.

Молодой Лингард молча, не отрываясь смотрел ему в лицо. Уинфолд понял, что ему не следовало пытаться утешать несчастного словами о Боге, обитающем у него внутри. Какое утешение они принесут этому бедному, разрываемому страстями мальчику? Как ему понять эту великую истину и обрадоваться ей, пока его духовная натура остаётся лишь в зародыше? Нет, нужно попробовать иначе.

– Хотите, я расскажу вам о том, что мне самому порой кажется единственным утешением в бедах и трудностях?

– Да, сэр, пожалуйста! – кротко, как маленький мальчик, ответил Леопольд.

– Иногда мне кажется, что стоит мне хоть на миг увидеть Иисуса...

– А-а! – воскликнул Леопольд и глубоко вздохнул.

– Так, значит вам тоже хотелось бы Его увидеть?

– Ой, мистер Уингфорд!..

– И что бы вы тогда Ему сказали?

– Не знаю. Я бы упал на землю и обхватил Его ноги, чтобы Он никуда от меня не ушёл.

– Как вы думаете, Он мог бы вам помочь?

– Да. Он мог бы воскресить Эммелину. И уничтожить то, что я сделал.

– Но ведь преступление всё равно бы осталось на вас!

– Но вы сами говорите, что Он простил бы меня и сделал меня таким, чтобы я больше не грешил.

– Так вы считаете, что история про Иисуса Христа – это правда?

– Конечно. А вы что, нет? – произнёс Леопольд, удивлённо и полуспуганно глядя на Уингфорда.

– Да нет, я тоже считаю, что это правда... Быть может, вы помните, что Он сказал ученикам перед тем, как покинуть их: «Се, Я с вами во все дни до скончания века!» Если это правда, значит Он и сейчас прекрасно слышит вас и слышал вас всегда. А ещё будучи в мире, Он сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас». А ведь вы, бедный мой мальчик, хотите именно покоя: не избавления от опасности или стыда, а именно душевного покоя, какой бывает в детстве! Если Он не сможет дать его вам, я не знаю, где и как человек может обрести его. Не тратьте времени на напрасные размышления над тем, как именно Он может этот сделать: это Его дело, а не ваше! Попросите Его простить и очистить вас и расставить всё по своим местам. И если Он этого не сделает, то Он не Спаситель человеков и зря был назван Иисусом.

Священник встал. Леопольд спрятал лицо в ладонях. Когда он опустил руки и открыл глаза, Уингфорда в комнате не было.

Глава 26. Сон

Когда Уингфолд вышел из комнаты, находившейся рядом с лестницей, с верхней ступеньки поднялась Хелен, где она сидела всё время, пока священник беседовал с её братом. Он осторожно прикрыл за собой дверь и тихо пошёл к выходу. Присутствие человеческой души, терзающейся чувством вины, всегда накидывает на нас покров благоговейного молчания, но в притихшей поступи священника было не только это. Ему казалось, что он оставил Леопольда наедине с Целителем душ; что за дверью остался человек, растянутый на дыбе истины, но Тот, кто стоял у его изголовья, взирал на его муки с сердцем, полным самого живого сострадания, какое когда-либо билось в человеческой груди, а палачами были сами ангелы света. Неудивительно, что такие мысли и чувства заставили Уингфолда ступать как можно тише, а по лицу его протянулись две блестящие дорожки. Он и сам не знал, что в глазах его стояли слёзы, но Хелен увидела их.

– Вы всё знаете? – нетвёрдо произнесла она.

– Да. Простите, можно мне выйти от вас через сад? Мне хотелось бы побыть одному.

Хелен повела его вниз по лестнице. Уингфолд молчал.

– Вы же не думаете дурно о моём бедном брате, мистер Уингфолд? – пристыженно спросила Хелен.

– Это ужасная история, – откликнулся он. – Но я ещё не видел, чтобы человек так смиренно принимал свою вину и стыд. Надеюсь, вскоре он успокоится. Мне кажется, он знает то единственное место, где можно обрести покой. Я прекрасно понимаю, какой глупостью многим кажутся мои слова, мисс Лингард, но когда человек вдруг сполна осознаёт всю гнусность собственных поступков, когда они глумятся над ним неотступными призраками, когда ему тошно от самого себя и он с омерзением отворачивается от своего прошлого, настоящего и будущего, ему остаётся только один выбор: между смертью, которую проповедует ваш друг мистер Баском, и жизнью, которую проповедует Иисус, распятый иудей. Я очень надеюсь, что ваш брат выберет жизнь и войдёт в неё.

– Как я рада, что вы не испытываете к нему ненависти!

– Ненависти? Только дьявол мог бы ненавидеть его!

Хелен подняла на него благодарные, полные слёз глаза. Она уже не испытывала ужаса при мысли о том, что он может посоветовать её брату. Нет, он никогда не станет уговаривать Леопольда пойти в полицию!

– Но, как я уже сказал, я лишь начинаю постигать эти возвышенные истины, – опять заговорил священник. – Мне хотелось бы привести к нему мистера Полварта.

– Карлика? – воскликнула Хелен, содрогаясь при воспоминании о том, что ей пришлось пережить в домике привратника.

– Да. У него крохотное, уродливое и больное тело, но душа его необъятна, прекрасна и терпелива. Я не знаю никого лучше и мудрее него.

– Я должна спросить Леопольда, – ответила Хелен. Чем больше хорошего она слышала о человеке, тем боязливее и ревнивее относилась к тому, какой совет он может дать. Её любовь никак не могла примириться с её совестью.

У калитки, выходящей на луг, они расстались, и она вернулась к брату. Перед тем как войти, она нерешительно помедлила. Внутри было тихо, как в склепе. Она неслышно повернула ручку и заглянула внутрь: должно быть, торжественный вид священника сообщил ей тень того благоговения, с которым он вышел оттуда, где, быть может, рождалась заново человеческая душа. Леопольд не шевелился. Смертельный ужас объел ей душу. Она торопливо вошла, обогнула ширму и приблизилась к кровати. К её радостному изумлению Леопольд крепко спал, и на щеках его ещё не высохли слёзы. Сердце Хелен наполнилось неведомым ей доселе чувством: быть может, это было первым ростком благодарности Отцу её собственного духа?

Она стояла, глядя на брата, как мать смотрит на больного ребёнка, как вдруг он открыл глаза и печально улыбнулся.

– Когда ты вошла? – спросил он.

– Только что, – ответила она.

– Я тебя не слышал.

– Нет. Ты спал.

– Не может быть! Мистер Уингфорд ушёл всего секунду назад.

– Нет, я уже проводила его до луга.

Леопольд озадаченно и немного встревоженно уставился на неё, но потом сказал:

– Так значит, Бог сделал так, чтобы я заснул?

Хелен ничего не ответила. Свет новой надежды, заблестевшей в его глазах, словно рассвет, наконец-то пробившийся над тёмными горами, уже отразился в её сердце.

– Ах, Хелен, – сказал Леопольд. – Какой он хороший человек! Очень хороший!

И тут Хелен впервые почувствовала укол ревности: до сих пор она была для Леопольда абсолютно всем! Может быть, если бы священник ей нравился, она не стала бы так сердиться.

– Ну вот, теперь я буду тебе не нужна, – грустно промолвила она. – Я никогда не понимала, как можно вот так проникнуться к человеку с первого взгляда!

– Наверное, некоторые из нас просто такими родились, – ответил Леопольд. – Тебя я тоже полюбил с первого взгляда! Никогда не забуду, как увидел тебя в первый раз, когда приехал сюда одиноким маленьким иностранцем. А ты была такая высокая, красивая дама; да, тогда ты мне показалась именно такой, хоть потом сто раз пыталась меня убедить, что на самом деле была всего лишь долговязой нескладной девчонкой, – как будто такое могло быть! Ты подбежала прямо ко мне, обняла меня, поцеловала, и мне показалось, будто я переплыл океан смерти и отыскал рай в твоих объятьях!.. Неужели ты думаешь, что я забуду тебя ради мистера Уингфорда, каким бы хорошим, добрым и сильным он ни был? Даже она не смогла бы заставить меня забыть тебя, Хелен! Только, по-моему, теперь ни мне, ни тебе без мистера Уингфорда просто не обойтись. Жаль, что он не очень тебе нравится. Но со временем ты непременно его полюбишь! Понимаешь, он не рассыпает дамам комплименты, как некоторые другие священники. Ну, и ещё, быть может, манеры у него немного... нет, неуклюжими их не назовёшь,.. чересчур простые и безыскусные. Видишь ли, Хелен...

– Видишь ли Польди, – с невольной улыбкой перебила его Хелен (последнее время они почти перестали улыбаться). – Я смотрю, ты всё про него знаешь, хотя видишь его впервые!

– Это правда, – откликнулся Леопольд. – Но он пришёл ко мне с дверью нараспашку и позволил мне войти. В таких случаях не надо много времени, чтобы узнать человека. Ему нечего скрывать, Хелен, не то что нам! – с грустью добавил он.

– И что он тебе сказал?

– Да, наверное, почти то же самое, что на днях сказал тебе с кафедры.

Она была права! Несмотря на всю свою чёрствость и непримиримость, священник всё-таки внял её мольбам и не стал забивать голову бедного мальчика жуткими мыслями о долге и самопожертвовании!

– Завтра он снова придёт, – почти весело добавил Леопольд, – и, может быть, скажет что-нибудь ещё, чтобы помочь мне.

– А он сказал тебе, что хочет привести с собой друга?

– Нет.

– Я не понимаю, зачем рассказывать обо всём этом кому-то ещё.

– Может, пусть он лучше делает то, что считает нужным? Ты же не станешь спорить с врачом, так почему же мы должны сомневаться в нём? Когда один человек идёт ко дну, а второй прыгает в море, чтобы его спасти... Разве я могу судить о том, как ему лучше вытащить меня? Нет, Хелен, если уж я кому-то доверяю, то доверяю полностью, до конца.

Хелен вздохнула и подумала о том, как печально закончилось его доверие Эммелине.

С того самого разговора про Полвартов, когда они с Джорджем встретили их в парке, Хелен испытывала к ним некое физическое отвращение, как будто они были нечистыми тварями и вообще не должны были существовать. Но после этих слов Леопольда она почувствовала, что поток событий безвозвратно подхватил её, и теперь ей остаётся лишь покориться ему и плыть по течению.

Глава 27. Богослужение

На следующий день священник снова зашёл навестить Леопольда. Но Хелен как раз куда-то вышла, и когда служанка объявила, что пришёл мистер Уингфорд, у постели больного сидела миссис Рамшорн. Она относилась к учению Уингфорда с таким ревнивым негодованием, что ни за что не пустила бы его, но молодой Лингард так горячо запротестовал, услышав её слова: «Передайте ему, что нас нет дома», что ей пришлось уступить, и она велела служанке провести священника наверх. Однако она ни за что не собиралась оставлять его наедине с Леопольдом: кто знает, какими нелепыми и сумасбродными идеями он может забить мальчику голову! Судя по всему, он вполне способен заставить Леопольда постричься в монахи, стать социнианином или каким-нибудь святым последних дней! Так что она неотступно сидела, загораживая собой единственное восточное окошко в тёмной спальне племянника и не пуская прилив рассвета к его больной и измученной душе. Поэтому говорить откровенно они не могли. Но даже лицо нового друга было для Леопольда немалым утешением, и перед его уходом они всё-таки сумели договориться, что на следующий день Уингфорд зайдёт тогда, когда никто не сможет им помешать.

В тот же самый день Уингфорд повёл мануфактурщика в гости к Полвартам.

Рейчел лежала на диванчике в гостиной, жалкая сторбленная фигурка, напоминающая, скорее, могилку, разворошенную попытками покойника воскреснуть, нежели образ и форму, свойственную человеческой природе. Но когда она поздоровалась с мистером Дрю и с благодарностью выслушала его сочувственные слова, голосок её звучал весело и сердечно.

– Мы ещё увидим, что сделает для меня Бог, – ответила она на какие-то слова священника, и сейчас, как всегда, всё её существо дышало бесконечным доверием высшему Духу, которому подчинялся даже грубый материал её искалеченной хижины.

Уингфорд помог Полварту накрыть стол к чаю, и разговор, как всегда бывает, если собеседников объединяет важная для них тема, быстро нашёл нужное русло. В реальной жизни такие разговоры случаются нечасто. Обычно при любом обмене мнениями, который можно назвать разговором, у каждого собеседника есть своя излюбленная мысль, и он всячески стремится её доказать, одновременно пытаясь опровергнуть то, что говорит его ближний. Даже если допустить, что человек начал придерживаться той или иной точки зрения, потому что увидел в ней следы истины, чаще всего он доказывает её правоту такими методами, что намертво забивает в своей душе все отверстия и щели, куда эта истина могла бы пробиться. Однако эти трое (даже если вам покажется невероятным, что где-то на земле собралось целых три человека, любящих истину) стремились лишь к тому, чтобы высказать ту истину, которую они успели узнать сами, и увидеть то, что до сих пор было от них скрыто. Я попытаюсь передать лишь общее впечатление от их вечерней беседы.

– Я изо всех сил пытаюсь вас понять, господин Полварт, – сказал мануфактурщик после того, как хозяин дома какое-то время говорил один, – но никак не могу ухватить вашу мысль. Порой мне кажется, что я вот-вот поймаю её за хвост, но она тут же ускользает от меня, и я опять остаюсь ни с чем. Может, вы объясните мне, что вы имеете в виду, говоря о богослужении? Сдаётся мне, что до сих пор я употреблял это слово совсем в ином смысле.

– Ах да! – воскликнул Полварт. – Мне следует помнить, что те мысли, которые после долгих лет уединённых размышлений стали мне давно знакомыми, совсем не обязательно сразу будут понятны другим – особенно, если они выражены непривычными словами, присущими чужой индивидуальности. Мне надо было сразу пояснить, что, говоря о богослужении, я вовсе не имею в виду церковные обряды или должности. Я употребляю это слово в его изначальном смысле и говорю о служении Богу: о том, чтобы делать что-то для Бога. Неужели по собственной глупости я сделаю из церкви храм поклонения идолам, воображая, что она нужна Богу для восполнения какой-то Его нужды? Что я ублажаю какую-то Его прихоть, когда сижу на церковной скамье, слушая Его Слово, произнося молитвы и воспевая Ему

хвалу? Неужели в присутствии живой Истины я останусь таким безмозглым ослом? Или, если прибегнуть к более обыденному сравнению, неужели я, как пресловутый «хороший мальчик» из детского стишка, усядусь в уголок своего себялюбивого самодовольства и буду с осознанной гордостью есть рождественский пирог, воображая это невесть какой добродетелью и удовлетворённо размышляя о том, какую радость я тем самым доставляю своим родителям⁴²? И, если пойти ещё дальше, неужели я осмелюсь осквернить неприкосновенность потаённой комнаты, освящённой словами Христа, и в своём тщеславии буду полагать, что там, за закрытой дверь, я исполняю то, что Бог заповедал мне в качестве священного обряда⁴³? Неужели я по неразумию стану воображать, будто, осуществляя самое высокое и прекрасное, самое дивное право, данное человеку на земле – право излить своё сердце перед Тем, Кто несёт за меня ответственность, Кто прославил меня собственным образом и подобием хотя бы в моей душе, каким бы искажённым Его образ ни был в моём теле! – я тем самым что-то делаю для Бога? Разве я служу своему отцу, если сажусь за стол, чтобы съесть то, что он мне приготовил? Разве я служу Богу, когда ем Его хлеб и пью Его вино?

– Но разве Богу не приятно, когда человек изливает Ему свою душу? – спросил мистер Дрю.

– Конечно, приятно. Только что бы вы сказали, услышав, как ребёнок говорит: «Я приношу отцу большую пользу, потому что он всегда так сильно радуется, когда я чего-нибудь у него прошу или говорю ему, как я его люблю».

– Я бы сказал, что передо мной невыносимый маленький резонёр, – ответил Уингфорд. – Уж лучше бы он заслужил трёпку за воровство!

– Да, тогда надежды на его будущее было бы больше, – улыбнулся Полварт. – Разве мы будем утверждать, что сынишка, сидящий у ног отца и заглядывающий ему в лицо, служит отцу, просто потому что отцу приятно смотреть на своего малыша? Неужели я стану называть служением Богу минуты глубочайшего покоя и блаженства, когда

42 Джеки-дружок сел в уголок, сунул в пирог свой пальчик, изюминку съел и громко пропел: «Какой я хороший мальчик!» (“Little Jack Horner” из Песен матушки Гусыни, пер. Г. Кружкова).

43 См. Мф. 6:6.

я насыщаю свою душу самой жизнью вселенной? Это встреча с Богом, и Бог первым приближается ко мне, иначе мне никогда не приблизиться к Нему. Я всего лишь пена на волнах Его бесконечного океана, но даже пузырящаяся пена рождается не чем-нибудь, а океанской водой.

Уингфолду показалось, что свет излучают не только глаза Полварта, но всё его лицо, по которому разлилась строгая, полупрозрачная бледность.

– Ребёнок служит, – продолжал тот, – когда вдруг замечает, что отцу что-то нужно, вскакивает со своего места возле его ног, отыскивает необходимую вещь – и тем самым становится радостным, счастливым слугой, черпающим своё достоинство из того, что ему удалось что-то сделать для отца. А сидеть возле отцовских ног – это любовь, упоение, благоденствие, покой, но никак не служение, как бы ни радовался этому отец. «Для чего ты садишься у моих ног, сынок?» – «Для того, чтобы угодить тебе, отец». – «Нет, сынок; тогда ступай прочь и возвращайся, когда тебе самому будет приятно посидеть со мной»... «Почему ты жмёшься к моему креслу, дочка?» – «Потому что хочу быть рядом с тобой, отец. Мне от этого так хорошо!» – «Тогда иди ко мне поближе, дай мне прижать тебя к сердцу и сделать тебя ещё счастливее»... Не надо называть церковную службу служением Богу; это было бы насмешкой. Исследуйте пророков, и вы увидите, с каким презрением и отвращением они говорили о храмовых обрядах, постах, жертвах и торжественных праздниках – а всё потому, что народ считал всё это служением Богу!

– Но постойте, – перебил его мистер Дрю, и Уингфолд с некоторым беспокойством повернулся к нему, боясь, что тот нарушит строение маленького пророка. – По-моему, вы немного нелогичны. Ну как убогие существа вроде нас, немощные, неуклюжие и порой из самых благих намерений совершающие самые нелепые поступки – как мы можем служить совершенному Богу, совершенному в мудрости, в силе и во всём? И разве апостол Павел не говорил, что Он не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чём-либо нужду? Право, мне кажется, вы просто придираетесь к словам. Конечно, если это слово когда-то действительно употреблялось в том смысле, о котором

говорите вы, то сейчас всё иначе. Сейчас люди говорят о богослужении только в смысле церковного собрания.

– Если бы воистину служить Богу было невозможно, тогда спорить о значении этого слова действительно не имело бы никакого смысла. Но я утверждаю, что мы можем оказывать живому Богу реальное и подлинное служение. Более того: чтобы человек возрастал духовно, ему просто необходимо делать что-то для Бога. Да и как это сделать, понять вовсе не трудно, ведь Бог живёт в каждой созданной Им твари, нуждаясь во всём, в чём нуждаются Его творения, и страдая их страданиями. Вот почему Иисус сказал, что всё сделанное для одного из малых сих, делается для Него. И если душа человека есть храм Духа, тогда место его работы, будь то мастерская, лавка, контора или лаборатория, есть храм Иисуса Христа, где дух человека воплощается в его труде... Так что, мистер Дрю, – заключил привратник, вставая и торжественно протягивая обе руки к мануфактурщику, сидящему на другом конце стола, – ваша лавка и есть храм вашего служения, где властвует или должен властвовать Господь Иисус Христос, единственный образ полноты Отца. А ваш прилавок должен быть жертвенником в этом храме, и всё что вы возлагаете на него с намерением как можно лучше послужить ближнему во имя Иисуса Христа, есть истинная жертва, приносимая Ему, и служение, совершаемое для вечной, создающей вселенской Любви.

Даже стоя маленький пророк был ниже сидящих гостей. После его слов мистер Дрю уронил голову на руки, словно под тяжестью мыслей, чувств и благоговения.

– Я не говорю, что таким образом вы станете богаче, – продолжал Полварт, – но обещаю, что это уберёжет вас от опасности чрезмерного богатства и даст вам возможность трудиться вместе с Богом ради спасения мира.

– Но я должен на что-то жить! Не могу же я раздавать свои товары бесплатно! – раздумчиво проговорил мистер Дрю голосом человека, пытающегося как следует во всём разобраться.

– Это противоречило бы установленному в мире порядку, – сказал Полварт. – Нет, мистер Дрю, вам предстоит куда более трудная задача: сделать так, чтобы лавка приносила вам прибыль,

но одновременно не только оставаться справедливым по общепринятым меркам, но и проявлять интерес, внимание и заботу к ближнему, служа Богу изобилия, дающего всем просто и без упреков. Ваше призвание состоит в том, чтобы делать для ближнего самое лучшее, что вы только можете, в разумных пределах..

– Но кто будет определять эти разумные пределы.

– Сам человек, размышляющий в присутствии Иисуса Христа. Я верю в то, что существует святая умеренность, угодная Богу.

– Да, мистер Полварт, таким способом мало кто способен нажать себе состояние, особенно крупное.

– Это верно.

– То есть получается, что все крупные состояния были нажиты нечестным путём?

– Если, говоря о честном пути, вы имеете в виду «как сделал бы Иисус Христос»... Но нет, я не стану никого судить. Судить человека должна лишь его собственная совесть, просвещённая Богом, а не совесть ближнего. Почему я должен поступать по чужой совести?.. Но знаете, мистер Дрю, к чему я клоню? К тому, что вы можете служить Богу, служа нуждам Его детей целый день, с утра до вечера, пока в вашей лавке есть хоть один покупатель.

– Я думаю, вы правы, сэр, – ответил мануфактурщик. – Я и сам на днях думал о том же самом. Только мне кажется, что вы описываете какое-то идеальное совершенство, какого в нашем мире и быть-то не может.

– Идеальное оно или нет, одно можно сказать точно: его никогда не достигнуть человеку, который насколько безразличен, что считает его невозможным. Какая разница, способны мы реализовать этот идеал уже сейчас, в этом мире, или нет? Самое важное в том, начал ли человек к нему стремиться. Но даже если этот идеал действительно недостижим (в чём я лично сомневаюсь), к чему ещё должны стремиться последователи идеального, совершенного Человека?

– Разве человек способен достичь хоть какого-то идеала, пока в нём не начал обитать Бог, наполняя все уголки его души? – спросил Уингфорд с сияющими глазами.

– Конечно нет, и я твёрдо в этом убеждён, – ответил Полварт. – Иногда мне становится тяжело из-за того, как мало людей, которые хотя бы допускали мысль о том, что в них обитает сила, вызвавшая их к жизни. Да, Бог пребывает в каждом из нас, иначе мы просто не смогли бы жить. Только Бог сохраняет в нас жизнь на тот час, когда Он сможет наполнить Собою нашу волю, устремления и воображение. Когда человек распахивает дверь перед Отцом своего духа и его «я» дополняется – какое жалкое, немощное слово! – сотворившей его Индивидуальностью, тогда он обретает цельное, здоровое существование во всей его полноте. Тогда и только тогда он уже не будет совершать зла и мыслить зла, любовь его станет совершенной, а жизнь превратится в праздник. Тогда он уже не будет думать о том, чтобы молиться, потому что Бог станет обитать в каждой его мысли и будет заново входить к нему с каждым новым чувством. Тогда он будет прощать и долготерпеть и без колебаний положит душу ради тех друзей, которые всё ещё бредут на ощупь во тьме сомнений и страстей. Тогда каждый человек, даже самый худший, будет ему дорогим и желанным, потому что и в негодяе живёт неведомая тоска по тому покою, который так любит и в котором пребывает он сам.

Тут Полварт неожиданно сел, и в комнате воцарилось глубокое молчание.

Глава 28. Небесная лавка

– Дядя, – неожиданно сказала Рейчел, – а можно я прочитаю твои видения о небесных лавках?

– Нет, нет, Рейчел. Куда тебе сегодня читать! – мягко запротестовал Полварт.

– По-моему, на это сил у меня хватит. Право, дядя, мне очень хочется! Тогда мистер Дрю и мистер Уингфорд увидят, что тебе на самом деле представляется идеалом... Видите ли, мистер Уингфорд, однажды дядя всё это мне продиктовал, а я записала, слово в слово. Ему всегда лучше, когда за ним записывает кто-то другой, но в тот раз у него был такой ужасный кашель, что он говорил медленнее, чем обычно, и я успела записать всё-всё. И хотя он почти задыхался, вид у него был такой, будто ему вовсе не больно: как будто мысли так захватили его, что он обо всём позабыл... Ну пожалуйста, дядя! Думаю, джентльменам тоже хочется это услышать.

– Очень, – разом подтвердили они оба.

– Хорошо, тогда я принесу те записи, – покорился Полварт. – Где они у тебя?

Рейчел объяснила ему, где их найти, и через минуту он вернулся и протянула племяннице несколько листов бумаги.

– Это не сон, мистер Уингфорд, – пояснил он, усаживаясь. – Перед тем, как это продиктовать, я тщательно всё обдумал, но единственной формой, которая показалась мне подходящей, было видение... ну, наподобие «Видения мирзы»⁴⁴... Что ж, Рейчел, читай; я умолкаю.

Переложив листы поудобнее, Рейчел начала читать. Давалось ей это не без труда, но явное удовольствие от чтения придало ей сил и бодрости.

⁴⁴ «Видение мирзы» - произведение, относящееся к жанру назидательной философско-аллегорической восточной повести, где напоминание о быстротечности жизни сочетается с призывом к благодетельной и разумной деятельности.

«А теперь, – сказал мне проводник, – я приведу тебя в град праведников и покажу тебе покупающих и продающих в Божьем Царстве». И шли мы целый день, и ещё один день и ещё полдня, и я весьма утомился, когда мы добрались до места. Но когда я узрел, как оно прекрасно, и вдохнул в себя целительный воздух, усталость моя исчезла, как ночной сон, и я сказал: «Как хорошо!». Мне не велено теперь описывать тамошние дома, одежды обитателей и их обычаи, кроме тех, что я видел среди продающих и покупающих. Я бы с радостью поведал о речных потоках, которые то неслышно скользили, то стремительно неслись, то с гулким рёвом мчались вдоль улиц, изливаясь из одного неиссякаемого источника в центре города, так что с утра до вечера слух мой наполнялся шумом многих вод, умолкшим с приходом ночи, чтобы тишина могла иметь в душе совершенное действие. С какой радостью я поведал бы и о деревьях, цветах и травах, обрамлявших берега речных потоков на каждой улице. Но я должен воздержаться.

Не знаю, долго ли душа моя наслаждалась всей этой роскошью: в той стране нет спешки и лихорадочной беготни туда-сюда, но есть лишь мирное, вечное движение вперёд, где каждый день довольствуется своими благами. Только однажды мой провожатый привёл меня в большое место, которое у нас называли бы лавкой, хотя всё в нём было устроено иначе, и в самом доме, и вокруг него царил дух величавого достоинства. Лавка была полна прелестнейших шёлковых и шерстяных материй, всех видов и оттенков: тысяча радостей для глаз, да и для мысли тоже, ибо всё здесь дышало бесконечной гармонией, и ничто не оскорбляло взор.

Я стоял посередине, а мой провожатый молча стоял рядом. Всё время, пока я гостил в той стране, он редко заговаривал со мной (разве только когда я обращался к нему первым), но ни разу не выказал утомления, и на его лице часто мелькала полуулыбка.

Итак, первоначально я взгляделся в лица продающих – надо сказать, что в меру своих способностей каждый тамошний житель мог безошибочно прочесть выражение лица ближнего, пока на нём отражалось только то, что воистину было в человеке, – и прочёл в них одну готовность помочь, одно спокойствие сосредоточенного служения. Никто из них не искал своего, и я узрел лишь силу щедрости и деловитую готовность восполнить чужую нужду. Работа их не оживлялась спешкой, не притуплялась

усталостью, но становилась радостнее из-за того, как довольны были те, кто сполна получил то, в чём нуждался. Как только отходил один удовлетворённый покупатель, они почтительно поворачивались к другому и внимательно слушали его, пока не удостоверяться, что поняли его просьбу. Но когда они отворачивались, лица их не менялись, ибо на них сияло спокойное торжество, словно от достигнутого успеха, постепенно перерастающее в выражение довольства.

Затем я обратил свой взор к покупающим, но и в них не заметил ни скаредности, ни обмана. Они говорили с кротостью, но не потому что заискивали, а потому что были смиренными, ибо в их кротости слышалась уверенность, что они непременно получат желаемое. И правду сказать, мне было отрадно видеть, что каждый знает, что ему нужно, и выбирает товар решительно и без труда. Ещё я увидел, что покупающие обращались к продающим не только с почтением, но и с благодарностью. Все приветствовали друг друга и прощались так приветливо, что сначала я невольно подивился, как жители столь необъятного града могут знать всех своих сограждан, но потом понял, что дело тут не в родстве или знакомстве, а во всеобщей вере и всеобъемлющей любви.

Я стоял и смотрел, как вдруг мне пришло в голову, что я ещё ни разу не видел здешних денег. Тогда я стал поближе присматриваться к одной даме, покупавшей шёлк, чтобы увидеть, какими деньгами она расплатится за свою покупку. Но она просто взяла отмеренный отрез ткани и ушла, ничего не заплатив. Тогда я повернулся к другому человеку, запасавшемуся в долгую дорогу, но он тоже унёс свою покупку, не дав лавочнику ни одной монеты. «Должно быть, это известные в городе люди, – подумал я, – и им удобнее расплатиться позднее». Я повернулся к третьему, купившему много прекрасного, тонкого полотна – но и он ничего не заплатил!

Тогда я снова начал наблюдать за продающими и вскоре подумал: «Должно быть, здешний воздух особенно благотворен для памяти: ведь эти люди ничего не записывают, чтобы запомнить, кто и сколько должен им за товар!» Я всё смотрел и смотрел, высматривал и высматривал, но, хотя лавка была неизменно полна людей, словно улей, роящийся трудолюбивыми пчёлами, никто не платил за товар, и никто не записывал, кто и сколько остался должен!

Тогда я повернулся к своему проводнику и сказал: «Как прекрасна честность! И от скольких трудов она избавляет человекoв! Я вижу, что здесь каждый хранит в памяти собственные долги, а не долги ближнего, не тратя времени на уплату небольших сумм или на запись долгов, но вместо этого подсчитывает то, что купил, и, несомненно, в урочный день приходит и приносит торгующим деньги, так что все остаются довольными!»

Мой проводник улыбнулся и сказал: «Посмотри ещё немного».

Я повиновался и снова стал внимательно присматриваться, но повсюду было одно и то же, и я сказал себе: «И что же? Я не вижу ничего нового!» Как вдруг рядом со мной какой-то человек внезапно упал на колени и склонился до самой земли. Те, кто стоял поблизости, тоже преклонили колени. Я услышал нечто вроде приглушённого грома, и все в лавке пали на колени и протянули перед собой руки. Голоса и шум стихли, всё замерло, и лишь я и мой провожатый остались стоять.

«Должно быть, это час молитвы, – прошептал я ему на ухо. – Может, нам тоже встать на колени?» «В этом городе никто не преклоняет колен только потому, что это делает другой, и если кто-то остаётся стоять, никто его не осуждает, – ответил он. – Если на сердце у тебя горе или страдание, то молись; если же нет, то люби Бога в своём сердце и будь благодарен, и преклоняй колени, когда войдёшь в комнату и затворишь дверь». «Тогда я не стану преклонять колени, – сказал я, – но посмотрю, что будет дальше». «Хорошо», – ответил мой спутник, и я остался стоять.

Несколько минут все пребывали в недвижимом молчании: все мужчины и женщины стояли на коленях, протянув руки, кроме того, кто первым упал на колени. Его руки были опущены, а голова так и оставалась склоненной до земли. Наконец он поднялся, и лицо его было мокрым от слёз; поднялись и остальные люди, и по лавке снова прокатился негромкий раскат грома. Тот человек низко поклонился тем, кто стоял рядом, они так же почтительно ответили ему, и он, опустив глаза, медленно вышел. Как только он исчез, торговля возобновилась без единого слова о том, что произошло, и продолжалась, как прежде. Люди приходили и уходили: одни более энергичные и общительные, другие – более степенные и сдержанные, но все довольные и радостные. Наконец, где-то прозвенел колокольчик,

звонкий и мелодичный, и после того уже никто не заходил в лавку, и продавцы начали степенно убирать товары по местам. Через три или четыре минуты лавка опустела, и её хозяйева и работники ушли по своим делам, не закрывая ни окон, ни дверей.

Мы с провожатым тоже вышли, уселись на берегу неторопливой реки под деревом, похожим на иву, и я немедленно начал его расспрашивать. «Разъясните мне смысл того, что я видел. – попросил я. – Мне всё-таки непонятно, как эти счастливые люди ведут свои дела, не передавая из рук в руки ни одной монеты». «Там, где правят алчность, амбиции и себялюбие, без денег не обойтись, – ответил он. – А где нет ни алчности, ни амбиций, ни себялюбия, деньги не нужны». «Так они что же, просто меняют одни товары на другие, как делалось в древности? Но я не видел никакого обмена!» «Я скажу тебе лишь одно, – отвечивал мой спутник. – В любой другой лавке в этом городе, ты увидел бы то же самое». «И что из этого следует?» – недоумённо спросил я. «Там, где нет алчности, амбиций и себялюбия, – пояснил мой проводник. – людские потребности и желания обретают полную свободу, ибо не творят зла». «Всё равно я вас не понимаю», – сказал я. «Тогда слушай, – сказал он. – Я буду говорить с тобой без иносказаний. Зачем люди берут с собой деньги, идя в лавку?» «Потому что без денег никто не даст им товара». «А если бы в лавке им давали то, что нужно, без всяких денег, стали бы они брать с собой деньги?» «Если бы такое место и впрямь существовало, то, конечно, нет». «Тогда оно существует, потому что здесь всё так и происходит». «Но как можно отдавать свои товары, не получая ничего взамен?» «Они получают взамен всё. Скажи мне, зачем люди берут деньги за свои товары?» «Чтобы потом пойти и купить на них всё, что им нужно для себя». «А что если они тоже могут зайти в любое место, где есть нужные им вещи, и просто взять их, без денег, без цены? Тогда есть ли им смысл брать в руки деньги?» «Конечно, нет, – ответил я. – Кажется, я начинаю понимать, к чему вы клоните! Однако кое-что мне до сих пор остаётся непонятным, и прежде всего вот что: откуда у людей берётся желание производить все эти товары для блага ближних, если их не побуждает к тому собственная нужда, и они не получают от того никакой выгоды?» «Ты рассуждаешь, как твои сородичи; глядя на которых, полнорождённые видят лишь личинок, закупоренных

в свитые ими же коконы. И кто может винить тебя в этом, пока ты сам не засияешь внутри себя?

Пойми же, что в этом Царстве человеком движет не стремление к собственной пользе. Единственная выгода состоит в том, что человек действует без единой мысли о выгоде. Вашему миру кажется, что наш мир – сплошное противоречие. Тот, кто служит усерднее всего и более всего помогает другим в исполнении их честных желаний, находится в наивысшем почёте у Владыки сего града, и его честь и награда – в том, чтобы отдавать ещё больше сил ради блага своих собратьев. Говорят, что со временем такой человек созреет даже для того, чтобы спуститься к душам, заточённым в темнице, с посланием от самого Царя. Неужели ты думаешь, что желание искать и находить то, что радует глаз, утоляет разум и веселит сердце здешних жителей, возгревает наши мысли и усилия меньше, чем стремление к выгоде? И когда кто-то просит: «Друг, дай мне хлеба!», то неужели желание ответить ему: «Возьми сколько тебе нужно!» менее способно подвигнуть нас к усердию, чем стремление к наживе и скопидомству? Ведь тем самым мы причащаемся радости Бога, дающего щедро и не удерживающего от Своих никакого блага! Здесь блаженство человека состоит в том, чтобы помочь ближнему завладеть тем, что сродни его натуре, и радоваться этому, и тем самым возрастать – учение странное и невероятное для тех, в ком ещё открылся источник жизни. В прежнем мире никогда не бывало много людей, которые могли бы вот так войти в радость своего Господа.

Но поразмыслив, ты увидишь, что это блаженство всё-таки знакомо некоторым из твоих собратьев. Неужели ты не знаешь ни одного музыканта, которому было бы в радость тёмной ночью взобраться на башню с сотней колоколов и рассыпать дивные кометы звонкого света над городом, измождённым заботами? Неужели в твоём полусотворённом роде все до одного рассуждают так: «Сейчас ночь, меня никто не увидит, а одна только музыка не донесёт до людей моего имени; почестей никаких не будет – так зачем же мне утруждаться?» Даже в своём мире ты наверняка знаешь тех, кто не станет говорить так в своём сердце, но почтёт радостью стать ничего не значащим и положить душу за своих собратьев. В этом же городе все такие: в лавке или в мастерской, в конторе или

в театре, все стремятся отдать всё и даже самих себя для сего дивно-го сообщества».

«Скажите мне вот что, – сказал я. – Много ли можно просить одному человеку?» «Он просит и получает сколько хочет – то есть сколько ему нужно». «И кто определяет, сколько ему нужно?» «Кто, как не он сам?» «А что если в нём проснётся жадность, и он начнёт копить и наживаться?» «Разве сегодня ты не видел человека, из-за которого на время остановились все дела? Вместо того, чтобы помышлять о возрастании, он подумал, как бы побольше накопить, и тут же упал на колени от ужаса и стыда. Ты видел, как вся торговля замерла, и лавка немедленно превратилась в то, что у вас внизу называется церковью, ибо все бросились на помощь этому бедняге, воздух наполнился дыханием молитвы, его окружили души, любящие Бога, и нечистая мысль исчезла, а сам он вышел оттуда радостным и смиренным и завтра вернётся взять то, за чем приходил. И если тебе случится при этом быть, ты увидишь, что с ним будут обращаться ещё бережнее и приветливее, чем с остальными». «А если бы он не стал молиться?» «Если бы он улёгся спать, не раскаявшись, то проснулся бы с ненавистью ко всему городу и ко всем его обитателям и немедленно убежал бы в пустыню. И Ангел Господень пошёл бы вслед за ним и поразил бы его словом, и тогда этот человек исчез бы из числа здешних обитателей, уподобившись наименьшей из тех тварей, которые в вашем мире рождаются от воды. И ему снова предстояло бы расти с самого начала, ползя по тысяче стадий возрастания, от твари к твари, покамест, наконец, он снова не получит человеческого разума и, через многие поколения, не обретёт способности заново родиться от духа в царство свободы. Тогда ему откроется всё его прошлое, и он тысячу раз покается в страхе и стыде и больше уже не будет грешить. По крайней мере, так говорят мудрые, но на самом деле мы не знаем, что будет».

«Всё это мне по душе, – сказал я. – Но откуда люди знают, какова их часть в обеспечении общего достатка?» «Каждый делает то, что может, и чем больше труда от него требуется, тем больше он ликовует». «А если кто-то возжелает того, чего не найти во всём городе?» «Тогда он сам сделает всё возможное, чтобы сделать или найти то, чего пожелал: ведь однажды того же самого может возжелать кто-то ещё». «Теперь я, кажется, всё понял», – сказал я. Мы встали и пошли далее.”

– Мне кажется, что такое возможно, – проговорил Уингфорд, нарушая молчание, воцарившееся после того, как Рейчел остановилась.

– Но не в этом мире, – откликнулся мануфактурщик.

– Сомневаться, что такое возможно, – сказал привратник, – всё равно, что усомниться в том, что есть Божье Царство: пустые человеческие измышления или Божий замысел.

Глава 29. Полварт и Лингард

На следующее утро после второго визита Уингфорда молодой Лингард, к удивлению и некоторому опасению своей сестры, попросил принести ему одежду: ему захотелось встать. До сих пор он оставался таким вялым и апатичным, и симптомы возвращающейся лихорадки появлялись у него так часто, что доктор разрешал ему сидеть только в постели, подперевшись подушками, да и то не больше часа. Хелен и сама считала, что оставаться в постели ему куда надёжнее. Неожиданное желание подняться означало, что ему стало лучше. Только как она могла желать его выздоровления, если каждый новый час грозил превратиться в час грозной кары? С другой стороны, она не могла не видеть, что за последние пару дней Леопольд немного успокоился. Даже его взгляд был не таким тревожным: может, перед ним открылась надежда на душевный покой, благодаря которому жизнь уже не будет казаться ему такой невыносимой?

От помощи он отказался, и Хелен, принеся ему всё необходимое, вышла из комнаты, решив на всякий случай оставаться поблизости. Одевался Леопольд долго и медленно, но позвал сестру только тогда, когда был готов. В одежде он выглядел куда хуже; было видно, как страшно он исхудал и побледнел. От его прежнего солнечного облика осталась лишь печальная тень! Хелен поспешно отвела взгляд, чтобы в её глазах Леопольд не увидел, как сильно он изменился,

и принялась смотреть на деревья в саду, на луг и рощу, купающуюся в ярких лучах между голубым небом и зелёной землёй. «Какой ужасный мир!» – думала она. Кузен ещё не успел убедить её, что лучшего мира просто не бывает, только и от иных миров ей, увы, не приходилось ждать ничего хорошего.

– Можно мне чего-нибудь съесть, Хелен? – попросил Леопольд. – А то скоро придёт мистер Уингфорд, и я хочу, чтобы у меня были силы с ним поговорить.

Он впервые сам попросил еды, хотя до сих пор почти никогда не отказывался есть то, что она приносила. Хелен уложила его на диван и распорядилась, чтобы мистера Уингфорда сразу же провели наверх, как только он придёт. Леопольд повеселел, и когда принесли суп, с удовольствием принялся за него, а когда служанка объявила, что пришёл мистер Уингфорд, на мгновение он прямо-таки просиял.

Хелен приняла священника почтительно, но не очень сердечно: от её появления Леопольд никогда не светился такой радостью!

– Ваш брат согласен встретиться с мистером Полвартом? – довольно неожиданно и немного резковато сказал Уингфорд.

– Я готов встретиться с любым человеком, кого вы сочтёте нужным сюда привести, мистер Уингфорд, – откликнулся на его слова сам Леопольд, и в его решительном голосе явно прозвучала возвращающаяся сила.

– Но Леопольд, – возразила Хелен, – ты же знаешь: нам совсем не нужно, чтобы ещё кто-то...

– Я вовсе этого не знаю, – перебил её Леопольд со странным выражением лица.

– Пожалуй, вам стоит знать, мисс Лингард, – сказал священник, – что это мистер Полварт нашёл ту вещь, которую я отдал вам. После вашего визита он не мог не догадаться, что дело тут нечисто, и даже будь он обычным человеком, ради сохранения тайны я счёл бы разумным рассказать ему то, что сейчас рассказал ему, надеясь получить мудрый совет. При вашем брате я повторяю, что уже говорил вам: я не знаю человека мудрее и лучше него. Я оставил его на лугу, возле ограды сада. Ему сегодня нездоровится, и поэтому мы пришли коротким путём. Если вы не против, я позову его.

– Да, пожалуйста, – ответил Леопольд. – Ты только подумай, Хелен: мистер Уингфорд не знает никого лучше и мудрее! Скажи ему, где лежит ключ.

– Я сама, – отозвалась она, покоряясь неизбежному. Открыв дверь, она увидела, что карлик сидит на траве неподалёку от дома. Он сорвал цветок медуницы и теперь так пристально разглядывал его, что не увидел и не услышал её появления.

– Мистер Полварт! – окликнула его Хелен.

Он поднял глаза, встал и, сняв шляпу, с улыбкой произнёс:

– Я как раз искал в медунице те самые пятнышки, которые Фея из «Сна в летнюю ночь» называет рубинами... Как себя чувствует ваш брат, мисс Лингард?

Хелен ответила с холодной учтивостью, и когда она пошла впереди него, указывая дорогу, в её походке было куда больше горделивого достоинства, чем это было необходимо.

– Вот, Леопольд, это мистер Полварт, – сказал священник, почтительно привстав, когда они вошли в комнату. – С ним можно говорить так же открыто, как и со мной, и он сможет дать вам куда более мудрый совет, чем я.

– Вы не откажетесь пожать мне руку, мистер Полварт? – спросил Леопольд, протягивая ему полупрозрачную ладонь. С самой сердечной улыбкой Полварт взял её в свою руку и немного подержал.

– Должно быть, на вид я кажусь вам довольно странным, да? – спросил он. – Но благодаря тому, что Бог сделал меня таким, я был вынужден думать о таких вещах, о которых иначе наверняка позабыл бы. Именно поэтому мистер Уингфорд и попросил меня прийти к вам.

Священник пододвинул ему стул, и маленький привратник уселся. Хелен села неподалёку, на узкий подоконник, делая вид, что подшивает носовой платок. «Какой ужасный мир!» – словно злое насекомое, неотступно кружилось у ней в голове. Леопольд же радостно переводил свои большие глаза с одного гостя на другого.

– Мне жаль видеть, что вам так нездоровится, – участливо произнёс он, услышав хрипкое затруднённое дыхание карлика и увидев, как судорожно вздымается его грудь.

– Ничего, болезнь не слишком меня беспокоит, – откликнулся Полварт. – Ведь это не моя вина, – добавил он с улыбкой. – По крайней мере, я думаю, что не моя.

– Как вам хорошо: вы страдаете не по своей вине, – вздохнул Леопольд. – А моё наказание кажется мне невыносимым именно потому, что оно справедливо.

– Вашей душе необходимо Божье прощение.

– Не думаю, чтобы от этого мне стало легче.

– Я вовсе не имею в виду, что ваши страдания сразу прекратятся. Но у вас появится сила их перенести. Это будет для вас началом новой жизни.

– Но я правда не понимаю, что мне это даст. Я вовсе не чувствую, что чем-то оскорбил Бога. После нашего разговора, мистер Уингфорд, я всё время стараюсь это почувствовать. Только я ведь не знаю Бога и чувствую лишь свою вину против Эммелины. Допустим, я скажу Богу: «Прости меня», и Он ответит: «Прощаю». Но ведь мои чувства от этого вовсе не станут иными! Разве эти слова изменят и исправят то, что я натворил? Я такой как есть, и этого уже не изменить, и моё преступление навсегда останется с нею и навсегда останется моим, где бы она ни была.

Он спрятал лицо в ладонях.

«Ну зачем, зачем они так мучают его!» – в сердцах подумала Хелен.

Какое-то время гости сидели молча. Затем Полварт сказал.

– Я думаю, что бесполезно пытаться вызвать в себе то или иное чувство. И никакие старания не помогут вам представить, что даёт Божье прощение тому, кто принимает его. Лучше расскажите мне немного о том, что чувствуете вы сами, мистер Лингард.

– Я чувствую, что готов убить себя, только бы вернуть её к жизни.

– То есть вы с радостью загладили бы свою вину?

– Да я отдал бы ради этого всю свою душу, всю свою жизнь!

– И что, для этого ничего нельзя сделать?

Хелен затрясло.

– А что тут сделаешь? – ответил Леопольд. – Как это всё-таки жестоко: наделить человека способностью делать то, чего он не в силах потом исправить.

– Да, мысль и вправду ужасная. Пожалуй, для тварных существ даже самый мелкий грех слишком велик, чтобы его можно было бы полностью исправить.

– Вы хотите сказать, что это может сделать только Бог?

– Да.

– По-моему, есть такие вещи, которые даже Ему исправить не под силу.

– Он не был бы Богом, если бы не мог или не хотел сделать для своих созданий того, что эти создания не могут сделать для себя сами и просто погибнут, если этого не сделает для них кто-то другой.

– Тогда Он не Бог, потому что мне Он помочь не может.

– Просто вы не видите, что можно сделать, и потому говорите, что Бог не может ничего исправить, – как будто Он видит и знает ничуть не больше вас! Одно можно сказать точно: если бы Он видел и знал не больше, чем вы, Он не мог бы быть Богом. Уже сама невозможность что-либо исправить указывает на те сферы, которые подвластны только Богу.

– Я не очень вас понимаю. Но это неважно. Всё просто ужасно. Мне хочется умереть.

– Но, посудите сами, мой милый друг: почему вы считаете, что, если существо, способное натворить столько зла, вдруг обнаруживает, что исправить это зло ему не под силу, ему бесполезно взывать о помощи к Тому, Кто вызвал его к жизни? Да ещё при том, что о Нём рассказывают, даже если это всего лишь древняя легенда, затасканная и искажённая до неузнаваемости: что Он взял на Себя наши грехи?

Леопольд уныло опустил голову.

– Богу не нужно, чтобы мы заглаживали перед Ним свою вину, – продолжал карлик. – Напротив, Он берёт на Себя наши грехи, чтобы навсегда вычистить их из вселенной. А как Он может говорить, что берёт на Себя наши грехи, если Ему не под силу возместить тот ущерб, который мы нанесли другим?

– Эх! – проговорил Леопольд с глубоким вздохом. – Если бы и вправду!.. Если бы Он действительно мог это сделать!

– Но Он действительно может это сделать! – воскликнул Полварт. – Какой часовщик не способен исправить те часы, которые сам же сделал?

– Но ведь здесь идёт речь о человеческих сердцах!..

– ...которые Бог не только делает, но и исправляет! – подхватил Полварт. – Мне кажется, этого требует простая логическая необходимость: Существо, способное создать другое, отдельное от Себя мыслящее существо, должно обладать способностью исправить всё то, что испортит Его творение. Быть может (если Он сочтёт это нужным), Он даже даст человеку силы самому исправить то, что тот натворил, – или, по крайней мере, даст ему возможность попросить и получить прощение, чтобы восстановить мир между ним и тем, кого он обидел. Знаете, что печальнее всего в учении о том, что нечестивые будут прокляты навсегда? То, что оно не оставляет праведникам возможности заглядеть перед ними свою вину за всё то зло, которое они причинили им в этой жизни. Потому что праведники грешат против нечестивых куда больше, чем им кажется, ведь на самом деле праведники всё время были настоящими богачами, а нечестивые – нищими... Но да будет благословенно слово Господне о том, что есть такие первые, которые будут последними, и такие последние, которые окажутся первыми.

Хелен в немом изумлении смотрела на карлика. Его последние слова показались ей несвязным бредом, и она горько раскаивалась в том, что позволила этим фанатикам возыметь такую власть над бедняжкой Польди, который сидел перед ними бледнее прежнего и, как ей показалось, с ещё более безумным блеском в глазах.

– Разве в мире нет могучей Любви, готовой трудиться хоть всю вечность, чтобы исправить то, что сломано? – заключил Полварт.

– Боже! – вскричал Леопольд. – Если бы и вправду всё было так! вот это была бы благодать: способность исправить то зло, которое я совершил!

Он поднялся с подушек, медленно и степенно, как будто перед начальством, но с внутренней решимостью, и встал прямо, немного пошатываясь от слабости.

– Мистер Уингфорд, – сказал он, – прошу вас, окажите мне ещё одну услугу: отвезите меня к ближайшему мировому судье. Я хочу во всём признаться.

Хелен вскочила и бросилась вперёд, бледнее чем её брат.

– Мистер Уингфорд! Мистер Полварт! – заговорила она, переводя взгляд с одного гостя на другого. – Он не в себе! Вы же не позволите ему совершить это безумство!

– Может быть, это и верное решение, – сказал священник Леопольду, – но прежде чем действовать, следует всё тщательно обдумать.

– Я и так думаю об этом уже не один день и не одну неделю, – возразил Леопольд, – но до сегодняшнего дня мне не хватало смелости решиться на самый простой и понятный долг... Понимаешь, Хелен, если бы я предстал перед Богом с псалмом на устах и сказал: «Тебе, Тебе единому согрешил я!», это было бы неправда, потому что я согрешил против всех мужчин, женщин и детей – по крайней мере, в Англии – и теперь отрекаюсь от себя. Я хочу предстать перед Божьим престолом, но путь к Нему лежит для меня только через врата закона.

– Леопольд! – умоляюще вскричала Хелен, словно взывая о милости к безжалостному судье. – Что толку отправляться вдогонку той, кого уже не воротить? Этим ты не вернёшь её к жизни и никому не сделаешь легче!

– Разве только себе самому, – откликнулся Леопольд слабеющим, но не менее решительным голосом.

– Живи, пока Бог не заберёт тебя Сам! – настаивала Хелен, не слыша его слов. – Ведь тогда ты сможешь посвятить свою жизнь тому, чтобы тысячу раз загладить это преступление! А так ты всего лишь втопчешь её в грязь! Подумай, сколько всего доброго ты мог бы сделать для людей!

Леопольд бессильно опустился на диван.

– Хелен, я сел только потому, что не могу стоять, – сказал он. – Я всё равно поеду к судье! И не говори мне о том, чтобы делать добро! Я лишь запачкаю кровью всё, к чему прикоснусь. Я больше не хочу

нести на себе ответственность за свою жизнь. Я – словно Франкенштейн, то жуткое создание, не имеющее права на существование, и одновременно его создатель, отвечающий за того, кого сотворил. Я – пятно на Божьем творении, и это пятно нужно стереть. Для этого Он и вернул мне силы, и я снова могу сознательно принимать решения. И не только это, но и действовать – вот увидишь! Хелен, если ты воистину хочешь быть для меня сестрой, прошу, не мешай мне сейчас! Я знаю, тебе тяжело, очень тяжело! Я знаю, что мой позор падёт и на тебя, но ничего не могу с этим поделать. Если я этого не сделаю, меня ждут бездны безумия, одна за другой, всё глубже и глубже, пока даже бесы не смогут удержать меня... Мистер Полварт, разве я не должен пойти и во всём признаться? Разве моё преступление не должно выйти на свет, чтобы Бог очистил его с лица земли? Большинство людей считает, что первый долг человека – в том, чтобы заботиться о своей жизни. Для своей жизни я могу сделать только одно. Теперь она похожа на гнилой пруд с трупом на дне. Я хочу вычистить его, чтобы, по крайней мере, похоронить бедняжку – хотя забыть её я не смогу никогда, никогда! А потом я умру, пойду к Богу и посмотрю, что Он может для меня сделать.

– Зачем же откладывать? – спросил Полварт. – Пойдите к Нему прямо сейчас и всё Ему расскажите!

Словно Самуил по слову Илия, Леопольд встал, неверными шагами добрался до гардеробной, вошёл туда и закрыл за собой дверь.

Тут Хелен повернулась к Уингфорд с лицом белым, как полотно и глазами, пылающими тревожным гневом. В её груди металась разъярённая тигрица, и теперь она действительно походила на неистовую менаду.

– Так вот она какая, ваша религия?! – воскликнула она с трепещущими ноздрями. – Неужели Тот, Кого вы называете своим Господом, стал бы хитростью проникать в дом ближнего, чтобы воспользоваться слабостью несчастного мальчика, страдающего от воспаления мозга? Что ни говори, блестящая победа вашего лживого церковного красноречия! Да что вам за дело, признается он в своих грехах или нет? Неужели мало того, что он покается перед Тем, Кого вы зовёте своим Богом? Как вам не стыдно, джентльмены!

Она умолкла и стояла перед ними, дрожа всем телом и сверкая глазами, словно грозовая туча в человеческом облике. Ни Уингфолд, ни Полварт не стали оправдываться: хотя ни один из них не предлагал Леопольду пойти и выдать себя полиции, они от души одобряли его решение.

Но в следующее мгновение её гнев неожиданно потух, она залилась слезами и, повалившись на колени перед священником, начала просить и умолять его, словно ребёнок, которому предстояло страшное наказание. Сердце Уингфолда разрывалось при виде её мучительной мольбы к тому, кто никак не мог ответить ей «да», – и этим кем-то был он сам! Он попытался поднять её, но тщетно.

– Если вы не спасёте Леопольда, я покончу с собой, – вскричала она, – и моя кровь будет на вашей совести!

– Единственный способ спасти вашего брата – это укрепить его на то, чтобы он исполнил свой долг, каким бы тот ни был.

Но тут её опять охватил приступ пылкой ярости. Она вскочила на ноги, и её лицо снова покрылось мертвенной бледностью от бушующего внутри гнева.

– Немедленно покиньте этот дом! – отчеканила она, резко повернувшись к Полварту, неподвижно и торжественно стоявшему чуть позади Уингфолда. Вся его фигурка дышала удивительным безотчётным достоинством.

– Если уйдёт мой друг, с ним уйду и я, – сказал Уингфолд. – Но прежде мне придётся объяснить наш уход вашему брату.

Он шагнул к гардеробной, но тут состояние Хелен опять круто переменилось. Она метнулась между ним и дверью, заслонила её собой, и кроткая мольба её взгляда молнией пронзила ему сердце и почти лишила его мужества. Ах, как она была хороша в этой безмолвной слёзной молитве! Но даже её слёзы не могли отвратить Уингфолда от того, в чём он видел свой долг. Они могли лишь вызвать из глубины милосердного сердца ответные слёзы сострадания. Хелен тут же поняла, что он не уступит.

– Тогда пусть Бог поступит с вами также, как вы поступили со мной и моим братом! – произнесла она.

– Аминь! – вместе откликнулись Уингфорд и Полварт. Но тут дверь в гардеробную открылась, и к ним вышел Леопольд с сияющим лицом.

– Бог услышал меня! – воскликнул он.

– Откуда ты знаешь? – сказала Хелен, внезапно охрипнув от неверия и отчаяния.

– Потому что Он дал мне силы выполнить мой долг. Он напомнил мне о том, что в моём преступлении могут обвинить кого-то другого, так что теперь с моей стороны было бы вдвойне подло скрываться от закона.

– Ты сможешь подумать об этом потом, если будет нужно. Может, ничего такого и не будет? – сказала Хелен таким же чужим голосом.

– Так что же, – воскликнул Леопольд, – неужели я стану подвергать невинного человека ужасу и позору ложного обвинения ради того, чтобы виновный чуть дольше продолжал оставаться лицемером? Нет, Хелен, я ещё не настолько опустился! Поверь, лишь сейчас я впервые ожил с тех пор, как убил её!

Но не успел он этого сказать, как лицо его померкло, и он мешком свалился на пол, так что они даже не успели его подхватить.

– Вы убили его! – сдавленно вскрикнула Хелен, ни на секунду не забывая, что её может услышать тётушка, но в то же мгновение в обмороке брата для неё забрезжила мрачная надежда.

– Уходите, умоляю вас! – горячечно зашептала она. – Через ту дверь, возле окна, пока не пришла тётя. Она наверняка слышала, как он упал. Вот вам ключ от нижней двери.

Мужчины повиновались и молча покинули дом.

Леопольд пришёл в себя не скоро. Когда Хелен снова уложила его в постель, он не стал сопротивляться и лежал, не двигаясь, в полном изнеможении.

Глава 30. Дом сильного⁴⁵

Навтра он был слишком измучен, чтобы разговаривать. Он ел и пил то, что приносила ему сестра, благодарил её улыбкой и один раз, подняв руку, погладил её по щеке. Но сердце Хелен не радовалось этим приметам сравнительного спокойствия: ведь то, что давало брату покой, наполняло её саму неизъяснимым страхом.

На следующий день была суббота, и к ним, как обычно, приехал Джордж Баском. Заслышав на пороге его шаги, её умирающая надежда снова затрепетала крыльями: лишившись убогой опоры в лице священника, от чьей помощи она никогда не ожидала многого, Хелен в порыве нового отчаяния обратилась к кузену, от которого она вообще ничего не ждала. Только что она ему скажет? Пока ничего, решила она про себя; но она отведёт его к Леопольду: ведь рано или поздно он всё равно услышит, что у того был священник. Она совсем не была уверена, что поступает правильно, но всё равно решила это сделать. Если она оставит их вдвоём, может, Джордж, даже не зная, в чём дело, по неведению даст Леопольду какой-нибудь хороший практический совет, который ему поможет? У Джорджа такая здравая натура, и он так трезво мыслит! Ведь это так нелепо и ужасно, полагать, что человек имеет право выбросить на ветер саму свою жизнь, да ещё и навлечь позор на свою семью исключительно ради вопроса чести – нет, даже не чести, а болезненной придирчивости!

Леопольду было лучше, и он с готовностью согласился повидаться с Джорджем.

– Хотя лучше бы это был мистер Уингфорд, – добавил он. – Но, наверное, сегодня он вряд ли сможет прийти, ведь завтра воскресенье.

Когда Джордж вошёл к Леопольду, от него повеяло духом беззаботного здоровья, и приятный вид силы и бодрости живительно подействовал на больного. В глазах Баскома светилось участие, и он чуть ли не от двери протянул мальчику свою широкую, ладную руку. Ладонь Леопольда утонула в его крепком и долгом рукопожатии.

45 См. Мф. 12:29, Мк. 3:27, Лк. 11:21.

– Что это вы, дружище? Так не годится! – весело начал он. – И не стыдно вам лежать в постели в такую погоду? Вам надо скакать верхом по парку вместе с Хелен, а не хандрить в этой мрачной комнате! Если вы немедленно отсюда не выйдете, то ослепнете, как пещерная рыба! Нет, нам надо поскорее поставить вас на ноги!

Он оглянулся и, увидев, что Хелен вышла, заговорил чуть тише и серьёзнее:

– Право, друг мой, вы должно быть, дьявольски неосторожно обращались со своим здоровьем, если так расхворались. Ей-богу, так не годится! Пора вам начать новую жизнь, а то подобные вещи к добру не приводят. Игра не стоит свеч. Вы только посмотрите на себя: оказались чуть ли не на пороге смерти! А ведь жизнь и так слишком коротка, чтобы так с нею баловаться.

Какое-то время этот первосвященник общественной морали продолжал разглагольствовать тоном дружеской укоризны, не давая Леопольду вставить ни единого слова. Но когда тому всё же удалось заговорить, увещевания Баскома приняли совершенное иное русло.

Через час Джордж появился в гостиной, где его ожидала Хелен. Вид у него был очень серьёзный.

– Боюсь, дела у Леопольда куда хуже, чем я предполагал, – сказал он.

Хелен печально кивнула.

– Он же совершенно не в себе, – продолжал Джордж. – С величайшей серьёзностью рассказал мне какую-то небылицу! Он упорно утверждает, что он убийца – убийца той самой девушки, о которой я рассказывал...

– Да, да, я знаю, – ответила Хелен, и на её горизонте мелькнул слабый лучик оживающей надежды. Джордж увидел в словах Леопольда лишь бредни воспалённого воображения, а ведь кто разбирается во всём этом лучше него, адвоката, постоянно имеющего дело с чужими показаниями? Нет, она ни единым словом не станет опровергать сложившееся у него впечатление.

– Надеюсь, вы сделали ему хорошее внушение, – сказала она.

– Ну конечно, – откликнулся он. – Только, по-моему, толку от этого никакого. Я прекрасно понимаю, в чём тут дело. Да, он обсто-

ательно рассказал мне всю эту историю, добавляя новые подробности, но, в сущности, описывал только то, что печаталось в газетах. Например, он не смог объяснить мне, как ему удалось убежать. А теперь он решил, что ему нужно во всём признаться, и ни о чём другом даже слышать не желает. Ему всё равно, кто об этом узнает! Он просто окончательно помешался – прошу прощения, Хелен! Да не успел я войти, как по его глазам увидел, что малый повредился рассудком... Что же теперь делать?

– Вся моя надежда только на вас, Джордж, – сказала Хелен. – Тётя тут не поможет. Только подумайте, что с нею будет, если Польди попытается пойти в полицию! Да о нас заговорит всё графство, вся страна!

– Почему вы не рассказали мне обо всём этом раньше, Хелен? Ведь это наверняка началось уже давно.

– Я просто не знала, что делать, Джордж. А вы всегда говорите такие ужасные вещи о нашем долге наказывать преступников, что...

– Боже правый, Хелен! Куда подевалась ваша логика? При чём здесь преступление? Разве сумасшествие делает человека преступником? Да кто угодно сразу увидит, что мальчик не в себе!

Хелен поняла, что чуть не проговорила, и умолкла.

– Его следует поместить в лечебницу, – тем временем продолжал Джордж.

– Нет, нет, нет! – почти выкрикнула Хелен и спрятала лицо в ладонях.

– Я попытался убедить его, что всё это бред. Но я попробую ещё раз. Даже если он не в себе, это ещё не значит, что его невозможно убедить с помощью здоровой логики – то есть отталкиваясь от его собственных признаний.

– Боюсь, с этим у вас ничего не выйдет, Джордж. Он так упрямо стоит на своём, что я не знаю, как теперь быть.

Джордж поднялся, вернулся к Леопольду и засыпал его ворохом самых лучших аргументов. Только всё было тщетно: тот видел перед собой лишь одну дорогу из ада, и дорога эта вела через ворота чистосердечного признания, что бы ни ожидало его с другой стороны.

– Кто знает, – сказал он, – может быть, закон «жизнь за жизнь» был продиктован именно состраданием к убийце!

– Ерунда, – отрезал Джордж. – Он был продиктован заботой общества о своих членах.

– Как бы то ни было, одно я знаю точно, – ответил Леопольд. – С той минуты, как я решил признаться, я снова чувствую себя человеком.

Джордж замолчал. Его охватило редкое для него чувство: замешательство. Будет страшно неприятно, если эта история получит огласку! А ведь найдутся остолопы, которые во всё это поверят! Даже если Леопольда объявят умалишённым, они непременно скажут, что безумие – это всего лишь результат или, в лучшем случае, причина преступления. Возможно, им действительно придётся упрятать его в сумасшедший дом, чтобы избежать уймы досадных неприятностей. Только вряд ли Хелен на это согласится. И потом, Леопольд рассказывает обо всём так досконально (и потому вполне правдоподобно), что любой мировой судья немедленно отдаст его под суд, а ведь тогда уже не оберёшься самых нежелательных последствий.

Джордж молча перебирал эти беспокойные мысли, как вдруг его осенила одна идея.

– Что ж, – беспечным тоном произнёс он. – Если уж вы решили признаваться, значит, так тому и быть! Тогда нам надо всё как следует устроить. Я обо всём договорюсь и сам поеду с вами к судье. Вы же знаете, я в этом разбираюсь. Но сегодня я бы не советовал вам никуда ехать. Если вы предстанете перед судьёй в таком виде, как сейчас, он просто не станет вас слушать: решит, что у вас горячка, и отправит вас в постель. Если сегодня вы будете лежать смирно... так, дайте мне минутку сообразить... завтра у нас воскресенье... Вот что: если в понедельник вы не передумаете, я отвезу вас к мистеру Хукеру – это один из мировых судей нашего графства, – и вы всё ему расскажете.

– Благодарю вас! А можно мистеру Уингфорду тоже поехать с нами?

«Ах вот в чём дело!» – подумал Баском про себя.

– Непременно, – произнёс он вслух. – Мы можем взять его с собой.

После этого Джордж снова вернулся к Хелен.

– Да, дело пренеприятное, – сказал он ей. – Бедняжка! Как вы, должно быть, с ним пострадали. А я и знать не знал! Ну ничего, я кое-что придумал. Не беспокойтесь, Хелен, я и правда знаю, что можно сделать. Только почему он просит, чтобы на признание с ним поехал Уингфорд? Я ничуть не удивлюсь, если всё это – результат его церковной болтовни! Вполне может быть, что именно этот осёл священник вбил Леопольду в голову, что ему нужно во всём признаться, чтобы спасти свою душу. Как они познакомились?

– Леопольду захотелось с ним поговорить.

– С чего это?

Хелен молчала. Она видела, что Джордж подозревает правду.

– Ну, неважно, – сказал он. – Но никогда не знаешь, какие могут быть последствия. Всегда нужно просчитывать на несколько ходов вперёд... Знаете, Хелен, вам лучше пойти прилечь. Вы совсем на себя не похожи.

– Я боюсь оставлять Леопольда, – ответила она. – Вдруг он начнёт рассказывать обо всём тёте, да и всем остальным.

– Уж я позабочусь о том, чтобы он никому ничего не говорил, – заверил её Джордж. – Идите и прилягте, хотя бы ненадолго.

Силы Хелен действительно были на исходе. До последнего она мужественно держала себя в руках, но теперь, когда больше сделать было ничего нельзя и Леопольд взял свою судьбу из её рук в свои, она вдруг почувствовала страшную слабость, и практически впервые в жизни ей захотелось улечься в постель и заснуть. Пусть Джордж или Уингфорд, или кто угодно беспокоится об этом упрямом мальчишке! Она сделала всё, что могла.

Она охотно последовала совету Джорджа и, отыскав пустую спальню, заперла изнутри дверь и ничком повалилась на постель.

Глава 31. Джордж и Леопольд

Уем временем Джордж вернулся к Леопольду и уселся возле его постели. Мальчик лежал с полузакрытыми глазами, и на лице его брезжила улыбка, слабая и печальная. Он крепко спал: с самого младенчества он нередко спал с полуоткрытыми глазами.

– Эммелина! – вдруг умоляюще пробормотал он, будто прося прощения.

«Какая странная одержимость! – подумал Джордж. – Даже во сне его преследует безумие. Боже правый! А вдруг... Нет, не может быть, чтобы в этом была хоть доля правды. Кажется, я и сам начинаю потихоньку сходиться с ума. Говорят, доктора в лечебницах для душевнобольных тоже лишаются рассудка. Интересно, что за споры переносят эту инфекцию? Должно быть, они проникают в мозг через нос... А может, в каждом из нас изначально дремлет безумие, и нужно только чужое сумасшествие, чтобы оно вырвалось на волю?..

Тут он увидел, что Леопольд проснулся и смотрит на него.

– А так страшно умирать? – спросил он.

– Как так?

– Когда тебя вешают.

– Да, очень страшно. Человек постепенно задыхается, – ответил Джордж, стараясь нарисовать всё в как можно более чёрных красках.

– А я думал, только ломается шея, и всё, – проговорил Леопольд с лёгкой дрожью в голосе.

– Да, так оно и задумано, но часто всё получается совсем иначе.

– Ну, по крайней мере, сейчас преступников уже не вешают прилюдно. Хоть какое-то утешение, – сказал Леопольд.

«Как странно, – подумал Джордж. – Человек готов принять смерть ради идеи! Только разве ему не лучше было бы просто радоваться оставшимся дням жизни, поскольку, как говорит их собственный пророк, приходит ночь, когда никто не может ничего делать? Кому станет хуже от того, что он ещё пару-тройку раз затынется перед тем, как потухнет его сигара? Одно дело – повесить преступника, но совсем другое – самому пойти на повешение, если этим преступни-

ком оказался ты... Но этот малый просто бредит, и нужно снизойти к его фантазиям. Подумать только, дёргаться в петле из-за идеи! Что ж, в истории уйма подобных случаев!.. Интересно, долго бы он упорствовал в этой своей идее, если бы ему действительно предстояло реальное повешение? Жаль, что нельзя это проверить, хотя бы ради эксперимента. Нет уж, лучше пусть сидит в смирительной рубашке».

Леопольд был мало знаком с Джорджем и потому ничего не знал о его излюбленных теориях. Однако он всегда знал, что Баском был не просто кузеном его сестры, но доверенным другом и её самой, и её тёти. А с тех пор, как ему стало известно о его частых визитах, он начал думать, что для Хелен Баском уже стал больше, чем просто другом. Вот почему, решив во всём признаться, он с такой готовностью ему доверился. И хотя его немного разочаровало, что Джордж воспринял его откровенность совсем не так, как Уинфорд и Полварт, из-за этого он не стал доверять ему меньше: ведь Хелен, чья верность и преданность не знала границ, относилась к его желанию точно так же, как и её кузен.

– А что бы сделали вы, Джордж, если бы совершили такое же преступление, как я? – немного помолчав, спросил он.

Ни одна из теорий Джорджа никогда не требовала от него осознания вины. Он редко представлял себя в той или иной ситуации, а если и представлял, то ситуации всегда были приятными, вроде выигранного дела или всеобщего признания. Он вполне довольствовался тем, чтобы рассматривать все неприятные условия человеческого существования чисто со стороны, и приходило к логическим умозаключениям относительно них, не пытаясь мысленно представить себя в подобных ситуациях. И вообще, это было бы оскорблением самой сущности Джорджа Баскома – воображать, как он бьётся в раскалённых путах преступления, совершённого против общества! Вот почему Джордж, которому на большинство вопросов всегда было что сказать, не сразу нашёлся с ответом.

– Я бы сказал себе, – наконец заговорил он, – что сделанного не вернёшь, и я уже ничего не смогу исправить или отменить то, что случилось. Поэтому остаётся только одно: быть мужчиной и мужественно всё это перенести, не превращаясь в слабака и не позволяя

преступлению сломать меня. Нет, нет, клянусь Богом! Меня это ни за что не сломило бы!

– Но ведь вы не знаете всей его тяжести! – возразил Леопольд.

– И не дай Бог! – откликнулся Джордж.

– Вот уж это точно: не дай Бог! – утвердительно кивнул Леопольд. – Но в моём случае дело уже сделано, как бы Он ни старался всё это предотвратить.

– Кто бы в этом ни участвовал, Бог или дьявол, сделанного уже не вернёшь, и остаётся лишь мужественно всё это вынести, – повторил Баском, вытягивая вперёд ноги. Он прекрасно понимал, как безжалостно звучат его слова. Но что тут поделаешь? Что ещё тут можно сказать?

– Но что если вынести это невозможно? Что если это сводит меня с ума, лишает рассудка, повергает в безумие? Нет я просто должен или что-нибудь сделать, или покончить с собой! – воскликнул Леопольд.

– У вас ещё не было возможности действительно попробовать что-нибудь сделать, – возразил Джордж. – Но теперь вы слишком больны и не можете ничего предпринять, так что пока ничего не поделаешь. А вот в понедельник мы поедem к мистеру Хукеру и посмотрим, что он нам скажет.

Он встал и пошёл в библиотеку, взять себе книгу. На лестнице ему встретился дворецкий: оказывается, пришёл мистер Уингфорд и просит разрешения подняться к Леопольду.

– Сегодня нельзя, он слишком слаб, – ответил Баском, и священник ушёл, задумчивый и грустный, с чувством, что возле Леопольда примостился стервятник – несомненно, добродушный, но явно намеревающийся выклевать мальчику очи его разума.

Уингфорд шагал к церкви с опущенной головой, никого не замечая. Он вошёл на кладбище, не глядя, куда идёт: бесценная человеческая душа оказалась в беде, на грани гибели, а он не мог приблизиться к ней, чтобы помочь! Вместо горного воздуха её заставляли дышать рудничным газом. Её пичкали болеутоляющими лекарствами вместо того, чтобы вскрыть её нарывы скальпелем честности, очистить раны и дать им затянуться. Забывшись в раздумьях, Уингфорд несколько раз

споткнулся о могилы, остановился и сел. Какое-то время он просто сидел, не думая ни о чём особенном и рассматривая короткие вихры моха на крыле несуразного каменного херувима, зелёным золотом сиявшие на солнце. Но вскоре он поймал себя на мыслях о том, что теперь главная опасность грозила не Леопольду, а Хелен. Содеянное преступление змеёй ужалило бедного мальчика, возвратив его к жизни, но к душе Хелен присосалась пиявка несовершенной любви, усыпляя её под видом ложной преданности. Так что ему следовало беспокоиться не столько о брате, сколько о сестре.

Он встал и зашагал назад, к особняку. На этот раз дверь ему открыла горничная.

– Могу ли я видеть мисс Лингард? – спросил он. Она провела его в библиотеку и пошла спросить, не согласится ли мисс Лингард принять его.

Глава 32. Уингфорд и Хелен

Хелен попыталась заснуть, но не могла даже лежать спокойно. Несмотря на то, что она предпочла обратиться за советом к Джорджу, и несмотря на надежду, вспыхнувшую в ней благодаря тому, как он отнёсся к произошедшему, одна мысль о том, что в соседней комнате возле Леопольда сидит её кузен, наполняла её тревогой и беспокойством.

Сначала ей не давало покоя простое чувство, что эти двое вместе: ведь она так долго пыталась этому помешать. Затем она испугалась, что Леопольд убедит Джорджа в реальности своего преступления – а что Джордж как честный человек может посоветовать в этом случае? И самое главное: какую надежду на покой дадут Леопольду все его слова, кроме того, чтобы подвести его к воротам смерти и подтолкнуть к абсолютному ничто за её порогом? И потом, вдруг Джордж

ошибается, и там всё же что-то есть? Каким бы ни было это «что-то», разве рассуждения её кузена помогут Леопольду хоть сколько-нибудь к нему подготовиться? Может быть, пока остаётся хотя бы малейшая возможность на жизнь после смерти, Леопольду лучше было бы умереть верующим подобно мистеру Уингфорду, а не неверующим подобно Баскому? Тогда, даже если после смерти ничего нет, хуже ему не будет; а если есть, то священник поможет ему хоть немного к этому подготовиться.

И тут Хелен впервые почувствовала, что немного боится своего кузена, что поддалась его влиянию или, вернее, позволяла ему думать, что он обладает над ней определённым влиянием, до тех пор пока не ощутила внутри какого-то неясного раздражения. Да, он очень славный – но готова ли она передать ему бразды своей жизни? Сможет ли она всегда следовать его принципам, если они поженятся? Но эта мысль лишь лёгким облачком скользнула по поверхности её сознания, потому что главной её заботой оставался Леопольд, на которого она сейчас почти сердилась, и это донельзя её огорчало.

Вот какие чувства бродили в её душе, когда горничная постучала в дверь и сказала, что мистер Уингфорд дожидается в библиотеке. Хелен немедленно решила к нему спуститься.

Уингфорд ждал её прихода с трепещущим сердцем. Он был не вполне уверен, его ли это дело – говорить с ней о её долге, но что-то неотступно побуждало его к разговору: ему была невыносима сама мысль о том, что мисс Лингард пойдёт по тропе несправедности. Даже в самых простых жизненных вопросах одному человеку весьма нелегко сообщить другому, в чём состоит его долг. А тут от природы застенчивый и сомневающийся в себе мужчина отважился обличать и наставлять женщину, чьё присутствие действовало на него с невероятным могуществом и теперь, когда страдания смягчили её красоту, стало в десять раз сильнее!

Она вошла, бледная и голубоглазая, с беспокойным, но горделивым видом; явно борясь с сомнениями, но с неким полудоверием в чертах и движениях, с горькими складками возле рта и веками и плечами, опущенными от усталости и печали, и священник почувствовал,

что готов преклониться перед ней уже из одного сострадания к её полному достоинству горю.

По натуре Томас Уингфорд был более других склонен помогать ближнему, но до сих пор история его детства, отсутствие друзей, уверенности, убеждений, принципов и жизненных целей не давали этой склонности воплотиться на деле. Но теперь, словно бьющая из земли вода, отыскавшая себе русло и мгновенно набравшая силу, эта тяга служить ближнему, до сих пор запертая в душе, властно заявила о себе. Теперь, когда он немного лучше понимал человеческое сердце и умел распознавать за выражением чужого лица прутья клетки, в которой томилась пленённая душа, сердце его загорелось любовью к беспомощным. И если в этой любви и было какое-то желание стать благодетелем, стремление к власти, тщеславие, гордость от собственного влияния или желание быть главным источником добра и безраздельно править своим маленьким царством помощи нуждающимся, эту болотную поросль в самом скором времени всё равно ожидала бы бесславная смерть, ибо единственное солнце, несущее пшенице жизнь, а плевелам смерть, есть лик Иисуса Христа а Уингфорд с каждым днём всё больше и больше жил в Его присутствии.

И вот в его жизни появилась Хелен, которая нуждалась в помощи больше, чем все другие люди, чья история была ему известна, – даже, пожалуй, больше, чем Леопольд! – и он с уверенностью надеялся, что сможет указать ей верный источник сил и света. Но теперь, когда она стояла перед ним, измученная, заплаканная и гордая, явно обвиняя его в жестокости и бессердечии по отношению к своему брату; когда в душе он чувствовал, что его влияние на Леопольда вызывает у неё жгучую ревность, что она не любит и даже презирает его, ему понадобилось сделать над собой немалое усилие, чтобы не напустить на себя вид, соответствующий её нынешнему о нём представлению, но покорно смириться с несправедливостью её суждений.

Однако когда чистым усилием воли он поднялся над своей слабостью и прямо и открыто посмотрел ей в лицо, внутри его поднялась новая ревность к самому себе: Хелен стояла перед ним такая прелестная, такая манящая и в десять раз более женственная в своей печали, что ему пришлось строго следить за собой, чтобы малейший интерес

к ней как к женщине не вторгся в сферу простого человеческого участия, не выделяющего благосклонным взглядом ни иудея, ни эллина, ни князя, ни крестьянина – ни даже мужчины или женщины! – а знающего лишь одно человеческое сердце, способное любить и страдать. Правда здесь ему помогла его естественная скромность: он смотрел на Хелен как на страдающую богиню, благородную, величественную, прекрасную и не ведающую лишь одной тайны, из которой он, идущий по стопам Освобождённого Прометея, узнал лишь первые строки, прерывистые, но могущественные, и теперь страстно хотел отыскать какой-нибудь способ поведать ей об этом могуществе. Кроме того, чтобы помочь той, которая сейчас взирала на него с далёкой высоты сознательного превосходства, ему придётся убедить её в том, что казалось ей невыносимым унижением! Обстоятельства решительно уберегали его от всякой опасности предложить ей такие уверения в своём сочувствии, которые она сочла бы нежеланными.

Самую лучшую помощь женщине действительно может оказать подходящий мужчина. Однако не менее верно и обратное, так что мужчине, держащему предложить женщине помощь, следует поостеречься. Если он не способен призвать её к самому трудному и тяжёлому долгу, лучше ему воздержаться от совета, даже если она просит о нём сама.

Однако Хелен пришла не для того, чтобы просить у Уингфорда совета. Ничего подобного ей сейчас не хотелось. Она действительно устала от безнадежной борьбы, и пока на горизонте не мелькнул лучик надежды на возможную помощь кузена, видела перед собой лишь мрак неизбежного крушения. Но возродившееся упование на Джорджа вызвало в ней новый прилив негодования на Уингфорда, вторгшегося к ней с тем, что она сочла непрошеным советом. Но несмотря на всё негодование, страх и боязнь, некий внутренний голос упорно твердил ей, что не её кузен, а именно священник сможет вывести Леопольда к тем местам, где растут травы утешения. Поэтому сейчас она вошла в библиотеку с чувством замешательства, душевного разлада и неуверенности.

Уингфорд встал, поклонился и сделал шаг или два ей навстречу. Он не стал протягивать ей руку, думая, что это может быть ей

неприятно, и Хелен не протянула ему свою. Она грациозно наклонила шею и жестом предложила ему сесть.

– Надеюсь, мистеру Лингарду не стало хуже, – сказал Уингфорд.

Хелен вздрогнула. Неужели что-то произошло, пока её не было рядом?

– Нет. А почему ему должно стать хуже? – ответила она. – Вам что-то сказали?

– Нет, ничего; только мне не разрешили к нему подняться.

– Я оставила его с мистером Баскомом, полчаса назад, – сказала Хелен, не желая, чтобы он обвинял её в том, что это она запретила принимать его.

Уингфорд невольно вздохнул.

– Я вижу, вы не считаете общество этого джентльмена полезным для моего брата, – проговорила она с тусклой, почти горькой улыбкой.

– Он не причинит ему вреда. По крайней мере, я не думаю, что вам стоит этого бояться.

– Почему вы так полагаете? Ни один священник не может считать воззрения мистера Баскома безвредными, а он ни в коем случае не станет их скрывать.

– Человек, у которого на душе лежит столь тяжкое бремя, как у вашего брата, не станет воображать, что ему стало легче из-за того, что кто-то добавит к этому бремени пару-тройку свинцовых слитков. Когда всё хорошо, человек может принять за крылья саван, висящий на его плечах, но когда наступает час нужды и ему нужно взлететь, ошибиться ему будет трудно. Нет, мистеру Баскому не увести Леопольда с верного пути.

Хелен побледнела. Она как раз надеялась, что Леопольда удастся увести с этого пути, по крайней мере, настолько, чтобы он не выдал себя властям.

– Сейчас меня больше страшит не его влияние, а ваше, – добавил Уингфорд.

– И какое же дурное влияние я, по-вашему, способна оказать? – спросила Хелен с ледяной улыбкой.

– Вы хотите, чтобы он повиновался не собственной совести, а вашей.

– А что, моя совесть хуже, чем у Леопольда? – спросила Хелен, но так, будто его ответ был ей совершенно безразличен.

– Она чужая, и этого достаточно. Только его собственная совесть и никакая другая может подсказать ему, как поступить.

– Тогда почему не предоставить ему действовать, как он сочтёт нужным? – горько откликнулась Хелен.

– Именно этого я у вас и прошу, мисс Лингард. Мне хотелось бы, чтобы вы поостереглись прикасаться к жизни этого несчастного юноши.

– Прикасаться к его жизни! Да я с радостью отдала бы свою жизнь, чтобы спасти его! Это вы призываете его выбросить её на ветер!

– К сожалению, мы с вами по-разному понимаем эти слова. Вы называете жизнью те несколько лет, которые ему суждено прожить в этом мире, а я...

– А вы имеете в виду миллионы лет, о которых ничего не знаете, в каком-то непонятном месте, откуда не вернулся ещё ни один человек! К тому же, судя по вашим словам, это не жизнь, а сущее несчастье!

– Простите, но это лишь ваше мнение о том, какой смысл я вкладываю в это слово. Это не так. На самом деле, я говорю вовсе не об этом. Говоря о жизни Леопольда, я думал не о том, что есть здесь или будет там, что есть сейчас и что будет потом. Вы поймёте, что я имел в виду, если вспомните, как загорелись его глаза и зарумянились щёки, когда он наконец-то решился сделать то, что уже давно казалось ему долгом. Когда я увидел его на следующий день, глаза его всё так же светились, и все черты его лица дышали хрупкой надеждой. Из призрачной тьмы, населённой бесами, существование начало превращаться для него в весеннее утро; из послушания и самоотречения начала пробиваться жизнь – жизнь, полная сознательного благодеяния, закона, порядка и покоя. Его воскресение было совсем близко. Но вы, а теперь ещё и мистер Баском, всеми силами мешаете этому воскресению. Вы уселись на могильный камень Леопольда, чтобы не дать ему подняться. И ради чего? Ради того, чтобы он, выйдя из могилы, чтобы открыть всем правду, не навлёк позор на себя, на вас и на вашу семью!

– Сэр, вы забываетесь! – воскликнула Хелен, возмущённо выпрямляясь в полный рост и даже немного больше.

Уингфорд подошёл к ней на шаг ближе.

– Я призван говорить правду, – сказал он, – и потому обязан предостеречь вас: вам никогда не обрести душевного покоя, пока вы не научитесь воистину любить своего брата.

– Любить моего брата! – Хелен почти сорвалась на крик. – Да я умру за него!

– Тогда, по крайней мере, пусть за него умрёт ваша гордыня! – ответил Уингфорд с некоторым негодованием.

Ничего не ответив, Хелен вышла из библиотеки, и Уингфорд немедленно покинул дом. Но не успела она закрыть за собой дверь и снова повалиться на постель, как сердце начало шептать ей, что священник прав. Однако чем больше она это чувствовала, тем упорнее не желала признаваться в этом себе самой: это было просто невыносимо.

Глава 33. Взгляд назад

Священник поспешил домой и немедленно уселся за стол, где всё ещё лежал греческий Новый Завет, открытый на том отрывке, который он читал, готовясь к проповеди. Увы! Всё то, о чём он с таким рвением и горячностью размышлял ещё сегодня утром, бесследно исчезло. Он помнил те слова Писания, что вызвали в нём прилив вдохновения, но всё остальное куда-то испарилось. Хуже всего было то, что вместе с мыслями исчезло и чувство и (по крайней мере, на какое-то время) исчезло безвозвратно. Каким бы праведным ни был его гнев, он замутил зеркало его души, и оно уже не могло отражать небесную реальность.

Уингфолд встал, схватил Новый Завет и отправился на кладбище. Там всегда было тихо, и с тех пор, как он начал испытывать муки нового рождения, именно в тамошней безмолвии он нередко искал себе убежище. В нескольких ярдах от стены стояло старое тисовое дерево, с одной его стороны, чуть ближе, росли кусты кипариса, а между ними и стеной лежал древний камень, на котором обычно сидел Уингфолд; этот камень уже начали в шутку называть его седалищем. Большинство прихожан полагали, что Уингфолда тянет сюда извечная любовь священников ко всему мрачному и унылому, но будь это так, разве мог бы он испытывать такое наслаждение, глядя на небо сквозь тёмную тисовую листву: то, что он видел через эти живые прорезы, казалось ему пронзительно синим, куда синее, чем весь остальной свод. Однако он и сам готов был признаться, что и тело, и душа его обрели покой, когда он сидел здесь, на краю мира, на берегу бездны, бесследно проглатывавшей вечно низвергающуюся и вечно исчезающую Ниагару человеческой жизни. Вот и сейчас он уселся на привычный камень и задумался.

Какие перемена, медленная, но разительная, произошла в нём с того вечера, когда он сидел на этом же самом кладбище, кипя от негодования и смятения, а слова Баскома раскалёнными углями жгли ему душу! Он никогда не думал о себе слишком высоко, а в тот день его ещё и заставили устыдиться самого себя; однако чем более недостойным он себе казался, тем более возрастало его подлинное достоинство. И по мере того, как его и без того небольшое самодовольство чахло и умирало, весь мир вокруг него становился всё более живым. Ведь даже слабый намёк на сомнение следует выкорчевать и выбросить прочь так же безжалостно, как самое тучное, раскормленное тщеславие. Небо, ветер, вода, птицы и деревья хором говорили ему: «Забудь о себе, и мы будем о тебе заботиться. Перестань распевать глупые песни тлена, и мы будем петь тебе о любви и надежде, и вере, и воскресении». Земля и воздух наполнились тайными намёками, искрами, живительными движениями, как будто между ними и его душой установилось вечное общение первичного существования. В прошлом, которое было столь недавним, но казалось ему давным-давно ушедшим, он никогда сознательно не стремился к солнцу;

теперь даже тени восхищали его, а в сверкании золотого флюгера на колокольне ему слышалось восклицание пророка Исаии. Высокий и одинокий, флюгер кружился в прозрачной воздушной синеве как непреходящее предостережение тем, кто то и дело меняется в угоду мирским ветрам общественного мнения, будь то летний зефир людской похвалы или хлёсткие, зимние порывы всеобщего порицания. Для Уингфолда он был уже не просто флюгером, а золотым петухом истины, подобным тому, который прокричал однажды для Петра, громко, в своём блистательном сверкании, обличая всякую трусость и ложь.

До сих пор он ни разу не пытался познакомиться с цветами, этой дымкой красоты, мечтательно поднимающейся из земли в лесах и переулках. Но теперь весна наступила в его собственной душе, и он начал повсюду узнавать детей весны. И по мере того, как радость пробуждающегося мира неудержимо изливалась из птичьих горлышек, весна пробуждающейся души изливалась в мыслях и словах, сплетающихся в ритме и мелодии. Но главная примета, главное воплощение той перемены, которую он замечал в себе, заключалась не во всём этом, а совсем в другом: если раньше имя Христа было для него лишь смутным богословским символом, теперь мысли о Нём и Его словах неизменно сопровождали его. Время от времени новый луч света пробивался сквозь облачный ореол, скрывавший Его величие, и любящее сердце Уингфолда всё больше видело в Нём Сына Человеческого, а его жаждущий дух всё больше узнавал в Нём Сына Божьего. Слово свидетельства почти смешалось с видением: он видел и частично понимал отражающееся в нём Совершенство; узрел лик Божий и остался жив. Всё чаще и чаще ему казалось, будто Он рядом, а иногда, когда Уингфолд бродил в одиночестве в безмолвии летнего вечера, ему чудилось, что в его сердце рождаются мысли откровения, что сам Господь учит его, и он слышит Его слова.

Зачем ему теперь пытаться свою душу, следуя неясным, вечно исчезающим тропам метафизики, если всё, что нужно, – это слушать Пророка жизни, Человека, чья жизнь, дела и учение слились в тройственную гармонию или, скорее, были тройственным спектром единственной подлинной белизны? Нужно лишь исполнять Его слова,

не отходить от Него ни на шаг и прислушиваться к голосу Его Духа – и тогда в нём постепенно и естественно раскроется вся истина. Какая философия сможет привести его туда, куда Иисус брал Своих послушных друзей, а именно: в Его покой, превышающий всякий страх и всякую ненависть, где душа его напьётся столь высокого воздуха силы и вдохновения, что он научится любить даже своих врагов – и не такой любовью, которая снисходительно закрывает глаза на чужие слабости, а настоящей, сердечной, деятельной привязанностью, готовой умереть ради того, чтобы дать врагу истинную жизнь.

Увы, пока он был безмерно далёк от этого совершенства, от этого прекрасного и нескончаемого мученичества во всепоглощающем пламени Бога! С этой мыслью Уингфорд ниспал с высот своих размышлений, но приземлился на пружинистые заросли молитвы. Когда он вернулся домой, возвышенное сияние пропало, но настроение его раздумий осталось. Он сел и написал первый набросок нового стихотворения, а закончив его, обнаружил, что задуманная проповедь снова приблизилась к нему, и его духовные чувства вновь способны осязать и слышать её.

*Отец, прошу я хлеба – и с колен
Не подымусь, припав к Твоим ногам.
Меня Ты слышишь, но даёшь взамен
Лишь новый голод с жаждой пополам.
Доколь мне плакать о своей судьбе?
Исчезла юность в думках о былом.
Не только хлебом жив я – и к Тебе
Протягиваю чашу за вином.
И дух мой, вечной жаждою томим,
К Тебе стремится, правду возлюбив!
Настанет день, и за столом Твоим
Воссяду я, печаль свою забыв.
И пусть пока я вижу впереди
Дожди, ветра и тягостные дни –
Не утоляй мой голод, погоди,
И в бедном сердце жажду сохрани!*

Глава 34. Проповедь для Леопольда

Когда священник поднялся на кафедру, глаза его сознательно отыскивали скамью миссис Рамшорн. Он увидел Хелен, и в лице её было больше решимости, чем страдания. Рядом с ней восседала тётушка, глядя холодно и недружелюбно, словно церковная кошка, готовая броситься на любую приходскую мышь, осмелившуюся пискнуть на свой мышинный лад. Баскома видно не было, и Уингфорд почувствовал облегчение: ведь выражение неверия, где бы оно ни отражалось – на туповатой лоснящейся физиономии мэра или на остром, пронизательном лице адвоката – словно кость, застревает к горле проповеди, и требуется немалое усилие воли, чтобы не замечать его и, если получится, совсем о нём позабыть. Уингфорд изо всех сил постарался позабыть о миссис Рамшорн и ещё о двух-трёх прихожанах и, когда настало время проповеди, думал только о людских сердцах, их терзаниях и о Томе, Кто пришёл призвать их всех к Себе.

– «Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию».

Так, значит, перед тем, как прийти на землю из лона Отца, наш Господь прежде всего думал о грешниках? Неужели, во всеискупающей нежности Божьего сердца, Его совершенная воля объяла тех униженных, обезображенных, осквернённых, изувеченных, чьи ангелы слишком слепы, чтобы увидеть лик своего Отца? Неужели под мерзостной гнилостной грязью былых страстей вечное Слово узнало связанную Психею с покалеченными крыльями и замызганными перьями, задыхающуюся в страшнейших мучениях? Правда ли, что Его желание было устремлено к делу Его рук, к детям Его Отца и потому, полный сострадания, Он поспешил ценой страданий избавить сердца, подобные Его сердцу? Подумать только: чтобы чистота и мертвенная скверна вот так встретились над великой, разделяющей их пропастью закона и нравственности! Друг мытарей и грешников! Подумать только: Он действительно был для них другом, и не отшатывался от них в шоке и негодовании, и не подымал в ужасе руки! Ему нужно было только одно: чтобы они больше не грешили.

Как вы думаете, если бы сейчас Он зримо и реально пришёл к нам снова, что за люди столпились бы вокруг Него: уважаемые прихожане или жители трущоб? Я не знаю. Я не осмеливаюсь никого судить. Но то, что церковь привлекает к себе так мало погранных и угнетённых – тех, кого привлекал к Себе Иисус и ради кого Он пришёл в мир, – должно заставить нас задуматься, насколько эта церковь похожа на своего Господа. Я не сомневаюсь, что путь к ногам Господа отыщут многие из тех, от кого сейчас гадливо отвернутся уважаемые прихожане, фарисеи нашего времени и священники, строго соблюдающие все условности своего ремесла. И, несомненно, именно в религиозном мире такой человек, как Иисус, не имевший богословского образования, родившийся и воспитанный в семье плотника, в своих проповедях почти не произносивший общепринятых среди духовников фраз и не говоривший особым религиозным языком, но учивший народ вечным истинам веры, надежды и любви с помощью самых простых и естественных форм, встретит главных и, пожалуй, единственных ожесточённых противников своего учения и жизни.

Но разве Господь не призывал к Себе праведников? Разве Он не призывал к Себе честных людей – Иакова, Иоанна и Симона, крепких рыбаков, которые могли выдержать ночь и бурю, много трудились, кормились как придётся, жили честно и вели хорошую, добропорядочную жизнь, кто с отцом и матерью, а кто с женой и ребятами? Я не помню, чтобы Он как-то особо убеждал их в том, что они грешники, перед тем, как призвать их к Себе. Давайте вспомним, как повёл себя Симон Пётр, впервые оказавшись близко к Иисусу. Этот рыбак устыдился себя, но даже под горечью стыда из его души вырвались честные, открытые и страстные слова. Правдивый человек не должен был обмануться насчёт того, кто оказался рядом с ним! «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный». Как бы мне хотелось увидеть то, что увидел в Иисусе Пётр и что породило в нём этот возглас! Да, он узнал в Нём Мессию; но что именно в этом плотнике заставило рыбака убедиться, что перед ним Христос? Может, для этого хватило бы одного чуда с ловлей рыбы, даже без той проповеди, которую Иисус произнёс из его лодки? Думаю, что нет. Как бы то ни было, святой Пётр причислял себя к грешникам, и мы можем быть

уверены, что если бы эти рыбаки самодовольно гордились своей праведностью, они не стали бы бросать всё, чтобы последовать за Тем, Кто призвал их.

Правда, Он не призывал их к Себе именно как грешников. И потом, разве к Господу не приходили те, кого даже Он Сам почитал праведниками: Никодим, Нафанаил, тот юноша, что прибежал к Нему и склонился у Его ног, тот книжник, что был недалеко от Царствия Божьего, или тот сотник, в котором Иисус нашёл более веры, чем в любом иудее, и который построил в Капернауме синагогу, вырезав на дверной перекладине горшок манны? Они тоже приходили к Нему, и мы знаем, что Он охотно принимал их. Но Он знал, что такие люди всегда будут приходить к Нему, потому что их привлёк Отец. Они даже не нуждались в особом призыве и потому не так упорно занимали Его мысли. Он не тревожился о них: они были подобны девяти годам девяти праведникам, старшему сыну, оставшемуся дома, девяти драхам, преспокойно лежащим в Его суме. Конечно, им предстояло многому научиться, и они ещё не вошли в Царство, но толпились возле его дверей. Не знаю, прав ли я в своих рассуждениях; но так мне всё это представляется сейчас.

И ещё одного я не могу забыть, потому что сталкиваюсь с этим снова и снова: по крайней мере, некоторые (а может, даже и все; кто знает?) из самых честных, самых чистых людей считали себя величайшими из грешников. Не забыть мне и ещё одних слов нашего Господа, которые для многих становятся камнем преткновения – кстати, Господь был вовсе не так осторожен, каким выставляют Его некоторые, и не боялся позволять людям спотыкаться об истину! Он сказал, что первые будут последними, а последние первыми. Когда Господь произносил слова: «Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу», Савл Тарсянин сидел у ног Гамалиила, готовясь принести Богу именно такое служение; словно изверг, рождённый в неурочное время, он увидел Господа позднее всех, но более всех познал труды и страдания. Вот так последний стал первым. А любимый ученик, приклонявшийся к груди Господа и более всех дерзавший спрашивать Его по дерзновению любви, тот самый, кого Кроткий и Смирный назвал Сыном грома, последним из всех

пришёл в обители своего Отца. Но какая разница, последние мы или первые, если только пребываем с Ним? Ясно одно: прежде всего Господь заботился о грешниках.

Любой разумный человек, поразмыслив, непременно согласится, что преступление заставляет преступника лицом к лицу столкнуться с реальностью. Человек, осознавший себя грешником – я не имею в виду, что он считает себя частью греховного рода; в этом смысле даже самый самодовольный господин готов признать, что, будучи человеком, он уже является грешником, – и на ком воспоминание о своих грехах лежит горьким и невыносимым бременем, вдруг понимает, как безнадежно он потерян. Он уже не может высоко держать голову среди своих соплеменников, не может смотреть в лицо женщине или ребёнку, не может оставаться наедине с хаосом своих мыслей и теми чудовищами, которых его сознание порождает чуть ли не ежеминутно. Он утратил радости своего детства и утешения земной жизни. В нём живёт вечное осуждение и пламенный гнев. От слов прощения и утешения он вскидывается, словно верблюд, учуявший в пустыне запах воды. Посему такой грешник куда ближе к вратам Царства, чем тот, о ком в мире ни разу не ходило сплетен, кто ни разу не согрешил даже против общественных условностей и чья совесть чиста, как у младенца, но кто знает себя так мало, что, даже считая себя вполне приличным человеком, всё время носит в себе семя каждого из смертных грехов, ожидающих лишь подходящего искушения, которое, как спичка, зажжённая возле заряженного снаряда, с оглушительным грохотом разнесёт всё в клочья! Такой человек даже не подозревает об опасности и не помышляет о том, чтобы молиться о защите. Воскресенье за воскресеньем он занимает своё место на церковной скамье рядом с домашними, произносит слова: «Не введи нас во искушение», даже не задумываясь о том, какая это страшная штука – искушение, но повторяет их, откликается на слова литургии и слушает проповедь в безмятежном самодовольстве, ничуть не сомневаясь, что Безгрешному должно быть весьма приятно взирать на мир, состоящий из таких, как он, людей. Есть люди, которые не видят, на что они способны, и не замечают опасности, покуда не совершат какое-нибудь страшное зло. Есть такие, кому и этого недостаточно: что-

бы они наконец-то признали или поняли собственную низость, им нужно, чтобы их вывели на чистую воду и облили позором в глазах мира. А бывают люди и ещё хуже.

Однако порой человек мучается под бременем своих грехов, сам не понимая, что именно мучает его. На наших плечах куда больше греха, чем нам кажется. И совсем не обязательно, чтобы мы совершили что-то по-настоящему большое и страшное. Видим ли мы в себе тот вывих, который нужно вправить; то, чего следует стыдиться; то, из-за чего, даже поднявшись над всеми мирскими заботами, мы всё равно чувствовали бы некую неловкость и недовольство; из-за чего солнечный свет лишился бы своей первородной радости, земля стала бы нам безразлична, доверчивый взгляд превратился в подозрительную гримасу, а смерть – в непроницаемую мглу? Уверяю вас, друзья: человек, осознающий всё это – неважно, что он сделал и чего не сделал – недалеко отстоит от Царства Божьего и может войти туда, если захочет.

И если сейчас, здесь, есть душа, иссушённая страхом, истерзавшаяся от мучительного ужаса из-за того, что оказалась способной сотворить великое зло, я взываю к ней: Беги поскорее прочь от своего грешного «я» и укройся с Христом в Боге! Или, если эти слова кажутся тебе пустыми, бесплодными и непонятными, словно на чужом языке, тогда я скажу так: в своей тоске воззови, воскликни, чтобы Бог, если Он и вправду есть, услышал голос Своего чада, протянул к нему руку и, крепко ухватившись за него, сорвал с него липкие, ядовитые, жгучие одежды, выжал из его сердца чёрную желчь и заставил слёзы летним ливнем политься из его глаз. О благословенное, святое, прекрасное покаяние, к которому пришёл призвать нас Сын Человеческий, Источник всего человеческого и сам человек от человек! Оно воистину благо, и я твёрдо знаю это. Приди и покайся, несчастная душа, израненная собственной несправедливостью и грехом, и мы вместе отправимся искать Его милости. Не пытайся преуменьшать свой грех или возвеличивать его. Принеси его Иисусу, и пусть Он Сам покажет тебе, какая это мерзость. Пусть Он произнесёт над тобой суд. Не сомневайся, суд Его будет справедлив: Он ни на волосок не смягчит твоей вины, ибо хочет очистить тебя до конца, но не забудет и ни малейшего оправдания, покрывающего ужас твоего греха

или свидетельствующего о том, что грешил ты с закрытыми глазами. Перед смертью Он взмолился: «Отче, прости их, ибо не ведают что творят!» Даже о врагах Он говорит истину, и истинными были Его первые слова, когда враги пригвоздили Его к кресту. Но я повторю ещё раз: пусть Сам Христос оправдывает тебя; у Него это получится куда лучше, и Он не повредит ни твоей душе, потому что не оправдает тебя ни на йоту больше, чем следовало, ни твоему сердцу, потому что не станет оправдывать тебя ни на йоту меньше, чем ты того заслужил.

Однажды мне приснилось, что я совершил страшное преступление. В порыве страсти я вышел из себя и сам не понимал, какое жуткое зло творит моя рука, хотя и знал, что поступаю дурно. Только потом, когда было уже поздно, до меня вдруг дошла вся гнусность содеянного. Это осознание принесло с собой дикий ужас, живущий лишь в самых глубоких тайниках души. Я оставался тем же самым человеком, что и раньше, но моё прежнее «я» не могло и представить, что в нём затаилось! По сравнению с открывшимся во мне чудовищем оно казалось мне образчиком прелестнейшей невинности, но ведь именно из этой кажущейся чистоты и родилась та мерзкая, скверная тварь, которой я стал теперь! Лицо убитого мною ближнего стало для меня законом возмездия, ликом справедливого врага. Где и как мне было скрыть этот кошмар? Да, всезнающая земля примет его в своё израненное лоно, пока не настал всевидящий день. Но ведь он всё равно настанет, и мне придётся стоять в его свете, и каждый луч, пронзающий напоённый солнцем воздух, будет указывать на меня!

Не знаю, с чем можно сравнить терзавшие меня мучения, и у меня нет слов, чтобы их описать – разве только сказать, что это было как мерзостное зловоние вкупе с тошнотворной болью. Возможно, как бывает во снах, я висел на дыбе лишь краткое мгновение, но оно показалось мне целым столетием, насквозь пронизанным обжигающими узами преступления, пока я, корчась от нестерпимого кошмара, носился со страшной истиной, неотступно присутствовавшей в моём сознании. Я действительно совершил это зло, и мне некуда было скрыться от содеянного: я знал, что сделанного не вернёшь вовеки.

Но тут произошла внезапная перемена: я проснулся. Солнце окрасило своей славой занавески на моих окнах, и луч света острой стрелой пронзил мне душу. Слава Богу! Всё это мне только приснилось, я был невиновен! От гробницы отвалили камень, и вместе с породившим его мраком моё злое преступление откатилось прочь. Я был созданием света, а не тварью тьмы! Для меня сияло солнце и дул ветер; для меня шумело море, и цветы испускали аромат. Земле нечего было от меня скрывать. Моя вина была уничтожена, и сердце мне уже не сосал кровавый червь; я мог открыто смотреть ближнему в глаза; сынишка моего друга мог вложить свою ручку мне в ладонь, не боясь скверны, и весь день душа моя была переполнена радостью чудесного избавления.

Но для грешника покаяние будет ещё более драгоценным, ещё более прекрасным, чем моё пробуждение! Ведь оно освободило меня лишь от призрачного злодеяния, которого никогда не существовало в взаправдашнем мире, а тот ужас, от которого избавляет нас покаяние, – это вовсе не сон, но самая настоящая, упрямая реальность. Кроме того, проснувшись, человек остаётся каким был, и в нём, быть может, продолжает жить семя того преступления, на которое он оказался способен во сне и от которого не вполне очистился. Покаяние же делает из него нового человека, пробудившегося от кошмара греха, чтобы уже никогда в него не погружаться. Разве можно сравнить одно с другим?! Солнце, заставляющее нас просыпаться по утрам, – это всего лишь внешнее светило земной жизни. Да, оно прекрасно и удивительно, но даже сейчас вокруг него собирается кольцо тьмы, угашающей и поглощающей его. Но то солнце, что пробуждает человека от сна смерти, – это живой Свет, Чья мысль породила наше светило и поместила его среди звёзд и планет; это Отец светов, перед Чьим сиянием во внутреннем мире вечной истины даже порочные дела превращаются в призрачные сны и уносятся прочь вместе с породившей их ночью нечестия.

Но быть может, кто-то возразит и скажет: «Вы всего лишь витаете на крыльях воображения, но факт преступления остаётся неизменным! Даже если человек в порыве покаяния вырвет себе сердце, всё равно никакое пробуждение не вернёт ему утраченной невинности!»

«Сами по себе эти слова верны, – отвечу я, – но ваше невежество превращает их в ложь. Вы не знаете ни силы Божьей, ни подлинной сущности воскресения из мёртвых. Что если вместо прежней непорочности, вы обретёте столь драгоценную праведность и внутреннюю чистоту, рядом с белоснежным великолепием которой утраченная невинность покажется вам жалким ничтожеством, превращающимся в окалину в первом же горниле искушения? Непорочность воистину не имеет цены – но лишь та непорочность, которую считает таковой Бог. Ваша же праведность была лишь хлипким фасадом или бережно хранимым осколком полированного стекла, вместо которого, если вы покаетесь, в вашей шкатулке окажется сверкающий бриллиант! О прекрасная Психея земного мира! Крылья твои ещё не запятнаны грязными брызгами, и покуда ты не ведаешь покаяния и не знаешь в нём нужды. Но разве сравнится твоя чистота с чистотой Психеи небесной, рождённой дважды, которой даже сейчас, когда она дремлет в вечерних сумерках Небес, снится, что она своими слезами омывает ноги Господа и оттирает их своими волосами? Щедр и милостив наш Бог, Который даже невинность возвращает нам сторицей! Он способен даровать нам такое пробуждение, которое отодвигает наше прошлое в десять раз дальше, чем утро оставляет за спиной любые ночные сны.

Если бы сила этого пробуждения лежала в приливе новой жизни, льющейся прямо из своего Источника и несущего с собой высвобождение и возрастание всей человеческой природы и каждой её части, когда каждое свойство, каждое чувство расцветает в полноте славы, и человек, не забывая своего прошлого и его позора, восклицает в радости нового рождения: «Се, я новая тварь! Я уже не тот, кто совершил то страшное злодеяние, ибо я более не способен его совершить! Да будет благословенно имя Господне! Отныне всё хорошо!» – разве такое пробуждение не сможет изгнать прошлое в смутную даль первого творения и завернуть совершённое зло в чистый холст прощения, как бездумная морская тварь обволакивает вторгнувшуюся к ней песчинку в прелестные одежды жемчуга? Такое пробуждение означает, что в душе человека поселяется сам Бог, не чураясь близости и общения с тем, кого Он предузнал и создал, а человек без тени сомнения знает, что исцелён от своей чёрной оспы. Более того, он даже не станет

пытаться избавиться от рытвин и шрамов, оставленных болезнью на его лице, ибо они напоминают ему, что он есть без Бога, и заставляют внимательно следить за тем, чтобы дверь в небесный сад всегда оставалась открытой, дабы Бог мог войти к нему в обитель, когда пожелает. И кто знает? – быть может, такое пробуждение повлечёт за собой тысячи средств и возможностей загладить нашу вину перед теми, кто пострадал от нашего греха?

Но я должен предупредить и тех, на чьей совести нет особых преступлений: пока вы не покаетесь в своей низменной сущности и не отречётесь от всякого зла, над вами так и будет висеть опасность самого страшного греха. Когда-то я не понимал, почему человек, не любящий своего брата, является убийцей. Сейчас я вижу, что это не фигура красноречия, а самая настоящая реальность нравственной и духовной природы человека, абсолютный и простой факт. Убийца и человек, не любящий брата, окажутся на одной скамье перед Судией вечной истины. Я не хочу сказать, что человек, не любящий своего брата, способен в любую минуту убить его. Но если не помешать естественному действию и развитию этой нелюбви, рано или поздно он непременно обретёт такую способность. Пока мы не научимся любить своего брата – да что там! пока мы не научимся любить своего врага, который тоже является нам братом! – в нас таится зародыш будущего убийства. То же самое можно сказать о любом грехе, мыслимом и немыслимом. Сейчас среди нас нет ни одного человека, кто был бы вправе бросить осуждающий взгляд даже на самого закоренелого преступника, когда-либо сидевшего в одиночной камере! И это не преувеличение, а чистая правда! Мы всегда торопимся провести различие между уважаемыми грехами (возможно, называя их человеческими слабостями) и грехами постыдными, такими, как воровство и убийство. Однако на самом деле никакого различия не существует. Наверняка, найдутся грабители, которые куда лучше многих священников и куда ближе к вратам Царствия! Небесные порядки строятся совсем на иных принципах, и многие первые в конце концов окажутся последними, а последние – первыми. Помните: в корне всякого человеческого блаженства лежит покаяние.

Так отзовитесь же на призыв живого Источника, Целителя, дающего нам покаяние и свет, Друга мытарей и грешников! Отзовитесь все те, на кого давит бремя греха и каторжная ноша тысячи преступлений! Он пришёл призвать таких, как вы, чтобы сделать вас чистыми и невинными. Ему невыносимо тяжело смотреть, как вы живёте в таком несчастье, в такой нечистоте, в такой непроницаемой мгле! Он хочет заново возвратить вам жизнь и радость. Он не станет упрекать вас, если только вы не начнёте оправдывать себя, обвиняя ближнего. Он не станет забрасывать вас камнями, оставив это тем, в чьих сердцах таятся те же самые грехи: ибо не имеющий греха не будет никого осуждать. Он горячо любит вас и так же горячо ненавидит живущее в вас зло – так горячо, что готов швырнуть вас в огонь, чтобы пламя выжгло из вас всякую нечистоту. Очистив вас, Он даст вам покой. А если Он и будет кого-то укорять, но не за прошлый грех, а за нынешнее маловерие, протягивающее ему жалкую ореховую скорлупку, чтобы Он наполнил её живой водой. Если кто-то не желает подходить к Нему – что ж, оставайтесь так, пока какой-нибудь страшный грех не заставит вас возопить об избавлении. Но если вы знаете свой грех, придите к Нему, чтобы Он совершил в вас Своё дело, ибо Он пришёл призвать не праведников, но грешников – нас с вами! – к покаянию.

Часть III



Глава 1. После проповеди

В конце проповеди, когда туман его чувств стал рассеиваться, Уингфолд снова начал различать отдельные лица своих слушателей.

Мистер Дрю опустил голову. Как я уже говорил, кое-какие привычки, которым он научился в юности и следовал в зрелом возрасте и которые считались среди деловых людей вполне честными, теперь, по сравнению с Божьим идеалом в торговле – то есть с такой торговлей, какой не постыдился бы заниматься Сын Человеческий, будь его земной отец не плотником, а лавочником – стали ему ненавистными, а воспоминания о них – невыносимыми. Не становилось ему легче и при мысли о том, что пока он не знал полной меры того, как все эти годы пользовался людским невежеством для своей выгоды: ведь обычно такие вещи стараются подальше укрыться в темноту и не желают выходить на свет, чтобы стать явными. Теперь он всячески старался искоренить из своей торговли все подобные обычаи, но они всё равно оставались для его духа болезненным воспоминанием, и он бесконечно страдал от их груза. Так что когда проповедник протянул ему надежду полностью и окончательно избавиться от них благодаря тому, что в нём будет обитать Бог всех живых человеков и истинных торговцев, это показалась ему неизъяснимым блаженством.

В то утро мало кто в старой церкви Гластонского аббатства подозревал, что этот известный и процветающий коммерсант плачет. Разве можно было когда-либо представить, что он спрячет в ладонях своё круглое, добродушное, сияющее довольством лицо по какой-то иной причине, нежели из-за внезапного приступа сонливости или досады на то, что ему не удалось сполна получить сегодняшние проценты! И вот теперь ещё одна человеческая душа начала взывать к Богу о своём подлинном наследии. Ах если бы и вправду стать чистым, как горная река, как воздух над облаками или посреди океана, как пульсирующий эфир, наполняющий пространства между звёздами! – нет, как мысль самого Сына Человеческого, который ради того, чтобы очистить и сотворить всё заново, восстал против древнего войска вызванных грехом страданий, выдержал, стерпел и усмирил их

противодействие той немислимой силе, которой Отец рассеял по вселенной миры, и дал новое рождение человеческим душам, чья воля может стать столь же свободной, как и Его.

Хотя Уингфорд говорил в общем, думая сразу обо всём человечестве и глядя на сидящих перед ним прихожан, мысли его беспрестанно возвращались ещё к одной душе, с её преступлением и невыносимым бременем вины: Леопольд всегда незримо присутствовал рядом с ним, и хотя Уингфорд старательно избегал пользоваться кафедрой для того, чтобы лично обращаться к кому-то из прихожан (как бы оправдано это ни было), неудивительно, что все его слова пронизывало воспоминание о том, кто из всех его знакомых был более всего отягощён грехом. Порой ему даже казалось, что он обращается к самому Леопольду и только к нему, а порой (хотя во время проповеди он видел её перед собой не больше, чем брата) – что он говорит прямо к его сестре, утешая её тем, что у Леопольда есть надежда вновь обрести утраченную невинность. Когда он наконец-то начал различать то, что было перед ним, на лице Хелен он увидел пунцовый рассвет напряжённого внимания. Правда, его сияние уже начало угасать, но глаза её были заплаканы, на щеках ещё теплился румянец волнения, а твёрдые губы позабылись настолько, что дрожали и невольно полуоткрылись от неподвижной сосредоточенности своей хозяйки.

Однако уже сейчас, хотя по виду Хелен этого ещё не было заметно, в её сердце поднял голову змей, обитающий в бесформенной трясине, проникающей в каждую душу пусть даже самой тоненькой струйкой и привнося туда некий первородный хаос, оставшийся от того времени, когда мир был безвиден и пуст. «Почему же с Леопольдом он разговаривал совсем иначе? – зашептал змей. – Почему он не утешил его добрым упованием, как и надлежит священнику кроткого Христа? Или, если он действительно посчитал, что должен сказать Леопольду о чистосердечном признании, почему он не заговорил с ним об этом честно и прямо вместо того, чтобы исподволь подталкивать мальчика к мысли, будто всё это ему подсказала собственная совесть и потому он должен исполнить её повеление как Божью волю?»

Так нащёптывал ей змей, и к тому времени, когда Хелен с тётей отправились домой, сияние в её душе погасло, и на её дух опустился серый зимний туман. Она сказала себе, что если её последняя надежда на Джорджа тоже провалится, она просто не будет больше ничего предпринимать и ни о чём беспокоиться. В конце концов, она свободная женщина, и если Леопольд выбрал себе других друзей, тем самым дав ей понять, что она недостойна доверия, и отвернулся от неё после всего того, что она перестрадала и сделала ради любви к нему, она возьмёт побольше денег и уедет во Францию или в Италию, предоставив Леопольда своей судьбе, какой бы она ни была и к чему бы ни привели советы его новых друзей и его собственное упрямство. Зачем ей, невиновной, разделять позор преступника? Она и так уже сделала предостаточно! Даже отец не стал бы требовать от неё большего!

Вот почему, войдя в комнату Леопольда, она не заметила, что, пока она была в церкви, он встал, оделся и перебрался на диван. Леопольд же, ища глазами её взгляд, тут же почувствовал, что между ними нависла туча, и после всего, что сестра вынесла и сделала ради него, они оказались друг от друга дальше, чем в то время, когда между их рождением и первой встречей пролегли целые океаны, и даже тот ужас, который они вместе пережили в старом Гластонском особняке, вызвал у него неясное, ностальгическое чувство. Когда она прошла в гардеробную, он с тоской проводил её взглядом; глаза его медленно наполнились слезами, но он ничего не сказал. А его сестра, которую во время проповеди волнами захлёстывало желание, чтобы Польди мог услышать то или это, услышать ту или эту мысль и утешиться ею, позволив дивным словам изгнать страх из его души, теперь лишь бросила на него ледяной взгляд и не сказала ему ни слова о том, что вызвало в океане её духа столь мощные приливы, потому что инстинкт (более праведный, чем её воля) подсказывал ей, что всё это лишь укрепит Леопольда в его решимости пойти и сделать всё, что одобрит его учитель-проповедник. Выйдя от себя, чтобы вернуться в гостиную, она всё-таки сказала ему два-три приветливых слова, но принуждённым тоном и всего лишь про обед! По щекам Леопольда потекли слёзы, но он так крепко стиснул зубы, что рот его принял решительно-угрюмое выражение, и больше он уже не плакал.

Своей подруге, которая присоединилась к ним возле церкви и, в отсутствие Джорджа Баскома, проводила их до дому, миссис Рамшорн заметила, что священник – чрезвычайно опасный человек, особенно для молодёжи: разве он не смешал все привычные ориентиры греха и благочестия, выставляя всё так, будто бы честные люди не лучше обыкновенного вора, а убийца не хуже любого другого человека, и, фактически, не сказал, что всем им непременно надо пойти и совершить какое-нибудь страшное преступление, дабы достичь высшей, лучшей праведности, которая иначе останется для них недоступной? Насколько она действительно не поняла слов Уингфолда, а насколько сознательно кривила душой (или подозревала, что говорит неискренне), сказать я не могу. Но, несмотря на все эти речи, то ли манера священника, то ли его проповедь немного утихомирили её, и на этот раз она осуждала его не так презрительно, как обычно.

К счастью для себя и других, священник был не из тех, кто калечит истину и ослепляет свою душу *«забвеньем скотским или жалким навыком раздумывать чрезмерно об исходе –*

Мысль, где на долю мудрости всегда

Три доли трусости⁴⁶»,

– и потому, пробуждая честных людей, он в той же мере давал людям нечестным возможность для придирок и осуждения. Представьте, что было бы, если бы святой Павел мог предвидеть, как искажат его слова, и начал бы принимать это во внимание: что тогда стало бы с самыми великолепными вспышками его мысли и красноречия? Да и вряд ли даже самая скрупулёзная апостольская осторожность могла бы его защитить. Скорее, она лишь породила бы ещё большее количество вульгарных искажений. Пытаться объяснять что-то человеку, в котором нет любви, мы лишь даём ему ещё больше повода для ложных толкований. Пусть во внутренности человека живёт истина, и пусть от избытка сердца говорят его уста! И если тогда ему покажется, что слушатели искренне недопоняли его, пусть он проповедует снова и снова, утверждая ту истину, по которой ревнует его сердце. А если кто-то решит, что слова его расходятся друг с другом, пусть те, кому

46 У. Шекспир, «Гамлет», акт IV, сцена 4, перевод М. Лозинского.

во всём непременно нужна последовательность, сами примиряют их между собой.

Джорджа Баскома не было в церкви потому, что после раннего завтрака он оседлал любимую кобылку кузины и отправился с визитом к мистеру Хукеру, прежде чем тот отправится на богослужение. Хелен думала, что он вернётся к обеду, и, нервничая, ждала его появления. Леопольд тоже ёрзал от нетерпения, ожидая его, но надежды его были совсем иные.

Наконец по всему воскресному Гластону раздался гулкий цокот копыт, и через несколько минут к дому подъехал Джордж. Передав поводья конюху, он прошёл в гостиную. Хелен стремительно кинулась ему навстречу.

– Ну что, Джордж? – с тревогой спросила она.

– Да всё в порядке – или, по крайней мере, будет в порядке, – отозвался он. – Я расскажу вам обо всём после обеда, в саду. Обычно тёте хватает здравомыслия не мешать нам хотя бы там, – прибавил он. – Позвольте мне только быстренько сбегать наверх, показаться Леопольду: он ни в коем случае не должен подозревать, что я на вашей стороне и мы пытаемся его обмануть. Правда, тут и обмана-то никакого нет. Минус на минус всегда даёт плюс, и обмануть сумасшедшего – это не что иное, как поступить с ним по справедливости.

Его слова неприятно резанули ей слух. Баском поднялся к Леопольду и сообщил ему, что виделся с мистером Хукером и договорился о том, что привезёт к нему Леопольда во вторник утром, если тому, конечно, не станет хуже.

– А почему не завтра? – спросил Лингард. – Я вполне готов.

– Ну, я сказал ему, что вы больны. К тому же, он собирался завтра немного поохотиться, так что мы решили, что во вторник будет лучше.

Леопольд вздохнул и больше ничего не спрашивал.

Глава 2. Баском и мировой судьё

После обеда кузен и кузина отправились в беседку, где Джордж рассказал Хелен всё, что произошло, и поделился с ней своими планами и надеждами.

– Знаете, Хелен, подобным причудам лучше уступать. Если им противиться, это ни к чему не приведёт, – сказал он.

Хелен испытующе посмотрела на него, и он ответил ей таким же взглядом. Между ними не было полного доверия, и потому каждый сомневался в мыслях другого, но не пытался выяснить, что именно тот думает.

– Кстати, он славный старикан, этот мистер Хукер! – продолжал Джордж. – Забавный, добродушный, лицо, как у мясника. Ну и, конечно же, консерватор и примерный христианин, наивный, как дитя: тут же поверил всему, что я ему сказал, без тени сомнения и без единого возражения. Он точь-в-точь такой, как я предполагал. Когда я назвал-ся, он вспомнил, что знал моего отца, и сразу ко мне расположился. Потом я расхвалил его поместье, извинился, что беспокою его так рано, да ещё и в воскресенье, но объяснил, что пришёл к нему исключительно по делу милосердия, как к мировому судье, чтобы он не вообразил, будто я притащился просить у него денег на какую-нибудь благотворительность. Дело, сказал я, чрезвычайно щепетильное и касается детей джентльмена, о котором ему наверняка приходилось слышать: генерала Лингарда. «Как же, как же! – воскликнул он. – Я прекрасно его знал! Замечательный был человек, хоть и немного вспыльчивый – да, да, немного вспыльчивый». Я сказал, что не имел чести знать генерала Лингарда лично, но его дочь приходится мне кузиной, а дело моё касается его сына, ребёнка от второй жены, которая, к несчастью, была индуской. Тут я изложил ему всю историю целиком, пояснив, что Леопольд страдает сильным воспалением мозга из-за употребления – если это, конечно, можно назвать употреблением – опиума, к которому его приучили в Индии, и хотя от воспаления он уже немного оправился, ещё неизвестно, удастся ли ему полностью избавиться от его последствий, потому что, к сожалению, во время

болезни у него развилась навязчивая идея, печальный плод перевозбуждённого воображения.

«Что же эта за идея?» – полюбопытствовал он. «Ни больше, ни меньше, – ответил я, – как то, что он убийца!» «Боже правый!» – воскликнул он, и я немного встревожился, потому что специально рассказывал всё так, чтобы склонить старого осла в нужное направление, а то ещё Леопольд невзначай убедит его в своей правоте! Тогда я решил поддакнуть ему и начал сокрушаться о том, как это печально, что столь кроткий и безобидный юноша, который и мухи не обидит, не говоря уж об убийстве, вдруг начал терзаться раскаянием и мучить себя из-за какого-то химерического преступления, в котором реальности не больше, чем в дурном сне, и которого он не только не совершал, но никогда не мог бы совершить. «Я ещё не успел рассказать вам, – продолжал я, – то, что, пожалуй, является в этой грустной истории самым печальным: дело в том, что приступ начался, когда мальчик получил известия об убийстве одной девушки, в которую был страстно влюблён. От ужаса перед услышанным рассудок его помешался; потом это безумие перекинулось и на его воображение, так что теперь он, несмотря на все доводы и доказательства, упрямо твердит, что именно его рука вонзила кинжал в её в сердце!» Я напомнил Хукеру, что писали об этом газеты, и добавил, что, по какой-то причудливой прихоти больного сознания, тот факт, что убийца так долго скрывается от правосудия, только усугубил в Леопольде чувство вины – а может даже, и породил его изначально, но в этом я не уверен. И теперь он требует лишь одного: предать себя в руки закона, чистосердечно во всём признаться (хотя о каком признании может идти речь в этом случае?), взять на себя вину за преступление и пойти на виселицу, «в надежде, – добавил я, – отыскать в ином мире убитую девушку и там примириться с нею».

«Боже правый!» – снова вскричал он с неприкрытым ужасом. Пока я говорил, он то и дело хмыкал и восклицал, но глаза его всё больше и больше проникались интересом и состраданием. «Ах, вот оно что! – наконец сказал он. – Так вы хотите поместить его в лечебницу для душевнобольных? Не делайте этого! – тут же продолжил он почти умоляющим тоном, словно уговаривая меня. – Бедный мальчик!

Может, он ещё выздоровеет. Пусть лучше о нём заботятся родные. Вы, кажется, сказали, что у него есть сестра?» Я немедленно заверил его, что никто не собирается помещать Леопольда в сумасшедший дом, и сказал, что я именно поэтому и дерзнул обратиться к нему за помощью и через минуту изложу свою просьбу; только в этом деле меня самого заинтересовала одна деталь, а именно: как мозг в воспалённом состоянии способен обманывать себя, почти порождая две отдельных личности – тут я, пожалуй, немного обмишулился, но он был слишком туп, чтобы это заметить, – ха-ха! – а ведь ему как мировому судье наверняка нередко приходится видеть подобные явления! Он протестующе замахал руками, и тогда я поспешил добавить, что до определённого момента Леопольд вполне логично и разумно объясняет всё, что было написано в газетах, связывая одни факты с другими, но в одном проявляет удивительную неосведомлённость: он никак не может рассказать, что он делал, куда пошёл и что чувствовал сразу после убийства. «Леопольд признался мне, что после этого как будто выключился и не помнил ничего, пока не очутился в постели. Но когда я напомнил ему одну подробность – которую вы, ваша Честь, возможно, тоже видели в газетах, – а именно: показания береговой охраны насчёт лодки и двух мужчин» (тут мне пришлось в подробностях всё ему напомнить, и я просто дал ему газету, где об этом говорилось; вот для чего я попросил её у вас, Хелен!)... так, кажется, я потерял мысль... Ну да ладно. Затем я сказал ему то, чего пока не говорил даже вам, Хелен: когда я напомнил об этом Леопольду, он вскинулся с горящим глазами и воскликнул: «Да, теперь я вспомнил! Теперь мне всё ясно. Я помню, как бежал вниз по холму и прыгнул в лодку как раз в тот момент, когда она отчаливала! Я так устал, что без сил свалился на корму. Когда я пришёл в себя, то увидел только ноги рыбаков за парусами. Я подумал, что они наверняка сдадут меня полиции, и потому немедленно перевалился за борт. Вода взбудрила меня, но когда я доплыл до берега, то снова упал и забылся. Не знаю, долго ли я пролежал там. А больше я вообще ничего не помню, только какие-то туманные обрывки!» Леопольд так и сказал, и я передал его слова Хукеру.

Только тогда я заговорил с ним о той помощи, за которой осмелился к нему обратиться. Я попросил у него разрешения привезти Леопольда, чтобы создать для него видимость того, что он предаёт себя в руки правосудия. Особенно я просил его внимательно выслушать несчастного больного, ни малейшим намёком не выдавая своих сомнений в достоверности его рассказа. «А уж после этого, – заключил я, – я надеюсь, что вы сами сделаете то, чего мы сделать не в силах: уговорите его вместо тюрьмы отправиться домой».

Какое-то время он сидел, подперев голову рукой, словно размышляя о каком-то веском законодательном вопросе, а потом вдруг сказал: «Так, нам пора идти в церковь. Я всё это обдумую, можете не сомневаться. Надеюсь, вы не откажетесь пойти со мной на службу, а потом отобедать у меня?» Я почтительно отказался, объяснив, что должен немедленно вернуться к несчастному Леопольду, который с нетерпением ждёт меня... Кстати, Хелен, я надеюсь, вы простите меня и не сочтёте это жестокостью к вашей лошадке, но на обратном пути я поддался искушению и поехал кружным путём. Я ехал почти шагом и пускал её галопом только по траве.

Хелен с благодарными глазами уверила его, что ничуть не тревожится за Фанни и знает, что с ним она всегда в хороших руках. Возродившаяся надежда захлестнула её такой волной признательности, что её отношение к кузену больше, чем когда-либо раньше, граничило с влюблённостью. Джордж внутренне возликовал и подумал, что от благодарного сияния её синие глаза выглядят ещё прелестнее. Однако как бы ему ни хотелось официально признаться ей в своих чувствах и намерениях, он решил отложить это до более благоприятного момента.

Глава 3. Чистосердечное признание

Весь этот и весь следующий день Леопольд был в чудесном, приподнятом настроении. Однако вечером в понедельник последовала неизбежная реакция, и его снова охватила отрешённая усталость и отчаяние. Встреча с мистером Хукером была назначена на полдень, и в одиннадцать часов Леопольд был одет и готов ехать, беспокойный, возбуждённый и очень бледный, но ничуть не утративший прежней решимости. Под предлогом прогулки для Леопольда Хелен попросила у тёти карету.

– А почему с нами не поехал мистер Уингфорд? – встревоженно спросил Леопольд, когда они тронулись.

– Думаю, нам и без него будет неплохо, Польди, – ответила Хелен. – А ты что, ждал его?

– Он обещал поехать со мной. Но после того как Джордж договорился с мистером Хукером, он так ни разу и не зашёл. – Тут Хелен сочла необходимым выглянуть в окно. – Не знаю почему. Но я без него смогу исполнить свой долг, – продолжал Леопольд. – Так что, может быть, это даже к лучшему... Знаете, Джордж, с тех пор, как я решился, я видел Эммелину всего один раз, вчера вечером, да и то во сне!

– Состояние нерешительности особенно способствует нездоровым фантазиям, – ответил Джордж, благодушно усаживаясь так, чтобы его длинные ноги никому не мешали. Леопольд повернулся к сестре.

– Знаешь, что странно, Хелен? – заговорил он. – На этот раз я ничуть её не боялся и даже не стыдился. «Я вижу тебя, – сказал я ей. – Не тревожься. Скоро я приду к тебе, и ты сможешь сделать со мной всё, что захочешь». И знаешь, что было дальше? Ты не представляешь! Она улыбнулась мне, совсем как прежде, только грустно, очень грустно, и исчезла. Я проснулся, и мне почудилось, что она только что вышла из комнаты, потому что в темноте я почувствовал какое-то движение... Вы верите в привидения, Джордж?

Надо ли говорить, что Леопольд не входил в число учеников Джорджа.

– Нет, – откликнулся Баском.

– Неудивительно. Нет, я нисколько вас не виню. Когда-то я и сам в них не верил. А вот подождите, пока вы сами не превратите кого-нибудь в привидение!

– Не дай Бог! – воскликнул Джордж, снова на мгновение позабыв свои теории.

– Аминь! – отозвался Леопольд. – Потому что после этого человеку ничего не остаётся, кроме как самому стать призраком.

«Если он будет так же говорить с Хукером, – подумал Джордж, – никто и не подумает сомневаться в его неувяемости!»

– Только почему вчера к нам не зашёл мистер Уингфолд? – продолжал Леопольд. – Ведь я специально просил его об этом.

– Знаешь, Польди, тебе нельзя так много разговаривать, – сказала Хелен. – А то ты устанешь ещё до того, как мы приедем.

Ей не хотелось, чтобы Леопольд слишком дотошно расспрашивал о том, почему священник не появился в понедельник. Присутствия Уингфолда у мирового судьи следовало избежать всеми возможными средствами.

Баском легко – куда легче, чем он ожидал, – убедил Хелен подождать их возвращения в карете, и их с Леопольдом провели в библиотеку, где вскоре к ним присоединился сам судья. Он поздоровался с Джорджем и уже протянул было руку Леопольду, но совестливый преступник отступил назад.

– Нет, сэр, – сказал он. – Простите меня. Прежде выслушайте то, что я должен сказать вам. Если после этого вы всё ещё захотите пожать мне руку, я сочту это за великую милость. Но вряд ли, вряд ли вам этого захочется!

Достопочтенный мистер Хукер преисполнился жалости, глядя на его землистое лицо с ввалившимися щеками. Вид мальчика полностью подтверждал тот рассказ, которым Баском напичкал все фибры здравого судейского рассудка, заранее склонив его на свою сторону. Он участливо слушал, пока Лингард с трудом выдавливал из себя слова признания. Но Леопольд и не думал, что вызывает у старого судьи какие-либо чувства, кроме сострадания к несчастному, которого предательство подтолкнуло к такому преступлению. Его почти насильно

(ибо сейчас он упрямо, почти до безрассудства, старался противиться любой слабости) заставили выпить немного вина. Закончив, он молча сел на стул, сложив руки на коленях, словно его запястья уже сковывали стальные кандалы.

Несколько раз явная правдивость юноши и обстоятельность его рассказа почти пошатнули уверенность мистера Хукера, но один взгляд на лицо Баскома и его полуироническую улыбку немедленно приводил судью в чувство, и он с огорчением думал, что чуть было не купился на искренность сумасшедшего. Он уже успел обдумать представленное ему дело, пока сидел в церкви в воскресенье, и после резвой скачки по ухабистой местности в погоне за сильной лисой в понедельник и крепкого, долгого сна до позднего утра во вторник видел перед собой только один выход. Его решение было простым и прямолинейным.

– Что ж, мой милый юноша, – сказал он. – Мне очень жаль, но я должен выполнить свой долг.

– Именно за этим я к вам и приехал, – безропотно отозвался Леопольд.

– Тогда с этого момента считайте, что я вас арестовал. После вашего отъезда я немедленно запишу ваши показания и приступлю к выполнению надлежащих формальностей. Следуя установленному порядку, я выпущу вас под залог в тысячу фунтов, но вы должны быть готовы предать себя в руки полиции, как только за вами приедут.

– Но я ещё не достиг совершеннолетия, и у меня нет тысячи фунтов, – огорчился Леопольд.

– Быть может, мистер Хукер согласится принять от меня гарантию на эту сумму? – спросил Баском.

– Конечно, – ответил судья, что-то написал на бумаге, и Баском поставил на ней свою подпись.

– Очень любезно с вашей стороны, Джордж, – сказал Леопольд. – Но вы же знаете, я не смог бы никуда убежать, даже если бы захотел, – добавил он с жалким подобием улыбки.

– Надеюсь, скоро вы поправитесь, – участливо произнёс судья.

– Ну зачем вы желаете мне этого, сэр? – почти укоризненно возразил Леопольд, и добрый старик на минуту смешался. Позднее

он вспомнил об этом, но так и не понял, почему слова мальчика так смутили его.

– Вы должны быть готовы, – повторил он, с усилием беря себя в руки, – в любое время предать себя в руки полиции. И не забывайте: я имею право посещать вас, когда мне заблагорассудится – возможно, даже раз в неделю или чаще, – чтобы удостовериться, что вы на месте. Мы с вашей тётёй старые приятели, и мне не надо будет объяснять причину своих визитов. Случай ваш довольно необычен, и теперь, когда я выслушал всё до конца, я без колебаний готов пожать вам руку.

Его милосердие так ошеломило Леопольда, что в ответ он не смог вымолвить ни единого слова, но отправился домой с громадным чувством облегчения. В карете он положил голову на плечо Хелен и посмотрел ей в лицо с такой улыбкой, которой она до сих пор ни разу не видела на его лице. Нет, подумала она, что ни говори, а в чистосердечном признании действительно что-то есть – вот только жаль, что фанатики вроде мистер Уингфолда доводят всё до крайности и превращают добро в зло!

Леопольд был ещё настолько юн, обращал так мало внимания на то, что творилось вокруг, и был так поглощён своей страстью и поэзией существования, недозволенно разбуженной в его душе, что если бы обстоятельства смерти Эммелины были известны ему исключительно из газет, он так и остался бы относительно них в полном неведении. По тем же причинам он был настолько несведущ в практике уголовного судопроизводства, что поведение судьи вовсе не показалось ему ни странным, ни противозаконным. К тому же, сердечность и сочувствие доброго старика так сильно отозвались в его душе, что признание принесло ему куда больше покоя и утешения, чем он ожидал. Ещё по дороге домой он крепко заснул. Когда его перенесли на диван, он ненадолго проснулся, но тут же снова закрыл глаза, и Хелен увидела, что он чему-то улыбается во сне.

Глава 4. Маска

Однако, несмотря на то, что Джордж так уверенно объявил Леопольда сумасшедшим, и, несмотря на все его действия, в нём то и дело невольно вспыхивало то самое сомнение, какое он почувствовал, услышав историю Лингарда впервые. Каким бы абсурдным ни был его рассказ, он всё-таки вызывал у Баскома упрямое ощущение не только правдивости рассказчика (в этом у него никогда не было сомнений), но и правдоподобности всего повествования – что не могло не оказывать на Джорджа определённого влияния, хотя и не подталкивало его к каким-либо сознательным попыткам как следует во всём разобраться. Непокколебимая убеждённость самого Леопольда (хотя такая убеждённость может сопровождать и обычные фантазии больного рассудка) тоже сыграла здесь свою роль, с каким бы упорством Джордж не пытался выставить её в смехотворном свете. Он отрекся от неё ещё упорнее оттого, что испытывал интенсивное, почти болезненное отвращение к мысли о том, что его могут обмануть или ему придётся признать собственную интеллектуальную несостоятельность. Возможно, чувствительность обычного тщеславия (в котором он сам ни за что бы себе не признался) лишила его способности увидеть истину – и, причём, не только в этом деле. К тому же я не знаю, что постыднее: принять ложь за правду или отвергнуть истину.

Когда Джордж услышал последовательный рассказ Леопольда во второй раз, его внутренние сомнения зазвучали ещё отчётливее и настойчивее. Разве не бывает горя от ума? Вдруг он обманывается из-за собственной недоверчивости? Нельзя ли как-нибудь проверить факты? Нет ли в рассказе Леопольда чего-то такого, за что можно было бы зацепиться? И тут Джордж вспомнил одну подробность, которая подсознательно беспокоила его с тех пор, как он о ней услышал. Леопольд говорил, что бросил свой плащ и маску в старую шахту, неподалёку от места убийства. Если там действительно есть шахта, нельзя ли её обыскать? Наконец сомнения стали так неотступно его преследовать, что он решил во время отпуска съездить в то самое графство, где было совершено убийство, и попытаться разузнать всё,

что можно. Он не задавался вопросом о том, что, кроме личного удовлетворения, дадут ему эти поиски. В нём заговорил неутомонный дух сыщика, который так часто сочетается с полным безразличием к тому, что истинно по самой своей природе. Но это было ещё не все: он хотел, по возможности, достоверно знать все факты, имевшие хоть какое-то отношение к Хелен. Я не стану подробно описывать его расследование; меня интересует лишь то, как всё это повлияло на судьбу Леопольда.

Дом, где произошла трагедия, находился неподалёку от деревушки, сплошь окружённой вересковой пустошью. Там Баском отыскал маленький постоялый двор, где и поселился, выдавая себя за геолога, приехавшего отдохнуть. Вскоре он нашёл и заброшенную шахту. По вечерам в гостиницу нередко заходили выпить местные рудокопы – народ грубый, но вполне готовый расположиться к столичному гостю, который беседовал с ними тоном самоуверенного добродушия, так как вскоре понял, что именно они могут сослужить ему важную службу. В одном из таких разговоров он упомянул старую шахту, сказав, что наткнулся на неё во время прогулки. Заметив, какими опасными бывают заброшенные шурфы, он узнал, что эта шахта была сделана для вентиляции и в неё до сих пор можно пробраться из других подземных забоев. Услышав это, Баском тут же попросил разрешения спуститься в одну из действующих шахт, якобы желая рассмотреть угольные пласты, и, взяв в проводники одного из самых смышлённых горняков из тех, с кем он успел познакомиться, убедил его (притворившись, что не верит в то, насколько далеко расположена заброшенная шахта) довести его до того самого места.

Баском знал, что они движутся в верном направлении, по маленькому компасу, висевшему у него на цепочке для часов. Через какое-то время он увидел впереди слабое свечение. Когда наконец, утомившись от долгого путешествия по низким ходам, он поднял голову и посмотрел вверх, из дневного неба на него смотрела ночная звезда. Но Джордж никогда не тратил время на разглядывание того, что было у него над головой, и потому немедленно принялся внимательно осматриваться вокруг, якобы интересуясь угольными пластами. Но что это? Неужели это возможно? Под ногами у него виднелось

что-то чёрное, что явно не было куском угля, а напоминало материю. Это была полумаска с прорезями для глаз! Баском подхватил её и поспешно спрятал в сумку, но так, чтобы не вызвать подозрения у проводника. Однако Баском увидел, что его движение не осталось незамеченным. На обратном пути шахтёр не раз предлагал Джорджу понести его сумку, но тот ни за что не хотел выпускать её из рук.

На следующее утро Джордж вернулся в Лондон, по пути заехав в Гластон. В ответ на его вопросы Леопольд охотно рассказал о маске, которая была на нём в роковой вечер. Его слова в точности описывали находку Баскома, и тот наконец удостоверился, что молодой Лингард действительно говорит правду. Однако он сказал себе, что это не его дело – убеждать мировых судей в том, что они совершили ошибку. Да, он сам сбил мистера Хукера с толку. Но ведь тогда он действовал с чистой совестью; да и как он может сейчас предать Хелен и её брата?! Кроме того, он был убеждён, что его откровение вряд ли вызовет у старого судьи чувство признательности. И потом: если фанатическое рвение Леопольда всё-таки приведёт к дальнейшему развитию дела, Баскома явно ждут неприятности. Его наверняка попросят защищать Лингарда в суде, и, не будь он уверен, что проводник заметил, как он спрятал свою находку в шахте, может быть, он даже и рискнул бы на это пойти – это было бы редкой возможностью проявить те адвокатские способности, в наличии которых у себя он не сомневался. Но при сложившихся обстоятельствах ему, пожалуй, будет лучше сразу же после получения звания практикующего адвоката (а это должно было произойти буквально через пару недель) уехать за границу – ну скажем, в Париж! – месяцев на двенадцать или около того, и посмотреть, как развернутся события.

Поведав Хелен о своей страшной находке в угольной шахте, Баском разорвал лишь тонкую плёнку надежды, натянутую над бездной отчаяния: ведь она с самого начала знала, что её брат виновен. Теперь её и Джорджа неразрывно связывала общая тайна, и они оба это чувствовали.

Однако плащ Леопольда нашли незадолго до этих событий, и теперь он был у матери Эммелины. Это была женщина сильных страстей и решительного характера. Когда прошло первое потрясение

от трагедии, яростное желание отомстить почти вытеснило в ней горе: должно быть, ей казалось, что тем самым она как-то оправдывает свою дочь. Поэтому мысль о том, что убийца так долго скрывается от правосудия, неотступно грызла ей душу, и она поклялась, что поиски и наказание преступника станут главным делом её жизни. Её супруг, сломленный не только ужасной гибелью дочери, но и угрозой других навалившихся на него несчастий, не оказывал ей в этом никакой поддержки. По правде говоря, в нём не было ни её страсти, ни её упорства, которые подтолкнули бы его на дальнейшие поиски.

В округе знали, с каким ожесточением мать Эммелины пытается найти убийцу, и многие старались извлечь для себя выгоду, подливая в огонь её пыла масло надежды. Они немедленно сообщали ей любые, даже самые незначительные сведения и самые отдалённые намёки на возможную личность преступника, ибо она никогда не скупилась и вознаграждала своих доброжелателей с такой щедростью, которая, не будь её чувства столь пылкими, была бы просто нелепой и, увы, сделала её жертвой алчности всех лгунов-попрошак, обитавших в округе. Потому неудивительно, что кто-то из шахтёров спустился в старую шахту – так, на всякий случай, даже не думая что-то в ней найти, а, скорее, надеясь придумать что-то достойное вознаграждения – и, вопреки собственным бесплодным надеждам, нашёл там чёрный плащ.

Мать Эммелины какое-то время провела в Голландии, где по её настоянию полиция безрезультатно обшарила все береговые и островные деревушки, и вернулась домой лишь за несколько дней до того, как ей принесли новую находку. Увидев плащ, она немедленно вспомнила маскарадные костюмы злополучного бала и тут же отыскивала список всех приглашённых гостей. Она просматривала его как раз в тот момент, когда к ней явился проводник Баскома. После разговора с ним ей поиски на какое-то время приняли иное направление: ей во что бы то ни стало захотелось узнать, что за человек спускался в ту самую шахту?

Расспросы не дали ничего кроме того, что на саквояже незнакомца были инициалы Д. Б., а на оставленном им обрывке конверта виднелись буквы «...ком». Ей оставалось лишь одно: отправить эти скудные улики в лондонское детективное агентство.

Глава 5. Ещё одно решение

На следующий день после встречи с мистером Хукером в Леопольде произошла значительная реакция. Он уже не пытался встать с кровати и лежал в полном изнеможении. Сам он сказал, что, должно быть, простудился, немного покашливал, спрашивал, почему не приходит мистер Уингфорд, то и дело задрёмывал, но часто вздрагивал и просыпался. Миссис Рамшорн считала, что Хелен должна заставить его подняться: она сказала, что для него сейчас нет ничего хуже, чем лежать в постели. Однако Хелен подумала, что даже если тётя права, лучше будет оставить Леопольда в покое. На следующий день заехал мистер Хукер, спросил мистера Лингарда, и его провели к больному. Там он сказал мальчику всё, что только мог измыслить для его успокоения, ещё раз повторил, что перед началом судебного процесса ему надлежит выполнить ряд формальностей, и уверил больного, что пока его дело подготавливается к суду, ему лучше оставаться под присмотром сестры, нежели в тюрьме, где он наверняка умрёт ещё до суда. Пока он, мистер Хукер, несёт за него ответственность, и хотя Леопольд поступил совершенно правильно, что во всём признался, сейчас ему не следует слишком терзаться из-за того, что уже не вернёшь, чтобы в должный срок он мог давать показания ясно и чётко, а иначе его признают сумасшедшим и упекут в Бродмурскую лечебницу – а что может быть хуже? В завершение он сказал, что Леопольда явно подтолкнули к убийству действия жертвы, и судья непременно учтёт это в приговоре: главное убедить присяжных в том, что убийство было непреднамеренным.

– Я ни словом не стану себя оправдывать, мистер Хукер, – ответил Леопольд.

Почтенный судья печально улыбнулся и отправился восвояси, ещё более убедившись, что молодой Лингард не в себе. Его визит помог Леопольду дотянуть до конца дня, но когда и на завтра мистер Уингфорд не появился и до Леопольда не дошло никаких объяснений его отсутствия, он снова решил действовать самостоятельно.

Причину кажущейся недобросовестности священника, какой бы грустной она ни была, не нужно было далеко искать. В понедельник его не пустили в дом, отдавшись каким-то предлогом, во вторник ему сказали, что мистер Лингард уехал на прогулку, а в среду больной был слишком утомлён, чтобы принимать посетителей. После этого Уингфорд решил, что лучше предоставить события их естественному ходу. Если Леопольд не желает его видеть, насильно настаивать на встрече бесполезно. С другой стороны, если Леопольд всё-таки хочет с ним встретиться, Уингфорд не сомневался, что он непременно отыщет способ этого добиться.

На следующее утро Леопольд объявил, что ему легче, встал и оделся. Затем он улёгся на диван и начал тихо ждать, пока Хелен уйдёт на прогулку: доктор Фабер настоял, что она должна гулять каждый день. Теперь поведением Лингарда управляла не безрассудная страсть, а жгучее желание жить вкупе с полным пренебрежением к тому, что обычно называется жизнью. Он привязал к ногам шлёпанцы, надел сюртук, украдкой выскользнул из дома и направился к церкви. Освежающий воздух, который из-за болезненной слабости казался ему пьянящим, непривычный вид всего вокруг, нервная дрожь, колотившая его при встрече с каждым человеком, помогли ему добраться до дома священника. Однако внезапно всё поплыло у него перед глазами, чувства куда-то пропали; он попытался присесть на надгробный камень, но потерял сознание и упал навзничь между двумя могилами.

Вернувшись, Хелен с ужасом увидела, что его нет. Когда и куда он подевался, было неизвестно, потому что никто не заметил его отсутствия. Сначала она со страхом подумала о реке, но потом совесть подсказала ей правду, и никакой стыд не смог помешать ей побегать к священнику в поисках Леопольда. Она так торопилась, что не заметила лежащую фигуру брата. Когда её провели в кабинет Уингфорда, она быстро оглянулась, и её тревога превратилась в настоящую панику.

– Ах, мистер Уингфорд! – вскричала она. – Где Леопольд?

– Я его не видел, – ответил священник, побледнев.

– Значит, он бросился в реку! – вскрикнула Хелен и бессильно опустила в кресло.

– Ждите здесь, – коротко бросил священник, хватая шляпу. – Я пойду, поищу его.

Но Хелен вскочила на ноги, и, не сказав более ни слова, они вдвоём отправились на поиски. Проходя через кладбище, священник заметил, что на земле между могилами что-то лежит, и подскочив, увидел Леопольда.

– Он мёртв! – взвизгнула Хелен, увидев, как Уингфорд остановился и наклонился над лежащим. Леопольд и правда выглядел мёртвым, но то, что более всего напугало Хелен, для Уингфорда наоборот стало знаком надежды: из рассечённой брови мальчика ручьём текла кровь. Священник легко вынес Лингарда из промозглой тени, уложил его на плиту, сбегал на конюшню велеть подать дрожки, и заскочил в дом, принести больному чего-нибудь согревающего. Хелен держала голову Польди на коленях, и они с Уингфордом попытались влить ему в рот немного бренди, но тот никак не мог его проглотить. Тем не менее, это, должно быть, помогло, потому что вскоре Леопольд глубоко вздохнул, и в то же мгновение они услышали, что у ворот остановились дрожки. Уингфорд поднял мальчика, уселся с ним на сиденье и всю дорогу держал его на коленях. Когда они подъехали к особняку, он отнёс его наверх и положил на диван, а когда Леопольд немного пришёл в себя, Уингфорд раздел его и уложил в постель.

– Не оставляйте меня, – прошептал Леопольд, и Хелен, которая как раз вошла в комнату, услышала его слова. Уингфорд вопросительно посмотрел на неё, но теперь, от стыда и унижения, она держалась совсем иначе.

– Хорошо, Леопольд, – сказала она. – Я уверена, что мистер Уингфорд останется с тобой, если у него есть время.

– Конечно, – подтвердил священник. – Только сначала позвольте мне сбегать за доктором Фабером.

– Как я здесь оказался? – спросил Леопольд, поднимая широко открытые глаза на Хелен после того, как она заставила его проглотить ложку бульона. Но не успела она ответить, как его начало тошнить, и к приходу доктора у него поднялся жар. Фабер дал нужные указания, и Уингфорд вышел из дома вместе с ним, чтобы зайти в аптеку за прописанным лекарством.

Глава 6. Священник и врач

– В болезни этого юноши есть нечто странное, – сказал Фабер, когда они вышли на улицу. – Сдаётся мне, вы знаете куда больше, чем говорите, и если это так, то я не погрешу против приличий, если скажу вам об этом.

– Однако с моей стороны даже признаться в этом было бы неосмотрительно, – улыбнувшись ответил священник.

– Вы правы, – откликнулся Фабер. – Я здесь совсем недавно, и пока у вас не было возможности меня проверить. Но я так же беспристрастен и честен, как вы, хотя и не во всём с вами согласен.

– Люди утверждают, что вы вообще ни в чём со мной не согласны.

– Ах вот как? Значит, об этом говорят? – проговорил Фабер с некоторой досадой. – А я изо всех сил старался не нарушать границы ваших владений.

– Никаких владений я не знаю, – ответил Уингфорд. – Но истинная птица всегда сумеет избежать силков охотника.

– Что ж, – ответствовал доктор, – не знаю, как там Бог и всё такое, но хотя сам я не считаю себя трусом, я знаю, что вашей смелости можно только позавидовать.

– Да нет у меня никакой смелости, – сказал священник.

– Это вы своей бабушке расскажете! – рассмеялся Фабер. – Я лично не осмеливаюсь прямо говорить, что я думаю и чего не думаю, даже в спальне своего самого неправового пациента, а если что-то у меня всё-таки вырывается, то тут же в этом раскаиваюсь. Вы же каждое воскресенье во всеулышание говорите о том, во что верите на самом деле! Как вы можете во всё это верить, я не знаю, но это не моё дело.

– Как же не ваше? Конечно, ваше! – возразил Уингфорд. – А что касается смелости, то разве вы не допускаете, что иногда человек обязан сказать с кафедры то, что ему ни в коем случае не следует говорить у постели больного?

– Но смелость тут совершенно не при чём! А мне больше ничего не надо.

– Как не при чём? В этом деле самым важным является как раз то, что вы принимаете за смелость. Моя смелость – это всего лишь её величество Совесть.

– Как, как?

– Так назвал её Бенедикт из «Много шума из ничего». Моя смелость – это не что иное, как моя совесть.

– Как бы вы её не называли, это чертовски хорошая штука! – заявил Фабер.

– Вы уж простите меня, но ваш эпитет, при всей его забавности, вряд ли уместен в таком контексте, – ответил Уингфолд, смеясь.

– Вы правы, – отозвался Фабер. – Прошу прощения.

– Что же до смелости,.. – продолжал Уингфолд. – Видите ли, я хочу лишь одного: верить в Бога, а последнее время мне всё больше кажется, что найти Его сможет только честный человек. Если принять всё это во внимание, то моё стремление говорить правду – никакая не смелость, а самая обыкновенная необходимость.

– По-моему, от этого говорить правду ничуть не легче, особенно перед таким сборищем легковерных простофиль, как...

– Простите, но по-моему, по воскресеньям в церкви не хватает, скорее, совести, нежели мозгов.

– Что ж, я могу сказать только одно: мне никак не понять, зачем вам так нужно верить в Бога! Мне кажется, что без подобных вымыслов дела в мире пошли бы гораздо лучше. Ну вот возьмите хотя бы молодого Спенсера; это мой пациент, из Харвуда. Вчера у него умерла жена, прелестнейшее создание, всего двадцать два года! Бедняга просто убит горем. Он, правда, тоже, вроде вас; на днях сказал мне, как сказали бы, наверное, и вы: «Это воля Божья, и мы должны смиренно её принять». «Не говорите со мной о Боге! – не выдержав, ответил я. – Вы что же, хотите сказать, что если бы Бог существовал, Он отнял бы у мужа чудесную жену, а у беспомощного младенца – любящую мать? Да мне бы было стыдно в такое верить!»

– И что он вам ответил?

– Побледнел, как смерть, и не сказал ни слова.

– Вы забыли, что своими словами отнимаете у него единственную надежду снова с нею увидеться.

– Да, об этом я и правда не подумал, – признался Фабер.

– И всё равно, – продолжал Уингфолд, – я не стал бы утверждать, что вы поступили неправильно, если бы при этом вы готовы были добавить, что исследовали все сферы вселенной, где обитает жизнь, и не нашли там Бога. Или испытали все придуманные человеком теории, или даже собственную теорию, и обнаружили, что они, все до одной, противоречат возможности Его существования. Я не говорю, что тогда ваше суждение было бы верным: возможно, другой человек, равный вам по интеллекту и способностями, придёт к совершенно противоположному выводу. Я только говорю, что в этом случае не стал бы винить вас. Но вы должны признать, что это довольно серьёзно – без веских и убедительных доказательств выдвигать в качестве аксиомы то, что лишь в десять раз глубже вонзят в человека жало смерти.

Доктор ничего не ответил.

– Я не сомневаюсь, что вы сказали это в порыве негодования, но, по-моему, ваше негодование было негодованием человека, не привыкшего размышлять о тех предметах, насчёт которых он высказывает столь уверенные суждения.

– Тут вы неправы, – возразил Фабер. – Меня воспитывали в одной из правовернейших фарисейских школ, и я знаю, что говорю.

– Вряд ли в подобной школе можно получить представление о таком Боге, чьего существования действительно можно было бы желать.

– Они утверждают, что знают истину.

– Неужели вы считаете фарисеев и их мнения веским аргументом, зная, что это за люди? Если Бог и вправду есть, неужели вы полагаете, что Он сделает Своими устами какую-либо из этих самодовольных сект?

– Но вопрос состоит не в том, что я думаю о Боге, а в том, существует ли Бог вообще – особенно принимая во внимание то, что если Он существует, человеческое сердце никогда не сможет принять Его как Бога, если Он хотя бы допускает жестокость, не говоря уже о том, чтобы творить её Самому. Я не могу взять обратно того, что сказал Спенсеру, какими бы необдуманными или жестокими ни были мои слова.

– Не стану отрицать, в них есть определённая логика – как в жалобах гластонских ребятишек, которые на днях хором соглашались, что доктор Фабер ужас какой бессердечный и нехороший: выдернул у няньки зуб, а маленькому Бобби дал противное-препротивное лекарство!

– Вы считаете, это справедливое сравнение? Надо подумать.

– Мне кажется, да. То, что вы делаете, часто бывает неприятным, а иногда приносит страшную боль, но ведь из этого не следует, что вы жестокий человек, обожающий приносить людям не исцеление, а вред!

– Мне кажется, в этой аналогии есть слабое место, – проговорил Фабер, – потому что я – всего лишь раб существующих законов и вынужден действовать в соответствии с ними. В том, что пациентам неприятны те средства, которые мне приходится использовать, не моя вина. Бог же, если Он существует, сам устанавливает законы, так что тут всё зависит только от Него.

– Что ж, ваше возражение довольно веско и справедливо, и на первый взгляд аналогия действительно может показаться ущербной. Но что если найдётся теория, которая устранил это слабое место?

– Я лично не вижу, откуда ей взяться. Ведь если, как вы утверждаете, Бог тоже связан законами, как и я, тогда получается, что царство разделилось против себя, и Бог перестал быть Богом.

– Мне кажется, – проговорил Уингфорд, – что лично я мог бы поверить в Бога, лишь отчасти способного творить добро; но в Бога, который всевластен, но не всеблаг, мне не поверить никогда. Но что если Божий замысел предполагает возрастание людей как детей Божьих – помните, как написано: «Я сказал, вы боги»? – и Он хочет сделать их причастниками Своего, высшего блаженства, сделать их подобными Себе? Что если Его дивному замыслу мало того, чтобы Его создания становились совершенными исключительно по Его дару и не имели никакого реального участия в своём становлении – то есть не были причастниками Божьей индивидуальности, свободной воли и выбора в пользу добра? Что если страдание является единственным способом, посредством которого человека, в его отдельной, личной индивидуальности, можно было бы так отдалить от Бога, чтобы тот смог волей

устремиться к Его единственности и свободе и таким образом обрести их? Что если первым это страдание (и несравнимо большую его долю) должен был вкусить и вкусил сам Бог? И что если Бог увидел в вашем друге и его жене семя чистой любви, но столь несовершенное и слабое, что оно не выдержало бы грядущих морозов и ветров мира без утрат и тления; но если сейчас разлучить их на несколько лет, оно вырастет, укрепится и возрастет в незыблемость неизмеримо более высокой, глубокой и крепкой любви, не преходящей вовеки, и посредством страдания, вместо благодушного увядания, выкидыша и смерти, эти двое обрели трудное рождение радостного плода, в здоровье и бессмертии. Представьте себе всё это; что вы скажете тогда?

Фабер немного помолчал и затем ответил:

– У вашей теории только один недостаток: она слишком хороша и потому невероятна.

– Может быть, она не всё объясняет до конца, но такого недостатка у неё нет... Так какого же Бога вам надо, мистер Фабер? Одно для вас слишком дурно, другое – слишком хорошо и потому невероятно. Неужели вы так и будете то растягивать, то подрезать своё представление о Боге, пока не получите того, что в точности соответствует вашей мерке, и только тогда примете его как разумное или возможное? Только ведь такого Бога вашей душе не хватит и на неделю! Мне кажется, что вера в Бога возможна лишь в том случае, если Он настолько огромен, настолько велик, настолько свят и настолько прекрасен, чтобы быть достойным этой веры.

– Ну и как? Сами вы нашли такого Бога?

– Мне кажется, что нашёл и продолжаю находить.

– Где?

– В Человеке из Нового Завета. Сдаётся мне, что я размышлял об этих вещах больше вас, мистер Фабер. Возможно, однажды я обрету уверенность в чём-то реальном. Но как человек может верить в ничто, я не понимаю.

– Прошу вас, не думайте, что меня поколебали ваши аргументы, просто потому, что я не могу ответить вам сразу, – сказал Фабер, когда они подошли к его дому. – Пойдёмте ко мне; я составлю лекарство сам, это сбережёт нам немного времени. Знаете ли, – продолжал он

уже у себя в кабинете, – во всём этом есть уйма неувязок и трудностей, с которыми сталкиваются люди нашей профессии, и я сомневаюсь, что вам удастся так легко их разрешить. Но давайте вернёмся к этому бедняге Лингарду. Гластонские сплетники говорят, что он сошёл с ума.

– На вашем месте, Фабер, я не стал бы опровергать эти слухи. Пока Лингард в своём уме, но его терзают тяжкие мысли, которые вполне могут лишить его рассудка... Только я очень прошу вас даже не намекать на это другим.

– Понятно, – отозвался Фабер.

– По-моему, если бы врач и священник понимали друг друга и трудились вместе, – сказал Уингфорд, – они смогли бы сделать гораздо больше.

– Несомненно. Кстати, а что за человек этот их кузен? Как там его зовут – Баском, кажется?

– А вот он как раз должен прийти к вам по сердцу, – ответил священник. – Он обладает прямо-таки необыкновенной способностью ни во что не верить.

– Постойте, постойте! – перебил его доктор. – Вы слишком мало меня знаете, чтобы рассуждать о том, кто придётся мне по душе, а кто нет.

– Ну, тогда я скажу о господине Баскоме лишь одно: он был бы честным, не будь он так тщеславен; но если бы он и вправду был так честен, каким себя считает, то не стал бы так поспешно обвинять в нечестности всех, кто с ним не согласен.

– Надеюсь, это не последний наш разговор, – сказал Фабер, оглядываясь вокруг в поисках пробки. – Как-нибудь я сообщу вам пару-тройку фактов, которые заставят вас пошатнуться.

– Что ж, это вполне вероятно, – согласился Уингфорд. – Я только учусь ходить. Но ведь можно пошатнуться и не упасть, так что я вполне готов выслушать всё, что вы мне расскажете.

Фабер протянул ему пузырёк с лекарством, и Уингфорд, попрощавшись, отправился назад.

Глава 7. Священник и Хелен

Утру Леопольд лежал в путах слабой, но неотвязной лихорадки. Он снова был болен, но теперь на душе ему было куда легче, и даже самые тревожные его сны уже не пугали его, заставляя просыпаться в ещё более жуткую реальность. И всё-таки, дежуря у его постели, Хелен нередко с мучительной ясностью видела, что сны его, главным образом, вращаются вокруг того, чем должно было завершиться судебное разбирательство и его приговор. Ей казалось, что в выражении его лица она видит всю страшную процедуру, от начала до конца. В какой-то момент на его лбу всегда появлялись капли холодного пота, за этим неизменно следовала улыбка, и он успокаивался почти до самого утра, когда всё начиналось заново. Иногда он бормотал молитвы, а иногда Хелен казалось, что он видит себя лицом к лицу с Иисусом, потому что блаженство и доверчивое благоговение, сиявшие в такие минуты на его лице, были удивительно прекрасны.

Саму Хелен терзали самые противоречивые чувства. В один момент она горько упрекала себя за то, что стала причиной новой болезни Леопольда. В следующее мгновение в сердце её подымалась неудержимая волна радости при мысли о том, что, по крайней мере, сейчас он в безопасности и, может быть, смерть избавит его от целой уймы зловещих возможностей. Ведь манипуляции Джорджа могли лишь отсрочить тот день, когда правда выплывет наружу, и даже если никто ничего не узнает, рано или поздно Леопольд заподозрит, что его обманули, и это немедленно подтолкнёт его к новым действиям.

Однако помимо всего прочего, некое новое чувство, которое лишь недавно начало исподволь наемкаться ей на своё присутствие, теперь грозило принести с собой куда более глубокую и затяжную скорбь: она всё лучше и чётче понимала, что приняла сторону зла против того, кого любила больше всего на свете; как сатана, пыталась оттащить его назад, во мглу, и почти физически стояла у него на пути, пытаясь отвратить его от пути, ведущего к покою. Неважно, был ли избранный им путь единственным возможным: другого Леопольд просто не знал, и истинность этого пути уже подтверждалась теми

проблесками покоя и утешения, которые он обрёл в самом его начале. Она же ради того, чтобы избежать позора и унижения (и, как она говорила сама себе, ради всей семьи), выбрала дорогу, которая, в случае успеха, заперла бы Леопольда, словно в сумасшедшем доме, наедине с его внутренними терзаниями, тщетными угрызениями совести и столь же тщетным желанием освободиться. Теперь, когда ещё одна отсрочка немного отдалила гибельную угрозу и Хелен немного успокоилась, её совесть воспользовалась этой передышкой и заговорила громче. И Хелен прислушивалась к ней, но всё равно упрямо цеплялась за один и тот же вопрос: почему Леопольду нельзя принять утешение Евангелия без необходимости сдать властям? Ведь тем самым он фактически совершит самоубийство! Она не понимала, что чистосердечное признание было для Леопольда дверью в надёжное и безопасное прибежище, и ему просто необходимо было в неё войти.

Теперь она снова думала об отсутствии Джорджа с облегчением, и хотя суровость Уингфорда пугала и отталкивала её, в его присутствии она невольно ощущала неопишуемое чувство защищённости – по крайней мере, пока Леопольд не поправился настолько, чтобы священник мог с ним разговаривать.

Уингфорда же всё более и более интересовала эта женщина, способная любить так сильно, но не до конца, которой уже пришлось и ещё придётся перенести немало страданий и которая непременно обрела бы счастье в вере, даже если эта вера была бы не больше его собственной. Желание помочь ей становилось всё сильнее, но он не видел возможности до неё достучаться. И тут он начал открывать одно важное преимущество своей кафедры, этой маленькой, открытой всем обители, выходящей не только в небесные сферы, но и в множество потаённых уголков в сердцах его прихожан. Ибо то, что один человек не осмеливается – и не может, даже если бы осмелился; а если бы мог, то ни за что не осмелился бы – сказать другому наедине даже в самое подходящее время и в самом подходящем месте, он может открыто сказать с этой самой кафедры, перед целой общиной; и тот, кто нуждается в помощи, может услышать его слова не обижаясь и не чувствуя на себе удушающего ярма применить их так, как предписано (что, кстати, нередко так сильно раздражает душу, что она отвергает

ту истину, которую могла бы принять). Ах, если бы все наши кафедры оказались в распоряжении таких мужей, которые страданиями познали человеческую природу, а послушанием – Божье сердце! Тогда положение наставников общества перестанет принадлежать прессе, и лики истинных мужей повсюду станут окнами, через которые свет Духа сможет проникать в людские души; их голоса будут проповедовать увиденную ими истину, и сила Господня молнией полетит от сердца к сердцу. Тогда людям понадобится немного времени, чтобы понять, что главное – это не буква учения (пусть даже самого здравого), а новое творение.

С кафедры Уингфорд мог высказывать самые сокровенные мысли, обращаясь к самым сокровенным тайникам её души, но когда они с Хелен оставались вдвоём, он чувствовал себя подобно военному кораблю с солдатами на борту, вынужденному снова и снова огибать занятый неприятелем берег союзника в тщетных поисках подходящей гавани. Ах, как ему хотелось помочь этой девушке, чтобы в её душе воссиял свет жизни, а лицо вновь расцвело розами покоя! Но в её присутствии он не мог вымолвить ни слова, прекрасно понимая, как воспримет она всё, что он скажет, и потому молчал. Такова слабость некоторых людей – или, может, мудрое провидение ради их защиты: самые яркие формы, которые истина принимает в их личных размышлениях, теряют половину своего величия и всю свою привлекательность, когда эти люди высказывают их в присутствии невосприимчивой природы и потом с отвращением слышат отражение собственного голоса в убогом, вялом и нестройном эхе.

Но с другой стороны, всякий раз, когда в болезни наступала передышка и через тучи и туманы лихорадки пробивались бледные просветы жизни, Леопольд неизменно искал рядом своего друга. Увидев его, он вспыхивал от лучезарной радости, а не найдя его, уныло опускался назад в землю видений. Мягкость служения священника, его искренняя сердечность, сквозившая во всём, что он делал, и даже в бережных движениях его заботливых рук, были для Хелен самым настоящим откровением. Ибо хотя разум Уингфорда никак не решался переступить порог и продолжал задавать вопросы, неуверенно переминаясь с ноги на ногу в постылой нерешительности, дух его

Господа незримо скользнул мимо и вошёл прямо в обитель его сердца.

После последней записанной нами проповеди на священника снова нахлынули сомнения и хандра, на этот раз куда сильнее обычно. Может, он зашёл дальше, чем следовало? Может, он высказал больше уверенности, чем имел на это право? Нет, он действительно нашёл в Евангелии неизъяснимое удовлетворение и надежду для самых разных сторон своей сознательной жизни. Но что если, слушая его, люди подумают, что он непоколебимо уверен в фактической достоверности всех этих вещей? Ему пришлось утешить себя мыслью, что даже если в порыве восторга он и вправду создаёт у людей такое впечатление, пока это происходит ненамеренно, в этом нет ничего страшного: какое кому дело до того, во что и как он верит? Пока он остаётся верным себе, вреда это не принесёт. И потом, неужели человеку нельзя хотя бы иногда говорить, отталкиваясь от самого высшего в себе и забывая о низшем? Неужели порой он не может воспарить за пределы себя и круга своего знания? Если нет, ему придётся распрощаться с поэзией, пророчеством, да и со всеми великими открытиями тоже – ведь воплощению всегда предшествует видение, а пониманию – интуитивное предчувствие.

Уингфорд мог сказать о себе только одно: он был готов положить свою жизнь даже за малейшую вероятность того, что всё, о чём он говорил, действительно является правдой. Он готов был признать свою страстную преданность этим истинам, потому что без них жизнь казалась ему иллюзорной, нереальной пустыней. О фактах он не мог сказать ничего, и говорил только об истине – о той красоте, гармонии, праведности и надёжности, которую он видел в Сыне Человеческом, предстающим перед ним в евангельской истории. Он не осмеливался предположить, к чему могут подтолкнуть его попытки во времена гонений, но надеялся, что, даже если ему хватит подлости отречься от Христа, любой петух криком вернёт его к покаянию. В то же самое время он прекрасно понимал, что даже предав своё тело на сожжение, он никак не докажет подлинности своего христианства: в этом его могло убедить лишь сознательное

присутствие совершенной любви. Без этого он так и оставался вне царства, в полузабытии бродя вокруг его стен.

Трудности и непонятности не кончались. Иногда его захлёстывали мятущиеся волны противоречий и невозможности, но голова его неизменно показывалась на поверхности, и ему удавалось сделать глоток воздуха перед тем, как снова погрузиться в пучину. И с каждой новой битвой, с каждым новым лучом шаткой победы неизменный облик Господа виделся ему всё более и более прекрасным. Он начал видеть, как благодатно сомнения сказались на возрастании его сердца и души, углубляя и воплощая его веру и не давая ему верить в абстрактную идею Бога вместо живого Бога – Бога, не вмещающегося в человеческое сердце, полное мыслей, фантазий и стремлений, но, тем не менее, обитающего в нём.

Пока он молча сидел у постели Леопольда, у него было немало времени на раздумья. Иногда Хелен сидела тут же, неподалёку (хотя обычно, стоило ему появиться, она уходила на прогулку), но он не мог поделиться с нею ни одной из своих мыслей. К тому же, она была из тех, кто мало чему учится у других людей. Чтобы она могла услышать, в ней должна была свершиться некая перемена; сначала должен был рассеяться туман, обволакивающий ей душу.

В конце концов, миссис Рамшорн тоже примирилась с присутствием священника, отчасти из-за того, что говорила о нём Хелен, отчасти из-за того, что видела она сама. Её ни в коей мере нельзя было назвать одной из прекраснейших женщин мира, но и у неё было сердце, способное оценить те виды добра, которые высокомерие особого статуса в церкви не успело от неё скрыть – ибо ничто так губительно не влияет на духовную жизнь, как привычное взаимодействие с внешней стороной священного. Так что теперь, встречаясь со священником на лестнице, она приветствовала его весьма учтиво и даже с неким дружелюбием и время от времени, когда ей случалось об этом вспомнить, приносила ему бокал вина, пока он неотлучно сидел возле больного.

Глава 8. Вопросы и ответы

Знакомство между мануфактурщиком и привратником быстро переросло в дружбу. Теперь, закрыв лавку, мистер Дрю чаще всего отправлялся к воротам Остерфильдского парка, навестить Полварта, а, по крайней мере, три раза в неделю к ним присоединялся священник. Они немало разговаривали, много думали, а понимали, пожалуй, и того больше.

Как-то раз Уингфорд пришёл к Полвартам раньше, чем обычно, и они вместе уселись выпить чаю.

– Помните, – неожиданно сказал священник, – как однажды вы спросили меня, зачем Господь пришёл на землю?

– Помню, – ответил Полварт.

– Тогда я ответил вам неправильно; я сказал, что Он пришёл спасти мир.

– Да, помню. Только не забывайте: я спрашивал, какова была Его главная цель; ведь, помимо всего прочего, Он действительно пришёл для того, чтобы спасти мир.

– Да, именно так вы и сказали. Что ж, мне кажется, что теперь я могу дать вам правильный ответ; к тому же в поисках этого ответа я многому научился. Мне кажется, что главным образом Он пришёл в мир, чтобы творить волю Своего Отца. Ведь прежде всего Он всегда и во всём думал об Отце, а потом уже и о братьях, потому что они тоже принадлежали Отцу.

– Мне незачем говорить, что вы правы, потому что вы и сами прекрасно это знаете. Должно быть, с тех пор как вы открыли для себя эту истину, Иисус стал для вас в десять раз более реальным. Верно?

– По-моему, да. Надеюсь, что да. Такое чувство, будто сквозь туман наконец-то начинает просвечивать простая и великая реальность в облике Человека, чистого и простого, потому что Он есть вечный сын Отца.

– В таком случае, позвольте мне спросить ещё кое-что: как вы теперь относитесь к чудесам? К тому, что само по себе невероятно?

– Если предположить, что мы окончательно убедились в достоверности слов Иисуса о самом Себе, нам остаётся лишь посмотреть, соответствуют ли приписываемые Ему дела тому, каким нам видится Его характер.

– И?

– По-моему, какие-то соответствуют, а какие-то – нет. Насчёт них мне придётся думать дальше.

– Тогда я задам вам о них один вопрос. Какова была главная цель этих чудес?

– Если я хоть чему-то от вас и научился, мистер Полварт, так это тому, чтобы как следует подумать, прежде чем отвечать на ваши вопросы, – улыбнулся Уингфорд. – Можно мне подумать над ним дома, в свете того, что я уже знаю?

– Конечно, – ответил Полварт. – Обещаю вам, что этот свет вернётся к вам сторицей... Тогда, если позволите, до прихода мистера Дрю мне хотелось бы спросить вас ещё кое о чём. Вы всё ещё намереваетесь отказаться от места священника?

– Честно говоря, я почти позабыл об этом своём намерении. Уж не знаю, на что я способен, но одно мне известно точно: я не вижу иного более достойного занятия, которому мне хотелось бы посвятить все свои силы. Ничто другое не вызывает у меня такого интереса, ничто другое не кажется мне лучшей наградой за труды, чем возможность говорить своим собратьям о Том, Кто есть истина, и познание Которого есть жизнь. Даже если после смерти нас ждёт пустота, я предпочёл бы прожить свою жизнь, веруя в то великое, что должно существовать, пусть его и нет на самом деле. Никакие факты не могут заменить истин, а если всё это не истины, тогда самая возвышенная часть нашей природы никому не нужна. Только я всё же предпочту держаться того, что лучше реальности, и кануть в ничто с той же самой высоты, что Иисус, Иоанн, Павел и тысячи других, чья жизнь была прекрасна и чья смерть превращает в райский сад Господень даже ту пустоту, куда они ушли. Да что там, мистер Полварт! Я пойду ещё дальше и скажу, что готов, скорее, навеки уйти в небытие, веруя подобно Христу, нежели жить вечно, веруя подобно тем, кто отрицает Его. Я уверен, что, если Бога нет, то всё существование – это лишь хаос противоречий,

из которого не может возникнуть ничего, что было бы достойно имени истины, ради чего стоило бы жить. Нет, я не собираюсь отказываться от места. Я хочу учить людей тому, что действительно хорошо – даже если нет Бога, который превратил бы эту истину в факт! И я готов посвятить этому всю свою жизнь во всё возрастающей надежде (которая однажды может перерасти в уверенность) на то, что Бог всё-таки есть: Бог совершенный, достойный быть Отцом Иисуса Христа. И, может быть, именно потому, что это правда, всё это видится мне и множеству других мужчин и женщин столь прекрасным, что некоторые из них приняли или ещё примут ради этого смерть.

– Я благодарю Бога за эти ваши слова. Уверен, что на этом вы не остановитесь! – воскликнул Полварт. – А-а! Вот и наш мистер Дрю!

Глава 9. Бессмертие

– Ну, как идёт торговля? – спросил Полварт, когда гость уселся.

– Странно слышать от вас такой вопрос, сэр, – ответил мануфактурщик, и его круглое лицо, как никогда похожее на луну, наделённую высшим разумом, расплылось в улыбке. – Я только рад оставить её в лавке и хоть на время позабыть о ней.

– Подлинную торговлю невозможно оставить в лавке. Позади всякого всадника сидит забота, мрачная или светлая⁴⁷.

– Это верно, и я только что опять в этом убедился, – сказал Дрю, – потому что споткнулся о новую загвоздку. С тех пор, как мы виделись с вами в последний раз, на меня набросились пренеприятнейшие сомнения, и я никак не могу с ними справиться. Оружия у меня против них никакого, ни единого хоть сколь-нибудь веского аргумента.

⁴⁷ Аллюзия на цитату из первой оды третьей Книги песен Горация Флакка: «post equitem sedet atra сига» («и позади всадника сидит мрачная забота»). См. также непосредственный контекст: «Сходит, однако, Страх тотчас туда же, злые Угрозы вслед и чёрная за ним Забота, в крепкой ладье ль он, верхом ли едет» (пер. Н. С. Гинцбурга).

Может, таков закон природы, что стоит человеку в чём-нибудь запутаться, как у него в голове сразу появляются тысячи других непонятных вопросов, словно сам Хаос задумал его проглотить. Только я начал немножечко продвигаться вперёд, стараясь торговать честнее, как это треклятое сомнение сразу же подняло свою мерзкую голову и принялось раздуваться, становясь всё реальнее и реальнее. Я вот о чём, сэр: что если после смерти нас ничего не ждёт? Что если мы уходим из мира так же, как приходим в него? Что если раньше нас просто не было, и потом просто не будет? Да, весной к нам возвращаются цветы, а осенью – колосья, но ведь и цветы, и колосья каждый год разные, как разные поколения людей!

– Так ведь никто и не говорит, что мы вернёмся сюда. Мы просто верим, что после смерти уходим не в землю, а совсем в другое место.

– Но вы же не можете этого доказать!

– Нет.

– И ничего об этом не знаете!

– Ну, знаю я об этом действительно немного, но, по-моему, достаточно.

– Но ведь даже те, кто говорит, что верит в загробную жизнь, считают смехотворной, например, мысль о существовании призраков, привидений...

– По-моему, в этом виноваты сами привидения и те, кто о них рассказывает. Мне самому они не очень интересны. Я предпочитаю историю о Том, Кто, как говорят некоторые люди, воскрес к новой жизни и воскрес телесно.

– Да, но Он был всего один!

– Те же люди говорят, что Он вернул к жизни ещё двоих или троих.

– И всё равно, получается, что их всего трое или четверо!

– Честно говоря, мне не очень хочется с вами об этом спорить. Ведь вопрос о том, будем мы жить вечно или нет, вовсе не является вопросом первостепенной важности.

– Мистер Полварт! – воскликнул мануфактурщик с таким изумлением и ужасом, что ему вряд ли грозила опасность стать сторонником учения о том, что вместе с физической смертью прекращается

всякая жизнь. В ответ привратник улыбнулся, и его улыбку можно было бы назвать даже хитрой, не будь в ней присущего только ему выражения неизъяснимого добра.

– Представьте себе какую-нибудь никчёмную вещь, – сказал он. – Разве вы обрадуетесь, если вас уверят, что вы будете обладать ею вечно? Большинство людей считает, что это прекрасно – иметь свой клочок земли, чтобы передать его детям. Но что если эта земля – всего лишь вонючая, неосушимая трясина, полная смрадных вод? Разве её хозяина утешит мысль о том, что, покуда живы его наследники, никто и никогда, до скончания света, не оспорит прав владения на этот жалкий надел?

Мануфактурщик озадаченно смотрел на него, но во взгляде его сквозила напряжённая мысль. Священник с весёлым любопытством ждал, что будет дальше: он уже понял, к чему клонит карлик.

– Вы меня просто поражаете! – проговорил мистер Дрю, немного придя в себя. – Разве можно сравнивать Божий дар с такой мерзостью? Что бы мы делали без вечной жизни?!

Рейчел звонко рассмеялась, и священник невольно рассмеялся вместе с нею.

– Ну что, мистер Дрю, – сказал Полварт, тоже почти смеясь, – вы поможете мне до конца вытянуть цепь этого утомительного аргумента? Или сомнительное состояние её звеньев повергает вас в такой шок, что вы не желаете к ним прикасаться? Обещаю вам: последнее звено будет из чистого золота!

– Простите меня, – сказал лавочник. – Я и сам должен был догадаться, что вы пошутили.

– Отнюдь! Я говорил совершенно серьёзно и в самом буквальном смысле. Может быть, вы не вполне поняли, что я имею в виду... Так скажите мне, нужна ли человеку жизнь при любых, совершенно любых условиях?

– Конечно, нет.

– Наверное, вы и сами знаете таких людей, которые не прочь избавиться от своей нынешней жизни, потому что у них нет никакой надежды, что она когда-нибудь изменится.

– Нет.

– А я да.

– Я всегда думал, что за жизнь цепляются все.

– Большинство людей – да, цепляются; но далеко не все.

Вспомните, к примеру, Иова.

– А я слышал, что это всего лишь литературная поэма.

– Всего лишь поэма! Скорее, целая поэма – ведь она отражает состояние не отдельного человека, а всего человечества! Есть люди, которые с радостью избавились бы от жизни, и будь мы с вами на их месте, мы чувствовали бы то же самое. На них немного похожи те, кто отказывается верить в существование Бога: никто из них не ожидает вечной жизни, и мало кто хотел бы жить вечно – по крайней мере, так утверждают они сами.

– Что ж тут удивляться? – откликнулся мануфактурщик. – То есть если они не верят в Бога...

– Ну вот, вы и попались! Вы сами признаёте, что при определённых дурных условиях жизнь никому не нужна.

– Ну хорошо, признаю.

– А я повторяю, что это не далеко не первостепенный вопрос, будем ли мы жить бесконечно. Более того, я пойду немного дальше. Допустим, сам человек хочет жить бесконечно. Значит ли это, что его жизнь стоит того, чтобы ею жить?

– Наверное, да. Кто может судить об этом лучше него самого?

– А вот давайте немного порассуждаем. Возьмём крайний случай и допустим, что перед нами человек, чьё главное наслаждение – жестокость, и у него столько возможностей утолять свою страсть, что жизнь кажется ему прекрасной. Допустим, этот человек хочет, чтобы его жизнь продолжалась бесконечно. Стоит ли такая жизнь того, чтобы ею жить? Хорошо ли это, наделять человека способностью вечно оставаться зверем?

– Для окружающих очень плохо.

– А для него самого ещё хуже.

– С точки зрения других, да. Но ведь сам он будет счастлив!

– Да, если назвать это жуткое наслаждение счастьем и забыть о том, что по самой своей природе это не блаженство, а кошмар. Рано или поздно настанет время, когда, утоляя свою ненасытную страсть,

он истребит вокруг всё живое и останется наедине с опустошённым миром. Что тогда? Стоит ли ему жить в таком состоянии?

– Это будет жизнь ему в наказание.

– Пока мы говорим не об этом, но всё равно вы ответили на мой вопрос: является ли бессмертие безусловно желанным просто потому, что человек считает стоящей собственную жизнь?

– Да, действительно ответил. Теперь я вас понимаю.

– Отсюда следует, что есть кое-что поважнее, чем бессмертие.

Как вы думаете, что?

– Наверное, само бессмертие тоже должно быть достойным.

– Да; жизнь должна быть такой, чтобы ею стоило жить бесконечно... Но что делать, если она не такова?

– Тогда надо подумать, нельзя ли как-нибудь сделать её такой.

– Вы правы. И в чём же состоит главная, неотъемлемая ценность жизни как жизни? Единственным совершенным идеалом жизни может быть лишь некое Целое, самосущее и созидающее. Это и есть Бог, единый и единственный. Но для того, чтобы любая жизнь была полной по самой своей сути, по своему качеству она должна соответствовать этому идеалу. А человек соответствует самосущему в том, что должен осуществить и совершить себя, вобрав в себя этот источник своего существования, вернувшись и приняв этот источник в свою волю, и заново укоренив в нём все выражения своей свободы и всю силу самостоятельно пробудившейся воли. Иными словами, он должен сказать: «Я буду стремиться к воле созидающего Я»; увидеть и всем своим существом сказать, что желать исполнения Божьей воли в себе, для себя и о себе есть высочайшая точка человеческого существования. Только тогда он завершает свой цикл, обращившись к своей истории, постигая её Начало и волей устремляя своё бытие в волю Единосущего. В этом и состоит совершение, новое творение, объединение человека в единое целое. Это и есть истинная религия, и кто не собирает вместе с нею, тот расточает.

– И после этого, – вставил мистер Дрю с некоторым нетерпением, – встаёт вопрос: буду я жить вечно или нет?

– Вы уже простите меня, но я не согласен, – ответил маленький пророк. – По-моему, этот вопрос мы давно оставили позади. Человек,

обладающий такой жизнью, даже не думает о том, будет ли он жить. Сомнительное желание бессмертия возникает лишь в сумерках полужизни, в которой одновременно есть много такого, ради чего ей хотелось бы длиться вечно, и много такого, из-за чего ей не стоит продолжаться... Помните, – сказал Полварт, обернувшись Уингфолду, – как-то раз я говорил о странной рукописи, которую оставил после себя мой брат?

– Отлично помню, – ответил священник.

– Я всегда вспоминаю о ней, когда речь заходит о бессмертии. Так что если вы оба не против, я хотел бы зачитать оттуда несколько отрывков.

Оба гостя горячо, с непритворной сердечностью уверили хозяина, что с удовольствием выслушают всё, что он сочтёт нужным им прочесть.

– Только я должен вас предупредить, – продолжал Полварт, – исключительно ради того, чтобы защитить вас от ненужного смущения, что мой бедный брат был не в своём уме, и то, что я сегодня прочту вам, казалось ему не игрой воображения, а изложением неоспоримых фактов. Некоторые страницы, наверное, покажутся вам донельзя странными и непонятными, но вся рукопись пронизана движениями мысли и тем, что кажется мне удивительной проницательностью и умением предугадать эти движения и приостановить проявления воображаемого сознания.

С этими словами карлик открыл сундучок, где хранились самые дорогие ему вещи, и не только почтительно, но даже ласково вынул оттуда довольно пухлый том размером в четверть листа, аккуратно переплетённый в сафьян с золотым обрезом.

Глава 10. Отрывки из жизнеописания Вечного Жида

“Я опять захворал и по многим причинам (не связанным с самой весомой, о которой я позабыл) надеюсь, что скоро умру. Но эта надежда всегда рушится и обманывает меня. Я знаю, что какое-то время был не в себе, потому что теперь снова вернулся к подлинному осознанию себя. Зримое настоящее ещё раз соединилось в одно целое с прошлым, и в этом целом заключается моё «я».

Позвольте же мне рассказать, как я вырвался из пут безумия, овладевшего мною после долгих тяжких и лет непрерывного здравомыслия.

Я уже сказал, что был сильно болен; неведомое воспаление нашло себе пристанище в мозге, чрезмерно отягощённом неестественно длительным существованием. Была ли эта болезнь делом рук беса или целого легиона бесов, знает только Бог. Как бы то ни было, я был словно одержим. Мною владело безумие, и я не могу сказать, сколько оно продолжалось, годы или всего лишь мгновения. Теперь мне кажется, что это были долгие годы; но слишком хорошо зная, как текут времена и сроки для того, кто спал и пробудился ото сна, я не склонен доверять впечатлениям, оставшимся в неверной памяти, и могу положиться на них лишь в том, чтобы передать характер осаждавших меня видений.

Я воображал себя англичанином по имени Полварт, отпрыском древнего корнуоллского рода. Более того, я брёл по истории в облике этого Полварта уже полжизни, каждый день, от рассвета до заката. У меня был брат, карлик и калека, и такая же, как он, дочь. Единственным, что сквозь пелену сумасшествия напоминало мне о моём истинном «я», было ощущение, что всё это случилось со мной в наказание за страшный грех, когда-то совершённый мною. Правда, что это был за грех, я позабыл и вряд ли мог представить себе всю присущую ему гнусность.

Но как-то утром, едва проснувшись после беспокойной, пресыщенной снами ночи, я ощутил присутствие некоей полупризрачной тени. Мысль это была, воспоминание или фантазия, сказать было трудно. Почему-то из неё тёмными лучами струилось убеждение, что мне непременно нужно удержать и опознать её; иначе я потеряю себя навеки. Поэтому, напряжённо пытаюсь удержать эту тень и вспомнить, с чем

она связана, я сосредоточил на этой призрачной мысли всю силу своего духовного человека

Каждому известно, как это – пытаться уловить нечто бесформенное и эфемерное, вроде радуги, исчезающей с самого первого момента своего появления. Это что-то явно знакомо нам, но стоит разуму поднести к нему свой фонарь, как оно тут же начинает растворяться в воздухе. Какое-то время мы упорно гонимся за ускользающим фактом, а он всё время скрывается от нас за следующим поворотом, оставляя на каждом углу частичку себя, покуда не рассыпается окончательно, и мы останавливаемся, недоумённо спрашивая себя, был ли он на самом деле.

Пока мне чудилось, будто я веду жизнь английского дворянина, эти мысли-фантомы постоянно досаждали мне по утрам, и я неизменно пускался за ними в погоню, как скучающий человек от нечего делать следует за бегучими болотными огоньками. Более того, со временем это явление и всё, что могло за ним стоять, так заинтересовало меня, что я начал изобретать для его объяснения всевозможные теории, и некоторые из них казались мне оригинальными и остроумными. Старое предположение о том, что меня терзают смутные воспоминания о прежнем существовании, тоже не оставляло меня; я снова и снова возвращался к нему, но всякий раз решительно отвергал как совершенно неразумное и неправдоподобное.

Но в то утро, о котором я уже упомянул, мне впервые удалось удержать, захватить и опознать это навязчивое, летучее видение. В то же мгновение узлы безумия спали, и ко мне вернулось прошлое. Куда бы я ни кинул свой мысленный взор, передо мной тут же вставали давние события, во всех подробностях места и времени, до мельчайших деталей. Я снова узрел неприкрытую реальность своего «я», всегда ужасную, но теперь, после долгих лет блаженного неведения, ставшую вдесятеро ужаснее: я был и есть самый страшный и загадочный преступник на свете, несущий наказание, не похожее ни на какие другие, и известный миру под разными именами, а здесь в Англии – под именем Вечного Жида⁴⁸. Увы, Агасферу снова пришлось стать самим собой – собой и никем другим! Жена, дочь и брат исчезли и возвращаются только во снах. Я был и остаюсь скитальцем, бессмертным, раскаивающимся, непрощённым. О, моё бедное сердце!

48 Вечный Жид, Агасфер - персонаж христианской легенды, еврей-скиталец, осуждённый Богом на вечную жизнь в скитаниях за то, что он отказался помочь Христу нести крест на Голгофу.

О, мои бедные, усталые ноги! О, мои бедные глаза, которые когда-то видели, но более не увидят ничего, покуда не откроются однажды и не ослепнут вовеки! Словно неистовый град, смешанный с огнём, воспоминание о содеянном грехе опять захлёстывает меня, бешено мчась по старым, пересохшим руслам души, которая снова оживает и начинает корчиться, обугливаясь от языков пламени и разрываясь от ядовитого жжения.

Глава 11. Вечный жид

В святом Иерусалиме было прекрасное летнее утро, и я сидел за верстаком и усердно трудился над парой сандалий для первосвященника Каиафы. Я торопился: мне надлежало закончить работу за час до захода солнца, чтобы сделать все приготовления к пасхальной трапезе.

Всю ночь в городе было беспокойно, и какие-то люди непрерывно ходили туда-сюда: первосвященники и иже с ними наконец-то схватили того самого Иисуса, которого многие называли Мессией, а другие (и я, неразумный, тоже) считали архисамозванцем и богохульником. Дело в том, что я был из дома Каиафы и искренне желал, чтобы человеку, которого мой господин объявил обманщиком, досталось справедливое возмездие за его деяния.

Итак, я сидел за работой, размышлял и радовался своим мыслям. Прошло утро, настал полдень. Лето было душное, улица раскалилась под палящим солнцем, а я сидел в тени, поглядывая на пышущую жаром дорожку, не переставая мастерить сандалии для своего хозяина, искусно скрепляя их хитроумными, мелкими стежками. Какое-то время вокруг царило томное безмолвие, но внезапно откуда-то издали послышался нервный, беспокойный гул. Первыми появились бездельники-ребятишки, вечно бегущие впереди, чтобы их не затёрли в суতোлке; они бежали вприпрыжку, то и дело оглядываясь назад. За ними повалила целая толпа, с криками и воплями, толкаясь и выпирая то туда, то сюда, а посреди неё

возвышалась перекладина креста, и тащивший её Иисус так низко согнулся под этой тяжестью, что его вовсе не было видно. «Странно, – подумал я. – Наверняка он не раз таскал брёвна и потяжелее, когда работал с отцом-плотником в Галилее. Но теперь грехи и глупая праздность отняли у него молодость и силы, ибо тот, кто презирает закон, погибнет, а уповающие на Господа обновятся в силе». Я немало сердился на него: ведь он учил людей презирать великих хранителей и толкователей закона и почитать тех малых, кто всего лишь соблюдает его. Да что там! Этот человек плёткой прогнал со двора язычников брата моего отца, что, хоть и не причинив ему телесной боли, поразило его в самое сердце, – и тут же пригрозил разрушить и в три дня отстроить тот самый храм, который якобы так почитал!

Вот какие думы жили у меня в душе. Так что когда я услышал от уличных мальчишек, что мимо нас идёт сам Иисус из Назарета, и ведут его на Голгофу, чтобы там распять, сердце моё возликовало при мысли о том, что закон, наконец-то, восторжествует над этим злодеем. Я отложил сандалию и шило, поднялся и встал у двери в лавку. Иисус приблизился и уже почти прошёл мимо, когда длинный конец креста вдруг сполз в пыль и тяжело потащился по дороге. Кто-то из напиравшей сзади толпы подбежал, поднял его и толкнул вперёд, так что Иисус споткнулся и чуть не упал. Он был так близко, что перекладина креста оказалась чуть ли не на моём пороге. Я с негодованием отпихнул его от себя и гневно воскликнул: «Иди, иди, Иисус, иди дальше! Нечего тебе ступать на мой порог!» Он поднял на меня глаза и сказал: «Я-то уйду, а вот тебе уйти не суждено», и пошатываясь, побрёл дальше. Я же вслед за толпой отправился на Голгофу”.

Тут Полварт остановился.

– Я прочту вам лишь несколько отрывков, – сказал он. – Вы же видите, рукопись очень длинная, и я выберу лишь места, связанные с тем, о чём мы сегодня говорили. Дальше идёт подробное описание распятия; вряд ли я когда-нибудь смог бы прочесть его вслух. Там есть всё: и землетрясение, и бледные лица восставших мертвецов, проглядывающие из тьмы, окутавшей крест. Заканчивается оно так:

“Всё это время я оставался в стороне, но ближе подойти не решался, потому что рядом стояла его мать и те, кто были с нею, и при виде её сердце моё тяжко ныло от жалости. Я уже готов был сорваться с места и побежать домой, чтобы выплакать душившие меня слёзы, но какая-то непонятная сила словно пригвоздила меня к земле. Казалось, казнь приближается к концу. Отверзши уста, Он что-то сказал матери и ученику, стоявшему рядом с ней, но что сказал, я не знаю, ибо после этого глаза Его устремились на меня, и сердце моё ухнуло и куда-то провалилось. Он не вымолвил ни слова, но в Его взоре было нечто такое, что своей скорбью поразило бы меня до смерти, если бы смерть (хотя сам я этого пока не знал) уже не отшатнулась от меня навеки, не решаясь приблизиться к такому злодею... Ах, Смерть! Если бы ты вняла моему воплю, с какой радостью я построил бы тебе храм, воздал тебе высокие почести и принёс в жертву орлов на костре из мёртвых трупов!.. Но всё это лишь глупый, бессвязный бред! Да простит меня Господь. Все назначенные мне дни я буду ждать своего часа... Но тот Его взгляд, ставший источником вечных слёз в моём пульсирующем болью мозгу, словно развязал мне ноги, и я убежал прочь”.

Тут Полварт опять остановился, перелистнул сразу много страниц, нашёл нужную и снова принялся читать:

“И с тех пор всякий раз, когда ночью мне случалось видеть у дороги крест, я взбирался на него и, обвив его руками и ногами, висел на нём во мгле или при лунном свете, в дождь, в снег, в мороз, покуда мышцы мои не ослабевали, и я мешком не сваливался на землю, лишаясь чувств и приходя в себя лишь утром, когда на меня, лежащего у подножия креста, начинало светить солнце. И если мне вдруг случалось позабыть Его последний взгляд, во мне тут же вспыхивало мучительное желание смерти, не отпускавшее меня, покуда воспоминание об этом взгляде и его сила не возвращались ко мне, и вместе со скорбью моя душа не обретала терпение жить дальше. Но даже хотя я описываю всё это обычными словами, забвение и вспоминания означают для меня совсем не то, что для других людей. Эти движения духа измеряются для меня не человеческими поколениями, не годами,

а столетиями, ибо мгновения моей жизни отсчитывают часы, чей маятник качается вдоль дуги недвижных звёзд.

Однажды мне было видение Смерти. Должно быть, это были первые поползновения того безумия, которое впоследствии обволокло меня: ведь я хорошо знаю, что Смерти как таковой нет; что это только слово, необходимое ради бессилия человеческой мысли и убожества человеческой речи; что смерть – это не существо, а всего лишь перемена из нынешнего состояния в иное... Но я повторяю, что мне было видение Смерти. Вот на что оно было похоже:

Я шёл по широкой песчаной пустыне, как в Египте, и время от времени поглядывал по сторонам, не появятся ли где-нибудь на горизонте пирамиды, чёрными треугольниками врезающиеся в ночную синеву неба. Но вокруг ничего не было. Звёзды сошли на землю и сверкали на сухом песке, а вокруг простиралась дикая, безлюдная пустота. Воздух тоже был недвижим, как внутри наглухо заделанного склепа, где кроме сухих костей нет ничего, нет даже малейшего призрака зловония, поднимающегося от тлеющей плоти. В этом мёртвом воздухе я непрерывно слышал тихие стелания далёкого моря, к которому несли меня ноги. Я шёл уже долгие годы, но за это время голос моря стал лишь чуточку громче.

И тут внезапно я понял, что я не один. Рядом шагала чья-то смутная фигура, едва различимая, но реальная. Она не вызвала у меня страха; ведь то, чего люди обычно боятся больше всего, было для меня самым желанным на свете. Я остановился, повернулся и уже собирался заговорить, но чёрный силуэт, который никак нельзя было назвать просто тенью, не останавливаясь прошептал мимо, не обращая на меня внимания. Тогда я опять повернулся, зашагал к морю – и тень, удалившись было вперёд настолько, что казалась лишь туманной дымкой между звёздами, вдруг снова оказалась со мной рядом.

– О дух, я знаю, что ты не тень, – сказал я, не останавливаясь и не замедляя шаг. – Ведь сейчас нет ни солнца, ни луны, а многие звёзды гасят тени друг друга. Так что же ты такое и зачем ты идёшь рядом со мной? Если ты хочешь напугать меня, у тебя ничего не выйдет: я не боюсь ничего, кроме того, что люблю более всего на свете! – добавил я, думая о глазах Господа Христа.

– Ты так мало знаешь, что я такое, – ответил мой тёмный спутник, – что отказываешь мне в самой моей сущности. Я есть Тень и ничто иное, и нет другой Тени, кроме меня. Я Тень, одна единственная тень – не из тех, от которых в ужасе бежит свет, но подобная им, ибо сама жизнь отворачивается и прячется от меня. Но без жизни не было бы и меня, ибо я – ничто; и всё же, стоит чему-то появиться, как я сразу же появляюсь рядом, и мне не нужен был создатель, ведь я появился сама собой, ибо я есть Смерть.

– Ах! Смерть! – воскликнул я и хотел было упасть к его ногам, протирая руки в благоговейной мольбе, но в тот же миг пояс Ориона накрыла тень, а мой спутник исчез. Я вздохнул, снова зашагал к вечно стонущему морю – и через мгновение увидел, что тень опять идёт рядом.

– Значит, ты так и будешь ускользать и возвращаться? – заговорил я. – Тогда я презираю тебя, потому что ты боишься честной борьбы!

С этими словами я бросился на него, чтобы бороться с ним, надеясь не на победу, а на поражение, но никак не мог схватить его.

– Ах ты бессильное ничтожество! – вскричал я. – Ты не стоишь даже того, чтобы бросать тебе вызов!

– Ты хочешь рассердить меня, – ответила тень, – но у тебя ничего не выйдет. Меня нельзя вывести из себя. Да, я всего лишь тень, но я знаю себе цену, ибо я есть Сень Всевышнего, и где бы Он ни был, я всегда рядом.

– Ты просто ничто! – выкрикнул я.

– Нет, нет, я не Ничто. Ни ты, ни никакой другой человек не знает, что означает это слово; это известно только одному Богу. Я всего лишь тень этого Ничто. Говоря «НИЧТО», ты имеешь в виду всего лишь меня; но что имеет в виду Бог, говоря о «НИЧТО» – о том ничто, которое бывает без Него и которое есть не тень, а сама сущность небытия, – этого не может знать никакая тварная душа.

– Значит, ты – не Смерть? – спросил я.

– Я то, что ты представляешь, когда говоришь о смерти, но не Смерть, – ответил он.

– Горе мне! Тогда зачем ты пришёл ко мне посреди этой пустыни? А я-то думал, что ты действительно Смерть и сможешь забрать меня к себе, чтобы меня больше не было!

– Такие дела не подвластны Смерти, – ответствовала тень. – Только Тот, Кто сотворил тебя, способен сделать так, чтобы тебя не было. Ты есть, покуда Он не пожелает, чтобы тебя не стало. От мудрецов я слышал, что творить трудно, но обратить сотворённое в ничто – ещё труднее. Правда, я об этом ничего не знаю. Только неужели ты желаешь, чтобы тебя рассыпала в ничто рука Смерти? Неужели ты хочешь, чтобы твоё небытие было даром тени?

Я вспомнил глаза Господа Христа и Его взгляд и сказал:

– Нет; я не хочу, чтобы Смерть уносила меня. Я хочу исполниться жизни и вечно стоять перед Богом.

Тут пояс Ориона снова затуманился, и тень исчезла. Но и после этого я жаждал прихода Смерти, надеясь, что она приведёт меня к тем глазам и сиявшему в них прощению. Однако годы всё шли, и с каждым новым годом надежды у меня становилось всё меньше. Я снова позабыл, как Господь однажды посмотрел на меня. В конце концов, утомившись от брэнной, но бесконечной жизни и желая, чтобы это противоестественно долгое существование пришло-таки к естественному завершению, я начал мечтать о том, чтобы бытие прекратилось навсегда.

И вот как-то раз, в одном германском городе, я отыскал своих собратьев-евреев, которые сказали мне:

– Не печалься, Агасфер! После смерти нет никакой жизни. Так что живи, покуда не придёт твой срок, и не жалуйся. Любой из нас с радостью принял бы на себя твоё наказание, чтобы жить, пока жизнь не станет ему в тягость!

– Да, но как жить, когда жизнь давно тебе опостылела? – возразил я.

Но они не стали меня слушать и сказали:

– Исследуй Писание, изучи Книгу Закона и рассуди, есть ли в ней хоть один побег этого странного растения, этой веры, выросшей в одну ночь. Воистину, вера в бессмертие – лишь мимолётная вспышка в разуме людей, сияющих подняться над своим делом. Разве Моисей, Иов, Давид или Даниил обмолвились о нём хоть одним словом?

И я послушал их, и они убедили меня. Но с этими мыслями тоска по смерти навалилась на меня вдесятеро сильнее, и тогда я встал, препоясал чресла свои и снова пошёл на поиски того, кто теперь казался мне привратником у ворот вечного безмолвия и невиданного покоя.

В прежние дни, когда я утомлялся от своих трудов, что было для меня слаще, чем окунуться в смерть сна? Так насколько же слаще будет погрузиться в самый глубокий, самый древний из всех снов – в материнское лоно смерти, где обитает пустота и покой, не знающий пробуждения! Бесконечное жужжание колёс мысли и желания, наконец, смолкнет, и меня поглотит ночь, чья мгла не кишит незримыми тварями и которую не всколыхнёт ни одна утренняя звезда!

И всякий раз, когда сходились враждующие армии и близился день битвы, я в жаркой спешке летел им навстречу, чтобы первым оказаться на бранном поле и с радостью встретить самую страшную погибель. Сам я не сражался, потому что не хотел убивать тех, кто не желал смерти, как желал её я. Но если бы на поле битвы выходили воины, как я, жаждущие смерти, с каким рьяным неистовством я поражал бы их, чтобы, подобно ангелу Азраилу, даровать им долгожданный покой! Ибо я относился к своим собратьям не с ненавистью, а с любовью и готов был с усердием перетаскивать их, всех до одного, из обжигающего воздуха жизни в целительную тишину гробницы. Но они не искали смерти, и я не дарил им её, хотя всё упорнее искал её для себя. Зрение моё обострилось настолько, что я тут же узнавал стервятников, кружащихся над роковым полем, даже если они были так далеко, что казались лишь пылинками в солнечном луче. Завидев их, я стремительно бежал в ту сторону и не останавливался, пока они не оказывались прямо у меня над головой.

Однажды сидя в степи, ослабев от горя, я увидел, что ко мне стремительно приближается отряд конных всадников, обезумевших от животного страха. Я вскочил и кинулся к ним навстречу, махая руками и крича, как кричит пастух, чтобы повернуть стадо. Вздрыбленным валом, поднявшимся свирепым ветром, неумолимо сметающим всё на своём пути, они налетели прямо на меня. Ах, вот это воистину был кипучий поток – громоподобная череда живых, железнобокых волн, гонимых вперёд ураганом страха! На мгновение я почувствовал копыта и знал, что меня подмял кто-то из всадников – но чувства тут же исчезли, и какое-то время не было совсем ничего. Я проснулся в тишине, и мне показалось что я умираю, что я почти пересёк невидимую черту и через секунду наступит вечное и бесконечное ничто. Потом снова наступила пустота. «Наконец-то

я умер, меня больше нет! – подумал я. – Мои странствия закончились». И с этой мыслью меня обожгло адское отчаяние: ибо я продолжал думать!

– О Боже! Горе мне! – возопил я. – Хотя больше я ничего не вижу, не слышу, не чувствую ни запаха, ни вкуса, ни прикосновения, и тело моё покинуло меня, я всё равно остаюсь Агасфером, Странником, и должен всё так же идти и идти без конца, слепой и глухой, чрез неведомые пустыни, незнакомые человеческим чувствам, – и мне уже никогда не обрести покоя! Увы! Смерть – это не смерть; ведь она лишь протыкает кожаный чехол бутылки, но не проливает на землю вино жизни! Горе мне, горе! Ибо я не могу умереть!

Но тут я почувствовал в пальцах лёгкую судорогу и громко воскликнул от счастья: тело моё осталось со мной! Ликуя, я вскочил на ноги и весь израненный и хромым, с перебитой рукой, заковылял вслед Смерти, надеясь, что она всё-таки откроет мне тайну вечного покоя. Я был жив, но у меня оставалась надежда, ибо Смерть была ещё впереди! Я был жив и пока ещё не умирал. Кто знает? – может, я ещё отыщу ту дивную ночь, где нет ни звёзд, ни облаков! Я ещё не перешёл в страну мёртвых и пока продолжал жить! Кто знает, может, мои соплеменники-мудрецы из германских краёв действительно окажутся правы! Так, примерно с час, я безудержно радовался и ликовал.

Глава 12. Вечный жид

Была полночь, и духота стояла адская. Весь день воздух ни разу не шелхнул. Земля, по которой я шёл, была совершенно плоской, как море, когда-то покрывавшее её. Сердце моё еле билось, и я страшно устал, как человек, слишком уставший, чтобы заснуть сразу, и даже во сне продолжающий трудиться не покладая рук. Глаза мои слипались, но я продолжал идти. Кровь в моих жилах текла так же вяло, как медлительная вода в многочисленных речушках, попадавших на моём утомительном пути. Я не терял надежды повстречать тень, которая одновременно была и не была смертью.

Но то, что я поведаю вам сейчас, не было сном. Ровно в полночь я подошёл к воротам большого горда, и стражники впустили меня. Словно призрак в ночном сновидении, я бродил по его древним, благородным улицам, никого не зная и позабыв о себе, и наконец вышел на площадь, где возвышалась огромная церковь, и мне показалось, что крест на её шпиле усыпан теми самыми звёздами, к которым он был вознесён. «Господи Иисусе!» – подумал я про себя и, подойдя поближе, толкнул дверь, ведущую на колокольню. Она оказалась не заперта. Опираясь на палку, я принялся подниматься по винтовой лестнице, покуда не выбрался к открытому небу. Но лестница не кончалась, а витками вела меня всё дальше и дальше, к звёздам. Я поднимался всё выше, до самого неба, пока не оказался у подножья каменного креста.

Боже мой! Сколько неспешных, беспокойных столетий проплыло мимо с тех пор, как я стоял возле креста мук и позора! Бог так и не утомился от Своей жизни, но я устал всем своим нутром; устал настолько, что усталость стала частью моего существа и я почти перестал замечать её. Теперь же над каждым людным городом в почести и славе возвышался крест, окружённый звёздами! Я вскарабкался на купол и полез вверх по украшенному резьбой столбу креста; жилы мои были словно сталь, а мышцы высохли и затвердели, покуда не стали крепкими, как у тигра или громадного змея. Я взбирался всё выше и выше, пока не долез до огромной поперечной перекладины. Я закинул на неё руки, как делал всегда, обвил столб ногами и повис на высоте трёхсот футов над городскими крышами.

Пока я висел, взошла луна и моя тень, тень Агасфера, легла на крест, закрыв собой свет Плеяд. И тут тупоголовая Природа словно обиделась на меня, не поняв моего убогого приношения, и на небо вдруг налетели тучи, словно стервятники, взявшиеся неизвестно откуда. Они подымались и наплывали со всех сторон, вскоре закрыв собой луну, и их становилось всё больше, пока они не собрались прямо над крестом. Когда они сомкнулись, сверкнула молния, вслед за ней грянул гром, и всё вокруг, надо мной и подо мной, разразилось беспрестанными вспышками и громогласными раскатами, так что я не мог различить голоса отдельных молний, ибо всё смешалось в одном грохочущем хаосе.

Услышав раскаты грома, жители города выглянули из окон, увидели, что вокруг шипит церкви, возвышающегося посреди великого смятения, бушует ослепительная гроза, и только тут заметили, что на кресте висит человеческая фигура. Они выскочили из домов, и вскоре вся площадь была запружена народом, изумлённо взирающим на сие удивительное явление. «Чудо! Чудо!» – восклицали они, но никакого чуда там не было, а был всего лишь я, Агасфер, странник, горько кающийся в своём преступлении против Распятого.

Внезапно всё вокруг воссияло великим светом, невиданным мною доселе – да и сейчас я взирал на него не только глазами, но лучшей частью своей души, дарующей подлинный свет человеческим очам. «Несомненно, Господь близко, – подумал я, – и Он пришёл ко мне позже всех, как к благословенному Савлу Тарсянину; только величайшим из грешников был вовсе не он, а я, Агасфер, проклятый Богом». Тут раздался оглушительный удар грома, будто весь мир взорвался в плавильне солнца, и я упал; то ли в меня вонзилась молния, то ли я просто, как всегда, свалился с креста от изнеможения, не знаю. Я лежал на куполе у подножья креста; люди же, взглянув вверх, увидели, что чудо закончилось, разошлись по домам и мирно уснули. А на следующий день, войдя в реку, чтобы умыться и искупаться, я обнаружил, что у меня на теле, прямо возле сердца, проступил тёмный, свинцового цвета крест с человеком, висящим на нём, как висел я. Вот это воистину было чудо! Но я не знал, огорчаться ему или радоваться.

Как-то ночью я зашёл в горную деревищу, спрятавшуюся среди безлюдных утёсов, где я бродил весь день. Ещё никогда жизнь не казалась мне столь безнадежной. В мире не было никого, кто мог бы узнать меня,

и хотя среди людей ходили легенды о вечном страннике, веры на земле осталось так мало, что стоило объявить то или иное явление чудом – даже если оно и впрямь было таковым, – этого было достаточно, чтобы в него не верил ни один человек, желающий прослыть мудрым. За последние пятьдесят лет ни один человек не поверил моей исповеди. Ибо когда я рассказывал им правду, говоря, как говорю сейчас, что я – тот самый Агасфер, которого Великое Слово изгнало из родной ему страны Смерти, закрыв перед ним двери могилы, чтобы он не мог туда сойти, все без исключения объявляли меня сумасшедшим и отказывались иметь со мной дело, будто во мне и правда обитал легион бесов, которые не прочь поселиться в свином стаде. Я ожесточился сердцем и чувствовал себя беспредельно одиноким.

Именно таким я пришёл в ту горную деревушку. Была полночь, и её обитатели крепко спали, так что даже ни одна собака не залаяла, заслышав мои шаги. Но вдруг – и душа моя до сих пор содрогается при одном воспоминании – многоголосый вопль безумного страха вырвался из груди всех спящих жителей, раздавшись гулким эхом в самых дальних отлогах и трещинах, так что сердце моё бешено заколотилось о рёбра, и я тоже испустил невольный крик, потрясённый ужасным воплем, ибо среди спящих жителей не было ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка, который не возопил бы от страха вместе с другими. И я знал, что закричали они из-за того, что меж их домов шёл изгой, бездомный, никем не любимый вечный странник, не позволивший своему Создателю опустить крест на свой порог. Что ещё могло извергнуть из человеческих душ столь душераздирающий крик?

Я огляделся, думая, что вот-вот люди выбегут из домов и в остервенении набросятся на меня, чтобы убить неубиваемого. Но вопль тут же смолк, и воцарилась тишина. Боясь, что сейчас раздастся ещё один крик, и сердце моё станет как вода, я ускорил шаги, чтобы поскорее оставить позади жилища детей земного мира и снова удалиться в горы, где нет человеческих троп. Но тут в одном из домов отворилась дверь. В то же мгновение вдоль улицы пронёсся леденящий порыв горного ветра, а из двери, навстречу ветру, вдруг выбежала молодая девушка в одной ночной рубашке. Ветер дул ей в лицо, и при свете луны я увидел, что руки и ноги её потемнели и огрубели от нищеты и тяжкой работы, но шея и плечи были белыми, а фигура – ладной и на редкость изящной. Ветер вздымал её волосы, грозovým

облаком застилавшие ей лицо; она то и дело смахивала их, как едва не утонувший человек пытается смахнуть с лица воду, из которой его только что вытащили, и за этими прядями я увидел её глаза, словно две светящиеся звезды, проглядывающие из-за туч.

С детским бесстрашием она посмотрела на меня и сказала:

– Скажи мне, незнакомец, не знаешь ли ты, что это был за крик? Не ты ли кричал сейчас на нашей улице?

– Нет, милая, – ответил я, – это был не я. Но я тоже слышал этот крик, и вся душа во мне содрогнулась.

– А на что он был похож? – спросила она. – Видишь ли, я спала и даже не слышала его, и мне передался лишь его ужас.

– Мне показалось, что все здешние жители вскрикнули в одно мгновение, будто им всем приснился страшный сон.

– Я не кричала, – проговорила девушка. – Я спала, но сон мне снился такой, что я никак не могла закричать.

Она была так прелестна в своей невинности, что я спросил:

– Что же тебе снилось, милое дитя? Может, расскажешь бедному старику?

Но тут с горных вершин сорвался ветер и, как стая бешеных волков, с неистовой силой подхватил меня и повлёк прочь из деревни. Я что было духу побежал от него и не мог остановиться, пока не заскочил в маленькую пещеру. Но не успел я перевести дух и оглянуться, как в ту же самую пещеру влетела и девушка, унесённая из деревни тем же могучим ветром.

– Не бойся, дитя моё, – сказал я, с жалостью глядя на неё. – Я всего лишь дряхлый старик с измученным и иссохшим сердцем. Я не причиню тебе зла.

– А я и не боюсь, – ответила она. – Иначе не побежала бы за тобой.

– Но ведь ты не сама решила догнать меня, – возразил я. – Это ветер, прилетевший с гор и унёсший меня прочь, подхватил тебя и понёс вслед за мною!

– Какой ветер? – удивилась она. – Я пошла за тобой сама. Зачем ты побежал от меня?

– Нет, я бежал не от тебя! – воскликнул я. – Но зачем ты пошла за мной?

– Чтобы рассказать тебе свой сон, как ты и просил. Мне приснилось, что ко мне пришёл человек и сказал: «Вот, нет мне смерти, нет мне покоя, и бремя моё непосильно, ибо Смерть, которая дружит со всеми людьми, стала мне врагом и не желает прийти ко мне с миром». Но тут раздался тот самый вопль, я проснулась и выбежала наружу посмотреть, что случилось, и увидела, что на улице лишь ты один. И Бог мне свидетель, что ты как две капли воды похож на того, кто привиделся мне во сне.

– Тогда позволь мне ещё раз спросить тебя, зачем ты за мной пошла, – сказал я.

– Чтобы утешить тебя, – ответила она.

– Чем ты сможешь утешить того, кого покинул Бог?

– Этого не может быть! – сказала девушка. – Ведь Он послал тебя ко мне в ночном видении, а после этого наяву послал меня к тебе. И потому я пойду с тобой, чтобы служить тебе.

– Смотри, прежде подумай хорошенько, – сказал я. – А пока ты окончательно не решилась, присядь, и я расскажу тебе свою историю.

Она тут же уселась, и я рассказал ей всё. Пока я говорил, взошло солнце.

– Так значит, ты совсем один? – проговорила девушка. – И у тебя нет никого, кто любил бы тебя?

– Никого, – ответил я. – Ни мужчины, ни женщины, ни ребёнка.

– Тогда я пойду с тобой. У меня нет ни отца, ни матери, и удержать меня некому, ведь я за плату пасу чужих коз. Так что если ты не пожалеешь для меня хлеба, я пойду с тобой и буду служить тебе.

О, какая безмерная любовь к этой девушке проснулась у меня в сердце! Я оставил её в пещере, сходил в ближайший город и вернулся, неся с собой пищу и одежду. Как я любил её! И хотя в то время мне уже перевалило за тысячу семьсот лет, она тоже полюбила меня, ибо лицом и телом я не изменился с того самого дня, когда Господь Иисус произнёс надо мной роковые слова. Да, она любила меня и стала моею, и я дорожил ею, как зеницей ока. И мир уже не казался мне пустынным, но расцвёл, словно Саронский нарцисс. И хотя я знал все города, дороги и судоходные моря на свете, всё вокруг стало для меня невиданным и новым из-за той радости, с которой моя возлюбленная взирала на царства мира и всю их славу.

Но вскоре сердце моё возгордилось, и я сказал себе, что на свете нет никого, лучше меня: Смерть не могла ко мне прикоснуться, сам я был одним из чудес мира, и, более того, превосходил всех мужей, когда-либо живших на земле, ибо в даже таком возрасте сумел добиться любви и безмерного обожания такой женщины, как моя жена, которая никогда не уставала от моего общества и речей. Даже чистую благодать любви я приписывал в заслугу себе, а не милости Божьей и нежности сердца моей возлюбленной. Как сатана на Небесах, я возвеличился в силе, славе и чести своего бесовского «я», и моё надменное сердце отказывалось возносить благодарность, ведь гордился я не Богом, а Агасфером.

Однажды непрошенная мысль жгучей молнией хлестнула меня: «Она умрёт, а ты будешь жить, и жить, и жить, а смерть будет медлить, как медлила до сих пор!» – и я низвергнулся с высот, как сатана с седьмого неба. Однако потом дух мой немного ожил. «До её смерти ещё много лет, и всё это время она будет любить меня, – подумал я. – А когда её не станет, воспоминания о моей возлюбленной будут поддерживать и утешать меня, ведь я уже не смогу презирать мир, который она любила, как любила меня».

Тут ещё одна мысль острой молнией пронзила меня, и в жале её крылась истина: «Но ведь она состарится, – подумалось мне, – и будет увядать прямо на твоих глазах, как сходящая на нет луна». Сердце моё взвыло от отчаяния, но воля успокоила его и сказала: «Не плачь! Несмотря на старость и смерть, я всё равно буду любить её». Тут что-то внутри меня начало корчиться, извиваться и шипеть: «Но ведь она станет некрасивой, лицо её сморщится и потемнеет, тело расплзётся и станет бесформенным, глаза западут и превратятся в тусклые щёлки, волосы выпадут, и она станет похожа на уродливую Смерть, с кожей, едва прикрывающей безобразные кости, а твоя возлюбленная с гладкими, стройными ногами и руками, струящимися волосами и ясными глазами, из которых глядит столь же ясная душа, исчезнет навеки – навеки, ибо ты не поверишь, что это она стоит перед тобой. Каково тебе будет тогда? Какое же это милосердие – послать тебе женщину, чьё общество с каждым днём приближает горе и утрату?»

Тогда я встал и ушёл, влекомый неудержимым отчаянием. Я ничего не сказал жене, но отправился к подножию великой горы, внутренности

которой полыхали огнём, а на склонах росли пальмы, фруктовые деревья и орехи, в которых плескалось молоко. Сначала я шёл вверх по склону, потом начал карабкаться по камням и ни разу не оглянулся, пока не добрался до вершины. Несколько секунд я стоял неподвижно, не помня себя от горя. Подо мной зияла гигантская огненная бездна, как багровое озеро, затянутое коркой чёрного льда, в трещинах которого полыхал ослепительный огонь. Время от времени эту корку пробивала пузырящаяся лава, выплёскиваясь наружу шевелящейся массой, а потом снова опускалась вниз, оставляя после себя открытую огненную дыру, откуда вырывались лучи, похожие на языки пламени, хотя пламени видно не было. Всё это было похоже на тушу испанского зверя, выброшенного из ада, израненного и кровоточащего огнём.

Надо сказать, что за последний год моего долгого путешествия, благодаря любившей меня женщине, я снова стал дорожить жизнью и уже не раз смеялся, поймав себя на том, что невольно отшатываюсь от той или иной опасности, которая подстерегает прохожего на людной улице. Всё это было мне в новинку, настолько я отвык заботиться о своей жизни. Но теперь, терзаясь несчастьем, я уже не думал об опасности и, скользя, начал спускаться по покрытому сажей склону громадной огненной воронки к озеру расплавленной земли – расплавленной, как тогда, когда она впервые вылетела из утробы солнца, от чьего пыла ей не удалось остыть даже за миллионы лет. И как когда-то апостол Пётр шёл по вздымающимся волнам навстречу Слову Жизни, так и я шёл сейчас по неподвижному озеру огня, не заботясь ни о жизни, ни о смерти. Мысль о том, что та, кого я люблю, увянет и состарится, начисто иссушила мне сердце: ведь тогда само её присутствие заставит меня позабыть ту красоту, которая когда-то радовала мне душу!

Я прошёл чуть больше мили и уже миновал середину озера, как вдруг мне подумалось, что жена моя встревожится, не зная, куда я ушёл, кинется меня искать – вдруг с ней что-нибудь случится, и я потеряю свою розу ещё до того, как осыплются её лепестки? Я развернулся и торопливо зашагал обратно по пышущей жаром чёрной корке, прошитой трещинами и швами багрового света. Я был почти на середине, когда увидел, что навстречу мне кто-то идёт, по следам, которые я оставил за собой, и уже в следующее мгновение узнал лёгкую походку своей любимой. Чёрный лёд ломался у неё под ногами, рдеющее марево освещало её лицо, прекрасное, как

у Божьего ангела, и сияние её любви было сильнее сияния подземного огня. Я крикнул ей, чтобы она не медлила, потому что подумал, что чем скорее она окажется рядом со мной, тем скорее будет в безопасности, потому что я лучше знал, как пройти по пылающему озеру. Сердце моё пело хвалебную песню женской любви, но думал я только о том, как любит меня моя женщина – ведь даже адское пламя не смогло удержать её от того, кто был достоин её любви! Из сердца песня поднялась к устам, но стоило мне произнести вслух первое слово, подобное багровому пузырьку из огненной бездны преисподней, как чёрная корка между нами страшно вздыбилась, и оттуда выплеснулся огромный бугор неистово красного, медленно кипящего и так же медленно струящегося и опадающего огня. Секунду или две полужидкий холм пузырился и булькал, потом опустился. Моей жены не было. Я опрометью кинулся в горящее озеро, и липкие, обжигающие волны не причиняли мне вреда. Я подхватил её на руки, вынырнул, выбрался на твёрдую поверхность, смахнул с глаз языки пламени – о ужас! Я прижимал к груди кусок тлеющего угля, выхваченный из горнила! Безумие овладело мною, я громко захохотал, и бесы преисподней, услышав, меня, захохотали мне в ответ.

– Ну что, дряхлая Старость! – воскликнул я! – Видишь, как ловко я перехитрил тебя? Что ты сможешь сделать вот с этим? – и я швырнул обугленное тело назад в озеро и снова бросился в насмешливо ухмыляющийся огонь. Но озеро семь раз выплюнуло меня из своих недр, и на седьмой раз я отвернулся от него, кинулся прочь из этой геенны, упал на склон горы, освещённый луною, – и проснулся лишённым рассудка.

– Ну что, дряхлая Старость! – воскликнул я, в благодарности повторяя то, что когда-то сказал в отчаянии. – Разве сильна ты разрушить её образ, который я храню в самых сокровенных глубинах своего сердца? Слава Богу, хотя бы это останется со мною навеки!

И с того часа я уже не верил, что умру, когда с меня совлечётся брненное тело. И если иногда я думаю об этом, то уже не стремлюсь, как прежде к небытию, а боюсь его. Ибо во мне проснулась великая надежда, что однажды Распятый всё-таки простит меня и в знак прощения позволит мне снова, но уже в мире и покое, взглянуть на лицо той, что любила меня. О великая, могущественная Любовь! Кто знает, каких высот совершенства ты можешь достичь в груди даже самой малой и низкой твари, следующей за Распятым!”

Глава 13. Мысли

Полварт закрыл рукопись, и какое-то время все молчали.

– Человек, написавший это, не мог быть полностью сумасшедшим, – сказал наконец Уингфорд.

– Должен признаться, что я прочёл наиболее яркие отрывки, хотя и не все, – откликнулся Полварт. – Ясно одно: в рамках воображаемой им действительности автор рассуждает вполне здраво – по крайней мере, столь же здраво, сколь рассуждал бы на его месте сам Вечный Жид.

– Можно мне посмотреть? – спросил священник

– Пожалуйста, – ответил Полварт, протягивая ему рукопись.

– А домой взять можно?

– Конечно.

– Я буду обращаться с ней очень осторожно. Там есть ещё свидетельства борьбы вашего брата с неверием?

– Да, кое-что там есть; ведь у таких людей настроения часто обладают над убеждениями. Иногда они могут верить, а иногда нет; только очень великий человек способен всегда подыматься выше своего настроения. Помню, там есть один отрывок, где он рассуждает о существовании Бога. Вы поймёте, о чём я говорю, когда дойдёте до него.

– Это настоящее сокровище, – проговорил священник, беря в руки манускрипт и оценивающе его разглядывая. В глубине души он думал о Леопольде и Хелен. Но пока он вот так рассматривал книгу, его самого рассматривали серые, лучистые глаза Рейчел. Быть может, её взгляд так светился от радости из-за того, что Уингфорд столь уважительно отозвался о книге – ведь она была написана рукой её отца! – но был в нём и некий медлительный вопрос, и неопишуемая дрожащая прозрачность, как у звёзд, мерцающих в чистом воздухе, загустевшем от тяжёлой, влажной росы, которая может заставить встревожиться любую мать. Ах, как горестно на земле женщинам, неприглядным внешне, ведь у многих из них под кривыми рёбрами бьётся прекрасное, переполненное любовью сердце!

Но как тогда можно говорить о горести? Неужели было бы лучше, будь их сердца столь же безобразными, как и наружность? И неужели Бог, пекущийся о малых птицах, позабудет о таких, как Рейчел? Конечно же нет! Только даже человек, неколебимо верующий в то, что от лица Божьего убежит всякая скорбь, что сеющие в слезах, непременно пожнут в радости, что смерть – это всего лишь туман, на время обволакивающий душу, и что любовь делается радостнее, когда не ищет своего, – даже тот, кто верит в это всем сердцем, может печалиться о страданиях чужого сердца, пусть временных; и даже тот, кто видит в смерти воскресение, может грустить в закатный час, напоминаящий ему об уходе любимого человека.

Вскоре Уингфолд попрощался и вышел, но свет пристального взгляда так и остался на лице Рейчел, и грустная полуулыбка витала над детскими пальчиками, в которых деловито мелькали вязальные спицы. Мануфактурщик ушёл вслед за священником, и Полварт поднялся к себе в комнату: он никогда не мог долго оставаться без молитвы. Как только Рейчел осталась одна, она опустила руки, закрыла глаза, и губы её беззвучно зашевелились, доверчиво и серьёзно. И если кто-то воистину преклонял ухо к этому маленькому домику, его обитатели были воистину блаженны. Если же нет, то, по крайней мере, у них было утешение милостивой, неумолимо приближающейся смерти. Только что если в глубинах преисподней есть ещё более глубокий ад? И разве до прихода медлительной Смерти любящее сердце способно вынести то бремя, которое возлагают на него глупые разговоры о Случайности или ещё более глупые разговоры о Судьбе? И всё же, я предпочёл бы тянуть на себе эту сокрушительную ношу и умереть среди друзей, мучительно прощаясь с ними навсегда, нежели, подобно Джорджу Баскому, шагать по жизни, помахивая лишь лёгким саквояжем довольства такой долей. Мир – это бестолковый хаос, обречённый на погибель, если никто не творил его и он действительно является беспомощной случайностью, которой уже никто не может помочь, – таким парником, где растут дети железной Необходимости. И есть ли проклятие хуже существования, единственное спасение от которого можно обрести в сомнительной смерти?

Мистер Дрю догнал Уингфолда, и они вместе пошли в Гластон.

– Правда, сегодня было замечательно? – спросил мануфактурщик.

– Воистину, Бог избрал немоцное мира, чтобы посрамить сильное, – отозвался священник. – Оказывается, дух здравого рассудка может говорить и через фантазии умалишённого. А как вы? Услышали какие-нибудь ответы на свои вопросы?

– Наверное, они там есть, – ответил Дрю, – да только я так увлёкся и самой историей, и её стилем, и тем, как мистер Полварт её читал, что напрочь позабыл, о чём думал, когда шёл к нему в гости.

Возле лавки они распрощались, и священник пошёл дальше.

Глава 14. Внутренняя борьба

Выло ещё не очень поздно, и он зашёл в особняк справиться про Леопольда. Хелен приняла его с обычной холодностью, которая отчасти служила ей защитой, потому что в присутствии священника ей всегда чудился некий упрёк, но которая, словно завеса, мешала ей увидеть подлинный характер Уингфорда и понять его. Она сказала, что Леопольду немного легче, и священник отправился домой размышляя, как было бы чудесно, если бы Бог забрал мальчика к Себе.

Хелен всё больше и больше притягивала его. Он не мог не восхищаться силой её характера, даже если эта сила растрчивалась впустую – или ещё хуже чем впустую; её преданность брату тоже была прекрасна, несмотря на портившие её пятна себялюбия. Её нравственные мерки были отнюдь не возвышенными, а духовная натура пока не проявлялась совсем. И всё же она удивительно выросла, особенно если вспомнить, какой она казалась раньше, до прихода забот и несчастья. Однажды вечером, выходя от Леопольда, Уингфорд услышал, как она поёт, остановился на лестнице послушать и изумился. Её голос уже не был безжизненным и скучным, как прежде, но, ничуть не утратив былой гибкости, звучал волнующе и прозрачно, и в нём слыша-

лось подлинное чувство. Его звуки разносились по дому, словно листья на крыльях шального западного ветра из сонета Шелли, и с этого момента желание священника помочь ей приняло новое направление, с каждым днём становясь всё сильнее и сильнее. Но поскольку проходили часы, дни и недели, а это желание никак не могло отыскать себе выход, оно превратилось в почти безнадежные, созерцательные размышления над лицом, обликом, сердцем и душой женщины, которой он так горячо хотел помочь, и вскоре он уже любил её, со страстью мужчины и состраданием пророка.

Он видел, что что-то должно было произойти в ней самой; может быть, ей нужна была какая-то спасительная встряска под маской несчастья и крушения? Должна была распахнуться какая-то дверь, или слететь крыша, или взорваться какая-то скала, чтобы свет и воздух могли свободно летать по обители её души – ведь без этого душе никогда не обрести той царственной статности, какой отличалась её хозяйка. Каким бы образом ни должна была свершиться эта перемена, он решил терпеливо ждать, не появится ли у него случая сослужить ей пусть самую убогую, самую незаметную службу, и ждал, безмолвно и сдержанно, чтобы ненароком не навредить ей самонадеянным словом, ещё более заморозив и без того запоздалые бутоны её весны. Ах, как ему хотелось оказаться рядом, когда её спящая душа, наконец-то начнёт просыпаться! И если бы, пробудившись, первым она увидела именно его! При этой мысли сердце его неизменно вздрагивало от упоительного предвосхищения, но тут же конфузливо сжималось от собственного бесстыдства. Нет, он не станет, он не посмеет даже смотреть в её сторону! Уингфорд обвинял и презирал себя за то, что земные побуждения и чувства смешались с бескорыстным и истинным стремлением помочь. И потом, разве она уже не избрала Баскома желанным другом своего сердца?

Только вот от сердца ли был её выбор? Ведь какое сердцам дело до общего неверия? Никакого. Однако в мире всё-таки бывают сердца, которых вполне может соединить общая вера в неведомого бога, и мысль о том, что Хелен, то приближавшаяся к границе между царством этого мира и Небесным Царством, то снова отступавшая от неё, может удалиться в пустыню неверия и сознательного безбожия

с таким проводником, доставляла Уингфорду почти невыносимые мучения. Порой мысль о возможности – нет, даже вероятности такого исхода (ведь подобные несообразности то и дело становятся реальностью) – грозила разрушить всю ткань его веры, несмотря на все богословские и философские доводы, которые он мог привести в пользу противоположного. Ему казалось, что сама возможность такого союза опровергает существование Бога более всех иных доводов, вместе взятых. В такие минуты сердце его содрогалось до самых глубин, и на какое-то время он затихал перед невидимым Богом или искал уединения – но не там, где светило солнце и журчала вода, а под сенью сосновой рощи, где свет казался приглушённым, а ветра почти не было. Там, где высокие зелёные купола взмывали вверх на сотнях стройных колонн, убегающие вдаль проходы, казалось, вели его в родовой дом теней, и его собственная душа тенью горя и страха бродила по сумрачным покоем угрюмого храма, он склонялся перед Извечным, собирая в кулак все свои силы, и мучительно, глубочайшим усилием воли, пытающейся обрести себя, выдавливал: «Не моя воля, но Твоя да будет!» Только после этого дух его распрямлялся и нёс свою ношу как крест, а не как могильную плиту.

Иногда он озадаченно спрашивал себя, с чего началась эта слабость (как он её называл) и как она успела приобрести над ним такую власть. Он не мог сказать, что сознательно приложил к этому руку, да, собственно, не знал ничего такого, против чего ему следовало бы бороться. Разве эта любовь не была плодом его естества – естества, которого он не создавал и которое было ему неподвластно, и источником которого был либо Бог, либо бессознательная Судьба? В последнем случае, как ему было подчинить сдержанному и самоотверженному рассудку безрассудное «я», порождённое нерассуждающим «Я», которое всё-таки было больше него – ведь случайные причуды этого «Я» и были источником его сильнейших чувств, ярчайшего напряжения мысли и высочайших и самых желанных идеалов. Если же, с другой стороны, он родился от Бога, то пусть Бог обо всём этом и позаботится: ведь то, что принадлежит Его естеству, не может быть дурным или незначительным в глазах Того, Кто создал человека по Своему образу и подобию. Только, к сожалению, образ этот так исковеркан, что

его воля может в любую минуту воспротивиться воле Бога! Так откуда же взялась эта его любовь: из Божьей воли или из воли человеческой? И неужели нельзя нести эту любовь по-Божьему, чтобы всё в ней было благочестиво и без греха? Он долго (и покамест тщетно) бился над этим вопросом и сам себе удивлялся, что всё это время не только не утратил способности проповедовать, но делал это честно и с радостью.

В своих метаниях Уингфорд как никогда чувствовал, что если Бога нет, то его душа – это всего лишь угляя, залатанная лодчонка, брошенная на волю неуправляемой и безжалостной стихии беспорядочной вселенной. Часто он очертя голову бросался в эту непроницаемую тьму, взывая к Богу, и неизменно выносил оттуда искру света, которой было довольно для того, чтобы поддержать в нём жизнь и заставить его вернуться к работе. А там, воскресенье за воскресеньем, на одном и том же месте сидела девушка, которую он (и отнюдь не мельком) раз десять видел на неделе, возле постели брата. Но только отсюда, с открытой уединённости кафедры, он осмеливался обратиться к ней с могучими словами, которые ему так хотелось излить прямо её страждущему сердцу. И там, воскресенье за воскресеньем, на лице, которое он любил, явственно отражалось внутреннее смятение сердца, которое он любил ещё больше; и сердце это покуда не ведало искупления! Ах если бы он мог хоть малым ветерком оживить его и пробудить в нём надежду! Всякий раз когда он поднимался на кафедру проповедовать, его душа переполнялась тем словом, которое он нёс людям. Это было не тайное послание для одного слушателя, но слово для исцеления народов; однако он говорил и для неё, и для всякого, кто готов был услышать и поверить, и потому говорил со свободой и достоинством пророка. Но когда он видел её вне церкви, то не осмеливался даже на мгновение задержать глаз на её лице и лишь украдкой срывал цветочек мимолётного взгляда, когда думал, что она не видит его. Однако она ловила на себе его взгляд куда чаще, он подозревал, а иногда, даже не видя, чувствовала его. И потом в поведении священника – в том, что он никогда не настаивал на своих правах и старался как можно менее вторгаться в пределы её личных мыслей и чувств; что он как будто старался подобрать полы своей оде-

жды, чтобы никому не помешать своим присутствием, но в то же самое время просто и преданно служил её брату, ни единым взглядом не ища её одобрения, – было что-то такое, чего благородная сторона её души не могла не заметить и не попытаться понять.

Для Уингфорда это было время тяжких борений. Со всех сторон на него напирали сомнения и страхи, и ему чудилось, что под этим напором крепкий дом его жизни вот-вот развалится. Но он продолжал держаться – и жил, и, сам того не зная, возрастал, хотя ему казалось, что он всего лишь пытается выжить. Пожалуй, именно тогда он написал стихи, которые позднее я нашёл среди его бумаг.

*За свой порог я выбежал, готов
Исполнить то, что мне велел Отец,
Но тотчас в буйном вихре праздных слов
Заглохли песни преданных сердец.
Я в страхе оглянулся, но меня
Свалили с ног удушливой волной
Тьмы мерзких чудиц, стаи воронья,
Свет застилая чёрной пеленой.
Где ж дом Его? Где стены и очаг?
Неужто мне и впрямь приснился он?
Хлеб послушанья, свет небесных благ,
Покой и мир – всё скрылось, словно сон!
...
Тружусь я, тьмой и скорбью окружён,
Вдруг – солнца луч! И я – у ног Отца,
Где радость и надежда без конца!*

Глава 15. На лужайке

Леопольд начал покашливать, и лихорадка не отпускала его. Каждый день после обеда щёки его неизменно окрашивались яркими пятнами румянца, а в глазах появлялся жёсткий блеск. В такие минуты он начинал говорить, беспрестанно и горячно, и говорил, в основном, о будущем суде. Для Хелен всё это было крайне мучительно, и она призналась себе, что, не будь рядом Уингфолда, её нервы просто не выдержали бы постоянного напряжения. Каждый раз, когда в доме появлялся мистер Хукер, Леопольд настаивал на том, чтобы судья зашёл к нему, и уговаривал того не позволять жалости к его физической слабости стоять на пути сурового лекарства, которое закон предписывал его моральному состоянию. Однако теперь, даже начнись судебные процедуры немедленно, болезнь вполне могла опередить закон в борьбе за жизнь Леопольда. Фабер с самого начала сомневался, что Лингард выздоровеет от последствий долгого обморока на кладбище, и вскоре всем стало ясно, что у мальчика сильно поражены лёгкие. Он кашлял всё сильнее и начал худеть, хотя, казалось бы, худеть ему было уже некуда.

Однажды Фабер признался Уингфолду, что в борьбе с болезнью Леопольда ему сильно мешает то, что он сражается с врагом, о котором ничего не знает.

– Паренёк явно несчастен, – сказал он, – и если это продлится ещё хотя бы месяц, я буду вынужден признать себя побеждённым. У него много жизненных сил, но они почти на исходе, и если всё останется без изменений, к тому времени у него разовьётся скоротечная чахотка.

– Что ж, делайте для него всё, что только можно, – ответил Уингфолд, но в глубине души, искренне привязанной к мальчику, ему не хотелось, чтобы усилия врача увенчались успехом. Сам Леопольд, казалось, не подозревал серьёзности своей болезни, и священник нередко думал о том, что сделал бы Лингард, если бы узнал, что умирает. Стал бы он настаивать на том, чтобы довести до конца начатое и поскорее назначить день суда? Леопольд сам рассказал Уингфолду

о встрече с мировым судьёй и о своём нынешнем положении, как он его понимал, но было видно, что долгая неопределённость начала вызывать у него тревогу, и временами он даже сомневался, в самом ли деле всё было так, как ему казалось.

Уингфорд прекрасно понимал, что произошло. Однажды ему случилось быть в доме во время визита мистера Хукера, и по поведению судьи он понял, из каких побуждений действует добросердечный старик. Он также подозревал, какую роль сыграла во всём этом деле изобретательная доброта Джорджа Баскома. Однако он решил, что вмешиваться теперь не стоит: Леопольд сделал всё, чего требовал от него долг, и сейчас был настолько слаб, что уже не мог ни предложить какие-то дальнейшие действия, ни настоять на их исполнении. Даже если сам он и был в состоянии сделать что-то ещё, противостоять воле окружающих ему было ему совершенно не по силам.

Фабер полагал, что его следует отправить его за границу, куда-нибудь на юг, но Леопольд и слышать об этом не хотел, и Хелен, зная, на какие крайности это может его подтолкнуть, не стала настаивать. Да и о каком путешествии могла идти речь? И потом, уже похолодало, а Леопольд, как всякое живое существо, был чувствителен к переменам погоды.

Однако недели через две, хотя осень была уже в самом разгаре, вдруг снова стало тепло. Леопольд заметно ожил и стал так быстро выздоравливать, что его даже начали выносить в сад. Он сидел в кресле на лужайке, укутанный в меховую накидку, с бараньим тулупом в ногах, и, несмотря на сердечную боль, несмотря на горе, которое никто не мог с ним разделить, несмотря на приступы беспомощной ревности, удерживаемые лишь покаянными угрызениями совести и мыслями о том, что после смерти он непременно отыщет её, падёт к её ногам, скажет ей всю правду и, если можно, навеки станет её рабом – а если нельзя, то будет вечно бродить по вселенной, тщетно ища покоя, если только ему не найдётся какого-то спасения на лоне Бога – несмотря на все эти мысли и терзания, солнечный свет всё равно приносил радость его глазам, хоть и пронзал ему душу, и лёгкое дыхание ветра приятно обвевало ему лицо, хоть он и проклинал себя за то,

испытывает от этого удовольствие. Поздние цветы скорбно поглядывали на него, и Леопольд не чурался их, не отводил взгляда и не мешал слезам застилать его глаза и переливаться через край. Первые муки от встречи жизни и смерти остались позади, и жизнь медленно покидала его. Как много может дать человеку даже маленькая радость! Только где ему было найти радость, которая рассеяла бы окутавшую его тьму даже на одно прекрасное и незабываемое мгновение!

Как-то раз жарким днём Уингфолд лежал на траве рядом с Леопольдом. Оба они молчали. Священник всё больше и больше воздерживался от слов, не продиктованных ему сердцем. Он не раз говорил, что не способен судить о том, какие речи придется вовремя, а какие не вовремя, но даже валаамова ослица прекрасно поняла, когда ей следовало открыть рот и заговорить. Вот и сейчас он молча сорвал бледно-красный цветок и протянул его Леопольду. Тот посмотрел на соцветие и неожиданно разрыдался. Священник поспешно вскочил.

– Какой я всё-таки бессердечный! – всхлипывал Леопольд. – Как я могу радоваться этой детской, безгрешной чистоте!?

– Это всего лишь доказывает, что даже в такой скромной красоте есть что-то такое, что уходит корнями глубже, чем ваша боль, – ответил Уингфолд, бережно кладя ладонь ему на плечо. – Что повсюду, на земле и в воздухе, куда бы проникал наш взгляд и слух, обитает сила, вечно являющаяся нам в знамениях – то в маргаритке, то в дуновении ветерка, то в облаке, то в закатном зареве, – которая держит непрерывную и животворную связь с тёмным и безмолвным миром внутри нас; и что тот же Бог, Который обитает в нас, обитает и вокруг нас. Внутри нас – Дух, вокруг – Слово; они вечно стремятся встретиться в нас, и когда это происходит, внешнее знамение и внутреннее желание соединяются в свете, и человек уже не ходит во тьме, но знает, куда идёт.

Тут священник наклонился над Леопольдом и взглянул ему в лицо. Но бедный мальчик не слышал ни одного его слова. Что-то в голосе Уингфолда успокоило его, но стоило тому замолчать, как приступ горя охватил его с новой силой. Он заломил руки и с тоскующим выражением безнадежной мольбы взглянул на голубое небо,

побледневшее от страха перед грядущими холодами, несмотря на то, что воздух был ещё совсем тёплым и душистым.

– Ах, если бы Бог только смиловался и сделал так, будто меня никогда не было, и мрак покрыл то место, где я когда-то существовал! Вот это была бы настоящая благодать! Тогда я жалел бы только об одном: что от меня не осталось хотя бы крошечного, призрачного ветерка хвалы, вечно воздающего Ему благодарение за то, что меня уже нет!.. Да только моё преступление всё равно никуда не денется. Ведь я не смею просить, чтобы Он отнял жизнь и у неё; это было бы ещё худшим злодейством. Как это всё-таки ужасно – жить! Даже если меня не станет, ничто не может стереть с лица земли моё преступление или как-то загладить его!

– Это верно, – согласился священник. – Ничто не может очистить нас и землю от греха – ничто, кроме огня Божьей любви. Но, по-моему, вы позабыли о Том, Кто прекрасно знал, за что берётся, когда взялся спасти мир. Разве вы смогли бы, как Он, поместить на небо солнце с его безудержными огненными бурями и миллионами сияющих лучей, пронизывающих бескрайнее пространство? Так неужели вы можете сказать, что есть любовь Божья и что она способна сделать для вас, даже если она всего лишь углубит вашу любовь, наполнив её собой? Мало кто взывает к Отцу из глубин такой нужды, как вы; мало кто может сложить к Его ногам такое бремя греха и беспомощности и подарить такую радость великому Пастырю, Который не может успокоиться, пока даже одна единственная овца бродит вдали от стада и один единственный блудный сын обитает в притонах зла и расточительства. Так воззовите же к Нему, мой милый Леопольд. Взывайте к Нему слова и снова, ибо Он сам сказал, что нам должно всегда молиться и не унывать, потому что Бог слышит нас и непременно ответит, даже если нам кажется, что Он медлит. Я думаю, что однажды мы поймём, что никто – ни поэт с самым широким размахом и самым дерзновенным воображением, ни пророк, парящий выше всех в своём ревностном стремлении оправдать Божьи пути перед людьми, ни малое дитя, когда оно ближе всего к своему ангелу, всегда видящему лик Христова Отца, – не видел и не мог увидеть всего величия Его щедрости к Своим чадам. Ведь, если Евангелие говорит нам правду, разве Он

не допустил, чтобы страшнейшая мука наводнила самые основания души Его возлюбленного Сына, когда Тот отправился на поиски блудного сына, этого несчастного осла, с глупой ухмылкой восседающего среди развратных женщин?

Леопольд ничего не ответил, и мрачная тень ещё довольно долго осеняла его лицо, но в конце концов она начала понемногу рассеиваться, пока наконец сквозь тучу не прорвался лучик слабой, дрожащей улыбки, и из его глаз не брызнули чистые слёзы облегчения и успокоения.

Нет, он вовсе не отвернулся от надежды обрести покой в Сыне Человеческом. Но всякий, кто хоть немного знаком с движениями человеческого духа, знает, что в его жизни есть свои дни, свои времена и сроки, сменяющие друг друга, своё утро и своя ночь – и даже непроглядная полночь. В ней есть свои вёсны и зимы, свои грозы и ясные дни, прохладная роса и хлёсткий ледяной град, холодные луны и пророческие звёзды, бледные сумерки горьких воспоминаний и золотые проблески лучезарной надежды. Все они перемешались и вытеснили друг друга в погибшем мире Леопольда, где на время снова восторжествовал могучий хаос. Однако теперь над водами этого мира носился куда более могучий ветер.

После многих размышлений священник понял, что не может просто пересадить в душу своего юного друга те цветы истины, которые радовали сад его собственного сердца. Ему нужно было бросить туда семена этих цветов, а этими семенами было познание истинного Иисуса Христа. И теперь, когда дикий зверь отчаяния выпустил душу Леопольда из когтей и отступил, словно выжидая своего часа, Уингфорд наконец-то получил возможность это сделать – и вскоре увидел, что ничто другое не успокаивало и не радовало мальчика так, как рассказы об Иисусе. Сначала Уингфорд пробовал читать Леопольду стихи, выискивая самые лучшие из тех, где любящие души изливают свою любовь к Человеку всех человеков, однако и тут чужие цветы никак не желали приживаться. В конце концов, сам не зная как, он нашёл или, скорее, случайно открыл иной путь, который оказался самым подходящим: он просто размышлял вслух о том или ином месте из Евангелия (обычно о том, которое в тот момент более всего

занимало его мысли), как бы рассуждая с самим собой. Он лежал на траве рядом с креслом Леопольда, глядя в небо, и так ему думалось вслух лучше всего.

Иногда, но не часто Леопольд перебивал его, ненадолго превращая монолог в диалог, но даже тогда Уингфорд почти не смотрел на него, не желая тревожить Лингарда излишней мерой своего присутствия и окрашивать истину своей индивидуальностью более, чем было неизбежно. Он считал, что любая личность обладает для всех других особым характером и оттенком, и только в Иисусе есть та чистая и простая человечность, которую может полюбить каждый, немедленно и безоглядно. В своих мысленных блужданиях он ничего не избегал, обращал внимание на каждую сложность – неважно, получалось у него полностью понять её или нет, – вслух радовался, когда какое-то слово трогало его дух, и не скрывал разочарования, когда у него не получалось добраться до подлинного блага, достойного быть сутью этого кусочка Божьего откровения. Теперь он словно выпекал свои проповеди на солнце вместо того, чтобы сажать их в печь. Порой, когда замолчав он взглядывал на своего ученика, Леопольд крепко спал, иногда с улыбкой, иногда с ползущей по щеке слезой. Даровать спокойствие такому мятущемуся морю мог только Бог, и в такие минуты священник и сам иногда задрёмывал, но немедленно просыпаясь, стоило ему слышать шорох платья Хелен, скользящего по огненной дорожке туманных сигналов, посылаемых полураскрытыми маргаритками, и задевающего длинные головки подорожников. Он сразу же поднимался и отходил в сторону, а она наклонялась над братом, чтобы убедиться, что ему тепло и удобно. Былая нежность к брату уже вернулась к ней в полной силе, и присутствие Уингорда уже не вызывало в ней ревности.

Однажды она подошла к ним сзади, когда они ещё разговаривали. Траву только что скосили, да и Хелен была одета в амазонку и перекинула шлейф платья через руку, так что они не услышали милых звуков её приближения. Уингфорд как раз был посередине одного из своих беспорядочных монологов, в которых было немало безвидного, но ничего пустого.

– Честно признаться, – как раз говорил он, – я не знаю, что думать про ту женщину, которую привели к Иисусу в храме, и вообще не пойму, как эта история затесалась в тот уголок Евангелия от Иоанна, где ей вообще не место... Женщину привели не для того, чтобы исцелить или изгнать из неё беса, а для того, чтобы осудить её. Только они не на того напали. Думаю, они всё равно не решились бы закидать её камнями по закону, как им хотелось, даже если бы Иисус осудил её. Должно быть, они просто надеялись хитростью заставить Того, Кто назывался другом грешников, сказать что-то против закона... Но пока мне интересно другое: как эта история здесь оказалась – то есть именно здесь, между седьмой и восьмой главами? Её явно вставили позднее, и двенадцатый стих (по-моему, двенадцатый) должен следовать сразу за пятьдесят вторым. Если я не ошибаюсь, из трёх древнейших манускриптов она есть только в одном, Александрийском, а он из этих трёх как раз был написан позднее всех. Помню, я как-то подумал, что, может быть, этим поступком Господь сказал: «Я есмь свет миру» до того, как произнести эти слова вслух. Только эти Его слова вполне логично следуют и за разговором о живой воде... Да нет, мне вполне понятно, почему это место могло показаться подходящим какому-нибудь смелому переписчику, задумавшему раз и навсегда решить, куда поместить эту историю. Я всё думаю: может, Иоанн, вспомнил и рассказал её уже потом, после того, как продиктовал всё остальное? Или её хорошо знали все евангелисты, только ни один из них ещё не успел в достаточной мере исполниться духом Друга грешников, чтобы отважиться записать её и выставить на всеобщее обозрение?

Но это не очень важно, потому что история явно подлинная. Подумать только! – чтобы именно она, история о милосерднейшей праведности, блаженной сиротой скиталась по миру буквы, словно серая голубка обетования, которой негде приклонить голову! Чтобы из всех именно эта история оказалась изгоем и бродягой – но каким желанным и дорогим! Я слышал, что некоторые манускрипты приютили её в конце Евангелия от Луки. Только это и правда неважно; главное, чтобы в неё можно было верить, а мне кажется, что она просто не может не быть правдивой: уж очень всё это на Него похоже! И даже

если этот рассказ так и будет бесприютно бродить по Евангелиям, не отыскав себе пристанища, в этом нет ничего страшного, если найдутся сердца, где он сможет свить себе гнездо и вывести птенцов.

А может, эту историю рассказала сама женщина, и кто-то ей поверил, а кто-то нет, как самарянке у колодца? Ах, какие взгляды скрестились на ней в тот день! Свирепый град презрения от фарисеев – и свет вечного солнца от Христа!.. На днях в одном старом миракле⁴⁹ я как раз читал, что каждый из тех, кто смотрел на Иисуса, писавшего пальцем на песке, вдруг подумал, что Тот записывает все его грехи, и страшно перепугался, как бы стоящие рядом не узнали обо всех его прегрешениях... И всё же, как бережно Он обходился даже с теми, для кого Ему приходилось быть обоюдоострым мечом! И как бережно поступил с той, кого защитил от людской грубости и греха! «Пусть тот из вас, кто без греха, бросит первый камень!» И грешники ушли, а за ними и женщина – чтобы более не грешить. И ни одного упрёка! Ни одного слова, которое разбудило бы в сердце огненных змей! Только одна просьба: больше так не делай. Мне кажется, что эта женщина уже никогда более не прелюбодействовала. А вы как думаете, Леопольд?

Как раз на этих его словах Хелен подошла сзади к креслу брата. Священник лежал на траве, и ни он, ни Леопольд не заметили её.

⁴⁹ Миракль - (франц. miracle, от лат. miraculum - чудо), жанр средневековой религиозной драмы, разновидность или составная часть мистерии. Основу его сюжета составляет чудо, совершенное Девой Марией или святыми, он непременно носит назидательный характер и изложен в стихотворной форме.

Глава 16. Как Иисус говорил с женщинами

– Но тогда почему Он совсем не так милосердно поступал с хорошими женщинами? – просил Леопольд.

– Почему вы так решили? – удивлённо откликнулся священник.

– А помните, как Он ответил собственной матери, когда в Кане на свадьбе кончилось вино? «Что Мне до тебя, женщина!⁵⁰»

– Тут нам, пожалуй, следует обратиться к греческому оригиналу, – ответил Уингфорд. – Наши переводы не совершенны. Должно быть, она хотела похвастаться всем, какой Он необыкновенный, а Он подумал, что она совсем не понимает, зачем Он пришёл в мир. Её мысли были настолько не похожи на Его мысли, что Он сказал: «Что у нас общего!?» Это было горькое стенание Бога о том, как отдалился от Него сотворённый Им человек. Может быть, Он подумал: «Как же ты тогда перенесёшь всю жуткую правду, когда она совершится?» Но при этом Он смотрел на неё, как всякий добрый сын должен смотреть на мать, и она не прочла в Его глазах упрёка, потому что немедленно, даже не усомнившись в том, что Он исполнит её желание, велела слугам делать всё, что Он скажет.

– Надеюсь, это и в самом деле было так, – сказал Леопольд, – потому что хочу доверять Ему до конца. Но тогда что вы скажете о той женщине, которая пришла просить у Него исцеления для дочери? Разве это было не жестоко – говорить ей про псов, поедающих хлеб детей?

– Нельзя судить о слове, пока не поймёшь породивший его дух. Позвольте, я задам вам один вопрос: что вы считаете величайшим доказательством искренней дружбы?

– Ну, это слишком сложный вопрос. На него сразу не ответишь.

– Может, я не прав, но мне кажется, что величайшим плодом дружбы, по крайней мере, со стороны старшего друга, будет разрешение, а ещё лучше – призыв разделить его страдания. И обратившись

50 В английском переводе Евангелия (Макдональд имеет в виду перевод короля Иакова, сделанный в 1611 г.) эти слова Христа действительно переданы так: «Woman, what have I to do with thee?» т.е. «Женщина, что Мне до тебя?» или «Женщина, что у Меня общего с тобой?» Русский Синодальный перевод верно и точно следует греческому оригиналу: «Что Мне и тебе, Жено?», то есть «Какое нам с тобой до этого дело?»

со столь трудным словом к несчастной сиропиникиянке, Господь оказал ей великую честь. В тот миг Он специально повёл себя с ней, как еврей с язычником, чтобы ради всего мира иудеев и язычников открыть Своим ученикам-евреям, какого они духа, и показать, каких чудесных людей они презирают в своей гордыне избранности. Он позволил ей пострадать вместе с Собой ради спасения мира. На минуту облако осенило их обоих, но какой дивной славой просияли в её сердце Его следующие слова! Он говорил с ней так, будто её собственная вера протянула руку к Небесам и взяла оттуда то, чего искала... Признаюсь, – помолчав, продолжал Уингфорд, – что в своё время эти отрывки тоже тревожили меня. Только сдаётся мне, что ни одна Божья истина не даст нам покоя, покуда не станет для нас силой и светом, открыв свою истинную сущность сердцу, доросшего до её осознания. Это и есть первые признаки грядущего понимания и радости: беспокойство и вопрос.

А вот, кстати, ещё один отрывок. Хоть он и очень не сильно меня смущает, всё равно я никак не могу понять его до конца. Когда Мария Магдалина приняла Хозяина Смерти за садовника – садовника в саду могил! если подумать, она не очень ошиблась, верно?... И вообще, какая прелесть: принять Иисуса за садовника! Как всё-таки святое и смиренное, святое и повседневное встречаются на каждом шагу! Только послушайте их разговор в то утро, которое для Иисуса уже стало утром вечного, бескрайнего мира, но вокруг Марии всё ещё вились тени нашей тесной жизни. Я читал его как раз сегодня, так что могу пересказать слово в слово. «Жена! что ты плачешь? кого ищешь?» – спросил Он. – «Господин! если ты вынес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его», – ответила она. – «Мария!» – позвал Он её. – «Учитель!» – узнала Его она. – «Не прикасайся ко Мне, – сказал Он, – ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему».

И знаете, чего я никак не могу понять? Почему Он сказал: «Не прикасайся ко Мне». Не может быть, чтобы Его новое тело воскресения боялось оскверниться от прикосновения к той, что ещё пребывала в старых одеждах человечества. Но может быть, это прикосновение

было опасно для неё? Может, в Его новом небесном облачении было что-то такое, что могло повредить ветхой хижине её тела? Мне самому трудно в такое поверить, хотя кто знает? может, оно и так. Однако нам нужно вспомнить, что сказал об этом Сам Господь; только часто крохотные соединительные слова понять бывает труднее всего. Что означает это Его «ибо»? «Не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему». Что это значит? «Сначала Я должен предстать перед Отцом; Он должен первым прикоснуться к телу, нововоскресшему из могилы; прежде всего Мне нужно пойти домой»? Ребёнок всегда прежде всего бежит с поцелуем к матери, а уже потом обнимает сестёр и братьев; так, может, здесь Иисус говорит о чём-то подобном? Может, вся Его радость была настолько заключена в Отце, что даже человеческое тело, навеки спасённое Им от смерти, Он просто должен был сначала принести домой и показать Отцу?

Но в этом объяснении столько неувязок! И потом, даже будь оно верным, оно способно повергнуть в шок любое сердце, в котором пока не поселилась воистину детская любовь. Ведь разве Бог всё это время не оставался с Иисусом – и так близко, как только Бог может подойти к Своему вечному Сыну, пребывая в Нём, будучи едино с Ним? Так как же Иисус мог стать ближе к Отцу, отправившись на Небеса? Каким тогда должно быть это место, этот царский двор Вечного, Нетленного, Незримого? И всё-таки, если Он является источником времени и пространства, хотя Сам им неподвластен; если Его Сын сумел воплотиться и надеть на Себя живое, гибкое, чувствительное, непостоянное, постепенно ветшающее одеяние человеческой плоти; если, как говорит Но-валис, Бог способен стать любым из Своих творений – то, быть может, у Бога действительно есть какая-то главная обитель, даже связанная с временем, пространством и чувствами?..

Нет, всё равно мне это непонятно. Тогда Иисус стоял на границе двух миров – или, вернее, на краю великого мира, вмещающего в себя мир поменьше... Право, я чувствую себя малолетним малышом; мне не хватает слов даже на то, чтобы уловить свои мысли, не то что их выразить!.. Этот мир кажется нам естественным и простым; да таков он и есть, прекрасно подогнанный под наши нужды и разумение. Но есть в нас что-то не от мира сего, что, как мне кажется, держит тайную

связь с каждой звездой – или, вернее, с тем уголком Божьего сердца, откуда родились все звёзды, столь разные по характеру, цвету и местоположению, по своему движению и сиянию. И этой частичке нашего существа мир кажется таким странным, таким неестественным и неудобным, что мы ищем дом, которые был бы ещё роднее, ещё домашнее.

В конечном итоге, нам будет мало любого дома, кроме дома Божьего сердца. Мне думается, что в то утро Иисус, с одной стороны, заглядывал в ту глубинную жизнь, где все познавшие Его однажды обретут свой долгожданный дом, а с другой стороны, смотрел на пределы их нынешней жизни, которую они боятся оставить из-за её привычности и собственного маловерия.

Но нам не нужно бояться, что новый мир повредит телу или сердцу; напротив, он будет куда ближе и приятнее нашей глубинной сущности – точно так же, как Иисус кажется нам ближе и дороже всех, потому что Он один подлинно является человеком. В Нём заключено всё, что мы можем любить и искать, и Он стоит у источника всякой любви и всякой жажды. «В доме Отца Моего обителей много», – сказал Он. Материя, время, пространство – всё принадлежит Богу, и что бы потом ни стало с нашими теориями, что бы Он ни сделал со временем, пространством и тем, что мы называем материей, Его дела непременно будут истинными, как в теории, так и наяву. Но я что-то отвлёкся...

Да, Уингфорд действительно отвлёкся, но без этих вольных блужданий по дорогам мысли он не мог бы говорить со своим учеником так свободно и правдиво, как ему хотелось говорить о тех дивных истинах, которые он видел.

– Интересно, а где сейчас раскаявшийся разбойник? – сказал Леопольд.

– Да, тут тоже не всё просто. Здесь нам снова приходится иметь дело со временем и пространством – вернее, с тем, как они соотносятся с небесной реальностью. Ещё в пятницу этот самый разбойник должен был оказаться с Иисусом в раю, а в воскресенье Иисус сказал, что ещё не успел побывать у Отца. Кто-то скажет, что я слишком любопытен и слишком буквально всё воспринимаю: что общего у пятницы

и воскресенья с Раем и Божьим Царством? Только слова эти не должны утратить свой смысл ни в том, ни в другом мире: ведь на самом деле мир один. По крайней мере, произнося их, Иисус думал и имел в виду что-то совершенно конкретное, и потому нет ничего дурного в попытках понять, что они означают, даже если мы ищем ответа на ощупь, вслепую. Такие смиренные вопросы никому не принесут вреда, даже если перед лицом фактов окажутся глупыми и совсем не теми, которые нужно было бы задать, как вопросы малыша, пытающегося понять непознанный пока мир.

Но вернёмся к Марии Магдалине. Иисус наверняка произнёс эти слова: «Не прикасайся ко Мне». Это явно не чужая выдумка. Поэтому, это слишком жёсткие и трудные слова, чтобы их придумали и вставили сюда люди. А если это так, значит, здесь содержится какая-то глубинная и благая истина, которую мы пока не понимаем. Можно сказать одно: это прикосновение не могло ей повредить. Ведь что за этим последовало? Когда Он сказал: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я ещё не восшёл к Отцу Моему», она, должно быть, подумала: «Ну конечно, теперь Ты уйдёшь к Отцу и оставишь нас навсегда». Но Он продолжил: «Иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему». Чего ещё ей было желать после этого? Вы только подумайте: Иисус, в Ком, со всем Его знанием и всеми Его страданиями, было совершенное, ликующее благоволение великого Сердца, называет Своего Отца и нашим Отцом тоже. Он делится со Своими братьями самой главной, самой глубокой, самой дорогой и самой сокровенной радостью, которая становится радостью и для них: Он делится с нами Своим вечным Отцом, совершенным и святым Богом. И что бы ни означали Его слова о том, что Он не успел взойти к Отцу, мы с изумлением и восторгом видим, что задержала Его именно любовь к Марии Магдалине, матери и братьям, даже если по какой-то причине, совершенной в истине и милосердии, Он не позволил Марии к Себе прикоснуться. Он не мог отправиться к Отцу, не утешив их. И как бы ни восприняла Мария Его слова «Не прикасайся ко Мне», они явно не обидели её.

А вот что только что пришло мне в голову: что если Он сказал всё это для того, чтобы взять всю безудержность её страстного ликования – ведь после такого чуда она наверняка стала бы ещё более тянуться к Его зримому присутствию, и новая разлука опять повергла бы её в смертные муки! – и повернуть поток этого восторга в иное, куда более широкое и вечно разрастающееся русло радости от Его непреходящего присутствия в её глубинном человеке, от тайного внутреннего общения и единства Его сердца с сердцем с каждого чада Его Отца? Ведь мы так слабы, уколобы и себялюбивы, что даже в Иисусе телесное присутствие может заслонить от нас духовную близость, хотя она (пусть мы крайне редко это понимаем) всегда лучше, дороже и прекраснее и вдесятеро реальнее любого зримого образа, который нам однажды, может быть, будет позволено увидеть.

И всё таки, разве какая-то женщина могла удержаться и не пасть всем своим сердцем и душой к ногам столь смиренного величия, столь ласкового могущества, столь самоотверженного совершенства?! Мне кажется, что перед Ним не склоняются лишь те, кто пока не видел Его. В Евангелии нет ни одной женщины, которая воспротивилась бы Ему, – кроме Его собственной матери, когда она подумала, что Он сбился с пути и забыл свою высокую миссию. Исключительная любовь к Небесному Отцу и земным братьям, преломленная в Его сознательной индивидуальности, непрестанно изливалась на людские сердца освежающей влагой. Он сошёл в мир как ливень на свежескошенную траву, как весенний дождь, напоющий землю. Не может быть, чтобы хоть одна женщина, хоть один мужчина увидел Его таким, какой Он есть на самом деле, и не преклонился перед Ним!

Хелен повернулась и неслышно пошла назад, к дому. Никто так и не заметил её присутствия.

Глава 17. Освобождение

Итак, кроме нежной заботы сестры под внимательным присмотром мистера Фабера, верившего в целительную силу хорошего ухода даже больше, чем в лекарства, у Леопольда была теперь и братская дружба священника. Всё время, которое Уингфорд мог по совести урвать от исполнения своих обычных обязанностей, он посвящал тому, чтобы учить и утешать страдающего мальчика. Однако с каждой новой неделей становилось всё очевиднее, что никакие средства не помогут вырванным корешкам его существа заново прижиться в почве этого мира: Леопольд засыхал и увядал, как увядают цветы и трава, навсегда покидающие землю. Вскоре появились симптомы, которые нельзя было спутать ни с чем другим, и тогда сам Лингард понял, что умирает. Уингфорд побаивался, что открытие заставит Леопольда впасть в отчаяние из-за того, что теперь ему не удастся обрести того искупления, которое виделось ему в публичном признании. Но ему случилось быть рядом, в тот момент, когда Лингард вдруг осознал свою участь, и он сразу понял, что тревожился зря. Лицо Леопольда озарила радость, словно заря небесного утра, поднимавшаяся над горизонтом его внутреннего духа. Он посмотрел на своего друга, улыбнулся и проговорил:

– Ну вот, мой грех убил и меня тоже. Хоть какое-то утешение.

Священник ответил ему лишь взглядом.

– Говорят, что для Бога желания – это всё равно что действия, – продолжал Леопольд. – Как вы думаете, это правда?

– Конечно, если это подлинные, истинные желания.

– Я ведь действительно хотел, чтобы меня арестовали, – сказал Леопольд. – И даже не подозревал, что меня обманывают. Теперь-то я всё вижу, только что мне делать? Я стал такой слабый, что, пожалуй, умру по дороге.

Он попытался было подняться, но тут же бессильно упал в кресло.

– Ах, – вздохнул он, – как милосерден Бог, что позволяет мне умереть! Кто знает, что Он сделает для меня на той стороне! Кто может представить себе щедрость такого Бога, как Иисус!

Перед глазами Уингфорда вдруг возникла картина: он увидел, как Эммелина склоняется перед Леопольдом, прося у него прощения. Но он мудро решил промолчать. Тот, кто утешает грешника, должен основываться на Божьем прощении, а не на человеческом благодушии, уговаривающем виновного не судить о себе так строго. Теперь дело Уингфорда состояло в том, чтобы получше снарядить Леопольда для путешествия в тот мир, куда он уходил, и наполнить его суму лишь тем богатством, которое не растворится в водах великой реки: а именно, познанием Иисуса.

Когда Хелен (полная жизни, несмотря на все свои страдания) узнала, что её любимый брат умирает, её с ног до головы пронзила нестерпимая боль. Но в новом несчастье крылось и немалое утешение. Страх исчез, и вместе с горем на неё с удвоенной силой нахлынула любовь. Всегда такая сдержанная, невозмутимая, не поддающаяся приливам чувств, она подлетела к Леопольду, упала возле его постели и принялась так порывисто обнимать его, осыпая его лицо и руки поцелуями, что навстречу её слезам из груди мальчика неумолимо и беспощадно поднялись кровавые знамёна смерти. Уингфорд тщетно пытался успокоить её, хотя бы ради Леопольда. Сначала она яростно сопротивлялась, но неожиданный и печальный результат её горячности быстро привёл её в чувство, и она с усилием, но всё-таки взяла себя в руки.

В то же вечер Леопольд настоял на том, чтобы продиктовать Уингфорду своё чистосердечное признание, и затем подписался под ним, заставив священника и Хелен засвидетельствовать его подпись. Уингфорд забрал это признание себе, пообещав, что распорядится с ним так, как по размышлению подскажет ему долг и совесть.

После этого Леопольд успокоился. День ото дня он стремительно слабел и кашлял всё сильнее, но его светящиеся глаза и далёкий, хоть пока и не обращённый в прошлое взгляд говорили, что он исполнен надежды и ожидания. Конечно, время от времени на него нападали уныние, когда дракон прошлого выползал из своей пещеры и снова

начинал терзать его, но мысль о грядущем избавлении придавала ему силы.

– Вы действительно думаете, что я снова увижу Эммелину? – как-то спросил он у священника.

– Да, я очень на это надеюсь, – ответил его друг, – и, пожалуй, даже смог бы это доказать. Но по-моему, когда приходят сомнения насчёт чего-то такого, во что нам очень хотелось бы верить, нам лучше всего взять и укрыться в Боге, как ребёнок прячется от темноты в складках материнского платья.

– А знаете, что сказала бы тётя, если бы услышала всю эту историю? Что при такой смерти Эммелине невозможно обрести спасение!

– Сдаётся мне, что некоторые люди сильно удивятся, когда узнают, что на самом деле возможно, а что нет, – откликнулся Уингфорд. – Но неважно, что говорят люди. Что бы вас ни тревожило, лучше пойти и обратиться прямо к Спасителю человеков, воззвать к нашему верному Творцу, Его Отцу. Нашим недалёким сердцам трудно даже представить себе всё могущество Его истины и милосердия. Не бойтесь просить у Бога самого великого, мой дорогой мальчик, но просите в великом смирении и в великой надежде.

После таких слов Леопольд всегда с благодарностью поднимал глаза на Уингфорда и замолкал.

– Поскорее бы всё кончилось, – сказал он однажды.

– Да, поскорее бы, – отозвался священник. – Но не бойтесь. Я думаю, что Бог не даст вам ничего такого, чего вы не смогли бы вынести.

– Да я мог бы вынести куда больше, чем мне до сих пор досталось. И я ни за что не буду жаловаться. Ведь это всё равно, что вырвать свою жизнь из Его рук – а ведь кроме Него у меня нет никакой надежды!.. Скажите, господин Уингфорд, а сейчас вы больше в Нём уверены, чем раньше?

– По крайней мере, я гораздо твёрже на Него уповаю.

– А этого достаточно?

– Нет. Мне этого мало.

– Как бы мне хотелось вернуться и сообщить вам, что я жив и что воскресение на самом деле есть!

– Нет уж, пусть лучше всё будет как есть. В том, что пока мы не знаем этого точно, тоже есть своё благо, и мне не хочется его упускать.

– Но если я скажу вам, что нашёл Бога, у вас уже не будет никаких сомнений!

Уингфорд невольно улыбнулся: как будто уверения такой простой души могли добраться до корня сомнений, трепавших его беспокойный дух!

– Я думаю, что найду всё, чего ищу, в Иисусе Христе, – сказал он.

– Но ведь вы Его не видите!

– Может быть, есть кое-что получше, чем просто видеть, – ответил священник. – И потом я никуда не тороплюсь и вполне могу подождать. Даже если Он соблаговолит показать мне Себя, пусть это произойдёт именно в тот срок, который Он сочтёт наилучшим, и ни на миг раньше. Я не хочу избавляться от сомнений или трудностей ни на час раньше того времени, когда Он сам выведет меня из них.

Леопольд пристально посмотрел на него и замолчал.

Глава 18. На лугу

По мере того, как болезнь развивалась, стремление Леопольда к свежему воздуху и свободе превратилось в настоящую жажду. Одним жарким днём, когда палящий зной неумолимо превращал увядающие листья в «бурю желтизны и красноты и в пёстрый вихрь всех оттенков гнили⁵¹», ему вдруг захотелось, чтобы из сада, в котором царили самшиты и кипарисы, его вынесли на луг, где рыжая корова, собиравшая с мира своё молоко, помахивала хвостом с таким видом, будто всё было прекрасно. Леопольду понравились и луг, и корова, и ему захотелось побыть там вместе с нею.

– А это тебе не повредит? – спросила Хелен с беспокойством усердной медсестры.

51 Строчка из «Оды западному ветру» П. Б. Шелли, перевод Б. Пастернака.

– Да не всё ли равно? – откликнулся он. – Неужели жизнь так хороша, что нам стоит трястись над каждым лишним мгновением? Вот подожди, я умру, и тогда ты увидишь, что нет никакой разницы, была моя жизнь длиннее на неделю или всего на час. Подумать только, какой груз сразу упадёт с твоих плеч! Я даже завидую твоему облегчению. Тебе будет так же хорошо и свободно, как мне на том лугу!

Хелен поторопилась выполнить его желание. Для Леопольда смастерили нечто вроде носилок, и Уингфорд вместе с кучером понесли мальчика на луг. Услышав об этой экспедиции, миссис Рамшорн возмутилась и немедленно прибежала в сад, но все её протесты оказались напрасными, и тогда она присоединилась к маленькой процессии и пошла рядом с Хелен, как ещё одна плакальщица за похоронными дрогами. Они пересекли лужайку возле дома и по извилистой дорожке, окаймлённой молодыми кипарисами, сошли к низкой, утопленной в землю калитке, будто и правда спускались к гробнице. Никто не подумал заранее открыть дверь, и в земляном проходе было темно, словно в склепе. Хелен поспешно распахнула калитку пошире.

– Опустите меня на минутку, – попросил Леопольд. – Ну вот, я и в могиле. Какой приятный, сумрачный свет! Я готов лежать здесь в полудрёме хоть тысячу лет, только бы знать, что однажды я непременно проснусь!

Но золотой поток солнечного света рванулся к нему из распахнутой настежь калитки, и за ней, словно в раме, Леопольд увидел рыжую корову, помахаивающую хвостом.

– Вот я и воскрес! – воскликнул Леопольд. – Недолго же мне пришлось ждать, верно?

Он улыбнулся со страдающей безмятежностью, и друзья вынесли его на солнце и воздух. Его усадили в низком шезлонге посреди луга, возле небольшой рожицы, где вилась та самая тропинка, на которой Уингфорд впервые повстречался с Полвартами. Миссис Рамшорн обнаружила, что в причуде больного есть немало приятности и для здорового, и послала за своим вязаньем. Хелен уселась на овечью шкуру возле ног брата, а Уингфорд, вынув из кармана книгу, уселся под ближайшим деревом. Но читал он недолго. Вскоре к нему подошла Хелен.

– По-моему, он задрёмывает. Может, вы почитаете ему что-нибудь, чтобы он поскорее заснул?

– С удовольствием, – отозвался священник и, вернувшись к Леопольду вместе с ней, присел рядом с ним на траву.

– Можно я прочту вам одни стихи, которые случайно нашёл на днях? – спросил он.

– Пожалуйста, – полусонно отозвался тот.

Я не могу с уверенностью сказать, что стихи, которые прочёл Уингфорд, были из книги, которую он держал в руках. Он читал медленно, стараясь говорить как можно ровнее, мягче и ритмичнее.

*Кто слаб, кто беден – всяк к Тебе идёт,
Кто глух, иль нем, иль болен от потерь
В Тебе источник жизни обретёт,
Таким к Тебе всегда открыта дверь.
Ах, как народ счастливый ликовал,
Когда Ты их спасал от кабалы,
В вино осадок горький превращал,
Молитвы – в песни радостной хвалы!
Пускай сейчас расскажам про Тебя
Премудрые не верят до конца,
Есть многое на свете, знаю я,
Что и не снилось нашим мудрецам.
Но будь я нищ и болен, глух и слеп,
Я, право, не искал бы ничего –
Мне не нужны ни врач, ни кров, ни хлеб,
А только то, что дать трудней всего.
Коль Ты – Христос, мне в сердце загляни,
Наполненное болью и тоской,
Его Своим покоем осени,
Коль Ты и правда можешь дать покой.
Ты мог единым словом исцелить
И в смертном теле смерть перебороть,
Но если можешь душу воскресить,
Тогда, Иисус, Ты – подлинно Господь!*

Пока Уингфорд читал, Леопольд продолжал дремотно улыбаться, а когда священник замолчал, он уже крепко спал.

– А этому-то что здесь понадобилось? – вдруг промолвила миссис Рамшорн.

Уингфорд поднял голову и, увидев, кто к ним приближается, сказал:

– А-а, это мистер Полварт. Он служит привратником в Остерфильдском парке.

– Это я и сама прекрасно вижу. Его все знают.

– Но мало кто знает его по-настоящему, – возразил священник.

– Да, я слышала, что он престранная личность – и не только с виду!

– Он мой друг, – просто сказал Уингфорд. – Извините, я ненадолго отлучусь. Должно быть, он хочет узнать, как Леопольд.

– Не беспокойтесь, мистер Уингфорд. Право, я ничуть не против его общества, – произнесла миссис Рамшорн. – Я с удовольствием прииму любого вашего друга, как вы сообразовали назвать этого несчастного. Священникам приходится знаться с самыми разными людьми; более того, это их долг. Мой покойный супруг, декан Хейлстона, готов был остановиться и побеседовать с последним нищим.

Однако священник уже поднялся и пошёл навстречу Полварту. Вернувшись вместе с ним, он представил карлика миссис Рамшорн, которая приняла его с полной снисходительностью и кивнула ему с самым что ни на есть благосклонным видом. Хелен тоже слегка наклонила голову, но с совершенно иным чувством; правда, с каким именно, сказать было трудно. Отвернувшись от них, маленький привратник несколько мгновений смотрел на лицо спящего мальчика: он не видел Леопольда с того самого дня, когда Хелен выгнала его прочь. Да и сейчас она смотрела на него с негодованием, втайне возмущаясь той дерзостью, с какой он разглядывал её брата. Но Полварт не видел её взгляда. Неопишная нежность разлилась по его лицу, и губы его беззвучно зашевелились. «Господь жизни твоей да сохранит её для тебя, сын мой!» – прошептал он, постоял рядом с Леопольдом ещё несколько мгновений, а потом отошёл к Уингфорду, и они вместе медленно зашагали по лугу.

– Пожалуйста, садитесь, – величественно проронила миссис Рамшорн, не поднимая глаз от вязания и предлагая в качестве кресла широкий луг. Но они уже уселись, и вскоре между ними завязался негромкий разговор. Через какое-то время некоторые его фразы, по неразумию долетевшие до ушей миссис Рамшорн, привлекли её внимание. Она прислушалась, но никак не могла разобрать всё до конца.

– Нужен, по крайней мере, один епископ, – как раз говорил карлик, – или даже архиепископ и, желательно, человек бедный, вроде того деревенского священника, которого Чосер противопоставляет обычным церковникам – чтобы ездить из университета в университет, из колледжа в колледж, из школы в школу и убеждать непонятливых юношей, что в церкви нельзя служить ради положения в обществе, ради денег, ради учёности или влияния. Он должен отгонять их от служения подальше, как от святого места!

По каким-то своим соображениям миссис Рамшорн подумала, что он говорит о священниках-диссентерах из бедных и незнатных семей, желающих служить в церкви ради того, чтобы пробиться в первые круги общества. И поскольку сама она полагала, что церковные должности следует занимать лишь людям из приличных и состоятельных семей, способных поддержать достоинство священнического сана, она испытала немалое удовлетворение, услышав, как ей показалось, похожие воззрения из уст столь невежественного человека, за какого она принимала Полварта, несмотря на его весьма умное, проницательное высказывание. Посему она решила отнестись к нему ещё с большим покровительством.

– Я совершенно с вами согласна, – любезно произнесла она. – Таким людям не место в священных пределах церковного служения.

Её тон немного покоробил Полварта, и он немало удивился столь пылкому одобрению его мыслей о необходимых переменах в церковном порядке – вплоть до самого архиепископа! – которые он полуслушливо, но совершенно серьёзно высказал одному лишь Уингфорду. Ему совсем не хотелось продолжать с ней разговор: даже сама Обходительность не принуждает человека бросать свои жемчуга перед госпожой Шпилькой⁵². Однако не ответить он не мог.

52 Аллюзия на диалог Бенедикта и Беатриче из комедии Шекспира «Много шума из ничего».

– Да, – сказал он, – одним из величайших зол в церкви всегда было присутствие тех, кто не подходит для той работы, которую на него возлагают. Мне кажется, при отборе священников необходимо требовать, чтобы каждый из них сначала доказал, что способен гораздо лучше заработать себе на жизнь какой-нибудь другой профессией.

– В этом я, пожалуй, не могу с вами согласиться, – возразила миссис Рамшорн. – Круг профессий, доступных для джентльмена, слишком узок. И потом, возьмите, к примеру, адвокатское дело: вряд ли человек, привыкший к стилю и тону судебного разбирательства, сможет потом проповедовать с кафедры! Однако было бы неплохо взять за правило, чтобы у каждого, кто собирается принять сан, уже был доход, достаточный хотя бы для пропитания. С таким основанием, да ещё и с деньгами, причитающимися ему от прихода, он сразу сможет занять то положение, которое по праву должно принадлежать всякому служителю церкви.

– Я прежде всего думал о том жизненном опыте, который человек приобретает, зарабатывая себе на хлеб, – отозвался Полварт. – Стоя за прилавком или идя за плугом, или трудясь в мастерской он скорее сможет узнать людей, их трудности и их мысли...

– Боже правый! – воскликнула миссис Рамшорн. – Должно быть, здесь какое-то недоразумение! Неужели вы в самом деле имеете в виду церковь – священнический сан? Но если духовные должности станут доступны таким людям, о которых вы говорите, церковь сразу опустится до уровня католического священства!

– Скажите лучше, до уровня Джереми Тейлора, – отозвался Полварт, – который был сыном цирюльника. Или епископа Тиллотсона⁵³, который, по-моему, был сыном портного и всю жизнь оставался непримиримым диссентером. Его враги даже поговаривали, что он так и не принял крещения. Кстати, его рукоположили только в тридцать лет, а это как раз подтверждает то, что я только что говорил мистеру Уингфолду: я ни за что не стал бы рукополагать в священники ни одного человека, пока ему не исполнится сорок. К тому времени он должен понять, что влечёт его к церкви: истинное призвание или низменная надежда на лёгкий хлеб.

53 Джон Тиллотсон (John Tillotson, 1630-1694), с 1691 г. архиепископ Кентерберийский, отличался широкими взглядами на англиканскую церковь.

Больше ничего подобного миссис Рамшорн вынести просто не могла. Да этот злосчастный карлик – самый настоящий уравниватель, чартист⁵⁴, позитивист, презирающий все титулы и звания!

– Мистер... мистер... Простите, я не знаю вашего имени... Я попросила бы вас более не повторять подобных гнусностей в моём присутствии. Вы рассуждаете о том, о чём не имеете ни малейшего представления. Человек, не уважающий религию своей родной страны, способен на... на... на всё что угодно! Мистер Уингфорд, я просто поражена, что вы позволяете членам своего прихода выказывать такое неуважение к священническому сану! А вы, сэр, приписывая служителям церкви то, что вы называете низменными надеждами, забываете, Кто сказал, что всякий трудящийся достоин своей награды!

– Надеюсь, что это не так, сударыня. Я только говорил, что, хотя всякий трудящийся действительно достоин своей награды, не всякий трудящийся достоин такого труда!

Уингфорд с удивлённым интересом наблюдал за неожиданным поворотом разговора. Полварт же был явно недоволен собой за то, что позволил втянуть себя в столь пустую и бесполезную беседу.

– У моего друга действительно необычные взгляды, миссис Рамшорн, – заметил священник. – Но согласитесь, именно ваше одобрение заставило его продолжить свою мысль!

– Всегда лучше знать, что люди думают на самом деле, – изрекла миссис Рамшорн, делая вид, что намеренно пыталась Полварта с целью вывести его сомнительные воззрения. – Мой муж не раз сетовал на то, что мало кто из священников понимает, с какой завистью и противлением низшие сословия относятся и к ним самим, и к их учению. Истина всегда была противна низменным человеческим натурам.

Трудно сказать, что она имела в виду, говоря об Истине. Но даже если она не считала своего покойного декана её зримым воплощением, по крайней мере, эта Истина неизменно ассоциировалась у неё с кафедральным хором и дородным джентльменом в шёлковых чулках.

⁵⁴ Уравнители или «левеллеры» - радикальная политическая партия в период Английской революции 17 в. Во главе с Дж. Лилберном они выступали за демократическую республику, против ликвидации частной собственности. Чартизм - движение рабочих Великобритании в 30-50-х гг. 19 в., проходившее под лозунгом борьбы за проведение «Народной хартии» (People's Charter).

К счастью, тут как раз проснулся Леопольд и увидел неподалёку Полварта.

– Ах, мистер Полварт! – воскликнул он. – Как я рад вас видеть! Видите, мне уже недолго осталось. Скоро всё будет позади.

– Вижу, – ответил Полварт, подходя к нему и сжимая в обеих ладонях протянутую руку. – Я почти завидую вам в том, что ваши беды скоро закончатся.

– А вы уверены, что они действительно закончатся?

– Ну, я надеюсь, что некоторым из них – и притом, самым худшим – точно придёт конец. Я не могу быть уверенным ни в чём, кроме одного: любящим Бога всё содейвается ко благу.

– Но я пока не знаю, люблю ли я Бога.

– Даже если это Отец Иисуса Христа?

– Если Бог и правда такой, как Иисус, то, по-моему, Его просто нельзя не любить. Только знаете, что? Иногда мне становится страшно от того, что я встречу там своего отца. Он всегда был таким строгим. Что если он будет презирать меня?

– Если он уже успел научиться небесным путям, никогда! И потом, ваша мать тоже будет там, верно?

– Ах, да! Об этом я не подумал. Я её почти не помню.

– Как бы то ни было, там у вас будет Бог, и вам нужно положиться на Него. Он никогда не забудет о вас: иначе Он просто перестал бы быть Богом! Да позабудь Он о нас хоть на миг, и вся вселенная тут же почернела бы, исчезла и провалилась из царства закона и порядка в мрак и хаос.

– Но я совершил такой ужасный грех!

– Тем больше вам нужен Небесный Отец.

Тут миссис Рамшорн, сидевшая с другой стороны, подозвала к себе священника. Ей было немного стыдно за то, что она унизилась настолько, чтобы выйти из себя, и когда Уингфорд приблизился, она заговорила деланно беззаботным тоном:

– Скажите, этот ваш... друг... У него всё в порядке? – и она легонько постучала пальцем по своему кружевному чепцу.

– Гораздо больше, чем у большинства людей, – ответил Уингфорд. – Это совершенно исключительный человек.

– Он говорит так, будто знал лучшие времена. Хотя где он мог набраться этих отвратительных радикальных взглядов, я ума не приложу.

– Как вы видите, он весьма образованный человек.

– Вы что, хотите сказать, что он учился в Оксфорде или Кембридже?

– Нет. Его образование куда лучше чем то, что обычно приобретают там студенты. Он знает в десять раз больше, чем большинство тех, кто прошёл университетский курс.

– Ах вот вы о чём! Но это ни за что не считается; ведь у него нет диплома! К тому же, после Оксфорда он ни за что не стал бы придерживаться подобных воззрений. И потом, что за манеры?! Так отзываться о священниках в присутствии тех, кто неразрывно связал с церковью всю свою жизнь!

Она имела в виду не Уингфорда, а себя.

– Но конечно, – продолжала она, – у него и правда, должно быть, что-то не в порядке, если он так много знает и при этом занимает столь униженное положение. Всего лишь привратник – а так смело разглагольствует о епископах и ещё Бог знает о чём! Попомните моё слово: у всех калек непременно что-нибудь не так с головой. Не удивлюсь, если среди низших слоёв Гластона у него найдётся целый круг друзей и последователей. Он как раз из тех, кто сбивает с толку рабочие сословия. Понятно, что молодому человеку вроде вас любопытно изучить подобное явление. Но вам следует быть поосторожнее: вас могут неправильно понять. А молодому священнику следует особенно остерегаться неприятностей, если он хочет чего-то добиться в своей профессии... Обыкновенный сторож, подумать только!

– А разве сам Давид не мечтал стать таким же сторожем? – спросил священник.

– Мистер Уингфорд, я не потерплю подобных шуточек в своём присутствии! Псалмопевец желал пребывать во дворах Господних и у порога дома Божьего, а не стеречь ворота в парк при усадьбе английского дворянина!

«Значит, хотел быть не только сторожем, но и дворником», – подумал Уингфорд.

– Право, миссис Рамшорн, – сказал он вслух. – Этот неприглядный карлик – воистину самый мудрый человек из всех, кого я только знаю.

– Судя по вашим воззрениям, я ничуть этому не удивляюсь, – ответила вдова почтенного декана, надменно выпрямляясь в кресле.

Уингфорд понял, что аудиенция закончилась, и снова подошёл к Полварту, стоявшему возле Леопольда.

– Я хотел бы, чтобы в последний час вы оба были со мной, – сказал умирающий мальчик, поочерёдно глядя на двух своих друзей.

– Если вы скажете об этом сестре, она наверняка позволит нам прийти, – ответил священник.

– Это будет всё равно, что попрощаться возле пирса, в одиночку оттолкнуться от берега – ведь в эту лодку помещается только один человек! – и уплыть, далеко-далеко, в бескрайний океан, – мечтательно проговорил Леопольд. – И никто не знает, что ждёт меня там.

– Кроме тех, кто уже ушёл туда и ожидает вашего прибытия, – отозвался Полварт. – И если по эту сторону вас провожают друзья, вполне можно рассчитывать на то, что и там найдутся те, кто готов вас встретить. Но мне кажется, что мы не столько уплываем в океан, сколько сходим с корабля на пристань, где нас с нетерпением ждут добрые друзья.

– Что ж, может, и так, я не знаю, – устало вздохнул больной. – Знаете, иногда я даже благодарен за то, что голова у меня почти не соображает. Раньше я никогда не чувствовал себя таким глупым. Порой мне кажется, что я вообще ничего не знаю и мне всё равно: только бы прекратился кашель, всё перестало болеть, и я уснул.

– Иисус тоже был рад отдать Свой дух в руки Отца. Перед уходом Он тоже страшно устал.

– Спасибо. Спасибо вам. Он здесь. Он где-то рядом. Стоит вам только произнести Его имя, а у меня сразу появляется что-то, ради чего можно жить и надеяться. Если Он есть, всё будет хорошо. И даже когда у меня не останется сил ни о чём заботиться, Он не станет сердиться, но позволит мне заснуть и непременно разбудит меня, когда я хорошенько отдохну.

Он закрыл глаза.

– Я хочу домой, спать, – сказал он, и они отнесли его в особняк.

Глава 19. Рейчел и Леопольд

После этого, пока стояла тёплая погода, Леопольда каждый день относили на луг. Как-то раз он попросил отнести его подальше в парк, за рощицу, но вскоре пожалел об этом и захотел вернуться. Ему было не по себе, что между ним и его постелью оказались деревья: он сказал, что чувствует себя как кролик, чересчур далеко убежавший от своей норы. С тех пор его кресло неизменно ставили на прежнее место.

С такой же регулярностью, каждый день около часа пополудни в низенькую калитку парка проскальзывала гномоподобная фигурка привратника и через весь луг направлялась к Леопольду, сидевшему неподалёку от деревьев. Священник почти всегда был уже там. Он почти не разговаривал с больным, но время от времени то словом, то заботливым жестом, то просто подходя к креслу, давал мальчику знать, что он рядом. Иногда, чтобы укрыться от жары (которая Леопольду с его индийской кровью никогда не казалась невыносимой) Уингфорд заходил в рощицу и там обычно размышлял о том, что скажет прихожанам в ближайшее воскресенье.

Одно казалось ему странным и непонятным: хотя он был так занят мыслями о Хелен, что порой не мог как следует сосредоточиться ни на одном предмете, легче всего ему было думать над проповедями, когда, прислонившись к стволу одного из деревьев, он видел её, склонившуюся над шитьём или вышиванием рядом с Леопольдом. Только потом он понял, что помогало ему удержаться и выстоять: всё это время его вера в Бога неуклонно росла, хотя ему самому нередко казалось, что его то и дело прерывают.

Ничто так не мешает нам усиленно продвигаться вперёд, как чувство удовлетворения от уже достигнутого; оно всегда означает остановку. Но стоило Уингфорду ступить даже на самую приземистую и пологую кочку самодовольства, как он тут же запинаясь о какую-нибудь новую трудность, летел носом вниз и поднимался лишь благодаря осознанию того, как необходимо ему углубить и расширить свой фундамент, чтобы строить ещё выше и надеяться ещё безогляднее:

только так у него получится не растерять всё, что он успел приобрести. Он постепенно понимал, что вера должна быть абсолютной и ожидать от Бога всего, что может дать любовь совершенного Отца, знающая нужды и желания, вложенные Им в Своих детей. Он видел, что ему нельзя уповать прежде всего на собственную смекалку или воображать, что Бог только восполняет человеческую слабость или неудачу, и понимал, что высочайшее усилие человека – это протянуть руку к Небесам и овладеть ими. Он осознал, что не может соблюсти даже простейший закон во всей его красоте, покуда в нём не оживёт дух этого самого закона; что любить Хелен как должно – простой, совершенной и бескорыстной любовью – он сможет лишь в присутствии Источника всякой любви, а подражать свободной созидающей воле Бога сможет только в одном: всей силой собственной воли желая присутствия и силы той Воли, что породила нас. Так, даже если сам он был слишком озабочен, чтобы это замечать, его живая вера возрастала день ото дня, укрепляя его посреди слабости, и когда сын человеческий внутри него кричал: «Да минует меня чаша сия!», сын Божий, живущий в нём, отзывался: «Не моя воля, но Твоя да будет!». Он жил в страхе и трепете, но при этом оставался смелым.

Миссис Рамшорн обычно появлялась на лугу с утра, чтобы посмотреть, удобно ли устроили её бедного мальчика, но почти никогда на оставалась там надолго: она не любила сидеть с больными, да и нужды в её помощи не было никакой. А поскольку теперь Хелен не противилась ни малейшему желанию брата, никто не мешал Полварту навещать Леопольда, всегда ожидавшего карлика с радостным нетерпением.

Однажды привратник не появился. Однако вскоре из низкой калитки возникла фигурка его племянницы, ещё более похожая на крошечного гнома, и с трудом заковыляла через весь луг к Леопольду. Кротко и скромно, почти застенчиво, она приблизилась к Хелен, сделала робкий реверанс, как деревенская школьница, и, поглядывая на Леопольда большими и ясными глазами, в которых плескался целый океан подлинно женской нежности, сказала:

– Мисс Лингард, дядя просил меня извиниться и сказать, что сегодня он не может навестить вашего брата, потому что у него сильный приступ астмы. Он просил меня передать мистеру Лингарду, что думает о нём. Хотите, я перескажу вам слово в слово то, что он сказал?

Хелен согласно наклонила голову, не проявляя особого интереса, однако Леопольд воскликнул:

– Да, пожалуйста! Каждое слово такого человека – настоящая драгоценность.

Рейчел повернулась к нему, вспыхнув нежным румянцем белой розы.

– Я спросила его: «Может, мне передать мистеру Лингарду, что ты молишься за него?» Но он ответил: «Нет, я не то, чтобы молюсь за него, а просто думаю о Боге и о нём вместе».

В глазах Леопольда показались слёзы. Рейчел протянула свою детскую ладошку и бережно погладила смуглые, длинные пальцы, лежащие на ручке кресла.

– Милый, милый мистер Лингард, – проговорила она. Хелен резко подняла голову от вышивания и посмотрела на неё так, будто вот-вот собиралась потребовать у неё рекомендации. – Как бы мне хотелось быть так же близко к дому, как вы!

Леопольд взял её за руку.

– Вам так плохо? – спросил он.

– Да вы только посмотрите на меня! – откликнулась она с невольной жалостливой улыбкой. – Всю свою жизнь пробыть взаперти в этой уродливой клетушке! Но нет, я не жалею; это была бы чистая неблагодарность! Не такое уж маленькое у меня жилище, чтобы там не мог обитать Бог. Только вы даже представить себе не можете, как я порой от него устаю!

– А вчера мистер Уингфорд рассказывал, что, по мнению некоторых, апостол Павел тоже был чуть ли не карликом и калекой, и якобы это и было его «жало во плоти».

– Честно говоря, я думаю, что такого просто не могло быть. Иначе он никогда не стал бы сравнивать своё тело со скинией: ведь оно ни на дюйм не подастся, чтобы человеку было хоть чуть-чуть попросторнее! И потом, тогда он вряд ли стал бы говорить, что не желает

снять с себя смертное тело, а только хочет облечься в бессмертное⁵⁵. А мне вот очень хочется, чтобы с меня сняли это тело и вместо него дали мне новое, красивое и крепкое – да вот хоть вроде того, что у вашей сестры, мистер Лингард! Вы уж простите меня за такие слова. Просто я не могу грустить о вашем уходе, потому что с радостью ушла бы сама.

– А я бы с радостью остался, и даже в таком же маленьком жилище, как ваше, будь у меня вместо гостиной такая же чистая совесть, – улыбаясь ответил Леопольд. – Но когда я уйду, мир станет только чище... А вы, мисс Полварт, тоже знаете Бога, как ваш дядя?

– Надеюсь, что да – немного. Вряд ли кто-то ещё знает столько, сколько он, – очень серьёзно добавила она. – Но ведь Бог всё равно знает о нас всё и милует нас совсем не по тому, сколько мы о Нём знаем. Как хорошо, что Он может быть всем для всех! В этом и есть Его благодать. Мы ведь не можем стать всем даже для одного человека. Как бы мы ни старались, мы даже себя не можем ему как следует открыть, потому что внутри у нас – сплошные рваные куски да пятна. Но я думаю, что если это нам не нравится, то даже это – знак того, что мы от Бога. Ах, как бы я хотела вам помочь, мистер Лингард! Только я ничего не могу – и боюсь, что ваша красавица-сестра уже считает меня ужасно дерзкой. Но ей невдомёк, как это – лежать без сна всю ночь и думать-подумывать о моих красивых братьях и сёстрах, к которым я даже подойти не могу, чтобы им помочь!

«Какая она странная, – думала Хелен, которая почти ничего не поняла из слов Рейчел. – Да они оба не в своём уме. Бедняжки! Как нелегко им, должно быть, приходится».

– Простите меня ещё раз, что я так заболталась, – сказала Рейчел и, поклонившись сначала брату, а потом сестре, так же неуклюже, бочком заковыляла прочь по густой траве, то и дело запинаящей ей ноги.

55 См. 2Кор. 5:1-4.

Глава 20. Ищайка

Я не стану подробно описывать, как лондонские сыщики умудрились напасть на след неизвестного, спускавшегося в заброшенную шахту, и просветить мать Эммелины насчёт того, что это был за человек. Скажу только, что теперь она прибыла в Гластон, пытаясь разузнать о нём побольше. У неё не было определённого плана, и она просто решила пойти в церковь и прочие другие места, где собираются люди, в надежде наткнуться на что-то такое, что даст направление её дальнейшим поискам. Мысль о Леопольде ни разу не пришла ей в голову. Она даже не знала, что в Гластоне у него живёт сестра: друзья Эммелины никогда не откровенничали с её родителями.

На следующий день после приезда с самого утра она отправилась пройтись, на ходу обдумывая планы желанной мести, и отыскав дорогу в Остерфильдский парк, какое-то время бродила там. Выйдя оттуда через другие ворота и спросив у прохожего, как пройти в Гластон, она пошла по тропинке через поля, пока не подошла к той самой изгороди со ступеньками, где Уингфорд когда-то впервые увидел Полвартов, и, утомившись от долгой ходьбы, присела отдохнуть.

Стоял великолепный осенний день, но она не видела в природе ни малейшего очарования. Не запрись она так плотно в утрюмой камерке собственных мыслей, ей никогда не было бы так одиноко. Но природа оставалась для неё скучной и бесформенной пустотой, её собственное прошлое не будило приятных воспоминаний, а будущее было темно и туманно.

Так случилось, что как раз в это время Леопольд спал. Каждое утро, почти сразу после того, как его выносили на дуг, он засыпал в кресле на своём обычном месте, неподалёку от рощицы, за которой и была та самая изгородь, где сидела сейчас мать Эммелины. Уингфорд уселся было в тени деревьев, но Хелен, обнаружив, что забыла нужные нитки, попросила его присмотреть за братом, пока она не вернётся. Однако почти в ту же минуту из низкой калитки появился Полварт, и Уингфорд, поднявшись, пошёл ему навстречу. Когда он повернулся, чтобы идти назад, к его изумлению возле спящего юноши

стояла какая-то дама, со странной пристальностью всматриваясь в его лицо. Полварт видел, как она вышла из рощицы, но решил, что это какая-то знакомая. Священник почти побежал к Леопольду, боясь, что тот неожиданно проснётся и испугается, увидев незнакомку. Дама смотрела на мальчика так напряжённо и внимательно, что услышала приближение Уингфорд только тогда, когда он был совсем близко. Она испуганно вздрогнула, взглянула на священника и тут же заторопилась прочь, к городу. В её движениях сквозила нервная возбуждённость, которая не понравилась Уингфорду; у него мелькнуло смутное подозрение, и он решил пойти за нею. В свою очередь он препоручил Леопольда Полварту и последовал за дамой.

Увидев Леопольда, мать Эммелины тотчас узнала его необычные, смуглые черты, несмотря на то, как страшно изменила его болезнь, и в ней проснулось подозрение, почти уверенность в том, что перед ней – убийца её дочери. Его измождённый вид, казалось, только подтверждал её догадки. Сначала она хотела разбудить его и посмотреть, какой эффект произведёт её внезапное появление. Но обнаружив, что он не один, она поспешила в город, чтобы разузнать о нём как можно больше.

Проводив Уингфорда, Полварт приблизился к Леопольду и встал рядом, ласково глядя на спящего. Вдруг Леопольд вздрогнул и открыл глаза.

– А где Хелен? – спросил он.

– Я ещё не видел её. А-а, да вот и она!

– Так я что, был совсем один?

– С вами был мистер Уингфорд. Он поручил вас мне, потому что ему срочно нужно было отлучиться в город.

Больной вопросительно посмотрел на подошедшую сестру, а та так же вопросительно посмотрела на Полварта.

– У меня такое чувство, – сказал Леопольд, – что я лежал в этом широком поле совсем один, и ко мне подошла Эммелина, хоть я её и не видел.

Полварт поднял голову и посмотрел вслед двум удаляющимся фигурам, которые почти пересекли дуг и вот-вот должны были выйти на проезжий тракт. Хелен посмотрела туда же вслед за ним, и её

внезапно охватило чувство опасности. Она задрожала и схватилась за спинку кресла Леопольда, решив не показываться брату на глаза.

– Ну, как у вас сегодня, сильный кашель? – спросил привратник.

– С утра был сильный, пока меня не вынесли на улицу. Только толку от него никакого.

– А какой от него должен быть толк?

– Ну, чтобы он поскорее прикончил меня. Ах, мистер Полварт, знали бы вы, как я устал!

– Бедный вы мой мальчик! Должно быть, вам кажется, что это никогда не кончится. Но до вас все до единого миллионы умерших прошли той же самой дорогой. Правда, это слабое утешение для того, кто сейчас идёт по ней сам, – но всё равно, какая-никакая, а компания! Только не забывайте: Господь жизни всё время с вами, а это значит, что даже в смерти, когда никто другой не может быть с вами рядом, Он не оставит вас одного.

– Жаль только, что я не чувствую Его присутствия!

– Может, и чувствуете, только не знаете, что это Он.

– А как вы думаете, мистер Полварта, это не грех – желать, чтобы всё поскорее закончилось?

– Чего бы вы ни желали, в этом нет ничего дурного, если вы можете поговорить об этом с Ним и предать всё Его воле. Апостол Павел так и говорит, чтобы мы всегда открывали свои желания перед Богом⁵⁶.

– Иногда мне вообще не хочется ни о чём Его просить. Пусть Он сам даёт мне всё, что сочтёт нужным.

– Нам не следует стремиться стать лучше, чем от нас требуется, потому что тогда мы сразу же становимся хуже.

– Я не совсем вас понимаю.

– Вам может показаться, что ничего не просить – это признак большего смирения, но мне кажется, что дети ведут себя иначе. По-моему, куда лучше сказать: «Господи, мне хотелось бы того-то и того-то, но если Тебе это не по душе, то и я готов от этого отказаться». Такая молитва сразу же вводит нас в реальное, осмысленное общение с Богом, ведь тогда мы волей возносим Ему свои мысли. Господь учил нас

56 Флп. 4:6.

всегда молиться и не унывать. Какими бы убогими тварями мы ни были, Бог хочет, чтобы мы беседовали с Ним: Ему куда проще говорить с нами, когда мы поворачиваемся к Нему лицом.

– Интересно, что я сделаю в первую очередь, когда освобожусь – ну, когда окажусь в воздухе и всё такое?

– Правда, странно, что мы так мало знаем о том, что, в каком-то смысле, всегда находится так близко? Что такая тонкая завеса остаётся столь непроницаемой? Наверное, я бы прежде всего начал молиться.

– Значит, вы думаете, что мы будем молиться и там – где бы это ни было?

– Мне всё время кажется, что я сам молитвой вознесусь вверх, как только высвобожусь из темницы своего тела. Не стоит мне, наверное, называть его темницей; оно со всех сторон открыто прекрасному Божьему миру, и мои глаза и уши внимают красоте земли не хуже ваших. И всё равно, мне приятно думать о том, что однажды оно с меня спадёт. А что до молитвы... Я думаю, что там мы будем молиться больше, чем здесь – молиться в душе и сердце.

– Значит, если вы будете молиться за меня, когда меня не станет, в этом не будет ничего плохого?

– А что здесь может быть плохого? Право, было бы странно, если бы мне можно было молиться за вас только до того момента, как вы перестанете дышать, словно потом между нами захлопнутся железные ворота и мне уже нельзя будет дотянуться до вас хотя бы через нашего общего Отца! Это ложное учение; получается, что либо ушедшие не нуждаются в молитве – а как такое может быть, если Сам Иисус не мог прожить без молитвы и почитал её высшей радостью? – либо Бог так отделяет Своих ушедших от Своих остающихся, что между ними уже нет ничего общего, даже в Боге. По-моему, это чистый абсурд.

– Тогда молитесь за меня, когда я буду умирать, мистер Полварт, и не останавливайтесь, когда увидите, что меня не стало.

– Хорошо, – ответил карлик.

К этому времени Хелен немного пришла в себя, вышла из-за кресла и заняла своё обычное место подле брата. Она то и дело тревожно заглядывала в лицо Полварта, но не решалась ничего у него спросить.

Глава 21. Неожиданный поворот

Мать Эммелины довольно быстро поняла, что кто-то идёт за ней по пятам. Такая перемена ролей ей вовсе не понравилась, и её охватила смутный, но неодолимый страх, какой завладел бы на её месте и любым другим человеком, будь он даже в самых безмятежных отношениях со всем миром. Страх теснил её всё сильнее, потому что она упорно не желала обернуться и посмотреть на своего преследователя, чувствуя, что тем самым выдаст себя. Участь дочери, о которой она и так не забывала ни на минуту, вдруг встала перед ней реальной угрозой для неё самой, и боязнь медленно, но верно перерастала в панический ужас. Кто знает? А вдруг Эммелину убил этот самый незнакомец, неотступно идущий за ней по одинокому луку, а вовсе не умирающий мальчик, который, быть может, тоже стал одной из его жертв?! Бессознательно она ускорила шаги и вскоре уже почти бежала, хотя от этого расстояние между нею и священником не сократилось ни на ярд.

Выйдя на тракт, она оглянулась по сторонам и, чувствуя себя в большей безопасности среди людей, побежала к городским домам. Какой-то переулочек вывел её на главную улицу, и здесь ей стало немного легче. К тому же был базарный день, и народу кругом было полно. Она пошла медленнее, уверенная в том, что кем бы ни был идущей за ней человек, он непременно свернёт в сторону. Но тут её ждало разочарование: оглянувшись назад, она увидела, что он не отстаёт от неё ни на шаг. Этого же взгляда было довольно, чтобы она убедилась, что в городе его хорошо знают: сразу несколько человек приподняли свои шляпы, чтобы с ним поздороваться. Что бы это значило? Должно быть, это и есть тот самый Д. Б. из неизвестного ей «...кома»! Может, ей пора остановиться и в свою очередь спросить его, что он делал на шахте? Но от этого её удержало одно давнишнее воспоминание, от которого у неё неприятно заныло сердце. Нет, лучше попробовать от него скрыться. Но в городе у неё не было ни одного знакомого, ни одного дома, где она могла бы укрыться... Может, забежать в гостиницу? Только как она там покажется – одна, растрёпанная, разгорячённая от быстрой ходьбы? Вид у неё сейчас далеко

не респектабельный. И что ей ответить на расспросы хозяев? Что её преследует известный в городе человек? Так они скорее поверят ему, чем ей!

Раздираемая противоречивыми чувствами, она спешила вдоль улицы по направлению к старой церкви. Шаги за спиной стали громче и быстрее: преследователь явно решил её догнать! А что если он сумасшедший, и ему нечего терять? Вдруг он понял, что его жизнь в опасности из-за её настойчивых поисков и решимости найти убийцу? А шаги приближались, потому что священник действительно решил поговорить с ней и либо подтвердить, либо опровергнуть свои подозрения. Расстояние между ними неумолимо сокращалось. Она чувствовала, что ещё минута, и последние силы разом покинут её, и она полностью окажется на милости незнакомца. В отчаянии она метнулась в ближайшую лавку, упала на стул возле прилавка и попросила стакан воды. Молодая девушка кинулась за водой, а мистер Дрю побежал наверх, принести ей немного вина. Вернувшись, он приблизился к даме, бессильно опустившей голову на прилавок.

Священник тоже зашёл в лавку, но встал так, чтобы вошедшая не видела его, и решил дождаться её ухода: разговаривать с ней в лавке было невозможно. Она не замечала его, но он прекрасно видел её в тот момент, когда к ней подошёл мистер Дрю.

– Сделайте мне одолжение, сударыня, – начал мануфактурщик, но тут же остановился. При звуке его голоса дама испуганно вздрогнула и, подняв голову, посмотрела на него. Бокал с вином выпал из его руки, а дама, испустив сдавленный крик, вскочила на ноги и бросилась вон из лавки. Священник уже готов был кинуться за ней, но невольно остановился: мистер Дрю, бледный и дрожащий, не двигаясь стоял там, где оставила его дама, как будто увидел привидение. Уингфорд подошёл к нему и шёпотом спросил:

– Кто это?

– Миссис Дрю, – ответил тот, и священник тут же, словно гончая, выскочил за нею. Тем временем встревоженные приказчики и продавцы испуганной кучкой собрались вокруг своего хозяина.

– Подметите осколки и позовите Джейкоба, чтобы протёр пол, – сказал он, а сам подошёл к двери и посмотрел вслед священнику,

который почти бежал, пытаясь нагнать стремительно удаляющуюся фигуру.

Дама же, не зная, что погоня за ней возобновилась, почти не соображая, куда идёт, и ничего не различая по сторонам, спешила к кладбищу. Увидев это, Уингфорд немного сбавил ход, надеясь, что она войдёт в калитку, и тогда он сможет остаться с ней наедине. Теперь, когда у него появились столь неожиданные сведения, его решимость поговорить с нею только возросла. «Должно быть, это мать Эммелины, – думал он. – Что ж, вполне подходящая мать для такой дочери». Это подозрение возникло у него в тот самый миг, когда она подняла на него глаза, которыми только что пристально разглядывала спящего мальчика. У него не было времени подумать о выражении её взгляда, но в нём было что-то жуткое. Что ж, один смелый вопрос, и всё сразу станет понятно.

Женщина вошла на кладбище, заметила открытую дверь церкви и поспешила к ней. Будь она чуть послабее, смятение и панический страх свели бы её с ума. На крыльце она обернулась: всё тот же мужчина неотступно шёл за ней по пятам. Она метнулась внутрь.

– Кто это, кто это там идёт? – срывающимся, полубезумным голосом спросила она старую служанку, протиравшую пыль на ближних скамьях. Перепугавшаяся миссис Дженкинс отшатнулась при виде её перекошенного лица, но, обернувшись к крыльцу, ответила:

– Да вы не бойтесь, мэм! Это всего лишь наш священник!

– Тогда я спрячусь, а вы скажите ему, что я вышла через другую дверь. Вот вам золотой!

Миссис Дженкинс с сожалением взглянула на монету, которая для жены могильщика с кучей ребятишек составляла огромную сумму, но тотчас снова принялась вытирать пыль.

– Благодарю вас, мэм, – ответила она, – да только с нашим священником такие штуки не пройдут. Его не проведёшь. Знаете, как говорят: коли кто сам с собой не хитрит, так и его никому не обхитрить, как ни старайся!

С этими её словами на пороге показался сам священник. Несчастная женщина выпрямилась и попыталась принять одновременно гордый и оскорблённый вид.

– Может, вы пройдёте со мной и уделите мне минутку? – сказал он, подойдя прямо к ней.

Без единого слова она прошествовала вслед за ним через всю церковь, к каменной перегородке, отделявшей алтарь от неффа. Там, на виду у миссис Дженкинс, но достаточно далеко, чтобы она не могла расслышать их разговора, Уингфорд попросил её сесть на ступеньку, ведущую к двери в каменной стене. Она снова повиновалась, и Уингфорд уселся рядом с нею.

– Скажите, вы – мать Эммелины? – спросил он.

Она еле слышно ахнула, и по выражению её лица и глаз, да и по всей напрягшейся фигуре священник понял, что его догадка была верной. Однако она ничего не ответила.

– Вам лучше сказать мне всю правду, – сказал он, – потому что я не собираюсь ничего от вас скрывать.

Она неотрывно глядела на него, но то ли не могла, то ли не желала ничего говорить. Скорее всего, это была осторожность: сначала ей хотелось услышать, что скажет он. Уингфорд же был взволнован не меньше её и, боюсь, уже начал немного сердиться, потому что вид этой женщины был ему неприятен.

– Я хочу сказать вам, – продолжал он, – что несчастный юноша, которого поведение вашей дочери подтолкнуло к убийству...

Она невольно вскрикнула, и лицо её покрылось пепельной бледностью. Уингфорду стало стыдно.

– Мои слова кажутся вам жестокими, – сказал он, – но это правда. Этот юноша, о котором я сейчас говорил... Он умирает и уже через несколько недель последует за ней. Один и тот же удар убил их обоих, только ему понадобилось больше времени, чтобы умереть. И если сейчас призывать его к ответу, от этого никому лучше не станет. Если его арестуют, он просто умрёт по дороге в тюрьму. Я шёл за вами, чтобы попросить вас оставить его в покое и не требовать справедливости. Если кто-нибудь когда-либо раскаивался в содеянном и пострадал от своего преступления...

– А какое мне до этого дело? – воскликнула мстительница-мать, к которой, стоило ей увидеть, что её будут уговаривать, тут же вернулась былая заносчивость. – Что это, вернёт мне мою девочку?

Этот негодяй отнял у неё жизнь, не дав ей ни минуты для того, чтобы подготовиться к вечности, а теперь я, её мать, должна оставить его на свободе? Этого не будет! Я поклялась отомстить и отомщу!

– Я должен предупредить вас: если вы умрёте в таком состоянии духа, то будете ещё менее готовы к встрече с вечностью, чем ваша бедная дочь.

– А вам-то что? Если я готова рискнуть, это моё дело. Повторяю: я сделаю всё, что от меня зависит, чтобы этот молодчик оказался в петле!

– Он до неё просто не доживёт. Остаток его дней пройдёт в исполнении необходимых формальностей. Я прошу у вас лишь одного: позволить ему спокойно умереть. Вы же знаете, нам заповедано прощать своих врагов. Да он вам, собственно, и не враг.

– Не враг? Человек, убивший моё дитя, мне не враг? Тогда я ему враг, и скоро он почувствует это на собственной шкуре. Если ему не дожить до виселицы, то я, по крайней мере, сделаю так, что все вокруг будут показывать на него пальцами в презрении и ненависти. Я опозорю и уничтожу и его самого, и его ближних! Тоже мне, гордецы выискались! Они, видите ли, слишком благородные, чтобы наносить нам визиты, но вот послать к нам в семью убийцу – это пожалуйста! Закон на моей стороне, и я требую справедливости! Вот и посмотрим, достаточно ли они благородны, чтобы иметь в семье висельника! Ах, моя бедная, невинная девочка!.. Нет, я отомщу этому подлому мерзавцу! Все ваши уговоры напрасны: я не отступлюсь!

С побелевшими губами, крепко стиснув зубы, она медленно встала и, с решимостью страстной женщины, твёрдо намеренной довести задуманное до конца, развернулась и пошла к выходу.

– Пожалуй, вам будет нелегко обратиться за помощью к закону, – окликнул её Уингфорд, – если в то же самое время против вас самой будет выдвинуто обвинение в двоемужии, миссис Дрю!

Она так и осталась спиной к священнику и несколько мгновений стояла в оцепенении, словно соляной столп. Затем её затрясло, она судорожно схватилась за резную спинку скамьи, но тут силы окончательно оставили её, и с душераздирающим стоном она упала на колени и повалилась на пол.

Священник спешно послал миссис Дженкинс за водой, и они вместе с трудом привели женщину в себя. Наконец, та поднялась, поплотнее закуталась в шаль и, обращаясь к служанке, сказала.

– Я причинила вам столько неудобств, простите. Когда идёт следующий поезд на Лондон?

– Через час, – ответил священник. – Я провожу вас на станцию.

– Нет уж простите, я сама.

– Этого я позволить не могу.

– Но мне нужно сперва забрать свои вещи!

– Я пойду с вами.

Бросив на него испытующе-ненавидящий взгляд, она покори-лась и лишь для вида положила ладонь на предложенную ей руку. Они вместе вышли из церкви, дошли до коттеджа, где она разместилась, чтобы не привлекать у себе внимание, и Уинфолд оставил её там на полчаса. Она немного поела, но не потому, что так посоветовал ей священник, а потому, что сама чувствовала необходимость подкрепить истощённые силы, и, дожидаясь его возвращения, сидела kloкочущей, сумрачной тучей неудавшейся мести, в которой то и дело вспыхивали молнии ненависти. Наконец, в гостиную вошёл Уинфолд

– Перед тем, как мы пойдём на станцию, – сказал он, – вы должны пообещать мне, что оставите молодого Лингарда в покое. Я знаю, что мой друг мистер Дрю не имеет ни малейшего желания подавать на вас в суд, но я так же твёрдо убеждён, что он сделает всё, о чём я его попрошу. Если вы не дадите такого обещания, с того момента, как вы сядете в поезд, за вами будут следить. Так вы обещаете?

Какое-то время она сидела молча, с холодным блеском в глазах.

– А что если вы просто обманываете меня, спасая ему жизнь? – наконец спросила она.

– Вы же сами видели его и прекрасно знаете, что он умирает. Помоему, он не протянет и месяца. Болезнь его развивается стремительно. Скорее всего, он умрёт с первыми холодами.

Она не могла ему не поверить.

– Хорошо, я обещаю, – проговорила она. – Но с вашей стороны жестоко заставлять мать прощать негодяя, кинжалом ударившего её дочь прямо в сердце!

– Если бы бедный малый не умирал, я непременно позаботился бы о том, чтобы он сдался полиции. На самом деле, несколько недель назад он и сам попытался это сделать, но ему помешали. Он умирает от любви к ней. По крайней мере, так мне кажется. Жалость, любовь, раскаяние и ужас перед содеянным довели его до того состояния, в каком вы его видели. Честно говоря, он мог бы выздороветь и попасть в сумасшедший дом – он был в таком состоянии, что любые прищажные в момент признали бы его невменяемым, – но однажды ему так нестерпимо захотелось поговорить со мной (в то время его друзья не поощряли моих визитов, так как я считал, что ему нужно чистосердечно во всём признаться), что он тайком выбрался из дома и побежал ко мне, но на кладбище потерял сознание и добрый час пролежал на сырой земле, пока мы не нашли его. Хотя если бы не душевные муки, он, пожалуй, мог бы со временем оправиться и от этого... Вы должны простить его, как однажды хотели бы быть прощены сами.

Он протянул ей руку. Она, немного смягчившись, протянула ему свою.

– Ещё одно слово, и мы пойдём, – продолжал Уингфорд. – Наши преступления – это друзья, которые неотступно гонят нас либо к Богу, либо в бездну преисподней.

Она опустила глаза, но вид у неё всё равно был мрачный и гордый. Священник поднялся, подхватил её саквояж, дошёл вместе с ней до станции, купил ей билет и посадил её на поезд. Затем он отправился к мистеру Дрю и рассказал ему всё без утайки.

– Бедняжка, – промолвил её муж. – Но один Бог знает, какая доля вины за всё это лежит на мне. Может, будь я к ней добрее, она не бросила бы меня, и наш молодой друг был бы сейчас здоров и счастлив.

– Или прожигал бы себе душу своим мерзким опиумом, – откликнулся Уингфорд. – Как говорит Эдгар в «Короле Лире»,

... боги правы, нас за прегрешенья

*Казня плодами нашего греха*⁵⁷.

– Только Бог берёт наши грехи на себя и, даже бичом изгоняя их из нас, всё равно заставляет их творить Его волю. Он побеждает наши

57 У. Шекспир, «Король Лир», Акт V, сцена 3.

прегрешения, пленяет их и принуждает их служить добру, привязывая их, словно рабов, к вёслам евангельского корабля, или уродливыми горгульями и оградительными карнизами помещая их на стены Своего храма... Нет, последний образ я, пожалуй, возьму обратно, он мне не нравится: от него складывается впечатление, что грехи так и остаются с нами навсегда.

– Бедняжка, – снова проговорил мистер Дрю, невольно пропустивший слова священника мимо ушей. – Что ж, она тоже примерно наказана.

– И если я верно угадал её характер, этим её наказание не закончится, – ответил священник. – Пока в ней нет и следа раскаяния, хотя один раз я заметил, что она чуть-чуть смягчилась.

– Это тяжкое воздаяние, – вздохнул мануфактурщик, – и, может стать, мне тоже придётся понести в нём свою долю... помоги мне, Боже!

– По-моему, именно тяжесть собственной вины заставляет её так яростно искать отмщения. Никто так не упорствует в отказе простить, как нераскаявшийся грешник.

– Надо бы мне узнать, где она живёт, и не выпускать её из виду.

– Ну, это совсем не трудно. Только зачем это вам?

– Потому что если, как вы говорите, её беды ещё впереди, то, может быть, я смогу чем-то ей помочь. Интересно, а это мистер Полварт назвал бы богослужением? – добавил он, расплываясь в одной из своих лучезарных улыбок.

– Я в этом даже не сомневаюсь, – ответил Уингфолд.

Глава 22. У постели больного

Отправляясь в Париж, Джордж Баском не думал бросать Хелен на произвол судьбы. Однако у него были все основания полагать, что и ему, и Лингарду будет только хуже, если его попросят защищать юношу в суде. Из Парижа он продолжал писать Хелен, и она отвечала – не так часто, как ему хотелось, но достаточно регулярно. Как только стало ясно, что Леопольд умирает, она тут же сообщила об этом Джорджу, и он немедленно засобирился назад.

Перед его приездом погода снова изменилась. Стало холодно, и это тотчас сказалось на состоянии больного. Есть природы, для которых холод, душевный, духовный или физический, это суцая смерть, и Лингард был из их числа. Когда умирающие листья начали дрожать от дыхания приближающейся зимы, яркость солнечных лучей стала стеклянной, и природа приобрела недружелюбный вид непригодного для жилья места, отталкивающего всякого, кто пытается туда войти; когда всё внешнее напоминало человеку, что жизнь его заключена в чём-то ином, Леопольд стал съёживаться и уходить в себя. Он не выносил мысли о суровой настойчивости зимы, которая неминуемо придёт, даже если все летние души изо всех сил воспротивятся или попытаются убежать от неё прочь, и которая возьмёт своё, даже если они, дрожа, поползут отогреваться в преисподнюю.

Ему становилось всё хуже и хуже, но он не жаловался. Беспокойный, горячий, подавленный, он безропотно починался заботам других, пусть даже не от каких-либо сознательных усилий воли, но из-за природного благородства своей природы, и ухаживать за ним было легко. Он ничего не требовал, ни от чего не отказывался, всегда был исполнен кроткой благодарности – и, казалось, был бы благодарен в тысячу раз больше, если бы не знал, что недостоин подобной доброты. После Уингфорда и своей сестры больше всех он радовался маленькому привратнику. Нет, пожалуй, слово «после» здесь не подойдёт: если священник был для Леопольда старшим братом, то Полварт был ему отцом во Христе. Он приходил каждый день, и каждый день,

практически до самой смерти, Леопольду было что ему рассказать и что у него спросить

– Я ужасно поглупел, мистер Полварт, – однажды сказал он. – И мне от этого не по себе. Такое чувство, что мне уже ничего не надо. Даже Новый Завет слушать не хочется; лучше послушать какую-нибудь детскую сказку, о которой не надо думать. Когда кашля нет, мне хорошо; я могу лежать часами и вообще ни о чём не думать. Когда кашель есть, я тоже ни о чём не могу думать; мне только хочется, чтобы приступ поскорее прошёл, и я снова оказался в Долине дрёмы. Как будто нет никакого прошлого, и мне абсолютно всё равно. Даже моё преступление кажется мне таким далёким, будто оно случилось сто лет назад. Я знаю, что оно моё, и сожалею о нём, но сейчас как будто огромное облако спустилось и унесло с собой тот мир, где я совершил его. Боюсь, что даже о нём я думаю всё равнодушнее. Я говорю себе, что, может быть, через какое-то время угрызения совести вернутся, но сейчас их просто нет. Как будто я отдал своё преступление Богу, чтобы Он положил его куда-нибудь, пока ко мне не станет легче и пока я снова не смогу вспомнить о нём и раскаяться.

Для Леопольда это была довольно длинная речь, но он говорил медленно, то и дело останавливаясь. Полварт не сказал ни слова, чувствуя, что нельзя мешать умирающему облегчать душу и говорить сколько и как ему заблагорассудится. И Хелен, и Уингфорд, будь они рядом, начали бы уговаривать мальчика не утомлять себя, но Полварт никогда этого не делал. Умирающие должны высказать всё, что им хочется, и не следует их обрывать, прибавляя ко всему прочему ещё и чувство недоговорённости и незавершённости: этого чувства им хватает и без нас.

Затяжной кашель заставил Леопольда прерваться. Когда приступ утих, он, тяжело дыша, без сил откинулся на подушку, но его большие глаза вопросительно смотрели на Полварта.

– Бог постоянно даёт нам самые разные возможности довериться Ему, – сказал карлик, – и эта навалившаяся на вас апатия – одна из них. Доверьтесь Ему, покоритесь ей, но, несмотря на неё, продолжайте верить, и тогда она совершит в вас то благо, что ей предназначено совершить. Пожалуй, сейчас вы даже не в состоянии заставить себя

думать или чувствовать, но вы можете сказать Богу: «Ты видишь, Господи, я совсем не могу думать и чувствовать, и всё мне стало безразлично; прошу Тебя, позаботься вместо меня и о разуме, и о сердце, и обо всём прочем. Я всё отдаю Тебе. Ведь однажды Ты непременно выведешь меня из этой стылой зимней спячки. Помогите мне не бояться новой жизни, новой мысли и нового долга, чтобы я был готов выйти из кокона своей болезни, когда Ты пошлешь за мной. Да будет воля Твоя. Да придёт Твой свет, пусть даже сейчас мне боязно думать о встрече с ним из-за немощи моего тела и духа».

– Да, да! – воскликнул Леопольд. – Всё именно так! Откуда вы это знаете?

– Просто мне самому нередко приходилось противиться смерти, не давая ей покинуть свои законные пределы и вторгнуться в мой дух.

– Но я вообще не сопротивляюсь, а наоборот выпустил всё из рук.

– Сдаётся мне, вы сопротивляетесь куда больше, чем думаете: ведь вы стойко и довольно терпеливо переносите свою болезнь. Вот представьте: если бы Иисус постучал к вам в дверь, а она была заперта, и если бы вы знали, что это Он, но рядом не оказалось бы никого, кто мог бы её открыть, и если бы вы чувствовали себя таким же слабым как сейчас, и безразличным к Нему, и ко всему на свете – что бы вы сделали?

Леопольд озадаченно взглянул на него, не понимая, к чему клонит его друг.

– Конечно, я встал бы и открыл Ему дверь – что ещё?

– И у вас не было бы искушения остаться в постели и ждать, пока кто-нибудь придёт?

– Нет.

– И вы не сказали бы про себя: «Господь знает, что я очень слаб, что я могу простудиться, что из-за этого у меня может начаться страшный кашель; Он поймёт меня, если я не встану»?

– Да ни за что! Какая разница, что со мной будет, если мне удастся хоть разок поглядеть на Него! И потом, если бы Он не хотел, чтобы я вставал, Он не стал бы стучаться.

– А если бы вы точно знали, что стоит вам открыть дверь, как вы упадёте замертво и не увидите вошедшего Господа?

– Что-то я никак не пойму, к чему вы всё это спрашиваете, мистер Полварт, – ответил Леопольд. – Даже если бы я знал, что упаду замертво, встав с постели, мне было бы всё равно. Ведь тогда я увидел бы Его ещё быстрее и сразу объяснил бы Ему, почему не открыл дверь. Неужели вы думаете, что я позволю своему жалкому телу встать между мной и лицом моего Господа?

– Вот видите, значит, Он вам всё-таки не безразличен, хотя минуту назад вам так казалось. В нас много чувств, не способных подняться наверх по первому нашему зову. Не бойтесь быть таким вялым и бесчувственным, каким Господь попустил вам быть, и не беспокойте по этому поводу ни Его, не себя. Только просите Его всё равно оставаться рядом.

С этими словами карлик опустился на колени возле кровати и заговорил:

– О Господь Иисус, будь с нами, когда нам кажется, как когда-то казалось и Тебе, что Отец оставил нас, забрав назад всё то, чем когда-то наделил нас. Даже Ты, могущественный в смерти, нуждался в присутствии Отца, чтобы претерпеть всё до конца. Так не забудь же о нас, созданиях рук Твоих, плоде сердца и духа Твоего. Вспомни, что мы – Твоё творение, что мы не сами появились на свет и не можем утешить или ободрить себя. Если бы Ты оставил нас, мы зывали бы к Тебе, словно к матери, бросившей волкам своих детей, – только нет таких волков, которые устрашили бы Тебя! Ах, Господи, мы знаем, что Ты не покидаешь нас, и только хотим, в немощи своей, утешиться музыкой слов веры. Ты не можешь не печься о нас, Господь Христос, ибо и в радости и в печали, и в медлительности сердца и в полноте вере, мы остаёмся детьми Твоего Отца. Он послал нас в мир, не спросив, хотим мы этого или нет, и поэтому Ты просто должен быть с нами и дать нам покаяние, смирение, любовь и веру, чтобы мы воистину стали детьми Отца Твоего Небесного. Аминь.

Полварт ещё молился, когда дверь неслышно приоткрылась, и Хелен, не подозревавшая о присутствии карлика, вошла в комнату

вместе с Баскомом. Полварт не слышал, как они вошли, и не видел гримасу отвращения, которую Джордж соорудил за его спиной.

Кто знает, что творилось в потаённых глубинах души Баскома? Он и сам пребывал об этом в полном неведении. Он ещё ни разу не входил в это безмолвное, святое место, и потому оно оставалось одиноким и заброшенным, как вершина горы Синай после того, как облако отошло от неё. – Но нет, я беру свои слова обратно: кто знает, что делается там, куда человек не может или не желает заглянуть? Забреди Джордж в глубинные тайники своего сердца, может быть, он обнаружил бы там следы ещё не полностью исчезнувшего присутствия. Однако пока в том, что он считал и называл глубиной своей души, он не чувствовал ничего кроме полнейшего омерзения при виде этого чудовищного предрассудка, представшего перед ним в столь уместном воплощении. Молитва коленопреклонённого уroda казалась ему дерзкой насмешкой над нерушимыми законами Природы: этот жалкий, неудавшийся горшок действительно полагал, что некая невидимая личность слышит его слова просто потому, что он произносит их, согнув свои кривые члены! Джорджу не пришло в голову, что Природа с самого начала столь безжалостно нарушила свои нерушимые законы в теле бедного карлика и была ему столь жестокой мачехой, что ему было бы совсем худо, не будь у него Отца, который поступил бы с ним по справедливости и дал силы вынести невыносимое.

Да и можно ли было винить карлика, если полное прекращение всякого существования, которое обещали теоретики вроде Джорджа, казалось ему не вполне удовлетворительным возмещением его земной жизни или её утраты? Даже если в своём уродстве и немощи он вообразил, что древняя история о старшем Брате, куда более смиренном, чем статный красавец Джордж Баском, и куда более готовом помочь Своим меньшим братьям и сёстрам, в самом деле является правдой (ведь история совсем не обязательно лжива только потому, что ей много лет), и он пытался отыскать обещанное в ней благо, в его случае подобная глупость, каким бы вздором она ни казалось человеку с дарованиями Джорджа Баскома, была бы вполне извинимой, и более счастливые смертные могли бы отнестись к ней с пониманием и даже жалостью.

Я не стану утверждать, что вид этого бесформенного скопления жалких клочков и локутов человеческой плоти, склонившегося у постели умирающего убийцы, чтобы молитвой утешить его отходящую душу, наряду с насмешкой не вызвал у Джорджа и некоторой грусти. Но вся его внутренность возмутилась от несуразности и смехотворности происходящего, а Хелен передёрнуло от фамильярности и непочитительности маленького самодовольного фарисея. Нам велено не судить; но как часто, должно быть, ангелы судящих и судимых, слыша наши самовольные суждения, поворачиваются друг к другу с грустной улыбкой, прежде чем старательно позабыть то, что нужно забыть как можно скорее!

Полварт поднялся с колен и, не подозревая о чужом и враждебном присутствии, взял руку Леопольда в свои ладони

– Если бы я мог, – сказал он, – то с радостью прошёл бы вместе с вами долиною смертной тени. Но рядом с вами будет Сердце всех сердец. Обождите ещё немного в своей ветхой хижине – ведь это не что иное, как прикрывающая вас ладонь Отца! – зная, что наш сильный Старший Брат неотлучно стоит при дверях. Даже самое безудержное и блаженное воображение не дотянется до истинной сути Отца светов или Старшего Брата всех человеков.

Леопольд ответил ему только взглядом. Полварт повернулся, чтобы идти, и только тут увидел вошедших. Они стояли между ним и дверью, но посторонились, чтобы дать ему пройти. Никто из них не произнёс ни слова. Полварт поклонился сначала одному, потом другому, глядя в лицо им обоим и не смущаясь ни презрительной улыбкой, ни пылающим румянцем негодования, но Джордж не обратил на него ни малейшего внимания и, как только карлик прошёл мимо, шагнул прямо к кровати больного. Однако Хелен, ощутив упрёк то ли сердца, то ли совести, ответила на поклон друга своего брата и открыла перед ним дверь. Он поблагодарил её и вышел.

– Бедняга! – участливо проговорил Джордж, похлопывая по исхудалой руке, лежащей в его ладони. – Могу ли я чем-нибудь вам помочь?

– Ничем. Разве что берегите Хелен, когда меня не станет, и иногда напоминайте ей, что я не умер, а живу в надежде скоро с нею увидиться. А то она может позабыть – не меня, а то, что всё хорошо.

– Да, да, я об этом позабочусь, – ответил Джордж лживым тоном того, кто обещает ребёнку невозможное. Понятно, он не видел особого вреда в том, чтобы солгать тому, кто вот-вот перестанет быть человеком и превратится в неприятную массу химических веществ, которую целый муравейник трудолюбивых законов вскоре вынесет за пределы органического мира, – как не видел ничего дурного в том, чтобы лгать ему раньше, когда принимал его за сумасшедшего. Да и можно ли было винить его в этой непоследовательности? Ведь он всегда, по добродушию сердца, говорил, что никогда не станет нарушать веру стариков, приближающихся к могиле, потому что им вряд ли хватит должной гибкости ума, чтобы свыкнуться с крушением всех прежних мыслей и чувств, которое неизменно последует за принятием его драгоценного откровения. А Джордж и впрямь считал его драгоценным, потому что ни разу не видел перед собой ни единого проблеска безграничной надежды, которая, будь его теория истинной, действительно должна была бы исчезнуть навсегда

– Что, плохо вам? – спросил Джордж.

– Ну да, не очень хорошо.

– Сильные боли?

– Да нет, не очень, только иногда. Хуже всего эта противная слабость. Но это неважно. Бог со мной, и всё хорошо.

– И какая же вам в этом польза? – забыв свои благие намерения, поинтересовался Джордж, полупрезрительно, но и с некоторым любопытством, которое, пожалуй, сам он вполне справедливо назвал бы научным. Однако Леопольд принял его вопрос за чистую монету и ответил:

– Он исправляет всё дурное и даёт мне терпение.

Джордж положил на одеяло руку Леопольда, с печальным видом повернулся к Хелен, но ничего не сказал.

Тут в дверь постучали, и вошёл Уингфолд. Хелен поцеловала умирающую руку, и они с Джорджем вышли из комнаты.

Глава 23. В саду

Джордж бережно повёл кузину в сад. Все цветы, окаймлявшие дорожки, уже увяли, и сад напоминал Хелен кладбище: сухие кусты могильными камнями поднимались над погребёнными цветами, а кипарисы и самшиты стояли, словно величественные надгробья из дорогого камня. День был холодный, свинцовый; казалось, он с радостью смыл бы дождём давящую мёртвость со своей души, но слёзы не приходили. Хелен и Джордж дошли до беседки, прячущейся под кедром, и уселись. Какое-то время они молчали.

– Бедный Леопольд! – наконец сказал Джордж, беря Хелен за руку.

Она залилась слезами. Он молча ждал, пока она успокоится.

– Я этого не выдержу, Джордж! – всхлипывая проговорила Хелен.

– Всё это очень грустно, – отозвался он. – Но я не сомневаюсь, что он прожил счастливую жизнь до того, как... как...

– Да что теперь об этом говорить? Это какой-то жуткий фарс: всё начиналось так прекрасно, так безоблачно, а закончилось так жалко, так мерзко и ужасно!

Джорджу не хотелось говорить того, что он думал на самом деле, а именно: что виноват тут только сам Леопольд. Он не понимал, что как раз в этом и заключалось самое глубокое горе и отчаяние, что именно в этом брату и сестре нужна была самая главная помощь. Всё остальное ещё можно было перенести – только чем меньше человек может вынести сам, тем лучше.

– Это и в самом деле ужасно, – сказал он. – Но что поделаешь? Прошлого не вернёшь и сделанного не исправишь.

– И всё же должен быть кто-то, способный всё это исправить.

– А-а! Должен! – Джордж немного помолчал. – Что ж, по крайней мере, нам остаётся одно утешение: всё это скоро кончится.

– Неужели? – почти ожесточённо ответила Хелен. – Но это не ваш брат, и вы не знаете, как это, потерять его. Ах, каким безутешным и одиноким будет мир без моего милого мальчика! – и она снова заплакала навзрыд.

– Я сделаю всё, что могу, только бы возместить вам эту утрату, моя дорогая Хелен... – начал было Джордж, но Хелен порывисто вско-чила:

– Ах, Джордж! – воскликнула она, – неужели и вправду нет никакой надежды? Нет, я не говорю о надежде, что он поправится; мы все знаем, что это невозможно. Но неужели у меня не останется никакой надежды хоть когда-нибудь снова увидеть его? Ведь мы так мало обо всём этом знаем. Может быть, всё-таки есть хоть какой-нибудь способ?

Но Джордж был слишком честен и слишком верен своим принципам, чтобы перед ней притворяться. Одно дело – Леопольд, и совсем другое – Хелен. Ведь она совсем молодая женщина в расцвете сил, жизни и надежды, и все её радости ещё впереди. Множество дней пройдёт до того, как её собственный день склонится к закату, и бледная луна ещё много раз поразит её своей прелестью, прежде чем ночи начнут насмехаться над ней увядшими воспоминаниями, словно листая перед ней целый гербарий страстоцвета. Зачем давать ей ложную надежду на загробную жизнь? Пусть наслаждения этого мира будут ей ещё дороже из-за осознания того, что скоро от них не останется и следа! Пусть любовь будет ещё слаще из-за скорбной мысли о том, что она мимолётна, как летний мотылёк, исчезающий с приходом зимы!

Но, пожалуй, Джордж забыл об одном. Я соглашусь, что бабочки-однодневки, умирающие в миг блаженного плодоношения, воистину счастливы. Но когда свирепый ветер и безжалостный ливень прибывают к земле нежную Психею с её бесценными, лучистыми крыльями, пока, измучившись, она не упадёт в самую грязь; когда цветы увядают, или она сама лишается радости свободно парить над ними, но смерть медлит и не спешит забирать её; когда плакальщицы бродят по улицам ещё до того, как порвалась серебряная цепочка; когда прошлое кажется насмешкой, а будущее бессмысленной пустотой, – пожалуй, тогда даже приверженцы самого победоносного учения о естественном отборе не только заподозрят, что в мире что-то разладилось, но и захотят, чтобы в нём был кто-то способный это исправить. Если Психея должна столь покорно склониться перед миропорядком, чтобы бессловесно принять эту якобы предназначенную ей судьбу, тем хуже для неё!

Но хотя Джордж и не хотел лгать, никто не принуждал его говорить правду, и его молчание было достаточно красноречивым. Хелен выдержала лишь секунду этого молчания. Она стремительно выбежала из оголённой беседки и заспешила к дому. Джордж, помедлив, последовал за ней. Он был так огорошен, что не решился догнать её и пойти рядом, потому что чувствовал, что ничем не может ей помочь. Конечно, он мог бы сказать ей, что помощь уже близко; но это была помощь, которая неизменно приходит ко всем, которую невозможно дать или принять, которая не зависит ни от каких молитв, но является лишь тогда, когда худшее уже позади: единственным спасением, какое признавал Джордж и каким сейчас утешал себя, была целительная сила времени.

Глава 24. Уход

Но мере того, как Леопольд медленно отходил в тень смерти, его сестре казалось, что он уводит с собой всё самое дорогое в её жизни.

Её охватило странное вялое равнодушие. Тщетно она ругала себя за бессердечие: вместо сердца в её груди всё равно оставалась пустота. Нет, она не думала ни о чём другом, и ни в чём другом не искала утешения; просто её чувства умирали вместе с тем, кто пробудил в ней больше любви, чем весь остальной мир. Битва близилась к концу, но даже кончалась она бесславно, без убогого пафоса разорванных знамён и горестной музыки.

В последние дни перед смертью Леопольд почти всё время молчал. Приступы кашля повторялись всё чаще, а между ними у него не было ни силы, ни желания говорить. Когда Хелен подходила к его постели, он протягивал ей руку, и она садилась рядом, согревая его ладонь в своей. Рука сестры была тем местом на земле, с которого дух мальчика, словно с горы восхождения, должен был унести прочь:

он отпустил её, и его не стало. Но он умер во сне, как и многие другие, и ему, должно быть, показалось, что он просыпается в своё привычное существование, когда на самом деле он проснулся в новую жизнь.

Уингфорд стоял с другой стороны кровати, вместе с Полвартом, как хотел того сам Леопольд, и, хотя сам умирающий ничего не сказал, почему-то мне кажется, что их присутствие не могло не принести ему немного радости и утешения. В Леопольде ещё теплилась жизнь, когда случайный, безучастный взгляд Хелен неожиданно остановился на лице привратника. Оно было столь недвижным и замерло в таком восторге, будто он проникал взором за завесу смерти и видел то, что ожидало её брата на том берегу чуда. Но это было не так. Полварт видел не более неё самой; он всего лишь стоял в присутствии Того, Кто не есть Бог мёртвых, но Бог живых. И что бы ни лежало в Его Воле, она всегда несёт жизнь всем рождённым от неё – а значит, всякой твари. Именно к этой Воле, к лику Отца, Полварт возносил сейчас сердце, душу и тело мальчика, проходящего через рождение смерти. «Я не знаю, как моя молитва за другого может что-то изменить в замысле и действии совершенного Даятеля, – ответил бы он, спроси его кто-нибудь об этом, – но, по крайней мере, я не оставляю своего друга позади, входя в присутствие его Отца и моего Отца. И потом, в этом наверняка есть что-то, чего я пока не вижу».

Уингфорд тревожился только за Хелен. Он уже ничего не мог сделать для Леопольда, да и сам Лингард уже не нуждался ни в чём, что могли дать ему люди. Что же до вопросов и непонятностей, которые смущали его более всего, – скоро, совсем скоро он придёт туда, где ему откроется вся истина, и очутится в самом сердце того, что для самого Уингфорда ещё долго будет оставаться тайной. Но его сестра... Она вот-вот останется совсем одна и без того упования, за которое держался Леопольд. Хелен ожидали мрачные, тоскливые дни, и Уингфорд молился о том, чтобы Бог утешения и покоя посетил её.

Миссис Рамшорн то и дело поднималась вверх и подходила к бесшумной двери покоя смерти, но подспудно чувствовала, что её присутствие там нежелательно, и потому не входила, хотя и была готова помочь. Джордж тоже не появлялся в спальне – не из-за бессердечия, а потому, что решил не мешать священникам фальшивой истины

исполнять свой жалкий долг. Какая разница, сколько лжи они наговорят умирающему? Что могут дать их притворные слова? Нет никакого основания полагать, что их глупые молитвы и суеверные обряды вызовут некое божество из упорядоченной, самодостаточной цельности взаимодействующих законов, где нет ни одной несостоятельности или прорехи, откуда оно могло бы выползти. Всё равно они не смогут лишить бедного мальчика блаженства абсолютной пустоты, откуда он вышел, чтобы совершить ужасное преступление против бессмертного общества и потом, с сердцем полным любви, раскаяния и самоуничтожения, вернуться назад в чёрную бездну. Так зачем мешать им тешить его своими выдумками и произносить свои бессмысленные заклинания?

Отстранённый и неуязвимый, он прочно стоял на берегу, готовый протянуть Хелен руку спасения, как только она обратится к нему за той помощью, на которую он уже ей намекал. Конечно, ради неё самой, ему не хотелось оставлять её без защиты в присутствии столь коварного, почти незаметного влияния, но его логика всегда благотворно действовала на её здравый смысл, и он не боялся за результат. Не то чтобы он ожидал, что она сразу же подчинится здоровому образу мыслей и простой пище, которую он будет вынужден ей прописать: для этого бережная рука Времени сначала должна стянуть и снова соткать воедино рваные края её сердечной раны.

Хелен же, сама того не осознавая, исподволь чувствовала, что та мёртвость чувств, та бессердечность, из-за которой ей было так плохо от себя самой, была если не вызвана, то каким-то смутным, неясным образом связана с ненавязчивым, но осязаемым присутствием Джорджа Баскома. Сегодня утром, когда он вошёл в столовую так тихо, что она не услышала его шагов и, подняв голову, вздрогнула от неожиданности, на мгновение кузен, непонятно почему, показался ей тусклым источником всего горя и несчастья, камнем придавившего ей сердце, – но горя не от утраты, а от бессмысленности всякой утраты. Она тотчас обвинила себя в ужасной несправедливости, приписывая эти чувства болезненному состоянию души, в которое повергла её надвигающаяся тень смерти. Разве Джордж не был ей единственным настоящим

другом? Если она потеряет и его, то останется совсем одна! Однако странное чувство не уходило, и всякий раз, когда ей казалось, что она, наконец-то, избавилась от него, оно тут же начинало сгущаться с новой силой.

В то же самое время она продолжала сторониться Уингфорда, считая его чёрствым и бесчувственным. Да, он относился к её брату с редкой добротой и даже нежностью, но только потому, что увидел в нём податливую душу, из которой можно было лепить всё что угодно: бедный Польди никогда не отличался особой силой и самостоятельностью. Но ей – кого он не смог обтесать в соответствии со своими идеями, ибо ей всегда нужны были веские причины для того, чтобы чему-либо поверить – ей он показал жёсткую сторону своей натуры, и, при всех скидках на его положение священника, повёл себя совсем не как джентльмен, когда так строго осудил её. Пожалуй, ему следует поучиться у её кузена Джорджа: он привёл с собой совершенно иную артиллерию, чтобы атаковать гордую крепость её убеждений!

Так она снова и снова убеждала сама себя, рассуждая то так то этак и не подозревая, какими неискренними были её выводы, как сильно привычка и благодарность напирали на неё с одной стороны, а гордыня и обида – с другой. И потом, это странное, неприятное чувство! Как она ни старалась, она никак не могла от него избавиться; это было всё равно, что разгонять веером густой туман.

Погода снаружи – хотя Хелен давно перестала обращать на неё внимание – была столь же унылой и печальной, как и внутренняя погода её души. С неба свисал хмурый, тёмно-серый туман, который, пусть даже особо не заволакивая землю, полностью скрывал за собой солнце. Воздух казался ледяным. Нигде не было ни единого проблеска радости или надежды. Кусты стояли без почек и листьев, лето ушло, а на весну не стоило и надеяться, потому что она тоже должна была уйти: одна весна сменяла другую, но лишь для того, чтобы навсегда кануть в небытие. Всё вокруг было таким пустым и печальным, что Хелен, пожалуй, обрадовалась бы жгучему горю и страданию – или даже страху! Весь мир, вся её жизнь, да и сама она – всё это было лишь холодным недвижимым трупом скончавшегося лета. Вместе с этим летом ей придётся похоронить и Леопольда. Его улыбки увяли вместе

с цветами. Сорным травам его несчастий тоже осталось недолго: им предстояло умереть вместе с ним. Но Леопольд уже не узнает этого и не обрадуется – как и она сама, которой теперь были равно безразличны лето и зима, радость и печаль, любовь и ненависть, прошлое и будущее.

Вот какие мысли рассеянным туманом бродили в её голове, когда она сидела, держа руку брата, который во сне стремительно уходил от неё в пределы смерти. Невидящим взглядом она смотрела в окно, откуда Леопольд появился в ту злополучную ночь, но ничего за ним не различала.

– Всё, – вдруг сказал Полварт, медленно опускаясь на колени, и его голос показался Хелен чужим. Она судорожно вскрикнула, взгляд её метнулся на лицо Леопольда. Она ещё ни разу не видела, как умирают люди, но сразу же поняла, что он мёртв.

Глава 25. Закат солнца

Как прошло это жуткое время перед похоронами, жуткое самой своей блеклостью и бесчувственностью, Хелен не знала. Потом эти дни вспоминались ей голой пустыней – но пустыней, наполненной тупой, бессмысленной усталостью. Все они слились воедино, и снаружи, и внутри. Сердце её превратилось в одинокий, узкий залив бескрайнего моря, покрывшего мир стылой, неподвижной пеленой. Никто не пытался ей помочь, да никто и не подозревал, что творится у ней в душе. Все думали, что она горюет о брате, но сама она чувствовала, что её придавливает жизнь, к которой у неё не осталось ни малейшего интереса; даже страдания потеряли для неё всякий смысл. Конечно же, Уингфорд зашёл справиться о ней, но войти его не пригласили. Джордж неусыпно хлопотал, распоряжаясь похоронами, но не мог утешить её ни единым словом.

Наконец, настал день похорон, окутанный жиденьким туманом и унылым холодом. С округи собрались соседи и знакомые. Тело перевезли в аббатство. Священник встретил его у ворот от имени церкви, без разбора принимающей наших детей к себе на руки и погребающей наши тела у себя в саду – за исключением тех случаев, когда в садовниках у неё ходит какой-нибудь неумный священник, который не знает сердца своей матери и потому относится к её умершим чадам с ненужной разборчивостью. Прозвучали прекрасные слова первого и последнего из апостолов, и прах возвратился в прах, чтобы смешаться с землёй, из которой великий Работник создаёт свои творения. Холод царил в сердце Хелен, холод царил в её теле, холод царил во всём её существе. Земля, воздух, туман, сам свет – всё было холодным. Прошлое дышало холодом, а будущее казалось ещё холоднее. Она позавидовала бы Леопольду в том, что в могиле он обрёл свой одинокий покой, но даже для этого в ней не осталось ни капли чувства. Жизнь её засохла и съёжилась, как осенний цветок на зимнем морозе, но и это было ей абсолютно безразлично, словно она и впрямь была всего лишь цветком. Зачем жить, если у жизни не осталось даже силы желать собственного продолжения? Бесчувственная, не замечающая молчаливой заботы Джорджа и даже не презиравшая тётушку за её бесплодные причитания о превратностях судьбы и человеческой жизни, Хелен вернулась с кладбища с таким равнодушием к своему несчастью, что немедленно прошла к себе в спальню, откуда только что вынесли тело и где на протяжении долгих, изматывающих недель сосредотачивалась вся её любовь и все её страдания. Теперь ей снова можно успокоиться – только что это будет за покой!

Она сняла плащ и шляпку, бросила их на кровать, подошла к окну, села и невидящим взглядом окинула холодный сад с отсыревшей землёй, облетевшими кустами и вечнозелёными деревьями мрака и скорби. За садом виднелся луг, где она заметила рыжую корову, поглощённую своим обедом, и слегка на неё рассердилась. За лугом была рощица, за которой простирался парк, а ещё дальше лежала лощина, приютившая в себе страшный, заброшенный дом, зловещее озеро и безнадёжно запущенный сад. Однако ничто не трогало её. Она могла бы пройти по всем комнатам старого особняка без малейшего

сердечного трепета. Польди умер; но ведь это даже хорошо. Даже не соверши он этого преступления, его смерть ровно ничего не значит. Скоро умрёт и она, и умрёт навсегда – но какая, собственно, разница? Всё было полностью лишено смысла. Ах, если бы только можно было сохранить эту притуплённость духа, чтобы уже никогда не просыпаться в глупых слезах, оплакивая жизнь, которая не стоит ни единой капли из потоков плача, непрерывно текущих с самого дня безрадостного рождения этого случайного, злополучного, сиротского мира! Час смерти был часом радости, а не скорби; это в час рождения человеку надлежало скорбеть. «Назад, во тьму!» – кричала жизнь, само существование которой было оскорблением; только даже оскорбить её было некому.

Так она сидела, пока её не позвали к обеду, устроенному пораньше, ради тех, кто приехал издалека. Она ела, пила и разговаривала, как обычно, зная, что все присутствующие осудят её за бессердечие, но нимало не заботясь о том, что они скажут или подумают. Но люди судили о ней куда добрее и истиннее, чем она судила о себе. В её глазах они видели глубинные тайники горя, запертые внутри цепким морозом неведомого отчаяния.

Как только все разъехались, Хелен тотчас вернулась к себе, не из стремления быть ближе к умершему там брату, а потому, что её омертвевшая душа подсознательно искала себе пристанище в уединении. Она снова уселась у окна. Тоскливый день клонился к закату, и приближалась не менее тоскливая ночь. Свинцовое небо стало ещё темнее, и она сидела в ожидании вечера, как жертва в ожидании чудовища, которое вот-вот явится за своей добычей и проглотит её.

И вдруг что-то, какое-то вторжение живительного света, заставило её поднять глаза. За окном, к западу от окна, где-то возле солнца, туман слегка рассеялся. Он становился всё прозрачнее и прозрачнее. Солнце так и не проглянуло: оно уже село, но над его гробницей балдахинном раскинулось слабое янтарное сияние, из каких ткуются грустные улыбки. В нём не было ничего сродни веселью. Но только тот, кто утратил свою печаль, но так и не обрёл былой радости, знает, насколько близкой к радости бывает печаль. Всякий, кому известны безликие

тропы бесчувственной апатии, с радостью примет свою скорбь обратно, какие бы терзания не сопровождали её.

Бледно-янтарное полотно расширилось, словно разбавленное светом; под ним лежала серость тумана, а над ним плотная синева, но не неба, а тучи. И такой тихой, такой покорной, такой печальной и одинокой была его душа, что Хелен, казалось, навсегда лишившаяся сердца, вдруг почувствовала, как оно наполняется из глубинных источников и рвётся наружу. Из глаз её ручьями полились слёзы. И из-за чего? Из-за осветившегося неба! Так может, в мире всё же есть Бог, знающий, что такое печаль, и это Он развернул в небе Свои скорбные знамёна, чтобы протянуть неутешной душе руку сочувствия? Или это всего лишь безбожная игра света, которую сердце окрасило в цвета своего горя? Или, если человеческое сердце, явившееся ниоткуда, могло страдать, то, может, и природа, явившаяся ниоткуда, тоже могла страдать вместе с ним, согласно откликаясь на невыразимые несчастья человечества? Получается, что либо человек является созидательным центром мира, и весь смысл, который он усматривает в природе, – это лишь отражение его собственного лица в зеркале атмосферы, спроецированной им самим, и никакого утешения просто нет; либо человек – не центр вселенной, хотя она несёт в себе формы, цвета и элементы его разума; и тогда – о ужас! – он является единственным сознательным существом и объектом гигантской насмешки бессмысленной природы над мыслящим человеком! Розовое или шафранное, небо лишь издевается над ним и строит ему гримасы, а он остаётся самой жуткой пародией из всех, потому что одновременно не только насмехается сам и служит предметом для насмешки, но и мучительно корчится от всего этого издевательства. Люди вроде Баскома скажут мне, что всё представляется им совсем не так; я же, по самой лучшей причине на свете, отвечу, что это действительно не так.

Сомнения не удержали Хелен от слёз, хотя обычно они мешают человеку плакать: перед глазами у неё было кроткое и грустное небо, а глубоко в сердце – озеро слёз, которые теперь, вырвавшись наружу, не желали останавливаться. Она не знала, почему плачет, не знала, что именно сочувствие бледно-янтарного печального смирения принесло

ей облегчение. Она плакала и плакала, пока сердце её не начало понемногу оживать, а слёзы не полились прохладнее и свободнее.

– Ах, Польди! Мой милый, родной Польди! – невольно воскликнула она и упала на колени – не для того, чтобы поклониться небу и не для того, чтобы воззвать к Польди или молиться за него, да и вообще не для того, чтобы молиться; и всё же, пожалуй, это был не только сиюминутный порыв, порождённый старой детской привычкой произносить молитвы на коленях. Однако в следующий миг лицо её омрачилось. Ведь Польди больше нет! Она встала, начала беспокойно ходить по комнате, и неожиданно Леопольд словно живой восстал в её душе. Но что это? Её несчастный брат был одет в лохмотья всех недобрых и несправедливых мыслей, какие она когда-либо таила о нём в сердце, а на лице его так же ясно отражались её дела, которые были ещё хуже! Она закрыла ему путь к единственному оставшемуся для него источнику покоя, утешения и надежды, и он обрёл всё это только благодаря своим друзьям, к которым она отнеслась с таким холодным бессердечием. И тут резвая память живо напомнила ей маленького, смуглого, робкого и дикого на вид индийского мальчугана, который лишь на мгновение устремил на неё нерешительный, вопрошающий взгляд, а потом кинулся прямо к ней объятья и прильнул к её груди. И как она оправдала его доверие? Конечно, она с самого начала приняла, укрыла и защитила его и готова была стоять за него до смерти, но в момент испытания оказалось, что она любит себя больше, чем его: ведь она готова была обречь его на мучения, только бы не навлечь на себя позор. Ах, Польди, Польди! Но нет, он уже не услышит её! Ей уже никогда, никогда не броситься к нему со словами сожаления и покаяния, не вымолить у него прощения и не рассказать ему, что теперь она увидела правду и поднялась над былой слабостью и себялюбием!

Хелен остановилась и грустно посмотрела в окно. Туман рассеялся, и янтарный покров над гробницей солнца стал ещё прозрачнее и чище. Она стремительно повернулась к кровати, где лежали её вещи, дрожащими руками надела шляпку и плащ, выбралась наружу через то же самое окно и спустилась в сад. Она невольно содрогнулась, когда отпирала калитку в тёмном,

полуподземном проходе, но уже через мгновение спешила по луку, и стылый воздух морозных сумерек, успевший стряхнуть с себя дневной туман, словно утешал и подбадривал её, давая ей силы. Рыжая корова всё так же жевала свою траву. Хелен остановилась и немного поговорила с ней. Эта корова тоже была для Польди другом, а Польди только что вернулся к ней в сердце, пусть даже ей никогда не суждено воочию обнять его, и теперь она спешила к одному из его лучших друзей, которых он, вполне заслуженно, любил даже больше, чем её и к которым она сама отнеслась совсем не так почтительно, как они того заслуживали и как хотел её брат. Быть рядом с ними означало для неё быть рядом с Польди. По крайней мере, она будет рядом с теми, кто любил его и кто, несомненно, продолжал его любить, веря, что он всё ещё жив. К священнику она пойти не могла, но могла пойти к Полвартам. Никто не осудит её за это – разве только Джордж. Но даже Джорджу она не позволит встать между собой и последней, пусть призрачной возможностью приблизиться к Польди! Она останется свободной женщиной и скорее порвёт все отношения с Джорджем, чем лишится хоть капли этой свободы! Она не будет для него глиной, из которой он сможет лепить всё, что ему заблагорассудится!

Она открыла калитку, вошла в парк, и каждый шаг навстречу друзьям Польди прибавлял ей силы.

Глава 26. Честный соглядатай

Когда она постучала в дверь сторожки, было уже почти темно. Ответа не было. Она постучала ещё раз, и ей снова никто не ответил.

Она готова была в отчаянии повернуть назад, как вдруг услышала голоса: а что если они разговаривают о Леопольде? Наконец, после нескольких бесплодных попыток, она услышала на лестнице детские шаги; однако и они прошли мимо. Её явно никто не слышал. Хелен постучалась ещё раз, и дверь немедленно распахнулась.

На пороге стояла Рейчел. При виде гостыи её лицо озарилось такой милой изумлённой радостью, что одинокая, несчастная Хелен при виде этого лучезарного участия начисто забыла о гордости и в порыве простой благодарности за безмолвное, но такое красноречивое радушие, наклонилась и поцеловала её. В следующий миг маленькие ручки обвили её шею, и Рейчел поцеловала её в ответ с такой кроткой лаской и сдержанной нежностью, которые удовлетворили бы самого привередливого критика подобных приветствий. Правда, Хелен к таковым не относилась: она почти никогда никого не целовала. Затем Рейчел взяла её за руку, отвела на кухню, пододвинула для неё кресло поближе к огню и сказала:

– Вы уж простите, но в гостиной огня нет, а джентльмены сидят у дяди. Ах, мисс Лингард, если бы вы только слышали их сегодняшние разговоры!

– А они говорили что-нибудь о моём брате? – спросила Хелен.

– Да они только о нём и говорят!

– А можно мне узнать, что это за джентльмены?

– Мистер Уингфорд и мистер Дрю. Они часто у нас бывают.

– А это тот самый... тот самый мистер Дрю, у которого лавка?

– Ага. Он один из лучших учеников мистера Уингфорда. Мистер Уингфорд привёл его к дяде, и с тех пор он часто к нам заходит.

– А я не знала, что... что мистер Уингфорд берёт учеников. Боюсь, я не совсем понимаю, что это значит.

– Просто в Гластоне появились люди, которым захотелось исправиться и жить иначе из-за проповедей мистера Уингфорда,

и мистер Дрю – один из них. В нашей церкви давненько не бывало ничего подобного; по крайней мере, я ничего такого сроду не помню.

Хелен вздохнула. Ах если бы и ей тоже стать ученицей мистера Уингфорда! Но как она может пойти за ним теперь, когда знает, что, в лучшем случае, всё его учение – лишь прекрасная сказка, порождённая разгорячённым воображением и беспокойной совестью? Джордж мог разложить всё это по полочкам. По его словам, религия неизменно возбуждала воображение и ослабляла совесть – да взгляните хотя бы на бесчисленные рассказы про Иисуса, придуманные в первом столетии христианской веры, и на прочие легенды про всевозможных святых! Конечно, случай с Леопольдом подействовал на Хелен совсем иначе, но все остальные факты оставались незыблемыми. Нет, как это ни печально, она не может стать ученицей мистера Уингфорда, потому что не может больше обманывать себя подобными утешениями. Но только как же быть с тем обещанием, «Придите ко Мне, и Я дам вам мир»?

– Как мне хотелось бы их послушать! – вырвалось у неё.

– Так пойдёте к ним! – воскликнула Рейчел. – Я знаю, что все они будут очень вам рады.

– Боюсь, что я только помешаю их разговору. Вы думаете, они смогут говорить так же свободно, как и без меня? Правда, я не знаю; может, им это совсем не мешает, – добавила она. – Только ведь присутствие незнакомого человека...

– Но вы же знакомы с мистером Уингфордом и моим дядей, – возразила Рейчел. – Да и мистера Дрю наверняка знаете.

– По правде говоря, мисс Полварт, я вела себя далеко не лучшим образом по отношению и к вашему дяде, и к мистеру Уингфорду. Я поняла это только сейчас, когда брата не стало. Они были ему настоящими друзьями! А я... Право, у меня такое чувство, будто всё это время во мне жил злой дух. Мне было нестерпимо видеть, что Леопольд любит и слушает их больше, чем меня. Ах, как бы мне хотелось послушать, что они говорят! Мне кажется, что тогда я пусть мимоходом, на мгновение, но всё-таки увижу Леопольда – почти увижу! Но мне стыдно показываться им на глаза, вот так, всем сразу. Я ни за что не смогу войти к ним в комнату!

Рейчел немного подумала и сказала:

– Тогда вот что: мы устроим всё так, что заходить туда вам не придётся. Между дядиной комнатой и моей есть маленькая кладовка. Я посажу вас туда, и вы всё прекрасно услышите. Перегородка там совсем тонкая, всего лишь старые доски.

– Но ведь это было бы нечестно!

– Это я возьму на себя и потом всё расскажу дяде. Бывает, что честные побуждения делают хорошим такой поступок, который обычно бывает плохим. Ведь вы будете слушать не для того, чтобы выведать наши тайны! Я буду сидеть в дядиной комнате, зная, что вы нас слышите, и тоже буду слушать; меня они никогда не прогоняют. Пойдёмте же, а то мы всё пропустим!

Хелен нетерпимо хотелось услышать, что говорят о Леопольде его лучшие друзья, но она всё равно колебалась: разве девушке из общества подобает так себя вести? И потом, она всё время будет трястись от страха, что её обнаружат. Посередине лестницы она торопливо потянула Рейчел за рукав и прошептала:

– Нет, лучше не надо! Я боюсь!

– Не бойтесь, – отозвалась Рейчел с такой готовностью и быстротой, что, должно быть, думала о том же, что и Хелен. – Послушайте сначала, что я им скажу, а потом поступайте, как хотите. И спасибо вам за то, что вы мне доверяете, – добавила она.

Когда они поднялись, Хелен дрожа остановилась у двери, а Рейчел вошла к дяде.

– Дядя, – сказала она, – ко мне пришёл друг, который очень хотел бы послушать ваш разговор, но по некоторым причинам не желает вам показываться. Вы не разрешите ему вот так, невидимо, присутствовать при вашей беседе?

– Этого хочешь ты, Рейчел, или тебя об этом попросили?

– Этого хочу я, – ответила она. – Очень, очень хочу! – если вы не против.

С этими словами она обвела их взглядом. Священник и мануфактурщик согласно кивнули.

– Ты хорошо об этом подумала, моя милая? – спросил Полварт.

– Хорошо, – отозвалась она. – И говорю вам, что вы можете говорить совершенно свободно, как будто вас не слышит никто, кроме меня. Мой друг будет сидеть вот там, в кладовке, и всё будет так, словно мы одни.

– Тогда я не против, – улыбнулся Полварт. – Пусть твой друг или подруга, кто бы это ни был, слушает, сколько угодно. Мы только рады.

Рейчел вышла к Хелен, которая уже подошла к двери кладовки и теперь благодарно уселась в ней, окружённая ароматом яблок и трав. Мужчины уже снова беседовали, словно их и не прерывали. Сначала они время от времени вспоминали, что их слушает кто-то посторонний, но к концу разговора совершенно об этом позабыли.

Глава 27. Что услышала Хелен

Хотя после того, что сказала мужчинам Рейчел, Хелен уже не сомневалась, что в дарованной ей вольности нет ничего бесчестного или неприличного, сначала ей было немного не по себе. Но вскоре ей почудилось, что она приложила ухо к двери в иной мир в надежде получить хоть какую-то весточку о Леопольде, и тогда она вовсе позабыла про себя и успокоилась. Однако какое-то время разговор казался ей совершенно непостижимым. Она понимала отдельные слова, фразы и даже некоторые предложения, но общий смысл оставался для неё тёмным, и попытаться уловить его было всё равно, что проследить в небе целую радугу лишь по коротеньким её обрывкам, возникающим то там, то тут, и почти сразу же исчезающим. Говорил, главным образом, Полварт. Уингфорд довольно часто отвечал ему; время от времени в разговор вступал мистер Дрю, а Рейчел лишь изредка вставляла слово-другое. Наконец в непонятной сумятице разговора Хелен начала различать проблески рассвета, и первым его лучиком стали слова мануфактурщика:

– И всё-таки я никак не пойму, – сказал он, – почему, если жизнь после смерти всё-таки есть – а я искренне надеюсь, что так оно и есть! – мы так мало о ней знаем. Признайтесь, мистер Полварт, и вы, мистер Уингфолд, – умоляюще проговорил он, – неужели вам не кажется странным, что наши родные и друзья (если они действительно продолжают жить дальше) так безвозвратно и окончательно уходят от нас, как только перестают дышать, – так окончательно, что с того момента нам не видно ни единого признака или намёка на их существование? Ни природа, ни Библия, ни Бог ничего не рассказывают нам о том, как они живут, где обитают и почему молчат – а ведь будь им позволено говорить, молчать с их стороны было бы жестоко; значит, обратиться к нам они не могут. Вот мы и остаёмся, не только с разрывающимися сердцами, но и с колеблющейся верой, не зная, куда бежать от страшной пустоты, которая самим своим молчанием вопит нам прямо в уши, что мы всего лишь прах и в прах возвратимся!

Полварт и Уингфолд обменялись удивлёнными и радостными взглядами, слыша такое красноречие, но Полварт незамедлительно откликнулся.

– Я согласен, что это и вправду было бы странно, не будь тому веских причин.

– Вы хотите сказать, что покуда мы не выясним или не придумаем вескую причину тому, почему эта тайна окружена столь непроницаемой мглой, мы вольны сомневаться в том, есть ли в этой мгле жизнь? – спросил Уингфолд.

– Я бы мог так сказать, – ответил Полварт, – не будь у нас рассказа об Иисусе. Если мы верим тому, что про Него написано, этого вполне достаточно, чтобы убедить нас и в реальности жизни после смерти, и в том, что есть веские причины тому, что эта жизнь отгорожена от нас завесой тайны, даже если понять эти причины мы пока не в силах.

– Но ведь нам не запрещено пытаться их понять? – снова спросил Уингфолд.

Всё это время лавочник с явным беспокойством поглядывал то на одного, то на другого.

– Конечно, нет, – улыбнулся маленький привратник. – Для чего же ещё нам дано воображение, как не для того, чтобы открывать те

веские и благие причины, которые существуют на самом деле, или изобретать не менее веские и благие причины, которые вполне могут быть?

– Тогда, может, вы придумаете вескую причину тому, почему мы совершенно ничего не знаем о том, что происходит с духом умершего с того самого момента, когда он покидает нас и своё земное жилище?

– По-моему, одну такую причину я могу назвать и сейчас, – ответил Полварт. – Порой мне кажется, что, оставаясь в жилище ветхого тела, мы просто не способны составить сколь-нибудь верное представление о нынешнем существовании умерших, и чтобы понять его, нам тоже необходимо облачиться в новые тела, которые по сравнению с этими – всё равно, что дом по сравнению с палаткой. Вряд ли у нас найдутся слова, способные передать и описать эти новые факты, ведь они находятся за пределами тех физических чувств, которыми мы сейчас обладаем. Я думаю, что наши воскресшие тела будут оснащены новыми, иными чувствами. Кто знает, может быть, нам понадобится множество новых чувств, чтобы увидеть и воспринять всю полноту реальности Бога, которую Он покамест скрывал от нас за так называемыми свойствами материи? Кто знает, может, в тех пространствах, которые раскинулись вокруг нас и кажутся пустыми тем, кто обладает лишь земным, человеческим восприятием, обитают целые небесные воинства? Но мне не хочется пускаться в подобные догадки. Всё это касается низших сфер; а как можно тратить время и силы на низшее, если есть куда более возвышенные нивы, где я непременно отыщу отборную пшеницу, даже если не найду того ячменя, ради которого пришёл?

Но вернёмся к той самой веской причине, о которой я говорил. В жизни каждого человека есть тысячи отдельных событий, посредством которых Бог завладевает его вниманием; тысячи щелей, в которые Он стремится проникнуть и проникает, даже если сам человек ничего об этом не знает. Но есть одно универсальное и неизменное средство, посредством которого Бог держит власть над человеческим родом, но не над всем родом вместе, а над каждым отдельным человеком, составляющим его часть, – и средством этим

является тайна смерти. В конце концов, куда бежать человеку, умирающему в полном одиночестве и не знающему, куда он уходит, и где найти убежище от одолевающих его страхов и сомнений, как не у Отца всей его жизни?

– Но почему нельзя хоть немножечко приоткрыть нам эту тайну? – спросил мистер Дрю. – Хотя бы для того, чтобы мы уверились, что после смерти точно что-то есть? Какой от этого вред?

– А вот какой, – ответил Полварт. – Как только их страхи чуть-чуть успокаиваются благодаря обыденным, земным надеждам, люди неизменно отворачиваются от источника жизни, от вечно свежих и чистых потоков изначальной, созидательной Любви к искусственно вырытым и наглухо запертым водоёмам. Тысячи людей благополучно позабудут о Боге, если кто-то пообещает им, что после смерти их ожидает вполне сносное существование – хотя бы не хуже того, что сейчас. Это очевидно уже из того, что главные сомнения наших современников насчёт религии касаются именно того, есть ли жизнь после смерти. И хотя этот вопрос, несомненно, связан с верой – а какой стоящий вопрос с ней не связан? – чаще всего его задают по совершенно иным причинам. Уверьте таких людей, что они будут жить вечно, – и что они от этого приобретут? Наверное, им станет чуть спокойнее, но покой этот придёт далеко не из высшего источника и, скорее всего, придёт слишком рано и потому не принесёт им блага. Станут ли они в результате ближе к Богу? Заполнит ли Он ещё один пустой уголок их сердец? Ведь уверенность в бессмертии не была для них плодом познания Бога, а без Него вечная жизнь – хуже самого пустого ничтожества. Так что выиграли они мало, а потеряли много.

И потом, вспомните слова, которые Господь в Своей притче вложил в уста Авраама: если не хотят слушать Моисея и пророков, то не станут слушать и воскресших из мёртвых. Господь не говорит, что эти люди не поверят в само загробное существование – хотя, скорее всего, быстро убедят себя в том, что явившийся к ним призрак был обыкновенной галлюцинацией. Нет, Он говорит, что даже друзья, воскресшие из мёртвых, не смогут уговорить их покаяться; а без этого, какая разница, верят они в грядущую после смерти жизнь или нет? Нет, мистер Дрю. Я убеждён, что человека от его несчастий спасает

не уверенность в бессмертии, а вера в Бога жизни, Отца светов, Бога всякого милосердия и утешения. Веруя в Него, человек может с неколебимой уверенностью оставить и своих друзей, и их бессмертие, и собственную судьбу, и всё остальное – даже собственную любовь и святость! – в Его руках. Пока жизнь не войдёт в нас, нам не видать покоя. А что есть жизнь, покой и уверенность, как не живой Бог, обитающий в сотворённом Им сердце и осеняющий его славой Своего общения? Только это и ничто другое утолит нашу подлинную жажду.

Глава 28. Что ещё услышала Хелен

– На днях после нашего разговора, – сказал Уингфорд, – я задумался об одном примечательном факте: о том, что, отвергнув Бога, человечество перестало верить и в бессмертие. Правда, логики я тут не вижу: если здесь мы живём без Бога, почему после смерти нельзя точно так же продолжать жить без Бога? Просто удивительно, что пока никто не подхватил и не развил эту идею. А ведь как бы обрадовались некоторые, если бы им не только сказали, что нет никакого Бога, который вмешивался бы в их жизнь и требовал, чтобы они стали приличными людьми, но и уверили, что даже без Него они всё равно бессмертны, и смерть – это лишь рождение в новый мир, где всё будет куда счастливее, возвышеннее и лучше!

– Я знаю, по меньшей мере, одного человека, для которого эта мысль совсем не нова, – откликнулся Полварт. – В рукописи моего брата есть один отрывок, где говорится именно об этом. Вы ещё не дошли до него?

– Пока нет. Я читаю очень медленно, чтобы подобрать всё до единой крошки. Жаль, что рукопись у меня дома. Было бы просто замечательно, если бы вы снова что-нибудь прочли нам оттуда.

– Что ж, это легко устроить, – сказал Полварт, вставая и подходя к сундуку. – В своё время я переписал её от начала до конца – отчасти для того, чтобы ненароком её не лишиться, а отчасти из желания как можно лучше понять размышления брата.

– Так почему же тогда вы отдали мне подлинник? – удивлённо спросил Уингфолд.

– Если бы я не мог доверить вам подлинник, то не стал бы доверять и копию, – улыбнулся Полварт. – И потом, до сих пор я ещё никому не давал ни того, ни другого... А этот отрывок, – продолжал он, перелистывая страницы, – кроме всего прочего, дорог мне ещё и тем, что в нём особенно хорошо видно, что, несмотря на безумие, мысли моего брата всё равно витали возле врат мудрости. А-а, вот и он! Вот, послушайте.

“Примерно в то же время мне было ещё одно странное видение, в теле или вне тела, не знаю. Мне показалось, будто я умер – и сразу же почувствовал дивную свободу от грубых и громоздких одеяний, которые носил до сих пор, потому что теперь я был облачён лишь в то, что до сих пор служило мне нижним платьем, куда более плотно прилегавшим к телу. Первой радостью, которую я ощутил, была прохлада, приятная и безболезненная, словно прохлада росистого летнего вечера с мягким, ласковым ветерком. Это была прохлада полного благополучия, здоровья, наступающего после болезни, когда крепкий сон каменной стеной отодвигает от нас лихорадку; прохлада несомненной истины и любви, преодолевшей страсть, а посему ставшей вдесятеро истиннее”.

– Далее он углубляется в описание своих ощущений, – сказал Полварт, подняв глаза от страницы, – и сокрушается о том, как тщетны все попытки передать эти новые чувства. Но всё это вы потом прочтёте сами, мистер Уингфолд.

“Однако где именно я оказался, я не знал. С точностью я мог утверждать лишь одно: «Я здесь»; но если подумать, то и прежде я никогда не мог сказать ничего большего. Постепенно глаза мои прояснились (а может, просто стало светлее), и я увидел, что вокруг меня простирается райский сад, пышный, но изумительно изящный. Описать его не под силу ни одному из хромлящих земных языков, хотя все они мне

известны, а многие из них я знаю очень хорошо. Допустим, я скажу, что лиловое море лучистым светом выплёскивалось на изумрудный берег; но стоит мне написать эти слова, и я вижу, что они грубые и топорные, как первый ученический этюд. Однако ничего лучшего у меня нет, а как ещё мне рассказать о том, что наполнило мой взор небесным блаженством?

Обитателей здесь было много, но никто из них не теснил другого. Сад был обширным и просторным, а его пустынные, укромные места явно считались священными и предназначались для уединения... А какие там были цветы! Какие птицы! И, прежде всего, какие красивые люди! Жили они в мире и согласии, но мне показалось, что их лица осеняет лёгкая дымка, словно первое облачко грядущей тревоги”.

– Вы уж простите меня, если я буду пропускать целые куски, – сказал Полварт, снова на секунду прерываясь. – Просто я хотел бы как можно быстрее дойти до главного.

Он перевернул страницу и опять принялся читать.

“ – Скажи мне, господин, – спросил я у него, – где мне отыскать Бога, чтобы сказать Ему, что я здесь?

– Прости, чужестранец, но я вполне не понимаю, о чём ты, – ответил он. – Поясни, что ты хочешь сказать.

Целый час я стоял, словно лишившись дара речи от изумления, но потом сказал:

– В том мире, откуда я пришёл, я всю свою жизнь надеялся, что смерть приведёт меня к Богу, и вот...

Но не успел я договорить, как совесть горько обличила меня: разве в прошлой жизни я то и дело не отходил от веры, не отрекался от Бога? Так может, это и есть моё наказание – что я никогда, никогда не найду Его? Сердце моё оборвалось, я похолодел, и кровь застыла у меня жилах. Тут мой собеседник заговорил и сказал:

– Да, я слышал и читал в древних книгах, что раньше люди действительно верили в того, кто выше и больше их, и обитает в них, и создал их такими, какие они есть, и продолжает делать их всё лучше и лучше. Не знаю; может быть, мы уже достигли всякого совершенства, так что

ничего лучшего просто нет и нам уже не нужно ни к чему стремиться, – но только мы уже давно перестали во всё это верить и познали, что всё в мире есть так, как было всегда и как останется навеки.

Его слова ледяным камнем упали мне в душу, и я больше ни о чём не спрашивал его, потому что с той минуты внутри меня зародилась смерть, и я носил её, как женщина носит неродившееся дитя.

«Неужели Бога нет?» – ужаснулся я про себя и, убежав подальше от людей, вскричал в голос:

– Неужели Бога нет? Нет, прежде чем поверить в это, я переверну всю вселенную, попытаюсь найти Его, и буду всё время громко звать Его. Если же я и тогда не найду Его...

Тут душа моя совсем было обессилела и отчаялась, но я расправил крылья и взмыл ввысь на поиски Бога. Ибо чем прекраснее было то, что предстало моим глазам, чем роскошнее по форме и цвету, чем изумительнее по внутреннему закону своего существования, тем острее боль пронзала мне сердце: ведь если то, что я услышал, вдруг окажется правдой, значит, в мире нет Любви, которая, как я думал, является душой всякой красоты, и всё его величие – лишь плод моей собственной фантазии, алчущей несуществующего совершенства. Нет Бога! Нет Любви! Нет красоты! – а есть лишь гнусное её подобие, тем более гнусное, что так походит на истинную красоту, но любить его значило бы развращать свой дух. Тогда Небеса и впрямь становятся выдуманной сказкой, а преисподняя превращается во всеобъемлющий факт. Ибо в душе я твёрдо знал, что смогу обрести покой лишь тогда, когда сам воздух моей жизни, движения и существования будет любовью, живой любовью, единым божественным присутствием, истиной для себя и любовью ко мне и ко всем, кто нуждается в любви, вплоть до самого убогого существа, которое только и способно нуждаться и, даже получая желанное, не осознаёт этого. Я знал, что если любовь не есть всё во всём, в реальности и в воображении, то жизнь моя – это тоскливая, зияющая пустота в форме жизни, и потому её вечный голод не утолить ничем и никогда. Тогда я снова расправил крылья (только уже не надежды, а отчаяния, хотя такие же крепкие), полетел – и узнал, что отчаяние – это не что иное, как невидимая сторона надежды”.

– Дальше он повествует о своих странствиях в поисках Бога, – сказал Полварт, перелистывая страницы. – Он рассказывает, как и где искал Его и спрашивал о Нём, пытаясь отыскать Его в близком и малом так же усердно, как в дальнем и большом, пристально приглядываясь к мельчайшим семенам жизни и восседая в величественных залах, но всё напрасно. Никакого Бога не было. Наконец, он говорит вот что:

“И мне показалось, что как был я скитальцем не земле, так теперь мне суждено стать скитальцем на небесах. На земле я блуждал в поисках смерти, и люди называли меня Вечным Жидом. На небесах я блуждал в поисках Бога: как же назовут меня теперь? Сердце моё полностью отчаялось и поникло, я сложил крылья и сам начал опускаться и сникать, пока через долгие, долгие годы не опустился на место, назначенное мне для обитания, – туда, где я когда-то очутился впервые после смерти. Я изнеможённо упал и заснул.

Проснувшись, я повернулся на бок, не в силах вновь посмотреть в глаза жизни, которая не была подвластна ни мне, ни Тому, Кто приходился мне Отцом, и потому казалась мне злым деспотом, – и неожиданно увидел рядом с собой полевую лилию, какие бывало росли при дороге между Иерусалимом и Вифанией. С самого дня смерти я не видел ничего подобного. Душа во мне встрепенулась, ожила, и я горько заплакал от того, что всё это – лишь призрак, что нет никакой истины, и мир совсем не такой, каким казался мне в прежние времена.

Но тут сквозь рыдания я услышал как будто шелест многих слёз, открыл глаза и увидел, что на мою лилию, словно из сосуда, льются струи воды! Я поднял взгляд и увидел сосуд и державишую его руку. Поливавший лилию стоял рядом и пристально смотрел на меня. Он был обычным человеком из того мира, где растут лилии, одет был просто и походил на садовника. Я взглянул ему в лицо и обомлел: на меня смотрели глаза Господа Иисуса! Сердце моё словно взорвалось, наполнив и голову, и всего меня, и из груди моей вырвался дикий вопль нестерпимой радости. Я не мог подняться, не мог вымолвить ни слова, но, напрягая все силы, всё-таки подполз к Его ногам и, упав лицом на землю, своими руками поставил Его ногу себе на голову.

– *Господь мой!* – выкрикнул я, на мгновение обретя дар речи, и с этим словом жизнь покинула меня.

Когда я очнулся, Господь сидел под деревом. Я лежал рядом, голова моя покоилась у Него на коленях, а весь мир вокруг ликовал, ибо Любовь была Любовью и Господом всего. Море ревело, и его бушующей полнотой была любовь, и все его лиловые, золотые, синие и изумрудные переливы явились прямо из незримого алого сердца Господа Иисуса. Я зажмурился от счастья, позабыв о том дне, когда эти глаза впервые посмотрели на меня: мне казалось, что я знаю их с самого рождения. Но не успел я блаженно сомкнуть ресницы, как вдруг передо мной встал мой грех, и я вспомнил всё. Тогда я поднялся, встал перед Ним на колени и сказал:

– *Господи, я еврей Агасфер, тот самый, что не позволил тебе положить Твой крест на порог своей лавки, но прогнал Тебя прочь.*

– *Довольно об этом, – ответил Господь, – ибо Я положил Свой крест в твоём сердце и обрёл в нём покой. И хотя Я не забыл твоего греха, сотворённого по неведению, для него есть нечто лучшее, чем забвение, ибо теперь Я вспоминаю о нём в любви. Так что и ты не суди строго тех Моих братьев, которые, как когда-то ты сам, не ведают, что творят. Пойдём. Я отведу тебя к той, то ради тебя погибла в пылающем огне.*

– *Господи, – взмолился я, – не оставляй меня! Ты знаешь: теперь я и сам с радостью умер бы за неё, но не хочу даже смотреть на неё, если любовь к ней заставит меня любить Тебя хоть на волосок меньше!*

Господь улыбнулся мне и сказал:

– *Не бойся, Агасфер. Моя любовь объёмлет и приемлет к себе всякую любовь. Я не боюсь этого; не бойся и ты.*

Я встал и пошёл вместе с Ним, и все деревья, цветы, все облака и камни, вся земля, море и небеса были полны Бога, живого Бога, и я почувствовал, что вот-вот умру от неизъяснимого, чистого блаженства: я следовал за своим Господом”.

Привратник замолчал. Молчали и все остальные. Наконец Рейчел тихонько встала и, утирая глаза, вышла из комнаты. Но в кладовке никого не было. Хелен уже спешила через парк, и всё лицо её было залито слезами.

Глава 29. Окончательное решение

На следующий день было воскресенье. С начала моего повествования не прошло и двенадцати месяцев, но перемены, произошедшие не только в воззрениях, но и в сердце, в душе, в самом существе молодого священника, теперь стали очевидны даже ему самому, хотя их корни таились не только в глубине его внутреннего человека, но и в иной, внешней глубине, в самом источнике его существования. Ещё год назад у него не было, да и не могло быть ни малейшего предчувствия, ни даже самого туманного представления о том, какими станут его мысли и вся его жизнь. Ему пришлось нелегко, но всё это более чем стоило того, что он приобрёл, ибо он сбросил с себя путы брэнной жизни, вырвался из скорлупы тления и стал одним из тех, над кем вторая смерть не имеет власти. Муки второго рождения остались позади, и он снова был ребёнком – да, пока всего лишь ребёнком, но ребёнком Божьего Царства. Весь мир, и всё, что любил в нём Бог, принадлежали ему так безраздельно, как не принадлежит скряге даже собранное им золото. Вся сотворённая вселенная и её нетварное начало лежали перед ним в бескрайней щедрости изначальной Мысли. «Всё ваше; вы же – Христовы, а Христос – Божий»: теперь эти слова были ему столь же понятны, как и тому, кто их написал, но всем мудрецам сего мира не уловить их сути, покуда они не станут немудрыми, чтобы тем самым начать обретать мудрость.

В то же самое время ему угрожала великая печаль из иного, не менее таинственного измерения его отношений с человечеством. Но он знал, что если это измерение и даже самые непостижимые его заботы не подвластны обитающей в нём Жизни, значит, эта Жизнь не есть истинный Бог, и тогда всё – сплошной обман, потому что его любовь к Хелен не была выдумкой или творением его ума или сердца; а если так, то кто задумал и сотворил её? Уж конечно, не Тот, Кто не способен поддержать его, если эта любовь перехлестнёт все свои границы и задумает сбить его с ног! Ведь она тоже принадлежит Богу его жизни. Воистину, Он был бы людям плохим Богом, если бы Ему

не было дела до глубоких, благоговейных таинств, свершающихся между ними. Поэтому, даже посреди своих худших опасений за Хелен (и здесь я имею в виду вовсе не терзания при мысли о том, что ему никогда не добиться её любви: сознательно он ещё ни разу не думал, что это ему когда-либо удастся) – в те дни, когда он явственно видел в ней послушную ученицу Джорджа Баскома и ему казалось, что эти двое не прочь вместе удалиться «в мрачное место с тёмными горами и пропастями»⁵⁸; когда он видел, что она, способная на благороднейшие чувства и мысли, подчиняет свой разум самым убогим, низменным и ничтожным теориям жизни, выбрав в проводники того, кто никак не мог привести её к подлинному благоденствию и у кого не было должной провизии на тяжкие и беспокойные времена или те дни, когда здоровье и сила покинут её; когда он видел, что она принимает философию, которая не разовьёт, а только иссушит её личность, сокрушив и придавив её воображение громадным обломком скалы, какого не приходилось держать даже титану, и стиснет живущую в ней прекрасную женщину до размеров пигмея, – даже тогда ему хватало силы сказать себе: «Она принадлежит не мне, а Богу, и Бог любит её куда больше, чем я мог бы любить её!» Если она последует за своим слепым провожатым, это будет лишь первый день её долгого пути – по болотным трясинам и сухим пескам, за которыми всё-таки высятся синие горы, прячущие за собой высокие равнины сладостного покоя. Так он пытался успокаивать себя и довольно успешно, так что душа его, хоть и не желая довольствоваться таким ходом событий, всё же утихала. До подлинного принятия и довольства (которое, каким бы оно ни выглядело сначала, человек обретает только от руки Божьей) ему было ещё далеко. Жаль, что люди с таким трудом верят в существование Божьей воли, «благой, угодной и совершенной»⁵⁹. Те же, кто верит в неё, обретают в ней всю радость сознательного избавления.

В это воскресенье Уингфолд взошёл на кафедру, чтобы наконец-то объявить о своём решении. К счастью, церковные власти в дело так и не вмешались. Епископу ничего и не сообщили, а если до старшего священника прихода и дошли какие-то слухи, он никак на них

58 Дж. Буньян, «Путешествие пилигрима», гл. 7, «Свет на востоке», 1991, стр. 55.

59 Рим. 12:2.

не отреагировал. Никто из прихожан (даже миссис Рамшорн) ни разу не намекнул Уингфорду, что ему следует оставить свой пост. Решение оставалось только за ним, и сегодня он сообщит своей пастве, в каком выводу привели его долгие и трудные размышления и искания.

– Друзья мои, – начал он, – теперь, когда я могу это сделать, настала пора покончить с неопределённостью насчёт наших дальнейших отношений, которую я, по своему душевному и духовному состоянию, вынужден был объявить весной этого года. Тогда, из страха перед неподкупным и всеведущим Богом, я заставил себя нарушить привычные устои церковной проповеди и поведать вам о своих самых сокровенных мыслях. Я признался, что не уверен ни в одной из тех доктрин, в которые изначально полагается верить всякому священнику, но решил не покидать своей должности, чтобы кто-то ненароком не подумал, что я не верю в те постулаты, которые мне и тогда хотелось считать истинными. Вы же, друзья, не беспокоили меня ни жалобами, ни увещаниями, ни наставлениями, предоставив мне именно то, в чём я более всего нуждался: время на размышления. С тех самых пор я честно старался делиться с вами всем, что находил и видел сам, хоть и не осмеливался заявлять о какой-либо твёрдой уверенности. Таким образом, те, кому были небезразличны мои искания, всегда могли видеть ход и развитие моей мысли. Настало время сообщить вам то практическое решение, к которому я пришёл.

Но даже если сейчас я говорю, что не собираюсь оставлять пост священника, и уж тем более не собираюсь отказываться от права и обязанности учить вас всему, что знаю, мне не хотелось бы, чтобы у вас сложилось впечатление, что я достиг той убеждённости и уверенности, из-за отсутствия которых я, собственно, и начал свои поиски. Я могу сказать только одно: в жизнеописании Иисуса я увидел несказанное величие, явно выходящее за пределы человеческих измышлений, несравненное сияние красоты и истины и дивную надежду для людей, недостигаемо парящую над всеми западнями Фатума. В то же самое время попытки исполнить те слова, которые, как утверждают евангелисты, были записаны за Самим Христом, так укрепили мой разум и углубили нравственную силу, так отточили мой идеал и упрочили во мне веру, надежду и милосердие ко всем людям, что

сейчас я от всей души, всем своим существом заявляю, что решил навеки встать в ряды служителей Распятого. Даже если всё это обман, я готов обманываться вместе с ними, потому что для меня это – истина о Боге всех людей. На Евангелии моего Господа я стою или падаю. Я готов рискнуть – и говорю так не из дерзости, но единственно из желания остаться честным. Неважно, какой успех или поражение ждёт меня в этой жизни и жизни грядущей, если таковая есть: я готов поставить свою жизнь на слова и волю Господа Иисуса Христа. И если, несмотря на всю истинность природы, совершенную любовь и бесконечное могущество, которые я в Нём вижу, я когда-либо откажусь Его слушаться, то не только буду достоин гибели, но сам, своим отказом повиноваться, навлеку эту гибель на свою голову. Я готов сказать перед Богом, что лучше претерплю распятие с этим Человеком, будучи Его учеником, а не вором, кто не дверью входит во двор овчий, но перелезает инде, чем стану вместе с Ним править таким величественным царством, которое утолило бы даже воображение и смелые надежды Его матери. Надеюсь, что всё это даёт мне основание назвать себя учеником Сына Человеческого и с новой силой и углубившейся – да что там! с бесконечной надеждой, которую Он мне даровал, – посвятить свою жизнь Его братьям и сёстрам, живущим в моём мире, чтобы, если возможно, приобрести некоторых из них и помочь им причаститься к блаженству этой надежды. С сегодняшнего дня я не просто принимаю на себя духовный сан, но подчиняюсь духовному господству Христа Иисуса, чья воля есть закон свободы, и лишь исполнение этого закона освобождает человека от рабства, кроющегося в его сердце.

И если кто-то скажет, что, не имея абсолютной уверенности, я не имею права занимать этот священный пост, я отвечу: пусть тот, кого осаждали такие же сомнения, как и на меня, и кто из цитадели своей веры уже не видит за стенами ни одной вражеской тени, – пусть тот человек первым бросит в меня камень! Только всё это пустые слова: разве такой человек когда-нибудь бросит камень в мужчину или женщину? Но пусть те, чья вера состоит лишь в отсутствии сомнений, кто никогда не любил то, во что верит, достаточно для того, чтобы хоть раз испугаться от мысли: «А вдруг это неправда?» – пусть такие люди

не швыряют в меня ни речной галькой, ни обломками скалы закона: их камни просто упадут к моим ногам, не причинив мне ни малейшего вреда!

Всё, друзья! Больше я не буду говорить с кафедры о себе. Вы терпеливо ждали, пока я пройду через свои испытания, и за это я очень вам благодарен. Тех же из вас, кто не только терпел, но и страдал, а сейчас радуется вместе со мной, я благодарю в сто крат. Я почти закончил. Позвольте мне лишь обратиться с одним словом к тем из вас, кто называет себя христианами.

На наши берега с сильным ветром и мощным прибоем наступают волны неверия. Кто в этом виноват? Бог здесь не причём; не причём здесь и неверующие – ведь они просто остаются такими, какими были всегда. Виноваты в этом христиане. Я говорю не о тех, кого считают христианами другие, но о тех, кто сами называют и считают себя христианами. Вы являете миру столь иссохшее, истощённое, жалкое, мёртвое представление о христианстве, и остаётесь столь убогими верующие (если вообще верующими) и исповедуете столь низкопробный идеал, совершенно не похожий на благородного, милостивого, великодушного Иисуса, что это ВЫ, а не кто иной, повинны в том, что терпеливая истина опускает голову, а не выступает победным маршем на белом коне, чтобы завоевать мир. Вы угашаете её блеск в человеческих глазах; вы искажаете её дивные пропорции; вы выставляете её не такой, какая она есть, заменяя её фальшивой подделкой, но продолжаете называть себя её именем. Вы уже не соль земли, но соль, потерявшая силу, ибо прежде ищите всё остальное, к чему уже никогда не приложится ни Божье Царство, ни правда его. Так вот, пока вы не покаетесь и не уверуете заново в лучшего, более благородного Христа – в того Христа, каким Он Сам открыл нам Себя, а не в тот смутный, затуманенный образ, слегка напоминающий человека, но уж никак не Бога, который подсунули вам лживые толкователи, – повторю вам, пока этого не произойдёт, вы по-прежнему останетесь главной причиной того, почему в мире так мало веры, а её враги потопом наводняют землю. Уж лучше бы, ради того, чтобы истина разошлась по свету и попала в более светлые умы, чем ваши, вы присоединились к стану врага и во всеуслышание объявили то, что, боюсь, и без того

является правдой: что вы вообще ни во что не верите! Но верите вы хоть сколько-нибудь, или нет, одно остаётся фактом: пока вы не принадлежите к числу тех христиан, которые повинуются слову своего Господа, ИСПОЛНЯЯ то, что Он говорит, вы остаётесь в рядах тех христиан (если уж вы настаиваете, чтобы вас называли именно так), которые однажды услышат от Него: «Я никогда не знал вас; изыдите от Меня в тьму внешнюю!» Хотя бы тогда церковь избавится от вас, и те, кто честно сомневается, обретут свободу вдохнуть дивный, свежий воздух присутствия Христова.

Но какое несказанное блаженство сердца, разума, души и чувства ожидает тех, кто подобно Павлу распинаются со Христом и уже не живут сами, но черпают вдохновение, знания и силу в том самом доверии Отцу, которым жил и творил Отцовскую волю Сам Иисус! Если слова, приписываемые Иисусу, действительно являются словами Того, Кем Он Себя называл, тогда людей воистину ждёт славное будущее – и прежде всего потому, что у них есть Бог, неизмеримо великий и безупречный в совершенстве Божества: ведь именно в этом и только в этом заключается высшее блаженство всех Его созданий!

Глава 30. Хелен просыпается

В то воскресенье обед в особняке прошёл очень тихо. Кроме домашних за столом была лишь старая знакомая миссис Рамшорн, такая же ярая ревнительница церковных установлений. О чём они говорили наедине, я не знаю, но за обедом никто произнёс ни единого слова ни о мистере Уингфолде, ни о его проповеди.

Хелен уже выходила из столовой, когда Баском шёпотом попросил её одеться потеплее и спуститься с ним в сад. Она с сомнением взглянула в окно. На улице было холодно, но солнечно, так что погода была тут не причём: просто ей нужно было подумать. Она плотно

сжала губы – и согласилась. Джордж видел, что ей не хочется идти, но объяснил это нежеланием сестры радоваться жизни теперь, когда её брату уже не увидеть солнца, и решил, что подобным сентиментальным глупостям потакать не следует.

Когда кипарисы и самшиты заслонили от них дом, он предложил Хелен взять его под руку, но она предпочла остаться свободной. Зайти с ним в беседку она не отказалась, но села с противоположной стороны маленького столика. Однако Джордж по прежнему не замечал признаков надвигающейся бури.

– Очень жаль, но мне придётся изменить своё мнение об этом священнике, – сказал он, усаживаясь напротив кухни. – А ведь как хорошо он когда-то начал! Должно быть, взяли верх старые привычки, необходимость зарабатывать на пропитание и страх перед людским мнением. Что ж, ничего удивительного; с этим не справляется большинство людей. Значит, он всё-таки сломался. Очень и очень жаль. А я-то думал, что из него выйдет честный человек.

– Значит, вы, Джордж, окончательно пришли к выводу, что он нечестен?

– Вне всякого сомнения.

– Почему?

– Он продолжает учить тому, в чём, по его собственным словам, не вполне уверен.

– Но, по его собственным словам, это лучше, чем всё, в чём он уверен... Вот вы, Джордж, говорите мне, что Бога нет. Вы абсолютно в этом уверены?

– Да, абсолютно уверен.

– И на каких же основаниях?

– На тех самых основаниях, которые я излагал вам уже раз двадцать, моя милая Хелен, – ответил Джордж с некоторым нетерпением. – Давайте не будем говорить об этом сейчас. Как бы то ни было, в Бога мне поверить ничуть не легче, чем в какого-нибудь дракона.

– Однако поэты, сложившие старые баллады, вполне верили в драконов, а теперь геологи говорят, что когда-то подобные твари действительно существовали.

– А-а, вы бьёте меня моим же оружием! Хорошо, признаюсь, что аналогия неудачная.

– По-моему, она удачнее, чем вы думаете, – возразила Хелен. – Даже если что-то кажется нелепым вам или целой тысяче человек, это не значит, что оно действительно нелепо. Во все времена в Бога верили многие люди не хуже и не глупее вас, Джордж. Только, возможно, они думали о Нём совсем иначе, нежели вы, и, в отличие от ваших, их представления о Нём были вполне вероятными.

– Ей-богу, Хелен, вы заметно продвинулись в логике! Я чувствую себя весьма польщённым, ведь здесь у вас не было иного учителя, кроме меня! Право, скоро вы обгоните своего наставника!

Хелен слегка улыбнулась, но продолжала серьёзным тоном:

– В любом случае, Джордж, я могу возразить вам только одним: что если в конце концов, после всего вашего неверия, вдруг окажется, что Бог всё-таки есть, и даже вы не сможете в этом усомниться?

– Не беспокойтесь об этом, Хелен! – воскликнул Джордж, который думал совсем об ином и с нетерпением ожидал возможности об этом заговорить. – Я готов пойти на любой риск, и сейчас меня заботит только одно: согласны ли вы, Хелен, пойти на этот риск вместе со мной? Я люблю вас, я люблю вас всей своей душой!

– А-а, так значит, у вас всё-таки есть душа, Джордж? А я думала нет!

– Я понимаю, это глупое выражение, – ответил Баском несколько обескураженно, что, впрочем, было вполне естественно. – Но я говорю серьёзно, Хелен. Я действительно люблю вас!

– И долго ли вы будете любить меня, если я скажу вам, что не люблю вас?

– Право, Хелен, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Сегодня я вас совсем не понимаю. Может, вы на меня сердитесь? Тогда простите меня – хотя, признаться, я в полном неведении насчёт того, как, когда и чем я вас обидел.

– Тогда скажите мне, – продолжала Хелен, не обращая внимания на его явное недовольство и неловкость, – долго ли вы будете любить меня, если я полюблю вас в ответ?

– Всю вечность!

– Ещё одно глупое выражение?

– Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. Я буду любить вас до самой своей смерти!

– Только я, Джордж, никогда не смогла бы полюбить того, кто утверждает, будто однажды меня не станет навсегда.

– Но Хелен, – взмолился Баском, – такова жизнь! С этим ничего не поделаешь!

– Но вас это вполне устраивает, и вы охотно в это верите, обливая презрением любой намёк на возможность бессмертия.

– Да, но какая разница? Какое отношение всё это имеет к нам с вами? – воскликнул Джордж. Угроза потерять Хелен заставила его на минуту отбросить даже свою излюбленную теорию. – Если после смерти что-то есть, конечно же, я буду любить вас и тогда, пока это возможно!

– Только сейчас вашей любви не хватает даже на то, чтобы желать мне бессмертия! Но как бы то ни было, всё это имеет самое прямое отношение к тому, какой любви я могу от вас ожидать. Может быть, это всего лишь прихоть – в конце концов, я, как и вы, ничего не могу доказать! – но мне хочется, чтобы меня любили как бессмертную женщину, как дитя вечного Бога, а не как беспомощного ублюдка Природы!.. Простите, я забылась.

Чтобы благородная леди произносила подобные слова – да ещё Хелен! Джордж был потрясён до глубины души. Что же до всего остального, он был в полном замешательстве и потому не знал, что сказать. Хелен увидела это, на секунду рассердилась на собственную бестактность, но вскоре заговорила снова.

– Я безропотно слушала вас, Джордж, не зная, что при этом оскорбляю саму себя. Но это ничего. Это только придаст мне смелости честно сказать вам, что я думаю. Вы пришли просить моей любви сейчас, когда останки моего брата – по вашим словам, это всё, что от него осталось – гниют в земле! Если бы вы верили, что он жив и однажды я снова увижу его, тогда почему бы вам не заговорить со мной о любви: ведь где человек более всего нуждается в любви, как не на краю могилы? Но говорить со мной о любви тем же самым голосом, каким вы только что рассуждали о том, что могила – это конец всего, и мой

брат ушёл в неё навсегда!.. Вы уж простите меня, дорогой кузен, но я должна сказать, что мне это кажется просто непристойным! Что же до меня... Я не хочу любви, спокойно принимающей такой приговор! И не стану любить ни одного мужчину, зная, что, случись мне пережить его, моя любовь превратится в бесприютный поток, вечно падающий в бездонную пропасть. Зачем мне превращать своё сердце в ревущее горнило сожалений и самообвинения? Мне довольно воспоминаний о Леопольде. Лучше я сохраню свою свободу, лучше проживу жизнь, подобно какой-нибудь холоднокровной твари, и умру в собравшихся возле меня льдах. Но перед тем, как покорно принять эту участь, я сделаю всё, чтобы выяснить, в самом ли деле я должна, вслед за вами, поверить, что Бога нет, а моей хозяйкой и госпожой является Смерть, которая заберёт меня к себе, как забрала моего брата, но без малейшей надежды увидеть его.

Нет, дорогой мой кузен, мне нужен Бог, и если Бога нет, то откуда во мне эта нужда? Да, я знаю, вы скажете, что всё это можно объяснить, но ваши объяснения нагоняют на меня такую же тоску, как и то, чем вы пытаетесь утолить мою жажду. Я не самодостаточна, как вы. Я не могу жить без Бога. Я буду искать Его, пока не найду, либо пока не кану в бездну, где нет ни вопросов, ни ответов. В любом случае, тогда мой конец будет ничуть не хуже вашего начала – или нет! что я говорю? он будет куда лучше: ведь тогда я буду жить, не ведая о грядущем несчастье. Вы же хотите, чтобы я всю свою жизнь помнила о нём. Если, несмотря на все протесты наших душ против такой судьбы, мы и вправду рождены из ничего, то кому будет хуже, если мы, одураченные Природой, будем обманывать сами себя, веруя в прекрасную надежду, похожую на обетование и истину? Разве можно требовать любви к фактам от того, кто убедился, что его натура является ложью от начала и до конца?.. Вы основываетесь на фактах своей натуры, Джордж; я говорю только о своей.

Хелен наконец-то проснулась! Правда, Джорджу было бы легче, если бы она так и осталась полуожившей статуей, отзывающейся лишь на голос своего не слишком могущественного Пигмалиона. Он сидел, онемев от изумления и не сводя с неё глаз.

– Вам Бог не нужен, – продолжала Хелен, – поэтому вы и не ищете Его. И наверное правильно делаете, если не чувствуете в Нём потребности. Но мне нужен Бог – я даже не могу сказать, как Он мне нужен, если Он воистину существует! И потому я готова посвятить всю свою жизнь тому, чтобы отыскать Его. Я буду искать Его до последнего, потому что стоит мне хоть раз сдаться и признать, что Бога нет, я сойду с ума – да, сойду с ума и, наверное, кого-нибудь убью, как мой бедный Польди! Всё, Джордж. Я сказала всё, что хотела вам сказать, и вышла с вами в сад только для того, чтобы сказать вам это. Прощайте.

Она встала и протянула ему руку. Но в бурном водовороте бесчисленных эмоций, среди которых были и негодование, и смятение, и разочарование, и гордыня, и уныние, он растерялся и, тщетно пытаясь найти хоть какие-то слова, не заметил её жеста и не протянул руки в ответ.

Выпрямившись, Хелен вышла из беседки с гордо поднятой головой.

«Любовь до гроба! Нечего сказать, заманчивое предложение!» – сказала она про себя и медленно, сдерживая поднявшийся внутри гнев, пошла к дому.

Несколько минут Джордж сидел молча и неподвижно, а потом, обращаясь только к самому себе, проговорил:

– Будь я проклят, чёрт меня побери!

Что вполне отражало реальное состояние вещей – по крайней мере, на тот момент. И слава Богу, потому что Джорджу это было совершенно необходимо.

Глава 31. «Ты не оставил...»

Волнения последних недель совершенно выбили Уингфолда из колеи, и на следующий день ему стало так не по себе, что он решил устроить себе выходной. Обычно его выходные выглядели очень просто: он на целый день забирался куда-нибудь поглубже в лес с книжкой, которую можно было при желании засунуть в карман. Последнее время в этих блужданиях его неизменно сопровождал Новый Завет.

Чуть дальше от города вдоль реки ещё тянулся настоящий, старомодный лес. Туда и направился Уингфолд кратчайшей дорогой, по тракту, решив вернуться по тропинке, бегущей рядом с извилистым руслом реки. Стоял неожиданно тёплый ноябрьский день. В облетевшем лесу только стало больше света, и солнце с тенью то и дело забавлялись восхитительными играми. Но Уингфолд словно не видел их: в его душе страх боролся с надеждой, и какое-то время даже молитва не могла их примирить. Наконец он немного успокоился и повернул домой.

У него в голове кружилась уйма мыслей самых разных форм и оттенков, но он не нашёл их в лесу, а напротив, принёс с собой. И из каждой мысли на него снова и снова глядело лицо Хелен, какой он видел её накануне в церкви, когда она сидела между тётей и кузеном, столь не похожая ни на одного из них. К неудовольствию своих родственников, она настояла на том, чтобы пойти в церковь, и, к её неудовольствию, они отказались опустить её одну, и в её лице священник заметил нечто такое, чего никогда не видел раньше: тоскующий, просительный взгляд, как будто теперь она была бы рада унести с собой домой даже самую малую кроху надежды. В лучах этого рассвета грядущего детства (хоть сам он едва осмеливался в него поверить) он почти не замечал ни циничного презрения Баскома, ни сурового неодобрения миссис Рамшорн.

Шагая по берегу, Уингфолд неотступно думал об этой чудесной перемене. Добравшись до Остерфильдского парка, он отыскал ту самую впадину между крутыми склонами, покрытыми папоротником,

где сидел в тот самый день, с которого начался мой рассказ, снова уселся на прежний камень и мысленно окинул взором последние двенадцать месяцев. День стоял почти такой же, как тогда; только час был иной: теперь папоротники освещало заходящее солнце, отбрасывая от них могучие тени под стать исполинским дубам. Сколько всего в нём изменилось! Тогда Новый Завет был всего лишь церковной книгой; сейчас же он стал для Томаса Уингфорда источником живой воды. Горация он не открывал уже с полгода. Ему пришлось пройти через великие испытания, но он не променял бы ни сами испытания, ни их плоды ни на какие сокровища мира. Теперь к нему подступила новая тревога, но и она несла в себе жизнь: лучше тысячу раз любить, страдать, но всё равно любить, чем вернуться к ничтожному убожеству жизни без Хелен Лингард. Однако при этом он знал, что лучше тысячу раз позабыть Хелен Лингард, нежели утратить из сердца хоть одно слово своего Господа, Чья любовь была и корнем, и единственным обетованием и опорой любви, единственной силой, способной прославить эту любовь и очистить её от всякой примеси себялюбия, несущего лишь гниль и смерть.

Солнце уже зашло, когда он вышел из парка, и сумерки стремительно катились вслед за солнцем, когда, шагая домой, он приблизился к старой церкви. И тут, словно на него неожиданно пахнуло каким-то ароматом, ему показалось, что он слышит звуки органа. Уингфорд ещё ни разу не слышал, чтобы кто-то играл на органе в будни: этот органист был явно не из тех, кто не упускает ни одной возможности прикоснуться к инструменту. Последнее время священник поглядывал на орган, как на скалу, наполненную чистыми, свежими водами, стоя возле него, как Моисей со своим жезлом. Порой царственный инструмент казался ему безмолвным Иеремией, неподвижно сидящим на одном и том же месте всю неделю, воскресенье за воскресеньем, опустив на руки склонённую голову: ведь вокруг не было ни единого иевусея, который прислушался бы к нему. Ах если бы кто-нибудь научил его пальцы сей науке! С какой готовностью его душа излилась бы тогда через певучие трубы этой скинии восторга и молитвы, на звучных крыльях воспаряя к престолу Всевышнего! Какой же музыкант решил населить тишину огромной церкви мелодичными звуками, этими

стихиями, вечно славящими своего Творца? Если уж Он делает Своими ангелами духов и пылающий огонь, то насколько больше Ему служат величавые гармонии небесного органа! Надо пойти и посмотреть, что за сила управляет этой прозрачной, неземной музыкой.

Через одну из угловых башен Уингфорд вошёл в церковь и начал подниматься по винтовой лестнице, ведущей мимо органа и выходящей прямо к нему через маленькую дверцу. Музыка на секунду смолкла – но тут же, словно золотой луч, пробившийся сквозь тучи во время блаженного летнего ливня, навстречу священнику рванулось вступление к одному из соло генделевского «Мессии», «Ты не оставил души моей в аде». Он продолжал бесшумно подниматься по лестнице, как вдруг в потоке музыки к нему поплыло полнозвучное, глубокое, до дрожи знакомое контральто, и каждый его звук нёс в себе слово скорбного торжества.

Оказавшись возле дверцы, Уингфорд тихо-тихо потянул её на себя и осторожно выглянул наружу. Но перед ним высились только трубы, и он никого не увидел. Он ступил на плиты маленькой апсиды, одним шагом обогнул орган и увидел лицо музыканта. Это была Хелен Лингард!

Она испуганно вздрогнула. Музыка сложила крылья и упала, словно жаворонок в гнездо. Однако Хелен тут же пришла в себя, поднялась от алтаря своего служения и подошла к священнику.

– Наверное, мне надо было спросить у вас разрешения, да? – тихим, ровным голосом произнесла она.

– Да что вы! – ответил он. – Простите, что напугал вас. Жаль, что вы так редко приходите сюда играть.

– Ведь Он не оставил душу моего брата в аду, мистер Уингфорд? – внезапно спросила она, и сквозь сумерки он увидел блеск её глаз.

– Если чья-то душа и была спасена из ада, так это душа Леопольда, – ответил он. – И теперь, когда я слышу от вас эти слова, моя душа тоже подымается из глубин отчаяния.

– Я вела себя с вами просто отвратительно. Мне очень стыдно. Простите меня, пожалуйста, – сказала Хелен.

«Я слишком люблю вас, чтобы найти в себе способность прощать вас», – ответил Уингфорд в душе, но вслух произнёс совсем другие слова:

– Моё сердце открыто для вас, мисс Лингард, – сказал он. – Возьмите из него всё прощение, которое вам нужно. Пожалуй, это не вам, а мне следует просить у вас прощения. Простите, если я был слишком суров с вами. Может быть, я не вполне понимал, как вам тяжело.

– Всё, что вы говорили, было правдой и ничуть не суровее, чем я того заслуживала. К сожалению, я уже не смогу – по крайней мере, в этом мире – попросить прощения у Леопольда, однако я могу попросить вас и мистера Полварта простить меня и за него, и за себя. Вы были ему как Божьи ангелы, а я... Я была упрямой, гордой и эгоистичной. Ах, мистер Уингфорд, скажите, вы и правда верите, что он где-то? Что он жив? Что однажды – пусть даже через тысячу лет! – я всё-таки увижу его снова?

– Думаю, да. По-моему, рассказ о том, что Иисус снова облёкся в то тело, которое оставил на кресте, и вместе с собой вынес его из могилы, правдив и достоверен.

– Так, может, тогда вы возьмёте меня в ученицы и научите меня верить так же, как вы? – робко спросила Хелен. – Или надеяться, если это слово нравится вам больше.

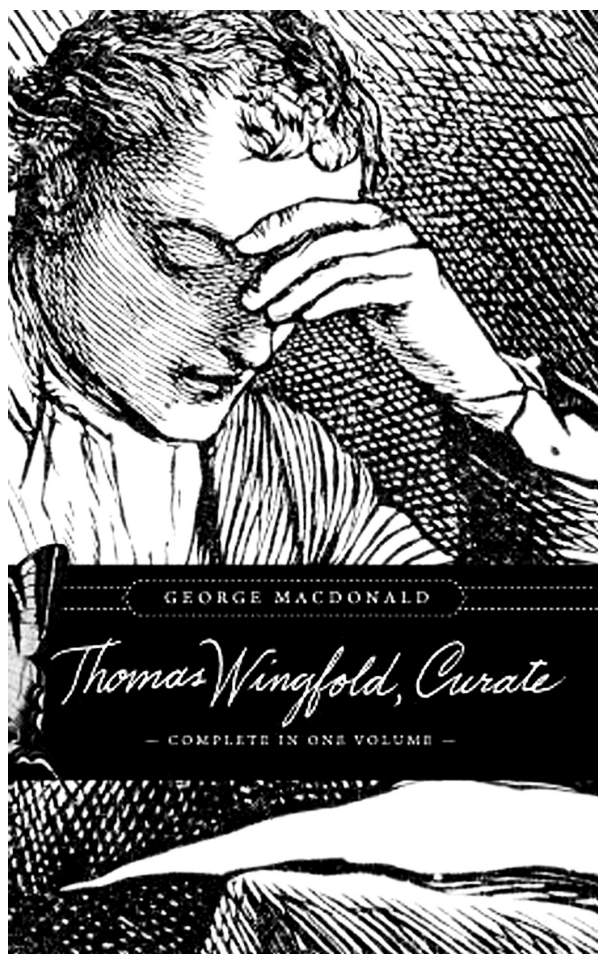
От её слов сердце священника забилося как барабан ликующего праздничного оркестра.

– Дорогая мисс Лингард, – тихо и очень серьёзно ответил он, – я не могу ничему научить вас. Я могу лишь показать вам, где сам нашёл то, что превратило мою жизнь из хмурого ноября в солнечный июнь – пусть даже со всеми его грозами, но всё-таки июнь. Наверное, я мог бы немного помочь вам, если вы действительно решили искать Иисуса, но встать на этот путь и идти по нему можете только вы сама. Мои слова, как глас вопиющего в пустыне, будут напоминать вам, что неподалёку от вас идёт тот, кто, как ему кажется, видит Его; но искать и найти Его придётся вам самой. И если вы будете Его искать, то непременно найдёте, с моей помощью или без неё... Но уже темнеет. Ключ от северной двери у вас?

– Да.

– Тогда, может быть, вы запрёте её и отнесёте ключ миссис Дженкинс, а я посижу немного здесь, а потом, если позволите, зайду к вам домой, и мы сможем ещё немного побеседовать. Вы даже не представляете, какие гимны будет играть для меня этот безмолвный орган!

Хелен повернулась, спустилась по лесенке вниз, а оттуда отправилась домой. Священник остался наедине с органом. Орган молчал, как молчал и сам Уингфолд, но в сердце священника проснулась музыка, и его благодарная хвала, без голоса или инструмента, дивной мелодией возносилась к Тому, Кто слышит безгласные мысли и Чьё сердце дрожит в ответ на каждый аккорд чувства, раздающийся в сотворённых Им сердцах. Ах, что посылаем мы туда, где наши помышления звучат либо резким диссонансом, либо благодатной гармонией? Мысли священника, одиноко сидящего в сумеречной церкви, летели к небу ангельской песней, потому что в сердце его не осталось ничего кроме благодарности – не за какой-то уже обретённый дар, но за наполнившие его дивные надежды. Он преклонил колени возле старого органа и поклонился Богу и Отцу Господа Иисуса Христа, ибо только на этого Бога и ни на какого другого было всё его упование. Когда он поднялся с колен, церковь погрузилась в темноту, но в её верхние окна, освещающие хоры, сияли мириады звёзд.



GEORGE MACDONALD

Thomas Wingfold, Curate

— COMPLETE IN ONE VOLUME —

Воображение: его функции и развитие⁶⁰

Для некоторых образование и воспитание состоит в том, чтобы достичь равновесия посредством развития одних качеств и подавления или даже полного искоренения других. Но если бы главной нашей целью была простая уравниловка, вернее всего ее можно было бы достичь посредством безжалостного подавления всех качеств без исключения, причем животные инстинкты тоже придется подавлять – или, что еще лучше, держать в состоянии постоянного пресыщения. К счастью для человечества, даже обычный физический голод бережет его от этого куда вернее, чем самый мудрый отбор желаемых качеств и их развитие. Ибо целью воспитания является не уравниловка; его цель – благородное беспокойство, постоянное пробуждение из мертвых, непрестанные вопросы к прошлому ради того, чтобы понять будущее, и неустанное возгревание всех признаков жизни: пусть лучше они разрастутся до настоящей страсти, нежели деградируют до летаргического состояния.

Для тех, кто считает целью воспитания и образования уравниловка, воображение всегда является качеством, которое следует подавить прежде всего. «Разве у нас нет фактов? – вопрошают они. – Зачем оставлять их ради выдумок? Разве у нас нет того, что можно *знать наверняка*? Зачем же бросать все это ради измышлений? Пусть человек изучает то, что сотворил Бог».

На это мы отвечаем: изучать то, что сотворил Бог, и есть главная функция воображения. Оно воспламеняется фактами, питается фактами, ищет в этих фактах все более и более высокие законы, но отказывается считать науку единственным толкователем природы, а законы науки – единственной сферой, где возможны открытия.

Сначала надо дать определение слову «воображение» – или, вернее, описать качество, которое им обозначается.

Само слово значит *создание изображений*, изготовление подобию. Воображение – это умение придавать мысли форму, необязательно

60 Из сборника "A Dish of Orts", 1867

выражаемую, но такую, которую можно выразить в очертании, в звуке или в любом другом материале, доступном нашим чувствам. Таким образом, оно является тем самым человеческим качеством, которое ближе всего соответствует главному проявлению Божьей силы, и потому мы по праву можем назвать его способностью *творить*, а плоды его деятельности – *творчеством* или *творением*. *Поэт* – это всегда *создатель*. Однако нам не следует забывать, что между Творцом и поэтом лежит та самая неодолимая пропасть, которая отличает – но ни в коем случае не *отделяет* – все Божье от всего человеческого. Эта пропасть роится бесконечными откровениями, но ни один человек не может пересечь ее, чтобы добраться до сути Бога, в то время как Богу даже не нужно пересекать ее, чтобы найти человека. Это пропасть между Зовущим и теми, кого вызывают к бытию; между Творящим по Своему образу и теми, кто по этому образу сотворен. Лучше оставить слово *творение* для всего, что было вызвано из небытия Божьим воображением – кроме, разве, тех случаев, когда, прекрасно осознавая свое дерзновение, мы решаемся употребить это слово как особый символ для признания близости того или иного человеческого дела к тому, что сотворил Создатель человека. Неизбежное несходство между Творцом и тварью содержит в себе столь же неизбежное сходство вещи с тем, кто ее сделал, а значит, и сходство работы тварного человека с работой его Творца. Поэтому, даже если мы решили не называть человеческое творчество *творением*, говоря о делах рук Бога, мы, тем не менее, можем говорить о Божьем воображении, и в этом не будет ни капли дерзости. Ведь мы всего лишь называем именем человеческого качества ту силу, которой (и по образу которой) это качество сотворено. Человеческое воображение создано по образу воображения Бога. Все человеческое должно было изначально быть в Боге, и мы куда лучше поймем воображение и его функции в человеке, если сначала научимся верно размышлять о воображении Бога, в котором человеческое воображение живет, и движется, и существует.

Что же до того, как выглядит мысль в Божьем разуме до того, как принимает свою форму, или чем является для Него форма, прежде чем Он выразит ее – одним словом, как и о чем думает Бог в том и в другом случае, – мы можем сказать лишь одно: в похожих условиях

наше сознание должно, пусть издалека, но все-таки походить на Его сознание. Но если подумать о деяниях, воплощающих Божью мысль (если мысли и дела у Бога вообще не одно и то же), перед нами сразу же открывается серьезная разница. Например, мы тут же обнаруживаем, что там, где человек строит машину, пишет книгу или картину, Бог творит человека, который пишет картину, книгу или строит машину. Бог задумал написать для нас драму?

Он творит Шекспира. Ему захотелось написать такую драму, которая принадлежала бы непосредственно Ему? Он начинает с того, что выстраивает сцену, и сцена эта – мир, целая вселенная миров. Затем Он творит актеров, и они не играют свои роли: они *и есть* эти роли. Он произносит их в сферу видимого, чтобы они совершили свою жизнь – Его драму. Стоит Ему задумать эпическую поэму, Он посылает в гущу драмы мыслящего героя и слушает эпическую поэму в монологе Своего Гамлета. Сам Он не пишет песен; у Него поют птицы и девушки. Все процессы всех столетий – это Божья наука, и все течение истории – это Его поэзия. Великий Скульптор творит не из мрамора, а из живых, говорящих форм, которые со временем уходят, но не для того, чтобы уступить место следующим за ними, а для того, чтобы обрести совершенство в еще более благородной мастерской. Сотворенное им пребывает, хоть и исчезает из виду, и Он не только не забывает того, что однажды создал, но и никогда не повторяется. Как мысли снуют в разуме человека, так в Божьем разуме снуют миры людей; и не надо путать одно с другим, потому что именно здесь они родились, отпрыски Его воображения. Человек – это всего лишь мысль Бога.

Если перейти к так называемой человеческой способности творить, мы увидим, что эта способность никак не может считаться творческой в *первоначальном* смысле этого слова. Человек, скорее, *мыслится Богом*, нежели *мыслит сам*, когда у него возникает новая мысль. Эта мысль была ему неизвестна, пока он не обнаружил ее у себя в голове; он даже не мог за ней послать. Он не творил ее, иначе не стал бы так удивляться ее возникновению. Правда, в редких случаях человек может предчувствовать появление чего-то нового и приготовить место для его рождения, но это, пожалуй, наивысший уровень близости его

сознания и воли к возникающей идее. Если же обратиться к *воплощению* или откровению мысли, то и здесь человек творит *формы*, в которых выражает мысли, не более, чем творит сами эти мысли.

Ибо в каких формах человек может выражать свои мысли? Разве они не принадлежат природе? И хотя человек сотворен в теснейшей общности с этими формами, даже они не рождаются в его разуме. В голове возникает осознание, что та или иная форма уже является выражением той или иной стадии мысли или чувства. Ведь окружающий мир – это внешнее отображение состояния его разума, неиссякаемая сокровищница форм, из которой он волен выбирать образцы – хрустальные кувшины, в которых будут храниться его мысли и которые не надо разбивать, чтобы увидеть таящийся внутри свет. Смысл уже заключен в самих этих формах, иначе они не могли бы стать одеждами откровения. Бог сотворил мир так, чтобы он служил Его созданию и, помимо всего прочего, развивал то воображение, чьи потребности он призван удовлетворять. Человеку нужно лишь зажечь светильник внутри готовой формы: светом является его воображение, а не сама форма. Сияющая мысль делает видимой свою форму и через эту форму сама становится видимой⁶¹.

Чтобы нагляднее пояснить, что я имею в виду, давайте возьмем отрывок из Шелли.

В поэме «Адонаис», написанной на смерть Китса, он представляет смерть как обнажительницу всех тайн и говорит:

*Жить одному, скончаться тьмам несметным.
Свет вечен, смертны полчища теней.
Жизнь – лишь собор, чьим стеклам разноцветным
Дано пятнать во множестве огней
Блеск белизны, которая видней,
Когда раздроблен смертью свод поддельный*⁶².

Перед нами поистине новое воплощение, и если, прочтя эти строки, читатель хотя бы на миг не ощутит возвышенности смерти,

61 Я не имею в виду, что человек даже здесь трудится сознательно. Часто, если не всегда, образ возникает в голове целиком, как мысль, уже облаченная в форму.

62 Перевод В. Микушевича.

у него что-то не так либо с сердцем, либо с разумом. Но разве Шелли сам сотворил этот образ? Или он только сложил его в соответствии с гармонией истин, уже воплощенных в отдельных элементах? Ведь сначала он берет произведения других людей – в стекле, в красках, в куполе собора – и с их помощью показывает, что жизнь конечна, хотя и возвышенна, и является исследованием, пусть даже прекрасным. Затем он представляет вечность в виде небесного купола, простирающегося над куполом из разноцветного стекла, – ведь небо всегда считалось подлинным символом вечности. Эту часть образа он обогащает, придавая небу белизну, то есть единение и блеск всех цветов. Наконец, он рисует Смерть, которая несет одновременно разрушение и откровение, шагая в вышних сферах прямо по цветному пузырьку жизни и раздавливая его, чтобы человек смог увидеть, что лежит за его пределами, и узреть истинное, одновременно бесцветное и соединяющее в себе все цвета.

Но хотя человеческое воображение не может не пользоваться уже приготовленными для него формами, оно действует так же, как Божье воображение в том, что закладывает в форму мысль. И если для человека воображение – то же самое, что творение для Бога, то, по идее, оно должно участвовать во всех сферах человеческой деятельности. Так оно и есть, причем, к гораздо большей степени, чем принято считать.

Вряд ли кто-нибудь (по крайней мере, в наше время) станет спорить с тем, что воображение царствует, например, в сферах поэзии; однако не все готовы признать, что воображение участвует в создании нашего языка ничуть не меньше, чем, в написании «Макбета» или «Потерянного рая». Половина нашего языка – это работа воображения.

Ибо как двоим договориться о названии той или иной мысли или чувства? Как одному показать другому то, что невидимо глазу? Конечно, он всегда может показать внутреннюю работу ума с помощью своего лица – этого живого, вечно меняющегося символа, который Бог повесил перед незримым духом, – но без слов лицо сможет отразить лишь сиюминутное чувство. Если мы попробуем лишь с его помощью передать что-то интеллектуальное или историческое,

то будем постоянно вводить других в заблуждение, и даже выражение самого внутреннего чувства постоянно будет толковаться неверно, особенно что касается его причины и объекта; так что это немое представление становится не только бессловесным, но и бессмысленным.

Допустим, человек осознает в себе какое-то новое движение. Вместе с ним приходит одиночество, ибо человеку хочется поделиться мыслями с другом, но он не может этого сделать; он заперт в бессловесности. Так

*Не сомкнет нависших век;
Изведется человек;
Девять девятью седмиц
Будет чахнуть, бледнолиц⁶³.*

Но первое мгновение его замешательства может стать и моментом его освобождения. Страдальчески оглядываясь вокруг, он неожиданно видит материальную форму своего нематериального состояния. Перед ним стоит его мысль! Бог помыслил ее до него и поместил в мир ее образ, готовый к использованию. Говоря более прозаическим языком, человек, оглядываясь вокруг себя, почти сразу же начинает видеть формы, движения природы, какие-то соотношения между ее формами или между этими формами и собой, которые напоминают ему то, что происходит у него внутри. Он берет это в качестве символа, как одежду или тело для своей незримой мысли, показывает его другу, и друг понимает его.

Каждое слово, употребленное так в новом значении, отныне, в этом новом своем качестве, рождается от духа, а не от плоти, от воображения, а не от разума, подчиняясь отныне новым законам роста и изменения.

«Неужели ты думаешь, – пишет Карлайл в трактате «Теперь и прежде», – что прежде Чосера не было поэтов? Что не было ни одного сердца, пылающего мыслью, которую невозможно удерживать внутри, но для которой нет слова и приходится придумывать, выковывать новое – то, что ты называешь метафорой, тропом и так далее? Самое

63 У. Шекспир, «Макбет», акт I, сцена 3. Перевод М. Лозинского. - прим. перев.

холодное слово было некогда пламенной новой метафорой и отважной рискованной оригинальностью. «Самое твое ВНИМАНИЕ, разве оно не значит ПРИНИМАНИЕ?» Представь себе этот умственный акт, который все сознавали, но которого еще никто не назвал, — когда этот новый «поэт» впервые почувствовал, что он вынужден и доведен до того, чтобы назвать его! Его рискованная оригинальность и новая пламенная метафора была признана удобоприемлемой, понятной и остается нашим названием для этого акта до сего дня⁶⁴».

Итак, все слова, принадлежащие внутреннему миру разума, рождены воображением и изначально являются поэтическими. Однако чем лучше любое из них служит нуждам человечества, тем быстрее оно теряет свой поэтический характер через частоту употребления. В нем перестают видеть символ, и оно становится просто знаком. Таким образом, тысячи слов, изначально поэтических и обязанных своим существованием воображению, утрачивают жизненную силу и застывают в мумии прозы. Поэзия предшествует прозе не только в литературе; поэзия является источником всего языка внутреннего мира, будь то язык страсти или метафизики, язык психологии или человеческих стремлений. Поэзия – это не возвышение прозы; наоборот, проза появляется, когда тысячи крылатых слов «сминаются в простую глину⁶⁵», и лишь изредка, подобно прелестным осколкам ушедших веков, какой-нибудь любитель речи выкапывает одно из них и подносит к свету, чтобы показать, как играют цветами его многообразные слои и грани.

Ибо мир – простите за столь приземленный образ – это человек, вывернутый наизнанку. Все движения его разума находят свои символы в Природе. Или, если воспользоваться другой, более философской, но не менее поэтической фигурой, мир – это чувственный анализ человека и посему представляет собой неиссякаемый гардероб для облачения человеческой мысли. Возьмите любое слово, выражающее чувство, душевное волнение, – возьмите хотя бы само слово «*волнение*», – и вы увидите, что его первоначальное значение принадлежит внешнему миру. В колыбании волн, в непокое «*волнистой долины*»

64 Т. Карлайл (Карлейль), «Теперь и прежде». Перевод Н. Горбова. - прим. перев.

65 Цитата из поэмы П.Б. Шелли «Чувствительное растение». - прим. перев.

лесов⁶⁶ воображение увидело картину хорошо известного состояния человеческой души; отсюда и появилось слово «волнение⁶⁷».

Но хотя воображению человека присуща божественная функция облекать мысли в форму, кроме этого на него наложена чисто человеческая, но ничуть не менее важная обязанность – обязанность, происходящая из непосредственных отношений человека с Отцом и состоящая в том, чтобы следовать за Его мыслью и искать то самое Божье воображение, по чьему образу и подобию оно сотворено. Для этого человек должен наблюдать за знаменами, проявлениями Божьего воображения. Он должен размышлять над тем, что древнееврейские поэты называли «делами рук Его».

«Но наблюдать за всем этим – дело разума, а не воображения!» Давайте на время оставим в стороне то поэтическое толкование дел Природы, которое практически целиком связано с воображением и не имеет почти ничего общего с разумом. Я должен настоять, что высшее бытие даже самого обычного цветка зависит от того, воспримет ли его человеческое воображение; что наука, разорвав снежинку на клочки, никогда не обнаружит в ней идею страдающей надежды и бледной, но уверенной покорности, ради которой любимец весны глядит с небес – то есть из самого Божьего сердца – на нас, более мудрых и более грешных своих детей; ибо если мы вообще готовы признать какую-либо истину в этой сфере бытия, тем самым мы признаем, что сфера эта принадлежит воображению. Мы ограничимся рассмотрением тех Божьих дел, которые обычно считаются прерогативой науки.

«Неужели, – спросим мы, – человеческий разум способен вступить с Божьим воображением в более тесный контакт, нежели человеческое воображение?» Дела Высшего можно познать лишь посредством поиска со стороны Низшего по степени, но сходного по качеству. Не думайте, что я отказываю разуму в участии в этих высоких делах. Человек неразделим в проявлениях своей жизни. Разум,

66 Цитата из книги американского путешественника и естествоиспытателя Уильяма Бартрама «Путешествия по Северной и Южной Каролине, Джорджии и др.» (1791). - прим. перев.

67 Здесь лишь повторяется то, что гораздо лучше сказано в приведенном выше отрывке из Карлайля, но я написал это до того, как прочел (если критикам позволено признаваться в таких невежестве) книгу, из которой взят этот отрывок.

«сказывается в каждой отдельной части⁶⁸». Без разума не было бы и воображения, как бы нам ни казалось, что разум вполне может существовать и без воображения. Я хотел бы настоять на том, что в исследовании Божьих произведений Разум должен, подобно строителю, трудиться под руководством архитектора-Воображения. И этим тоже я надеюсь показать, насколько большую роль, чем принято думать, воображение играет во всех человеческих деяниях, и какое важное участие оно принимает во всех делах, что творятся под солнцем.

«Но что общего у воображения с наукой? Ведь, по крайней мере, этой сферой жизни управляют четкие и неизменные законы!»

«Верно, – ответим мы. – Но много ли мы знаем об этих законах? Какая часть науки относится к сфере доказанного, установленного – или, иными словами, покоренного разумом? Сейчас мы не будем оспаривать ваше утверждение о том, что *установленное* следует оберегать от всяческих вторжений со стороны воображения; но мы оставляем за воображением все неоткрытое и неисследованное. «А, ну тогда ладно! Там оно не принесет особого вреда. Так что пусть себе буйствует; можете дать ему полную волю». «Нет, – ответим мы. – Мы вовсе не призываем к вседозволенности, когда утверждаем, что воображение обязано идти за мыслью Бога и исследовать дела Его рук. Его роль заключается в том, чтобы понять Бога, прежде чем пытаться выражать человека. Разве есть здесь место фантастическим причудам и буйству? Лишь грубое, невоспитанное воображение будет забавляться там, где ему положено поклоняться и трудиться».

«Но факты Природы можно обнаружить только путем наблюдения и эксперимента!» Верно. Но как ученый додумывается до своих экспериментов? Может ли он наблюдать за тем, чего пока нет, за возможным, но пока даже не задуманным? Даже если бы наблюдение показывало нам, какой эксперимент *следует* поставить, разве способно оно подсказать, какой опыт *можно было бы* поставить? И кто знает, в каком из них таится тайна закона, которую мы пытаемся открыть? Мы оставляем за вами ваши факты. Законы же мы объявляем собственностью пророческого воображения. Бог «вложил мир в сердце их», а не в разум человека. И сердце должно открыть дверь для разума.

68 У. Шекспир «Король Генрих IV», 2 часть, акт V, сцена 5. - прим. перев.

Именно прозорливое воображение распознает возможную форму вещей и говорит разуму: «Посмотри, не такова ли их форма»; именно оно видит или придумывает *возможный* способ сочетания частей и взаимодействий в гармоничном целом и посылает разум разузнать, не является ли это *истинной* картиной вещей – а значит, законом того явления, которое мы наблюдаем. Да что там, даже сами поэтические связи внутри явления могут подсказать воображению, какой закон управляет его научной жизнью. Более того, я осмелюсь утверждать, что истинное, по-детски смиренное воображение обладает таким внутренним единением с законами вселенной, что в нем самом содержится способность проникать в самую глубокую сущность вещей.

Лорд Фрэнсис Бэкон говорит, что умный вопрос – это уже добрая половина знания. Откуда возникает умный вопрос? – спросим мы. И ответим: из воображения. Именно воображение подсказывает, в каком направлении продолжать исследование – и даже если новые опыты не проливают света на непосредственно заданный вопрос, они все равно обязательно становятся ступенькой к конечному открытию. Каждый эксперимент рождается из гипотезы; без лесов гипотезы нам никогда не возвести храм науки. Но построение любой гипотезы – это дело воображения. Человек, не умеющий изобретать, никогда не делает открытия. Воображение часто улавливает сам закон задолго до того, как его *устанавливают* в качестве закона⁶⁹.

Недавно я нашел интересную иллюстрацию этого принципа в записках эдинбургского сыщика, ирландца по имени Маклеви. Можно привести немало примеров того, как хорошо ему известна полезность воображения в решении проблем, присущих его профессии. Он признает его функцию в построении теории, объединяющей отдельные элементы в органическое целое, и особо подчеркивает необходимость теории для того, чтобы факты стали полезны:

⁶⁹ Эта статья была уже написана, когда я заговорил на тему воображения с профессором математики, преподающим в одном из наших университетов, и получил от него подтверждение своим выводам. Не так давно он предположил, что один алгебраический процесс можно значительно сократить, если метод, подсказанный ему воображением, окажется верным – то есть окажется алгебраическим законом. Он проверил свою догадку на опыте – то есть предал доказательство в руки разума – и обнаружил, что метод и в самом деле верен. Сейчас это открытие уже принято Королевским научным обществом.

«Я ожидал свою 'идею'... Без идеи у меня никогда не получалось ничего хорошего... Удача никогда не улыбалась мне, пока я сам тем или иным образом не подталкивал ее; так что, в конечном итоге, мое 'представление' сводилось к тому, чтобы достичь ее, и моя работа усложнялась рукой свыше.

Выйдя из магазина, я устремился прямо на Принс-стрит, – конечно же, с идеей в голове. Почему-то мне всегда было достаточно любой идеи, если никакой другой не было. Когда идея только одна, преимущество в том, что ее не попытаются вытеснить другие, пуская человека по кругу, когда ему нужно идти по прямой⁷⁰».

Область, принадлежащая чистому разуму, ограничена: воображение старается расширить эту территорию, дать ему больше места. Оно стремительно пересекает границы, ища новые земли, куда можно повести неповоротливого брата. Воображение – это свет, освобождающий очи разума из тьмы. Новалис пишет: «Воображение – это материя разума»; то есть именно оно предоставляет материал, над которым трудится разум. Бэкон в своем «Продвижении образования» полностью признает за воображением эту функцию, соответствующую в этой своей способности Божьему предведению, видящему издадека. «Воображение, – пишет он, – во многом родственно чудотворной вере⁷¹».

В той части своих обязанностей, которая касается науки, воображение не может проявиться в полную силу; это возможно лишь в иной сфере, превосходящей область интеллектуальной истины, а именно: в области полноты человеческой природы, где воображение рождает поэзию – то есть истину в красоте. Однако его работа в условиях цельности нашей природы одновременно будет оказывать влияние и на другие, более узкие сферы его действия, принадлежащие науке. Кольридж говорит, что новые великие открытия в математике может сделать только поэт; а Бэкон утверждает, что «способность удивляться», особо присущая подетски непосредственному воображению, является «семенем познания». Влияние поэтического

70 Уже после выхода статьи я узнал, что процитированная здесь книга не заслуживает доверия. Но пусть пример, не достойный считаться доказательством, останется в качестве иллюстрации.

71 К сожалению, я не могу проверить эту цитату, заимствованную у г-на Олдбака Антиквара в романе под одноименным названием. Однако у меня нет серьезных оснований сомневаться в ее принципиальной верности.

воображения на воображение научное особым образом проявляется, например, в конструировании незримого целого из намеков, собранных из того, что доступно глазу; причем, нашими единственными проводниками к многогранной, гармоничной и завершенной сложности конечного целого служат лишь бесполезность, несовершенство и разлаженность отдельных его частей. Из одной-единственной косточки, изъеденной столетиями смерти и более древней, чем человек способен себе представить, его научное воображение, приправленное поэтическим, рисует тело, размеры, жизненные циклы и повадки животного, никогда не виданного людьми – вплоть до несочетаемого сочетания чешуи и крыльев, перьев и шерсти. Накладывая линзу науки на линзу воображения, мы вглядываемся в древние времена, столь страшные в своей незавершенности, что, может быть, лишь вера серафимов и воображение херувимов могли разглядеть за неуклюжей уродливостью земли, кишевшей жуткими чудовищами, тихие столетия грядущего Божьего труда, со смирением и благодатью готовящего мир для нерожденного еще Человека. С другой стороны, воображение поэта, приправленное воображением ученого, позволило Гете высказать пророчество о том, что цветок появился из листка. Только художественное воображение, пусть даже обогащенное научным знанием, могло прийти к открытию, что листья – это не до конца развившиеся цветы.

Однако величайшей сферой применения интеллектуально-конструктивного воображения является, пожалуй, история. Открыть ее законы; распознать циклы повторяющихся событий и причины этих повторений, несмотря на все метаморфозы; узреть жизненно важные движения духовного тела человечества; научиться на фактах Божьему владычеству; из череды неясных признаков создать единое целое, соответствующее природе человека; выстроить в одну живую и связную систему все движущие силы, бушующие страсти, высокие устремления и проявления гнилого и пагубного эгоизма; оживить и прояснить все аналогией с отдельной человеческой судьбой и основными стадиями развития отдельного характера, а значит, и людского разума – всем этим занимается воображение. Без его влияния никакие записи происходящих событий не смогут стать историей. С таким же успехом можно назвать описанием вулкана описание того, какие

формы принимает дым, вырывающийся из пылающего жерла горы. Какой бывает история, если отдать ее в руки воображения, можно увидеть на примере «Истории Французской революции» Томаса Карлайла, которая одновременно является и верным отображением событий, и философским откровением, и благородной поэмой.

В шекспировской «Лукреции» есть чудесный отрывок, показывающий, как великий бард понимал историю. На самом деле, речь здесь идет не о времени, а об истории, ибо само по себе время не способно ни на что – даже на то, чтобы, предавая «забвенью тлен и пыль веков, старинных книг значенье изменять». Все перемены производятся силами, действующими во времени; они и есть история. Я цитирую, главным образом, ради одной строки, хотя вся строфа вполне относится к делу:

*Пристало Времени мирить царей,
Ложь обличать, являя правду нам,
Скреплять печатью славу прежних дней,
День пробуждать, дарить покой ночам,
Злодея тяжким обрекать скорбям,
Ведя к раскаянью; крушить твердыни
И повергать во прах дворцы гордыни⁷².*

Перед нами исторический цикл, достойный воображения Шекспира – да что там! достойный творческого воображения нашего Бога, Который из Своего воображения сотворил Шекспира, а также вырастил и развил человеческую историю по тем законам, которые искало и обнаружило это воображение. Для еще более полного примера мы отсылаем читателя к историческим пьесам Шекспира и, в качестве дополнительной иллюстрации, к тому факту, что его величайшие герои, оказавшись на пороге смерти, раз за разом облегчают перенапряженный ум пророчеством. Эти пророчества порождаются светом воображения, очищенного от искажающей тусклости, благодаря исчезновению всех земных надежд и желаний, – светом воображения,

72 Перевод под. ред. А. А. Смирнова.

пролившимся на факты опыта. Эти пророчества и есть примеры совершенного действия исторического воображения.

Те же самые принципы действуют и в толковании отдельной жизни; и пожалуй, у воображения нет более здорового и благодарного занятия, нежели пытаться восстановить жизнь человека по фрагментам, которые только и доходят до нас из истории даже самых благородных представителей человечества. Как все это применяется к прочтению евангельской истории, мы оставляем читателям для серьезного размышления.

Настало время перейти к еще одной области, где послушное воображение действует в радостной свободе – к сфере, которая принадлежит непосредственно поэту.

Мы уже сказали, что формы Природы (под словом «формы» мы понимаем любые условия Природы, воздействующие на чувства человека) представляют собой множество приблизительных отражений душевного состояния человека. Внешнее, обычно называемое материальным, *информируется* – то есть имеет форму – благодаря внутреннему или нематериальному, то есть мысли. Формы Природы отражают человеческую мысль благодаря тому, что являются воплощениями Божьей мысли. Посему их можно использовать в этом качестве с разной степенью глубины, в более пронизательном или более поверхностном смысле. Люди всех времен и всех уровней развития выражали с их помощью свои мысли; и людям грядущих поколений, которые обгонят нас на всех наших путях, тоже придется искать средства выражения в этих формах, находя в них новые смыслы, соответствующие их новым потребностям. Итак, человек, который, пребывая в гармонии с природой, пытается открыть в ней новые значения, всего лишь исследует Божьи замыслы и дела. Самые глубокие из них слишком просты, чтобы мы сейчас могли их понять. Но гармония целого такова, что стоит толкователю-воображению открыть для нас хотя бы один, отдельный фрагмент смысла одного из элементов, как с этой минуты нам открывается все царство Природы – хоть и не без труда – и далеко не сразу. Тот, кто способен понять человеческий смысл подснежника, ландыша или маргаритки, в один прекрасный день вдруг поймет, что однажды жизнь на земле раскроется в один

вселенский цветок, непревзойденный в совершенстве, и этого человека охватит пророческая надежда, пробуждая ему душу видением «субботного покоя» и возгревая в нем стремление войти в этот покой:

*Пурпурный вечер, твой сей тихий час!
Но горный дух душе моей твердит,
Что этот блеск, так радующий глаз,
Не одному тебе принадлежит!
Что бережет земных небес покров –
Лишь малый дар заоблачных миров,
И слава Неба разлилась туда,
Где пастухи пасут свои стада⁷³.*

Даже небрежная округлость облака, замерзшего на голубом, способна успокоить некоторые тревоги и прогнать некоторые себялюбивые мысли. Что уж говорить о великолепии алых маков на зеленеющем поле – нашем самом близком подобии полевых лилий, которые говорили Самому Спасителю о Божьей заботе, радуя Его глаз славой своего богоданного облачения. Из таких образов воображение собирает лучшие земные плоды, и именно ради этого трудится вся наука, участвующая в его созидании в качестве младшего, но усердного и прекрасного помощника.

И разве из всего уже сказанного нами не следует, что, в общем и целом, людям, действующим в этих сферах, куда больше подходит имя, данное им нашими норманнскими прародителями, нежели имя, которое дали им греки? Разве *Поэт*, то есть *Создатель* – более подходящее имя, чем *Трувер*, то есть *Искатель*? По крайней мере, разве поиск не должен предшествовать выражению?

Однако неужели ничего нельзя сказать о той части воображения, которую подметили греки? Разве у воображения нет способности творить? Способности создавать что-то из ничего?

73 У. Вордсворт, «Стихотворение, написанное в вечер необыкновенного великолепия и красоты». - прим. перев.

Любое описание воображения было бы неполным, не будь в нем того элемента, который прежде всего возникает в сознании, придумавшем слово «поэт». Воображение может давать нам новые формы мысли – новые в качестве откровений мысли. Оно не творит материала, из которого состоят эти формы. Оно не работает и с грубым, сырым материалом. Оно берет уже существующие формы и собирает их вокруг мысли, которая настолько выше их, что способна группировать, подчинять и гармонизировать их в единое целое, представляющее и открывающее эту мысль⁷⁴.

Позвольте мне проиллюстрировать природу этого процесса на примере хорошо известной песни «Эльфийские рожки» из поэмы Теннисона «Принцесса».

Прежде всего, в этой песне есть новая музыка, которая даже не напоминает читателю музыку других песен. Рифма, ритм, мелодия, гармония – звуковые (а не словесные) воплощения того, что можно воплотить именно в звуке: общего *чувства* стихотворения, которое предшествует мысли, подготавливая для нее путь, – настраивает сердце на восприятие гармонии.

Затем следует новое сочетание мысли и образа, посредством которого значение и смысл передаются так, как никогда раньше. Позвольте мне привести сжатый парафраз, который, отчасти из-за своей неуклюжести, поможет всем, кто любит эту песню, с еще большим удовольствием вернуться к оригиналу.

*Великолепие июльского полудня, на горе, у озера, возле развалин замка.
Дай же природе голос, чтобы она могла воспеть о своей радости. Труби,
рожок!*

Природа отвечает угасающим эхом, которое посреди ее блеска тает в печальном молчании.

74 Именно так Эдмунд Спенсер описывает процесс воплощения души в своем платоническом «Гимне в честь красоты» (перевод В. Кормана):

*Она приходит в свой телесный дом
Со всем на небе скопленным добром...
И в новом доме суверенной властью,
Творит себе спокойствие и счастье...
Тела для душ - земные их дома.
Душа хранит и строит дом сама.*

Но в человеческой природе все не так. Отзвуки слова истины становятся лишь громче и полнее от того, что отзываются эхом в каждой новой душе и летят дальше, к ее братьям и сестрам.

Среди поэтов всегда было принято подчеркивать контраст между постоянством и вечным обновлением природы и брэнностью и безвозвратным тленом, ожидающим человечество:

*И снова оживут цветы, луга взойдут травой,
Леса, услышав глас весны, покроются листвою
Но человек, покинув мир, обратно не придет,
И брэнный прах его, увы, с весной не оживет*⁷⁵.

Но наш поэт отстаивает в человеке вечное:

*Любимая! Умолкнет шум
Военных труб и флейт пастушьих;
Но эхо наших смертных дум
Пробудит отклик в новых душах.
Труби, рожок, труби! Пусть эхо, улетая,
Кружит среди вершин – витая, тая, тая*⁷⁶...

Разве перед нами не новая форма мысли – форма, благодаря которой мы по-новому ощущаем ее истинность? И каждое новое воплощение уже известной истины должно становиться новым, более полным откровением. Ни один человек не способен сам увидеть целиком ту или иную истину; ему нужно, чтобы эта истина отозвалась, эхом вернулась к нему от каждой души во вселенной; и даже тогда самое сердце ее сокрыто у Отца светов. Так что, имея дело с новой формой или новой мыслью, мы можем употреблять слово «творение», с учетом определений, о которых говорилось выше.

Это действие воображения, избирающего, собирающего и, что самое главное, сочетающего материал нового откровения, можно прекрасно показать на примере того способа применения поэтического

75 Иов 14:1-15, «Шотландская Псалтирь и парафразы» - анонимный стихотворный перевод Псалтири и других библейских книг, 1650 г. - прим. перев.

76 Перевод Г. Кружкова.

дара, который особенно любили наши великие поэты. Распознав истину, наполовину открытую и наполовину сокрытую в медлительной речи и неуклюжем языке своих предшественников, они брали полусырую форму и доводили ее до завершения, как бы выводя душу смысла из темницы невежественной неотесанности, где она томилась, как тот принц из «Тысячи и одной ночи», что был наполовину человеком, а наполовину – мраморной статуей; они освобождали ее, давая ей собственную форму – а именно такой вид, в котором она могла бы «поражать каждой своей частью». Зоркий взгляд Шекспира помог ему вот так освободить из могилы – то есть от скучного изложения – множество историй, которые сейчас никто бы не стал читать, если бы не та восхитительная форма, в которую он перевоплотил их подлинное содержание. У Теннисона тоже есть один отрывок, небольшой и потому подходящий для нашей иллюстрации – крохотный осколок великого мраморного перевоплощения древней легенды о смерти Артура, по которому, как по одной руке Ахилла держащего копье, в толпе на картине, угадывается вся фигура, все целое⁷⁷.

В «Истории короля Артура», когда сэр Бедивер возвращается, спрятав Экскалибур в первый раз, король спрашивает, что он видел на море, тот отвечает: «Сэр, лишь волны и ветер». Во второй раз на тот же самый вопрос он говорит: «Ничего, сэр, только как плещется вода и бьются волны». Этот ответ Теннисон развил в знакомых нам строках:

*Я слышал только шорох камыша
И тихий плеск озерных волн о скалы⁷⁸.*

Или, в другом переводе:

77 Аллюзия на «Обесчещенную Лукрецию» Шекспира (перевод под ред. А. А. Смирнова):

*Столь дивно, столь отменно мастерство
Художника, столь кисть его властна,
Что не Ахилла стан, а лишь его
Держащая копье рука дана, -
Но вся фигура явственно видна
Очам души.*

78 Альфред Лорд Теннисон, «Смерть Артура». Перевод Г. Кружкова. - прим. перев.

*Я слышал плеск волны у тростников,
Прибой шумел и пенился у скал⁷⁹.*

Но что касается нашего вопроса о «творении», то, может быть, человек все-таки способен, в подлинном смысле этого слова, творить свои собственные формы мысли? Если допустить, что новую комбинацию уже существующих форм все-таки можно назвать творением, не является ли человек, в конечном итоге, автором этой новой комбинации? Может быть, это он, своей волей и знанием, целеустремленно, осознанно создал некую форму для воплощения своей мысли? Или эта форма возникла в нем без участия его воли, без каких-либо усилий с его стороны – яркая, хоть и не совсем четкая; точная, хоть и плохо очерченная. Рескин (а лучшего авторитета я не знаю) будет утверждать второе, и мне кажется, что он прав: хотя, пожалуй, он куда сильнее меня будет настаивать на абсолютном совершенстве возникшего образа. Такие воплощения не являются плодом намерений человека или действием его сознательной природы. Он чувствует, что образ дан ему извне; что откуда-то из громадной неизвестности, где нет времени и пространства, они внезапно, светящимися буквами, появляются на стене его сознания. Так правильно ли будет говорить, что он их создал? Мне кажется, что нет. Но разве нельзя сказать, что эти образы сотворила бессознательная часть его природы? Можно, но только если мы полагаем, что отдельный человек может знать и не знать, что знает; может творить, но при этом не осознавать, что из него вышла сила. Я соглашусь, что образы действительно являются из этой неведомой нам сферы, но происходит это не из-за ее собственных слепых усилий. Даже будь так, разве можно было бы удостоить этот процесс, в котором нет места воле, званием «творения»? Но Бог пребывает в той части нашего существа, где свеча нашего сознания гаснет и растворяется во тьме, и оттуда посылает нам чудесные дары, выводя их на свет того разума, который есть Его свеча. Так что мы надеемся даже не механизм духа, каким бы совершенным он ни был, но на мудрость, в которой мы живем, и движемся и существуем. Поэтому мы можем рассчитывать на бесконечные формы красоты, умудренные истиной.

79 Перевод С. Лихачевой.

Если бы источником нашего воображения была темная часть нашего существа, у нас были бы все основания бояться чудищ, которые порождаются лишь болезнью тления, способного возвестить – но не ощутить – медленный возврат к первобытному хаосу. Но наш Создатель есть наш Свет.

Еще одно слово, прежде чем мы обратимся к разговору о развитии этого благороднейшего явления, которое назвали бы творящим, если бы не видели в Боге чего-то такого, что единственно можно назвать этим могучим словом. Тот факт, что в произведении искусства – высочайшем плоде воплощающего воображения – всегда заключено больше, чем видел и понимал сам художник в процессе работы, кажется мне веской причиной утверждать, что человек никак не может быть единственным автором и источником своего произведения, и, в конечном итоге, оно обязано своей силой вдохновению Всемогущего.

Теперь обратимся к тем, кого с самого начала считали враждебными ко всему, что связано с воображением и его функциями. Эти люди скажут мне: «Мы противились вовсе не тому воображению, которое вы здесь описали, а диким фантазиям и смутным грезам, которыми часто увлекается молодежь, в результате искажая, а порой даже теряя окружающую их реальность».

«И вы предлагаете, – возражаем мы, – исправить положение, задушив юное чудище в колыбели просто потому, что у него есть крылья и оно, по неопытной молодости, машет ими как попало, действуя вам на нервы и нарушая те приличия, о существовании которых само – причем, вы даже не побеспокоились спросить, кто это, ангел или птеродактиль – пока даже не подозревает? Или, если вам действительно не нравятся лишь странные выходки и причуды этого существа, зачем считать их *основным* проявлением воображения? С таким же успехом можно сказать, что религия – мать всех жестокостей, потому что из-за религии было совершено больше жестокостей, сделано больше зла и сказано больше лжи, чем из-за каких-либо других предметов человеческого интереса. Неужели нам перестать поклоняться Богу из-за того, что наши праотцы жгли и резали друг друга из-за веры?» На самом деле, нам нужно больше веры. И нам нужно больше воображения.

Не беспокойтесь, это – лишь первые жизненные проявления того, чьи плоды (по крайней мере, в сфере науки) вы принимаете весьма охотно. Что из воображения – как, собственно, из всего на свете, кроме совершенной Божьей любви – может родиться зло, отрицать невозможно. Но его отсутствие породит неизмеримо худшее зло. Себялюбие, алчность, чувственность, жестокость будут процветать в десять раз пышнее, и власть сатаны прочно укрепится еще до того, как некоторые дети начнут самостоятельно делать выбор. Те, кому хочется подавить эти, казалось бы, беспорядочные метания духа, которые называются юным воображением, хотят подавить и все, что должно из него вырасти. Они боятся энтузиазма, которого никогда не чувствовали; вместо того, чтобы холить и лелеять это Божье создание, давая ему простор и воздух для здорового роста, они сокрушают и стесняют его, и их победа всегда оборачивается одним и тем же результатом: гноем, лихорадкой и разложением. И эти катастрофические последствия вскоре распространятся и на разум, которому они поклоняются. Убейте то, откуда рождаются грубые фантазии и дикие мечтания молодых, и вам уже никогда не вывести их за пределы ограниченных фактов – ограниченных, потому что их отношения друг с другом и с той жизнью, что действует в них всех, так и останется непознанной. И если вы хотите, чтобы ваши дети избежали этой безрадостной участи, не подпускайте к ним ни одного учителя – даже учителя математики, – у которого нет воображения.

«Мы допускаем, что в некоторых, немногих случаях такое потворство воображению может дать хорошие плоды; но что будет со всеми остальными?»

Я отвечу, что противоядием потворству является развитие, а не ограничение, и в этом состоит долг всякого, кто хочет мудро служить Создателю воображения.

«Но сможет ли, например, большинство девочек и девушек овладеть полезной стороной воображения? Разве они не примутся строить воздушные замки, пренебрегая своими земными домами? И поскольку в мире так мало идеального, не породит ли эта привычка напрасные желания и напрасные сожаления? Так, может, им лучше держаться уже известного, а остальное оставить?»

«Неужели мир так убог?» – спрошу я в ответ. Значит, у нас еще меньше причин им довольствоваться, еще больше причин подняться над ним в сферу истины, в сферу вечного, туда, где все так, как мыслит Бог. Наш внешний мир – это лишь преходящий образ того, что неизменно и истинно. Мы не всегда будем жить в нем. Мы живем в Божьей вселенной, где желания не бывают напрасными, если они достаточно велики. И даже в этом мире не все разочарования порождают лишь напрасные сожаления⁸⁰.

Что же до того, чтобы держаться только известного и оставить все остальное – много ли в мире того, что так четко обозначено, так поддается ясному пониманию, что не оставляет места для большой неопределенности, которой, собственно, и соответствует способность к воображению? На самом деле, в большинстве случаев воображение так или иначе должно прийти к нам на помощь, заполняя пустоты в том или ином замысле, чтобы мы вообще могли начать действовать. Более того, мудрое воображение, которое есть присутствие Божьего Духа, является для нас наилучшим проводником, потому что сильнее всего на нас воздействует вовсе не то, что мы лучше всего видим; неопределенные, но яркие образы чего-то запредельного, чего не видел глаз и не слышало ухо, влияют на нас куда больше, чем логические выкладки, посредством которых те же самые вещи предстают перед нашим разумом. Воздействие определяется природой вещи, а не четкостью ее очертаний. Мы живем не видением, но верою. Спросите наших математиков – только так, чтобы они по-настоящему услышали вопрос, – с чем они скорее готовы расстаться: с четко вычерченным совершенством своих диаграмм или со смутными, странными, может быть, полустертыми фигурами, вотканными в часть их бытия; иными словами – с наукой или с поэзией, с определенностью или с надеждой, с уверенностью в знаниях или с неясным чувством того, что

80

*Об ушедшем не скорбим,
Что осталось нам, храним;
То, что было, никогда
Не уходит навсегда;
Мир и силу обретем
Мы в страдании своем,
А в годах и вере смелой -
Философский разум зрелый.*

У. Вордсворт, «Ода о предчувствии бессмертия».

не поддается абсолютному познанию: что им больше захочется оставить – мастерство или вдохновение, разум или воображение? Даже если они во всех случаях выберут первое, я все равно усомнюсь, насколько хорошо они понимают, что перед ними за выбор, и равно ли хорошо они представляют себе обе альтернативы.

Что можно знать, необходимо знать точно и хорошо; но разве у нас нет способности проникать в бесконечные земли неопределенности, повсюду лежащие вокруг яркого пятна, выхваченного из тьмы мерцающим светильником нашего разума? И разве эти земли не являются естественной прерогативой воображения? И не существуют для него, чтобы дать ему место для роста? Чтобы человек научился представлять себе великое, как создавший его Бог, и открывать все новые тайны благодаря послушному, полному благоговения воображению?

Итак, все сказанное подчеркивает необходимость сознательно развивать воображение. Но я еще не привел самый сильный аргумент. Ведь даже если против воображения восстанут все силы педантизма, оно все равно будет работать, и если не во благо, то во зло; если не ради истины, то ради обмана; если не к жизни, то к смерти – причем, пагубная альтернатива станет куда вероятнее из-за дурного отношения к воображению со стороны тех, кто должен бы его культивировать. Сила, предназначенная задумывать благороднейшие деяния, наполняя жизни самозабвенных и честных сердцем, начнет выстраивать воздушные замки суетных амбиций, неограниченного богатства, незаслуженного восхищения. Вместо того, чтобы придумывать, как наполнить свой дом радостью или помочь бедному соседу, воображение будет поглощено изобретением фасона для нового платья или, что еще хуже, придумыванием ловких способов его раздобыть. Ведь если воображение не занято чем-то прекрасным, оно примется за просто приятное; кто не желает идти и поклоняться, остается дома и предается чувственности. Сколько бы вы ни развивали интеллект, ему никогда не умерить страстей: воображение, ищущее во всем идеал, возвысит их до подлинного и благородного служения. Не старайтесь мешать своим сыновьям и дочерям видеть видения, не бойтесь, что им будет сниться сны. Старайтесь делать так, чтобы их видения были

истинными, а сны – благородными. Ведь тогда воображение пойдет рука об руку с высокими стремлениями и поможет людям подняться из низости и подлости куда лучше, чем все нравоучения на свете. Даже вера не способна подняться в свой мирный дом, в свое хрустальное святилище, если одно из двух крыльев, на которых она парит, сломано или парализовано:

*Вселенная так широка безмерно,
Что Разум, командор высокомерный,
В пути встречает стены ежечасно
Великих тайн, что лишь тебе подвластны,
Воображенья веры! Чтоб любовь найти,
Ты их одним прыжком оставишь позади⁸¹.*

Опасность, таящуюся в подавлении воображения, можно прекрасно проиллюстрировать из пьесы «Макбет». Показывая, как воспримут его поступок другие люди, а значит, показывая подлинную сущность этого поступка его собственной совести, воображение Макбета (очень мощное) было для него серьезным препятствием на пути к преступлению. Да он сам и не дошел бы до этого преступления, если бы не обратился за помощью к жене – ища в ней убежища от этого беспокойного воображения. Поскольку в ней этого качества было куда меньше, да и то, что было, пускалось чаще на разрушительные цели, леди Макбет взяла его за руку и повела к убийству. Свое убежище от воображения она нашла в неверии и отказе принимать реальность, объявив себе и мужу, что в картинах воображения нет ни капли правды; что в предметах и явлениях нет никакой иной реальности, кроме их сиюминутного воздействия на разум человека; что ум и смелость способны справиться с любой, даже злой необходимостью, и с теми, кто умеет властвовать собой по собственной воле, не приключится ничего дурного. Однако поскольку и ее собственное воображение и, еще более, воображение ее мужа все-таки продолжали их беспокоить, она придумала поразительное сочетание материализма и идеализма и заявила, что все предметы и явления в мире представляют собой

81 У. Вордсворт, из цикла «Путевые стихотворения 1833 г.». - прим. перев.

лишь то, чем человек сознательно решает их считать, и не являются, не могут быть и никогда не будут чем-то большим или меньшим. Он говорит:

*Нам о таких делах не стоит думать слишком много.
Так можно и рассудок потерять...
Кто спит иль мертв, так он всего лишь
Изображение самого себя, не больше.*

Но она переоценила силу собственной воли и недооценила силу своего воображения. Единственной порченной частью ее природы была воля, а воображение голосом Самого Бога взывало из глубин ее неосознанного существа. Сознательный выбор человека не может долго определять, как или что он будет думать о тех или иных вещах. Настал срок, определен ный законами ее собственной природы, над которыми леди Макбет была не властна, – и ее воображение взбунтовалось и взяло свое. В конце концов, оно восстало, словно из мертвых, возвысившись над ней грозной тенью и окутав ее всей чернотой совершенного преступления. Женщина, выпивавшая для храбрости, чтобы убить, теперь не осмеливается спать без зажженного у постели светильника; она подымается и бродит в ночи бессонным духом в спящем теле, усиленно пытаясь оттереть с руки приснившееся ей пятно, которое, несмотря на очищающую воду, так смердит в ее спящих ноздрях, что всем ароматам Аравии не под силу заглушить этот запах. Так ее долго подавляемое воображение восстало и отомстило ей через те самые чувства, которые она думала подчинить своей злой воле.

Но все это – само по себе плод воображения и потому подходит, скорее, для иллюстрации, нежели для доказательства. Давайте обратимся к фактам. Доктор Причард, недавно казненный за убийство, не испытывал недостатка в той изобретательности, которая является, так сказать, разумом воображения, его низшей формой. Одному из священников, по собственной инициативе посещавших заключенного, пришлось пережить неопишуемые ужасы, когда он тщетно пытался уговорить преступника хотя бы перестать лгать: за самыми ревностными клятвами в правдивости следовала одна выдумка

за другой. По словам самого священника, все это произвело на него эффект жуткого морального отчаяния. Мне лично еще не случалось испытывать ничего подобного по отношению к какому-либо человеку, и я воскликнул: «Должно быть, он начисто лишен воображения!» «Начисто!» – ответил мой собеседник. Никогда не устремляясь к чему-либо истинному или высокому, думая только о внешнем впечатлении, а значит, о выдумках, он оставил свое воображение совершенно неразвитым; а когда оно показало ему его собственное внутреннее состояние, безжалостно подавлял, пока почти не разрушил его, а что осталось, загорелось пламенем ада⁸².

Человек – «купол и венец всего»⁸³. Он есть весь мир, и более. Поэтому главным предметом, на который направлено его воображение (после создавшего его Бога) будет мир в том, как он связан с его собственной жизнью. Лучше или хуже станет его жизнь, если это воображение, приученное к лучшему и имеющее полную свободу, представит ему высокие картины взаимоотношений и долга, возможного благородства характера и умения поступать по справедливости, дружбы и любви – и, более всего прочего, картину всего этого в той жизни, понять которую в единстве и целостности должно быть высочайшим устремлением благороднейшей человеческой натуры? Спокойнее или тревожнее будет жизнь женщины, если через корку сущающегося беспокойства будут пробиваться образы и звуки природы, напоминая ей о полевых лилиях и попечении за малыми птицами? Будет ли ее существование менее интересным, если вместо того, чтобы проскользнуть мимо, как тень по стене, судьбы ближних обретут целостность и плотность, образуя истории и времена жизни? Разве благодаря этому она не будет меньше говорить и больше любить? Или у нее будет меньше возможностей хорошо выйти замуж? – Хотя тут нам нужно остановиться, чтобы спросить, что в этом случае значит «хорошо», и заново собрать свои мысли. Если то, что у матерей называется «хорошо выйти замуж», значит выйти за человека с деньгами и положением в обществе – и давайте бросим на ту же чашу весов

82 Одна из лучших еженедельных газет Лондона, по всей видимости, не зная всех фактов дела, заявила, что доктор Маклеод занимался «обелением убийцы перед отправкой на небеса». Это настолько далеко от истины, что д-р Маклеод даже отказался молиться с заключенным, сказав ему, что если ад все-таки есть, то он должен туда пойти.

83 Альфред Лорд Теннисон, «Вкушающие лотос». - прим. перев.

интеллект, манеры и приятную внешность, – итак, если матери для хорошего замужества больше ничего не нужно, тогда я согласен: в этом случае дочь, у которой развито воображение, может оказаться несговорчивой и даже упрямой. Я искренне надеюсь, что так оно и будет⁸⁴. Но разве такая девушка будет меньше склонна выйти замуж за *джентльмена* – в старом, полновесном значении этого слова, как оно употреблялось в 16 веке, когда не считалось непочтительным назвать нашего Господа «первым истинным джентльменом, какой только жил на земле⁸⁵». Или в 14 веке, когда Чосер, поучая нас о том, «кто достоин звания благородного человека», писал следующее:

*Он праведен и в честности усерден,
Свободен, трезв и к слабым милосерден,
Душою чист, в делах трудолюбив
С пороками бороться не ленив*

*И добродетель сыновьям внушает.
Нет благородства в том, кто пыль пускает
В глаза богатством или даже, наконец,
Приемлет митру или царственный венец⁸⁶.*

Разве девушка не будет стремиться выйти замуж за того, кто почитает женщин и, как ради них, так и ради себя, почитает самого себя? Или, говоря с точки зрения, которую многие сочтут материнской, разве девушка с развитым воображением откажется выйти замуж за мудрого, честного и щедрого богача, а вместо этого влюбится в болтуна-стихоплета *просто потому*, что он беден, словно бедность – добродетель, к которой он стремился? Самое возвышенное воображение и самый приземленный здравый смысл всегда на одной стороне.

84 Пусть женщины, остро чувствующие все горечь такого положения, научат других женщин относиться к мужчинам великодушнее и благороднее; тем самым они сделают для улучшения социального положения женщины и утверждения ее прав, какими бы они ни были, куда больше, чем любые усилия в плане умственного развития или борьбы за равноправие. И если ими движет не просто фанатизм, они не станут отказываться от попытки это сделать из-за того, что в случае успеха мужчины приобретут не меньше, а, может, и больше – хотя бы в том, что им «на деле дадут понять», кто они такие (У. Шекспир, «Как вам это понравится», акт II, сцена 1).

85 Томас Деккер, из пьесы «Добродетельная шлюха» (1604). – прим. перев.

86 Джеффри Чосер, «Блалада о благородстве или о том, кто достоин звания благородного человека». – прим. перев.

Ибо целью воображения является *гармония*. Верно развитое воображение, являясь отблеском творения, в своем высшем и лучшем проявлении будет вторить Божьему замыслу и порядку; «у дверей чертога... настроит струны⁸⁷» на божественные созвучия внутри; будет довольным уже тем, что приближается к Божьей мысли, объемлющей все прекрасное в несовершенном людском воображении; будет знать, что всякое уклонение от этого направления – это путь вниз, и потому будет неустанно отсылать человека от самых возвышенных своих образов, чтобы тот шел и выполнял самый обычный долг самого изнурительного призвания и делал это от всей своей души, не теряя надежды. Вот в чем состоит действие верно развитого воображения, и чем вернее оно развито, тем более будет оказывать именно такое влияние. Человеку мудрому даже мечтательные грезы придадут силы для дела; мечты вместе с мыслями приведут его к сожалению о прошлых неудачах и укрепят в нем надежду на будущий успех.

Давайте поговорим о формировании воображения. Его развитие является одной из главных целей Божьего воспитания в нашей жизни, со всеми ее усилиями и опытом. Поэтому первым и существенным средством его формирования должна быть сознательная направленность нашей жизни к тому ее идеалу, какой изначально был задуман Богом. Я не сомневаюсь, что как человек, готовый исполнять волю Отца, удостоверится в истинности Его учения, так и тот, кто готов исполнять волю Великого Поэта, узрит Прекрасное. Ибо все принадлежит Богу; и человек, растающий в гармонию с Божьей волей, растает в гармонию с собой; вся скрытая красота его существа постепенно выходит на свет смиренного сознания, так что, в конце концов, он станет чистым микрокосмом, по-своему, но верно отражающим Великий макрокосм. Поэтому я считаю, что и для воображения, и для разума нет ничего лучше, чем *быть благим, быть хорошим* – и я не имею в виду соответствие какой-то формуле или доктрине, а простое следование по вере в Того, Кто исполнял волю Своего Небесного Отца.

Что же касается непосредственных способов развития воображения, тут все можно подытожить двумя словами: питание и упражнения. Если вы хотите иметь сильные руки, ешьте животную пищу

87 Джон Донн, «Гимн Богу, моему Богу, написанный во время болезни». - прим. перев.

и займитесь греблей. Кормите свое воображение подходящей для него пищей и упражняйте его – но не замысловатыми акробатическими трюками, а здоровой гимнастикой.

Давайте сначала поговорим о пище. Гете говорил, что для развития эстетической способности необходимо постоянно держать перед глазами – то есть там, где мы чаще всего бываем, – какое-нибудь произведение искусства самого лучшего качества, какое нам доступно. Оно научит нас отвергать плохое и выбирать хорошее. Оно укоренится у нас внутри и станет нашим советчиком. Невольно, бессознательно мы будем сравнивать с его совершенством все, что нам приходится оценивать.

Хотя лучшего совета и придумать нельзя, здесь есть одна опасность – опасность узости. И стараясь ее избежать, человек, пусть неохотно и с трудом, но все же должен менять наставников, таким образом учась не у одного, а у многих. Но в деле развития воображения книги являются самым доступным, хоть и не единственным, источником подходящей для него пищи, и человек может приобрести сотню книг там, где даже одно произведение искусства нужного качества может оказаться для него недоступным – как в плане размера, так и в плане подлинного мастерства исполнения. И только разнообразие поможет нам избежать той опасности, из-за которой подходящая пища для воображения превращается в неудобную модель его развития.

Предположим, человек, по праву ценящий воображение, стремится развить его у собственного ребенка. Несомненно, начинать такое обучение, особенно если ребенок еще маленький, лучше всего со знакомства с природой, уча малыша наблюдать за живыми явлениями, делать из этих наблюдений выводы и на основе того, что он видит, рассуждать о том, что не видно глазу. Только тут надо внимательно следить, чтобы ребенок ни о чем не болтал глупостей. Пусть он фантазирует сколько угодно, но даже в фантазерстве не позволяйте ему грешить против смысла фантазии, ведь у нее, как и у самых обычных сторон жизни, есть свои законы. Когда он начинает говорить глупости, скажите ему об этом, и пусть ему станет стыдно.

Если же вам лишь изредка удастся побыть на природе, придется обратиться к литературе. Книги дают нам не только богатую коллекцию плодов воображения; в них, словно в его мастерской, мы можем собственными глазами увидеть, как оно в музыке речи воплощает чудо слов, пока перед нами, как золотое блюдо, сияющее драгоценными камнями и украшенное искусным орнаментом, не возникнет законченное произведение. И в этом случае ученику необходимо давать самое лучшее, чтобы он ел и не насыщался, ибо законченные продукты воображения являются лучшей пищей для воображения начинающего. И разум учителя должен служить посредником между произведением и разумом ученика, помогая им сойтись в живом общении ума, направляя наблюдение за способами выражения мысли, указывая на сильные моменты и помогая окинуть мысленным взглядом все в целом, чтобы отдельные красоты не затмили полноты картины – то есть законченной фигуры или формы. К тому же учитель всегда должен стремиться *показать* мастерство, а не просто говорить о нем; дать ученику само произведение, чтобы оно вросло в его разум, а не произносить собственные панегирики о достоинствах прочитанного; выделить момент, достойный комментария, а не рассыпать свои комментарии по этому моменту.

Особенно учитель должен стремиться показать духовную структуру, скелет любого художественного произведения: те главные идеалы, на которых зиждется форма и вокруг которых группируется все остальное, служа целому и завися от него. Однако это не значит, что он будет пренебрегать интеллектуальной структурой, без которой духовная просто не могла бы проявиться. Восхищаясь архитектором, не следует забывать о строителях. И восторгаясь тем, как отдельная арка соотносится со смыслом и значением всего собора, не надо думать, что объяснение принципов построения собора и даже того, как они осуществляются на практике, будет пустой и ненужной тратой времени. Не надо забывать ни о рисунке окон, ни о листе резного орнамента, ни о нарядной лепнине. Все красоты заслуживают своего слова, но только все они должны быть подчинены конечной красоте – то есть единству целого.

Так учитель окажет ученику услугу подлинной дружбы. Он введет его в общество, которое сам ценит превыше всего, окружит его благим и полезным присутствием возвышенных умов, чтобы эта добрая компания постепенно делала своим единомышленником того, кто часто в ней бывает.

Одновременно он постарается отвратить ученика от такого общества книг или людей, которые научат его непочтению, опошлят его выбор, снизят его стандарт. Поэтому он не будет поощрять беспорядочное чтение и беглое, поверхностное знакомство с тем, что попадет под руку в библиотеке; это не только бесполезно, но даже вредно. Он знает, что если книгу стоит читать, то ее стоит читать как следует, а если книгу читать не стоит, то лишь самый опытный читатель способен бегло просмотреть ее хоть с *какой-то* с пользой. Он попытается научить ученика различать не только между плохим и хорошим, но и между хорошим и не очень хорошим. Причем, делается это вовсе не для того, чтобы изодрать интеллект, и уж никак не для того, чтобы зародить в ученике самодовольство, которое так часто сопровождает литературную критику, но для того, чтобы он умел выбирать самую лучшую тропу, а на ней – самых лучших спутников. Дух критики, развиваемый только ради умения анализировать или, что еще хуже, ради того, чтобы всегда иметь готовое мнение на случай, если оно потребуется, не только отвратителен любому подлинному мыслителю, но и сам по себе разрушает всякое мышление. Критика ради истины, которая не выскакивает из кабинета при первом шорохе, но ждет, пока ее позовут, действительно не способна украсить дом, но может чисто его вымести. И будь у нас достаточно такой мудрой критики, мы в десять раз больше читали бы лучших авторов прошлого и, пожалуй, в десять раз меньше восхищались бы современными книгами-однодневками. Достаточно прочесть одну хорошую книгу, и гора незаслуженного восхищения второсортными поделками тронется с места и рухнет в море; причем, мы и дальше будем радоваться всему хорошему во второсортной книге – изменится лишь ее место в наших оценках и ее влияние на нас.

Говоря о подлинном научении, лорд Фрэнсис Бэкон пишет, что оно «отучает нас от глупого восхищения, *которое есть корень всякой*

*слабости*⁸⁸». Хороший учитель будет добиваться того, чтобы его ученика было легко порадовать, но трудно удовлетворить; чтобы он умел получать удовольствие, но не кидался в объятия чему и кому попало; чтобы он был готов открывать для себя красоту, но не спешил восклицать: «Хорошо мне оставаться здесь!»

Он также не станет ограничивать обучение областью искусства. Он побудит ученика изучать историю так, чтобы его внутренний взор всегда стремился различить вдали смутную фигуру прошлого. Он непременно покажет ему, что большую часть Библии только так и можно понять, и что верность и постоянство Божьих путей, которое мы в ней откроем, является ключом ко всей истории. Изучая биографии отдельных людей, он постарается показать, как толковать знамения и приметы, создавая не целое, а вероятное представление о целом.

И опять, показывая ему, как природа отразилась в поэтах, он не удовлетворится, пока не пошлет ученика к самой Природе, призывая его во время прогулок по лугам и лесам зорко приглядываться к ее изящным формам и гармониям, а во время прогулок по городу наблюдать за «дивными людскими лицами»⁸⁹.

Позвольте мне повториться: он покажет ученику существенную разницу между мечтательной задумчивостью и подлинной мыслью, между грезами и воображением. Он научит его не принимать за воображение простые фантазии ни в себе, ни в других, и не гоняться за образами, в которых нечего толковать.

Такое обучение полезно не только для потенциального развития художественных способностей. В мире всегда будет совсем немного людей, способных выразить то, что они чувствуют. Да их и не обязательно должно быть много. Но чувствовать должны все. Все должны понимать и представлять себе добро; и все должны начать, по крайней мере, следовать за мыслью Бога, искать и находить Его.

«Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело», – говорит Соломон⁹⁰. «Создается такое впечатление, – комментирует этот отрывок лорд Фрэнсис Бэкон, – как будто Великий Бог, по-ребячески играя с нами, решил для забавы спрятать Свои дела, что-

88 Ф. Бэкон, «Продвижение образования».

89 Джон Мильтон, «Потерянный рай».

90 Прит. 25:2.

бы мы потом могли их найти, и для царей нет больше чести, чем играть с Богом в Его игру».

И еще один отрывок из Книги Екклесиаст, который не только показывает прямую необходимость упражнять наше воображение, но и утешает нас мыслью о том, что даже самым смелым нашим мыслям и образам далеко до того, что творит Бог:

«Видел я эту заботу, которую дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в том. Все соделал Он прекрасным в свое время, и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца⁹¹».

Итак, чтобы научиться играть с Богом в Его игру, малые дети могут собирать маргаритки и бегать за раскрашенными бабочками; дитя Царства может размышлять над полевыми лилиями и собирать себе веру, как птицы небесные собирают себе пропитание в облетевшем терновнике, румяном от ягод, приготовленных им Богом, а ученый может сказать себе так:

*В замшелной келье поселюсь,
Вникая в свойства нам известных
Целебных трав и тел небесных,
И в старости сложу, даст Бог,
Хоть несколько высоких строк⁹².*

91 Еккл. 3:10-11.

92 Джон Мильтон, "Il Penseroso" (итал. «задумчивый»). Пер. Ю. Корнеева.

Сказочное воображение⁹³

Поскольку в английском языке нет слова, соответствующего немецкому *Märchen*⁹⁴ («сказка»), мы вынуждены употреблять слово *fairytale*⁹⁵, несмотря на то, что о фэйри в сказке может вообще не идти речи. Однако, *при крайней необходимости*, в оправдание этому можно привести старое употребление слова *fairy* – по крайней мере, Спенсером.

Если бы меня спросили, что такое сказка, я бы ответил: «Прочитайте “Ундины”:⁹⁶ это и есть сказка; а потом прочитайте еще вот это и вот это, и тогда вы поймете, что такое сказка». Если бы даже после этого меня все-таки попросили описать сказку подробнее или дать ей определение, я ответил бы, что это то же самое, что дать описание абстрактного человеческого лица или определить, из чего состоит человек. Сказка – это просто сказка, как лицо – это просто лицо; и из всех сказок, которые я знаю, «Ундина» кажется мне самой прекрасной.

Многие из тех, кто не осмеливается дать определение человека, тем не менее, готовы высказаться относительно того, каким должен быть человек; но по отношению к сказке я не решусь даже на это, так как долгие годы моей работы в этом направлении являют лишь убогие примеры или иллюстрации моего теперь уже более зрелого суждения. Я скажу лишь несколько слов о том, как следует правильно читать такие сказки, которые мне хотелось бы писать или читать.

Некоторые мыслители почувствовали бы себя довольно стесненно, если бы им разрешили пользоваться только формами, существующими в природе, и ограничили их фантазию законами чувственного мира. Тем не менее, не следует думать, что они ищут свободы от закона. Ничто незаконное не может привести ни малейшего оправдания своему существованию и обладает, в лучшем случае, лишь видимостью жизни.

В естественном мире есть свои законы, и в них никто не должен вмешиваться – ни в том, что касается внешнего вида, ни в вопросах пользы и употребления. Однако человек волен предложить другие законы и, при желании, придумать собственный маленький мир с его

93 1882 г.

94 От нем. Mär (легенда, миф) и уменьш.-ласк. суффикса -chen. - прим. перев.

95 Буквально, «рассказ или сказка о феях или народце фэйри» - прим. перев.

собственными законами, ибо в нас есть нечто такое, что с удовольствием изобретает новые формы – пожалуй, так мы ближе всего подходим к сотворению. Когда эти формы по-новому воплощают старые истины, мы называем их плодами воображения; когда же речь идет о простых выдумках, какими бы прелестными они ни были, я назвал бы их работой фантазии; но и в том, и в другом случае дело не обходится без усердного участия Закона.

Далее высшим законом придуманного мира становится необходимость гармонии между законами, лежащими в его основе, и в процессе сотворения этого мира его создатель сам должен придерживаться этих законов. Как только он забывает об одном из них, его история, по ее собственным канонам, становится невероятной. Чтобы продержаться хоть минуту в воображаемом мире, мы должны видеть соблюдение законов, определяющих его существование. Если законы этого мира нарушаются, мы тут же из него выпадаем.

Как только закон исчезает, наше воображение, совершенно необходимое даже для самого мимолетного подчинения воображению другого человека, тут же отказывается работать. Представьте себе, что миниатюрные обитатели какого-нибудь беспечного края Волшебной страны вдруг заговорят на кокни или на гасконском диалекте! Любая сказка, как бы дивно она ни начиналась, тут же ниспадет до уровня бурлеска, наименее достойной из всех литературных форм. Выдумка может быть глупой или умной, но если ее автор не придерживается ее внутренних законов или допускает, чтобы эти законы конфликтовали друг с другом, он как создатель противоречит сам себе, и его нельзя назвать художником. Он не умеет привести в гармонию свои инструменты или настраивает их на разный лад.

Разум человека – это произведение живого Закона; он думает в соответствии с законом, пребывает посреди закона и растет благодаря ему; поэтому лишь в согласии с законом он может дать сколь-нибудь реальные плоды. Бывает, что человеку в голову приходят несогласованные, негармоничные идеи, но воспользуйся он ими, как его работа тут же утратит живость и остроту, и он бросит ее из-за простого отсутствия интереса. Красота может вырасти только на почве закона; Истину же можно облечь только в красоту, так что Воображение,

если угодно, – это портной, что выкраивает для нее подobaющие одеяния, а Фантазия – его подмастерье, который сшивает отдельные части или, может быть, всего лишь обметывает петли. Повинуясь закону, мастер трудится подобно своему Творцу; пренебрегая законом, он становится глупцом, который, беспорядочно свалив камни в кучу, называет эту кучу церковью.

В нравственном мире все иначе: здесь человек волен придумать новые формы и свободно использовать для этого свое воображение, но изобретать что-то свое ему запрещено. Он не должен, ни для какой цели, перевертывать нравственные законы с ног на голову. Ему нельзя вмешиваться в отношения живых душ. Человек должен соблюдать законы духа равно как в этом мире, так и в любом другом, который выдумал сам. Нет ничего дурного в том, чтобы придумать мир, где вместо силы притяжения действовала бы сила отталкивания; однако было бы безнравственно написать сказку, где добрый герой все время совершал бы скверные поступки, а злой герой поступал бы хорошо: сама мысль об этом является абсолютным беззаконием. В физическом мире человек волен изобретать; в мире нравственном он должен повиноваться – и приносить с собой законы нравственности в любой выдуманный им мир.

«Вы говорите так, будто сказки – это нечто важное; неужели у нее обязательно должен быть смысл?»

У любой сказки непременно есть хоть какой-нибудь да смысл; если в ней соблюдены пропорции и гармония, она обретает жизненность, а жизненность – это истина. Может быть, красота в ней очевиднее истины, но без истины красоты не бывает, и такая сказка не принесет радости. Однако любой читатель, чувствующий сказку сердцем, увидит в ней тот смысл, который соответствует его собственной натуре и развитию; один прочтет одно, а другой – другое.

«Но тогда как мне увериться, что я вижу в вашей сказке то, что заложили в нее вы, а не придаю ей свой собственный смысл?»

А зачем вам в этом уверяться? Может быть, даже и лучше, что вы придадите ей свое собственное значение! Может быть, это будет

лучшим, высшим применением вашего интеллекта, чем простое чтение того, что имел в виду я: ведь ваш смысл может оказаться лучше и выше моего.

«А если мой ребенок спросит, что значит эта сказка? Что мне ему ответить?»

Если вы не знаете, что она значит, легче всего будет просто в этом признаться. Если же вы видите в ней смысл, то как раз о нем и говорите своему ребенку. Подлинное произведение искусства всегда включает в себе множество смыслов; чем истиннее его искусство, тем больше у него значений. С другой стороны, если мой рисунок так далек от произведения искусства, что его непременно нужно подписать «ЭТО ЛОШАДЬ», то какая разница, виден ли его смысл вам самому или вашему ребенку? Его цель – не столько в том, чтобы передать вам некий смысл, нежели в том, чтобы разбудить, вызвать этот смысл в вас. Если рисунок не будит в вас даже интереса, отбросьте его в сторону. Может быть, смысл в нем и есть, но он не для вас. Если же, увидев лошадь, вы ее не узнали, подпись особо вам не поможет. В любом случае, задача художника – вовсе не в том, чтобы преподавать зоологию.

Только вряд ли дети начнут расспрашивать вас о смысле сказки. Они найдут в ней то, что способны найти; дать им больше было бы чересчур. Что касается меня, я пишу не для детей, а для тех, кто подобен ребенку – будь ему пять лет, пятьдесят или семьдесят пять.

Сказка – это не аллегория. Аллегория может в ней присутствовать, но это не аллегория. Только очень большой художник сумеет, в любом жанре, произвести на свет строгую аллегория, которая не утомляла бы дух. Третьего тут не дано: это будет либо подлинное мастерство, либо мутная тягомотина».

Сказка, подобно бабочке или пчеле, собирает себе пищу отовсюду, садясь на каждый полезный цветок и не портя при этом ни одного из них. По-моему, настоящая сказка очень похожа на сонату. Все мы знаем, что сонате присуще какое-то значение, и если собеседники умеют выражаться с уместной долей неопределенности и выбирать достаточно нестрогие метафоры, в обсуждении этого значения они смогут достичь ощущения более или менее общего согласия. Однако если по-

просить двоих или троих из них сесть по отдельности и написать, что значит для них эта самая соната, насколько четкими определенными будут их идеи? Вряд ли они окажутся очень определенными – но и этой малой определенности будет больше, чем достаточно. Мы увидим, что соната пробудила в людях сходные или даже одинаковые чувства, но, скорее всего, мысли у всех будут совершенно разные. Значит ли это, что соната не достигла своей цели? Должна ли она передавать что-то определенное, что-то, что можно отследить умозрительно, и следует ли нам требовать от нее этого?

«Но слова – это не музыка; ведь у слов есть значение, и они употребляются так, чтобы нести в себе четкий смысл!»

На самом деле, слова довольно редко несут в себе то четкое значение, в каком их употребили! И даже если с их помощью действительно можно точно передать то или иное значение, отсюда вовсе не следует, что кроме этого значения они не могут заключать в себе ничего другого. Слова – это живые сущности, которыми можно пользоваться по-разному и с разными целями. Они способны передать научный факт или отбросить тень мечты ребенка на сердце его матери. Их можно складывать вместе, как кусочки мозаики, а можно и аранжировать, как ноты на нотном стане. Неужели заключенная в слова музыкальность ничего не значит? Действительно, она мало способствует четкости их значения: но неужели из-за этого ее нужно просто отбросить? У слов есть длина, ширина и контур: неужели все это никак не влияет на их глубину? Неужели их функция всегда состоит в том, чтобы описывать, а не производить впечатление? Неужели они пригодны лишь для того, чтобы выражать определенности, и ни для чего другого? Ребенок может заплакать из-за чего-то совершенно неопределенного: так неужели мать не найдет способа утешить его в этом смутном горе? Ведь даже нечто с размытым контуром может обладать насыщенным цветом. Сказка, соната, надвигающаяся гроза, бесконечная ночь охватывают нас и уносят, сбивая с ног: неужели мы тут же начинаем сопротивляться и спрашивать, откуда у них такая сила и куда они нас несут? Закон каждой из них – в разуме ее автора; у одного человека этот закон вызывает одни чувства, у другого

– другой. Для одного соната – это мир благоухания и красоты; для другого – всего лишь приятное умиротворение. Для одного столкновение грозных туч – это дикая пляска, в сердце которой таится ужас; для другого – это величественное шествие небесного воинства, дорогу которому указывает идущая среди него Истина, пока еще сдерживающая Свой глас. Самые мощные силы лежат в сферах неосознаваемого.

И это еще не все. Лучшее, что мы можем сделать для своего ближнего – помимо того, чтобы пробудить его совесть, – это не столько дать ему пищу для разума, сколько разбудить то, что уже в нем есть; или, скажем, заставить его думать самостоятельно. Самое лучшее, что делает для нас Природа, это приводить нас в такие состояния и настроения, при которых у нас возникают воистину важные мысли. Неужели тот или иной аспект природы всегда вызывает у людей одну и ту же мысль? Неужели она когда-нибудь наводит нас на одну, четко определенную идею? Неужели она заставляет разных людей, оказавшихся в одно и то же время в одном и том же месте, думать об одном и том же? И неужели мы станем ругать ее за эту неопределенность? Неужели нам мало того, что она пробуждает нечто более глубокое, чем умозрительное понимание, – а именно: силу, лежащую в основе мысли? Разве она не заставляет работать наши чувства – а значит, и мысли? Неужели было бы лучше, если бы она всегда делала это одинаково, а не по-разному? Природа создает настроение, наводит нас на мысли: к тому же призваны и соната, и сказка.

«Но тогда любой сможет увидеть в ваших произведениях все, что ему заблагорассудится, даже то, чего вы вовсе не имели в виду!»

Не все, что ему заблагорассудится, а то, на что он способен. Если сердце его живо, он увидит злое даже в самом лучшем; и нам не стоит прислушиваться к его мнению о произведениях искусства. Человек с верным сердцем увидит истинное; и какая разница, вкладывал я это истинное в свою сказку или нет? Оно там есть, даже если это случилось помимо моего намерения! Разница между произведениями Бога и человека состоит в том, что Божьи творения не могут нести в себе больше смысла, чем в них вложено, в то время как в человеческих творениях непременно будет больше смысла, чем предполагал

сам художник. Ибо во всем, что создал Бог, заложено множество слоев восходящей значимости; к тому же Он выражает одну и ту же мысль во все более и более высоких видах этой мысли: в распоряжении человека оказываются одни лишь Божьи творения, Его воплощенные мысли, и только их он может изменять и приспособлять для своих целей, для выражения своих мыслей. Вот почему помимо воли автора его слова и образы образуют в чужом разуме такие сочетания, которые сам он не предвидел: ведь с каждой мыслью связано великое множество других мыслей, с каждым образом – великое множество ассоциаций, и каждый символ намекает на великое множество фактов. Даже сам автор может открыть непредвиденную истину в том, что написал; ведь в момент творения он имел дело с вещами, источником которых были мысли, намного превосходящие его собственные.

«Но ведь вы сами можете объяснить свой замысел, если вас о нем спросят?»

Я повторю то, что уже говорил: если я не смог как следует нарисовать лошадь, то не стану подписывать «ЭТО ЛОШАДЬ» под своей неразумной попыткой ее изобразить. Любой ключ к сказочно-мифопоэтическому произведению был бы такой же – или почти такой же – нелепостью. Сказка существует не для того, чтобы прятать истину, а для того, чтобы ее показывать; если она ничего не показывает вам в окно, незачем открывать ей дверь; пусть остается на улице. Просить меня разъяснить вам смысл это все равно, что сказать: «Ах, розы! Или вы сварите их в кипятке, или они нам не нужны!» Может, мои сказки не похожи на розы, но варить их в кипятке я не стану. Пока моя собака способна гавкать, я не стану гавкать вместо нее.

Если цель автора – в чем-то убедить читателя логически, он должен приложить все усилия разума и логики не только для того, чтобы его поняли, но и для того, чтобы избежать возможного недопонимания. Если же цель его – исподволь затронуть сердце, пробудить воображение, то пусть он играет душам своих читателей, как ветер играет на струнах эоловой арфы. Если в моем читателе таится музыка, я был бы рад разбудить ее. Пусть моя сказка будет светлячком, который то сияет, то гаснет, но готов вспыхнуть снова и снова. Оказавшись

в недоброй руке, она превратится в жалкого уродца, не способного ни вспыхивать, ни летать.

Что касается музыки, то, по-моему, лучше не раскладывать ее на смыслы всеми силами разума, а посидеть молча и позволить ей воздействовать на ту часть нашего существа, ради которой она существует. Сколько всего драгоценного мы портим своей интеллектуальной алчностью! Любой, кто хочет быть человеком, но не желает быть ребенком, непременно – помимо собственной воли – мельчает и превращается в карлика. Правда, утешение ему не понадобится, ведь он непременно будет воображать себя настоящим великаном.

Если от какой-либо из мелодий моей «нескладной музыки»⁹⁶ глаза ребенка вспыхнут и засияют, а глаза его матери на минутку затуманятся, все мои труды не пропали даром.

96 У. Шекспир, «Генрих V», акт V, сцена вторая.

Об авторе

Джордж Макдональд (10 декабря 1824 г. — 18 сентября 1918 г.)

Кто лишь однажды раскроет наугад сборник старинных преданий Шотландии, тот навсегда останется добровольным пленником в этой чудесной стране — стране воинственных горных кланов и непревзойдённых мастеров игры на волынке, как добровольно остался в Эльфландии легендарный бард Томас-Рифмач, околдованный королевой эльфов.

Шотландия — родина Джорджа Макдональда, достойного наследника безвестных сочинителей волшебных историй древности. Как полагают его биографы, род свой он вёл от одного из тех Макдональдов, которым в 1692 году удалось спастись от резни их клана Кэмпбеллами в Гленко. Прадед писателя был искусным волынщиком и в 1746-м сражался за принца Чарльза. Отец хозяйствовал и занимался белильным ремеслом в Хантли, где Джордж появился на свет, а мать покинула этот мир, когда мальчику было восемь.

По окончании школы, он учился в Королевском колледже в Абердине. Ещё совсем юношей пробовал сочинять стихи, а его изысканные манеры и утончённая натура неизменно приводили в восхищение всех, кто был с ним знаком.

Джорджу не сиделось на одном месте, его тянуло в столицу — в Лондон, куда он и отправился в 1845 году, устроившись домашним учителем в одно лондонское семейство. Работа была ему не по сердцу, и вскоре он бросил её, поступив в теологический колледж с намерением сделаться священником. В Лондоне состоялась и одна очень важная для него встреча. Он познакомился с очаровательной Луизой Пауэлл, дочерью торговца кожами, навсегда ставшей миссис Макдональд и родившей ему впоследствии одиннадцать детей.

Став священником, Макдональд из-за присущего ему свободомыслия беспрестанно навлекал на себя гнев святых отцов церкви. Подумать только, в проповеди он говорил о том, что не только избранные, но все, то есть, вероятно, и язычники могут обрести спасение! За сии еретические речи ему грозили понизить жалованье, и Макдональд, не в силах долее сопротивляться ортодоксально мыслящему духовенству, решил отказаться от сана и перебраться в Манчестер.

Там он зарабатывал на жизнь, читая лекции по математике и английской литературе, и одновременно, продолжал проповедовать свои взгляды на устройство мира. Именно в то время он всерьёз занялся литературным творчеством: в 1855 году вышла его первая книга — объёмная драматическая поэма «*Within and Without*», заслужившая одобрительные отзывы Альфреда Теннисона, Чарльза Кингсли и леди Байрон. Два года спустя появился сборник стихов, написанных на шотландском диалекте.

Вскоре Макдональд покинул Манчестер и переехал на южное побережье; здоровье его пошатнулось — возникли проблемы с лёгкими. И на новом месте он принялся писать «нечто вроде волшебной сказки... в надежде, что эта работа будет оплачена лучше, чем другие, несомненно, более серьёзные». Роман «*Фантастес*», полностью законченный за два месяца и опубликованный в октябре 1858 года, не принёс Макдональду ожидаемых барышей — его удалось продать всего-то за пятьдесят фунтов. Но успех был несомненным. Эту его книгу помнят до сих пор и называют едва ли не первым в английской литературе романом, написанном в столь популярном ныне жанре фэнтези.

Вернувшись в Лондон, Макдональд стал профессором английской литературы в Бедфорд-Колледже. Готический роман «*David Elginbrod*» (1863 г.) упрочил его популярность как писателя — без преувеличения, книги его шли тогда просто нарасхват. Однако многочисленные дети ждали и требовали от своего отца не длинных поучительных романов, а волшебных сказок, которые он придумывал и рассказывал, по свидетельствам современников, с исключительным мастерством и талантом. Имея одиннадцать подрастающих отпрысков, можно ли не сделаться великим сказочником?!

Одну за другой сочинял Макдональд чудесные сказки, вошедшие в золотой фонд британской детской литературы. Первоначально такие замечательные маленькие шедевры, как «*Невесомая принцесса*» или «*Сердце великана*», были вплетены в роман «*Adela Cathcart*» (1864 г.), а затем вместе с удивительной сказкой «*Золотой ключ*» переизданы в сборнике «*Dealing with the Fairies*» (1867 г.) — с изысканными рисунками Артура Хьюза, иллюстрировавшего и другие книги Макдональда.

Как раз в то время судьба свела и сдружила писателя с блестящим знатоком искусства Джоном Рёскином и знаменитым Льюисом Кэрроллом. Правда, тогда профессор математики Чарльз Лютвидж Доджсон не был ещё так знаменит. В 1863 году он представил Макдональду рукопись своей бессмертной «Алисы» в надежде, что другое мнение для него значило очень много, сочтёт её достойной публикации.

Сочиняя романы для взрослых («Alec Forbes of Howglen», 1865 г.; «Robert Falconer», 1868 г.), Макдональд не забывал и про детей. Он устроился редактором в новый журнал «Good Words for the Youth», где была напечатана одна из лучших его детских повестей — «Страна Северного Ветра» (1870 г.). И там же впервые увидела свет, пожалуй, самая популярная по сей день сказка Макдональда — «Принцесса и гоблин» (1871 г.), по которой через сто двадцать лет, после того как она вышла отдельным изданием, поставлен был красочный полуторачасовой мультипликационный фильм.

Секрет долголетия созданных писателем волшебных историй легко объяснить. «Я пишу не для детей, — сказал однажды Макдональд, — но для тех, кто невинен и искренен как ребёнок, пять ли ему лет, пятьдесят ли, или семьдесят пять». «Волшебная сказка — не аллегория», — настаивал он. И предлагал читателям самим отыскивать заключённые в ней тайные смыслы.

Переезжая с места на место, писатель и его семья всюду оставляли по себе добрую память. В Хаммерсмите, где им довелось жить некоторое время, Макдональд с женой организовали что-то вроде домашнего театра, в котором давали представления для малоимущих окрестных жителей. Помогали им в этом друзья — Джон Рёскин, Артур Хьюз и даже знаменитый художник сэр Эдвард Бёрн-Джонс. Миссис Макдональд переделывала для сцены народные волшебные предания. Но, вероятно, самой эффектной постановкой их самодеятельного театра был шекспировский «Макбет», в котором сам писатель исполнял заглавную роль, а его дочь Лилия блистала в роли Леди Макбет...

В начале 1870-х годов Макдональд отправился с лекциями по Америке — выяснилось, что за океаном его популярность способна поспорить с диккенсовской! Во время этой поездки он приобрёл нового друга в лице

великого Марка Твена, с которым несколько лет спустя они даже подумывали о совместном романе, и только разделявшая друзей бездна Атлантики помешала осуществлению их планов.

Впрочем, у Макдональда и собственных планов было хоть отбавляй. Чтобы прокормить своё огромное семейство он работал буквально как каторжный, публикуя роман за романом, что, понятно, не лучшим образом сказывалось на их качестве. Из книг того времени поныне переиздаётся лишь сказочная повесть «Принцесса и Курди» (1882 г.), остальные же канули в Лету.

Вдобавок ко всему на писателя обрушились несчастья: заболели туберкулёзом и умерли двое его детей, Мэри и Морис. Вскоре за ними последовала Лилия. Ухудшилось состояние здоровья и самого Макдональда — каждую зиму он с семьёй вынужден был проводить в Италии.

Писатель преждевременно постарел и разочаровался в людях, а книги его погрустнели. Горечь утрат сквозит в поэме «Diary of an Old Soul» (1880 г.), в которой каждому дню года посвящена отдельная строфа. Главный герой последней детской книги Макдональда «A Rough Shaking» (1890 г.) — маленький мальчик, потерявший мать во время землетрясения...

Близким казалось, будто жизненные силы Макдональда стремительно сходят на нет. Да, собственно, так оно и было. В конце своего земного пути он предпочитал бежать от окружавшего его мира: уходил либо в полное молчание, либо в им же созданные вымышленные миры, описанные в романе-фэнтези «Лилит» (1895 г.). Всё чаще его одолевали мысли о близящейся смерти. Впрочем, о быстротечности человеческого существования и о том, что рано и или поздно всему приходит конец, он размышлял всегда.

«Ты попробовал, что такое смерть, — сказал Морской Старец.

— Тебе понравилось?

— Очень, — признался Мшинка. — Смерть лучше жизни.

— Нет, — отозвался Старец, — она всего лишь следующая жизнь⁹⁷...»

© Алексей Копейкин, fantlab.ru

97 Дж.Макдональд. «Золотой ключ»

Библиография изданий автора на русском

- Принцесса и гоблин — Л.: Андреев и сыновья, 1991 г. — Серия: Популярная энциклопедия сказки — 116 с.
- Сказки [с послеслов. К. С. Льюиса] — М.: Триада, 2000 г. — 208 с.
- Сэр Гибби — Н.Новгород: Агапе, 2002 г. — Серия: Шотландская классика — 544 с.
- Донал Грант — Н.Новгород: Агапе, 2003 г. — Серия: Шотландская классика — 544 с.
- Принцесса и гоблин [сказки] — СПб.: Terra Fantastica, М.: Эксмо, 2003 г. — 512 с.
- Лилит — Н.Новгород: Агапе, 2004 г. — Серия: Шотландская классика — 320 с.
- Невесомая принцесса — М.: Центр «Нарния», 2004 г. — Серия Сундук сказок — 224 с.
- Принцесса и гоблин — М.: Центр «Нарния», 2004 г. — Серия Сундук сказок — 272 с.
- Принцесса и гоблины — М.: Олма-Пресс, 2005 г. — 176 с.
- Страна Северного Ветра — М.: Центр «Нарния», 2005 г. — Серия Сундук сказок — 364 с.
- Фангастес — Н.Новгород: Агапе, 2005 г. — Серия: Шотландская классика — 320 с.
- Лилит — Н.Новгород: Агапе, 2007 г. — 320 с (переиздание).
- Принцесса и гоблины — М.: Олма Медиа Групп, 2007 г. — Серия: Лучшие сказки для детей — 144 с.
- Принцесса и Курди — М.: Центр «Нарния», 2007 г. — Серия Сундук сказок — 288 с.
- Принцесса и гоблины — Смоленск: Русич, 2009 г. — Серия: Внеклассное чтение — 128 с.
- Сердце великана [сказки] — Смоленск: Русич, 2011 г. — Серия: Внеклассное чтение — 140 с.
- Принцесса и гоблин — М.: Эксмо-Пресс, 2012 г. — Серия: Серия: Иностранный язык: освой читая — 320 с.
- Мальчик дня и девочка ночи. Повесть о Фотогене и Никтерис — М.: Никея, 2013 г. — 96 с.



Джордж Макдональд
Томас Уингфорд, священник

Роман
Статьи

Пер. с английского и примечания
Ольга Лукманова

Все тексты и иллюстрации взяты из свободных
источников с указанием авторских прав



В серии вышли:

1. Э. Р. Э. Эддисон «Змей Уроборос»
2. Барри Хьюарт «Хроники мастера Ли и Десятого Быка»
3. Э. Р. Э. Эддисон «Владычица из владычиц»

Готовится к выходу:

4. Э. Р. Э. Эддисон «Зимвиамвия»

В следующих выпусках:

- Джордж Макдональд «Донал Грант. Сказки»
- Татьяна Тайганова «Избранное»
- Михаил Пухов «Рассказы»
- Вальтер Моэрс «Румо и чудеса в темноте»
- Мирча Элиаде «Шаманизм»



Джордж Макдональд

Томас Уингфорд

«Томас Уингфорд» — история о вере и неверии. О поиске Живого Бога за стеной собственных представлений о Нем. О необходимости душевных потрясений... Так комментирует возможное двоякое восприятие поднятой в романе темы, сам автор:

"Тот, кто сам пережил нечто подобное, без труда вообразит, что происходило с Уингфордом, а тому, с кем этого ещё не случалось, мои описания мало чем помогут; скорее всего, он даже отмахнётся от них, увидев в них метания болезненного сознания, не представляющие для широкой публики никакого интереса, — и в этом последнем будет даже прав: к таким вещам люди либо испытывают самый личный и обострённый интерес, либо вообще не проявляют к ним никакого любопытства."

Главных героев в книге трое — сомневающийся священник Томас Уингфорд, убежденный атеист Джордж Баском, а между ними — равнодушная ко всему душа Хелен Лингард. Героям вместе с читателями предстоит понять, могут ли семена живой веры пробиться на мерзлом поле мертвых правил? Где грань за которой скорбь становится надеждой? Могут ли наши злейшие враги превратиться в добрых друзей?

© WhiteKnight

